

Серафимо-Дивеевские предания

Сост. А.Н.Стрижев

Раздел первый. ОБИТЕЛЬ.

Раздел второй. ПАЛОМНИКИ.

От составителя

Серафимо-Дивеевский монастырь просиял святостью со дня своего основания, поскольку был учрежден Самой Царицей Небесной как Ее Четвертый удел на земле. С конца XIX века и до погрома в 1927 году здесь спасалось несколько поколений монашествующих под чутким водительством мудрых игумений. Сюда притекало огромное число православных паломников, находя в обители утешение и облегчение на жизненных путях. О давнем прошлом монастыря можно многое узнать, читая замечательную «Летопись» священника Л.М. Чичагова, увидевшую свет в 1896 году и с малыми переменами переизданную к Серафимовским торжествам в 1903 году.

А XX век, есть ли подобная Летопись за все это время? Такой книги нет. Но бесследно ничто не исчезает. Предреволюционная пора, период страшных гонений после октябрьского переворота, наконец, скитания монахинь в миру – запечатлены и не забыты. Остались записки самих духовных лиц, воспоминания светских благочестивых людей, посещавших обитель в разное время, устные предания, не исчезнувшие в народе до сих пор. Все это и поведаст о судьбе обители в XX веке, сходной с судьбой России, возведенной на Голгофу. По крупицам пришлось собирать бесценные свидетельства, и составила наконец эта книга, которую так долго ждали читатели. Объединенные в один сборник разрозненные, а то и вовсе неизвестные материалы поведают о целой эпохе из жизни монастыря, о подвижниках, наделенных Господом даром прозрения, о скитаниях монахинь в условиях тотального угнетения, зачастую рассказанные ими же самими. Настоящий сборник для обители как бы итоговый за XX век, своеобразная Летопись, созданная многими людьми в новейшее время.

Читая эти материалы, еще раз убеждаешься, как пророчески прозорлив был батюшка Серафим, издалека провидевший труднейший путь дивеевских сестер под властью безбожников. И им же, преподобным, была заповедана твердая надежда на прилив веры в народе, на возрождение обители, в которой, по его же глаголу, ему и пребывать до скончания века. Так оно и получилось: на Похвалу Богородицы, 31 марта 1990 года, состоялось освящение главного монастырского собора, Троицкого, что положило начало возрождению обители. А через год, 19 июля 1991 года, при стечении богомольцев со всей России, цельбоносные мощи преподобного Серафима навсегда упокоились в Дивееве, как о том и предрек святой старец.

Сборник «Серафимо-Дивеевские предания» – первая книга такого рода. Надеемся, что и о других обителях, – а их, слава Богу, так много по светлорусскому простору – также расскажут свидетели событий, будь то радостных или невыносимо тяжелых, сопряженных с историческим контекстом истекающего столетия. Вразумит Господь, да сбудется!

Александр Стрижев

**Раздел первый. ОБИТЕЛЬ.
Протоиерей Дмитрий Троицкий**

Житие преподобного Серафима Саровского

I

Великий угодник Божий и молитвенник Земли Русской преподобный Серафим, Саровский чудотворец, принадлежит к сонму подвижников XIX века, отличавшихся неуголимой духовной жадой нравственного совершенства, благородным стремлением к истинной свободе, освобождающей человека от греха. Старец Серафим по дарованиям от Господа и чрезвычайности подъема своего духа является славнейшим выразителем этой эпохи, и потому его жизнеописание, его восхождение «от силы в силу» представляют для православных русских людей глубокий назидательный интерес.

Батюшка Серафим, в миру Прохор Исидорович Мошнин, родился 19 июля 1759 года, в городе Курске, на Сергиевской улице, близ храма в память преподобного Сергия Радонежского. Родители Прохора, Исидор и Агафия, принадлежали к именитому и богатому курскому купечеству. В семействе у них был еще старший сын Алексей, пошедший по торговой части, потомство которого долго сохранялось. Исидор Мошнин владел кирпичными заводами, он брал большие подряды на постройку каменных храмов и домов, но вскоре умер. Прохору и всего-то было три года, когда он лишился отца. Делами в осиротелом доме стала заведовать мать, уделявшая внимание воспитанию своих детей, внушению им страха Божия и уважению к людям.

Немного сохранилось сведений о детстве Прохора, но во всех его жизнеописаниях рассказываются два события из его ранних лет. Первое, когда семилетний Прохор на глазах своей матери упал с колокольни строящегося храма на землю и остался жив. Тогда мать в трепетном предчувствии страшного горя сбежала с высоких лесов вниз, боясь найти сына разбитым насмерть. Прохор же остался цел и невредим. В этом чудесном спасении мать увидела особое попечение Божие об ее сыне. Другое событие – чудесное явление ему Божией Матери. В ту пору Прохору было около десяти лет. Seriously заболев, он в сонном видении сподобился лицезреть Пресвятую Богородицу.

Тогда Она обещала исцелить его. И вот случилось в то время идти крестному ходу с Курской Коренной иконою по той самой улице, где стоял дом Мошниных. Обрушился ливень... Для сокращения пути крестный ход свернул через проходной двор Мошниных. Мать Прохора поспешила вынести сына к иконе, – и с этого дня он стал поправляться. Та болезнь, равно как и падение с высоты нисколько не подорвали крепкого здоровья Прохора. Мальчик рос сильным, волевым и впечатлительным, отличался прекрасной памятью и врожденными добродетелями – кротостью и смирением.

В те времена грамоте обыкновенно обучались по Псалтири, храмы же Божии своею красотою и прекрасным богослужebным обиходом одаривали детей теплотой и чистотой, возвышенными помыслами. К этим спасительным источникам и влекло юного Прохора. Любил он чтение Священного Писания сначала в храме, а затем в чтении взрослых, а когда сам выучился читать, то евангельское и святоотеческое слово, посещение церковных служб стали для него насущной необходимостью. Усердие к храму Божию и воспитующая сила Писания решительно повлияли на дальнейшую судьбу Прохора: он укрепился духовно и решил оставить мир, чтоб посвятить себя строгой иноческой жизни. На 17-м году мысль оставить мир и стать монашествующим окончательно созрела в Прохоре. Мудрая христиански настроенная матушка его своим материнским чутьем поняла истинное призвание сына и не мешала Прохору посвятить себя Богу и людям.

II

Надо иметь в виду, что прежняя жизнь русских людей в значительной степени наполнялась глубоким нравственным содержанием, и это содержание вызывало к жизни трогательные, торжественные и красивые в своей простоте обычаи. К примеру, вот кто-нибудь в семье собирается в дорогу. Сборы окончены... Перед тем, как идти или ехать, все садились. Какая-то благодатная тишина проникала семью, отъезжающих и остающихся. Трепетно думалось в эти минуты: не забыть бы

чего существенного, важного, унести бы с собой в дорогу мир и душевный покой.

В семье Мошниных сильна была эта русская привычка. Трогательно бывало прощание матери с сыном, особенно было трогательным, когда Прохор уходил поклониться Киевским святыням, чтобы и там, среди монастырской тиши, вблизи святых угодников и старцев, проверить свое решение покинуть суетный мир. На прощание все сели, помолчали, подумав о многом, затем встали, помолились, и Прохор поклонился родительнице своей в ноги. Она велела приложиться ему к иконам Спасителя и Божией Матери, после чего благословила большим медным крестом, с ним-то Прохор и отправился в путь. Материнское благословение это свято хранил он всю свою жизнь. Крест носил поверх своей одежды открыто, с ним много лет спустя и скончался.

Напутствуемый благожеланиями родной матери и близких, Прохор прибыл в Киев. Величественный вид храмов киевских, обилие древних русских святынь и монастырей со множеством иноков переполнили Прохора впечатлениями, неизреченной радостью духовной. Поначалу он направился к прозорливому и мудрому затворнику Досифею, который старчествовал тогда в Китаевой пустыни, что неподалеку от Киево-Печерской Лавры. С радостью, страхом и благоговейным трепетом стучался юный Прохор в дверь затворника Досифея. И когда вошел к нему, встал на колени, обливаясь слезами, открыл свою душу, свои помыслы, умиленно прося у богомудрого старца совета, благословения и указаний, куда и к кому надлежит ему идти, где искать спасительных путей, сокрушающих зло; где тот уголок, та келия и те плиты церковные, которые приютят его для духовных трудов.

Старец Досифей обласкал юношу и указал ему на Саровскую пустынь. Обрадованный и успокоенный великим затворником, юноша еще раз поклонился святыням киевским, затем ненадолго возвратился в родной Курск, в свою семью, чтобы попрощаться и окончательно уйти в глухие леса Саровской пустыни. 20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 19-летний Прохор

пришел в Саров. С чувством трогательного умиления увидел юный странник назначенную ему Богом обитель. Была зима, но трескучие морозы не расхолодили горячего порыва странника... Чистый, белый зимний покров целиком соответствовал состоянию богоизбранного юноши, а зеленые громады вековых сосен и елей словно подтверждали; жизнь вечна, ее нельзя сковать и заморозить, животворные силы благодатно сообщали бору вечнозеленую красоту...

Думается, уже один внешний вид Саровской пустыни – этой раскрытой книги русского подвижничества – согревает русского человека. Пустынь расположена чрезвычайно живописно – на высоком обрыве. И купола Успенского собора далеко видны в окрестностях Сарова, привлекая усталого путника молитвенным уютом и монастырской тишиной. У подножья горы, на которой высится монастырь, Сатис и Саровка сливаются в одну реку. Кругом дремучий лес, и на далекие пространства вокруг никакого жилья.

III

Настоятельством в Пустыни строгий, но ласковый игумен Пахомий. Родом он был тоже из курских купцов и, конечно же, знал родителей Прохора. Угадывая опытным взором всю силу и чистоту решения юноши, отец Пахомий ласково принял его, поручая на попечение казначею монастыря иеромонаху Иосифу. У этого старца Прохор состоял келейником, затем его посылали на послушание в хлебню и просфорню, после определили чистодеревщиком в столярню. Одно время его обязали будить братию к ранним службам. Впрочем, исполнением этих несложных, но утомительных занятий, конечно, не замыкался круг забот юного послушника. С величайшей ревностью привлек он свое внимание к самой сущности монашеского звания – к перевоспитанию самого себя, к наблюдению за собою и достижению нравственного совершенства. Юноша, выросший в страхе Божиим, ревностно вступил на путь иноческого самоотвержения; воспитывая в себе трудолюбие, кротость, воздержание во всем, а главное, прилежание к молитве – вот что становится теперь во главу его жизни! Он знал, что в

обители, под строгим руководством старцев, ему надлежит оградить себя от соблазнов мира, что только здесь возможно подвизаться для аскетических подвигов, для полного раскрытия в себе духовных дарований. Твердо решившись на духовный подвиг, юноша с радостью взялся исполнять монашеские заветы, оставленные в назидание преподобным Иоанном Лествичником, который говорил: «Как корабль, имеющий искусного кормчего, благополучно с Божией помощью входит в пристанище, так и душа, имеющая доброго пастыря, легко восходит на небо, хотя бы и была ранее грешной... Как идущий по незнакомому пути без путевода легко может заблудиться, хотя бы он был разумным, так и в монашестве самовластно проходящий свое монашеское послушание легко погибает, хотя бы и знал премудрость всего мира».

Серьезное, вдумчивое отношение к иноческому устроению сказалось в рвении юного послушника неопустительно посещать церковные богослужения и неподвижно выстаивать все службы. Прохор и потом стоял всегда на определенном месте от начала до конца службы, строго исполнял он и свое келейное правило. Разумеется, были у инока Прохора и затруднения, встречались и препятствия для успешной борьбы. Помыслы, печали, скука, уныние – эти постоянные спутники греха, отравляя нашу мирскую повседневную жизнь, бывает, проходят и внутрь монастырских стен. Но как настойчиво и победоносно отражал эти дьявольские козни новоначальный инок! Он побеждал постоянным наблюдением над собою, побеждал трудом и молитвой.

Дома Прохор читал священные книги и занимался физическим трудом. Евангелие и Послания Апостолов он читал всегда стоя. Из духовных книг читал «Шестоднев» святого Василия Великого, «Беседы» святого Макария Великого, «Лествицу» преподобного Иоанна, «Добротолюбие» и многие другие. Начитанность развила в иноке способность все сказанное в книгах применять к человеку и разным состояниям его характера – отсюда умение всякое жизненное положение прояснить истинным решением, всякое доброе дело облагодухать благодатию Божией. Физическим же трудом он

занимался, участвуя на общих работах монастырской братии, – на сплаве леса, заготовке дров, а во время отдыха он искусно вырезывал из кипариса крестики и раздавал их богомольцам. И все же больше всего он любил уединенную молитву и воздержание. Будущий великий подвижник, постник и труженик инок Прохор как бы с самого начала сознавал сущность подвижничества и сладость монашества. Его монастырская жизнь – это живой, наглядный пример аскетизма, постоянного самоотречения, отказа от всего того, что мешает спасению.

Идеал святости вынашивал в своем сердце юный Прохор, к нему он направлял свои силы и свой духовный порыв. Уже в ранние годы своего иночества Прохор придерживался строгого поста. Он ничего не вкушал по средам и пятницам, а в другие дни недели принимал пищу раз в день. По благословению и с разрешения своего старца Иосифа, молодой Прохор в свободные часы уходил в лес для одинокой молитвы. В чаще леса он устроил шалаш и там погружался в созерцательную молитву. В тишине, вдали от людей, он умиленно отдавался молитвенному подвигу среди немеркнущих красот природы, раскрывавшей ему величие Всемогущего Творца.

В 1780 году Прохор опасно заболел. Тело его распухло, болезнь не поддавалась никакому лечению, возможно, это была водянка. Проболел он три года, из которых полтора года пролежал в постели. Необыкновенное уважение, которое питали к молодому инок саровские старцы и монастырская братия, еще полнее проявилось во время его болезни. Старец Иосиф, игумен Пахомий, старец Исаия находились при нем неотлучно, прочая братия возносила за него молитвы. Однажды старец Иосиф отслужил о здравии Прохора Божественную Литургию. Больной исповедовался и причастился. И вот тогда, в Неизреченном Свете, явилась болящему Матерь Божия, с апостолами Иоанном Богословом и Петром. Владычица, указывая Иоанну Богослову на послушника, сказала: «Этот – Нашего рода» и возложила правую руку на его голову, а жезлом, который держала в левой руке, Она коснулась болящего. От этого прикосновения у Прохора осталось в ноге углубление, через которое и стала вытекать накопленная

жидкость, причинявшая ему мучительные страдания. Так чудесным образом быстро и поправился Прохор.

Вскоре в Сарове приступили к новым постройкам. Келию Прохора, в которой совершилось это чудесное исцеление, снесли, и на ее месте построили больницу с богадельней, а при больнице церковь в два этажа: внизу – во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, а наверху – во имя Преображения Господня.

За сбором пожертвований на эту церковь и посылали тогда инока Прохора в мир. Обходя великое множество городов и сел Матушки-России, он сподобился побывать «И у Каспия широкого, и у царственной Невы»... Зашел он и в родной город Курск, свиделся со своим братом, вспомнил дни детства и горячо любимую мать, которая в то время уже лежала в земле; ходил он на городское кладбище и там, у могильного холмика своих родителей, простаивал подолгу в сердечной молитве. Брат Алексей уже успешно вел свое хозяйство и мог выделить от себя щедрое пожертвование на монастырский храм.

В некоторых жизнеописаниях преподобного рассказывается о внешнем его юношеском облике, когда он еще был послушником Прохором: «Росту высокого; лицо белое и полное, нос правильный и острый; светло-голубые, выразительные и пронизательные глаза, густые брови; густые светло-русые волосы на голове; окладистая борода соединялась с густыми усами; он был крепок и силен, обладал увлекательною речью, необыкновенною памятью и светлым, отчетливым соображением».

IV

13 августа 1786 года Прохора постригли в монашество и нарекли Серафимом – «Пламенным». Постригавший Прохора как будто на всю последующую жизнь хотел напечатлеть на нем тот духовный пламень, которым согревался молодой послушник. Спустя год инока Серафима рукополагают во иеродиакона, и с этого дня он в течение шести лет почти непрерывно участвует в Богослужении. Усиленно занимался он и домашней молитвой: накануне воскресных и праздничных

дней он все ночи простаивал на молитве, не чувствуя утомления и не нуждаясь в отдыхе. Благодаря таким подвигам, отец Серафим удостоился особых откровений. Временами он видел Ангелов в белых златотканых одеждах, сослужащих братии в моменты монастырских Богослужений. Особенно же знаменательного видения удостоился иеродиакон Серафим при совершении Божественной Литургии в Великий Четверг. Когда после малого входа иеродиакон Серафим возгласил: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны» и, обратись к народу, закончил: «и во веки веков», то он весь сразу преобразился, не мог сойти с места и вымолвить ни слова. Служащие поняли, что ему было видение. Иеродиаконы под руки ввели его в алтарь, где он, будто онемев, простоял три часа, то разгораясь лицом, то бледнея. Когда пришел в себя, то рассказал он своим старцам Иосифу и Пахомию сие видение.

«Только что провозгласил я, убогий, – рассказывал иеродиакон Серафим, – «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны», и наведя орачем на народ, окончил: «и во веки веков», – вдруг меня озарил луч как бы солнечного света и увидел я Господа Бога нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во славе сияющего Неизреченным Светом, окруженного небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего в воздухе. Приблизясь в таком виде до амвона и воздвигнув пречистые Свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих. По сем вступил во святой местный образ Свой, что по правую руку Царских врат, преобразился, окруженный ангельскими ликами, сиявшими Неизреченным Светом во всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса Христа, удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви к Богу».

После этого явления отец Серафим еще больше стал уединенно молиться, все чаще он уходил по вечерам в свою лесную келию и проводил там в молитве целую ночь, и лишь к утру возвращался в Саров.

V

В почин сентября 1793 года иеродиакона Серафима епархиальное начальство вызвало в Тамбов и там рукоположило во иеромонаха. С этого времени, пока батюшка жил в самой Пустыни, он ежедневно приобщался Святых Таин. Облеченный благодатию священства, благоговейно и с любовью проходит он служение Святой Церкви. Подобно Серафиму небесному, он всецело предает себя на служение Богу, молитвенно бодрствуя пред Ним день и ночь; забывает о пище и питье, и сожалеет, что нуждается в отдыхе и не может непрерывно служить Богу. Задачу его жизни, по его собственному выражению, составляет теперь «окончательное устройство дома души». Отныне он «носит в своей груди сердце, как воск, таявшее от неизреченной сладости посещавших его небесных видений».

В это время отец Серафим был уже достаточно подготовлен к трудному и великому подвигу – пустынножительству. Вскоре скончался настоятель монастыря, архимандрит Пахомий, перед смертью благословил он отца Серафима на подвиги в уединенной пустыни. 20 ноября 1794 года, тридцати пяти лет от роду, иеромонах Серафим удалился в пустынную келию, расположенную в 5–6 верстах от монастыря, в дремучем лесу, вблизи речки Саровки. Поводом к переселению послужил тяжкий недуг: от долгого стояния в храме и на домашней молитве у него начали опухать ноги и открылись раны. Лесная келия была простой избой с печью, сенями и крылечком. Вокруг келии разбит небольшой огород, который по весне и летом, возделывал отец Серафим; был у него и пчельник. Одежда батюшки была самая простая и грубая: на голове поношенная камилавка, на плечах белый полотняный подрясник, руки в кожаных рукавицах, ноги в бахилах (кожаных чулках) и лаптях. На груди открыто висел медный крест – матушкино благословение, за спиною сумка, а в ней Евангелие.

Одна и та же одежда была у него летом и зимою. В труде обретал светлое и радостное настроение. Случалось, что во время работы лопата или мотыка вдруг выпадала из его рук,

при этом лицо его принимало дивное выражение, и он, стоя неподвижно, углублялся в созерцание тайн Божиих. Взрыхляя землю, отец Серафим распевал псалмы и церковные песнопения. Особенно любил петь догматик первого гласа: «Всемирную славу...» и антифон: «Пустынным непрестанное Божественное желание бывает...» Молитвенное же правило его в Пустыни бывало обширно и строго. Вместо вечерних молитв подряд клал тысячу поклонов. Ел отец Серафим одни только овощи. Сухой, черствый хлеб он брал с собою из монастыря по воскресеньям на всю седмицу, но раздавал его почти весь птицам и лесным зверям, которые подходили к нему и любили его общения. Было время, когда пустынник отказывался даже и от хлеба. В продолжение почти трех лет питался лесной травкой – снытью: варил ее в горшочке, а на зиму сушил про запас. В воскресные же и праздничные дни, а также в кануны их, отец Серафим приходил в обитель, выстаивал все положенные богослужения и приобщался Святых Христовых Таин. Уветлив был, беседуя с иноками, внимавшими его мудрым наставлениям. И, побеседовав, снова удалялся в спасительную пустыню. Там пламенеющий любовью к Богу иеромонах Серафим проходил все виды самоотвержения и все подвиги молитвенного труда.

– Уединение, молитва, всепрощение и воздержание – суть четырехсоставная колесница, возносящая дух на небо, – говорил батюшка неоднократно и прежде, но теперь он всецело следовал этому своему слову.

В годы отшельничества отец Серафим всячески избегал посетителей. Встречавшим же его в лесу людям он обычно смиренно кланялся и поспешно отходил в сторону. На человека, видевшего впервые пустынножителя, эти встречи производили глубокое и неотразимое впечатление; уже один вид угодника Божия, в его убогой одежде, трогал душу, свидетельствуя о чем-то возвышенном и духовном. Этот его вид внушал благоговение не только людям, но и диким зверям. Какая дивная и трогательная картина: подвижник Серафим кормит из рук своих лесного медведя, который послушно выполняет его волю! Вглядитесь пристально в лицо батюшки, сияющее ангельским

светом радости и милосердия, и вы сумеете прочесть тайну смирения и послушания медведя.

Но такая напряженная жизнь подвижника возбуждала и жестокую злобу дьявола, наводящего на него разные искушения. Однажды во время молитвы отец Серафим услышал вой зверей за стенами своей келии. В другой раз какая-то шумная толпа людей начала выламывать дверь; выбила дверной косяк и бросила в жилище отшельника огромный обрубок дерева, его потом с трудом могли вынести восемь человек...

Иногда во время молитвы батюшке представлялось, что келия рушится, и что к нему рвутся с диким ревом страшные звери; или он видел открытый гроб, из которого вставал мертвец. Все эти внешние видения и искушения отец Серафим побеждал силою крестного знамения. Тогда враг стал нападать на него с еще большей яростью. Он поднимал подвижника на воздух и с такою силою ударял его об пол, что кости могли бы быть сломаны, если б не охраняла его в то время Божественная помощь. Можно думать, что преподобный вполне испытал на себе искушающую силу злых духов. На простосердечный вопрос одного мирянина о бесах подвижник с улыбкой ответил: «Они гнусны. Как на сияние Ангела взглянуть грешному возбраняется, так и бесов видеть нельзя, ибо они гнусны».

В эти годы отец Серафим дважды был избираем в игумены и архимандриты монастырей, но, по своему смирению, он отказался от этих должностей. Ненавидя такую стойкость, дьявол еще сильнее ополчился новою бедою, воздвигнув в его душе мысленную брань – самую ужасную из бед...

Тяжело было подвижнику. Но кто внимателен к жизни духовной, кто строже следит за движениями своего сердца, у того чувствительнее совесть, на того сильнее и нападение князя тьмы. Ведь и на обыкновенной войне враг наносит удар там, где сосредоточены главные силы, чтобы сломить и уничтожить главное сопротивление. Призвав на помощь Христа Спасителя и Матерь Божию, отец Серафим решился предпринять подвиг столпничества.

VI

В лесу, на полпути от келии к монастырю, лежал гранитный камень громадной величины. На этом камне преподобный повел жизнь столпника. Неопустительно каждый день и каждую ночь становился он на камень и стоял на нем во весь рост или на коленях, с поднятыми руками, непрестанно повторяя: «Боже, милостив буди мне грешному»... В то же время отец Серафим в келии своей поставил другой камень и в том же положении молился на нем целый день. В этом великом подвиге Старец провел тысячу суток. Физическое изнурение и непрестанная молитва утешили его. Лукавый перестал испытывать подвижника, ведь подвижник закалил себя, и искушающие помыслы, страхования перестали его беспокоить. Трехлетнее стояние на камне изнурило отца Серафима, и у него снова заболели ноги. «Сил человеческих не хватило бы, – говорил впоследствии отец Серафим о своем столпничестве, – да я внутренне подкреплялся и утешался Небесным даром, нисходящим от Отца Светов. Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с нами».

Об этом своем стоянии старец открылся саровской братии лишь на склоне дней, незадолго до своей кончины. Камни, на которых отец Серафим молился, существовали до недавнего времени. От большого камня остался всего один осколок; многие почитатели святого и паломники в Саровскую пустынь откалывали себе на память кусочки от этих камней. Среди православных встречались такие семьи, где эти кусочки гранита с изображением на них молящегося отца Серафима благоговейно сберегались годами, затем их передавали потомству. Одна такая частица того самого камня хранилась в храме преподобного Серафима в Париже (на улиц Лекурб, № 91). Это был дар мне Екатерины Сергеевны Дохтуровой, вывезшей эту частицу камня из Царского Села. Хранится в том же храме и маленькая частица мантии преподобного Серафима, то дар архиепископа Александра, восторженного почитателя всенародного святого и усердного молитвенника к нему. Обе эти священные реликвии и немного мучки, раздаваемой когда-то в

Сарове, вделаны в образ старца; образ положен на аналой, и пред ним в Париже возжена лампада угоднику Божию.

Испытания отца Серафима на этом не кончились. 12 сентября 1804 года, в саровском лесу, к нему подошли трое крестьян и грубо потребовали от него денег. Отец Серафим мог бы защититься топором – держал его в руках, но батюшка опустил топор, сложил руки крестом на груди и сказал:

– Делайте, что вам надобно.

Злодеи ударили отца Серафима обухом в голову; изо рта и ушей его хлынула кровь. Отшельник упал замертво. В таком состоянии разбойники потащили старца в келию, продолжая его нещадно бить. Наконец, связав веревками, хотели его утопить в реке, но, будучи уверены, что он уже мертв, бросили в сени, а сами занялись тщательным обыском келии. Но денег там не оказалось, обнаружили лишь икону и несколько картофелин. Разочарованные изверги, негодуя, страшно растерялись, потом и вовсе напал на них страх, и они разбежались.

Через несколько времени к отцу Серафиму вернулось сознание. Он с трудом развязал веревки, которыми его связали, и, с Божией помощью, на другой день, во время свершения Литургии, пришел в Саров. Вид его в это время был ужасен: волосы на голове и бороде слиплись в запекшейся крови, запылились и были спутаны. Руки и лицо оказались в сильных кровоподтеках, выбито несколько зубов; окровавленная одежда местами прилипла к ранам на теле. Врачи, вызванные из Арзамаса, нашли, что у старца голова проломлена, ребра перебиты, легкие; отбиты, и удивлялись, как он еще остался жив. В момент осмотра врачами отец Серафим уснул, и было ему видение: к постели его подошла Пресвятая Владычица с апостолами Петром и Иоанном Богословом и, указывая Своим спутникам на подвижника, произнесла: «Сей – из рода Нашего». Проснувшись, страдалец почувствовал облегчение и испытал неизреченную духовную радость. В тот же день он впервые после нападения поел немного хлеба и квашеной капусты. Чудом избавился от неминуемой смерти отец Серафим, и после пятидесятидневного пребывания в монастыре, по выздоровлений, возвратился в свою пустынь.

Раны, нанесенные ему разбойниками, а также последствия ушиба, полученного от свалившегося на него дерева, изменили внешний вид некогда стройного иеромонаха; отныне он стал согбенным и ходил не иначе как опираясь на топорик, мотыгу или палку.

Обидчиков же отца Серафима вскоре разыскали, ими оказались крепостные помещика Татищева из села Кременки. По мольбе старца злодеев простили. Они раскаялись пред ним, обещали исправиться, тем более, что уже были наказаны – молния зажгла их дома, и пожар не сумели потушить.

VII

В 1807 году скончался второй со времени поступления отца Серафима настоятель Саровской пустыни – праведный игумен Исаия, которого батюшка любил и почитал. Кончина настоятеля тяжело отразилась на отце Серафиме. Три любимые им старца, с которыми было связано вхождение его в монастырь, – Иосиф, Пахомий и Исаия, лежали уже в могилах. Трогательно подвижник почитал их память: всякий раз он заходил на монастырское кладбище и подолгу молитвенно простаивал возле их могил.

Осиротелый Отец Серафим задумал на себя наложить обет молчальничества. Возникло настойчивое желание – превратить этот обет в подвиг, про который так понятно и ясно говорил святой Амвросий Медиоланский: «Молчанием я видел многие спаслись, многоглаголением же – ни единый».

Вспомнились и другие его слова: «Молчание – есть таинство будущего века; словеса же – орудие суеты мира сего». От уединения и молчания рождается умиление и кротость, возводящие человека к благочестию, приближая его к Богу, делая его как бы земным Ангелом.

Пустынная жизнь теперь для отца Серафима казалась уже недостаточной, и он принимает подвиг молчальничества. Он избегает посетителей и никого не принимает в своей дальней пустыньке. Если же он встречался с кем в лесу, то падал ниц, лицом на землю, и не поднимал головы до тех пор, пока около него никого не оставалось. Один из братии раз в неделю, по

воскресным дням, приносил ему пищу в пустыньку, так как отец Серафим перестал в это время ходить в монастырь даже по праздникам. И вот зимой, по заметенной снегом дороге, брел, бывало, утопая в снегу, к молчальнику посыльный монах и приносил ему хлеб или каких-либо овощей. Дойдя до келии, посыльный входил в сени, ставил на землю пищу. Отец Серафим брал ее, не поднимая глаз на пришедшего, и клал на лоток кусочек хлеба или капусты – того-то следует принести в другой раз.

В том и заключалось внешнее проявление молчаливства. Внутреннее же значение этого подвига, его сущность заключалась в отречении от всех житейских благ и попечений. Около трех лет провел батюшка Серафим в полном молчании, после чего он перешел к высшему подвигу – затворничеству.

Было ему тогда 50 лет. Собор старейших иеромонахов монастыря, проявляя заботу о молчальнике, дабы имел он возможность чаще приобщаться Святых Христовых Таин, решил, чтобы в воскресные и праздничные дни отец Серафим приходил для приобщения в монастырь или же просто переселился бы в Саров. Молчальник, памятуя заветы монашества, заключающиеся в отсечении своей воли и в послушании, перешел в монастырь. Это было 12 мая 1810 года. В этот день после 15-летнего пребывания в пустыни затворник Серафим вошел во врата Саровской обители. Настоятель с братией удивились и обрадовались, встретив его, но удивление их возросло, когда на другой день старец Серафим, причастившись Святых Таин, направился к себе в келию, не сказав ни слова. Он затворился в своей келии, сам никуда не ходил и к себе никого не пускал. В келии его, кроме иконы с неугасимой лампадой и обрубка дерева, служившего ему стулом, ничего не было. Ради умерщвления плоти старец под рубашкою носил толстый пятивершковый чугунный крест. Вериг же и власяницы он на себя никогда не возлагал. И на вопрос об этом отвечал так: «Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по евангельски – вот и вериги наши, вот и власяница».

В затворе подвижник питался особенно скудно: толокно да рубленая капуста – еда, а пил он лишь воду. Доставлял бесхитростную провизию сосед по келии – монах Павел. Он ставил все принесенное у двери и удалялся. Бывали случаи, что отец Серафим из принесенного ничего не брал, и тогда монах Павел уносил еду обратно...

Сложно и велико было молитвенное правило подвижника Серафима. За неделю он прочитывал весь Новый Завет и, читая, толковал себе Писание вслух. Многие счастливы были прильнуть к его двери и слушать слова назидания, льющиеся из уст отца Серафима. Иногда он за книгой как бы замирал, погружаясь в созерцание, и, переставая читать молитвы, замолкал, неподвижно стоя пред иконой. Во все праздничные и воскресные дни, после ранней обедни, отец Серафим у себя в келии приобщался Святых Таин.

Чтобы памятовать о смертном часе, отец Серафим поставил у себя в сенях дубовый гроб; около него он часто молился, непрестанно подготавливая себя к вечному покою.

VIII

Минуло пять лет строгого затвора, за это время старец Серафим заметно ослаб, но сроки подвигов его еще только начинались. Старец не нарушил своего затворничества и безмолвия даже в момент приезда в Саров Тамбовского епархиального архиерея Ионы (бывшего потом экзархом Грузии). Преосвященный пожелал видеть старца-подвижника. Владыка подошел к келии отца Серафима в сопровождении игумена Нифонта, но дверь оказалась запертой. Желание игумена проявить некоторую настойчивость, чтобы старец открыл дверь, не встретило у владыки сочувствия. Проникнутый уважением к старцу, преосвященный сказал: «Не надо, как бы нам не погрешить через сие», – и, отойдя от келии, оставил затворника в покое.

Прошло еще пять лет. Теперь уже старец принимал братию и мирян в своей келии, охотно с ними беседовал и с любовью научал их христианской вере и благочестию.

В 1825 году, 25 ноября, было отцу Серафиму видение Богоматери: Матерь Божия повелела ему выйти из затвора, и принимать всех, кто будет нуждаться в его утешении, советах и молитве. В это время батюшке было 66 лет. С богатым опытом полувековой монашеской жизни вступил он на путь старчества – духовного руководства людьми. Заметим: старчество – самый жизненный нерв истинного православного монашества, без него не воспитать духа, не отсечь собственной воли: «Старец в монастыре – это matka в улье, коей подчиняется сам игумен». В Патериках рассказано о многих трогательных примерах истинного смирения пред старцем. Где есть старец, там тепло инокам и послушникам: он и в скорби утешит, и в ссоре примирит, и в недоумениях вразумит, научит. Преподобный Серафим покойному наместнику Сергиевской Лавры архимандриту Антонию (Медведеву) говорил: «Не отцом будь, а матерью своим монахам».

И это применимо к старцу даже больше, чем к игумену, к настоятелю. Настоятель иногда должен быть формально строг, старец же всегда ласков и добр. У игумена – власть, у старца – любовь. Игумен пригрозит: «Выгоню из обители». Старец вздохнет, задумается, скажет холодно: «Ну, делай как знаешь». И тем даст понять, что ты его обижаешь своим непослушанием, невыполнением его заповедей... Тоже угроза: «Не буду любить, живи как знаешь». А ведь это больше, чем «выгоню». Такому воплощению любви люди готовы бывают в ноги поклониться, проливать слезы покаяния – только бы простил, только бы опять приласкал.

К сожалению, мир мало знаком с радостями иноческой жизни. Когда соприкасаешься с этой жизнью, когда сердцем познаешь радость общения с благодатными старцами, тогда всей душой стремишься в святые обители, чтобы там освежить себя, обновиться духом и почувствовать превосходство духовных ценностей над суетой мирской. Духовное, таинственное общение с такими старцами не прекращается и по смерти их: любовь ведь никогда не умирает. Достаточно вспомнить, что говорил своим духовным чадам преподобный Серафим Саровский: «Когда скорбно вам будет, приходите на

мою могилку, да все мне, как живому, и поведайте, и вам станет легче»...

И к могилке своих старцев стремятся любящие их души, издалека пишут в обитель: «Батюшке родному поклонитесь, на могилку сходите, шепните ему, родному, дочка твоя, сыночек твой скорбит, – помоги, родной». В этих простых, но искренних, слезами растворенных словах, чувствуется: в старце ценится его духовный опыт жизни. «Слово от опыта – живая вода, утоляющая жажду души: слово без опыта – вода, разбрызганная по стене. Слово от опыта – чистое золото, без опыта – медница. И таким-то сокровищем обладают и всех обильно наделяют старцы. Сам искушенный, может и искушаемым помочь».

Вот такая благодатная сила заключается в старчестве, и на этот путь Господь Бог благословил отца Серафима.

IX

Батюшка Серафим прежде всего любил беседовать с иноками. Он учил их точному исполнению иноческих правил, ревности к церковному служению. «На жизнь нашу – говорил подвижник, – надобно смотреть, как на свечу, делаемую из воска и светильни, и горящую огнем. Воск – это наша вера, светильня – надежда, а огонь – любовь, которая все соединяет вместе: и веру, и надежду, подобно тому как воск и светильня горят вместе при действии огня. Свеча дурного качества издает смрад при своем горении и угасает – так смрадна в духовном смысле и жизнь грешника пред Богом. А потому, глядя на горящую свечу, особенно когда стоим в Божием храме, вспоминаем начало, течение и конец нашей жизни: ибо тает свеча, зажженная пред Ликом Божиим, – так с каждой минутой умалется и жизнь наша, приближаясь к концу. Эта мысль поможет нам менее развлекаться в храме, усерднее молиться и стараться, чтобы жизнь наша пред Богом была похожа на свечу из чистого воска, не издающую смрада».

Для спасения души великую силу имеет Причастие. Приступать ко Святому Причастию отец Серафим советовал во все двенадесятые праздники, и никак не упускать без говений четырех постов в году. О спасительном значении Таинства

Евхаристии он говорил так: «Если бы мы и весь океан наполнили слезами, то и тогда бы не могли отблагодарить Господа за то, что Он изливает на нас жизнь и питает нас Пречистою Своею Кровию и Телом, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. И приступай без сомнения, не смущайся, а веруй только».

Особенным свойством обхождения и бесед батюшки были любовь и смиренномудрие: кто бы ни был приходящий – бедняк в рубище или богач, в каком бы греховном состоянии ни находилась совесть человека, – всех принимал он и всем старался помочь и всех утешить.

Ежедневно, с окончанием ранней обедни до 8 часов вечера, келия старца была открыта для мирян, а для саровской братии она была открыта во всякое время. Эта маленькая келия освещалась лишь лампадой и свечами, горевшими пред иконами. Двумя маленькими окнами она смотрела в сторону луговой дали. На полу лежали мешки с песком и камнями – служили подвижнику постелью.

На беседу с посетителями отец Серафим обычно выходил в белом подряснике и мантии, а в дни, когда приобщался, возлагал на себя еще епитрахиль и поручи. Сила его слова заключалась главным образом в том, что все, что проповедывал, он исполнял сам; какие духовные упражнения рекомендовал другим – сам владел ими, постигнув их благодатную силу. «Учить других, – говорил старец, – это так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки, а проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камешки на верх собора».

С особой любовью батюшка встречал тех, в ком видел желание исправиться и искренне раскаяться в грехах. Побеседовав с таким благоразумным человеком, он возлагал на его голову епитрахиль и правую руку, затем произносил: «Согрешил я, Господи, согрешил душою и телом, словом, делом, умом и помышлением и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или неведением». После чего читал разрешительную молитву, крестообразно помазывал елеем из

лампады лоб посетителя и давал ему, если то было утро, богоявленской воды и антидора. Люди уходили от него с необыкновенной отрадой в душе. Особенно же советовал и настаивал отец Серафим на том, чтобы постоянно иметь в сердце молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

– В этом да будет все твое внимание и обучение, – поучал он.

Кроме того, старец решительно настаивал, чтобы всякий христианин исполнял бы свое хотя бы малое молитвенное правило.

– Вставши от сна, – говорил он, – следует читать «Отче наш» трижды, «Богородице Дево, радуйся» трижды и «Верую во единого Бога» – один раз. Затем до обеда читать, по возможности всегда, и в пути, и в труде, Иисусову молитву, а при людях повторять мысленно «Господи, помилуй». Перед обедом повторять утреннее правило. После обеда до вечера, вместо Иисусовой молитвы, читать «Пресвятая Богородице, спаси мя грешного». Перед сном опять утреннее правило. Кто же не имеет времени, пусть совершает эти правила хоть в пути, или в постели, помня, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. А имеющие время пусть читают еще зачала из Евангелия, акафисты и псалмы. Малое же это правило – высокого достоинства: первая молитва – «Отче наш» – образец молитв, дана Господом; вторая – «Богородице Дево» – принесена Ангелом с неба; в третьей – «Символ веры» – все догматы веры.

Здоровел духом и слабел телом отец Серафим. От многих трудов, стояния на камне, от затвора, болели у него ноги. Сильно страдал он и головными болями. Необходимо было батюшке дышать свежим воздухом, и он часто по ночам выходил из своей келии. А с 1825 года, после видения ему Богоматери и с благословения настоятеля, старец стал ходить ежедневно к Ближней пустыньке – ставлена в двух верстах от монастыря. Рядом с пустынькой бил родник свежей, холодной воды. У родника стоял столбик – часовенка, по-народному каплица, каких так много было на просторах нашего Отечества –

ставили на перекрестках дорог, у родников и колодцев. И на этот столбик старец водрузил икону святого Иоанна Богослова, поэтому и родник тот назван Богословским. Вокруг родника были устроены грядки, и старец трудился здесь, выкрывая дно родника камешками и возделывая на грядках овощи. Рядом поставили срубец, где отец Серафим скрывался во время жары; к вечеру же он возвращался в Саров. Рано утром, часа в четыре или даже в два по полуночи, батюшка уходил в эту Ближнюю пустыньку в холщевом белом подряснике, в камилавке, с топориком в руке и с сумою, наполненную камнями или песком; поверх тяжести клал Евангелие. На вопрос о суме отвечал кратко: «Томлю томящего мя».

К тому времени многие русские православные люди со всех концов Отечества стремились побывать у старца Серафима, чтобы послушать его назиданий. Имя подвижника стало передаваться из уст в уста повсеместно. Особенно торжественное и великое зрелище наблюдалось в Сарове в праздничные дни, когда батюшка Серафим возвращался из храма после принятия Святых Таин. Согбенный старец в мантии, епитрахили и поручах шел, сияя особенной светлой радостью. Тогда его старческое лицо делалось исключительно родным и приятным. По пути, в обители и в самой пустыньке – всюду его ждало множество народа. Великою духовною силою наполнялась беседа отца Серафима с посетителями. Его речь как бы снимала повязку с глаз, открывала новые дали. Он всегда говорил то, что в конкретном случае было самым важным, самым нужным для человека. Его слова грели сердце, приводили к раскаянию, порождали желание исправиться и стать лучше; он проникал в душу человека и пробуждал у него спящую совесть.

Высокий завет оставил Саровский подвижник молодому поколению – детям, в их отношениях к родителям. Теперь, когда среди молодого поколения немало встречается юношей, забывающих свой сыновний долг по отношению к родителям, когда добрые советы и наставления родителей часто не находят отклика даже в детских душах, завет старца имеет особенную ценность. Великий подвижник внушал детям уважать родителей,

хотя бы они и имели слабости, унижающие близких. Для юношей, забывающих сыновний долг, особенно поучителен такой пример. Один человек пришел к старцу со своею матерью. Она страдала запоем. Только что ее сын хотел сообщить батюшке Серафиму о слабости, как старец мгновенно своей правой рукой заградил его уста и не позволил ему далее сказывать ни одного слова. Так насыщались русские православные люди благодатным утешением у старца Серафима. Его любовь с такою силою грела всякого, что ручьями слезы текли у тех, чье сердце до времени молчало, будучи, твердым и окаменелым.

Старец как великий ревнитель Православия особенно благоговел к памяти святых Отцов. Он внимательно читал творения Климента, папы Римского, а также Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григорий Богослова, Афанасия Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Епифания Кипрского, Амвросия Медиоланского, любил вспоминать об их твердом стоянии в вере. Отстаивая чистоту догматов веры, старец ссылался на блаженного Марка Эфесского, который с непоколебимым мужеством защищал Православие на Флорентийском соборе. Отец Серафим любил беседовать и о том, как сохранить веру Православную, радовался, что наша Церковь содержит в себе Христову истину во всей ее полноте и целостности. Высоко чтил подвижник и деяния русских святых, говорил о их жизни, брал с них примеры для подражания. Вообще жития святых являлись для него готовыми проповедями, с которыми он выходил живо поучать народ.

В памяти самовидцев преподобного сохранились многие случаи поразительного влияния его простых бесед даже на равнодушного посетителя. «Мы нашли старца в Ближней пустыньке на работе, – вспоминал один посетитель, – он разбивал грядку мотыгой. Когда мы поклонились ему до земли, он благословил нас и, положив на мою голову руки, прочитал тропарь Успению: «В рождестве девство сохранила еси...» Потом сел на грядку и приказал нам также сесть, но мы невольно стали пред ним на колени и слушали его беседу о будущей жизни, о жизни святых, о заступлении, предстательстве

и попечении о нас, грешных, Владычицы Богородицы и о том, что необходимо нам в земной жизни – для вечной. Эта беседа продолжалась не более часа, но такого часа я не сравню со всею прошедшею жизнью. Во все продолжение беседы я чувствовал в сердце неизъяснимую, небесную сладость, Бог весть каким образом туда переливавшуюся, которую нельзя сравнить ни с чем на земле. До тех пор для меня в духовном мире все было совершенно безразлично. Отец Серафим впервые дал мне почувствовать всемогущество Господа Бога и Его неисчерпаемое милосердие и всесовершенство.

Кроме всего, отец Серафим обладал в сильнейшей степени даром прозорливости. Одному из своих почитателей он сказал: «Что мне повелевает Господь как рабу Своему, то я передаю требующему как полезное. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только веруя, что так мне указывает воля Божия. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю».

Вот это ощущение таинственного дара прозорливости, собственно, и объясняет, почему отец Серафим, не распечатывая писем, знал их содержание и давал на них ответы. После его смерти найдено много таких нескрытых писем, но ответы на них им были уже даны при жизни.

Он предвидел тяжелые годы Крымской кампании и говорил, что на Россию восстанут три державы и много изнурят ее, но за Православие Господь помилует и сохранит нашу страну.

Своим праведным взором старец провидел прославление святителя Митрофана Воронежского и письменно поздравил архиепископа Антония Воронежского с открытием мощей, в то время когда еще не было ни откровений, ни явлений у гроба святителя. Духом отец Серафим знал многих подвижников и был с ними в общении, несмотря на то что они жили далеко от него, и он их никогда не видел. Известны, например, его полные изумительной прозорливости устные послания к затворнику Задонского Богородицкого монастыря Георгию, у которого тайно возник помысл – не переменить ли ему своего места на более уединенное. Причем никто, кроме него, не знал этого тайного

смущения, И вдруг приходит к затворнику Георгию какой-то старец и говорит ему: «Отец Серафим приказал тебе сказать: стыдно-де, столько лет сидевши в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи: Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Ту же духовную близость проявил прозорливец отец Серафим к пространственно далекому затворнику Даниилу Ачинскому, в Сибири.

А вот как старец прочитал своими духовными очами, в чем семейное счастье одного офицера – помещика Рязанской губернии. Тот приехал в Саров и просил у старца благословения на вступление в брак. Отец Серафим указал ему невесту, назначенную Богом. Жила она неподалеку от этого помещика, и старец назвал ее по имени. Но тот объявил старцу, что женится на другой. «Тебе сия не принадлежит в радость, а в печаль и в слезы», – ответил ему старец. Офицер женился по своему выбору, но не прошло и года, как овдовел. Вдовым он был еще раз у старца, потом женился на особе, указанной в первый раз старцем, и жил с нею счастливо.

Отец Серафим обладал также даром исцелений. Приходивших к нему больных он помазывал маслом из лампы, горевшей у него в келии пред иконою Богоматери «Умиление», названною им «Всех радостей Радость». Когда его спросили, зачем он это делает, то обычно отвечал: «Мы читаем в Священном Писании, что апостолы мазали маслом, и многие больные от сего исцелялись. Кому же следовать нам, как не апостолам?»

И помазанные им получали исцеление. Такое же благодатное свойство, по молитвам отца Серафима, сообщалось и воде из родника его Ближней пустыньки. Эта вода годами не портилась, ею омывались болящие во всякое время года, даже в холода, и получали исцеление. В жизнеописаниях старца рассказывается много случаев чудесного исцеления этой благословенной водою.

Вот мимо Сарова проезжает в 1830 году по делам службы молодой кавалерийский офицер. Слышал он по дороге рассказы о старце, хотел заехать к нему, но не решился, боясь,

что старец обличит его перед другими в его грехах, особенно же за его отношение к иконам. Офицеру казалось, что произведение рук человеческих не может вместить в себе благодати, и быть предметом почитания. Вскоре ему снова, с командой нижних чинов, пришлось проезжать мимо Сарова, и теперь, по совету отца, он решил повидать старца. И вот что произошло. «Около келии стояло уже много народа, пришедшего к отцу Серафиму за благословением. Он, благословляя прочих, взглянул на меня, – пишет позже офицер, – и дал мне знак рукою, чтобы я прошел к нему. Я исполнил его приказание, со страхом и любовью поклонился ему в ноги, прося благословения на дорогу и на предстоящую войну и чтобы он помолился о сохранении моей жизни. Отец Серафим благословил меня своим медным крестом, который висел у него на груди, и, поцеловав его, начал исповедовать меня, сказывая грехи мои, как будто бы они были совершены при нем. По окончании этой утешительной исповеди, он сказал мне: «Не надобно покоряться страху, который наводит на юношей диавол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и помнить, что хотя мы и грешные, но находимся все под благодатью нашего Исккупителя, без воли Которого не спадет ни один волос с головы нашей». Вслед за тем он начал говорить и о моем заблуждении относительно почитания святых икон. «Как худо и вредно для нас желание исследовать Таинства Божия, недоступные слабому уму человеческому, например как действует благодать Божия через святые иконы, как она исцеляет грешных, подобных нам с тобой, – прибавил старец, – и не только тело, но и душу, так что и грешники, по вере и по находящейся в них благодати Христовой, спасались и достигали Царства Небесного».

– Слушая отца Серафима, я забыл о земном своем существовании. Солдаты, возвращающиеся со мною в полк, удостоились также принять его благословение, и он, делая им наставление, предсказал, что ни один из них не погибнет в борьбе, что и сбылось действительно. Уходя от отца Серафима, я положил подле него на свечи три рубля. Но враг мне вложил такую мысль: «Зачем святому отцу такие деньги». Эта мысль

смutila меня, и я поспешил с раскаянием к отцу Серафиму. Я вошел с молитвою к старцу, а он, предупреждая слова мои, сказал мне следующее: «Во время войны с галлами надлежало одному военачальнику лишиться правой руки; но эта рука дала какому-то пустыннику на святой храм, и молитвами Святой Церкви, Господь спас ее. Ты это пойми хорошенько и впредь не раскаивайся в добрых делах. Деньги твои пойдут на устройство Дивеевской обители, за твое здоровье». Потом отец Серафим опять исповедал меня, поцеловал, благословил и дал мне съесть несколько сухариков и выпить святой воды. Вливая ее мне в рот, он сказал: «Да изженется благодатию Божиею дух лукавый, нашедший на раба Божия Иоанна». Старец дал мне и на дорогу сухарей и святой воды и, сверх того, просфору, которую сам положил в мою фуражку. Наконец, получая от него последнее благословение, я просил его не оставлять меня своими молитвами. На это он сказал: «Положи упование на Бога и проси Его помощи. Да умей прощать ближним своим, и тебе дастся все, о чем ты ни попросишь». В продолжение Польской кампании я был во многих сражениях, и Господь везде меня спасал за молитвы праведника Своего.

А вот приходит к старцу генерал и рассказывает: «Вашими молитвами я спасся во время Турецкой кампании. Окруженный многими полками неприятеля, я оставался только с одним своим полком. Не было никакой надежды на спасение. Я только твердил непрестанно: «Господи, помилуй молитвами старца Серафима», ел сухарики, данные мне Вами в благословение, пил воду, и Бог охранил меня от врагов невредимым». Старец на это отвечал: «Великое средство ко спасению – вера, особенно же непрестанная, сердечная молитва».

Были случаи, когда отец Серафим являлся настоящим миротворцем в семейной жизни уже разошедшихся супругов.

По его молитвам мать, потерявшая из виду своего сына и припавшая к ногам старца, находит его через три дня там же, в Сарове.

Самая обстановка Серафимовой келии была в то время как бы иконостасом. Стояли образа, много горело лампад и теплились сотни восковых свечей, поставленных за живых и

умерших христиан. Сам старец объяснял такое множество лампад и восковых свечей у себя так: «Я имею, – говорил он почитателю своему Мотовилу, – многих особ, усердствующих ко мне и благотворящих моим сиротам (сестрам Дивеевского монастыря). Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю правило свое, то и поминаю их единожды. А так как по множеству имен я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, – тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, – то я и ставлю свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече; за иных – за несколько человек одну большую свечу, за иных же постоянно тепло лампады; и, где следует на правиле поминать их, говорю: «Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за них же души возжег Тебе аз, убогий, сии свечи и кандила». А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или усердие, ни на чем не основанное, то я приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголавшего к нему: «Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во дни и в ночи. Сие бо угодно есть предо Мною, и жертва благоприятна Ми есть». Так вот почему Святая Церковь приняла в обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандила, или лампады, пред иконами.

Приближаясь к концу своей жизни, преподобный не смягчал своего строгого образа жизни. Вкушал однажды в день, надевал на себя подрясник из толстого черного сукна, а от дождя и жары накидывал на плечи полумантию из толстой кожи, с отверстием для головы и рук. Поверх одежды опоясывался белым, чистым полотенцем и надевал свой медный материнский крест. Один богатый человек спросил его: «Зачем ты носишь такое рубище?» Старец отвечал: «Святой Иоасаф-царевич данную ему пустынником мантию счел выше и дороже царской багряницы».

Спал он сидя на полу, прислонившись спиной к стене и протянув ноги. Часто же укладывался на кирпичах и на поленьях, а в самое последнее время становился ниц и спал

лицом к полу, поддерживая голову руками. Это помогало особому напряжению созерцательного настроения у подвижника. Он как будто уже отделялся от земли. Характерным был тогда и ответ подвижника одному офицеру, который спросил старца, не надо ли передать от него чего-либо курским его родственникам. Батюшка, указывая на лик Спасителя и Богоматери, ответил: «Вот мои родственники, а для живых родных я уже живой мертвец».

В то время отца Серафима читла уже вся Россия, а современные ему подвижники смотрели на него, как на великого духовного наставника. Даже епископы писали ему и спрашивали у него совета. Особенно почитал его воронежский святитель Антоний, которого старец Серафим называл Великим архиереем Божиим. И действительно у архиепископа Антония был неиссякаемый запас милосердия к людям. Это он сказал и на деле подтвердил свою мысль: «Скорбь о ближних для души иногда полезнее собственной скорби».

Старческие немощи уже настолько ослабили отца Серафима, что он не мог каждый день ходить в свою Ближнюю пустыньку, чтобы там принимать посетителей. Но внешний вид старца был светлым и радостным. До самых последних дней своей жизни он сохранил ясный и пронзительный ум. Люди основательно образованные отзывались о батюшке, как о человеке одаренном чрезвычайно, они чувствовали в старце могучий дух и живое творческое начало. Лицо белое, приятное, глаза пронзительные, светло-голубые и детский румянец на щеках под густыми седыми волосами – таков внешний облик нашего подвижника.

Наступали последние месяцы жизни старца, он стал готовиться к смерти. Часто видели его в сенях у дубового гроба, приготовленного для себя. Так размышлял он там о загробной жизни, и земной путь казался ему столь несовершенным, что он горько сокрушался и плакал. Прощаясь с людьми, старец говорил: «Мы не увидимся более с вами». Когда некоторые высказывали желание приехать в Саров Великим постом, старец отвечал: «Тогда двери мои затворятся. Вы меня не увидите».

В августе, всего за 4 месяца до кончины отца Серафима, его посетил Тамбовский преосвященный Арсений, впоследствии митрополит Киевский. Старец поднес архиерею четки, пук восковых свечей, обернутых в холстину, бутылку деревянного масла и шерстяные чулки. Затем отдельно передал ему бутылку церковного вина. Все это означало, что старец просит помянуть его по смерти своей... Свечи, масло и вино, сбереженные преосвященным, затем были употреблены на ту Литургию, которую он совершил об упокоении старца, когда получил известие о его кончине. Батюшка Серафим приказал послать некоторым лицам письма, приглашая их поспешить приездом к нему, а другим поручил после смерти своей передать полезные для них советы. «Сами-то они меня не увидят», – объяснил старец.

Трогательна и чрезвычайно содержательна была его последняя беседа с одним мирянином. Эту беседу особенно следует помнить всем православным христианам, почитающим память нашего родного русского угодника: «Добро делаю, укоряют – не укоряй, гонят – терпи, хулят – хвали, осуждай сам себя – так Бог не осудит; покоряй волю свою Воле Господней; никогда не льсти; поминай в себе добро и зло: блажен человек, который знает это. Люби ближнего: ближний – плоть твоя. Если по плоти поживешь, то душу и плоть погубишь; а если по Божьему, то обеих спасешь. За уступки миру многие погибли: еще кто не творит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех и больше всего Бога... Подчиненных храни милостями, облегчением от трудов, а не ранами. Напои, накорми, будь справедлив, Господь терпит, может быть, и еще потерпит. Ты так делай: еще Бог прощает – и ты прощай... Что приняла и облобызала Святая Церковь – все для сердца христианина должно быть любезно. Не забывай праздничных дней; будь воздержен, ходи в церковь, разве немощи когда; молись за всех: много этим добра сделаешь. Давай свечи, вино и елей в церковь – милостыня много тебе блага сделает. По постам скоромного не ешь: хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по сто лет жили? Не о хлебе едином жив будет человек. Что Церковь положила на семи Вселенских Соборах – исполняй.

Горе тому, кто хоть слово одно прибавит к сему или убавит. Что врачи говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением? Господь призывает нас, да мы сами не хотим. Смирение приобретаю молча. Бог сказал пророку Исаии: «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес Моих». «Кто приобщается, везде спасен будет; а кто не приобщается – не мню».

Эта беседа происходила 25 декабря 1832 года, в день Рождества Христова. Старец в этот торжественный праздник выстоял Литургию, которую совершал игумен Нифонт. Отец Серафим по обычаю причастился Святых Таин и после Литургии долго беседовал с игуменом. Он просил его попещись о молодых иноках. Тогда же старец напомнил, чтобы его по смерти положили в дубовой гробе, сделанном собственными руками. В тот же день подвижник передал иеромонаху Иакову финифтяный образ «Посещение Богоматерью преподобного Сергия Радонежского», с просьбой, чтобы сей образ возложили на него по кончине и с ним же опустили в могилу. Этот образ был в свое время прислан старцу из Троице-Сергиевской Лавры архимандритом Антонием (Медведевым), бывшим саровским послушником.

Прошли последние дни 1832 года. Новый, 1833 год, начинался тогда в воскресенье. В последний раз пришел старец к Литургии в дорогу для него больничную церковь Соловецких чудотворцев, где раньше стояла его келия, и где он сподобился чудесного исцеления явлением Божией Матери. На постройку этого храма он сам ходил по сбору средств, и престол этого храма сработан из кипарисового дерева его же собственными руками. Пришел отец Серафим в храм, обошел все иконы, поставил пред ними свечи и приложился. Выстоял всю Литургию, приобщился Святых, Христовых Таин, а затем стал прощаться со всею братией, благословляя и обнимая со словами: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. Нынешний день нам венцы готовятся».

По прощании с братиею, старец приложился ко кресту и к образу Богоматери, затем обошел вокруг престола и вышел из храма северными дверями, как бы в знамение того, что человек

входит в жизнь рождением, а уходит смертью, После Литургии батюшка принимал Ирину Васильевну – сестру Дивеева монастыря, которой передал двести рублей ассигнациями на покупку хлеба для девичьей общины. Затем старца посетил иеромонах Высокогорской Арзамасской пустыни Феоктист. Прощаясь с ним, подвижник сказал: «Ты уж отслужи здесь».

Не имея времени задерживаться в Сарове и не поняв значения слов старца, иеромонах отправился в путь. Но батюшка опять напомнил ему: «Ну, так ты завтра в Дивееве отслужишь».

И действительно, иеромонах Феоктист в Дивееве получил известие о кончине отца Серафима, там он и отслужил по нем панихиду.

Была еще в тот день у старца одна из Дивеевских сестер, которой он сказал: «Матушка, какой нынче будет Новый год. Земля постонет от слез». Инокня не поняла, что старец говорит про свою кончину.

Как провел отец Серафим последний вечер своей жизни, известно лишь со слов его соседа по келии, инок Павла. Покои отца Павла соединялась общими сенями с покоем старца Серафима, но самые келии разделялись глухой стеною. Отец Павел был монах смиренный, никого не осуждал и старец доверял ему, отзываясь о нем так: «Брат Павел за простоту своего сердца без труда войдет в Царствие Божие. Он никогда никого не судит и не завидует никому, а только, знает собственные грехи и свое ничтожество». Этот инок, собственно, не был келейником, так как келейника у батюшки Серафима никогда и не было, но отец Павел, случилось, как добрый сосед, помогал и оказывал ему какие-то услуги. Этот же отец Павел не раз предупреждал старца, что от его привычки оставлять без надзора много горящих свечей может случиться пожар. На это подвижник давал такой ответ: «Пока я жив, пожара не будет. А когда умру, кончина моя откроется пожаром».

Отец Павел заметил, что 1 января батюшка Серафим три раза выходил из келии к тому месту, которое им было выбрано для своего погребения. И, стоя там, он долгое время смотрел в землю, а вечером у себя старец пел пасхальные песнопения:

«Воскресение Христово видевше... Светися, светися новый Иерусалиме... О Пасха велия и священнойшая Христе».

Эти торжествующие песнопения, перемежаясь с другими победными молитвами, свидетельствовали, что дух отца Серафима возносился к тем небесным чертогам, которые для него в то время уже уготовлялись. Утром 2 января инок Павел, выйдя из своей келии и направляясь к ранней обедне, почувствовал запах дыма в сенях. Шел запах из покоев отца Серафима. Инок попробовал отворить дверь, она была заперта изнутри крючком. Отец Павел сотворил обычную при посещении келий молитву, ответа не последовало. Тогда инок вышел на крыльцо и, заметив в темноте проходивших в церковь братий, позвал их, чтобы проверить свои догадки насчет пожара, полагая, что старец ушел в Дальнюю пустыньку. Один из проходивших, послушник Аникита, бросился к двери отца Серафима и, сильно рванув, сдернул ее с внутреннего крючка. Поскольку рассвет еще не наступил, а в келии свету не было, то ничего и разобрать нельзя было в темноте; чувствовался лишь запах гари от тлеющих холстов – лежали у двери. Старца не было ни видно, ни слышно. Монах Павел и послушник Аникита стали на ощупь отыскивать батюшку, потом зажгли свечу и увидели его на обычном месте, перед аналоем – стоял коленопреклоненный с открытою головою, с медным крестом на груди. Глаза его были закрыты; руки, сложенные крестообразно, лежали на аналое, поверх книги, по которой он совершал свое молитвенное правило пред иконой Божией Матери «Умиление». Склоненная в молитве голова покоилась на руках.

Собравшиеся было подумали, что старец уснул. Его даже слегка побудили, потом братия уже сообразила, что старец Серафим почил о Господе, и что его душа переселилась в другой, вечный мир. Лицо почившего подвижника продолжало свидетельствовать о возвышенной его молитве и духовной радости.

В эту ночь подвизавшийся в Глинской пустыни старец Филарет, выходя от утрени, указал братии на необыкновенный свет, видимый на небе. При этом он произнес: «Вот как отходят

души праведных. Ныне в Сарове душа отца Серафима возносится на небо».

Старца обмыли, облачили, положили в дубовый гроб, туда же вложили его финифтяную икону с изображением преподобного Сергия. Новопреставленного сразу же вынесли в собор. Быстро разнеслась в разные концы весть о кончине дивного старца. Множество народа сошлось и съехалось в Саров. Если принять во внимание, что взаимная привязанность старца и людей была безгранична, то станет понятно все то горе, которое доставила его кончина. Предсказание батюшки: «Земля постонет от плача и рыдания» сбылись в полной мере. Восемь дней его тело стояло открытым. Ко дню отпевания толпы народу собрались в Саров, чтобы совместно в молитве о нем еще сильнее почувствовать духовную близость к нему, уже в вечности живущему, озаренному Божественным благословением.

Уставное совершение чина монашеского отпевания, глубокое содержание церковных песнопений и умирительные звуки похоронных напевов достойно увенчивали погребение в Саровской пустыни останков старца Серафима. Гроб опустили в могилу у стены Успенского собора.

В Киевском Князь-Владимирском соборе, по поясу купола кистью Виктора Васнецова написана картина «Преддверие рая». Это замечательное произведение искусства с чрезвычайной силою передает стремление души святых угодников к Богу, радость соединения их с Богом навеки. Вот в таком радостном и устремленном к Господу настроении и вознеслась душа Саровского праведника в небесные чертоги, чтобы после явить миру, и прежде всего нам, русским людям, неисчерпаемое море чудес и великое заступление пред Богом. Все это затем вылилось в торжество прославления угодника Божия, преподобного Серафима.

Прославление

В 1901 году Святейший Синод Русской Православной Церкви поручил архиепископу Тамбовскому Димитрию обследовать могилу, гроб и останки старца Серафима, собрать

весь материал к предстоящему прославлению угодника Божия. Архиепископ Димитрий в начале следующего (1902) года, в сопровождении духовных лиц и лиц гражданской администрации, прибыл в Саров и приступил к обследованию захоронения. Напомним: могила батюшки Серафима находилась с правой стороны Успенского собора. Усердием почитателей над могилой была поставлена прекрасная часовня и воздвигнуто тяжелое чугунное надгробие над склепом.

Когда разобрали надмогильный свод, перед архиепископом Димитрием и членами Комиссии предстала совершенно неожиданная картина: могила подвижника оказалась затопленной, и вода полностью покрывала крышку гроба. Архиепископ Димитрий решил немедленно прекратить дальнейшее освидетельствование, составил по этому случаю акт и с пояснениями отправил Святейшему Синоду о сем донесение. Авторитетные хозяйственники и саровские старцы пришли к мнению: вода попала в могилу преподобного при водопроводных работах, происходивших здесь лет сорок тому назад. Так что гроб отца Серафима стоял в воде длительное время; это побудило архиепископа Димитрия испросить дальнейших указаний Синода.

Пока происходил обмен мнений, еще сильнее в верующей среде проявилась Божественная милость к людям, с верою призывавшим на себя заступление великого старца. Синод решил продолжить обследование честных мощей и сделать все необходимые приготовления к достойному их прославлению. Вскоре Тамбовского архиепископа Димитрия перевели на Казанскую кафедру, а в Тамбов поставили преосвященного Иннокентия (Беляева).

17 декабря 1902 года Император Николай II приказал Комиссии по устройству Саровских торжеств продолжить обследование. В ее состав входили: митрополит Московский Владимир (Богоявленский), архимандрит Серафим (Чичагов) и Алексей Александрович Ширинский-Шахматов. В состав этой Комиссии со специальным поручением также входил князь Михаил Сергеевич Путятин, архитектор сооружаемой раки. Для охраны порядка в Саров откомандировали капитана Д.Н.

Ломана с командой Гвардейского батальона. Все эти лица выехали 9 января 1903 года из Петербурга и 10-го уже были в Дивееве, откуда, переночевав, с рассветом выехали в Саров.

Пленительным зимним утром прибыли петербуржцы в монастырь. Благоговейно помолились в храме, исповедались, причастились Святых Христовых Таин, затем в келии игумена Иерофея приступили они к уточнению программы занятий. Во всем этом непосредственное участие принимал высокопреосвященный Иннокентий и приехавшие с ним из Тамбова протоиерей кафедрального собора Тихон Поспелов и епархиальный архитектор. В три часа пополудни Комиссия перешла в часовню-усыпальницу и, по совершении соборной панихиды, приступили к разборке чугунного надгробия. Когда каменные работы исполнили, ключарь Тамбовского собора и князь Ширинский-Шахматов с зажженными восковыми свечами спустились в могилу, наполненную водою. С помощью заведенных под гроб холстов и веревочных снастей, усилиями монастырской братии гроб-колоду подняли наверх и поставили на деревянные балки, опиравшиеся на края могильного склепа. Поставили гроб с небольшим уклоном вперед, так что головная часть его несколько возвышалась, и вода, скопившаяся в нем, могла вытечь через отверстия. Позже всего этого гроб покрыли заранее приготовленным дощатым чехлом и парчовым покрывалом, поверх водрузили образ, затеплили пред ним лампаду и в головах установили большой серебряный подсвечник. Без промедления отслужили панихиду, составили протокол о действиях Комиссии, после чего митрополит Владимир благословил совершение ежедневных панихид по старце Серафиме. Вот отчет протокола.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В лето тысяча девятьсот третье от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, января в одиннадцатый день, митрополит Московский и Коломенский Владимир, епископ Тамбовский и Шацкий Димитрий, епископ Нижегородский и Арзамасский Назарий, архимандрит Суздальский Серафим, архимандрит Вышенский Аркадий, игумен Саровский Иерофей, казначей Саровский иеромонах Климент, ключарь Тамбовского

кафедрального собора священник Тихон Пospelов и прокурор Московской Святейшего Синода конторы князь Алексей Ширинский-Шахматов приступили к исполнению поручения Святейшего Правительствующего Синода по делу освидетельствования честных останков приснопамятного Саровского старца иеромонаха о. Серафима. По выслушании поздней Литургии, а затем отслуженной епископом Димитрием панихиды по в Бозе почившем старце призванные к освидетельствованию лица вступили в часовню, устроенную над могилой иеромонаха Серафима, при юго-восточном выступе летнего собора во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Находящийся среди сей часовни надгробный чугунный памятник являет собою подобие гробницы, установленной на чугунной же подставке, которая, в свою очередь, основана на тесанном из камня цоколе. Этим надгробием совершенно убедительно определяется место упокоения блаженного старца о. Серафима. На памятнике имеется следующая надпись:

«Под сим знаком погребено тело усопшаго раба Божия иеромонаха Серафима, скончавшагося 1833 года генваря 2 дня, который поступил в сию Саровскую пустынь из Курских купцов на семнадцатом году возраста своего, скончался семидесяти трех лет. Все дни его посвящены были во славу Господа Бога и в душевное назидание православных христиан, в сердцах коих и ныне о. Серафим живет». В возглавии надгробия, с западной стороны, помещено выпуклое бронзовое изображение блаженной кончины о. Серафима с надписью: «Блаженная кончина о. Серафима, Саровской обители иеромонаха и пустынника. 1833 года генваря 2 дня». С южной стороны памятника, внизу, на высоте двух с половиной вершков от пола, видно круглое отверстие, через которое чтущие память о. Серафима брали песок с его могилы. По распоряжению высокопреосвященнейшего митрополита Владимира, в часовню, в полдень, призваны были для изнесения описанного надгробия несколько человек из проходящих в обители различные послушания. Надгробие и подставка к оному вынесены были во вновь сооруженный храм над келией о. Серафима. По изнесении памятника, затворена была входная

дверь, и несколько умелых работников, под наблюдением сведущего каменщика, разобрали тесанный каменный цоколь, а затем выбрали весь песок, на глубине одного аршина до свода, выложенного над могилой приснопамятного старца Серафима. Свод очищен был к 4 часам пополудни. Посредине, с северной стороны, свод оказался разобранным на пространстве одного квадратного аршина и место это заложено тремя кусками толстой доски. Отверстие это было проломано в своде по распоряжению преосвященного Димитрия, епископа Тамбовского, производившего в августе прошлого, 1902 года, предварительное освидетельствование гроба и останков о. Серафима по особо доверительному поручению Святейшего Синода. За сим разобран был самый свод, сложенный из весьма крупного одномерного кирпича, легко рассыпавшегося на слоевидные куски. Внутри склепа присутствующие увидели гроб-колоду из дубового дерева. Ввиду невозможности произвести тщательный осмотр честных останков старца Серафима на глубине 1 аршина 14 вершков, признано было необходимым поднять гроб из склепа, что и было исполнено с особенною осторожностью, при чем под колоду подведены были холсты, которыми гроб был поднят и установлен с северной стороны могилы на особом приуготованном столе. После сего присутствующие приступили к тщательному осмотру внешнего вида гроба-колоды, причем оказалось, что таковой имеет следующие размеры: в обхвате – в головах 2 аршина 12 вершков с половиной, в ногах – 2 аршина 10 $\frac{3}{8}$ вершка и длина 3 аршина $\frac{1}{2}$ вершка; цвет гроба почти черный. Дно гроба в ногах, с правой стороны, а также верхняя часть крышки несколько истлели, и во многих частях наружной оболочки, при испытании, дерево оказалось мягким и сырым. Тем не менее, в целом, гроб оказался крепким. По снятии крышки гроба, внутренние его стенки также оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью, хотя при этом никакого запаха ощущаемо не было. В гробу присутствующие увидели: ясно обозначенный остов почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного о. Серафима предалось тлению. Кости же его, будучи совершенно сохранившимися, оказались

вполне правильно размещенными, но легко друг от друга отделяемыми. Волосы главы и браны, седовато-рыжеватога цвета, сохранились, хотя и отделились от своих мест. Подушка под главою приснопамятного о. Серафима оказалась наполненной мочалой. На ногах имеются лычные «ступни». Под руками приснопамятного о. Серафима обнаружен медный литой крест размером приблизительно в 3 вершка. По освидетельствовании, останки в Бозе почившего были накрыты глазетом, а гроб-колода обвязан в головах и ногах прочным шелковым шнуром, концы которого, на особой доске, были припечатаны именною печатью высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Московского. Засим гроб опущен был в могилу, покрыт парчовым покрывалом, а склеп задвинут деревянным щитом, поверх которого положен ковер и установлен облаченный в белый глазет стол, на коем утверждена икона Пресвятыя Богородицы, именуемая «Умиление», и возжена лампада. Производившие освидетельствование покинули часовню в шесть часов пополудни».

Подлинный акт подписали все поименованные в начале протокола лица.

На другой день, 12 января, члены Комиссии, оставив часовню с гробом преподобного на попечение монастырского начальства, выехали из Сарова. В течение почти полугода: с января до начала июля 1903 года гроб находился в том самом положении, в котором оставили его члены Комиссии; вода по каплям вытекала из гроба, падая на дно открытой могилы, благодаря чему ко времени, назначенному для переложения мощей в новую раку – 3 июля, гроб уже достаточно обсох.

Как было упомянуто, сооружение раки поручили князю М.С. Путятину. Нужно было, во-первых, устроить и установить каменную гробницу на ступенчатом помосте в правой арке Саровского Успенского собора, во-вторых, сделать наподобие старой дубовой колоды – новую, значительно легче старой, затворяющуюся на ключ и приспособленную для помещения в каменной гробнице, в-третьих, сделать из тонких кипарисовых досок новый гробик для положения в нем честных останков и, в-

четвертых, установить бронзовую сень на четырех каменных колоннах, которая должна завершить собою все это новое сооружение. Работы предварительно выполнялись в Петербурге, в Москве и самом Сарове.

Все последующие действия Комиссии совершались под непосредственным и личным руководством высокопреосвященнейшего митрополита Петербургского Антония (Вадковского).

3 июля в часовне в 9 часов утра у гроба о. Серафима митрополит Антоний с сонмом духовенства отслужил панихиду, по окончании которой гроб был поднят назначенными для сего лицами из духовенства и торжественно перенесен в «Больничную» святых Зосимы и Савватия церковь, в алтаре которой и предположено было совершить омовение честных останков о. Серафима. Надо заметить, что это перенесение не ускользнуло от взоров скопившихся в Сарове паломников. По внесении в храм, гроб был установлен посредине храма на том надгробии, которое ранее находилось над могилою преподобного. По неотступной просьбе усердствующих богомольцев, желавших видеть и хотя бы прикоснуться к гробу преподобного Серафима, митрополит Антоний благословил допускать народ на некоторое время ко гробу преподобного, и люди в течение часа непрерывною толпою шли в храм, дабы видеть и поклониться драгоценной для них святыне. По выходе народа из храма, гроб с всечестными останками преподобного внесен был иеромонахами через северные двери в алтарь, и здесь митрополитом Антонием совместно с епископами Назарием и Иннокентием и другими лицами было совершено омовение честных останков о. Серафима и переложение их в новый кипарисовый гроб. Между престолом и северной стеной алтаря поставлен был особый стол, на который и выложили потом честные останки о. Серафима. Участие в омовении принимали: архимандрит Серафим (Чичагов), о. ключарь Тамбовского кафедрального собора, священник Т. Пospelов, благочинный монастыря, Саровский иеромонах, под личным руководством владыки-митрополита и в присутствии князя А.А. Ширинского-Шихматова и князя М.С. Путятина.

Присутствовавшие при открытии крышки гроба свидетельствуют, что честные останки преподобного были завернуты в момент погребения в монашескую куколь. Отец Серафим лежал в гробу на дубовых стружках. Все содержимое гроба, ввиду дубильных свойств стружки, и самые честные останки, и седые волосы на голове, бороде и усах и все одеяние преподобного – белье, холщовый подрясник, мантия, епитрахиль и куколь – все окрасилось в один цвет, напоминающий корку черного ржаного хлеба. В целях соблюдения тишины и безмолвия, в храме пред особым аналоем назначенный иеродиакон читал канон из вновь составленной службы преподобному Серафиму Саровскому.

Известно также, что с самого начала омовения честных мощей в алтаре стало распространяться ясно ощущаемое всеми присутствующими благоухание, запах цветов гвоздики и свежего липового меда. Июльский день был ясный, солнечный, жаркий, и церковные окна были открыты настежь. Думалось, что где-нибудь поблизости косят траву и этот аромат исходит от скошенных цветов и свежего сена. А владыка-митрополит, проходя по церкви, обратился к присутствующим даже с такими словами: «Братие, братие, а какое же это у вас мыло, что-то уж очень душистое». Но оказывается мыло было то самое, которое привез для омовения святых мощей ключарь Тамбовского собора, и то самое, которое в России называлось «грецким» и употреблялось для омовения престолов при освящении храмов. Тогда владыка-митрополит осенил себя крестным знамением, и всем присутствующим стало ясно, какое благоухание разливалось по церкви.

Надо заметить, что честные мощи преподобного Серафима Саровского относятся к разряду мощей неполного нетления, то есть неполность заключается в том, что при совершенной сохранности костей соединительные ткани сочленения или суставов подверглись тлению, вследствие чего конечности в локтях и коленях легко разнимались. Голова преподобного, с уцелевшими на ней волосами, бровями, усами и бородою, по личному впечатлению автора, прекрасно сохранились. Верхние кожные покровы тоже частично хорошо сохранились и плотно

обледали скелет, как бы к нему присохли, вследствие чего кисти рук в запястьях и ступни в щиколотках остались на своих местах не отделенными, а лик преподобного сохранил следы сходства с иконографическим его изображением.

На груди, поверх епитрахили, лежало молебное Евангелие, а в кисти левой руки (сильно прижатой к груди) держался бронзовый крест – материнское благословение, с которым преподобный никогда не расставался. Этот крест владыка-митрополит сам лично с осторожностью и благоговением вынул из руки преподобного и бережно отвез его в Царское Село, самолично вручив его Государю Императору.

Императрица Александра Феодоровна, благоговейно чтившая память преподобного, от царственных щедрот своих изволила соорудить для этой святыни драгоценный ковчег с золотою цепью и, по прибытии в Саров на торжество открытия мощей и прославления отца Серафима, 18 июля, по окончании вечера в Зосимо-Савватиевской церкви, возложила свое усердное приношение на честные мощи преподобного в присутствии Саровского игумена Иерофея и архимандрита Серафима (Чичагова).

После переложения святых мощей преподобного в новую гробницу, высокопреосвященнейший митрополит Антоний на некоторое время отбыл из Саровской пустыни. За время его отсутствия в Сарове к предстоящему торжеству заканчивались с особою поспешностью строительные и разные другие работы. Для приема богомольцев выстроили в двух верстах от стен обители целый город из более ста вместительных барачных и целый ряд различных лавок для продажи съестных припасов. И хотя до начала торжеств оставалось более недели, городок уже наполнился торжественной жизнью. Множество богомольцев разместилось в бараках. Чрезвычайно пеструю и живописную картину представляли простые люди, пришедшие насладиться духовным торжеством. Здесь собрались представители едва ли не всех народностей, населяющих Великую Россию. Большинство богомольцев, конечно, составляли великороссы и малороссы; но было между ними много и белорусов, мордвы, корелов, зырян и разных других народностей. Все эти люди,

живущие у себя дома в далеко не одинаковых условиях, составляли здесь как бы одну семью, одушевленную одною мыслию – поклониться святым мощам преподобного Серафима и в простосердечной, но пламенной молитве пред ними найти своей душе отраду и утешение.

А какое множество людей собралось здесь, чающих получить предстательством преподобного Серафима благодатную помощь и исцеление от разных обдержавших их недугов. Хромые, слепые, расслабленные и другие убогие встречались на каждом шагу. И многие из них, благодарение Богу, по вере своей исцелялись. О случаях исцеления приходилось постоянно слышать, да и не только слышать, но и видеть самих исцеленных, славящих и благодарящих Бога, явившего над ними, молитвами преподобного Серафима, Свою милость. У источника преподобного Серафима – этого кладезя исцелений, постоянно проявляются знамения милости Божией. В один из дней здесь было более десяти случаев исцелений хромых. Последние, как бы в доказательство чудесно явленной над ними милости Божией, собрали свои костыли и в присутствии множества народа на берегу реки Саровки предали их сожжению. Кроме этого источника, привлекающего постоянно стечение богомольцев, другим таким излюбленным местом являлась обширная монастырская площадь в стенах самой обители, где расположены храмы и келии иноков. Здесь до начала торжеств особенное внимание богомольцев привлекал двухэтажный каменный храм во имя преподобных Зосимы и Савватия. Пред этим храмом постоянно приходилось видеть коленопреклоненных богомольцев, хорошо знавших, что здесь сокрыто до времени драгоценное для них сокровище – святыне мощи батюшки Серафима.

Числа с 10 июля начали наполняться приезжими богомольцами и многочисленными, специально сооруженными к предстоящему торжеству, гостиницы. 10 июля в Саров приехал из Казани высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий, назначенный Святейшим Синодом к участию в предстоящих торжествах. На следующий день прибыл товарищ обер-прокурора Святейшего Синода, сенатор В.К. Саблер, а в

субботу, 12 июля, в 6 часов вечера – высокопреосвященнейший митрополит Санкт-Петербургский Антоний. Кроме того, в это же, время прибыли в Саров для участия в богослужениях и крестных ходах на торжестве открытия святых мощей и некоторые представители столичного духовенства: ректор Духовной семинарии архимандрит Сергей, наместник Александро-Невской лавры архимандрит Корнилий, ризничий Лавры архимандрит Гедеон, правитель дел лаврского духовного собора архимандрит Макарий, архидиакон лавры Иоанн, два иподиакона, иеродиакон Лавры Илларион и 60 человек певчих митрополичьего хора. Кроме того, из белого духовенства, в качестве народных проповедников, – протоиерей Философ Орнатский и священник Александр Рождественский.

Распоряжением преосвященного Иннокентия, епископа Тамбовского, сделан к этому времени целый ряд приготовлений церковного характера. Дело в том, что положение Саровской пустыни исключительное, далеко не похожее на положение других обителей, расположенных среди населенных пунктов и городов. Саровская пустынь приютилась в глухом лесу. Самая ближайшая от нее деревня в 12 верстах. Вокруг монастырских храмов расположены лишь братские корпуса и за пределами монастырской ограды четыре гостиницы. Понятно, все собравшиеся богомольцы не могли найти себе приюта в монастырских гостиницах. Не хватило и городка, выстроенного в двух верстах от обители. Поэтому, для удовлетворения этой насущной нужды, в разных направлениях, за пределами обители, близ дорог, устроены были гражданской властью бараки. Епархиальная же власть признала нужным для каждой группы бараков воздвигнуть по часовне, снабдив каждую из них всем необходимым для совершения панихид и молебных пений. В часовне всегда находился чередной священник и певцы для совершения молитвословий. Здесь же раздавались народу иконки с изображением преподобного Серафима, «Троицкие листки», брошюры религиозного содержания. Для обслуживания часовен преосвященный Иннокентий вызвал до 30 иеромонахов из монастырей Нижегородской, Тамбовской и Харьковской епархий, столько же священников из северных уездов

Тамбовской епархии и до 150 послушников и причетников. Из дальних барakov ежедневно устраивались крестные ходы к стенам обители, где совершались, на особом возвышении, торжественные всенощные и молебные пения.

В воскресенье, 13 июля, по просьбе сестер Дивеевской обители, высокопреосвященнейший митрополит Антоний совершил здесь, в соборном храме во имя Святыя Троицы, Божественную Литургию, в сослужении преосвященных: Нижегородского Назария и Тамбовского Иннокентия. Обитель Дивеевская сохраняет в себе много предметов, бывших в личном употреблении отца Серафима. Сюда сестры обители, вскоре после кончины преподобного, перенесли Ближнюю и Дальнюю подвижнические его келии-пустыньки. Первая находится в том виде, в каком была при жизни блаженного старца, а вторая обращена в алтарь в храме Преображения Господня. В этом храме устроены четыре витрины, в них хранятся вещи преподобного: епитрахиль, мантия, богослужебные книги, скуфейки, полумантия, мотыка, топорик, лапти, рукавички, завязанные в узелке волоса преподобного, часть камня, нож, чулки, чоботы и другие вещи. В алтаре хранится табурет, стоявший в келии преподобного. Образ Царицы Небесной «Умиление», написанный на полотне, натянутом на кипарисовую доску, и стоявший в монастырской келии преподобного, помещен в особом киоте и в драгоценной ризе у столба, на левой стороне Троицкого соборного храма. В этом храме из четырех его приделов один с 1875 года хранился неосвященным, потому что вера Дивеевских сестер в святость отца Серафима и в его прославление была так сильна и жива, что они терпеливо ждали этого Всероссийского церковного торжества для посвящения придела его имени.

15 июля, в день памяти просветителя Земли Русской, святого равноапостольного князя Владимира, в монастырском храме «Живоносного Источника» высокопреосвященнейший Димитрий, архиепископ Казанский, совершил Божественную Литургию, а после нее было совершено высокопреосвященнейшим митрополитом Антонием с архиепископом Димитрием и епископами Назарием и

Иннокентием молебствие святому равноапостольному князю Владимиру. За Литургиею священник А.В. Рождественский произнес назидательное поучение. На следующий день, по благовесту в большой колокол, в соборном Успенском храме монастыря, в 12 часов дня была совершена торжественная панихида с поминовением: Благочестивейших Государей и Государынь, от Императрицы Елизаветы Петровны до Александра III включительно, Владимирского епископа Виктора, рукополагавшего преподобного отца Серафима во иеродиакона, епископа Тамбовского Феофила, совершившего хиротонию преподобного во иеромонаха, и всех почивших архипастырей Тамбовских, родителей преподобного Серафима – Исидора и Агафии, а также всех почивших игуменов и строителей Саровских, при которых подвизался преподобный. Одновременно с служением торжественной панихиды в Успенском соборе совершались панихиды и в других монастырских храмах и часовнях, устроенных у источника, пустынок, бараках и т. п. В Успенском соборе владыке митрополиту и преосвященным сослужили одиннадцать архимандритов и девятнадцать протоиереев, священников и иеромонахов. Собор заполнился молящимися. Пели два хора: митрополичий, под управлением г. Тернова, и хор Тамбовских архиерейских певчих. Панихида продолжалась более полутора часа.

В тот же день, в 6 часов, в Успенском соборе и в храме «Живоносного Источника», а также и в других монастырских храмах, где не велась исповедь богомольцев, совершено заупокойное всенощное бдение. В Успенском соборе совершал богослужение высокопреосвященнейший митрополит Антоний и преосвященный Иннокентий, а в храме «Живоносного Источника» высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий и преосвященный Назарий. На ектениях поминалось имя приснопамятного иеромонаха Серафима.

17 июля богомольцы с раннего утра наполнили монастырскую площадь внутри и вне стен монастыря. В этот день ожидалось прибытие в Саров крестных ходов из двух Серафимовских обителей – Дивеевской и Понетаевской. Ровно

в 7 часов утра при ясной солнечной погоде из ворот Саровской обители вышел крестный ход навстречу ожидаемым крестным ходам. Кресты, иконы и хоругви несли прибывшие на торжество из разных мест представители общества хоругвеносцев. Сопровождал крестный ход преосвященный Иннокентий с многочисленным монашествующим и белым духовенством. Перейдя реку Сатис, крестный ход остановился в ожидании встречных на так называемом лобном месте, во временно устроенной здесь открытой со всех сторон деревянной часовне. Около 8 часов показался из Саровского леса крестный ход из названных женских обителей. Крестные ходы соединились в один общий и, направляясь к воротам обители, образовали величественное и торжественное шествие. По всему пути следования стояли несметные толпы богомольцев. Благолепию шествия много способствовали прибывшие на торжество из разных мест Московской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Нижегородской и Рязанской губерний представители хоругвеносных обществ. Все они несли от своих обществ в дар обители по одной или по две хоругви, из которых многие отличались ценностью и художественностью работы. В 9 часов раздался благовест к Литургии. Особенным благолепием отличалось это заупокойное богослужение в Успенском соборе, где Литургию совершал высокопреосвященнейший митрополит Антоний и епископ Назарий, который и произнес слово, посвященное памяти преподобного Серафима. Преосвященный Назарий говорил:

– Итак, возлюбленные братие, мы достигли светлых дней Великого торжества прославления преподобного и богоносного отца нашего Серафима. Собрались мы из разных, близких и самых отдаленных, мест в эту обитель, в этот храм, к месту молитвенных подвигов преподобного и его упокоения, – собрались, движимые теми же чувствами благоговейного почитания и любви к нему, с какими почти в течение столетия, при жизни и по блаженной кончине его, устремлялся к нему православный русский народ. Мы притекли сюда, чтобы, приобщившись к сему Великому торжеству Церкви, войти в духовное радостнейшее общение с самим виновником его,

братом нашим по вере во Христа, достигшим благодатию Божией славы небесной. Юноша, воспитанный в старозаветной русской семье в страхе Божиим и в тесном общении с Церковью, жаждущий иноческого подвига, оставляет мать и родину, приходит и поселяется под сенью пустынной Саровской обители. Бодро и радостно вступает он здесь на путь иноческого самоотвержения, «как железо ковачу» отдает он себя и свою волю Богу; послушание в труде, кротость, воздержание, а главное, молитва – «царица добродетелей» становятся его жизнью. Облеченный благодатию священства, с каким благоговением и любовью проходит он служение Святой Церкви. Подобно серафиму небесному, он всецело предает себя на служение Богу, молитвенно бодрствуя пред Ним день и ночь; забывает о пище и питье и сожалеет, что нуждается в отдыхе и не может непрерывно служить Богу. «Иметь ум, совлеченный всего земного, и, сколько позволяет человеческая немощь, соединиться со Христом», – вот что составляет теперь задачу его жизни, – «окончательное устройство дома души», по его собственному выражению. Отныне он «носит в своей груди сердце, как воск, таявшее от неизреченной радости посещавших его небесных видений».

Нет конца совершенствованию духа человеческого, созданного по образу и подобию Божию; нет предела любви, коей обязан человек Богу, своему Творцу и Спасителю; нет границ и подвигам самоотвержения, коих устрасился бы истинно любящий Бога христианин. И вот пламенеющий к Богу Серафим, чтобы всецело жить с Богом и в Боге, удаляется в пустыню и здесь проходит все виды самоотвержения, все подвиги молитвенного труда. «Уединение, молитва, любовь и воздержание – суть четырехсоставная колесница, возносящая дух на небо», – говорил он неоднократно, поучая других, и сам здесь особенно и неуклонно следует своему слову. Крепко закрывает он лесную тропу, ведущую к его пустынной келии, и весь погружается в молитву, богомыслие, чтение слова Божия и писаний святых отцов, – молится тысячу дней и ночей на камне, с удивительным терпением переносит нападение разбойников, едва не до смерти избивших его, и, прощая их, просит лишь об

одном – не преследовать их.: Подвиг же воздержания преподобный Серафим выражает в труднейшем, но и плодотворнейшем из всех подвигов воздержания – молчальничестве. «От уединения и молчания рождается умиление и кротость, – говорил он потом. Они возводят человека к благочестию, приближают его к Богу и делают его как бы земным Ангелом». Многочисленны, разнообразны, но и последовательны были все подвиги блаженного старца в пустыне и в монастырской уединенной келии. Это ступени, по которым, руководимый благодатию Божией, Серафим неуклонно, шаг за шагом, шел и возвышался на высоту той святости и чистоты, которой в удел дано видеть Бога. И он видел Господа, видел и беседовал с Его Пречистой Матерью, видел святых ангелов. Прозирал он и человека в тайниках его ума и сердца и с поразительной ясностью проразумевал его будущее; входил в духовное общение с людьми независимо от расстояния, в каком они находились по отношению к нему. Когда же, по повелению Божией Матери, ослабил подвиг затвора и молчальничества и отворил двери своей келии для беседы сперва с иноками, а затем с мирянами – какую любовь к человеку явил отшельник миру! День и ночь шли к нему – кто с своими сомнениями, кто с нуждой и горем, кто с болезнями, и он одних утверждал в вере, других утешал, направляя мысли к Богу – Подателю мира и радости, третьих чудесно исцелял от недугов телесных. Православный русский народ увидел в нем избранника Божия, великого праведника; признал его святым при жизни, стал почитать таковым и по блаженной кончине его. Как при жизни святого старца тысячные толпы направлялись к его пустыньке, чтобы видеть его, получить благословение, утешение или исцеление, так и по смерти еще большие толпы с теми же нуждами стали притекать к его могиле, к месту его пустынных подвигов, на источник, который он ископал. В своем сознании верующие люди не различали живого и умершего отца Серафима, как и у Господа нет различия людей, по сим состояниям (Рим.14:8).

Не изменил своих отношений к людям по кончине своей и сам преподобный Серафим. И теперь, как и прежде, он

усердный пред Богом молитвенник за них; и теперь он участлив и отзывчив к нужде и горю людскому и спешит к притекающим к нему со своею благодатною помощью – утешает, спасает, исцеляет; и теперь он жив и близок ко всем, кто чтит и любит его. Вот он входит к больной Дивеевской монахине и говорит: «Я пришел навестить своих нищих: давно здесь не был», осеняет больную крестным знамением, и та выздоравливает; является другой такой же больной монахине, и когда та спрашивает: «Ты ли это, батюшка?», – он говорит ей: «Какая ты, радость моя, неверующая, сама просила меня и не веришь». Других многочисленных больных или их родителей и близких он утешал, с лаской и любовью говоря: «Не плачь, не убивайся, дочь твоя будет жива и здорова»; «Не бойся, дочь моя, сейчас тебе будет великая радость: ты увидишь образ Божией Матери»; «Радость моя, я всегда с тобою, мужайся, не унывай...» Вот пред нами дорогое детище преподобного Серафима – Дивеевский монастырь. Обитель эта есть поистине чудо милости Божией по молитвам преподобного, ее основателя. Сколько притеснений, бед и огорчений понесла она за время своего существования. Страдала она от голода, претерпевала пожары и, несмотря на это, расширялась и увеличивалась в числе своих насельниц и украшалась их добродетелями. Чем же живы «Дивеевские сироты»? Живы они тем, что жив среди них отец, питатель и молитвенник их, батюшка Серафим. Скажите кому-нибудь из них, что в монастыре их то или это устроено хорошо, и они ответят вам: «Так благословил батюшка; все у нас по молитвам его». Спросите настоятельницу, как она думает поступить в том или другом деле: «Как благословит батюшка Серафим; как уж он укажет», – таков обычный ответ ее на подобные вопросы. Спросим и самих себя: разве не вера, что преподобный Серафим жив и непрестанно молит о нас Бога, собрала нас на это торжество. В этом храме, где возносились ныне Бескровная о нем Жертва, где некогда и сам он совершал Божественную Литургию, кто из нас не чувствует присутствия и молитвенного с нами общения его. Кто духовными очами не видит озаренного небесным Светом образа его. Кому не слышится его дышащее любовью слово. А многочисленные

исцеления больных, на наших глазах совершившиеся: эти недвижные – вдруг восставшие, эти слепые – вдруг прозревшие, – о чем свидетельствуют, как не о том, что он, батюшка, здесь, среди нас невидимо возлагает свои руки на недужных и испрашивает им от Бога благодать исцеления. Дивный во святых Твоих, Господи, и в наше время, когда некоторая часть наших братий оставляет Церковь святую Твою, пренебрегает Таинствами, учением и преданиями, Ты воздвиг во славу Свою, к великой радости верных Твоих, новый светильник Церкви, да светит всем неверующим и малодушным в лице преподобного Серафима. Ты показал веру и ту силу веры, для которой ничего нет невозможного, которая как в области духа, так и материи преодолевает все препятствия, способна и горы переставлять по слову Твоему (Мк.11:23). Людям себялюбивым, гордым и злопамятным Ты явил в нем пример самоотречения, красоту и величие смирения и истинное благо в совершенном незлобии и любви. Невоздержным всякого рода в подвигах отца Серафима Ты показал дивный образец терпения и полное осуществление слова Твоего о власти живого и бодрого духа над немощною плотью и о силе Твоей, в немощах совершаемой (Мф.26:41; 2Кор.12:9). Показал нам Ангела в условиях земного быта и человека, уже на земле вкушившего сладость Небесного Царствия, даровал нам нового великого молитвенника пред престолом Твоим о наших нуждах, скорбях и болезнях и нового Чудотворца Русской Земли. За столь великое видимое и для слепотствующих – знамение благодати Твоей, изобильно ныне изливаемой на нас, приносим из глубины сердец наших благодарение Тебе, Промыслителю нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

В храме «Живоносного Источника» Литургию совершал высокопреосвященнейший архиепископ Димитрий. Здесь также было произнесено слово протоиереем Ф.Н. Орнатским. А по окончании Литургии в обоих храмах были совершены панихиды по приснопамятному иеромонахе Серафиме.

Окончилось богослужение... Но народ не расходился, не покидал монастырской площади ни внутри обители, ни вне ее, так как получили весть: Его Величество Государь Император, в

сопровождении Государыни Императрицы и других высочайших особ, изволил прибыть в Арзамас и следует в Саров. Тысячи богомольцев по пути царского следования расположились плотную стеною. За воротами обители впереди народа виднелись стройные ряды монахинь Дивеевского и Понетаевского монастырей. Взоры всех устремились на величественный Саровский лес, откуда вот-вот должны показаться экипажи с Августейшими путниками. Около 4 часов пополудни с монастырской колокольни разнесся могучий благовест большого колокола, возвестивший о скором прибытии в обитель Их Императорских Величеств. В 5 часов начался трезвон во все колокола. Около 5.30 показался из лесу первый экипаж, запряженный четверкою лошадей, в нем находились Государь Император и Государыня Императрица Александра Феодоровна. Могучее «ура» многотысячной толпы огласило окрестность. Восторг народа был неописуемый. В следующем экипаже находилась Императрица-мать Мария Феодоровна, а затем Великий князь Сергей Александрович с супругой великой княгиней Елизаветою Феодоровною, великая княгиня Ольга Александровна с супругом принцем Петром Александровичем Ольденбургским, великие князья Николай Николаевич, Петр Николаевич с супругою великой княгиней Милицею Николаевною и князь Георгий Максимилианович с супругою Анастасией Николаевною.

У Святых ворот обители Государь Император и Государыня Императрица вышли из экипажа. Владыка-митрополит с преосвященными и всеми духовными лицами, участвовавшими в Саровских торжествах, встретил Их Величества во Святых воротах и приветствовал краткою речью следующего содержания: «Святая обитель Саровская радостно встречает Тебя, Благочестивейший Государь, прибывшего ныне сюда принять молитвенное участие в торжествах прославления великого ее подвижника, приснопамятного старца, иеромонаха Серафима. И все великое множество собравшегося здесь народа православного радуется лицезреть Царя своего, с ним вместе молящегося и разделяющего светлое его торжество. Гряди же с миром, Государь, в обитель сию, и молитвами

прославляемого угодника Божия да будет благословенно от Господа вхождение Твое».

От святых ворот Их Императорские Величества с высочайшими особами по устланной красным сукном дорожке, в предшестве владыки-митрополита проследовали в Успенский собор, где их появление вызвало восторг народа. После краткого молебствия Их Величества посетили церковь святых Зосимы и Савватия. Войдя в церковь вместе с владыкою-митрополитом и другими бывшими здесь преосвященными, их Императорские Величества и Высочества поклонились всечестным останкам преподобного. После этого Их Величества пошли в так называемый игуменский корпус, где в верхнем этаже приготовлены были для них покои. В нижнем этаже помещались великий князь Сергей Александрович с супругою. Для Государыни Императрицы Марии Феодоровны покои приготовили в так называемом архиерейском корпусе, там же поместилась и великая княгиня Ольга Александровна с супругом. Помещение для прочих высочайших особ назначено было вне стен обители, за рекою Сатисом, около леса, во вновь сооруженном здании.

Непосредственно после встречи Их Величеств, владыка-митрополит, вместе с участвовавшими во встрече преосвященными архиереями и духовенством, направился в Успенский собор и совершил благодарственное молебствие о благополучном прибытии Их Величеств. В 7 часов вечера во всех монастырских храмах особо назначенные священнослужители совершили заупокойные всенощные бдения.

В одиннадцатом часу ночи, когда площадь монастырская была свободна от народа, особо назначенные архимандриты молча перенесли из Преображенской церкви старый дубовый гроб-колоду преподобного Серафима и поставили его на прежнее место пребывания, в могилу, к которой и был устроен по небольшой каменной лестнице спуск. Могилу к тому времени обложили тонкими мраморными плитами и с одной стороны сделали открытою, так что стоящий в ней за стеклянную

перегородкою гроб был хорошо виден. Над могилою поставили прежний чугунный памятник.

18 июля, в 5 часов утра, начался благовест к ранней Литургии. Литургия совершалась во всех храмах обители. Государь Император и Государыни Императрицы были на Литургии в Антониевском приделе Успенского собора, причем Их Величества там причастились Святых Таин, а исповедовались они накануне вечером, у иеросхимонаха Симеона. Причастников в этот день стояло великое множество. В 8.30 начался благовест к последней заупокойной Литургии по приснопамятному иеромонаху Серафиму. Совершали Литургию в Успенском соборе священнослужители по особому назначению. По окончании Литургии редкий благовест призывал верующих в собор помолиться на панихиде в последний раз об упокоении души приснопамятного иеромонаха Серафима. В собор на эту панихиду прибыли Их Императорские Величества и Высочества. Пред панихидою митрополит Антоний вышел на амвон и произнес речь следующего содержания:

«Дивен Бог во святых Своих. Всем нам здесь присутствующим и молящимся Господь даровал великую милость быть участниками светлого торжества прославления приснопамятного подвижника иеромонаха Серафима. Слава и благодарение Господу, тако о нас благодеещему. Красуйся и радуйся обитель Саровская, славою преподобного своего прославляющаяся и прославленная. Сейчас мы совершим последнее моление о нем, как об усопшем рабе Божиим, а потом уже во все времена православные христиане будут обращаться к нему с молитвою, как прославленному угоднику Божию. И его пречистые останки, семьдесят лет почивавшие в недрах земли, теперь износятся к поставлению в эту раку, для благоговейного поклонения верующих, молитвенно притекающих к нему за помощью, исцелением и утешением. Воистину в этом прославлении просиявает нам образ Воскресения. Настойчиво приходят на мысль слова Апостола: «Сеется не в честь, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». В самой видимой мертвенности останков святых благодатию Божиею сокрывается сила жизни. Через

посредство их даруется людям от Господа многообразные исцеления от недугов и болезней. В этих же чудесных исцелениях слава и преподобного отца Серафима. Его молитвенное дерзновение пред Богом и прежде всегда собирало в обитель Саровскую множество богомольцев. Теперь же Господь прославил его пред всем православным миром, собрав сюда многие десятки тысяч людей со всех концов России и даже далекой Сибири, от запада и востока, от севера и юга, возглавив это великое множество народа молитвенным участием в торжестве самого Царя православного, благочестивых Цариц и многих членов Царствующего Дома. В этом многолюдном, но единомысленном и единосердечном собрании богомольцев у святых мощей преподобного выражается исконный, основной смысл жизни русского народа. Он знает свое Отечество и свою историю не столько по политическим или военным событиям, сколько по подвижникам веры и правды, любви и добра. Он знает Киев по преподобным Антонию и Феодосию Печерским, Троицкую Лавру и Москву по преподобному Сергию и святителям Московским, свой север и Соловки по преподобным Зосиме и Савватию, Сибирь – по Симеону Верхотурскому и святителю Иннокентию Иркутскому. Из года в год, из века в век он посещает прославленные подвигами угодников Божиих святые места, поучаясь в них правилам жизни святой и утверждаясь в вере и правде, добре и любви. И теперь в лице преподобного Серафима воздвигает Господь новый светильник, нового учителя, новую духовную твердыню народа русского. Буди же слава Богу нашему, дивному во святых Своих. По молитвам преподобного совершаются здесь ежедневно многочисленные чудеса. И если бы кто спросил нас о них, мы таковому вопрошающему ответили бы с благоговейным дерзновением, в полном соответствии с действительностью, словами Спасителя ученикам Иоанновым: «Слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, нищие благовествуют». Помолимся же усердно, благоговейно и с теплою сердечностью в последний раз об упокоении раба Божия, приснопамятного иеромонаха

Серафима, и воздадим славу Богу, дивному во святых Своих. Аминь».

Затем началась панихида при участии всех присутствовавших на торжестве архипастырей, при дивном пении митрополичьего хора. Панихида закончилась литиею на могиле преподобного Серафима, куда вышел из собора крестный ход. По возвращении в собор, владыка-митрополит освятил сооруженную усердием Их Императорских Величеств драгоценную раку для святых мощей преподобного Серафима. Эта рака-гробница обращает внимание своей необыкновенной красотой. Сама рака каменная, как бы в воспоминание великого подвига моления преподобного на камне в Саровском лесу. Сделана она из русского «вазалецкого» мрамора, который добывается в окрестностях Гапсаля, Эстляндской губернии. Цвет мрамора желтовато-серый, а при высечке беловатый. Рака имеет форму продолговатого, четырехугольного надгробного памятника, высотой 1 аршин, длиной 2 аршина 12 вершков и шириною 1 аршин 2 вершка. Она сложена из четырех массивных плит, утвержденных на возвышенном каменном помосте, к которому с двух сторон ведут по три ступеньки, сделанные из того же мрамора. Рака вся кругом украшена одною резьбою, без шлифовки и позолоты, в ознаменование убогой простоты преподобного и отречения его от благ мира.

На стенке, в головах раки, на круглом щите изображен узорный четырехконечный равносторонний крест византийского образца. На правой и левой боковых стенах, в углубленных кокошниках, иссечено точное подобие медного литого восьмиконечного креста, с изображением Распятия, в продолжение 70 лет хранившегося среди прочих священных вещей, оставшихся после преподобного Серафима в его келии. В ногах гробницы, на стенке, в круглом, выпуклом щите, под шапкою Мономаха иссечены славянские начальные буквы имен державных создателей настоящего сооружения – Государя Императора и Государыни Императрицы. По углам гробницы выступают пилястры с восьмиконечными крестами древнейших форм, а по верхнему и нижнему фризам рака украшена каймою с изображением пальмовых ветвей. Все четыре стенки раки

имеют вырезанные по камню соответственные надписи, сделанные на церковнославянском языке. На стенке, в головах гробницы, по обе стороны четырехконечного креста, иссечены два стиха из Священного Писания: Праведницы же во веки живут и в Господе мзда их, и попечение их у Вышняго (Прем.**5**:15). Хранит Господь вся кости их: ни единая же от них сокрушится (Пс.**33**:21). На обеих боковых (продольных) стенках раки помещена летопись о главнейших событиях из жизни преподобного Серафима. На левой стенке, по обе стороны креста-Распятия, иссечена следующая славянская надпись:

«Святой преподобный отец наш Серафим, Саровский чудотворец, родился в граде Курске, в лето от создания мира 7267, а от Рождества Христова 1759 месяца Июля в 19 день.

Во святую Саровскую обитель вступи лета от Р. Х. 1778 месяца Ноемврия в 20 день.

Иноческое пострижение прият лета 1786 Августа в 13 день.

Во иеродиакона рукоположен месяца Октоврия лета 1786.

В сан иеромонаха рукоположен лета 1793 Септемврия в 2 день».

На стенке, в ногах гробницы, по обе стороны круглого щита, помещена следующая надпись, представляющая собою молитву преподобного Серафима, написанную им собственноручно на одной из оставшихся после него богослужебных книг: «Спаси, Господи, и помилуй раба (имярек) и просвети ему ум светом разума святого Евангелия Твоего и настави его на стезю заповедей Твоих и научи его, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш».

Крышка раки серебряная, весом около 3 ¹/₂ пудов, и представляет собою широкую покатую раму, в которую вставлено под стеклом иконописное на цинке изображение преподобного Серафима, во гробе лежащего. По углам крышка священной раки украшена чеканными изображениями шестокрылых серафимов, а между ними, по всем четырем сторонам крышки, славянскою вязью написан тропарь, общий преподобным. Крышка запирается на замок. На внутренней стороне крышки награвировано: «При державе благочестивейшаго великаго Государя Императора Николая

Александровича, Самодержца Всероссийского, создается рака сия повелением и усердием Их Императорских Величеств Государя Императора и супруги Его, благочестивейших Государыни Императрицы Александры Феодоровны, в лето от Рождества Христова 1903 июля в 19 день».

В описанную каменную раку поставлен был дубовый гроб, художественное воспроизведение дубовой колоды, в которой 70 лет хранились всечестные останки преподобного, и уже в этот гроб-колоду вставлен был кипарисовый гроб со святыми мощами. Дубовая колода, длиною в 2 аршина 8 $\frac{1}{2}$ вершка и в диаметре 14 вершков, окована тремя железными обручами, с разветвлениями в виде дубовых листьев, и снабжена по сторонам десятью подвесными скобами из витого железа, для несения гроба на руках. Кроме того, для несения гроба со святыми мощами в крестных ходах устроены еще особые носилки, в виде помоста, покрытого зеленым бархатом и украшенного позументом. В несении гроба на этих носилках могут принимать участие до двадцати человек. Вокруг гробницы поставлена бронзовая, чеканной работы решетка с изображениями двуглавых орлов по углам и шестокрылых серафимов по сторонам.

Четыре колонны из киевского лабрадора поддерживают сень, которая, возвышаясь над гробницею на 12 аршин, имеет в общем вид часовни над колодцем со стрельчатою кровлей, в старинном Владимиро-Суздальском стиле. Сделанная из позолоченной бронзы тонкой чеканной работы сень увенчивается пятью луковичными главами. В арках и кокошниках купола сени находятся следующие иконописные изображения святых и событий из жизни преподобного Серафима.

В четырех главных кокошниках сени помещены иконописные изображения: на западной стороне – лик Спаса нерукотворенного, с надписью по фризу славянскою вязью: Иисус Христос вчера и днесь тойже, и во веки (Евр.13:8); на северной – ночное моление преподобного на камне, с надписью по фризу слов молитвы мытаря: Боже, милостив буди мне грешному (Лк.18:13); на южной – явление преподобному

Серафиму Богоматери с двенадцатью венценосными девами в день Благовещения, 25 марта 1831 года, с надписью по фризу: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй нас грешных и на восточной стороне – блаженная кончина преподобного Серафима, с надписью: Честна пред Господом смерть преподобных Его (Пс.**115**:6).

В окнах среднего купола сени находятся иконы святых, с коими преподобный Серафим пребывал в духовном общении, творениями коих сам назидался и притекающим к нему за утешением советовал проникаться: вселенские учителя и святители – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, Исаак Сириянин, Макарий Великий Египетский, Иоанн Лествичник, Амвросий Медиоланский, преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, Зосима и Савватий Соловецкие, Сергей Радонежский и другие.

По углам архитрава помещаются 8 иконописных изображений пламенных шестокрылых серафимов, а между этими изображениями и кокошниками поставлены иконы святых Исидора и Агафии, – имена которых носили родители преподобного Серафима, Прохора – мирское имя преподобного, и тех дневных святых, память которых празднуется церковью в дни рождения и кончины преподобного Серафима – 19 июля и 2 января.

Над капителями колонн находятся иконы святых тезоименитых Государям Российским, способствовавшим делу прославления новоявленного угодника Божия, и семьи Государя Императора – святителя Николая Мирликийского, святого благоверного великого князя Александра Невского, святой мученицы царицы Александры, святой равноапостольной Марии Магдалины, блаженной великой княгини Ольги, святой мученицы Татьяны, святой великомученицы Анастасии и Ангела Хранителя.

Вокруг раки во всех четырех арках сени идет ряд лампад, а на восточной стороне площадки-помоста – утвержден большой свещник. Там же в арках сени утверждено всего 36 лампад, среди которых пять лампад – дар Высочайших особ. Все эти лампы утверждены на стороне, обращенной к главному в

Успенском приделе собору. Лампада Государя круглой формы, золотая, украшенная драгоценными камнями из сибирских горных пород в натуральном виде, без шлифовки. Ободок лампы имеет ажурную надпись, сделанную славянскою вязью: «Ты Сам, Господи Боже, избрал его и нашел сердце его верным пред Тобою. Дар Их Величеств Государя Императора Николая II и Государыни Императрицы Александры Феодоровны. 19 июля 1903 года». В ободок вставлена фарфоровая чашка сферической формы и в нее – лампада из красного стекла. Вся лампада висит на четырех цепочках, составленных из чеканных изображений головок шестокрылых серафимов и крупных драгоценных камней. Внизу к лампаде подвешены четыре кисти из жемчуга; драгоценные камни – ими украшена лампада, трех цветов: белого, зеленого и розового.

Под лампадою Государя и Государыни помещается лампада Их детей, украшенная так же, как и первая, с тем лишь отличием, что четыре цепочки сделаны из чеканных изображений государственного герба и прикреплены вверху к императорской короне. На ободке вырезана следующая надпись: «Свет Христов просвещает всех. Дар Их Императорских Высочеств Великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 19 июля 1903 года».

Справа от этой лампы, на шелковой ленте фиолетового цвета, прикреплена лампада Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Феодоровны. На золотом ободке лампы находятся художественно сделанные из мозаической эмали миниатюрные иконы святого благоверного и Великого князя Александра Невского и Марии Магдалины. Между святыми иконами вырезан славянскою вязью следующий текст: «Богом прославленному святому старцу Серафиму Саровскому с теплою верою приносят сию лампаду Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Феодоровна. 19 июля 1903 года». Четыре цепочки лампы составлены из ажурных листьев с жемчужиною на каждом листке; внизу лампы подвешен продолговатый крест из белой эмали; вся лампада украшена жемчугом. Слева от лампы Великих княжон находится

лампада Великого князя Петра Николаевича и Великой княгини Милицы Николаевны. Лампада состоит из двух ободков, соединенных между собою тремя цепочками из драгоценных камней – жемчугов, рубинов, александритов, хризолитов; на такой же цепочке внизу к лампаде подвешено чеканное из золота изображение шестокрылого серафима. Вверху лампада прикреплена на шелковой фиолетовой ленте; нижний ободок имеет металлическое дно и на ней утверждена красного цвета стеклянная лампадочка; на ободке славянскою вязью надпись: «Не может град укрытись вверху горы стоя. Кто сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небеснем». Верхние края обоих ободков лампы украшены крестиками из драгоценных камней, а нижние – подвесками из таких же камней. На лицевой стороне нижнего ободка лампы помещена небольшая, писанная на фарфоре эмалевыми красками, художественная икона «Умиление Божией Матери». Лик Богородицы по обе стороны окружен следующим изречением апостола Павла: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных человеческих мудрости словесах, но в явлении духа и силы, да вера ваша не в мудрости человеческих, но в силе Божией будет».

С противоположной стороны этой лампы помещается лампада Великого князя Николая Николаевича, представляющая собою круглый венчик из белой эмали, украшенный крупными аквамаринами. На ободке надпись золотыми буквами: «Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят». Большинство из этих лампад сделаны по рисунку великого князя Петра Николаевича, который известен был как знаток древнехристианского стиля и орнаментики.

Общий характер настоящего сооружения, весь материал для которого употребляется исключительно русский, – отличается стройностью и строгостью линий. Общая стоимость раки с сенью около 35 000 рублей; вес гробницы с сенью около 2000 пудов, а одной раки до 100 пудов. Составление проекта всего сооружения, а также наблюдение за производством работ и установкою на месте – высочайше было возложено на князя Михаила Сергеевича Путятина (1861–1938). Соответствующие

части гробницы и сени изготовлялись в разных мастерских С.-Петербурга и Москвы: мраморные работы – Гвиди, серебряную крышку – Овчинников; бронзовые работы – Брагин; железные – мастерская Зембека, столярные – Н.Ф. Свирского, железный каркас для гробницы сделан Орешниковым, а все иконописные работы у московского иконописца Василия Гурьянова (1866–1920).

В 4 часа того же дня в Успенском соборе была совершена малая вечерня, а в 6 часов вечера начался благовест большого колокола, созывавший богомольцев ко всенощному бдению. Это была первая церковная служба, на которой преподобный Серафим стал ублажаться и прославляться в лике святых Божиих и на которой его святые мощи были открыты для всенародного поклонения. Ввиду такой важности предстоящего Богослужения, ко вратам обители устремились десятки тысяч богомольцев. Так как монастырская площадь в самой ограде обители не могла вместить в себе такого великого множества народа, то допущена была в ограду монастыря только часть и притом в таком количестве, которое не могло бы стеснять крестного хода в момент перенесения святых мощей. Владыка-митрополит со славой проследовал в Успенский собор, за ним вскоре вошли в собор Их Императорские Величества и Высочества и стали около правого клироса. Началось всенощное бдение. Богослужение отправлялось уже по вновь составленной «Службе преподобному отцу нашему Серафиму Саровскому, Чудотворцу». Начинается лития... Все зажигают свечи и стоят с возженными в руках свечами. Литийные стихиры поет митрополичий хор и в это время начинается крестный ход из собора к храму святых Зосимы и Савватия. Идут Высочайшие особы, за ними министры – внутренних дел В.К. фон-Плеве, Императорского Двора барон Фредерикс, путей сообщения князь М.М. Хилков, граф И.И. Воронцов-Дашков, сенатор В.К. Саблер и многие другие высокопоставленные лица. Отворяются двери храма святых Зосимы и Савватия, и туда входят владыка-митрополит с преосвященными архиереями, Высочайшие особы, священнослужители, назначенные к несению гроба со святыми мощами, и несколько других лиц,

шедших в крестном ходе. При виде стоящей посреди храма святыни все преклонили колена. Владыка-митрополит совершает каждение вокруг гроба, и затем гроб износится Государем Императором и Великими князьями при участии священнослужителей, к тому назначенных. При выносе из храма гроб устанавливается на носилки и на них поднимается высоко над головами всех, будучи отовсюду хорошо виден. Момент появления гроба со святыми мощами вне храма был чрезвычайно трогателен. Слышится плач женщин, некоторые рыдают, на пути шествия гроба расстилаются крестьянками куски холста, полотенца, мотки пряжи. По сторонам пути лежат разного рода больные и убогие. У западных ворот Успенского собора произносится первая литийная ектения, затем следуют еще четыре остановки у других сторон собора, с произнесением литийных ектений. По прочтении у западных врат литийной молитвы, шествие вступает в собор, и гроб со святыми мощами устанавливается посреди его на особом возвышении. Служба продолжается. Между кафизмами преосвященный Иннокентий (Беляев) произнес соответствующее совершающемуся торжеству слово, следующего содержания:

«Восхвалятся преподобнии во славе» (Пс.149). Пред этим гробом со святыми мощами преподобного человеческого мысль невольно устремляется в область веры. Лишь отсюда она видит, как различно, иногда до противоположности, значение одних и тех же предметов в обыкновенной жизни и в области веры. В жизни для всех нас гроб – источник горя и скорби, причина сетования и слез... При виде гроба мы невольно предполагаем созданное им несчастье, тяжелую разлуку, сиротство. Но в области христианских упований, для человека-христианина гроб – место покоя до общего Воскресения, а для его веры он становится иногда, по милости Божией, источником небесных откровений, свидетельством силы Божией, ясным знаком небесной награды за земную праведность, причину возвышеннейших христианских чувств. Это именно настроение светлой радости, умильных слез и благоговения рождает в каждой верующей душе предлежащий гроб. Окружая его во славе Благочестивейшим Государем и Государынями нашими,

все мы знаем, что он сокрыл в себе честные останки праведника, угодившего Господу, мужа молитвы и подвига, великого в своей простоте, увенчанного смирением и кротостью, пламеневшего Христовой любовью ко всякому человеку. Церковь трех веков, преследуемая и гонимая, знала своих мучеников и исповедников, страдавших за имя Христа. Она с почестями хоронила тела их, тщательно собирала кости их. Церковь наших дней, мирная и спокойная, знает своих молитвенников и подвижников; она также почитает гробы своих праведников, поклоняется святым останкам их. Когда был замучен и растерзан зверями епископ Смирнский Поликарп, смирняне отправили другим церквям послание, в котором извещали, что они собрали кости мученика в сосуд и будут хранить и почитать эту святыню, как самое драгоценное сокровище. Последуя примеру этой древней Церкви, этих первых христиан, наша Церковь Православная извлекла из недр земных кости своего молитвенника и подвижника преподобного Серафима и отныне окружит их благоговением, песнословием и поклонением, как драгоценную святыню свою.

Но значение сего святого гроба открывается для нас, чад Православной Церкви, еще с иной стороны. В нем мы познаем глубокую правду нашего Святого Православия. Не погрешает, но стоит твердо на правом пути та Церковь, для которой горний небесный мир святых Божиих – постоянный руководитель настроений, вдохновитель в молитве, источник благодатных утешений, помощь и защита. В этих святых мощах нового молитвенника за Церковь Русскую мы чувствуем биение жизни нашей Церкви. Ибо не мертва, не застыла, не окаменела, а живет, юнеет и цветет та Церковь, которая украшается новыми праведниками и святыми Божиими. В этом гробе источник света и радость веры нашей. Холодна и тускла была бы она, если бы не получала ясного ободрения, что молитва и подвиг всегда будут награждены и прославлены Господом. В этих святых мощах – новое знамение милости и благодати Божией к русскому народу и Церкви Православной, как бы разверзается небо, и встает у престола Господня новый молитвенник за нас недостойных, новый предстатель и ходатай. И мы ясно видим

плоды этой молитвы его ко Господу: слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят, расслабленные встают. Еще мгновение, – и откроется крышка этого спасительного гроба, явятся нам благодатные останки его: новые токи чудес потекут от них, еще яснее станет пред нами образ ныне дивного во святых Божиих Серафима, но кроткого, смиренного и убогого в земной жизни. И умиленной радости веры нашей, под впечатлением его чудного образа, воспоем ему: Ублажаем тя, преподобие отче Серафиме. Аминь».

Читают еще одну кафизму, и при пении Хвалите имя Господне все служащие сходят на средину храма. Сойдя с облачального амвона к гробнице преподобного, митрополит Антоний отпирает замок и отворяет крышку гробницы. Все преклоняют колена, а священнослужители поют величание преподобному. По прочтении Евангелия, митрополит Антоний и прочие преосвященные архиереи прикладываются ко святым мощам. Затем прикладываются к ним Их Императорские Величества и Высочества. Далее подходили священнослужители и все прочие находившиеся в соборе молящиеся.

По окончании всенощного бдения, собор оставлен всю ночь открытым для поклонения мощам преподобного. Богомольцы всю ночь подходили один за другим ко гробу, прикладывались ко святым мощам и принимали помазание святым елеем от назначенных священнослужителей. При крестном ходе со святыми мощами было несколько случаев исцелений. Так, одна девушка села Промысловки, Астраханского уезда и губернии, Вера Чернышева, 29 лет, находившаяся 5 лет в параличном состоянии, со сведенными ногами, сама встала и начала ходить без посторонней помощи. Другая женщина, Феодора Слежева, 26 лет, получила исцеление от постоянно бывших с ней припадков эпилепсии.

Всю ночь во всех храмах и часовнях служились молебны, а на следующий день в 5 часов утра священнослужителями, по особому назначению в обоих соборных храмах и в храмах святых Зосимы и Савватия, святого Иоанна Крестителя и

кладбищенском, служились ранние Литургии, за которыми тысячи верующих приобщались Святых Христовых Таин.

Поздняя Литургия в Успенском соборе началась в 8 часов утра. Богослужение совершал митрополит Антоний вместе с другими участвующими в торжестве преосвященными. В соборе присутствовали Государь Император с Государынями Императрицами и Великими Князьями. На малом входе с Евангелием, при пении «Приидите поклонимся», архимандриты подняли стоявший посредине собора гроб со святыми мощами и обнесли его вокруг святого престола, а затем положили в уготованную раку. При этом произошел случай исцеления. Среди молящихся в соборе находилась приехавшая из Москвы госпожа Масленникова, из купеческого сословия, с больной двенадцатилетней дочерью, страдавшею каталепсией и два уже года ни слова не говорившею. При прохождении больной мимо гроба со святыми мощами, мать коснулась платком гроба и отерла им лицо больной дочери, которая тотчас же после этого на глазах у всех произнесла имя своей матери и начала говорить. Исцеленная девочка была потом сподоблена владыкою-митрополитом причастия Святых Таин. По окончании Литургии архиепископ Казанский Димитрий произнес слово в честь и память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца:

«Какой великий, высокознаменательный, глубокопоучительный день переживаем мы все ныне – это величественное, благочестивое собрание сынов и дочерей нашей Святой Православной Церкви Российской. А с нами празднует и радуется и вся православная Россия. Уединенная подвижническая обитель превратилась временно в многолюдный город. Всегда пустынный, молчаливый лес Саровский полон ныне волнения и говора, движения и шума. Но это – не волнение обыденных забот и мелких зачастую интересов; это – не шум житейской суеты. Это – по местам шепот глубокого душевного умиления; это – перебегающий из уст в уста рокот житейской радости духовной; это – громкий взрыв благоговейного изумления, восторга пред совершающимся. Это – могучий подъем и неудержимое шумное

проявление сильного и здорового духа благочестия, которым дышит и живет святая Православная Русь. Хромые – ходят. Слепые – видят. Немые – заговорили. И блажен есть, иже не соблазнится о сем. Блажен, чье сердце не осталось незатронутым в самых глубоких тайниках своих всем чудным, совершающимся пред нашими глазами. Да будет благословен дивный во святых Своих Бог, промыслительно явивший нам во дни сии дивное и славное. Да будет прославляем Христос Господь, мудро даровавший святой Своей Церкви благодать сию именно теперь, – во благо время.

Кому на Святой Руси не было издавна уже ведомо имя великого старца Саровского Серафима. Многие души благочестивые, чуткие ко всему возвышенному и святому, еще во время земной жизни старца стремились к нему в пустынь, искали у него, и в его вере и любви находили утешение в скорбях сердца, разрешение тяжких недоумений и сомнений духа, указание доброго, правого, истинного пути, среди нравственного смятения, среди колебаний, уклонений. А семидесятилетие, протекшее со дня блаженной кончины приснопамятного, обратило сюда, – к могиле, скрывшей честные останки свято почившего, – молитвенные взоры всех, в ком сильна вера во внутреннее непрерывающееся общение скончавшихся праведников и людей, совершающих еще свой путь нравственного возрождения и обновления духа; – тех, в ком крепка надежда на молитвенное ходатайство пред Богом святых, пребывающих во свете Лица Божия. Многочисленные дивные знамения благодатной помощи по молитвам ко блаженно почившему старцу показали всем верующим православным, что и в наши дни Господь даровал людям доброго молитвенника и скорого помощника. Святая Церковь всенародно удостоверила и утвердила эту общую веру в святость и ходатайственную силу пред Богом великого подвижника благочестия, И вот, ныне, мы умиленно ублажаем преподобного отца нашего Серафима и торжественно прославляем святую память праведника, которого с глубоким умилением и благоговением давно уже ублажают и прославляют все роды Земли Российской. Отныне высоко

поставлен на свещнице Церкви Православной дивный светильник, согревший сердца своим неземным уже светом, просвещающий умы и верно озаряющий неложный путь, по которому должны идти ищущие духовного возрождения, стремящиеся к нравственному совершенству.

Настоящее торжественное прославление памяти преподобного да послужит в назидание и тем, кто, искренно и нелицемерно, стремясь в недоумении и смуте нравственной уяснить себе и другим смысл и цель жизни человека, готовы стать на добрый путь истины, ведущий за пределы времени, в вечность. Ублажаемый нами ныне преподобный Серафим, совершая земное течение, взор свой всецело и неуклонно устремил на небо, потому что «житие наше на небесех есть». Свое устремление к небесному он любил воспевать словами церковной песни: «пустынным непрестанное божественное желание бывает». Земной ангел и небесный человек, наставник монахов и собеседник ангелов, он в своей светлой душе соединил о Господе небесное и земное. И еще здесь, на земле, он наслаждался высокими радостями потусторонними, небесными.

Да будет же он, верно прошедший правый путь, указанный человеку Божественным путеводителем, – да будет он для нас яркой путеводною звездою, освещающей путь и рассеивающей туман, который ныне начинает все гуще и гуще застилать этот путь. Своим молитвенным предстательством пред Богом да поможет он и нам без преткновений и падений совершить наш путь земной для неба, в любви, радости и мире о Господе Иисусе Христе, Спасителе нашем».

После этого начался молебен преподобному Серафиму. Когда пропели тропарь, архимандриты подошли к раке и вынули из нее гроб со святыми мощами. Из собора последовал крестный ход вокруг монастырских храмов. Гроб со святыми мощами несли Государь Император и Их Высочества, при участии архимандритов. Народ так же, как и накануне, живую стеною стоявший по пути хода, был охвачен сильным религиозным воодушевлением. Плач и рыдания женщин раздавались повсюду. По возвращении крестного хода в собор

владыкою-митрополитом, с преклонением колен молящихся, была прочитана молитва преподобному Серафиму, и затем молебен окончился обычным многолетием. Государь Император и Их Высочества, приложившись ко святым мощам, вышли из собора. Так закончилось церковное богослужение главного дня Саровских торжеств.

На следующий день Саров провожал своего Государя в Дивеевский женский монастырь, находящийся в 14 верстах от Саровской пустыни, и преосвященный Иннокентий, епископ Тамбовский и Шацкий, в напутствие Государю сказал следующую речь:

Благочестивейший Государь!

Русский народ, собравшийся на великое торжество милости Божией, явленное в Саровской обители, пережил знаменательные дни тесного общения с Тобою: православный Царь был на богомолье вместе со своим народом в святой обители. И народ видел, как пешим его Царь-батюшка посещал святые места Сарова, как нес он на своих плечах святые мощи новоявленного Саровского чудотворца; народ видел, как с ним вместе на коленях и со слезами молились угоднику Божию Царь и Царица. Он пойдет теперь в разные концы Святой Руси и будет с восторгом рассказывать в селах и деревнях виденное, а слушающие будут умиляться душой и благословлять в сердцах своих имена своих Государя и Государыни, бывших на народном богомолье в Сарове. Сама же обитель Саровская переживает ныне две радости: небесную – в ниспосланном ей заступнике и молитвеннике всей Русской Земли преподобном Серафиме, – и земную, видя Тебя, Государь, благочестивых Цариц и членов Царствующего Дома, в стенах своих. За небесную радость, ей посланную, она усердною молитвой благодарит Господа и Его угодника, а за радость земную, за счастье видеть Тебя, Государь, своим дорогим гостем, она приносит Тебе свой земной поклон.

Спаси, Господи, и сохрани Тебя, Государь, благочестивых Цариц и членов Царствующего Дома, на всех путях жизни Вашей, молитвами преподобного Серафима, чудотворца Саровского. Да будет благословенно исхождение твое, как было

радостно твое вхождение в святую обитель сию. Благословен грядый во имя Господне».

Надо заметить, что Дивеевский монастырь основан и живет заветами отца Серафима. Оттого дни торжеств Саровской обители стали временем духовной радости и в Дивеевском монастыре. Духовные торжества той и другой обители усугубились участием в них Высочайших особ.

Ко времени приезда Государя весь путь в обитель украшен был зеленью, флагами, триумфальными арками; крестьяне, местные и из далеких губерний, в праздничных костюмах, с восторженными лицами встречали Царя и Царицу. В монастырской ограде, по пути царского следования, выстроились шпалерами до собора инокини обители, а впереди их ученицы церковно-приходских школ. Около 10 часов утра царские экипажи, при несмолкаемом одушевленном «ура», при звоне колоколов приблизились к Дивеевскому собору. Высочайшие гости встречены были при входе их в собор преосвященным Назарием, епископом Нижегородским, в сонме священнослужителей, с святым крестом и святою водою. Владыка приветствовал Государя речью. После обычной ектении и многолетия, Государь молился пред иконою Божией Матери «Умиление», пред которою в молитве скончался в Сарове отец Серафим, и пред местночтимую иконою «Нерукотворенный Образ Спасителя» и прикладывался к ним. Затем осматривали северный придел собора, приготовленный к освящению в честь преподобного отца Серафима, и в особенности живопись собора, обладающую высокими достоинствами; вся она есть духовная жертва Дивеевских подвижниц, несущих «живописное» послушание в обители. Высочайшие гости слушали Литургию в домовом храме при игуменских покоях. В помещении игуменнии приготовлен был чай и завтрак, а затем обозревали монастырские достопримечательности и учреждения. Посетили церковно-приходскую школу с приютом для девочек-сирот. Эта школа помещалась в прекрасном двухэтажном здании, при ней были две классные комнаты, очень поместительные, квартиры для учительниц и жилые помещения для девочек-сирот. Обучение в

школе велось «за святое послушание» образованными подвижниками обители (монахиня Рафаила и послушница Надежда Садовская, внучка того самого священника Василия Садовского, который был другом и почитателем преподобного Серафима), были особые учительницы пения и рукоделия.

При посещении монастырской школы Государь спросил одну девочку-сироту, знает ли она что-нибудь наизусть, и девочка-малютка прочитала стихотворение «Сиротка», а на вопрос Государыни, знает ли она наизусть какую-нибудь молитву, эта крестьянская девочка, 4 лет, прочитала молитву Господню «Отче наш», после чего Государыня, как мать, наклонилась к малютке и поцеловала ее.

Были Высочайшие гости и в Преображенской кладбищенской церкви, там хранилось несколько памятников, оставшихся от преподобного Серафима. Алтарь храма сооружен из его келии, взятой из Дальней пустыньки отца Серафима. Ее устроили когда-то те самые разбойники, которые избили его и которых он простил. Из Сарова после смерти отца Серафима келию перенесли в Дивеев и обратили, по указанию преосвященного Иеремии Нижегородского, в алтарь. Необделанные бревна оставлены в неприкосновенном виде, а для более надежного сохранения этого памятника подвигов преподобного алтарь включен в наружную церковную стену, от которой отделен коридором, и под особую крышу. В этой же церкви хранятся: Евангелие с Псалтирью, с ними отец Серафим не разлучался при жизни и обыкновенно носил их в котомочке за спиной, его епитрахиль и поручи, часть камня, на коем он молился 1000 дней и ночей, и другие предметы его обихода: подсвечник, скамья, стул и прочие, все в эти торжественные дни хранилось в новых витринах и составляло предмет чествования со стороны богомольцев.

В Дивеевской пустыньке – название прежней келии – есть еще маленькая избушка отца Серафима, вырубленная им самим на его Ближней пустыньке в Сарове, у источника, около реки Саровки. После кончины его эту келию тоже перенесли в Дивеев и сохранили в том самом виде, какою она была у преподобного. И этот памятник для более надежного

сохранения заключен в футляр, в наружную постройку. В келии хранится часть того же камня – свидетеля молитвенных подвигов отца Серафима – и обрубок дерева, заменявший ему стул. В келии совершалось непрестанное чтение Псалтири. Все богомольцы считали обязательным для себя побывать в этой келии, ведь в ней возносилась чистая, святая молитва праведника Божия.

В три часа дня Высочайшие особы выехали из обители. Инокини, ученицы и народ стояли по пути Царского следования. При колокольном звоне и несмолкаемых криках «ура» они оставили святые места.

Саровские торжества – открытие святых мощей преподобного Серафима – завершились освящением двух храмов имени преподобного.

Первый в России Серафимовский храм освящен в Сарове, над монастырской келией преподобного Серафима, Освящение храма совершено в понедельник 21 июля. Накануне этого дня, в 7.30 вечера, благовест большого колокола призвал множество молящихся в новоосвященный храм к первому в нем всенощному бдению. Всенощная служилась, как обыкновенно бывает в таких случаях, на середине церкви, пред столом, на котором положены были все священные принадлежности престола и жертвенника, покрытые шелковой голубою пеленою.

На литию и величание преподобного Серафима выходил преосвященный Иннокентий Тамбовский.

На следующий день, 21 июля, освящение храма совершил Санкт-Петербургский митрополит Антоний. По облачении престола и жертвенника к Успенскому собору направился торжественный крестный ход во главе с митрополитом Антонием, архиепископом Димитрием и епископом Иннокентием. Из Успенского собора владыкою-митрополитом были перенесены на голове частицы святых мощей преподобного Серафима.

Новоосвященный пятиглавый храм представлял собою красивое, оригинальное сооружение в русско-византийском стиле. Архитектурный проект Серафимовского храма выработан и составлен профессором архитектуры А.С. Каменским.

Размеры храма: в длину 22 сажени, в ширину 8 саженей, а в высоту от земли до креста 17 саженей, а внутри – от пола до сводов- 10 саженей.

Средства на постройку храма собирались среди благотворителей и почитателей преподобного Серафима. Одна благотворительница пожертвовала 50 тысяч рублей на сооружение величественного бронзового вызолоченного иконостаса, а вся ценная утварь для храма пожертвована разными лицами. В этом храме собраны все хоругви, числом 42, принесенные в дар обители к 19 июля от восемнадцати обществ хоругвеносцев.

Одна из главных святынь Саровской обители – каменная келия преподобного Серафима, в которой он жил, подвизался и в молитвенном подвиге скончался, – помещается в западной части храма, между хорами и средней его частью, и имеет вид часовни с четырехскатною чешуйчатою кровлей из светлой бронзы, с рядом кокошников по нижнему краю и золотым крестом на главе ее. Вокруг этой келии-часовни можно пройти. Всю северную стену келии снаружи занимает художественно написанное священное изображение явления Богоматери преподобному Серафиму. У входа в келию находится изображение преподобного Серафима благословляющего и над низенькою дверью – икона Божией Матери «Умиление».

Внутри священной келии небольших размеров, в левом ее углу, поставлен массивный бронзовый с чеканкою киот, высотой до потолка, под зеркальными стеклами которого находятся: образ Спасителя в золотой ризе и копия иконы Богоматери «Умиление», пред которой, коленопреклоненный, воспринял свою блаженную кончину преподобный Серафим. Пред киотом большой подсвечник и неугасимая лампада. Здесь же стоит аналой с святым крестом и Евангелием для служения молебнов новоявленному угоднику Божию.

В келии собраны сохранившиеся вещи преподобного Серафима. Здесь имелась печка с лежанкою, облицованная зелеными изразцами с изображением цветка; здесь же находились: мантия, шапочка в виде камилавочки и кожаные четки преподобного, два шейных креста из кипарисового

дерева, вырезанные руками его, камень, на котором днем молился преподобный в своей дальней пустынке, зуб его, волосы с головы преподобного и Евангелие, обгоревшее во время пожара в келии при его кончине. Все эти предметы заключены были в футляры-витрины из светлой бронзы с зеркальными стеклами, устроенные усердием общества Московских хоругвеносцев.

Освящение второго храма во имя преподобного Серафима Саровского совершено 22 июля в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Здесь, по глубокой вере сестер обители в святость и скорое прославление основателя ее, с 1875 года был устроен в честь его левый придел соборного храма, но оставался неосвященным до открытия святых мощей преподобного Серафима.

Накануне освящения в соборе монастырским духовенством были совершены церковные службы: малая вечерня, параклисис, повечерие и всенощное бдение, причем на литию и величание во время всенощной выходил преосвященный Назарий, епископ Нижегородский. Стечение богомольцев по случаю торжества было необычайное: обширный храм далеко не вмещал молящихся и снаружи был окружен живою стеною народа. Непрерывная исповедь продолжалась от 3 до 12 часов ночи, и причастников на следующий день было более тысячи человек.

Торжество же освящения храма началось в 7 часов утра. После облачения святого престола и жертвенника, преосвященным Назарием было совершено перенесение на голове частиц святых мощей из алтаря главного придела соборного храма, и затем крестный ход направился вокруг собора. В новоосвященном Серафимовском храме была совершена архиерейским служением первая Литургия, а по окончании торжественный молебен. В иконостасе новоосвященного Серафимовского храма, на храмовой иконе преподобный Серафим изображен в длинной монашеской мантии и со взором, обращенным к небу; у ног преподобного раскинут вид Саровской пустыни. Рядом помещается икона с изображением апостола из числа семидесяти, Прохора (мирское

имя преподобного), и святого Сильвестра, папы Римского, память которого празднуется 2 января – в день кончины преподобного. На северных боковых дверях изображен огненный шестокрылый серафим, Ангел преподобного Серафима в иночестве.

Так закончилось величайшее событие в истории Российской Церкви- прославление святых мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом угоднике Божиим и о его прославлении будет много написано нашими русскими богословами позднейших времен.

Этот материал далеко не исчерпывает всего, что следует написать о преподобном Серафиме, но если наш труд хоть в самой незначительной степени облегчит понимание угодника Божия Серафима и поможет мысленно воспроизвести картину Саровских торжеств 1903 года, мы будем считать нашу скромную задачу выполненной.

Монахиня Серафима (Булгакова)

Дивеевские предания

Устройство и быт монастыря

В Дивееве хранился план, начертанный батюшкой Серафимом. По его предсказанию, в конце времен монастырь должен был распространиться до самого высокого берега речки Вичкензы (теперь там пруд), в ограду должны войти Казанская церковь и дома приходского духовенства. Поэтому каменная ограда, окружавшая монастырь, была поставлена только с севера, востока и юга, а с запада стоял лишь деревянный забор. После переворота 1917 года забор этот сломали и на территории монастыря по понедельникам устраивали базар, что мешало жизни обители. Отобраны и заняты были в эти годы и находившиеся в этой части монастыря некоторые корпуса.

Монастырь всегда разделялся на старую и новую обитель. Старая обитель начинается с корпуса матушки Александры и занимает весь северо-западный клин монастыря; там располагался монастырский огород и кроме новых корпусов помещался старый корпусочек, где подвизалась блаженная Пелагея Ивановна. Келия ее сохранилась в том виде, какой она была и при блаженной. В корпусе читалась неусыпаемая Псалтирь: 12 старушек по очереди читали ее все сутки. Назывался этот корпусочек пустынькой блаженной Пелагеи Ивановны. Над келией матушки Александры был выстроен чехол, образовавший второй этаж. Здесь жили сестры, обслуживающие пустыньку первоначальницы, а также Рождественские храмы, поддерживающие неугасимыми свечу в верхнем и лампаду в нижнем Рождественских храмах. В нижнем храме Рождества Богородицы до разгона читали неумолкаемую Псалтирь. Чтение прерывалось только в среду Страстной недели и начиналось после малой вечери в субботу Светлой недели.

Пустынька блаженной Наталии Ивановны находилась в центре монастыря, в конце канавки. Пустынька сохранялась в том же виде, как и при блаженной, и там также читали Псалтирь. Кроме того, Псалтирь читалась еще в Ближней пустыньке преподобного Серафима, перевезенной из

Саровского леса (от источника). Над ней выстроили чехол, в котором помещался сруб. Сохранялся и корпус, где жила блаженная Прасковия Ивановна, и там также читали день и ночь Псалтирь определенные на то сестры. В келии матушки Александры Псалтирь читалась 12 сестрами.

Все эти сохранявшиеся корпусочки назывались пустыньками. По ним водили приезжавших богомольцев и сами сестры часто их посещали, особенно в праздничные дни. В Прощеное воскресенье, после вечерни, а также на Пасху и на Рождество, в большие праздники обязательно обходили все пустыньки и могилки блаженных (возле собора) и матушки Александры, схимонахини Марфы, Елены Васильевны Мантуровой и служки угодника Божия Мотовилова (возле Казанской церкви).

Из сруба Дальней пустыньки сделали алтарь в кладбищенском храме Преображения. Там в особой витрине хранились вещи преподобного.

Храмов в монастыре было девять.

1. Теплый собор во имя Св. Троицы с приделами во имя иконы Божией Матери «Умиление» и в память преподобного Серафима. На хорах еще два придела во имя иконы Божией Матери «Владимирская» и в память обретения главы Св. Иоанна Крестителя.

2. Тихвинская деревянная церковь (построена Иваном Тихоновым) с приделами Всех святых и Архангела Михаила.

3. Под Тихвинской была церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». После разгона монастыря там устроили мельницу, и осенью 1928 года весь храм сгорел.

4. На кладбище была церковь Преображения.

5. В богадельне (так называемой старой больнице) был Домовый храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Главный вход в него был со стороны канавки, а с севера и с юга были двери в жилые коридоры. В две келии, примыкавшие к алтарю, выходили даже окна, так что больные старушки могли молиться прямо у себя в келиях. В этом храме и совершалась в 1927 году, на Воздвижение, последняя всенощная, когда произошло прощание сестер.

6. В игуменском корпусе был домовый храм равноапостольной Марии Магдалины. В нем Государь Николай Александрович просил отслужить ему обедню. Причем просил дать ему такого священника, который бы совершил службу неспешно и благоговейно, но за один час. Мать-игумения назначила о. Петра Соколова, бывшего в то время младшим священником. У него был хороший голос, отчетливая дикция и живой, быстрый характер. Служба о. Петра очень понравилась Государю. По окончании он призвал этого священника к себе и наградил его золотым крестом с драгоценными камнями. По рассказам, когда о. Петр вошел к Государю, то было растерялся, упал ему в ноги, но Помазанник Божий поднял его, посадил рядом с собой и, обращаясь к товарищу обер-прокурора Святейшего Синода В.К. Саблеру, сказал: «Вот прекрасный, благоговейный служитель Христовой Церкви», – и с этими словами возложил на него крест.

7. Кроме того, в трапезной был храм в память Великого князя Александра Невского. Там служили большей частью зимой, поскольку храм Тихвинской иконы Божией Матери был тесен и душен. Ранее на этом месте стояло сельское кладбище. Кладбище перенесли за монастырские постройки поближе к Сарову. Монастырское же кладбище занимало юго-восточный угол канавки, располагалось вокруг храма Преображения.

Еще было два Рождественских храма во имя Спасителя и Божией Матери. Пристроены к Казанской церкви еще при отце Серафиме.

Стало быть, храмов насчитывалось девять, а престолов-пятнадцать. Под все престольные праздники за малой вечерней служился параклис Божией Матери и утром бывало водоосвящение. На престольные праздники образу Божией Матери «Умиление», 28 июля, и в день памяти преподобного Серафима, 19 июля и 2 января, а также на день основания обители, 9 декабря, день Зачатия праведной Анны, после поздней Литургии обязательно совершались крестные ходы по канавке с пением параклиса Божией Матери «Многими содержимь напастьми». Накануне 9 декабря бывала торжественная всенощная празднику иконе Божией Матери

«Умиление» и преподобному Серафиму. За всенощной читался акафист пополам: Царице Небесной – Благовещению с 1 по 6 кондак и икос и с 7 по 12 – преподобному Серафиму. Иконе Божией Матери «Умиление» существует особая служба, составленная митрополитом Серафимом Чичаговым. Кроме того, на праздник Живоносного Источника был крестный ход внутри обители за канавкой, а на преполовление – вокруг обители за оградой.

Духовенство монастыря почти все было из рода отца Василия Садовского. При разгоне старшим был протоиерей о. Иоанн Смирнов, родной племянник о. Василия (скончался в глубокой старости в Дивееве). Кроме него были: о. Михаил Гусев, сын родной внучки, воспитывавшейся у о. Василия (скончался в тюрьме); о. Иоанн Полидорский, муж сестры о. Михаила (скончался на Соловках).

Ежедневно Служба утром (кроме Великого поста) начиналась: ранняя обедня в 5 часов и поздняя в 6 часов (в разных храмах). По воскресным дням обязательно перед поздней бывал параклис на распев, по очереди оба канона. Вечером в половине шестого – вечерня и заутреня. Затем малое повечерие с каноном (дневным по уставу). Перед ранней обедней с 4 утра и перед поздней с 5 часов читались правило причастникам, утренние молитвы и сборный акафист. Полунощница читалась иногда с вечера или по келиям. Вечером в половине пятого всегда неопустительно, кроме только Пасхальной недели, читалось данное преподобным правило: 12 избранных псалмов, помянник и по 100 поклонов Спасителю, Божией Матери и преподобному, затем маленькое правильце и, конечно, поминали благодетелей.

Великим постом служба начиналась в 4 часа утра: утренние молитвы, полунощница, заутреня, часы и преждеосвященная Литургия. В 3 часа дня на 1-й неделе и в 4 часа в остальные читалось Великое повечерие с канонами, потом сборный акафист и обычное правило. После повечерия читалось поучение.

Вечерние молитвы всегда творили собравшись по корпусам. После обеден служили молебны и полные панихиды, и батюшки

ежедневно шли служить панихиды по всем пустынькам, и в Ближней пустыньке преподобного полагался молебен. В воскресенье вечером обязательно бывал акафист преподобному Серафиму на распев вместо 2-й кафизмы на заутрени. Некоторые видели, как во время пения акафиста преподобный покрывал певчих своей мантией.

Певчих сестер было отдельно два хора: правый и левый. Каждый хор занимал особый корпус. Правый хор всегда пел позднюю обедню, а левый- раннюю. Вечерню и заутреню пели оба хора (также всенощную) на два клироса. На сход соединялись оба хора. В будние дни каждый хор делился еще на две череды. Одна половина начинала неделю, другая кончала, по три дня.

Служба всегда была с канонархом. Читали и канонаршили алыты. Басы читали только Апостол и шестопсалмие. Дисконта вовсе не читали.

Катавасию за всенощной сходились петь на амвоне. Читали оба хора по очереди, по неделям.

После утренних и вечерних молитв обязательно соблюдалось маленькое правило преподобного. По вечерам все ходили по канавке (а кто на послушаниях – когда сможет) и читали полтораста раз «Богородице Дево, радуйся». На каждый десяток читали «Отче наш» и поминали живых и умерших.

1 октября, на Покров, вечером после заутрени всем монастырем молились полтораста раз в церкви. Так же молились постоянно и по корпусам за живых и за умерших и при всякой нужде. Это было самое обычное постоянное правило.

Под двенадцатые праздники усердствовавшие собирались молиться на всю ночь в церковь. Под Крещение ставили в церкви чашу с водой и, когда молились перед ней в 12 часов ночи, всегда видели, как вода на один момент вся как бы закипала. Также всегда собирались молиться после обедни до малой вечерни в субботу Светлой недели, перед закрытием Царских врат.

На клиросное и церковное послушание ставили только девушек.

Корпусов в монастыре было очень много, кажется, больше 66, несколько полукаменных, а большинство деревянных. До 60-х годов сохранился один корпус, поставленный еще при жизни преподобного – первая трапезная.

Сестры жили по послушаниям. В корпусах обычно помещались мастерские и жилые келии. Кто где работал, там и жил. В монастыре была большая живописная мастерская. В ней сестры не только писали иконы, но и заготавливали доски, золотили и чеканили. У каждой была своя специальность.

В последнее время создали отдельную иконописную.

Больше 80 сестер жили и работали в литографии. Сами работали на камнях (накальвали), по году подготавливали каждый камень. Печатали на моторе картины. Сушили. Кроме того, переводили картины на белые грунтованные доски и затем их прописывали. Отливали из алебастра фигуры преподобного с медведем и раскрашивали. Делали всякие корзиночки, игрушки. Все это раздавали и продавали в монастырской лавке.

Доски делали в своей мастерской чистодеревщики-столяры – помещались на конном дворе, а в красильном корпусе заготовки грунтовали, так же как и холсты.

В рукодельном послушании шили гладью на пяльцах и вообще вышивали. В портняжной шили одежду для сестер. Портных было несколько. В ризной- шили и чинили ризы, делали цветы, убирали иконы и плели русское кружево на коклюшках. В вязальном – вязали на машинах. В манатейном- пряли из русской овечьей шерсти и ткали манатею, из которой шили ряски и мантии. Специально выделенные сестры шили апостольники и камилавки.

В хлебном корпусе сестры пекли хлеб. На мельнице сами мололи муку. Возле мельницы помещались две житницы. В просфорной – пекли просфоры. Трапезная помещалась в храме святого князя Александра Невского, под трапезной была стряпушечная, где варили пищу.

В свечном корпусе в монастыре делали свечи, а подготавливали воск, промывали, топили и отбеливали в лесу на Ломовке, где был специальный свечной корпус.

Соборницы жили в отдельном корпусе. Им приходилось по ночам караулить по очереди собор, а остальные церковницы жили тут же при своих церквях.

В погребном корпусе жили погребщицы. Под корпусом помещался большой погреб, где хранились капуста, огурцы, грибы.

Отдельно была квасная. Там готовили и в погребе под корпусом хранили монастырский квас. В конце зимы, в марте, все погреба набивались льдом и снегом.

В монастыре была своя большая больница и аптека. Врачи были свои же сестры, принимали и лечили там и проходящих крестьян. Был и свой зубной кабинет. Зубы лечили тоже сестры. Было четыре зубных врача. Зубы не только лечили, но делали и протезы.

В саду жили садовницы. Сад был расположен в северо-восточном углу монастыря, а в юго-восточном углу помещалась коровная и находились парники. Там была специальная водокачка. Главная водокачка помещалась у начала канавки. Оттуда все брали воду, а в некоторые послушания был проведен и водопровод. На водокачке работали свои же сестры.

В молотильном корпусе сестры молотили зимой и убирали хлеб и солому. Молотили цепами. Летом работали в поле. Монастырская земля простиралась на юг, к деревне Рузаново.

В огородном корпусе жили огородницы.

В этих послушаниях, в отличие от мастериц и клиросных, жили трудовые сестры.

Хозяйственными работами ведала благочинная и помощница благочинной, которая наряжала сестер на работу в монастыре, а летом из всех послушаний на покос, на поливку огородов, на уборку хлеба, на рытье картошки, на сбор грибов в лесу и вообще на все работы вне и внутри монастыря. На тяжелые работы назначались в основном молодые. До войны 14-го года косили наемные мужики, а с войны сами сестры.

На конном дворе жили наемные рабочие. Там были всякие мастерские: шорная, слесарная, столярная, жестяная. На

конном дворе же стояли монастырские лошади. Жили кучера и работники. За монастырем был свой кирпичный завод.

В монастыре было две своих лавки: бакалейная и мануфактурная. Сестры все могли приобрести, не выходя за ограду. Был специальный лавочный корпус, где жили лавочницы (продавщицы).

Таким образом, монастырь целиком обслуживался сам. Все было внутри обители. Существовало большое, сложное и хорошо организованное хозяйство. Монастырь капиталов не имел, жили своим трудом. Хутора и подворья вносили свою лепту помощи, ведь кроме молодых рабочих сестер было много старых, нетрудоспособных. Кто из них мог, читал в пустыньках Псалтирь, а некоторые уже и того не могли.

У монастырских ворот жили вратницы, которые следили за входящими и выходящими и запирали на ночь обитель.

Была в монастыре и своя баня.

В игуменском корпусе жила матушка-игумения. Там находилась канцелярия. Велся учет всего хозяйства монастыря. Там же помещались кладовщицы, ведавшие вещевыми и продуктовыми кладовыми, и почтарки, которые ходили на почту, приносили и разносили по корпусам письма, деньги и посылки.

Возле ворот, вне монастыря, по Саровской дороге находились гостиницы для богомольцев, а далее дома священников. Гостиницы также обслуживали свои сестры.

Кроме того, в монастыре был приют для девочек. Он был под Высочайшим покровительством Императрицы и назывался Александрийским, так как на его содержание отпускал средства Императорский Двор. В приюте жило до 60 девочек. Принимали туда больше сирот, с 2–3 лет и старше, до 14 лет. Девочки жили там до 14 лет, а потом, по желанию, либо возвращались к родным, либо выводились на послушания. В приюте создали 4-классную школу. Преподавали там сами сестры и монастырское духовенство. В этой же школе учились и дети духовенства. Все содержание, пища, одежда были от монастыря. В свободное от занятий время девочки учились всякому рукоделию: вязать, вышивать, шить. Там же их учили петь, а способных – играть на фисгармонии. Лет с семи их одевали в монастырскую одежду:

ряску и повязку (бархатный колышек), а способных сразу же ставили на клирос. Зимой зачастую всюнощную справляли дома. Приходил батюшка, и сами девочки пели, читали, канонаршили. А в обычное время их всех водили по праздникам в церковь, где все они стояли рядами отдельно. Ежедневно по очереди (по 4 сразу) девочки ходили на монастырское правило, где во время поминовения благотворящих стояли на амвоне на коленях, с воздетыми ручками. Так же выходили и клали 300 поклонов на правиле. Утром и вечером у них была общая молитва, а вечером к тому же попеременно какой-нибудь акафист или 50 раз «Богородице Дево». Там же с ними в корпусе жили сестры-учительницы, няни для маленьких и старшая. В будни они питались дома, а в праздники вместе с сестрами в парадах ходили в трапезную. При приюте имелся свой сад, где дети гуляли и играли в свободное от занятий время. На Рождество им устраивали елку с подарками.

Старушки жили в богадельне, так называемой старой больнице. Там было два корпуса, соединенных переходом (на 2-м этаже), чтобы удобнее было, не выходя на волю, ходить в церковь «Всех скорбящих Радостей. Кроме того, многие старушки жили в хлебном корпусе и рассеянных по монастырю маленьких корпусочках. Кто был в силах, нес послушание в читалах – читали по 2 часа в сутки Псалтирь в определенных пустыньках.

Пустыньки и читалки были в ведении матушки-казначей. У нее велся учет, принимались записи на вечное и временное поминовение живых и умерших. Писались уставом синодики с именами. Каждая сестра имела право записать пять человек своих родных на вечное поминовение (на Псалтирь). Помимо того, у каждой была картонка с именами усопших родных, за которых ежедневно за обедней вынималась отдельная просфора. Картонки сестер и вообще все помянники (синодики) читали специальные пономарки-монахини. Они и читали и пономарили. Псалтирь в Рождественском храме и пустыньках читали неопустительно день и ночь круглый год. Чтение закрывалось лишь в Великую среду после преждеосвященной

Литургии и снова начиналось с началом всенощной в субботу Светлой недели.

Усердствовавшие монастырю жертвовали дома в разных городах, таким образом возникли подворья. Большое подворье было в Петергофе. Кроме него было еще небольшое подворье в Петербурге и обширное в Москве, на 1-й Мещанской. Там стояла часовня, в которой на праздники служили всенощные, а в будни утром и вечером служили молебны преподобному Серафиму, вечером с акафистом нараспев. В остальное время читалась Псалтирь. Большое подворье было и в Нижнем Новгороде на Кавалихе, где была своя церковь во имя преподобного Серафима и большая просфорная. Там жило много сестер. Небольшое подворье в том же Нижнем Новгороде располагалось еще в Канавине, возле Московского вокзала, а в самом здании вокзала была часовня во имя преподобного Серафима. Еще было подворье в Харькове. Там жило пять-шесть сестер. Было подворье и в Арзамасе.

Кроме того, монастырю принадлежали хутора:

1. Сивуха, неподалеку от Оранского мужского монастыря;
2. Сатис, на реке Сатисе, там велось молочное хозяйство, имелся покос и пчельник.
3. Полки, в лесу, за 12 верст, по дороге в Ломасово.

На подворьях в церквях были свои священники, и совершалась ежедневно служба своими певчими сестрами. Ходили они также читать Псалтирь по покойникам. В свободное от службы время сестры в мастерских шили одеяла, вязали платки. В Петергофе была и иконописная мастерская. Просфорные устраивались почти на всех подворьях. В определенное время на подворьях в церквях вычитывалось монастырское правило.

На хуторах имелись хозяйства, в частности молочные, содержались пчельники, неподалеку собирали грибы и ягоды для монастыря. За две версты от монастыря, в лесу, на Ломовке имелась свечная, там на солнце отбеливали воск. На Ломовке же была прачечная, туда выезжали из монастыря стирать белье.

С Сивухи, по близости расстояния, сестры ходили по праздникам к службе в Оранский мужской монастырь, а с Сатиса – в Саров.

В субботу на послушания не выходили, наступал «свой день», когда сестры могли что-то себе заработать, поскольку монастырь предоставлял только помещение и скудную трапезу. Одежда и обувь у каждой сестры были свои, и кто не получал помощи от родных, тем приходилось на это самим зарабатывать. Вязали платки или расписывали, делали четки, кто что умел. Работали и по вечерам в келиях. После погребения покойниц их вещи раздавались, но больше пожилым сестрам, видно, на новеньких мало надеялись, ведь не все уживались в монастыре.

В последние годы, когда в обители поместился понедельничный базар, «свой день» выпадал на понедельник. Кроме того, летом на месяц отпускали сестер жать, так как трапезы уже не было.

Примечательно, что в монастыре многие жили родами. Так, до самого разгона жили Мелюковы, Путковы и другие из родов первых дивеевских стариц.

Главным в монастыре считалось послушание, оно ставилось выше поста и молитвы. В старое время существовал определенный штат монахинь, поэтому многих желающих постригали сверх штата, тайным постригом. Также тайно постригали больных при смерти. Тайно постриженные носили новое имя втайне и не имели права на мантию, их постригали в полумантию. За несколько лет до разгона в монастыре был большой постриг в мантию; постригали много пожилых сестер (кажется, до 200 душ, если не больше).

Монахини обязаны были ежедневно посещать все монастырские службы и еще, кроме того, дома вычитывать по три кафизмы Псалтири. Более молодые при этом от послушаний не освобождались. Постригали в мантию не раньше 40 лет.

По поступлении в монастырь все некоторое время носили свою мирскую одежду. Через несколько месяцев, обычно к какому-нибудь празднику, матушка-игуменья сама одевала

новеньких у себя в корпусе в ряску, апостольник и бархатную, так называемую «голую», камилавку и давала в руки четки с приказанием непрестанно творить Иисусову молитву. А приходили к матушке-игумении в черном монастырского покроя сарафане и монастырской рубашке.

Через некоторое время постригали в рясофор. Постригал иеромонах в церкви. К рясофорному постригу сестры шли парами в черных подрясниках и кожаных поясах с распущенными волосами.

Тут снова одевали в рясу с широкими рукавами, апостольник и надевали уже камилавку, покрытую черной тюлевой наметкой. В руки давались четки и зажженная свеча. Эту свечу хранили, и она давалась в руки умирающей, а после смерти клали в гроб.

Последние годы матушка-игумения одевала сразу в камилавку с наметкой. Манатейные монахини, так же как и Саровские монахи, носили ряски с узкими рукавами. Обретались в монастыре и схимницы, и затворницы, но мало кто решался брать схиму, так как к постригу относились очень серьезно. К тому же мантию как должно в монастыре исполнять было трудно. Схиму явно не носили, но прятали под одеждой.

На все церковные послушания по завету преподобного ставили только девушек (также и в просфорницы).

Церковное белье стиралось церковницами в особых корытах, и помои выливали в отдельные, нарочно для того устроенные колодцы.

Средства в монастыре, как уже сказала, имелись ограниченные, поэтому сестер приходилось посылать в мир за сбором. Это было весьма трудное послушание.

В каждом корпусе устанавливалась чередка: молодые сестры по очереди оставались дома, топили печи, убирали корпус, носили воду, выносили помои и нечистоты за монастырь, мыли посуду, ходили за хлебом и пищей в трапезную, потому что обедали в трапезной только по праздникам. Также приносили квас, огурцы, капусту и ели по корпусам.

В воскресенья и праздники, а также в первую и Страстную недели Великого поста молодые, все, кто мог, ходили в церковь, а в будние дни ходили по желанию и кто имел на это время, свободное от послушания. Служба в монастыре совершалась прекрасная. Особенно хорошо было поставлено пение. Спевок и не сосчитать сколько; более способных учили еще играть на скрипке и фисгармонии. Дивеевские регентши славились. И было их много, ведь и в обители, и на подворьях требовалось много певчих. Летом при большом стечении богомольцев обедни и всенощные служились в нескольких церквях, а пели всегда на два хора. Певчие же читали по усопшим сестрам, пели молебны и панихиды по пустынькам, так что в мастерских им мало приходилось работать.

Служба справлялась полностью по уставу. Великим постом и в воскресенья выпевались все молитвословия ветхозаветные.

В день Рождества Христова весь монастырь ходил поздравлять матушку-игумению, славили рождение Спасителя. Шли отдельно корпусами, было очень торжественно и празднично.

Перед праздниками по всем корпусам делали уборку. Некрашенные полы вымывались добела и все застилалось самоткаными новыми половиками, кровати украшали чистыми покрывалами. Три дня Рождества и всю Светлую неделю не работали, а только ходили в церковь, по канавке, по пустынькам, а дома читали духовные книжки. Бедные певчие, бывало, к концу Пасхальной седмицы лишались голоса от постоянного пения. Ведь на Пасху вся служба заменялась пением, а вместо монастырского правила после вечерни пели весь Пасхальный канон. Когда я поступила в монастырь, меня больше всего поразило, как в монастыре проводили Великий пост и как особенно радостно справляли праздники.

Трапеза в монастыре была очень скудная. В обычные дни раздавали по корпусам кислые щи, больше с черными грибами, квас, капусту, огурцы, черный хлеб. В праздничные дни ходили в трапезную и ели; если три блюда, то квас с рыбой, щи и суп; при 4-х переменах добавлялась еще каша. В тех послушаниях, где имелся свой доход, к трапезе добавляли приварок. Так было

принято, например, в таком серьезном послушании, как живописная. В мастерской все силы сестер уходили в работу, и если бы не добавка, на монастырской пище сестрам не выдержать. И так-то они все выглядели бледными, истомленными, ведь сидели и зиму, и лето без воздуха, да еще при таком напряжении. Трудовые сестры выглядели всегда крепче, здоровее от постоянного пребывания на открытом воздухе, от физической работы.

Работа в мастерских по послушаниям начиналась в 9 часов. В 8 утра после обедни по корпусам все завтракали и пили чай. Варилась картошка. Обедали с 11 до 12-ти. В 3 часа ходили пить чай, а в 5 работа уже кончалась, в половине пятого начинали правило в церкви. Ужинали, кто до, кто после всенощной. Вечером по корпусам была общая вечерняя молитва. Не попавшие в церковь молились дома: Псалтирь, правило, поклоны, акафисты. Ежедневно все сестры ходили по канавке вечером. То была и молитва, и вечерняя прогулка. Спать ложились в 10, ведь утром вставали рано.

Манатейных монахинь при постриге вручали духовным матерям. Рясофорных обычно никому не вручали. Последнее время многие сестры за духовным руководством обращались к схимницам, матушке Анатолии и матушке Серафиме. Схимницы учили их смирению, терпению, послушанию и непрестанной Иисусовой молитве.

Молодые в церкви стояли в середине рядами, старые и монахини у скамеек или имели свои маленькие скамеечки. Стояли всегда чинно, благоговейно, без всяких разговоров.

Место матушки-игумении было за правым клиросом, и перед началом Литургии все певчие выходили парами и ей кланялись. Также и все выходившие чтицы. После обедни подходили за благословением. Матушка-игумения всех крестила. Поклоны в церкви все клали одновременно, по уставу.

В монастыре велись сестринские книжки. В них записывались все сестры, умершие с основания монастыря. Каждая из сестер старалась приобрести такую книжку и поминать почивших ежедневно, особенно в поминовенные дни.

Поминались усопшие сестры и за проскомидиями в церквах и на всех Псалтирях, так что в монастыре умирать было не страшно – отмолят.

Усопших сестер сразу обмывали, обряжали и клали в гроб. Запас гробов был. Покойницу сразу же выносили на ночь в церковь, где над ней читали всю ночь, а на другой день после обедни отпевали и хоронили. Всех, и монахинь и рясофорных, отпевали одинаково полным монашеским отпеванием.

Умирали больше в монастырской больнице, где перед смертью всегда постригали в мантию. Слабых батюшки причащали ежедневно, приходили от ранней со Святыми Дарами.

Рассказывали, что особенно хорошо умирали чахоточные. Многие из них перед смертью сподоблялись видений. За благословением умереть посылали к матушке-игумении, и она обреченных на смерть благословляла. Без благословения матушки-игумении не начиналась ни одна служба. Церковницы брали благословение звонить.

Обмывали в больнице поставленные на то сестры в особой одежде. Такой был закон: когда умирала монахиня, то звонили 12 раз в большой колокол, если рясофорная, то в малый. И весь монастырь в это время должен положить 12 поклонов с молитвой «Богородице Дево». Затем несколько дней после вечерних молитв все молились – читали 12 «Богородиц» за новопреставленных.

Переводили в монастыре из корпуса в корпус так. Приходила благочинная или ее помощница, брала иконочку переводимой сестры, а та должна была кланяться в землю и просить у всех в корпусе прощения. Затем ее вели в другой корпус, и там она снова должна была всем кланяться со словами: «Не оставьте Господа ради». После этого переносила туда свои вещи. Выводили в другой корпус за какую-нибудь провинность. На родину ездили только с благословения матушки-игумении, на точно указанный ею срок.

За просрочку на родине тоже давалось наказание. За большие вины клали земные поклоны в трапезной за общим обедом. При этом в руки давали большие четки с деревянными

бусинками, так что их стук был слышен от каждого поклона на всю трапезную.

Вообще в монастыре переводили мало. Бывало, как поставят в молодости на послушание, так и жили до старости на одном месте, привыкнув и к своей работе, и к сестрам.

Тяжелей всего, когда сводили певчих с клироса или переводили с правого на левый. Это было самое большое горе, трудно им привыкать в новом положении.

Вся жизнь, все интересы, горе и радости сосредотачивались в монастыре. Жизни вне монастыря будто и не существовало. Было много монахинь, которых приводили, а иногда и приносили в монастырь младенцами, и доживали они в нем до глубокой старости. Матреша моя пришла в монастырь 4-х лет и так любила обитель, что ее насильно посылали в Вертьяново на несколько часов к родным. Она тут же стремилась обратно. Даже ходить она одна в миру боялась и всегда просила брата родного проводить ее домой.

Что я слышала от сестер и видела и слышала сама

Пророки. Рассказывала мать Агния. В Тихвинской церкви сзади в углу против входа на хоры висела картина ветхозаветных пророков. Картина размером 2 на 3 аршина. Пророки были написаны во весь рост. От времени изображение потемнело, сделалось почти черным. Перед картиной горела лампада.

А тут перестали лампадку зажигать: «Что ее зажигать – картина черная – почти ничего не видать».

И вот раз приходят старушки, которые там всегда стояли, а пророки ушли. Никакого изображения на холсте нет. Стали старушки нарочно собираться там молиться, зажигать лампадку, и вот раз приходят утром и видят, что пророки пришли. Утро было росистое, и у пророков на ногах капельки росы.

Это было давно, еще до открытия святых мощей преподобного.

О новом соборе. Новый собор начали строить вскоре после открытия мощей, но не достроили.

Средства на постройку пожертвовал москвич Федор Васильевич Долгинцев. Он будто бы участвовал в каком-то розыгрыше и пообещал, что если выиграет, то отдаст эти деньги на постройку собора. Так и произошло.

В Дивееве существовало предание: батюшка Серафим благословил поставить собор у канавки, на одной линии с Троицким собором. Но там впоследствии Иван Тихонов, гонитель дивеевских сестер, успел поставить деревянный храм Тихвинской иконы Божией Матери. Причем построил он его из материала, приготовленного на постройку Троицкого собора. Нижний этаж Тихвинского храма был низкий, выполнен в камне; в восточной его части был небольшой придел в память иконы Божией Матери «Утоли моя печали». При храме в особых келиях жили сестры-церковницы. На втором этаже – трехпрестольный деревянный храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери, с приделами Архангела Михаила и Всех святых. Над папертью помещались хоры.

Храм был тесен и душен, в нем обыкновенно служили в зимнее время. А когда переходили в летний собор, там бывала лишь ранняя Литургия. После разгона в Тихвинском храме устроили паровую мельницу, постройка сгорела осенью 1928 года.

Новый собор строить на месте Тихвинского храма настаивал митрополит Серафим (Чичагов). Но мать-игумения Александра не пожелала ломать зимний храм. И решено было заложить собор вне канавки. Это и явилось причиной разрыва между игуменией и преосвященным Серафимом.

Назначили торжественную закладку.

Покойная матушка-игумения Мария ничего не делала, никуда не ездила без благословения блаженной Прасковьи Ивановны. Игумения же Александра не следовала ее примеру.

Уже шло торжественное молебствие на месте закладки, когда к Прасковье Ивановне приехала тетушка игумении, Елизавета Ивановна. Она была старенькая и глухая. Вот и говорит послушнице Дуне:

– Я буду спрашивать блаженную, а ты пересказывай, что она будет отвечать, а то я не слышу.

– Мамашенька, нам собор жертвуют.

Прасковья Ивановна ответила: «Собор-то собор, а я усмотрела: черемуха по углам собора-то выросла. Как бы не завалили и собор-то».

– Что она говорит?

Дуня решила так: «Собор уже закладывают, так что без толку теперь говорить». И ответила:

– Благословляет.

Собор так и остался недостроенным. За последние годы несколько раз собирались его взорвать, но не разрешили – могли повредить окружающим постройкам.

Техником-строителем собора был Александр Александрович Румянцев. В 20-х годах он переехал в Англию.

Расписывали собор сестры монастырской иконописной мастерской под руководством художника Парилова. Уже был готов, но только не поставлен иконостас. И в это время вдруг спохватились, что забыли устроить отопление. Это оттянуло на

год освящение, а когда кончили, освящать было уже поздно, война началась.

Собор хотели освятить во имя иконы Божией Матери «Умиление» и преподобного Серафима.

Говорили, что блаженная Ксения Степановна ночью приходила на место закладки и поневежничала.

Сейчас собор стоит открытый, без дверей. В нем царит мерзость запустения.

Об изображении преподобного на иконах. Многие спрашивают: почему в Дивееве писали преподобного Серафима не так, как оно сохранилось на старинных изображениях его времени?

Дело в том, что в Сарове в покоях отца-игумена сохранялся портрет преподобного более раннего возраста. Святой изображен на сером фоне, в овале. Снимок с него помещен в «Летописи...» Чичагова. Писал старца художник Серебряков. Преподобный на нем изображен молодым, несогбенным. Портрет этот на другой день изъятия мощей послушник Борис принес рано утром в Дивеево и поместил сначала в нашей келии, а потом отдал блаженной Марии Ивановне. Где он сейчас, точно не известно.

С этого портрета, видимо, и писались иконы после открытия мощей.

В последние дни перед разгоном я вдруг неожиданно увидела на своей кровати большую тетрадь. Это была сшитая рукопись Мотовилова, и далее красивым четким почерком – расшифровка.

Рукопись была написана страшно неразборчивым почерком, одни волнистые линии, наподобие стенографической записи. Из приложенной расшифровки я поняла, что уже в мотовиловское время многие стали неправильно изображать кончину преподобного. Изображали его стоящим, а иногда даже и лежащим у аналая в пустой келии. Кроме того, неправильно в углу ставят икону Божией Матери «Умиление». В действительности же было не так. Преподобный стоял на коленях у аналая, а не лежал. Иконы были расположены в следующем порядке: в углу образ Нерукотворенного Спаса,

направо рядом большой образ Царицы Небесной, а еще правей, с краю, образ Божией Матери «Умиление», перед ним круглый подсвечник-поднос с множеством горящих свечей.

В тетрадке был даже рисунок Мотовилова с надписью: «Я хоть и плохой художник, а все-таки попытаюсь изобразить».

Говорилось еще, что келия всегда была завалена мешками с сухарями, холстами, свертками свечей, так что к иконам оставался лишь узкий проход. Пожар-то и начался с того, что загорелись все эти вещи.

Я отдала тогда же тетрадь матушке-игумении.

Дуня Булатова, жившая в келии с Агашей Купцовой, мне говорила. Агаша была из рода Мелюковых, то есть родственница Елены Ивановны Мотовиловой. Раз Дуня выпросила у нее одну тетрадь Мотовилова. Там было сшито все подряд: хозяйственные счета, деловые бумаги и т. д. Но все же она сумела там разыскать и духовное. Мотовилов пишет, что преподобный ему много говорил о будущем России. И он было сел и хотел записать, но Ангел остановил его руку, сказав: «Не пиши, а передавай устно». Там еще было написано, что преподобный говорил, что смерть его будет подобна смерти семи отроков Ефесских.

Эту рукопись у Агаши выпросил один человек, назвавшийся царским фотографом. Обещал напечатать. В рукописи еще было написано:

«Не то диво, что не дошли за 100 сажень до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобна смерти отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали во уверение всеобщего воскресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по всемирному Диву».

Как блаженная Наталия Ивановна провожала Правду. Я много раз слышала еще в монастыре, что блаженная Наташенька перед смертью в 1900 году проводила со звоном Правду на небо. Но как это было, точнее ничего не могла узнать.

В 50-х годах мне пришлось встретиться с одной женщиной из деревни Князь-Иваново. Она-то мне и рассказывала, что это

происходило при ней в какой-то большой летний праздник, кажется, на Троицу.

В то время колокольни в монастыре еще не было, а колокола помещались в конце канавки на деревянном помосте. Пустынька Наталии Ивановны находилась рядом с хлебным корпусом, и она всегда звонила к полунощнице. А тут она неожиданно подняла звон во время обедни. Все выскочили из церкви узнать, что случилось. Вышла и покойная мать-игумения Мария. Все направились к звоннице. Матушка-игумения обратилась к блаженной и спросила, почему она так звонит. Та ответила:

– Правду на небо провожаю, Правды на земле больше нет!

– Ну, больше так не делай, – сказала игумения.

– Больше не буду, – ответила блаженная и развела руками.

В тот же год она скончалась.

Часы. В последнюю зиму перед разгоном у нас два раза ни с того ни с сего начинали звонить часы: раз днем, а другой раз ночью. Так долго, что все мы даже выходили слушать.

В мирное время часы отбивали: «Пресвятая Богородице, спаси нас», потом были испорчены и молчали.

В ту же зиму в Сарове у иеромонаха Гедеона был случай с будильником. Показывал все нормально, и вдруг стрелка повернула обратно, отошла на час назад и опять пошла как положено.

Когда я была у Марии Ивановны под Новый, 1927 год, я спросила об этом блаженную: «Что это значит?» Она ответила: «Часы, они вещие. Они правды ищут, а правды на земле уже нет».

О Петергофе. Вскоре после открытия мощей преподобного Серафима возникло Дивеевское подворье в Петергофе. Оно помещалось на полпути между Петергофским дворцом и собственной дачей Императорской Фамилии.

На подворье жило 80 сестер. Старшей была сначала монахиня Агния, а затем сестра матушки-игумении монахиня Феофания Траковская. На подворье стояли две церкви, иконописная мастерская, просфорня. Имелся превосходный хор.

Государыня с дочерьми часто посещала наше подворье. Рассказывала мне Матреша: ее привезли туда в 1913 году. В следующее лето Государыня приезжала на подворье 11 раз. Приезжала одна или с кем-нибудь из дочерей, но ни разу не привозила Наследника, хотя сестры ее раз об этом даже просили, но она ответила, что им распоряжаться не может. Иногда она заранее заказывала обедню без звона. Иногда привозила кого-нибудь из свиты. Сестры провожали ее всегда, окруживши гурьбой. Когда Матрешу еще с одной сестрой привезли в Петергоф, Государыня сказала: «У вас есть новенькие». На Пасху она присылала всем сестрам по прекрасному фарфоровому яйцу.

С подворья был прямой телефонный провод во Дворец, а из церкви был провод в жилой корпус. Война 1914 года началась утром 19 июля, в день памяти преподобного Серафима. Государыня с княжнами была накануне у всенощной и у обедни. Отошла обедня, только проводили гостей, вдруг звонят из церкви: «Государь в церкви». Он приехал в защитной форме простого солдата, и дежурившая в церкви сестра узнала его только потому, что он вошел вперед Государыни. Все сестры вскочили, на ходу надевая ряски и камилавки. И бегом в церковь.

Государь стоял у иконы преподобного Серафима. Прибежал и батюшка. Запели: «Спаси, Господи, люди Твоя...»

Откуда ни возьмись церковь наполнилась толпой народа. Так что когда стали выходить, получилась давка. Государыня все говорила: «Тише, тише, не раздавите детей». Дело в том, что в связи с началом войны объявили эвакуацию всего побережья, и взволнованный народ хотел видеть Государя.

Когда батюшка сводил Государя с паперти, Государь сказал:

– Простите меня, мне хотелось приехать сегодня к обедне, но вот, видите, война.

Эвакуацию побережья отменили. Сестры жили на подворье до лета 1917 года. Шили шелковые рубашки офицерам. Для образца была прислана из дворца красная шелковая рубашка Государя.

Говорили еще, что сестры видели, когда прибежали в церковь, что Государь очень плакал перед образом преподобного Серафима.

Сестры жили в Петергофе под особым покровительством Царской Семьи. С наступлением революции 1917 года на подворье начали забираться пьяные солдаты. Другие пытались там прятаться. Стало крайне беспокойно, и решено было бросить все и перебраться в монастырь.

На подворье в Петергофе впоследствии жили сестры общины архимандрита Гурия Егорова, впоследствии митрополита, возобновителя Троице-Сергиевой лавры.

Об открытии мощей. С кончины батюшки Серафима Саровского до открытия его мощей прошло 70 лет. Память о нем никогда не забывалась, терпеливо ждали обещанного открытия святых мощей. Рассказывали мне старые монахини, что до самого открытия мощей 2 января (день кончины батюшки Серафима) всегда в Сарове пекли блины, и для этого в Саров ездили из Дивеева наши сестры. Мать Амвросия рассказывала мне, что она молодая ездила в Саров мазать блины. Блинами кормили всех паломников.

В конце XIX столетия начал ездить в Саров будущий митрополит Серафим, тогда еще блестящий гвардейский полковник Леонид Чичагов.

Рассказывала мне послушница блаженной Прасковьи Ивановны Дуня, что, когда Чичагов приехал в первый раз, Прасковья Ивановна встретила его, посмотрела из-под рукава и говорит:

– А рукава-то ведь поповские.

Тут же вскоре он принял священство. Прасковья Ивановна настойчиво говорила ему:

– Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи открывали.

Чичагов стал собирать материалы, написал «Летопись» и поднес ее Государю. Когда Государь ее прочитал, он возгорелся желанием открыть мощи.

Все это Чичагов описал во второй части «Летописи». Там были изложены подробности всех событий перед открытием мощей и описано само открытие. Все то, что нельзя было

напечатать в старое время. Эта рукопись пропала при аресте в 1937-м.

Рассказывали мне те, кому митрополит лично читал эту рукопись, что перед прославлением преподобного в Синоде была большая смута. Государь настаивал, но почти весь Синод был против. Поддерживали его только митрополит (впоследствии) Кирилл да товарищ обер-прокурора Синода Владимир Карлович Саблер. Отговорка: «Куда и зачем ехать в лес, нашлись только кости».

Евдокия Ивановна, послушница Дуня, рассказывала мне, что в это время блаженная Прасковья Ивановна 15 дней постилась, ничего не ела, так что не могла даже ходить, а ползала на четвереньках. И вот как-то вечером пришел Чичагов, тогда еще архимандрит Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале.

– Мамашенька, отказывают нам открыть мощи.

Прасковья Ивановна ответила:

– Бери меня под руку, идем на волю.

С одной стороны блаженную подхватила ее келейница мать Серафима, с другой – архимандрит Серафим.

– Бери железку (лопату).

Спустились с крыльца.

– Копай направо, вот они и мощи.

Обследование останков преподобного Серафима было в ночь на 12 января 1903 года. В это время в селе Ламасово, в 12 верстах от Сарова, увидели зарево над Саровом. И крестьяне побежали на пожар. Приходят и спрашивают:

– Где у вас был пожар? Мы видели зарево.

– Нигде пожара не было, – им отвечают. Позже один монах тихонько сказал:

– Сегодня ночью комиссия вскрывала останки батюшки Серафима.

От батюшки Серафима уцелели лишь косточки, вот и смущался Синод:

– Ехать в лес, мощей нетленных нет, а лишь кости.

На это одна из бывших еще в живых стариц преподобного сказала:

– Мы кланяемся не костям, а чудесам.

Говорили сестры, будто бы преподобный и сам явился Государю, после чего тот уже своей властью настоял на открытии мощей.

Чудес, действительно, являлось много и до и после открытия мощей.

Открытие мощей преподобного батюшки Серафима состоялось 19 июля 1903 года.

Тогда Казанской железной дороги еще не было, ездили через Нижний Новгород. Царский поезд вел начальник дистанции Борис Николаевич Веденисов. Была устроена временная станция против села Выездного в лугах, на переезде возле мельницы. Надо было срочно устроить грунтовую дорогу до Сарова. Никто в такое короткое время не брался этого сделать. Вызвался Б.Н. Веденисов, и преподобный, по словам Бориса Николаевича, сам ему помог. Сделали все очень просто. Время стояло жаркое. Дорогу вспахивали плугами, затем поливали водой из бочек и укатывали катками, которыми укатывают поле. Дорога получилась гладкая и твердая, как асфальт. Замечу, кстати, что перед смертью в 1950 году Б.Н. Веденисов на моих глазах получил исцеление от кусочка мантии преподобного Серафима.

Когда Государь входил в Саровский собор, народ стоял по сторонам стеной и одну беременную женщину так сдавили, что она тут же родила мальчика прямо на ковер, почти под ноги Государя. Едва успели убрать. Государь узнал об этом случае и велел записать себя крестным новорожденному.

На открытие мощей в Саров поехала почти вся Царская Фамилия. Крестьяне, празднично разодетые, встречали их по селам и по дорогам, стоя плотными рядами.

В селе Пузе Государь велел остановиться и подозвал к себе празднично разодетых маленьких девочек. Все они были одеты в красные сарафаны (кумачники), разноцветные фартуки и шелковые, «разливные» платки. Одна из них, Дуня, до сих пор жива. Ей тогда было шесть лет.

Приехали в Саров 17 или 18 июля (не знаю точно). Великие князья тут же поехали в Дивеево к блаженной Прасковье

Ивановне. Они ей привезли шелковое платье и капор, в которые тут же и нарядили.

В то время в Царской Семье было уже четыре дочери, но мальчика-наследника не было. Ехали к преподобному молиться о дарований Наследника. Прасковья Ивановна имела обычай все показывать на куклах, и тут она заранее приготовила куклу-мальчика, настелила ему мягко и высоко платками и уложила: «Тише, тише, он спит...» Повела им показывать: «Это ваш». Великие князья в восторге подняли блаженную на руки и начали качать, а она только смеялась.

Все, что она говорила, передали по телефону Государю, но сам Государь приехал из Сарова только 19 июля. Евдокия Ивановна рассказывала, что келейница Прасковьи Ивановны матушка Серафима собралась в Саров на открытие, но вдруг сломала ногу. Прасковья Ивановна ее исцелила. Им было объявлено, что как встретят Государя в игуменском корпусе, пропоют духовный концерт. Он усадит свиту завтракать, а сам приедет к ним.

Вернулись матушка Серафима с Дуней со встречи, а Прасковья Ивановна ничего не дает убрать. На столе сковорода картошки и холодный самовар. Пока с ней воевали, слышат в дверях:

– Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Государь, а с ним Государыня. Уже при них стелили ковер, убрали стол, сразу принесли горячий самовар. Все вышли, оставили одних, но они не могли понять, что говорит блаженная, и вскоре Государь вышел и сказал:

– Старшая при ней, войдите.

Когда стали прощаться, вошли архимандрит Серафим (Чичагов) и келейные сестры.

Прасковья Ивановна открыла комод. Вынула новую скатерть, расстелила на столе, стала класть гостинцы: холст льняной своей работы (она сама пряла нитки), нецелую голову сахара, крашенных яиц, еще сахара кусками. Все это она завязала в узел очень крепко, несколькими узлами, и когда завязывала, от усилия даже приседала, и дала Государю в руки:

– Государь, неси сам, – и протянула руку – а нам дай денежку, нам надо избушку строить (новый собор).

У Государя денег с собой не было, тут же послали. Принесли, и Государь дал ей кошелек золота. Этот кошелек сразу же передали матери-игумении.

Прощались, целовались рука в руку. Государь и Государыня обещали опять скоро приехать открывать мощи матушки Александры, потому что она являлась во дворце и творила там чудеса.

Когда Государь уходил, то сказал, что Прасковья Ивановна единственная истинная раба Божия. Все и везде принимали его как царя, а она одна приняла его как простого человека.

От Прасковьи Ивановны поехали к Елене Ивановне Мотовиловой. Государю было известно, что она хранила переданное ей Н.А. Мотовиловым письмо, написанное преподобным Серафимом и адресованное Государю Императору Николаю II. Это письмо преподобный Серафим написал, запечатал мягким хлебом, передал Николаю Александровичу Мотовилову со словами:

– Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся Царская Фамилия, и Царь придет к ней. Пусть она ему передаст.

Мне рассказывала Наталия Леонидовна Чичагова (дочь владыки), что когда Государь принял письмо, с благоговением положил его в грудной карман, сказав, что будет читать письмо после.

А Елена Ивановна сделалась в духе и долго, полтора или два часа, им говорила, а что, сама после не помнила. Елена Ивановна скончалась 27 декабря 1910 года. Она была тайно пострижена.

Когда Государь прочитал письмо, уже вернувшись в игуменский корпус, он горько заплакал. Придворные утешали его, говоря, что хотя батюшка Серафим и святой, но может ошибаться, но Государь плакал безутешно. Содержание письма осталось никому неизвестно.

В тот же день, 20 июля, к вечеру все уехали из Дивеева. После этого со всеми серьезными вопросами Государь

обращался к Прасковье Ивановне, посылал к ней Великих князей. Евдокия Ивановна говорила, что не успевал один уехать, другой приезжал. После смерти келейницы Прасковьи Ивановны, матушки Серафимы, спрашивали все через Евдокию Ивановну. Она передавала, что Прасковья Ивановна сказала:

– Государь, сойди с престола сам!

Блаженная умерла 22 сентября 1915 года (старица прожила 120 лет. *Сост.*). Перед смертью она все клала земные поклоны перед портретом Государя. Когда она уже была не в силах, то ее опускали и поднимали келейницы.

– Что ты, мамашенька, так на Государя-то молишься?

– Глупые, он выше всех царей будет.

Было два портрета царских: вдвоем с Государыней и он один. Но она кланялась тому портрету, где он был один. Еще она говорила про Государя:

– Не знай, преподобный, не знай, мученик!

В эти годы многие приезжали в Саров и в Дивеево. Приезжали Распутин со свитой – молодыми фрейлинами. Сам он не решился войти к Прасковье Ивановне и простоял на крыльце, а когда фрейлины вошли, то Прасковья Ивановна бросилась за ними с палкой, ругаясь: «Жеребца вам стоялого». Они только каблуками застучали.

Приезжала и Вырубова. Но тут, боясь, что Прасковья Ивановна опять что-нибудь выкинет, послали узнать, что она делает. Прасковья Ивановна сидела и связывала поясом три палки – у нее было три палки, одна называлась «тросточка», другая «буланка», третья не помню как, – со словами: «Ивановна, Ивановна (так она сама себя называла), а как будешь бить? – Да по рылу, по рылу! Она весь дворец перевернула!

Важную фрейлину не допустили, сказав, что Прасковья Ивановна в дурном настроении.

Незадолго до своей смерти Прасковья Ивановна сняла портрет Государя и поцеловала в ножки со словами:

– Миленький уже при конце.

Разгон обители. 31 декабря 1926 года в канун Нового года перед всенощной я была у блаженной Марии Ивановны. Она

послала меня:

– Посмотри, какой новый месяц родился, крутой или пологий?

Я пошла и, вернувшись, сказала, какой месяц.

– Старушки умирать будут, – сказала блаженная. И правда, с 1-го января две недели все время были покойницы, даже не по одной в день.

А потом блаженная стала говорить:

– Какой год наступает, какой тяжелый год! Уже Илья и Енох по земле ходят...

Говорила об этом очень много, так что даже задержала меня до половины всенощной.

В воскресенье Недели мытаря и фарисея приехали изверги разгонять Саров. Это длилось до 4-й недели Великого поста.

У мощей гробным стоял в течение многих лет иеромонах Маркеллин. Управляющий Тамбовской епархией архиепископ Зиновий находился в это время в Дивееве. Он вызвал о. Маркеллина и приказал ему взять мощи и скрыться с ними на Кавказе. Но тот отказался, сказав, что он, стоя столько лет у святых мощей, столько видел от них чудес, что уверен, что преподобный и сейчас сам не дастся.

За это о. Маркеллин был отставлен, и на его место поставили иеромонаха Киприана.

Выгонять монахов было трудно. У них почти у всех были отдельные келии с отдельными выходами, имелось по несколько ключей. Сегодня выгонят монаха, а завтра он опять придет и запрется. Служба в церквах еще шла. Наконец, в понедельник Крестопоклонной недели приехало много начальства. Сгребли все святыни: чудотворную икону Живоносного Источника; гроб-колоду, в котором лежал 70 лет в земле батюшка Серафим; кипарисовый гроб, в котором находились мощи, и другое. Все это сложили между царскими покоем и северным входом Успенского собора, устроили костер, зажгли. Послушник Борис сумел сфотографировать, он приносил нам показать снимок этого костра. Мощи же батюшки Серафима, то есть его косточки, как они были облачены в мантию и одежды, все это свернули вместе и вложили в синий просфорный ящик. Ящик запечатали,

а сами разделились на четыре партии, сели на несколько саней и поехали в разные стороны, желая скрыть, куда они везут мощи. Ящик со святыми мощами повезли на Арзамас через село Онучино, где и остановились ночевать и кормить лошадей. Однако как ни хотели скрыть концы, но когда тройка со, святыми мощами въехала в село Кременки, там на колокольне ударили в набат. Мощи везли прямо в Москву. Там их принимала научная комиссия. К этой комиссии сумел присоединиться священник Владимир Богданов. Когда вскрыли ящик, то, по свидетельству о. Владимира, мощей в нем не оказалось. Я слышала это от его духовных детей. Это же говорили и покойный владыка Афанасий, бывший после в ссылке вместе с о. Владимиром в Котласе.

Говорили, что, приехав на ночлег, кощунники ящик со святыми мощами заперли в амбаре, а ключи взяли себе. Но сами сильно выпили.

После этого служба в Сарове прекратилась, и монахи разошлись кто куда. В те дни о. Маркеллин приходил к нам в корпус. Он не мог себе простить, что ослушался владыки, и доходил до нервного расстройства. В 31–32 годах он был арестован и сослан в Алма-Ату. Пробыл там на пересыльном пункте Великий пост 1932 года, а в Великую субботу был отправлен этапом дальше, где вскоре и скончался.

На 4-й неделе Великого поста разогнали Саров, а после Пасхи явились к нам.

Начались обыски по всему монастырю, по всем корпусам. Описывали казенные вещи и проверяли все наши вещи. Была весна, все цвело, но мы ничего не видели. В эти тяжелые дни пошла я к блаженной Марии Ивановне. Она сидела спокойная и безмятежная:

- Мария Ивановна, проживем ли мы еще спокойно?
- Поживем.
- Сколько?
- Три месяца!

Начальство уехало. Все как будто бы пошло опять своим чередом. Прожили мы ровно три месяца и под Рождество Пресвятой Богородицы 7/20 сентября 1927 года нам

предложили уйти из монастыря. Все это лето монастырская жизнь днем проходила как будто бы своим обычным порядком, но как только начиналась ночь, откуда-то прилетали совы, садились на крыши корпусов и весь монастырь наполняли своим зловещим криком. И так было каждую ночь. Как только объявили разгон, совы сразу куда-то делись.

В то время жили у нас в ссылке двое владык: архиепископ Зиновий Тамбовский и епископ Серафим Дмитровский. В самый праздник Рождества Богородицы владыка Зиновий служил обедню в храме Рождества Богородицы. Певчие запели стихирю «Днесь, иже на разумных престолех почиваяй Бог...» и не смогли дальше петь. Все заплакали, и вся церковь плакала.

Владыка Серафим служил обедню в соборе. После обедни он произнес проповедь, а в ней такие слова: сейчас каждому из нас поднесена чаша, но кто как ее примет. Кто только к губам поднесет, кто отопьет четверть, кто половину, а кто и всю до дна выпьет. Также он говорил, что в монастыре все мы горели одной большой свечой, а теперь разделяемся каждая своей отдельной свечечкой.

В следующую ночь оба владыки, матушка-игумения, благочинные и некоторые старшие сестры были арестованы и отправлены в Нижний Новгород, а оттуда в Москву, где их освободили и предложили выбрать место жительства.

После этого до самого Воздвиженья служба в храмах еще продолжалась. Последняя служба была на Воздвижение, всенощная и обедня, в храме «Всех скорбящих Радосте».

После обедни певчие запели, как обычно в Прощеное воскресенье, «Плач Адама». Все сестры прощались. Вся церковь плакала.

В Сарове монахи ушли в понедельник 4-й недели Поста, а мы на другой день Воздвиженья. Тем и другим предстояло нести тяжкий крест.

После разгона. С Воздвиженья сестры сразу не разъехались, а поселились в Дивееве, Вертянове и окрестных селах.

В Казанской церкви, построенной матушкой Александрой, было два священника, и всегда велась ежедневная служба:

заутреня, а затем обедня. Одинаково и в будни, и в праздники. За обедней всегда было очень длинное поминовение. Дьякон поминал целый час на амвоне покойников.

Настоятелем в то время был о. Павел Перуанский. Умер он на Пасху 1938 года в Арзамасской тюрьме митрофорным протоиереем. Говорили, что его вызвали незадолго до ареста и спросили:

– Ты пастырь или наемник?

Он ответил:

– Я пастырь.

Вторым священником был о. Симеон. Он происходил из мастеровых и в 30-х годах по слабости человеческой снял с себя сан и стал работать на военном заводе в Вятке. Во время войны умер у станка.

Рассказывали мужики, что как-то раз приезжал он в Дивеево. В Арзамасе просился сесть на попутную машину, его узнали и предложили ехать в кабине. Но он отказался, а лег в кузов и всю дорогу проплакал.

Дьяконом был о. Михаил Лилов. У него было много детей, жил в бедности. Вот и он надумал снять сан, но было ему видение – явилась первоначальница Дивеевской обители матушка Александра. Я помню, как он читал в Великую среду Евангелие на Литургии и прерывался от слез. Скончался одновременно с о. Павлом в Арзамасской тюрьме.

После разгона монастыря монашенки, жившие еще в пределах обители, ежедневно ходили в Казанскую церковь. Певчие пели и читали на клиросе. В церкви был свой большой слаженный хор. По просьбе прихожан и по благословению игумении в последние годы перед разгоном и впоследствии, до закрытия храма в 1937 году, хором управляла наша монашенка, бывшая петергофская регентша Агафья Романовна Уварова. У нее был твердый характер, так что даже мужики ее боялись. На монастырские праздники служились всенощные. В Казанском храме и отпевали умерших сестер.

Так прожили зиму, к весне многие сестры стали разъезжаться по родным. У некоторых по дороге все отбирали, и приезжали они к родным в том, что лишь на них было.

Чувствуя близкий разгон обители, большинство сестер заранее запаслись квартирами, а мы, несколько человек новеньких, жили одним днем и при разгоне деваться нам было некуда. Сняли мы какую-то худую избушку в Вертьянове, с провалившимся полом, полную блох. Так жить было нельзя. В селе Елизарьеве, в семи верстах по направлению к Арзамасу, поселился у своего брата о. Иакова наш монастырский священник о. Михаил. Они нашли нам квартиру в Елизарьеве, и мы туда перебрались на зиму.

Блаженная Мария Ивановна. Блаженная Мария Ивановна была родом тамбовская. При жизни старицы Прасковьи Ивановны ходила оборванная, грязная, ночевала под Осиновским мостом. Настоящее отчество ее было Захаровна, а не Ивановна. Мы спрашивали, почему же она Ивановной называется? Ответила:

– Это мы все, блаженные, Ивановны по Иоанну Предтече.

Также и блаженная Наталия Димитриевна называлась Наталией Ивановной.

Когда перед смертью блаженной Прасковьи Ивановны Мария Ивановна пришла к ней проситься остаться в монастыре, та ей ответила:

– Только на мое кресло не садись.

Но ее все-таки сначала поместили в келии Прасковьи Ивановны. Блаженная Мария очень много и быстро говорила, и складно так, даже стихами. Но сильно ругалась, особенно после 1917 года. Келия эта была у самых входных ворот, и пришлось блаженную перевести в глубь монастыря, в богадельню, где она и прожила до разгона обители.

Рассказывала жившая с нею в то время сестра бывшей келейницы Прасковьи Ивановны Дуня.

– Мария Ивановна так ругалась, так ругалась, сил нету. Уж мы даже на улицу бегали. Раз я ее спрашиваю:

– Мария Ивановна, почему ты так ругаешься? Мамашенька ведь Прасковья Ивановна так не ругалась.

– Хорошо ей было блажить при Николае, а поблажи-ка при советской власти!

Сначала она ходила по монастырю, любила блаженного дурачка Онисима. Называла его своим женихом, ходила с ним под ручку, а потом у нее отнялись ноги, и она либо сидела, либо лежала на постели.

Это была высокой жизни прозорливица. Народ приходил и приезжал к ней отовсюду. Многим она открывала всю жизнь. У нее бывал и очень почитал ее епископ Варнава (Беляев), викарий Нижегородской епархии. По его благословению для нее к разгону монастыря была построена келия в селе Пузе, в 18 верстах по направлению к Арзамасу. Туда же ее сразу после разгона монастыря и отвезли и от всех закрыли.

Мне пришлось быть у нее во время разгона. Стала ее спрашивать, как и что. Она много мне говорила. Описывала крестный ход.

– Вот идут с фонарями, с иконами, по грязи (во время разгона была страшная грязь) до Ардатова и обратно вернутся, как с крестным ходом (вот сколько десятилетий с крестным ходом ходим!).

Описывала избу худую на краю Вертьянова, битком набитую. Спрашиваю:

– «Хорошо там?» – «Нет, плохо» (может быть, тюрьма?). Больше ничего не помню.

В Пузе Мария Ивановна пробыла месяца 2–3. Когда игуменья поселилась в Муроме, к ней с отчетами явились все старшие. Явилась и мать Дорофея, келейница блаженной Марии Ивановны:

– Зачем ты Марию Ивановну в мир отдала? Бери обратно.

Та поехала к ней в Пузу: «Мария Ивановна, поедешь со мной?» – «Поеду». Сразу ее положили на воз, закрыли ватным красным одеялом и привезли в Елизарьево. Куда там ее девать? Пошли за советом к о. Михаилу с о. Иаковом, а те говорят: «Везите ее к девчатам» (к нам с Тоней). К нам ее и привезли неожиданно.

У нас она пробыла несколько дней, пока нашли квартиру и протопили – была зима. Там она и прожила зиму. Весной перевезли в Дивеево, сначала к немым (жили брат и сестра глухонемые), оттуда к Шатагиным. А в 30-м году, весной,

перевезли блаженную на хутор возле Починок и наконец в Череватово, где она и скончалась в 1931 году, 26 августа, в ночь на праздник Владимирской иконы Божией Матери. В ту ночь была страшная гроза. На Череватовском кладбище она и похоронена.

Мы жили с Тоней (скончалась монахиней Серафимой в Покровском монастыре в Киеве) и часто к ней ходили. Она когда ругалась, а когда вдруг ласково скажет: «Вот мои котятки пришли».

Много она при мне говорила, и мне всю жизнь сказывала, и другим при мне.

Раз как-то Тоня и говорит:

– Ты все говоришь, Мария Ивановна, монастырь! – Не будет монастыря!

– Будет! Будет! Будет! – И так застучала изо всех сил рукой по столу. Она бы разбила себе руку, не подложи мы на стол подушку, чтобы не так было больно.

Всем сестрам (теперь в живых нет ни одной) она назначала в монастыре послушания: кому сено сгребать, кому канавку чистить, кому что, а мне никогда ничего не говорила. Я как-то расстроилась и скажи ей:

– Мария Ивановна, а я доживу до монастыря?

– Доживешь, – ответила она тихо и крепко сжала мне руку, даже больно придавила к столику.

Перед смертью Мария Ивановна всем близким к ней сестрам сказывала, сколько они по ней прочитают кафизм до 40-го дня. Все это исполнилось в точности. А мне сказала, когда я была у нее в последний раз в октябре 1930 года:

– А ты по мне ни одной кафизмы не прочитаешь.

И действительно, ничего не прочитала. Вспомнила о ее словах уже в 40-й день, когда было поздно.

Бойцовы. При Дивееве жили муж и жена Бойцовы по благословению старца Оптинской пустыни о. Иосифа (или о. Анатолия). Василий Михайлович Бойцов был старообрядцем, начетчиком, жил в Петрограде. Раз он шел по Петербургу и увидел, как по Невскому проспекту едет о. Иоанн Кронштадтский весь в сиянии. Это видение привело Василия

Михайловича в лоно Православной Церкви. Он был большой молитвенник. Жена его, Александра Константиновна, скончалась 27 января 1929 года и похоронена на Дивеевском кладбище, а его в 1931 году взяли в Дивееве вместе с нашими сестрами. Он радовался, что попал в тюрьму вместе с дивеевскими. Год он просидел в Горьковской тюрьме, откуда его отправили в ссылку в Архангельск. Переходя по льду через Белое море, он поскользнулся и сломал ногу. Умер в больнице в Архангельске.

Говорила мне одна сестра, что Бойцов рассказывал: одному человеку было видение, может быть, ему самому. Слышит, спрашивают: «Сколько человек вернется в Дивеево? Триста?» – «Нет». «Тридцать?» – «Нет». «Три человека».

Крест чудотворный. После разгона монастыря многие иконы были сложены в верхнем Рождественском храме. Крест-распятие был очень большого размера и, очевидно, не проходил в дверь небольшого храма. Вот и вздумали отпилить одну ручку Спасителя с частью Креста, чтобы легче пронести в помещение.

В трапезном храме Александра Невского в то время уже устроили клуб. Пошло оттуда несколько человек в четверг или утром в пятницу на Страстной неделе за крестом. Поднялись наверх по лестнице на паперть и видят: стоит там распятие, а из надпиленного места видны следы текшей к запекшейся крови. Следы крови были и на полу, куда она стекала.

Сразу стало всем известно. Помню, выходим мы в Великую пятницу от вечерни, а мужики становятся друг другу на плечи, чтобы заглянуть в окно верхней паперти.

Говорили, что этот крест считался чудотворным в монастыре. Он должен быть ставлен на горнем месте в соборе, но оказался мал, и долгое время стоял в живописной. А в последнее время его поставили справа в соборе.

В тюрьме. Зимой 1937 года нас очень много сидело в Арзамасской тюрьме. Дело в том, что после разгона монастыря, по словам начальника милиции Андреева, в Арзамасе жило 2000 монашек: из двух арзамасских монастырей, Николаевского и Алексеевского; почти все Понетаевские, во главе с игуменией.

Много поселилось и дивеевских и из других окрестных монастырей. Некоторые устроились на работу, кто замуж вышел. Несколько сот душ попало в тюрьму. Там были и не только из городских монастырей, но и из Дивеева, со всех окрестностей. И вот одна сидевшая в тюрьме монашенка видит сон: преподобный Серафим ведет по двору двух монашек со словами: «Я своих любимцев в тюрьму веду». Просыпается, глядит в окно, а по двору тюрьмы идут наши сестры Паша и Маша.

Точно так же Вера Леонидовна Чичагова в это же приблизительно время видела сон: за столом сидят монашенки, а Царица Небесная указывает, которых из них брать в тюрьму.

Сестра Агаша. В 1946 году 9 ноября, на праздник иконы Царицы Небесной «Скоропослушница», скончалась на своей родине в селе Хрипунове наша рясофорная сестра Агаша Купцова. Как я уже говорила, она была родом из Мелюковых (родственница Елены Ивановны Мотовиловой). Пришла Агаша в монастырь уже невестой. У нее был красивый сильный голос, но она была малограмотна и не обладала тонким слухом. Стояла на правом клиросе, пела алытом, читала и канонаршила, но все это ей доставалось с большим трудом. По разгоне монастыря она сначала жила в Дивееве, пела и читала в Казанской церкви, а как уже стало невозможно, переселилась на свою родину в село Хрипуново. Там продолжала читать и петь в своей церкви, а по закрытии церкви справляла все по домам. Жили они вдвоем со своей землячкой Ксеньюшкой.

У них стояла большая икона Царицы Небесной «Скоропослушница», перед которой читалась почти неусыпаемая Псалтирь. Они всегда молились. Осенью 1945 года сестру Агашу разбил паралич, в таком состоянии она пробыла 40 дней. Но все время молилась и пела. Ксеньюшка говорила, что у нее откуда-то явился необыкновенный голос, и она все время пела. Вот один раз они вдвоем пели, а она и говорит:

- Ну а теперь давай еще молиться.
- Да ведь мы молились.

– Нет, это мы пели, а надо еще молиться. Тут и говорит Ксеньюшке: Ксеньюшка, а ты видишь ангелов?

Ксеньюшка ничего не видела, но сказала:

– Немного вижу.

– А я вижу множество ангелов, а вот еще младенцы... Зачем они сюда пришли?

Незадолго до смерти, вечером, она попросила Ксеньюшку принести ей черный апостольник. Было темно, апостольник был в чулане, и та поленилась за ним идти. А наутро Агаша говорит:

– Ксеньюшка, меня постригли, я монахиня.

Нового имени своего так и не сказала.

^ Из Саровской жизни

После кончины батюшки Серафима все его вещи, даже пустыньки – Ближняя и Дальняя, и оба камня, на которых он молился, старанием Николая Александровича Мотовилова перенесли в Дивеево. К открытию мощей никаких вещей преподобного в Сарове не было, пришлось просить у дивеевских, чтоб что-то поместить в его монастырской келии, превращенной в часовню. То была часть каменного корпуса, уже сломанного, и над келией воздвигли храм во имя преподобного Серафима. Туда-то и поместили часть камня, на котором он молился, мантию и список с иконы Божией Матери «Умиление».

В Сарове ограды не ставили. Ее заменяли корпуса, расположенные четырехугольником и выходившие окнами либо вовне, либо внутрь монастыря. Окна келии преподобного обращены к реке Саровке.

Рассказывают, что какой-то архиерей приехал в Саров и спрашивает:

– Где пустынька преподобного?

– В Дивееве.

– А камни?

– В Дивееве.

– Где все вещи?

– В Дивееве.

– Как же монашки у вас мощи-то не унесли?!

Я где-то читала, что преподобный явился во сне Мотовилкову и велел какую-то болящую напоить водой с камня,

на котором сам молился. Но как это сделать? Из земли выступали большие каменные глыбы. Пробовали отбить кусочек – не получилось. Тогда преподобный снова явился во сне Мотовилову и велел разжечь на камне костер. Сделали как велел, и камень сам распался на куски. Все их отвезли в Дивеево, оттуда они разошлись по всей России. К открытию мощей один кусок этого камня был привезен из Дивеева и положен в келии-часовне в Саровской обители.

Во время открытия святых мощей преподобного Саровом правил игумен Иерофей, подвижник иноческой жизни. Небольшого роста, сухонький, согбенный, он носил обыкновенно засаленный подрясник, и не знавшие его принимали за простого послушника. И что характерно, игумен Иерофей был против открытия святых мощей, предполагая, что огромное стечение народа, последующее открытию, нарушит строгую пустынножизнь саровских монахов. Говорили, что когда после разгона монастыря здесь поселили беспризорников, то они вскрывали гробы старцев – оказались нетленными. После смерти игумена Иерофея, уже в годы революционные, в Саров был поставлен игуменом Руфин, из мордвин. Он благоволил дивеевским, но пробыл недолго: внезапно скончался, когда в Саров пришел крестный ход из Дивеева. Произошло это 24 июня 1925 года. После Иерофея игуменом поставили Мефодия, но его вскоре сослали в Сибирь, так что при разгоне в Сарове игумена не было.

На Саровской колокольне были часы, они отсчитывали не только четверти, но даже и минуты. По всему лесу слышался благолепный звон. После переворота косточки батюшки Серафима лежали открытыми в раке без облачения, так к ним тогда и прикладывались.

И вот раз произошел случай. Одной монашенке в Дивееве приснился преподобный с такими словами: не ходите в Саров, кто будет смотреть косточки, тот не увидит его в будущем веке. С полгода это продолжалось, потом мощи снова облачили.

До разгона распорядок дня в монастыре строго соблюдался. В два часа ночи в соборе, летом в Успенском, зимою – в Живоносного Источника начиналась утренняя

мольба, полуночица, затем заутреня. Так служба продолжалась до 5 часов утра. По окончании все переходили в церковь Зосимы и Савватия, там всегда бывала ранняя обедня. Поздняя обедня служилась в соборах, где почивали мощи преподобного: на зиму их переносили из Успенского собора в теплый – Живоносного Источника. После поздней обедни все монахи шли в трапезную. Там чередной инок, стоя у аналоя, читал «Жертвенник» – Жития святых или какое-нибудь поучение.

В три часа дня в соборе начиналась вечерня с чтением акафиста, пением канонов Иисусу Сладчайшему, Благовещению и Ангелу Хранителю. По окончании службы все шли в трапезную, а в семь вечера в церкви Зосимы и Савватия принимались за монашеское правило, с многими поясными и земными поклонами, наподобие пятисотницы. Одних земных поклонов отбивали более 100. После вечерних молитв монахи расходились по келиям. В трапезной вся посуда была точеная из дерева – чашки, ложки, тарелки. Черный хлеб лежал перед каждым иноком на деревянной тарелке, причем краюха ставилась нерезанной. Квас варили раз в год, в марте. Заливали в бочки, закупоривали, после чего закатывали в погреб, закидывали снегом и льдом. Перед разгоном общей трапезы уже не стало, и монахи сами себе варили по келиям. Стряпали в варежках, сшитых из холста, чтобы не обжечь рук.

Раньше на Покров в монастыре раздавали всем нуждающимся теплые вещи. И стекались к Сарову бедные люди, чтобы одеться, перебиться с нуждой.

На Гермогеновском хуторе имелась точильная мастерская. Я сама видела там два громадных маховых деревянных колеса, от них тянулся привод к точильным станкам. Раньше колеса вертели с помощью конного привода, а позже крутили руками. Кипарисовые кресты, ложки резали вручную; на станке вытачивали тарелки, блюда, чашки, солонки, кружки, ножки к стульям, веретена, а также прялки и детские игрушки.

По преданию, когда были прославлены мощи преподобного, то он сам, бывало, нет-нет да и покажется в монастыре. Видели его не раз. А отец Маркеллин, гробный монах, говорил, что

косточки батюшки Серафима, мощи его, облаченные в туфельки-сандалии, иногда были в песке, и их приходилось обтирать. Ходил, значит.

В годы после открытия мощей жил в Сарове, на одном из хуторов, затворник Анатолий, в схиме Василий. Пустынножительствовавший строго, никого не принимал, и если давал ответы, то через своего келейника отца Исаакия, который скончался вскоре после разгона монастыря. Отец Анатолий был высокой духовной жизни и к тому же прозорливый. В пустыни его осаждал народ, мешал безмолвствовать. И вот поехал отец Исаакий в Дивеево, к блаженной Прасковье Ивановне, за советом. Но она от него заперлась в келии, не пускает. Помолился пустынножитель с келейницей ее матушкой Серафимой, у Распятая, с тем и ушел. Да, видно, задержался в монастыре, на обратной дороге привелось свидеться с блаженной. Вышла Прасковья Ивановна на крыльцо и машет ему рукой: «Дедушка, дедушка!» Тот только махнул рукой, дескать, я все понял. И опять в свой затвор. Скончался пустынножитель в 1919 году. И что интересно, когда в монастыре беспризорники вскрывали его останки, а дело это было после 1927 года, то они оказались нетленными. Лежал как только что похороненный. Беспризорники сунули ему в рот папиросу, перевернули лицом долу и опять закрыли.

Тогда же беспризорники вскрыли могилу схимонаха, молчальника Марка, но оттуда вышел огонь, и богохульники испугались. Могилы эти помещались против алтаря Успенского собора, ныне там разбит сквер.

Исстари повелось, что в первую неделю Великого поста монастырь закрывался и женщин в него не пускали с понедельника до вечера в пятницу. В это время в соборе совершалось неусыпное пение Псалтири на два клироса попеременно. Великим постом монахи клали особые земные поклоны, трепетно повергаясь всем телом на землю, не сгибая колен; опора была лишь на руки. Пение в Сарове было совершенно особое, столбовое. Нот не признавали, пользовались крюками. Голосовщик начинал, к нему присоединялись остальные. Последнее время голосовщиком

состоял иеромонах Иоасаф. Пели громко, прямо кричали. Напевы держались древние, протяжные, напоминали голос ветра, гулявшего по обширному Саровскому лесу.

Летом, перед праздниками, служили в 3 часа малую вечерню и повечерие с чтением сборного акафиста. Поющих было не менее ста. Всенощная обычно начиналась в 6 вечера, на эти дни монашеское правило – пятисотница отставлялась. Всенощная продолжалась до 11 часов вечера. После Воздвижения и в зимний период праздничная вечерня служилась рано, в 3 часа, а заутреня начиналась ночью. Молебны перед мощами преподобного совершались после поздней обедни и после вечерни. На это назначался особый иеромонах. Почти до самого разгона таким иеромонахом был о. Маркеллин. Прикладывались к мощам во всякое время, когда открыт собор, и во время совершения служб. К раке вели широкие лестницы, подходы были с двух сторон.

Саровский монастырь расположен на горе, с запада примыкали многочисленные гостиницы, а также столовая для паломников. Невдалеке виднелось кладбище с церковью во имя Всех святых. С востока, по дороге на источник, стояли конный двор и баня. С севера, под горой, – церковь Иоанна Предтечи, а выше ее вход в пещеры с церковью Чудотворцев Печерских. Пещеры простирались по всей горе и тянулись до самого источника на две версты, как раз до Ближней пустыньки преподобного Серафима. Там был виден в песке выход, в песчаном откосе. Но в те дальние пещеры не водили, посещались лишь ближние, что под монастырем. Сопровождал монах, ходили со свечами.

Под церковью Иоанна Предтечи имелась водокачка, снабжавшая монастырь водой. Молочное хозяйство располагалось верстах в двух, на хуторе Маслиха, что по реке Сатису. Хутор виднелся из монастыря. А в лесу попадались другие хутора, их называли пустыньками. На каждую назначался монах – «хозяин». Обычно на такое послушание ставили вдовцов.

И как же был обширен Саровский лес, простирался на много верст кругом! Пустыньки, находившиеся в нем,

обслуживали монахов и деловцов, работавших на заготовке леса, дров, на покосах, сборе грибов и ягод. Запасов хватало на весь год. Лесным «хозяином» к разгону монастыря был иеромонах Гедеон, родом с Херсонщины. Скончался он в ссылке в Алма-Ате, 26 марта 1933 года. Это было в Вербную субботу в 8 часов утра. У о. Гедеона имелся особый крест с частичкой ризы Господней, с мощами праведного Лазаря Четверодневного и праведного Иова Многострадального. Мне привелось хоронить этого инока на алма-атинском кладбище, неподалеку от города. И происходило это в тот же день, в Вербное воскресение, в 5 часов вечера. Сообщила его сестре, дала телеграмму дивеевской монашке Анюте. И не чудесно ли? Она, оказывается, в этот день приобщалась Святых Таин. А в ночь накануне иеромонах Гедеон ей снился дважды с настоятельной просьбой: «Не забудь помянуть меня на Литургии, Это мне сегодня особенно важно». По часам получалось, что просьба его оказалась предсмертной.

Умирал инок от отека легких. Мне пришлось сидеть около него допоздна. Уже был плох, но я все же была уверена, что он не умрет в ту ночь. Уйти требовалось срочно, чтоб успеть на работу (устроилась счетоводом). А в 8 часов утра он скончался. Передала его вещи в покойницкую санитару – пусть обрядит новопреставленного. Это уже было, часов в 5 вечера. За день на умершего наклали столько покойников, что нам с санитаром пришлось доставать его снизу: трупы, уложенные поленницей, снимали за плечи и за ноги. Облачили о. Гедеона в свитку и черный подрясник, потом надели епитрахиль и поручи, на голову надвинули скуфейку. Так и положили в гроб. Сестре умершего я написала подробное письмо. И что удивительно: когда хоронили этого инока, его заочно в Ардатове отпевал архимандрит. Своей сестре умерший приснился в том облачении, в каком я его положила в гроб. А ведь письмо с описанием всего этого она получила лишь спустя несколько дней.

Прозектором в алма-атинской больнице был в ту пору доктор Фрунзе – родной брат того самого военного. Этот доктор оказался достаточно милым человеком, мне какое-то время

пришлось работать в алма-атинской больнице под его началом, и отношения у нас сложились хорошие. Он-то и разрешил мне похоронить о. Гедеона, а так бы не дали.

Врачи в больнице были либо приезжие, либо ссыльные. Работала я одно лето там делопроизводителем, но и позже, до конца срока моей ссылки, могла прийти в больницу в любое время, чтобы позвать врача осмотреть на дому больного или умирающего. Никто из персонала в такого рода просьбах не отказывал, а шел просто и охотно. Чувствовалось, так принято. Транспорта в Алма-Ате не было, грузы перевозили на лошадях. Выпросила я лошадь, чтобы отвезти гроб на кладбище. Горожане, в основном, ходили пешком, разве какой казах проедет на осле. Но ночью по городу шла машина – подбирала трупы. Верблюдов я всего однажды видела...

Саровское подворье в Арзамасе находилось внизу, на набережной, где теперь строительный магазин. В 1946 году, вернувшись из второго заключения, я жила в Вертьянове в крохотной избушке матушки Амвросии. Церкви поблизости не имели, и все службы Великим постом отправляли дома. На Сорок мучеников пришла из Арзамаса сестра о. Гедеона Анята. По окончании часов и вечерни начали петь панихиду. В келии два окошка заплаканных, между ними стол, а по правой стенке две деревянные кровати. В углу много икон, перед ними всегда горела лампадка. И вот Анята видит, что в переднем углу за кроватью перед иконами о. Гедеон в облачении. Вид у него был такой, как будто стоял под стеклом. Анята думает: «Сегодня Сорок мучеников, день его пострига». Запели: «Со святыми упокой», она сделала земной поклон. Поднимается, а о. Гедеон уже стоит в мантии. Кончилась панихида, и он сделался невидимым. Одновременно со мной в ссылке в Казахстане был саровский иеромонах Маркеллин, о котором я неоднократно упоминала ранее. Великим постом 1932 года он находился в Алма-Ате на пересыльном пункте. Последний раз его видели в этом городе в Великую субботу, а в Пасхальную ночь он был отправлен этапом дальше, где вскоре и скончался.

Саровский монастырь был полностью общежительным: все содержание братии – пищу, одежду – поставляла обитель.

Одежда хранилась в рухольне, давалась по мере надобности всем инокам. После смерти инока его одежда опять поступала в рухольню. Рясы и подрясники шили из мухояра – грубой шерстяной ткани, ручной выработки. Белье шили из холста, на рясах и подрясниках пришивали круглые оловянные пуговицы. Под воскрылиями наметок уголками пришивали разноцветные кусочки материи – красные, синие, зеленые – «в честь чинов архангельских». Четки большею частью носили кожаные – лестовки.

Прачечная стояла на реке Саровке, под монастырем. Там жили и стирали пожилые женщины. Никаких других жилых домов, кроме гостиниц, возле монастыря не было. Ко времени разгона возле Городища, правда, проживали две старушки: Варвара Алексеевна Кайгородова – она лечила монахов, знала медицину, и с ней княгиня Кугушева – ее предки пожертвовали Сарову земли.

В заключение сообщу давнее предание. Я слышала, что на предварительном обследовании мощей батюшки Серафима на нем не оказалось финифтяного образа Явления Божией Матери преподобному Сергию. Образ прислан архиепископом Антонием Воронежским и был положен в гроб старца. Это наводило смущение на некоторых: ту ли могилу вскрыли? Может быть, то была могила схимонаха Марка, она рядом?

Потом сомнения рассеялись.

Блаженный Онисим

Жил на моей памяти в монастыре дурачок Онисим. Рассказывали: в деревне Осиновка, что в двух верстах от Дивеева в сторону Сарова, была дурочка по имени Евфимия. Ее когда-то обидели, и она-то и родила мальчика, названного Онисимом. Пока рос, все ходил с матерью по деревне, в лес за грибами, а то и в монастырь на поклоненье. Жалели дурачков повсюду. А они сядут на дорогу, ноги «меряют», у кого длиннее, и ежели какой обоз едет – не сойдут; так и сворачивает в сторону в снег саней двадцать, а то и больше – не беспокоить же дурачков, объехать легче.

Когда Онисиму было лет десять, мать умерла. Перед смертью она пришла к игумении Марии и просила ее не оставлять Онисима без призора, и матушка-игумения поместила его на конном дворе. Так он и прожил в монастыре до самого разорения обители. Истинно блаженным был этот самый Онисим: в церкви бывал, но не стоял в храме, а все ходил, показывая, какие у него яркие рубашки. В старое время называл себя «становым», потом стал «строителем собора» – «я техник». А в последнее время и вовсе объявил себя диаконом. Не дай Бог батюшке замешкаться, он уже говорит ектении. И когда певчие по ошибке запевали «Господи, помилуй», в восторг приходил.

Ему всегда было 10 лет, когда ни спроси. Молодые монашки любили его дразнить: «Я замуж пойду». Тогда он приходил в страшное волнение, забирал бороду в рот, делал страшную мину: «Сгоришь, ахрист!» Антихрист, стало быть. Вообще, он многое провидел, говорил на своем особом языке, к которому мы привыкли и его понимали. Перед поступлением в обитель сестрой мне велели спросить Онисима, возьмет ли он меня в монастырь. И он сказал: «Возьму».

Его особенно трогательно любил владыка Серафим Звездинский, живший у нас недолго перед разгоном. Раз в тихую минуту, стоя перед иконами, владыка сумел через Онисима понять видение, которого удостоился. А видение было

такое: владыка спал и вдруг проснулся; видит в углу свет, а там Господь. Около Господа стоит первоначальница обители матушка Александра, слышен голос Спасителя: «Скажи монашенкам, чтобы не ходили замуж, а то сгорят». Вот высокопреосвященный всегда и повторял всем об этом перед началом поста, на заговенье.

Сподоблялся постоянно Онисим видениям и в церкви. В Прощеное воскресенье, бывало, во время прощанья он всегда обливался слезами и просил у всех прощения. Также плакал и прощался в последнюю неделю Великого поста, в Великую среду. «Пост уходит, пост уходит!» – его слова. В Великую субботу во время крестного хода с плащаницей его вели под руки, так он плакал. А во время Литургии при пении «Воскресни, Боже» глядел вверх, ловил руками и радовался. На Пасху одевался в красную рубаху с печатными большими розами и на возглас батюшки «Христос Воскресе!» в восторге кричал «Воистину Христос!».

Всех он звал «душенька», поэтому и его называли «Душенька». Перед большими неприятностями для обители начинал ругать мать-игумению. Также и сестер, кого ласкал, а кого подходил в церкви сзади и бил. Любил будить задремавших старушек: наклонится и чихнет ей в лицо. «Ах ты такой-сякой», – а его уже и нет. Для всех он был радость и развлечение.

Когда открыли у нас конный двор, он поселился с монашенками там. С ними и ушел на квартиру после разгона. Потом их взяли в тюрьму, а он пошел скитаться. Раз одна сестра повела его с собой в село Канерга. Там возле алтаря была похоронена матушка Милица, духовная мать манатейных монахинь. Онисим все стоял около ее могилы со словами: «Кабы к Духовной лечь». Так Онисим называл мать Милицу при жизни, он почти всем давал свои имена. Но его насильно увели в село Крамолейку. После обедни были там поминки, он взял в рот кусок мяса и как бы подавился. Вышел из-за стола, пошел в сарай, лег на солому и умер. В том селе его и похоронили.

Раньше говорили: «На дураках свет стоит». Как это понимать? Видно, неспроста молвилось людьми. Вернусь опять

к Онисиму.

Каждый день он подходил к свечному ящику, там давали ему просфору. Он шел в алтарь и подавал просфору батюшке со словами: «Помяни Ахимью», мать его. А раз вздумалось Онисиму попросить дьякона помянуть ее с амвона. Дьячок помянул Евфимию и слышит голос: «Ахимью помяни!» Дьякон опять поминает Евфимию. Опять: «Ахимью помяни!» Бились, бились, Онисим не отступает. Тогда дьякон наконец громко помянул «Ахимью». Онисим пришел в восторг и прочь побежал с амвона.

За год до разгона одна монахиня наложила на себя руки: она перед тем очень тосковала. Это было под праздник Рождества Богородицы. На Александра Невского служба была в трапезной. Онисим был беспокойный, подходил ко всем окнам и неведомо кого бил кулаками. Когда эту сестру хоронили, за гробом никто не плакал. Но в монастыре четко слышали за гробом чей-то плач. Этот плач слышали и монашенки вне монастыря.

Блаженная Мария Ивановна

О блаженной Марии Ивановне мне давно надо бы еще написать. Да все никак не собралась.

Она даже меня во сне за это укоряла. Сон такой видела, когда вернулась в Дивеево из последней ссылки. В ту пору я сблизилась с келейницей великой блаженной Прасковьи Ивановны – Евдокией. Написала много с ее слов, рассказывала она в основном, когда жили в Москве. И вот как-то вижу во сне Марию Ивановну: «Ты что же все: Прасковья Ивановна, да Прасковья Ивановна! А меня забываешь?» Надо упомянуть, что, когда меня в детстве привезли в монастырь, Прасковью Ивановну я не видела – была первая неделя Великого поста и ее не стали беспокоить. Так я ее никогда и не видала – умерла в 1915 году. А Марию Ивановну хорошо знала, рассказала же о ней чуть. Вот и хочется восполнить пробел.

Тем более что об Онисиме уже припомнила, а ведь эти блаженные были весьма дружны: где о нем, там и о ней должно быть.

Так вот, когда у Марии Ивановны ноги еще ходили, она все, бывало, под ручку с Онисимом по монастырю. У блаженной было несколько любимцев. Любила, к примеру, Коленьку, сына нашего батюшки Михаила, причем любила с самого его рождения. Этот хороший мальчик умер в 10 лет, незадолго до ареста своего отца. Умер от дифтерита. Второй любимец – Михаил Петрович Арцыбушев, его она называла «Мишенька». Сразу после ее смерти Мишеньку расстреляли в Москве перед праздником Воздвижения Креста Господня.

С Арцыбушевым у блаженной бывали всякие курьезы. Замечу, что Мария Ивановна, как человек весьма находчивый, обладала еще и острым умом, причем любила чем-нибудь удивить людей. Келейница Дорофея гневалась на блаженную, от нее-де приходит головная боль. Вот раз приехал к Марии Ивановне какой-то военный чин, хочет войти. Время было советское, мать Дорофея предупреждает Марию Ивановну:

– Человек строгий приехал, ты чего-нибудь при нем зря не скажи! Про Царя не скажи...

– Не буду, – отвечала блаженная.

Только «строгий» вошел, как ее прорвало, понесло:

– Когда правил Николашка, то была крупа и кашка! Николай-то был хоть и дурак, а хлеб стоил пятак! А сейчас «новый режим» – все голодные лежим.

Была самая голодовка, и вот такая речь. Как тут не заболеть голове?

Другой случай. Перед снятием сана архиепископом Евдокимом – он ударился в обновленчество – Мария Ивановна распевала про него песенку: «Как по улице по нашей Евдоким идет с парашей, ноги тонкие, кривые...» (далее неприличное). Пропоеет, и опять с начала.

Михаил Петрович Арцыбушев был предан блаженной всей душой, и будучи директором астраханских рыбных промыслов, ничего без ее благословения не делал. Так, врачи прописали ему пить йод. Он возьми да спроси Марию Ивановну, как быть? Она ответила: «Йод прожигает сердце, пей йодистый калий». Михаила Петровича поразил сам ответ блаженной, ведь она же неграмотная, и такая ученость.

Спрашивает:

– Где ты училась?

– Я окончила уни-вер-си-тет.

Как-то после его отъезда из Дивеева сестры и мать Михаила Петровича надоели блаженной, приступая к ней с одним и тем же вопросом: как он живет, как себя чувствует?

На что она сказала:

– Мишенька наш связался с цыганкой.

Те пришли в ужас, потому что она всегда говорила о Мишеньке правильно.

Когда он через год опять приехал в Дивеево, сестры решились спросить Михаила Петровича о «цыганке». В ответ Мишенька залился смехом. Потом рассказал:

– Ну и блаженная! Я много лет не курил, а тут соблазнился и купил в ларьке папиросы «Цыганка».

Разве не смешно?

Помню, блаженная пела: «Завтра будет праздник, Миша Арцыбушев – проказник». Такими вот шуточками прикрывала она свою святую жизнь.

Но самым большим любимцем все же оставался для нее Онисим. Он назывался «жених». Помню, сижу у нее – ничего не видно и не слышно, Мария Ивановна говорит:

– Вот жених идет.

И правда, входит Онисим. Она ему:

– Жених, пой!

Тот поднимает над ней руку и начинает что-то мычать. А она радуется.

Мария Ивановна и меня раз за него сватала:

– Скажи: возьми меня замуж.

Сказала, а он в ответ:

– Грех, грех.

– Разве ты монах?

– Грех, грех.

Вот такой разговор.

Помню, раз я задала Марии Ивановне прямой вопрос, и касался он предугадывания чего-то. Она ответила: «Я не гадалка».

После разгона монастыря мы страшно нуждались, а жили от нее близко. Раз собрались в Саров, по дороге подошли к ее дому. Поднялись на завалинку, заглянули в окно. Блаженная сидит на кровати, крестится, а сама приговаривает: «Пошли, Господи, благодетеля; пошли, Господи, благодетеля». И что ж, в Сарове я встретила с людьми, которые стали нам помогать. Присылали большими ящиками белые сухари и сахар. Такая большая поддержка нам оказалась, постепенно все у нас и наладилось.

Один раз очень картинно, на своем особом, блаженном, языке она изображала предсмертную болезнь и смерть. Даже мать Дорофея ужаснулась таким страстям. Я спросила:

– Мария Ивановна, страшно умирать?

– Нет, не страшно...

В 1945 году я работала в Вологодской области, в колхозе.

Тосковала всем существом, доходила почти до отчаяния. Да и как не отчаяться? Освободилась я из лагеря 1 октября

1942 года. Прошло пять лет в заключении, да еще два с половиной года я никак не могла добраться до своих мест. И вот на масленицу вижу блаженную во сне. Она крестит меня кругом:

– Это на дорогу.

И в левую сторону:

– А это от всех бед.

Оказывается, в те дни мне выслали вызов. Через неделю я его получила, но мое возвращение связалось с такими необычайно трудными обстоятельствами, что если бы не ее благословение и молитвы, то не знаю, как бы я добралась.

Старого стиля 23 марта 1945 года я выехала из села. Дорога рухнула, а снега толщиной в полтора аршина! Бригадирша отвезла меня за шесть верст, сбросила мои вещи и уехала обратно. Мне пришлось кое-как вернуться.

Окончательно я выехала на Благовещение, 25 марта. Хрястнул мороз аж под 30 градусов. С радости я забыла взять тулуп и мерзла смертельно и, конечно, простудилась. Я везла свинину, и ее и вещи хотела сдать в багаж. Вещи не приняли, а билет дали с четырьмя пересадками. Чудом везде находились люди, которые мне помогали переносить мою поклажу. Только села в поезд, у нас убили машиниста. Всего натерпелась в дороге, не описать.

Еще в монастыре я слышала от блаженной:

– А ты и по Москве поскитаешься. А тебя, мать, вышлют.

И когда я после разгона монастыря скиталась по Москве, то хорошо знала: скоро вышлют. Так и получилось...

Владыка Серафим Звездинский блаженную почитал как великую рабу Божию. Умерла она ночью, в грозу. Онисим радовался.

Как-то еще в монастыре приехали ко мне трое бывших подруг. Повела их к блаженной. Ввожу первую.

– Не та, не та, – и говорить не хочет.

Ввожу вторую:

– Опять не та.

Ввожу третью:

– Ах, вот она! У тебя мать-старушка слепая, поезжай к матери, а то умрет, не застанешь.

Та не обратила на эти слова внимания, и когда мать вскоре стала умирать, ей дали телеграмму. И она мать не застала в живых.

Одному молодому человеку, хотевшему принять сан, она открыла всю его прошлую жизнь, после чего уже не могло быть речи о принятии им священства.

В монастыре у нас жил священник, который доставлял большие неприятности матушке-игумении. У него была своя большая партия сестер в монастыре.

Вот меня и послали спросить Марию Ивановну, что она думает об этом священнике? Заказывали только не говорить блаженной, что прислана от матушки-игумении.

Блаженная встретила меня словами:

– Пойди скажи игумении, что отец (и она назвала имя того священника) скоро уедет отсюда в Архангельск со всей своей семьей.

Сбылось все в точности, но уже через год после разгона монастыря.

Одна знакомая просила меня узнать через Марию Ивановну о сыне: у него не ладилось дело с женитьбой и он очень волновался. Блаженная ответила:

– Он подвижник, он вериги носит.

Та возмутилась ее ответом, но через некоторое время его арестовали, он тяжело болел и умер в лагере.

Раз я пришла к ней, а у нее сидит порченная молодая женщина. Она пела, потом рассказала, что ей под венцом посадила беса золовка, порчу навела зеленым пояском.

Мария Ивановна приказала настойчиво:

– Выходи!

Не выходит.

Тогда велела надеть на нее четки. Враг ходил по болящей явно: то рука раздуется, то нога, то живот. Когда надели четки (очень большие), раздулась шея и стала душить.

– Выходи, выходи!

– На источнике выйду.

Увели женщину в Саров. Наутро Мария Ивановна сидела и хлопала в ладоши:

– Вот он, побежал, побежал.

К вечеру вернулись из Сарова и рассказали, что больная исцелилась, когда шли с источника. Мария Ивановна из Дивеева как бы все это видела и хлопала в ладоши.

Когда я поступила в монастырь в 1924 году, у меня от худосочия появились нарывы на руках. Пробовала их мазать лампадным маслом от мощей, а исцеления все не получала. Пошла к Марии Ивановне рассказать об этом. Она в ответ:

А как ты мажешь? Просто так? Мажь крестиком и окружай.

Намазала так и все прошло. Бородавки на руках так же велела мазать желтотелом (травой чистотелом), и все прошло бесследно.

Такова была наша блаженная Мария Ивановна.

В скорбях и печалях

Мне предсказали о всех тюрьмах. Когда еще в монастыре была, блаженная Мария Ивановна сказала мне: «Ты и по Москве скитаться будешь... А ведь тебя, мать, вышлют». Что потом и получилось в точности. Из ссылки вернулась в 36-м году. Монастырь – в миру. Матушка (Анатолия, которая руководила моей духовной жизнью) тогда жила в Муроме. Примерно в это же время вижу сон: я нахожусь в соборе, стою на правом клиросе. Идет служба, я слышу отчетливое пение, возгласы священника и т. д. Вдруг служба останавливается, образуется пауза. Я схожу с клироса и вижу, что священники о чем-то спорят между собой, оттого и служба остановилась. Я направляюсь к выходу из собора и вижу, как в него входят два архиерея. Смотрю – один из них мой владыка Петр. Я кланяюсь ему в ноги, он меня поднимает и держит за голову и говорит: «А, раба Божия заключенная...» Отвечаю: «Нет, владыко, я не заключенная, я освободилась». «Тебе надо еще сидеть». «Но я не хочу, я уже сидела...» – «Тебе это необходимо». Выхожу из собора, на паперти замечаю дверь в боковую комнату, а в ней сидит моя матушка. Я подхожу к ней и говорю: «Матушка, мне владыка сейчас сказал, что еще нужно сидеть», – и просыпаюсь с ощущением, что все видела наяву. Шел 36-й год – пора затишья. Люди возвращались из ссылок. Но вот подкатил 37-й год. Тогда стряслась такая вещь: начальник Казанской железной дороги получил приказ, разумеется, тайный, спустить под откос два военных эшелона. Он долго колебался, как ему быть, – и так посадят, и эдак не поздоровится, в конце концов все-таки спустил. Пошел слух, что эшелоны спускают под откос бродяги, кликуши, цыгане и т. д. И монашки тоже подходили под этот разряд. Всех стали хватать и сажать. Того начальника, кажется, расстреляли. Милиционерам платили по 5 рублей за каждого пойманного.

А я работала как раз на железной дороге. Когда все это стряслось, я не могла там оставаться. Монахиню, с которой я

жила, взяли на «зимнего» Серафима, после этого я уехала в Муром.

В тот день я пришла к матушке, и мне было так тяжело, что даже взмолилась: «Господи, уж скорей бы взяли». Преподобный Серафим говорил, что монахам такие слова даром не проходят. Хотела уйти от матушки; но она меня оставила клеить обои и ночевать. Вдруг стучат в 12, в самую полночь. «Кто к вам приехал?» Видно, за мной следили. Еще по дороге заметила, что за мной шел какой-то неприятный тип.

Матушка тогда жила у своей духовной дочери, врача-психиатра, впоследствии эта женщина постриглась и умерла в схиме.

Чекисты хотели пройти к матушке, но врач им запретила. Она сказала: «Это моя больная, я запрещаю вам входить к ней!» Но они взяли меня и ухаживающую за матушкой монахиню Рафаилу. Мне говорят: «Собирайтесь, арестованная. Пойдем». Я думаю: «Как же мне с матушкой проститься?» И вслух: «Знаете что? Никуда я сейчас одна ночью с тремя мужчинами через весь город не пойду. Если хотите меня забирать, приходите утром». Они согласились и лишь взяли мой паспорт, а хозяйку обязали, что утром она меня к ним сама приведет. Вот я и получила возможность проститься с матушкой. На прощанье услышала: «Тебе дадут пять лет лагерей. Будешь работать счетоводом. Молись, чтобы Матерь Божия простила грехи. Когда простит – отпустят».

Утром нас, арестованных – цыган, бродяг, шпану и т. п. затолкали в машину, да так плотно, что не повернуться, – стояли, прижавшись друг к другу, и повезли. Судила «тройка» – за три часа осудила триста человек. В дела никто не вникал, зачастую судили и заочно. Меня осудили по статье как «социально вредный элемент», приговор – 5 лет лагерей.

Первая моя ссылка была по статье 58-й – «контрреволюционная организация» (служила в храме). Теперь попала в общий лагерь с уголовниками, рецидивистами и шпаной. Сначала отправили на юг. Там условия были сносные – работала в бухгалтерии. Потом нашло на меня искушение, и чтобы избежать соблазна, я сама попросилась на этап. Другого

выхода не было. Этап оказался страшно тяжелый – на Дальний Восток, строить порт Находку. Ударное строительство начали с постройки бараков на пустом берегу. Вдобавок ко всему я попала в мужской лагерь. В скорбях написала матушке письмо, всего две строчки: «Матушка, помолитесь, я попала в мужской лагерь». Не знаю, дошло письмо или нет, но Господь меня подкрепил – пропало всякое чувство, хотя мне было всего 35 лет. Когда приставали мужчины, я совершенно не понимала, чего они от меня хотят.

Работала счетоводом, хотя считать не любила. Потом определили в аптеку. Заведующей там была жена одного из начальников лагеря. Она нуждалась в честном человеке, на кого могла бы положиться: в аптеке – спирт и проч. Ей порекомендовали взять меня. Оказалась она вполне доброй женщиной, и я с ней подружилась. По очереди сидели в аптеке, дежурили. Рабочий день длился с 9 до 17 часов, потом я сидела у нее дома часов до 10 вечера. Как расконвоированной, мне это разрешалось. Одно тяготило – «благодаря» тому, что у меня была такая статья, приходилось сидеть со шпаной. В доме заведующей я чем-нибудь помогала, ведь у нее было двое детей, а не то просто вязала. Потом шла в барак. Там ютилось 30 женщин, а кругом в таких же бараках тысячи мужчин. Все женщины, кроме меня, были повязаны с мужчинами. И все-таки почему-то страшно боялись ходить ночью, даже в туалет отправлялись по несколько человек. А я везде ходила одна, и было совсем не страшно. Однажды я даже спросила у знакомого рецидивиста, нужно ли мне, по его мнению, чего-либо бояться. Он сказал: «Это на воле вам надо бояться, где вас не знают. А здесь все вас знают, и никто не тронет». Боялась только собак, которых спускали на ночь.

Всем было на диво: как это женщина в 35 лет ни с кем не имеет связи. Будто бы раз и лагерное начальство обсуждало это, причем также недоумевало. Впрочем, один, с погонами, сказал: «Она слишком хитра, хорошо замечает следы». Может быть, на том и порешили.

Из страшных событий, которые пришлось пережить в лагере, самое ужасное – подавление «бунта поляков». Было

так.

С нашим лагерем соседствовала Колымская пересылка – оттуда людей отправляли на Колыму. И вот в одном из этапов оказались офицеры-поляки. Событие происходило примерно в 40–41-м году. Колымская пересылка – место гибельное. Шансов вернуться оттуда почти не было. И вот однажды разгневанный пленный офицер подошел к начальнику лагеря что-то выяснять. Получился конфликт. Поляк замахнулся на начальника лагеря, а тот дал знак стрелять по людям. Сразу из четырех углов застрочили пулеметы. Поляки выбегали из палаток, в которых жили, чтобы выяснить, в чем дело, и попадали под пули... За несколько минут было убито свыше 70 человек. Таков итог «бунта пленных поляков».

В эту пору я возвращалась ночью из сангородка в лагерь. Вижу – Колымская пересылка освещена прожекторами ярко-ярко, как днем. Вдруг над головой просвистели пули. Я присела на камень – пули продолжают свистеть. Поначалу не сообразила, в чем дело, а на другой день узнала – стреляли по лагерю. Один человек замахнулся, а расправились с 70-ю!..

Дружба с заведующей аптекой, к сожалению, продолжалась недолго, месяца два. Потом ее мужа сняли, хотели даже дать срок, а меня подготавливали быть свидетельницей. Чекисты подговаривали, я отказывалась. Грозил второй срок. Но по милости Божией все обошлось. Может быть, помог другой начальник лагеря, старый чекист, которому я сказала: «Кому я делаю плохое? Что они от меня хотят?» Он ответил: «Ничего, не бойтесь». С тех пор меня уже не трогали. Опять поставили бухгалтером в сангородке, а моего предшественника перевели на общие работы, говорят, очень пил. В моем ведении оказалась и кухня больницы. Выяснилось, что тот бухгалтер все недовыписывал. Скорее всего недопонимал, зачем он это делал. Я же стала выписывать все как полагается. В результате придет повар и скажет: «Зачем столько выписала, всегда было меньше. Я столько получать не буду». «Я выписала сколько полагается, за подпись – отвечаю. Получайте». Только уйдет, на пороге кладовщик: «Мы не будем столько выдавать». И ему говорю: «Я выписала, я и отвечаю – выдавайте». Поверили в

добросовестность. Потом взаимно изобретали с поваром, как получше накормить заключенных. На ударном строительстве в общем-то кормили неплохо. В хранилищах стояло много бочек, где солили кету и горбушу. Ведь когда рыба шла на нерест, ее много выбрасывало на берег. Собирали про запас. Эту рыбу можно было только солить или варить. Если пожаришь, она становилась жесткая, как из дерева.

И вот мы с поваром Яшкой изобретали, как поизысканней накормить заключенных. Яшка оказался замечательным поваром. Этот совершенно рыжий еврей сначала за спекуляцию отсидел 4 года. А когда вышел, убил доносчика и получил еще 10 лет. Теперь, как он говорил, знает, за что сидит. Когда меня перевели в другое место, кормить заключенных стали по-прежнему.

Тем временем сменили заведующую аптекой. На ее место поставили вольнонаемного провизора. Старый бухгалтер сразу же стал предлагать ему свою помощь. А я попала в опалу из-за того, что называла его, вольнонаемного, по имени и на «ты». Это его коробило. В результате на мое место поставили прежнего бухгалтера. Правда, потом провизор понял, что значит лишиться честного человека. Передавал поклоны и приветы, а дело сделано.

Предстоял этап. Отправили меня на пароме вместе с «мамками» во Владивосток. В пути один охранник был ко мне расположен и помог избежать перевозки в трюме. Накрыли нас, заключенных, брезентом (от дождя), и все мы так лежали на палубе. Проплывая остров Лисий, похожий на скалу в море, судно остановилось и простояло у берега целую ночь. Вокруг было очень красиво: дикие камни, увитые лианами. Остров, океан, волны, бьющиеся о скалу, чайки – чем не первозданная красота? Я все время читала на память псалом «Господи, искусил мя еси...» Всю дорогу его читала. Ведь мы могли и не доплыть до Владивостока. Тогда в море было много минных полей; в шторм мины срывало с креплений и они могли оказаться в каком угодно месте. В океане был такой случай. На одном островке поселили несколько заключенных монахинь, чтобы шпана не обижала. Они там жили одни. И вот как-то

ночью разыгрался шторм, и на их острове взорвалась мина – налетела на скалу. Никто не пострадал, только все монахини со страху не могли оторваться от пола.

Наконец, наша баржа-пароход остановилась на подходе к Владивостокской бухте. Все подходы там были заминированы, и пришлось ждать лоцмана, который и провел судно между минными полями. До нас тут был такой случай: пароход с освобожденными заключенными стоял-стоял, гудел-гудел, а лоцман все не появлялся. И пароход пошел без лоцмана, пошел и подрывался на mine. Погибли сотни людей. Может быть, кто-то и получил нагоняй, но люди-то погибли...

Самым страшным, испытанием в тюремные годы для меня была Владивостокская пересылка. Я сидела со шпаной четыре зимних месяца. Пересылка набита до отказа, условия ужасные. Воды давали по кружке на человека в день – и пей, и умывайся. В коридоре стояла большая бочка, куда выливали помои, но и мочились иногда ночью туда же; и вот этой водой дежурные мыли полы, другой не было. Вонь стояла страшная.

Мужскую и женскую половины тюрьмы отделяла легкая стенка. В ней была проделана дырка, которую на день закрывали. Ночью на женскую половину приходили «женихи» с огромными ножами.

Я всегда старалась сохранить чистоту души, а пришлось познать всю глубину человеческого падения. Там ведь были такие бандиты... Соседка по нарам рассказывала, правда не без содрогания, как она участвовала в «мокром деле»: бандит зарезал ребенка в люльке и с наслаждением облизывал кровь с ножа. Такие там были люди. Бывало, проснешься от криков – бьют кого-нибудь, или грабят, или режут, повернешься на другой бок, уши заткнешь и снова спишь. Как только выдержала, не знаю. Какие уж после этого могут быть нервы?

А было в лагере еще и вот что – барак для сифилитиков. Как-то пришел новый этап, места ему не приготовили, и лагерное начальство решило поместить прибывавших в венбарак, а сифилитиков – запустить в наши бараки. А те закрылись изнутри, не пускают, говорят: в зоне все хорошие места заняты, куда вы нас гоните, где нам, под нарами, что ли,

спать? Не пойдем! Тогда начальство велело им занимать любые места, которые они облюбуют. И вот ночью мы спим, вдруг страшные крики, врывается толпа сифилитичек, сами в язвах, грязные, и начинают всех сбрасывать с нар или прыгать и втискиваться между людьми. Оказывается – шпана. Так и сидели потом вместе. Пили из одной посуды, мылись в одной бане – как только Господь сохранил, не знаю. Правда, чесоткой я заболела – вся струпьями покрылась. И до сих пор, чуть что – сразу зуд начинается. А что вытворяла шпана в бане! Ведут всех мыться, в бане на каждого по одной шайке. Шпана бежит вперед, чтобы захватить две шайки. В одну сифилитичка садится, а из другой моется. Приходилось бежать сломя голову, чтобы захватить себе шайку. А люди пожилые отставали, и им шаяк не хватало. Пока шпана намоется и они добудут шайку, потом воды, – уже уводят всех. Шпана всю одежду с себя проигрывала постоянно, так что тюремное начальство не знало, во что их одевать. Когда их стали развозить (на Колыму), они не хотели идти в машину, визжали, царапались, кусались, ругались. Охрана брала каждую за ноги и за руки, раскачивала и кидала в машину, иначе не совладать. Одна, по кличке Одноглазая, убежала и спряталась. Всех из-за нее задержали, пока искали. Долго продолжался поиск. Случайно обнаружили – между двумя палатками залезла и сидела там. Едва запихнули в машину – она царапалась, кусалась, визжала. Повезли. Мы вздохнули с облегчением – схлынули! Вдруг ночью привозят обратно. Оказалось, пароход их не дождался и ушел. Но вообще-то с уголовницами мы потом подружились. Позже они при мне даже матом перестали ругаться.

Последний год заключения я была прикреплена на общие работы. Сначала вроде бы ничего, а потом меня послали в совхоз. Там я никак не справлялась, не поспевала за всеми. И вот был день маминой памяти. Думаю: «Мамочка, если ты имеешь хоть маленькое дерзновение, помолись за меня, не могу здесь выдержать». Через некоторое время меня перевели на более легкую работу. Еще был момент, когда я заболела цингой, и уже совсем как-то стало мне тяжело. Настал день папиной памяти. В тот день меня перевели на ферму принимать

молоко. Конечно, вскоре оттуда убрали, но я за месяц успела поправить здоровье.

Кончался срок, а в последние два года я не получила ни одного письма из дому. Последнее письмо пришло еще до войны от сестры. Она сообщала, что куда-то едет, обрисовала дорогу. Дальше – молчание. Подошел срок освобождаться, а я не знаю, куда ехать, и вообще жив ли кто. Был день памяти преподобного Серафима. Выбрала момент, зашла в пустое овощехранилище, чтобы помолиться наедине, и говорю: «Батюшка Серафим! Ты меня совсем забыл. Так давно нет ни одного известия из дому. Помоги мне!» Прихожу в барак, а мне подают письмо от сестры. Весь лагерь сбегался смотреть. У нас никто уже больше года не получал писем. Мне – первое.

Настало освобождение. Вот тут-то я и вспомнила слова моей матушки: «Молись Божией Матери, чтобы простила грехи. Когда простит, отпустят». Я не молилась, думала – кончится срок и так отпустят. А, когда он кончился, тут-то и началось самое трудное. Добиралась до дому два с половиной года! Сначала нас поселили во Владивостоке вместе со шпаной. В нашей комнате стояли четыре кровати: жили я и еще три женщины. Каждый вечер в эту комнату набивалось до 18–20 мужчин. Я уходила на кухню, а когда уже совсем изнемогала, шла ложиться на свою кровать, накрывалась одеялом с головой и засыпала. Чем они там занимались, я не ведала. Однажды ночью проснулась от того, что у них рухнула кровать. Даже в лагере уголовники уже потом стеснялись при мне ругаться матом, а здесь мерзость не унималась. Я нашла в городе прокурора и стала говорить, что случайно прошла по уголовной статье, что раньше у меня была 58-я (лишь бы поселили отдельно от шпаны). Прокурор стал на меня кричать, что с 58-й статьей могла ли бы я находиться в пограничной зоне? Получилось, что я же и виновата. Хоть как-то двигаться могла только в Богородичные праздники. Раз выехала за два дня до Благовещения, пришлось вернуться с дороги – нет проезда. А выехали в само Благовещение – проехали. Да всего не расскажешь. Попробую мелкими штришками обрисовать картину духовного прошлого.

...

Евгений Поселянин – составитель «Подвижников благочестия», перед кончиной жил с неверующей сестрой в Петрограде. И вот видит он сон, как звонят по телефону, а затем приходят ночью и уводят его. Проснулся утром и пошел к своему, духовнику о. Борису. Исповедался, приобщился Святых Таин. В ту же ночь сон сбылся буквально: позвонили по телефону, потом ворвались, обыск, забрали и увели. Через некоторое время сестра узнала – расстрелян. Она была неверующая и отпевать его не стала, и никому из священников не сказала об этом.

Через какое-то время его духовник, о. Борис, служит в храме, выходит покадить на амвон и вдруг видит – стоит на клиросе Поселянин. Когда священник подошел поближе, тот раскрыл свой пиджак, и о. Борис видит у него на груди рану от пули. Отец Борис спрашивает: «Когда это случилось?». В ответ Евгений Николаевич указывает рукой на икону Трех Святителей. Священник говорит: «Мне надо кадить; подождите, я сейчас вернусь», – и уходит в алтарь. Когда вернулся, на клиросе уже никого не было.

...

В селе Пузо (ныне Суворово) жила блаженная Евдокия, совершенно больная, ходить она уже не могла. А старица была высокой духовной жизни. При ней жили несколько богомолков. В 18-м году в село Пузо пришел карательный отряд. Всех женщин сначала зверски избили в доме, потом вывели за село на кладбище и расстреляли. Больную старицу несли на руках. Их имена: Евдокия, две Дарьи и Мария.

Одна из женщин, жившая с блаженной, убежала, и еще одна была в отлучке. Могила мучениц находится на кладбище в этом селе.

...

В Даниловом монастыре пребывал владыка Феодор. Он перебрался туда после того, как его выжили из Троице-Сергиевой лавры в 1905 году. Сразу после революции и его, и владыку Гурия арестовали, и четыре года держали в Таганской тюрьме. Там начальником был брат жены Менжинского. Говорят,

что он был порядочным человеком и много помогал узникам. Когда получил приказ готовить камеру для Святейшего Патриарха Тихона, то ночью решил приехать к Патриарху, предупредить. Может быть, вспомнил, как в детстве его учили складывать руки, подошел под благословение и сказал: «Я начальник Таганской тюрьмы. Мне приказано приготовить для вас камеру». Патриарх ответил: «Пожалуйста, приготовьте». Но в ту пору Патриарха не посадили в тюрьму, а заключили в Донском монастыре. А в камере сидело до 12 архиереев. Они служили в узилище, а поскольку не было диакона, то все по очереди возглашали ектении. Начинал митрополит, остальные по очереди. Благодетельные люди приносили с воли просфоры и облачения, а надзиратели передавали.

Когда я первый раз приехала из Сибири, то сразу пошла к родственникам моего владыки Петра (Зверева). Оказалось, что он тоже в тюрьме, но на следующий день у родных должно быть разрешение на свидание. У меня никакой надежды получить такое разрешение не было, так как его давали лишь близким родственникам. И вот они пошли на свидание, а я осталась стоять у ворот тюрьмы. Вдруг выходит какой-то человек и спрашивает меня: «Вы к кому?» Я говорю: «К Звереву». Он говорит: «Разрешения нет?» Отвечаю: «Нет». Человек этот оборачивается и говорит часовому: «Проведите к Звереву без разрешения». Оказывается, это был начальник Таганской тюрьмы. Владыка, конечно, был удивлен, когда меня увидел. Находился он тогда в тюремной больнице.

Перед отправкой владыки Петра в ссылку на перроне состоялось еще трехчасовое свидание. Владыка говорил своим чадам: «Если бы я мог показать вам свое сердце... Как страдание очищает сердце!»

Подошел конец срока владыки Феодора, и его выпустили. В то время Москва наполнялась обновленцами. Все верные Православию клир и миряне группировались вокруг Данилова монастыря. Стоял 21-й год. В Москву ссылали архиереев отовсюду. Буквально в каждом храме – по архиерею. В Даниловом монастыре образовался так называемый Даниловский Синод с митрополитом Серафимом Чичаговым во

главе (формально возглавлял он, действительной же главой был владыка Феодор). Вскоре произошло освобождение Патриарха, которое встретили всеобщим ликованием. И началось покаяние обновленцев. Когда пришел каяться митрополит Сергий Страгородский, Патриарх, видя этого немолодого уже архиерея, с укоризной сказал: «Ну ладно, те-то – мальчишки, а ты-то что?» Покаяние приносил также и Алексей Симанский, тогда он был еще иеромонахом.

В Даниловом монастыре проживал тогда о. Симеон (архимандрит). В юности он был очень веселым, любил танцевать. Однажды веселая компания молодых людей решила посетить старца Герасима. Старец благословил о. Симеона на монашество, и тот его сразу принял. В 1905 году ему прострелили позвоночник. Во время операции о. Симеон не проронил ни звука, чем даже обратил неверующую до того медсестру, которая говорила, что только верующий человек мог выдержать такую страшную боль. После операции архимандрит остался полным инвалидом. У него отнялась вся нижняя половина тела. Когда он себя хорошо чувствовал, его сажали в инвалидную коляску и вносили в храм, где он пел на клиросе. Обладал красивым голосом, пел даже «Да исправится молитва моя». Исповедовал людей, которых направлял владыка Феодор. Делал это лежа в постели на животе. В тюрьму отправили в 36-м или 37-м году, умер в Твери в начале войны (1942). Вечная ему память.

Схимонахиня Анатолия

Схимонахиня Анатолия (в миру Зоя Викторовна Якубович) родилась 12 февраля 1874 года в Саратове в небогатой дворянской семье. Кроме Зои и ее сестры Лидии, разделившей впоследствии с матерью Анатолией монашеский путь, в семье выросло еще трое детей. Мать рано овдовела, и Зое пришлось помогать по хозяйству. Воспитывались дети в христианском духе, и Зоя с детства ежедневно читала Евангелие. Образование сестры получили в саратовской женской гимназии.

Как во многих дворянских семьях тех лет, дети почти ничего не знали, о такой существенной стороне христианской жизни, как монашество. По природным своим дарованиям Зоя была настоящей монахиней, но молилась, чтобы Господь послал ей жениха – смиренного и кроткого. И Господь услышал ее молитву: когда ей исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за инженера водного транспорта Николая Иванова, человека глубокой веры, смиренного и кроткого. Жили они очень дружно, но Господь не дал им детей.

Человек может годами молиться, ходить в храм, соблюдать установленные посты, но совершенно не понимать, что такое духовная жизнь. Религиозная жизнь вписывается для такого человека в рамки материальной жизни, зачастую подчиняясь ее законам. Это время духовной спячки, зимы, блаженного младенчества, не ведающего о трудностях и суровости жизни треблаженной, духовной. Иногда Сам Господь будит человека – видением, чудом, особым обстоятельством, и всю жизнь проживший религиозно, человек впервые всем сердцем тогда обращается к Богу; или пробуждает душу словом другого – Своего избранника.

Интерес к духовной жизни проявился у Зои благодаря епископу Гермогену (Долганову), с которым семья Якубовичей была дружна. Сестра ее Лидия была настроения светского. Но однажды, хорошо одетая, в большой модной шляпе, она стояла в храме и слушала проповедь епископа. Эта проповедь так поразила ее, что с того времени она всецело обратилась к Богу.

Сестры стали читать духовные книги, несколько раз были в Сарове у старца-затворника иеросхимонаха Василия. Эти поездки имели на них особенное влияние: не изменяя внешнего образа жизни, они втайне начали вести духовную жизнь, читали Псалтирь, Иисусову молитву.

Когда Зое исполнилось тридцать три года, умер ее муж, она списалась со старцем Василием и по его благословению на сороковой день вместе с сестрой поступила в монастырь. Первые два года они прожили в основанной старцем общине; он хотел поставить их начальницами, но они не чувствовали в себе сил исполнить это послушание. Затем год они прожили в местечке Ундо́л во Владимирской губернии, где старец благословил основать пустынь. Место было глухое – всего несколько домиков, даже не обнесенных оградой. Приезд их сразу обратил на себя внимание местных жителей. Дьявол не дремлет, и чуть где завидится подвиг ради Христа, он тут же воздвигает на подвижника брань. У некоторых из местных жителей возникло подозрение, что насельницы очень богаты, и они задумали их убить и ограбить. Но замысел осуществить не удалось – сестры вскоре покинули пустынь.

Непосильность трудов и подвигов приводила сестер в большое смущение, а еще более того – пожелание старца, чтобы они стали начальницами новоустроиваемой общины. Уже была выхлопотана и прислана из Синода бумага, по которой Зоя назначалась строительницей церкви, причем ни в архитектуре, ни в строительстве она не была сведущей.

Со смущенным духом они возвращались от старца и по пути заехали в Дивеево к блаженной Прасковье Ивановне. Рассказали о своем смущении. Прасковья Ивановна говорит:

– Дайте мне бумаги, я почитаю.

Зоя знала, что блаженная неграмотна, но повиновалась и подала ей синодскую бумагу. Блаженная тут же изорвала ее в клочки и бросила в печку. Обратившись к образу преподобного Серафима и указывая на сестер рукой, она воскликнула:

– Батюшка Серафим, твои снохи, ей-Богу! Обе твои снохи!

Затем велела им идти к игумении Александре проситься в монастырь.

Келии свободной не было, и две недели они прожили в гостинице.

С самого поступления в монастырь Зоя всегда держала глаза опущенными. В храм сестры ходили гуськом, чтобы не разговаривать. Зоя рассказывала, как они приучали себя к терпению: «Получим письма или посылки и в этот день не открываем, а оставляем до следующего дня».

Первым послушанием Зои было изготавливать в ризной цветы, затем ее послали в дворянскую гостиницу записывать приезжающих гостей. Потом – в монастырскую мануфактурную лавку оценщицей и продавщицей. Наконец, перевели вместе с сестрой в канцелярию – писать письма благодетелям. У Лидии был дар слова, а у Зои – нет, и письма получались краткими и сухими. Тогда ей поручили отвечать на письма, адресованные блаженной Прасковье Ивановне. Теперь она ежедневно бывала у блаженной и особенно этому радовалась.

Она рассказывала, что однажды им с сестрой захотелось посмотреть, как Прасковья Ивановна молится ночью. Благословились у игумении и пришли вечером к блаженной. А она тут же улеглась спать. В двенадцать часов встала, потребовала самовар, напилась чаю и опять легла спать, а утром, погрозив пальцем, сказала:

– Озорницы, когда сукман (суконный сарафан), кресты и поклоны, тогда молиться.

Послушницы поняли ее слова так, что не раньше брать подвига, как после пострижения в схиму.

Вскоре Зоя заболела раком, врачи определили ей только год жизни и велели немедленно делать операцию. Получив благословение у игумении, Зоя с сестрой поехала в Киев и в Оптину к старцу о. Варсонофию.

Узнав о цели их приезда, старец сказал:

– Операцию делать не нужно. Я вам дам маслица от Казанской Царицы Небесной, им помазывают больное место сорок дней, и никакой операции не нужно.

Потом стал беседовать и много говорил о предстоящих скорбях и гонениях от начальников, от сестер, о напастях от бесов и, высоко подняв руки, сказал:

– Да помоги тебе Господи! Да помоги тебе Господи! Да помоги же тебе Господи! Но иди смело. Покров Царицы Небесной над тобой.

По возвращении из Оптиной сестер постригли в мантию, а затем вскоре и в схиму. Постриг сестры приняли: Зоя – с именем Анатолия, Лидия – с именем Серафима.

Перед принятием схимы сестры пришли к блаженной Прасковье Ивановне за благословением. Блаженная встала и начала вслух молиться:

– Уроди, Господи, жита, пшеницы, овса, вики и лен зеленый, молодой, высокий, на многая лета.

При этих словах она подняла руки и сама поднялась на воздух. (Слова «на многая лета» означали долгую жизнь матери Анатолии. Лен у блаженной означал молитву, прясть лен – значило молиться.) Затвор схимниц с самого начала был очень строгим, они не выходили даже в церковь. Монастырский священник о. Михаил Гусев сам приходил приобщать их Святых Таин. Все время они проводили в богомыслии и молитве, не разговаривая и между собой. Утром пили чай, в два часа обедали овощами без масла.

Игуменья Александра как духовная мать, воспринявшая их от пострига, не благословила вкушать никакого масла, по словам, написанным на схиме: «Колена моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради».

– А лучше вкушайте немного молока, – сказала она.

Мать Серафима до смерти выдержала этот пост, а матери Анатолии он оказался не под силу. Слабая от природы, истощенная подвигами и болезнью, она совершенно изнемогла и тогда взяла благословение у блаженной Прасковьи Ивановны на употребление масла.

Когда мать Анатолия заболела раком, то ее сестра часто приходила к блаженной и говорила:

– Не могу жить без Зои, я без Зои жить не могу, не спасусь.

А Прасковья Ивановна говорила про матушку Серафиму:

– Девушка хорошая, а вся в земличке, одна голова наружу.

Это к близкой ее смерти. И действительно, случилось так, что мать Серафима упала, ударилась, и у нее образовалась

раковая опухоль. Рак у нее был безболезненный, она постепенно слабела, слабела и так скончалась. Мать Анатолия рассказывала, что лежит мать Серафима больная, слабая, а глаза горят, и поет: «Христос рождается... » (Рождественский ирмос)

Вскоре после смерти сестры у матери Анатолии начались искушения от бесов. Однажды досады демонов были столь сильны, что игумения Александра сказала: «Мать Анатолия больше трех дней не проживет». Враги щекотали и щипали ее с ног до головы, даже под ногтями, не давая ни есть, ни пить, ни спать.

Начинались гонения на Церковь, и игумения Александра говорила: «Мать Анатолия борется с невидимыми врагами, а я с видимыми».

Понемногу мать Анатолия стала приходить в себя от первых бесовских нападений. Ее благословили ходить в храм к ранней обедне, но и в храме бесы не оставляли ее. «В алтарь вхожу, а они – за мной», – рассказывала она.

В это время келейницей ее была послушница Анастасия. Наступила пора ей взять у игумении благословение – остаться ли жить у матери Анатолии или уйти. Они это обсуждали, когда Анастасию позвали к игумении, и та в точности воспроизвела весь их разговор.

Анастасия с удивлением сказала игумении:

– К нам никак нельзя неслышно пройти, а то бы я подумала, что кто-нибудь подслушал и пересказал вам.

Игумения не любила, когда ее возвышали, и перевела разговор на другое.

Определенного благословения на проживание у схимницы послушница не получила. «Как ты сама хочешь», – сказала игумения. И тогда Анастасия стала вспоминать предречения блаженных – как Паша Саровская заставляла ее лазить под кровать, подавать палку, выносить помои и т. п., изображая ей дела послушницы; как блаженная Мария Ивановна еще за два года до того спрашивала: «Кто пришел? – и сама же отвечала: – Послушница схимницы». Мать Дорофея, келейница блаженной Марии Ивановны, ее поправляла, но блаженная продолжала

настаивать: «Послушница схимницы». Многое и другое ей вспомнилось, и она решила остаться. Сначала она была очень рада своему послушанию, а потом заскучала. Глядит в окно: весна, все вышли монастырь убирать, а она сидит в келии.

«Все спасутся, а я не спасусь», – подбираются к ней потихонечку помыслы. А тут еще бесовские напасти. И они поехали с матушкой Анатолией в Саров к иеросхимонаху Василию. Он был в затворе и никого не принимал, ответы передавал через келейника, но их принял лично.

После посещения старца и беседы с ним страхования от бесов несколько уменьшились, хотя и не прекратились. Анастасия рассказывала:

– Станем в двенадцатом часу ночи молиться, а в потолок как гвозди вбивают. Это я слышу, а что матушка?! Или ночью идем по канавке, матушка и говорит: «Крести меня, крести меня!»

Страхования продолжались до самой кончины схимницы, но впоследствии силой Христовой она имела огромную власть над силой вражьей и говорила своим духовным детям: «Никогда их не бойтесь, бесы совершенно бессильны, грех их бояться».

От чрезвычайных подвигов и напастей у матери Анатолии открылся туберкулез легких, продолжавшийся до самой ее кончины.

В то время стариц в Дивееве не было, и к матери Анатолии начали обращаться сестры за советом. Она взяла благословение у игумении, чтобы принимать сестер и приезжавших в обитель мирян. Монастырские сестры ходили к ней в определенные дни. Они открывали ей свои помыслы и искушения, а она учила их смирению, терпению, непрестанной Иисусовой молитве. Любимым чтением ее были творения св. Симеона Нового Богослова, а из современных – Игнатия Брянчанинова.

Но не всем нравилось это послушание схимницы, и она много понесла за это скорбей. Некоторые шли, ища духовной пользы, а некоторые шли ее испытать. Началась зависть, поднялись нарекания, пошли наговоры игумении, так что и она изменила к ней отношение. Бесы хитры, и стоит только

подвижнику ревностно взяться за дело спасения, как Господь попускает им действовать через наши страсти и страсти ближних – чтобы мы исцелились.

В 1924 году постригли в мантию келейницу схимницы с именем Рафаила.

В 1926 году в монастыре поселился епископ Серафим (Звездинский), архипастырь высокой духовной жизни.

Епископ служил Литургию ежедневно с пяти часов утра при закрытых дверях. Для матери Анатолии он явился поддержкой и утешением. Она часто обращалась к нему за советом, и архипастырь говорил о ней: «Это мое любимое, послушнейшее чадо». После того как он был выслан в Меленки, она обращалась к нему письменно, а в 1928 году посетила его.

Мать Анатолия была проста и бесхитростна. Собираются они, бывало, с матерью Рафаилой к владыке, сговариваются, что надо у него спросить. Приехали, сидят, молчат. Мать Рафаила делает знаки, пора, мол, спросить, а матушка говорит: «Рафаила, что ты меня толкаешь?»

Владыка умилился и рассказал им, как собрались старцы: посидели, помолчали, поглядели друг на друга, тем утешились и разошлись, не сказав ни слова.

В 1927 году власти объявили о закрытии монастыря. Мать Анатолия и мать Рафаила переехали в деревню Вертьяново и сняли половину пятистенной избы. Место было шумное, но больше ничего найти не удалось.

Мать Анатолия заняла уголок справа от входа, повесила иконы, лампадки, устроила себе постель на сундуке и все это отгородила черной коленкоровой занавеской, так что получилось у нее, как она называла, темничка – темный уголок без окон. Мать Рафаила поместилась в светлой половине избы; там они вычитывали ежедневно всю службу, так что даже в храм матушка Анатолия не выходила, а жила в полном затворе.

В своей темничке она принимала приходивших к ней сестер.

Все три окна на улицу были занавешены плотными белыми занавесками, а Великим постом еще сверху черным коленкором. Не выходя из дома, мать Анатолия лишалась

свежего воздуха, что было ей особенно тяжело при больных легких, но все это она выдержала терпеливо и безропотно.

Хозяева их оказались воры, но даже на таких людей мать Анатолия производила неизгладимое впечатление. Один раз хозяин рассказал ей, что товарищи уговаривали его уехать в Арзамас, а они бы в это время монахинь ограбили, но он им ответил: «Никогда этого не допущу. У меня живет святое лицо».

Дожили так до весны 1930 года. Шла коллективизация. Остаться здесь было невозможно. Попытались переехать в деревню Череватово, но и оттуда пришлось уехать и поселиться в селе Дивееве. Прожили лето, а осенью выехали в Муром.

В Муроме им пришлось переменить несколько квартир, и наконец одна знакомая женщина позвала их жить к себе в деревню. Это было прекрасное уединенное место, далеко в лесу. У хозяйки одновременно с ними жил тайно священник, и у них всегда была дома служба.

Осенью 1932 года их всех арестовали и повезли во Владимир. Владимирская тюрьма – строгого режима. Мать Рафаила очень тяжело переживала разлуку с матушкой и одиночное заключение, а мать Анатолия говорила, что ей там было очень хорошо. В тишине и уединении она творила Иисусову молитву.

Просидели они в тюрьме несколько месяцев, и мать Анатолию по болезни отпустили домой, а мать Рафаилу сослали на три года в Петропавловск. В 1933 году мать Анатолия поселилась в Кулебаках. Большим утешением для нее служило в то время то, что близко находился храм, где ежедневно совершалась служба, и служил в нем ее любимый монастырский духовник о. Михаил Гусев.

По мере сил матушка ежедневно посещала богослужение. Там с утра была утренняя и обедня. Под праздники служили всенощную с вечера. Храм был деревянный, просторный, иконостас был расписан дивеевскими сестрами. Осенью 1935 года вернулась из заключения мать Рафаила и разместилась вместе с матушкой в комнате на сундуке. Так прожили они почти два года.

Осенью 1937 года они купили в Муроме маленький домик на самом краю высокого берега Оки. Хозяйкой домика стала духовная дочь матушки Анатолии Елизавета Щ., поскольку дом был куплен на ее деньги. Мать Рафаила с Елизаветой заняли комнату, а мать Анатолия поселилась в бывшей кладовке – маленькой комнатке с небольшим окошком со вставленной в него решеткой. В этой комнатке она прожила до самой смерти. Комнатка была не приспособлена для жилья, холодная и полутемная, с неутепленным полом, но мать Анатолия дороже всего ценила уединение и ради него все терпела.

Началась война, возникли материальные трудности. Приходилось засаживать огород помидорами и ехать их продавать повыгоднее, подороже. Раньше, когда они жили одни, они никогда ни о чем не заботились, кроме молитвы, и Господь не посрамлял их надежды. У них было не только необходимое для себя, но они даже имели возможность делиться с неимущими.

Наступила зима 1948–1949 годов. Мать Анатолия все время болела, заметно слабела и старалась уединяться. Она все реже принимала приходивших к ней сестер, а одной, просившей принять ее, ответила: «Мне уже больше нечего тебе говорить, все тебе сказала; ты все знаешь и все понимаешь».

В январе 1949 года она заболела воспалением легких. С каждым днем ей делалось все хуже и хуже. Сестры пришли к ней прощаться, она перекрестила их, а потом еще перекрестила воздух: «А это всех, всех». Во время болезни батюшки приходили причащать ее каждый день. 18 января вечером ей сделалось совсем плохо, в одиннадцать часов вечера послали за батюшкой. Батюшка пришел около двенадцати часов. Начал читать обычные молитвы. Она только повторяла: «Скорей, скорей!» В двенадцать часов ночи 19 января матушка причастилась (1 февраля н. ст.) и через полчаса тихо скончалась. Еще живя в Вертьянове, она как-то говорила матери Рафаиле: «Какие есть счастливые люди, причащаются в час смерти...»

Мы знаем о том, какую мать Анатолия пережила страшную вражескую брань. Безусловно, она не могла бы ее выдержать,

если бы не имела особой благодатной помощи и утешения, но она никогда об этом не упоминала даже намеком, настолько она была смиренна и боялась всякого возношения. Рафаила рассказывала, что иногда во время тяжелой болезни она видела, как у матушки лицо делалось ангельским. Мать Анатолия каждую-неделю приобщалась Святых Таин, и в то время ее лицо, всегда бледное, делалось розовым, а всегда ясные голубые глаза светились особым светом. После причащения Святых Таин она никогда не выходила, а закрывалась и одна пила чай у себя в келии. Она всегда учила повторять про себя: «Пресвятая Владычице моя Богородице, избавь меня от козней и наветов диавольских, Боже, в помощь мою вонми!»

Мать Анатолия была прозорлива. Мне она задолго сказала, когда и какая страсть будет особенно меня мучить.

– А когда же покой? – воскликнула я.

– Покой будет, когда пропоют «Со святыми упокой», а раньше этого покоя не жди.

Рассказывала одна монахиня. Незадолго до кончины матушки Анатолии она пришла к ней. Схимница велела ей открыть все свои грехи с детства. С великим сокрушением и слезами исповедала та свою жизнь. Выслушав, мать Анатолия сказала:

– Все грехи твои с рождения я беру на себя.

И с тем отпустила.

После матушка Анатолия спросила келейницу:

– Утешила ли, угостила ли ты ее чем-нибудь?

– Нет, – ответила та.

– Она насытилась слезами, – сказала матушка.

Матушка всегда принимала откровение помыслов сидя, как делали и старцы, а мы становились на колени. Приедешь к матушке со скорбью, с искушением. Уткнешься ей в подол, поплачешь и все тут оставишь. Куда что денется? Домой летишь как на крыльях.

Об архиепископе Петре (Звереве)

В конце моей жизни Господь благословил меня писать свои воспоминания о тех многих духовных лицах, с которыми мне пришлось встретиться в жизни. Конечно, если бы я могла себе это представить в молодости, я многое могла бы тогда узнать. Да и не только тогда, а и впоследствии имела еще возможность встретиться с многими людьми и расспросить обо всем подробно, а теперь уже люди эти умерли и никого не вернешь. Пишу то, что записала раньше и что осталось у меня в памяти, правильно или неправильно – сама не знаю, что помню, то и пишу.

Архиепископ Петр (Зверев) родился 18 февраля 1878 года и во святом крещении наречен был Василием, в честь Василия Исповедника (28 февраля). Отец его был священник, протоиерей Константин Зверев. Впоследствии он служил в Московском Кремле и был духовником Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Мать его звали Анной. Кроме Василия, у них было еще два сына: Арсений и Кассиан и дочь Варвара.

Мать рассказывала, что у мальчиков уже с детства определились их наклонности. Каждый играл по-своему: Арсений писал бумажки и сделался чиновником; Кассиан играл в войну, стал офицером и был убит на войне 1914 года, а Василий очень любил играть в церковную службу. Владыка сам рассказывал, что в раннем детстве он всегда торопился к началу церковной службы в их приходском храме и шел всегда рядом с отцом. В то время, когда видели идущего в церковь священника, на колокольне делали три раза перезвон, и мальчик считал, что два раза звонят отцу, а третий раз – ему.

В самом раннем детстве Василий увидел во сне Спасителя. Об этом он так рассказывал при мне детям: «В детстве я был очень толстый и пухлый, и взрослые любили меня тискать, а я этого терпеть не мог и отбивался от них руками, ногами. И вот вижу сон. У нас в столовой стоял у стены стол, и вот я вижу: сидит за столом Спаситель в синей и красной одежде и держит меня на руках. А под столом – страшная собака. Спаситель

берет мою руку и протягивает под стол собаке со словами: «Ешь ее, она дерется». Я проснулся и с тех пор никогда уже не дрался, а стал расти, во всем стараясь сдерживать себя, не сердиться и не делать ничего дурного. Всем мальчишкам всегда хочется попробовать курить. Отец был строгий, он сказал: «Если кто будет курить, губы оторву!» Но попробовать все-таки хотелось. Выкурил я папиросу и пошел в церковь. Было Прощеное воскресенье. Запели: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя». Это было самое любимое мое песнопение. Но тут закружилась у меня голова и пришлось выйти из храма. С тех пор я уже не пробовал курить».

Владыка окончил московскую гимназию и прошел 2 курса историко-филологического факультета Московского университета, после чего перешел в Казанскую Духовную Академию. Там он и принял монашество в 1900 году 22-х лет от роду, был наречен Петром во имя апостола Петра, принял и сан иеромонаха.

По окончании Академии в сане иеромонаха служил в Москве в епархиальном доме, что в Каретном ряду (Садово-Каретная). Тут у владыки появились уже духовные дети, верные ему до конца жизни. Потом был настоятелем Белевского мужского монастыря Тульской губернии. Во время войны 1914 года отправился проповедником на фронт. После войны назначен настоятелем Желтикова монастыря в Твери. Там находились мощи святителя Арсения Тверского. В это время ему пришлось переоблачать мощи святителя. Владыка рассказывал, что на святителе сохранилась древняя одежда, коричневая, совсем другого покроя, с пуговицами сбоку. Святитель весь был нетленный, не хватало только ног – одной до колена, другой ниже колена. Очевидно, отнимали части мощей.

В 1918 году в Твери владыку впервые арестовали. 1 февраля 1919 года в Патриарших покоях состоялось его наречение во епископа. 2 февраля 1919 года на праздник Сретения он был хиротонисан в Москве Святейшим Патриархом Тихоном во епископа и назначен викарным епископом Балахнинским в Нижний Новгород к архиепископу Евдокиму,

которого раньше хорошо знал, когда служил в Белеве, а архиепископ Евдоким управлял тогда Тульской епархией. Владыке исполнился в то время 41 год.

Белев находится недалеко от Оптиной пустыни, и владыка имел возможность постоянно общаться с Оптиными старцами, которые, в свою очередь, были к нему очень расположены, ценили его высоко и направляли к нему многих для духовного руководства. Владыка до принятия епископства неоднократно бывал в Сарове и Дивееве, особенное имел расположение к блаженной Прасковье Ивановне. Как рассказывали ее келейницы, «так и сидел у ее ножек», и она взаимно платила ему своим расположением. Она даже подарила ему холст своей работы, из которого он впоследствии сшил себе архиерейское облачение и хранил его на смерть. По рассказам келейницы Прасковьи Ивановны, он вместе с дивеевскими сестрами переживал около блаженной то тяжелое время, когда задерживалось открытие святых мощей батюшки Серафима. Бывал владыка и у отца Иоанна Кронштадтского. Помню его рассказ о том, как отец Иоанн кормил его вместе с матушкой-схиигуменьей Фамарью – сначала ее, потом его.

Мне Господь привел узнать владыку сразу же, как он приехал к нам в Нижний Новгород после хиротонии. Он был высокого роста, худощавый, блондин, волосы носил очень длинные, никогда их не подстригал, борода рыжеватая, глаза ясные, голубые: Голос у него был сильный, с очень хорошей дикцией, так что когда он служил впоследствии в храме Христа Спасителя и говорил проповедь, во всем храме слышалось каждое его слово. Такой же голос, только еще сильнее, был еще только у архиепископа Илариона.

Жил владыка в Нижнем Новгороде, как и его предшественники, в Печерском монастыре на берегу Волги. В древности Печерский монастырь был расположен верстах в двух от города, но произошел обвал, монастырь обрушился в Волгу, остался лишь один храм, и иноки поселились ближе к городу, в так называемых Ближних Печерах. В 1919 году Ближние Печеры насчитывали не менее трехсот лет со своего основания. Монастырь находился в упадке. Братия была

малочисленна. Владыка привез с собой нескольких монахов. Сразу завел полную уставную службу. Служил во все большие и малые праздники, при этом во время всенощной всегда стоял сам в храме на настоятельском месте против чтимой иконы Печерской Божией Матери, часто сам читал шестопсалмие (особенно когда говел).

Никакие певчие не могли выдержать такой продолжительной службы, и владыка привлек к службе народ. За правым клиросом стоял аналой, здесь находился управляющий службой его келейник брат Алексей, и все усердствовавшие пели и читали. В малые праздники всенощная продолжалась пять часов; по воскресеньям – шесть часов, а в двенадцатые – семь часов, то есть с пяти вечера до двенадцати ночи (владыка часто не успевал выпить чашку чаю после всенощной).

Владыка служил неспешно, ясно и громко произнося каждое слово. Кадил по церкви неторопливо, так что успевали пропеть весь псалом (полиелейный). «Хвалите имя Господне» пел весь народ на два хора по афонскому распеву, полностью оба псалма. Во время первого часа и после Литургии владыка благословлял всегда весь народ.

В будние дни, когда имел время, владыка служил раннюю Литургию сам в домовой церкви. Каждый праздник он говорил проповедь после Литургии; кроме того, завел в монастыре преподавание Закона Божия для детей. Учил он их сам. Дети так привязались к нему, что, бывало, так и стоят толпой у его крыльца, ждут, не пойдет ли он куда, и провожают его всей гурьбой. Владыка всегда им тут что-нибудь рассказывал, чаще из своей жизни, из детских воспоминаний. Иногда он совершал всенощную и на всю ночь. Помню, под Рождество всенощная началась в десять, вечера, а после нее сразу ранняя обедня, за которой, многие причащались Святых Таин. Несмотря на продолжительность службы и самое простое пение, церковь всегда была полна народу.

Акафистов за всенощной владыка никогда не читал, а требовал полностью вычитывать все кафизмы; акафисты же читал на молебнах. Владыка особенно любил Псалтирь. Всегда

всем велел его читать. Раз как-то пригласили его служить всенощную в какой-то храм и кафизмы совсем почти выпустили (оставили по несколько слов). Владыка подозвал настоятеля и сказал ему: «Почему ты не любишь царя Давида? Люби царя Давида».

Панихиды владыка служил всегда полностью, по уставу, с семнадцатой кафизмой без всякого сокращения. Помню, как он говорил: «Кто отслужит по мне такую панихиду?». Также и отпевание у него длилось по несколько часов (без всяких сокращений). Особенно любил он и соблюдал в точности церковный устав. Даже песни на каноне все выпевались. В Воронеже владыка говорил своему келейнику: «Во всем твой Петр грешен, только устава никогда не нарушил».

В Печерском монастыре древний собор в честь Успения Божией Матери был запущен. Стены и потолок чернели от копоти. Владыка пригласил народ помочь в уборке храма и сам первый влез на лестницу и промыл часть потолка. Помню, перед праздником Успения Божией Матери совершались в храме каждый день, после вечерни, молебны со службой и акафистом Успению Божией Матери, по образцу Киево-Печерской лавры. Так готовился владыка к встрече праздника Успения.

Часто в престольные праздники владыку приглашали служить в городских храмах. Народ сразу почувствовал и полюбил владыку и пошел за ним. Но эта популярность не понравилась архиепископу Евдокиму. Он стал ему завидовать, и их первоначально дружеские отношения перешли у преосвященного в открытую ненависть. Но люди не знали этого и по-прежнему приглашали их вместе служить. Тяжело было смотреть, как они стояли вдвоем на кафедре. Преосвященный Евдоким стоял весь черный, а владыка Петр бледный как полотно.

Помню рассказ владыки. В Прощеное воскресенье 1920 года архиепископ Евдоким служил в городе, а владыку послал служить в Сормово. Это за городом, далеко. Ходили тогда все пешком, извозчиков не было. На обратном пути владыка зашел нарочно проститься перед Великим постом с архиепископом

Евдокимом на Дивеевское подворье, где тот всегда помещался. Вошел к нему в покои, поклонился на святые иконы, поклонился ему в ноги и подошел со словами: «Христос среди нас». Но вместо обычного ответа: «И есть, и будет» – архиепископ Евдоким ответил: «И нет, и не будет». Владыка повернулся и вышел. Началась первая неделя Великого поста. Владыка присутствовал на всех службах. Помню, служба в общей сложности продолжалась 13–14 часов в сутки. В середине Поста преосвященный Евдоким перевел владыку на жительство в Канавино. Он настаивал, чтобы владыка, как епископ Балахнинский, поселился в Городецком монастыре (Городец находится на берегу Волги выше Нижнего Новгорода). В Канавине (за Окой, против Нижнего Новгорода) на самом Московском вокзале помещалось Городецкое подворье. Там и поселился владыка, и прожил немногим более года. Было там очень шумно и беспокойно, подворье выходило прямо на железнодорожные пути.

В мае 1921 года владыку снова арестовали. Живя в Канавине, он часто служил в Сормове (по близости расстояния). Тут, как и везде, народ очень расположился к нему. Арест владыки вызвал трехдневную забастовку сормовских заводов. Власти пообещали его выпустить, а вместо того отправили в Москву: сначала на Лубянку, а потом он некоторое время находился в Бутырской тюрьме, после чего был переведен на Таганку. Там в то время собралось до двенадцати архиереев и много духовенства. Мы приносили им туда просфоры, облачения, и они в камере совершали соборную службу. Мой дядя, Павел Тимофеевич Соколов, сидевший в то время, рассказывал: «Станут за столик архиереи, а он маленький, служебники положить негде. А диакона нет ни одного. По положению должен первую ектению читать старший, и вот митрополит начинает великую ектению, и дальше все архиереи по старшинству читают ектении по очереди».

В Таганской тюрьме владыка заболел от истощения и попал в больницу. У него сделались фурункулы на голове. В конце июля владыку назначили на этап в Петроград. Перед отправкой дали свидание. Мы пришли трое: жена его брата, духовная дочь

В. Н. и я. Владыка сказал нам, что он договорился, чтобы мы вышли раньше и дождались за углом, когда их выведут, и тогда подошли к ним. Его вывели вдвоем с каким-то мужчиной. Мы подошли и вместе с ними шли под конвоем до самого вокзала. Там их ввели в вагон, потом снова выпустили, и владыка провел с нами несколько часов, до самого отправления, находясь в тамбуре вагона. Много тут он нам рассказывал, но я уже плохо помню, ведь прошло с того времени почти шестьдесят лет. Рассказывал все с самого начала, как его арестовали и спустили в какой-то подвал, где все находились вместе, мужчины и женщины. Что там творилось – вообразить невозможно. Потом рассказывал, как переводили из Бутырок на Таганку. С плачем прощались с ним все заключенные, даже вышли все надзиратели. «Я вспомнил, – говорил владыка, – прощание апостола Павла». Потом рассказывал, как сидел на Лубянке с каким-то моряком. Было томительно сидеть без всякого дела, и они сделали себе бирюльки из битого стекла и растаскивали их соломинками. Конечно, сидели они не молча. Владыка никогда не переставал проповедовать. В конце концов владыка снял с себя крест и надел на матроса. Вообще, когда он находился в заключении, мы не успевали посылать ему кресты. Владыка обращал людей к вере, снимал с себя крест и надевал на обращенного (в то время в тюрьмах еще кресты не снимали).

В Петрограде владыка просидел до декабря и 23 числа, на Анастасию Узорешительницу, был выпущен и сразу приехал в Москву. Всенощную и обедню на Рождество Христово служил в Марфо-Мариинской обители, а на второй день праздника служил в храме Христа Спасителя. В эти дни он получил назначение в Тверь опять викарием, епископом Старицким, и опять поселился в Желтиковом монастыре, где в 1918 году был настоятелем. В Желтикове он снова завел те же порядки, что и в Печорах. Народ помнил его и встретил с радостью.

В это время архиепископ Евдоким совместно с митрополитом Сергием написал воззвание к верующим с призывом сдавать церковные ценности в помощь голодающим Поволжья (в 1921–22 гг. там была засуха и страшный голод).

Воззвание это привезла владыке дивеевская монахиня мать Маргарита. Помню, в Прощеное воскресенье владыка его прочитал и сказал про архиепископа Евдокима: «Я так этого и ждал. А митрополит Сергей глуховат: он слышит, что надо слышать, и не слышит, чего не надо слышать».

Управляющим Тверской епархией был в то время епископ Александр. Он присоединился к составителям воззвания. Это было начало обновленчества.

В Желтикове владыка пробыл меньше года и после Архангела Михаила снова был арестован и послан в Москву. С ним вместе были привезены епископ Феофил Новоторжский, архимандрит Вениамин (молодой, двадцати одного года), архимандрит Иннокентий и несколько священников. Всю зиму их продержали в Бутырках. Затем перевели на Таганку и как раз на стояние Марии Египетской, в четверг на пятой неделе Великого поста 1923 года, отправили с большим этапом в Ташкент. Перед отправкой дали личное свидание. Голова у владыки была забинтована. Помню, я сидела около владыки и целовала его руку. С тем же этапом отправляли много рецидивистов; был усиленный конвой, и на Казанском вокзале не позволяли даже близко подойти. Там видела я владыку в последний раз.

Из Ташкента его отправили в ссылку в Перовск (теперь Кзыл-Орда). Там он пробыл больше года. Летом 1923 года был выпущен Святейший Патриарх Тихон. Он подал список архиереев, без которых не может управлять Церковью, в их числе был и владыка Петр. В конце лета 1924 года его вернули в Москву. Тут ему временно пришлось управлять Московской епархией, а 16 июля 1925 года он прибыл в Воронеж в помощь митрополиту Владимиру, а по смерти последнего, 24 декабря 1925 года, был назначен в Воронеж архиепископом Воронежским и Задонским. Здесь уж владыка со всей силой развернул свою деятельность. Он служил, проповедовал, собирая тысячи народа. В нем сказалась особенная, благодатная сила, которая притягивала к нему людей. Он был совершен в ревности и в любви к Богу, в жалости и в любви к людям.

Владыке предложили на выбор две епархии: Нижегородскую и Воронежскую. Владыка выбрал Воронежскую, так как всегда особенно почитал святителей Воронежских, Митрофана и Тихона, и архиепископа Антония.

В Воронеже владыка не был близок с духовенством, но был особенно близок с народом, которого собиралось на его службы великое множество. При нем началось почти поголовное возвращение духовенства из обновленчества.

В Воронеже владыке сопутствовал отец архимандрит Иннокентий. Близость с ним у владыки началась еще в Твери. Отец Иннокентий, тихий и кроткий, во всем был владыке ближайшим помощником. Из Воронежа владыка посылал отца Иннокентия в Саров и Дивеево за нотным акафистом преподобному Серафиму и служил в Воронеже этот акафист каждую среду.

В свое время блаженная Прасковья Ивановна предсказала ему три тюрьмы, которые уже прошли, и поэтому владыка не стал больше ничего бояться. «Четвертой не будет». Дивеевская блаженная Мария Ивановна через мать Маргариту остерегала его: «Пусть владыка сидит тихо, а то Царица Небесная от него откажется», – но он, помня слова блаженной Прасковьи Ивановны, не обращал на это внимания. Наконец, 16 ноября 1926 года его все-таки арестовали, отправили в Москву, а оттуда на 10 лет в Соловки. Когда владыку провожали в Москве на Северном вокзале, он закричал: «Есть ли тут дивеевские?» Там были две дивеевские сестры. Он сказал им: «Передайте от меня поклон блаженной Марии Ивановне».

Владыка прибыл в Соловки весной 1927 года. В то время там было в заключении много архиереев, духовенства и монашествующих.

В Соловках владыка находился первоначально в 6-й роте отделения в стенах «Кремля» (монастыря); затем его перевели в 4-ю роту. Там он навещал и похоронил отца Иннокентия, скончавшегося 24 декабря ст. ст. 1927 года.

В 1928 году владыка был переведен на Анзер в VI отделение. Там он работал счетоводом на складе (каптерке), где работали одни священники.

Владыка писал с Анзера, что живет в уединенном пустынном месте, мало видит людей и чувствует себя пустынноиком. Там в уединении он составил акафист преподобному Герману Соловецкому и послал его на проверку в Москву.

С Анзера владыка писал, что скорбит в удалении от могилки отца Иннокентия. Также вспоминал своего бывшего келейника отца Серафима, ранее скончавшегося в Нижегородском Печерском монастыре, «с ним были связаны взаимной любовью». Вспоминал и просил разыскать своего келейника отца Пафнутия, бывшего тогда еще в живых, просил передать ему свое благословение. Отец Пафнутий, как я помню, всегда толковал владыке значение снов.

Сохранились копии целого ряда писем, написанных владыкой из Соловков.

Далее привожу рассказ монахини Арсении, бывшей в Соловках вместе с владыкой.

При разгоне Соловецкого монастыря начальство предложило желающим монахам остаться в монастыре вольнонаемными. Шестьдесят монахов остаться согласились. Им дали церковь на кладбище в честь преподобного Онуфрия Великого. Ежедневно там совершалась служба: с 6 часов вечера всенощная и в 4 часа утра – Литургия. Сначала начальство относилось к верующим снисходительно: заключенные епископы и священники жили отдельно, также и монашенки. Они посещали все церковные службы, работали в дневную смену. В 4 часа утра служилась обедня до 6 часов утра. В 6 часов утра был общий подъем и поверка, после этого владыка шел в хлеборезку. Он благословлял хлеб, а священники резали его и раздавали пайки. В 6 часов вечера, после конца работы, начиналась всенощная. Владыка всегда читал шестопсалмие. В восемь вечера всенощная кончалась. Поверка, отбой, и все ложились спать. Владыка находился в центре монастыря, в «Кремле». Те верующие, которые находились на Анзере (острове), приплывали на Соловки причащаться. На Соловках была сильная грязь, были проложены деревянные мостки для пешеходов. Рассказывали,

что начальство настолько уважало владыку, что при встрече с ним сходило в грязь, уступая ему дорогу. Но потом начальство переменялось. Прислали командовать лагерем сына священника (Успенского). Он сразу снял с церкви кресты. Владыка в это время обратился к православной вере и крестил в Святом озере эстонку. За это он был отправлен в штрафную командировку на остров в Троицкое. Там начался поварный тиф.

На острове, продолжает монахиня Арсения, вправо по мостику, Копрская; по преданию, Петр Великий, когда выстроил первый ботик и поплыл в нем по Белому морю, служил там благодарственный молебен. Слева – скит Анзер (преподобного Елеазара). Подле скита ветхая избушка и часовня в честь Успения Божией Матери (на месте явления Божией Матери и преподобного Елеазара иеросхимонаху Иисусу). В часовне было написано, что при явлении Матерь Божия сказала: «На этом месте пусть будет сооружен скит во имя Страдания Моего Сына. Пусть живут 12 иноков и будут все время поститься, кроме субботы и воскресенья. Придет время, верующие на этой горе будут падать от страданий, как мухи». Там и основан был скит Голгофа.

Когда начался тиф, в скиту поместился госпиталь. Владыка заболел тифом и был привезен в госпиталь. Там он болел 14 дней. Владыка перенес бы болезнь, но он не принимал пищи. Мать Арсения находилась в то время на пристани, и у нее хранились вещи владыки. К больному владыке приехал из Соловков иеромонах и приобщил его Святых Таин. Мать Арсения неоднократно присылала владыке хранившуюся у нее его постригальную свитку, но он отсылал ее обратно. В день его кончины пришла к ней сестра-хозяйка. Сказала, что в болезни наступил перелом; владыка должен был поправиться, но он ничего не кушает. Мать Арсения спросила: «В чем он лежит?» – «В казенной короткой рубашке». Тогда мать Арсения опять послала свитку, которую владыка хранил на смерть (для дня кончины). Когда ему подали ее, он сказал: «Как к делу она послала ее. Теперь оботрите меня губкой. Обмывать меня нельзя». На владыку надели свитку, и в ней он скончался.

В одной палате с владыкой лежал ветеринарный врач, его духовный сын. В день смерти владыки, в 4 часа утра, он услышал шум, как бы влетела стая птиц. Открывает глаза и видит святую великомученицу Варвару со многими девами. Она подошла к постели владыки и причастила его Святых Таин. Среди сопровождавших ее дев врач узнал святую мученицу Анисию и великомученицу Ирину. Он рассказал об этом владыке архиепископу Полтавскому и другим. В тот же день, в 7 часов вечера, владыка скончался. Перед смертью вечером он все писал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к Себе призывает». И так несколько раз. В последний раз написал «не» – и рука упала: владыка скончался. Это было на праздник иконы Царицы Небесной «Утоли моя печали» – 25 января 1929 года, в семь часов вечера, – 50 лет от роду.

Когда владыка скончался, его вынесли в морг. Владыка лежал в свитке, и его хотели похоронить отдельно. Еще при начале тифозной эпидемии на острове с осени вырыли большую яму и туда складывали всех покойников, а сверху яму закрывали срубленными с этой целью елями. По приказанию начальника владыку положили в общую могилу. Его положили с краю, прикрыли деревцем: Местный начальник никак не разрешал хоронить его отдельно. Тогда заключенные подали заявление с просьбой разрешить. Наконец разрешили.

На пятый день хоронили владыку; был выходной день, воскресенье. Еще когда владыка только что заболел, ему прислали все малое облачение, мантию и малый омофор. Когда получили разрешение хоронить отдельно, то сразу погасили бывшие, у владыки денежные квитанции и купили продуктов на поминки, всю ночь готовили. В хозчасти сделали в мастерской гроб за 8 руб. 60 коп. Панагию написали на кипарисе. Всю ночь писали. В 5 часов утра пошли в хозчасть в Анзер за четыре версты, там в каптерке (склад) отпели владыку, все облачение сложили в гроб и повезли. Четыре человека шпаны в это время копали могилу. Подъехали, открыли общую могилу. Все умершие лежали черные, а владыка лежит, как Спаситель, в рубашечке, со сложенными на груди руками, белый, как кипенный. На лице были хвоинки насыпаны. Три священника на

простыни подняли его из могилы, расчесали волосы, отерли лицо и начали прямо на земле облачать. Весь он был белый, мягкий, как будто бы вчера умер, только одна нога больная почернела (еще когда в Белеве он осматривал монастырскую постройку, ему на ногу упал кирпич; она всегда у него болела). Облачили владыку в мантию лиловую, новую, и во все новое облачение. На ножки надели туфельки бархатные (сшили ночью, всю ночь работали). Пропели: «Да возрадуется душа твоя о Господе», – и стали влагать владыке в руки молитву. И все три батюшки расписались. Мать Арсения спросила: «Почему вы расписываетесь? На молитве ведь не расписываются?» Они ответили: «Если время переменится, выйдет владыка мощами [мощи священномученика Петра обретены 17 июня 1999 г. *сост.*], будет известно, кто его хоронил». Рукопись подписали: архимандрит Константин Алмазов (Петербург), барнаульский отец Василий и отец Димитрий из Твери.

Похоронили владыку внизу против престола (алтаря храма) на полугоре. Поставили крест. В головах – елка, в ногах – три пихты. Владыка умер последним, после него никто не умирал, тиф кончился, и настало тепло.

Один из хоронивших владыку священников, будучи проездом в Москве, рассказывал, что, когда похоронили его и зарыли уже могилу, вдруг над могилой явился столп света и в нем владыка, и он их благословил.

После смерти владыки вещи его раздали батюшкам, а панагию с Тайной Вечерей (перламутровую) владыка завещал архиепископу Илариону. Но владыка Иларион в это время уже скончался от тифа в Ленинградской тюрьме, во время пересылки в Казахстан.

Еще рассказывали, что перед этим временем владыка стал видеть сны (он любил толковать сны). Писал в Москву, что сны предвещают ему скорое освобождение. Владыка очень тяжело переживал заключение. Он имел очень живой, подвижный характер, а заключение его кругом связывало. Когда же заболел, то понял, что сны эти не к освобождению, а к смерти.

В голгофском госпитале врачом был татарин и санитары тоже были татары. Ранее как-то владыке пришлось находиться

вместе с ними. Они объявили (держали) голодовку, а владыка получал много посылок и ими поддерживал их. Помня это, они за ним усердно ухаживали... Рассказывали еще, что, когда владыка умирал, все инородцы пели молитвы на своих языках.

После смерти моей мамы я видела у нее письмо Оптинского старца отца Анатолия, с которым она вела переписку. По его благословению мама обращалась к владыке Лаврентию (он был расстрелян 24 октября 1918 года), предшественнику владыки Петра. После этого мама просила старца благословить обращаться к владыке Петру. Помню ответ отца Анатолия: «Вы просите благословения обращаться к владыке Петру. Бог благословит. Какая вы счастливая, что Господь посылает вам таких мудрых руководителей».

Владыка приехал к нам в феврале, а я попала к нему только в июле. Я привыкла видеть в Печерах владыку Лаврентия, высокую святую личность, и мне думалось: кто же достоин заменить его? Но меня уговорили, и я пришла в будни на какой-то маленький праздник, ко всенощной (кажется, преподобного Антония Печерского) в июле месяце. Стоим в храме, ждем входа владыки. Входит он, и я вижу вокруг него сияние. Мне еще не было тогда 16 лет. Это перевернуло всю мою жизнь. А владыка еще ранее искал меня. Он говорил маме, что хочет знать ее старшую дочь. А мама всегда брала с собой мою младшую сестру. За этой всенощной я села на скамейку впереди, боком к владыке. Он пристально посмотрел на меня (я не знала, а только чувствовала себя очень неловко), и после этого он сказал маме, что узнал теперь ее старшую дочь: «Она пришла и села против меня».

Вскоре он позвал меня к себе. Дал мне читать три книжки и велел не просто читать, а так, чтобы каждое слово доводить до сердца. Вскоре он благословил меня читать в церкви; я не решалась, так как от природы картавлю, но после его благословения стала читать ясно. После этого он подарил мне Псалтирь, а после смерти мамы благословил на монашество.

Владыка был истовый монах, любил монастырь и монашество всей душой, особенно Киево-Печерскую лавру, где и желал всегда окончить жизнь в схиме.

Владыка был от природы очень прост и доверчив, он верил всем людям и от этого много страдал. Посты владыка соблюдал в точности, по уставу. Мне говорили, что в Воронеже он даже не ел с маслом в среду и пятницу. Жена брата владыки рассказывала мне, что она видела его после смерти во сне в их комнате стоящим в воздухе в ярком сиянии, благословляющим.

Узнала я владыку Петра в 1919 году, а видела в последний раз в 1923 году, так что мне Господь привел быть с ним в общении только четыре года. В 1924 году летом перед его возвращением я поступила в Дивеево и больше его уже не видела.

В Соловках владыка особенно подружился с архиепископом Иларионом. Помню, рассказывали, что в Соловках поминали старшего архиерея «Соловецким». Старшим был Иларион, а как только его посадили на пароход (отправили в этап), в церкви за службой запели «высокопреосвященного Петра, архиепископа Соловецкого».

Иеромонах Дамаскин (Орловский)

Блаженная Мария Ивановна

Мария Захаровна Федина родилась в селе Голеткове Елатомского уезда Тамбовской губернии. Впоследствии ее спрашивали, почему она называется Ивановна. «Это мы все, блаженные, Ивановны по Иоанну Предтече», – отвечала она.

Родители ее Захар и Пелагея Федины умерли, когда ей едва минуло тринадцать лет. Первым умер отец. После смерти мужа Пелагея поселилась с Машей в семье старшего сына. Но здесь им не было житья от невестки, и они переселились в баньку. Мария с детства отличалась беспокойным характером и многими странностями, часто ходила в церковь, была молчалива и одинока, никогда ни с кем не играла, не веселилась, не занималась нарядами, всегда была одета в рваное, кем-нибудь брошенное платье.

Господь особенно о ней промышлял, зная ее будущую ревность по Богу, и она часто во время работ видела перед глазами Серафимо-Дивеевский монастырь, хотя там никогда не бывала.

Через год по смерти отца умерла мать. Тут ей совсем житья не стало от родных.

Однажды летом несколько женщин и девушек собрались идти в Саров, Мария отпросилась пойти с ними. Домой она уже не вернулась. Не имея постоянного пристанища, она странствовала между Саровом, Дивеевом и Ардатом – голодная, полунагая, гонимая.

Ходила она, не разбирая погоды, зимой и летом, в стужу и жару, в полую воду и в дождливую осень одинаково – в лаптях, часто рваных, без онуч. Однажды шла в Саров на Страстной неделе в самую распутицу по колено в воде, перемешанной с грязью и снегом; ее нагнал мужик на телеге, пожалел и позвал подвезти, она отказалась. Летом Мария, видимо, жила в лесу, потому что когда она приходила в Дивеево, тело ее было сплошь усеяно клещами и многие из ранок уже нарывали.

Чаще всего бывала она в Серафимо-Дивеевском монастыре; некоторые сестры любили ее, чувствуя в ней

необыкновенного человека; давали чистую и крепкую одежду вместо лохмотьев, но через несколько дней Мария вновь приходила во всем рваном и грязном, искусанная собаками и побитая злыми людьми. Иные монахини не понимали ее подвига, не любили и гнали, ходили жаловаться на нее уряднику, чтобы он данной ему властью освободил их от этой «нищенки», вшивой и грубой. Урядник ее забирал, но сделать ничего не мог, потому как она представлялась совершенной дурочкой, и он отпускал ее. Мария снова шла к людям и часто, как бы ругаясь, обличала их в тайных грехах, за что многие особенно ее не любили.

Никто никогда не слышал от нее ни жалобы, ни стона, ни уныния, ни раздражительности или сетования на человеческую несправедливость. И Сам Господь за ее богоугодную жизнь и величайшее смирение и терпение прославил ее среди людей. Начали они замечать: что она скажет или о чем предупредит, то сбывается, и у кого остановится, те получают благодать от Бога.

У одной женщины, Пелагеи, было двенадцать детей, и все они умирали в возрасте до пяти лет. В первые годы ее замужества, когда у нее умерло двое детей, Мария Ивановна пришла к ним в село, подошла к окнам ее дома и запела: «Курочка-мохноножка, народи детей немножко».

Окружившие ее женщины говорят ей:

– У нее нет совсем детей.

А она им отвечает:

– Нет, у нее много.

Они настаивают на своем:

– Да нет у ней никого.

Тогда Мария Ивановна им пояснила:

– У Господа места много.

Однажды говорит она одной женщине:

– Ступай, ступай скорее, Рузаново горит.

А женщина была из Рузанова. Пришла в Рузаново, все на месте, ничего не случилось; встала в недоумении, а в это время закричали: «Горим». И все Рузаново выгорело с конца до конца.

Духовное окормление Мария Ивановна получала у блаженной Прасковьи Ивановны, с которой приходила

советоваться. Сама Прасковья Ивановна, предчувствуя кончину, говорила близким: «Я еще сижу за станом, а другая уже спит, она еще ходит, а потом сядет», – а Марии Ивановне, благословив ее остаться в монастыре, сказала: «Только в мое кресло не садись» (в келии блаженной Паши Мария Ивановна прожила всего два года).

В самый день смерти блаженной Пашеньки Саровской вышло у Марии Ивановны небольшое искушение. Раздосадованные ее странностями, монахини выгнали ее из монастыря, не велев вовсе сюда являться, а иначе они прибегнут к помощи полиции.

Ничего на это не сказала блаженная, повернулась и ушла.

Перед внесением в церковь гроба с телом блаженной Паши в монастырь приехал крестьянин и говорит:

– Какую рабу Божию прогнали вы из монастыря, она мне сейчас всю мою жизнь сказала и все мои грехи. Верните ее в монастырь, иначе потеряете навсегда.

За Марией Ивановной тотчас отправили посыльных. Она себя не заставила ждать и вернулась в монастырь в то время, когда Прасковья Ивановна лежала в гробу в церкви. Блаженная вошла и, оборотясь к старшей ризницей монахини Зиновии, сказала:

– Ты меня, смотри, так же положи, вот как Пашу.

Та рассердилась на нее, как она смеет себя сравнивать с Пашей, и дерзко ей на это ответила.

Мария Ивановна ничего не сказала.

С тех пор она окончательно поселилась в Дивееве. Сначала она жила у монахини Марии, а затем игуменья дала ей отдельную комнату. Комната была холодная и сырая, особенно пол, в ней блаженная прожила почти восемь лет; здесь она окончательно лишилась ног и приобрела сильнейший ревматизм во всем теле.

Почти с первого года ее жизни в монастыре к ней в послушницы приставили Пашу (в монашестве Дорофею), которая поначалу не любила Марию Ивановну и пошла к ней служить за послушание. Мария же Ивановна еще прежде говорила, что к ней служить приведут Пашу.

Сильно скорбела Паша, видя, как постепенно Мария Ивановна наживает мучительную болезнь и лишается ног, но сделать ничего не могла.

Лишь тогда, когда народу, приходящего к блаженной, стало столько, что невозможно было поместиться в тесной комнате, игуменья разрешила перевести ее в домик Паши Саровской.

Домик этот стоял у самых ворот, и советские власти, видя большое стечение людей, воздвигли гонение на блаженную, так что в конце концов ее перевели в отдельную комнату при богадельне, где она прожила до закрытия монастыря. ...

Не довольно было блаженной подвигов предыдущей скитальческой жизни, болезней, молитвы, приема народа. Однажды послушница Марии Ивановны мать Дорофея ушла в кладовую за молоком, довольно далеко от келии старицы, а самовар горячий подала на стол. Возвращается и слышит неистовый крик Марии Ивановны: «Караул!».

Растерянная послушница сначала ничего не поняла, а потом так и осела от ужаса. Мария Ивановна в ее отсутствие решила налить себе чаю и открыла кран, а завернуть не сумела, и вода лилась ей на колени до прихода матери Дорофеи. Обварилась она до костей, весь перед и ноги, а колени сплошь покрылись волдырями, потом все прорвалось и начало мокнуть.

Случилось это в самую жару, в июне месяце. Дорофея боялась, что в оголенных и незаживающих мышцах заведутся черви, но Господь хранил Свою избранницу, и каким чудом она поправилась, знает только Бог. Не вставая с постели, она мочилась под себя, все у ней прело, лежала она без клеенки, поднимать ее и перестилать белье было трудно, и все же она выздоровела.

В другой раз до изнеможения устала Дорофея, всю ночь поднимая Марию Ивановну и все на минуточку; под утро до такой степени она ослабела, что говорит: «Как хочешь, Мария Ивановна, не могу встать, что хочешь делай».

Мария Ивановна притихла, и вдруг просыпается Дорофея от страшного грохота: блаженная сама решила слезть, да не в ту сторону поднялась в темноте, упала рукой на стол и сломала ее в кисти. Кричала: «Караул!» но не захотела призвать доктора

завязать руку в лубок, а положила ее на подушку и пролежала шесть месяцев в одном положении, не вставая и не поворачиваясь. Опять мочилась под себя, потому что много пила и почти ничего не ела.

Сделались у нее пролежни такие, что оголились кости и мясо висело клочьями. И опять все мучения перенесла Мария Ивановна безропотно, и только через полгода рука начала срастаться и срослась неправильно, что видно на некоторых фотографиях.

Однажды мать Дорофея захотела посчитать, сколько раз Мария Ивановна поднимается за ночь. Для этого она положила дощечку и мел, еще с вечера поставила первую палочку и легла спать, ничего о своем замысле не сказав блаженной.

Под утро она проснулась и удивилась, что это Мария Ивановна не встает и ее не зовет. Подошла к ней, а она не спит, смеется и вся лежит, как в болоте, по ворот обмочившись, и говорит:

– Вот я ни разу не встала.

Мать Дорофея упала блаженной в ноги:

– Прости меня, Христа ради, мамушка, никогда больше не буду считать и любопытствовать о тебе и о твоих делах.

Тех, кто жил с Марией Ивановной, она приучала к подвигу, и за послушание и за молитвы блаженной подвиг становился посильным. Так, матери Дорофее блаженная не давала спать, кроме как на одном боку, и если та ложилась на другой бок, она на нее кричала. Сама Мария Ивановна расщипывала у себя место на ноге до крови и не давала ему заживать.

Истинная подвижница и богоугодный человек, она имела дар исцеления и прозорливости.

Исцелила женщине по имени Елена глаз, помазав его маслом из лампады.

У одной монахини была экзема на руках. Три года ее лечили лучшие доктора в Москве и в Нижнем – не было улучшения. Все руки покрылись ранами. Ею овладело такое: уныние, что она хотела уже уходить из монастыря. Она пошла к Марии Ивановне. Та предложила помазать маслом из лампады; монахиня испугалась, потому что врачи запретили касаться

руками масла и воды. Но за веру к блаженной согласилась, и после двух раз с кожи исчезли и сами следы от ран.

Пришел однажды к Марии Ивановне мужичок – в отчаянии, как теперь жить, разорили вконец. Она говорит: «Ставь маслобойку». Он послушался, занялся этим делом и поправил свои дела.

О Нижегородском архиепископе Евдокиме (Мещерском), обновленце, блаженная еще до его отступничества говорила:

– Красная свеча, красный архиерей.

И даже песню о нем сложила: «Как по улице, по нашей Евдоким идет с парашей, порты синие худые, ноги длинные срамные».

Один владыка решил зайти к блаженной из любопытства, не веря в ее прозорливость.

Только он собрался войти, как Мария Ивановна закричала:

– Ой, Дорофея, сади, сади меня скорее на судно.

Села, стала браниться, ворчать, жаловаться на болезнь.

Владыка пришел в ужас от такого приема и молча ушел.

В пути с ним сделалось расстройство желудка, он болел всю дорогу, стонал и жаловался.

Схимнице Анатолии (Якубович) блаженная за четыре года до ее выхода из затвора кричала:

– Схимница-свинница, вон из затвора.

Она была в затворе по благословению о. Анатолия (схимника Василия Саровского), но ей стала являться умершая сестра. Мать Анатолия напугалась, вышла из затвора и стала ходить в церковь. Мария Ивановна говорила: «Ее бесы гонят из затвора, а не я».

Пришел однажды к Марии Ивановне мальчик, она сказала:

– Вот пришел поп Алексей.

Впоследствии он действительно стал саровским иеромонахом о. Алексеем. Он очень чтил ее и часто к ней ходил. И вот однажды пришел, сел и молчит. А она говорит:

– Я вон мяса не ем, стала есть капусту да огурцы с квасом и стала здоровее.

Он ответил: «Хорошо».

Он понял, что это о том, как он, боясь разболеться, стал было есть мясо. С тех пор бросил.

Отцу Евгению Мария Ивановна сказала, что его будут рукополагать в Сарове. Он ей очень верил и всем заранее об этом рассказал. А его вдруг вызывают в Дивеево. Келейница блаженной, мать Дорофея, заволновалась, и ему неприятно. Рукополагали его в Дивееве. Дорофея сказала об этом Марии Ивановне, а та смеется и говорит:

– Тебе в рот, что ли класть? Чем тут не Саров? Сама келия преподобного и все вещи его тут.

Однажды приехала к блаженной некая барыня из Мурома. Как только вошла она, Мария Ивановна говорит:

– Барыня, а куришь, как мужик.

Та действительно курила двадцать пять лет и вдруг заплакала и говорит:

– Никак не могу бросить, курю и по ночам, и перед обедней.

– Возьми, Дорофея, у нее табак и брось в печь.

Та взяла изящный портсигар и спички и все это бросила в печь.

Через месяц мать Дорофея получила от нее письмо и платье, сшитое в благодарность. Писала она, что о курении даже и не думает, все как рукой сняло.

Римма Ивановна Долганова страдала беснованием; оно выражалось в том, что она падала перед святыней и не могла причаститься. Стала она проситься у блаженной поступить в монастырь.

– Ну куда там такие нужны...

– А я поправлюсь? – с надеждой спросила Римма Ивановна.

– Перед смертью будешь свободна.

И этой же ночью она заболела скарлатиной и сама пошла в больницу, сказав, что уже больше не вернется. Она скончалась, незадолго до смерти исцелившись от беснования.

Пошла однажды Вера Ловзанская (впоследствии инокиня Серафима) к Марии Ивановне проситься в монастырь. Та, увидев ее, закричала:

– Не надо! Не надо ее! Не надо!

А потом рассмеялась и говорит:

– Ты же будешь на старости лет отца покоить. Иди к владыке Варнаве, он тебя устроит.

Впоследствии вышло так, что инокине Серафиме пришлось до самой смерти покоить своего духовного отца – епископа Варнаву (Беляева).

В монастыре жил юродивый Онисим. Он был очень дружен с блаженной Марией Ивановной. Бывало, сойдутся они и все поют: «Со святыми упокой».

Онисим всю жизнь прожил в монастыре и уже называл себя в женском роде: «она». Когда Государь Николай Александрович приезжал на открытие мощей преподобного Серафима, то народу было столько, что пришлось на время закрыть ворота. А Онисим остался за воротами и кричит: «Ой, я наша, я наша, пустите, я наша».

Однажды Мария Ивановна говорит Вере Ловзанской:

– Вот Ониська увезет мою девчонку далеко-далеко.

Только тогда, когда епископ Варнава сам примет подвиг юродства и она уедет за ним в Сибирь, только тогда станет понятно, о чем говорила блаженная Мария Ивановна.

Перед тем как поехать в Среднюю Азию, Вера Ловзанская отправилась к Марии Ивановне – проститься и взять благословение. Дивеевский монастырь был закрыт, и Мария Ивановна жила в селе.

Вера сошла рано утром в Арзамасе, надо было идти шестьдесят километров до Дивеева. Был декабрь, холодно. Вышла она на дорогу, видит, мужичок едет на розвальнях. Остановился:

– Вы куда?

– Я в Дивеево.

– Хорошо, я вас подвезу.

Доехали до села Круглые Паны. Здесь трактир. Возчик пошел закусить и изрядно выпил. В пути его развезло, сани постоянно съезжали с дороги и увязали в снегу, но лошадь как-то сама собой выбиралась и наконец остановилась у дома, где жила Мария Ивановна.

Был час ночи. Мужик проснулся и стал изо всей силы стучать в окно. Монашки открыли. Рассказывают. Все это время блаженная бушевала, стучала по столу и кричала:

– Пьяный мужик девчонку везет! Пьяный мужик девчонку везет!

– Да какой пьяный мужик, какую девчонку? – пытались понять монахини. А блаженная только кричала:

– Пьяный мужик девчонку везет!

Однажды пришла к Марии Ивановне интеллигентная дама с двумя мальчиками. Блаженная сейчас же закричала:

– Дорофея, Дорофея, давай два креста, надень на них.

Дорофея говорит:

– Зачем им кресты, они сегодня причастники.

А Мария Ивановна знай скандалит, кричит:

– Кресты, кресты им надень.

Дорофея вынесла два креста, расстегнула детям курточки, крестов и вправду не оказалось.

Дама очень смутилась, когда Дорофея спросила ее:

– Как же вы причащали их без крестов?

Та в ответ пробормотала, что в дорогу сняла их, а то они будут детей беспокоить.

Вслед за ней пришла схимница.

– Зачем надела схиму, сними, сними, надень платочек и лапти, да крест надень на нее, – говорит Мария Ивановна.

С трепетом мать Дорофея подошла к ней: оказалось, что она без креста. Сказала, что в дороге потеряла.

Епископ Зиновий (Дроздов) спросил Марию Ивановну:

– Я кто?

– Ты поп, а митрополит Сергей – архиерей.

– А где мне дадут кафедру, в Тамбове?

– Нет, в Череватове¹.

У Арцыбушевых была очень породистая телка, и вот она за лето не огулялась, и следовательно, семья должна быть весь год без молока, а у них малые дети, средств никаких, и они задумали продать ее и купить другую и пошли к Марии Ивановне за благословением.

– Благослови, Мария Ивановна, корову продать.

– Зачем?

– Да она нестельная, куда ее нам.

– Нет, – отвечает Мария Ивановна, – стельная, стельная, говорю вам, грех вам будет, если продадите, детей голодными оставите.

Пришли домой в недоумении, позвали опытную деревенскую женщину, чтобы она осмотрела корову. Та признала, что корова нестельная.

Арцыбушевы опять пошли к Марии Ивановне и говорят:

– Корова нестельная, баба говорит.

Мария Ивановна заволновалась, закричала.

– Стельная, говорю вам, стельная.

Даже побила их.

Но они не послушались и повели корову на базар, им за нее предложили десять рублей. Оскорбились они и не продали, но для себя телку все-таки присмотрели и дали задаток десять рублей.

А Мария Ивановна все одно – ругает их, кричит, бранит. И что же? Позвали фельдшера, и он нашел, что корова действительно стельная. Прибежали они к Марии Ивановне и в ноги ей:

– Прости нас, Мария Ивановна, что нам теперь делать с телушкой, ведь мы за нее десять рублей задатка дали. ...

Отдайте телушку, и пусть задаток пропадет.

Они так и сделали.

По благословию епископа Варнавы блаженной Марии Ивановне была построена келия в селе Пузово. Туда ее отвезли сразу же после закрытия монастыря; руководила устройством Марии Ивановны Валентина Долганова и дело поставила так, что никому не стало доступа к блаженной.

В Пузове Мария Ивановна пробыла около трех месяцев.

Когда игумения Александра поселилась в Муроме, к ней приехала мать Дорофея.

– Зачем ты Марию Ивановну в мир отдала? Бери обратно, – сказала ей игумения.

Та поехала за ней.

– Мария Ивановна, поедешь со мной?

– Поеду.

Положили ее на возок, укрыли красным одеялом и привезли в Елизарово. Здесь она прожила до весны, а весной перевезли ее в Дивеево, сначала к глухонемым брату с сестрой, а в 1930 году на хутор возле села Починок, и наконец в Череватово, где она и скончалась 26 августа (8 сентября н. ст.) 1931 года.

Мученицы села Пузово

Житие и страдания преподобномученицы Евдокии (Шиковой) и послушниц ее Дарии (Тимолиной), Дарии (Сиушинской) и Марии

Материалом для жизнеописания послужила стенограмма рассказов послушницы Евдокии – Поли, записанных в первой половине двадцатых годов, то есть спустя несколько лет после кончины преподобномученицы. Запись была сделана Валентиной Долгановой, келейницей епископа Варнавы (Беляева), и по его благословению.

У Евдокии было пять послушниц. Три из них пострадали вместе с ней, Наташу за несколько дней до своей смерти она отослала домой; так сохранился до середины 60-х годов свидетель великой духовной высоты мученицы. Сама Наташа сожалела только об одном: что не сподобил ее Господь разделить мученическую кончину со своей старицей.

Пятая келейница, Пелагея, хотя и была во время ареста с Евдокией и видела все ее мучения и кончину, Богом была оставлена свидетельствовать о жизни и страданиях старицы.

Свидетельница подвигов Евдокии Поля и сама была большой подвижницей. О ней сохранилась такая запись Валентины Долгановой:

«До того как старица взяла ее к себе, Поля каждый день по окончании работы по монастырскому послушанию в Дивееве после шести вечера убегала за шестнадцать верст в село Пузово и молилась там вместе с Дуней всю ночь, а на рассвете спешила на монастырское послушание. Послушание она несла на водокачке. Так она прожила три года. Во время молитвы много клала земных поклонов, говоря: «Поклоны класть – это землю распахивать».

Евдокия много учила ее смирению и терпению при разных обстоятельствах. Однажды послала матушка-игумения Полю в деревню купить лука для посадки. Поля зашла к Дуне, и та оставила ее у себя и продержала две недели, пока пора посадки лука прошла. После этого всем послушницам в

монастыре дано было право Полю бранить и смирать, а она всем кланялась в ноги, молчала и терпела.

В другой раз игуменья послала ее с двумя старшими монахинями в Понетаевский монастырь отнести срочное письмо, при этом письмо велела нести Поле. Зашли опять к Дуне. Та ее не пускает, а монахини без нее не идут, потому что письмо у Поли и Дуня не разрешает его передать. Много и в этом случае пришлось потерпеть Поле. Много терпела Поля, пока Дуня не забрала ее из монастыря к себе, но и здесь жизнь ее не была легкой.

Родилась Дуня в пятидесятых годах XIX века в селе Пузово² от родителей-крестьян, Александра и Александры Шиковых. Мать умерла рано, когда Дуне было два года, и отец женился на другой; родная ее мать была очень благочестивая и отец тоже, но мачеха была другого духа. Она старалась уморить отца мышьяком, чего и добилась, когда увезла его в Сибирь; сама Дуня рассказывала, как она семи лет узнала, что мачеха хотела отравить отца, узнала и говорит отцу: «Не пей эту воду, смотри, она мутная».

В этом селе жили тетя и дядя Дунины, у них Дуня училась благочестию и у них жила свои отроческие годы. Дядя был церковным старостой; им недостаточно было молитвы в храме, и они много молились дома. Дуня очень ревновала по Богу и непрестанно пела. На девятом году она и ее подруга пошли в Саров, и там их старец стукнул головками, и с тех пор прожили они рядом друг с другом три года. Звали подругу Мария. Мария жнет, а Дуня на снопах сидит и поет, в церковь всегда вместе ходили, ручка с ручкой сцепятся и идут. Дуня ходила всегда в теплой шали и в зипуне, лицо никогда не показывала. От юности в Саров, Дивеево, Понетаевку ходили. Дуня рассказывала: пришли однажды они в Дивеево к Пелагее Ивановне, она кормила в ограде голубей. Дуня подошла к ограде. «Отойди, рваница, не пугай голубей», – говорят хожалки³, а Дуня плачет и не отходит, и был у нее в руках кусочек, она его тоже бросила голубям, а Пелагея Ивановна сказала: «Что вы от меня ее гоните, ведите ее и накормите».

Одни говорили о Дуне с Марией, что у них любовь от врага, другие говорили – от Бога. Если Мария мучается, Дунюшка от нее не отцепляется, всегда они ходили сцепкой; и Марию били родители, и Дуню ее родные били, их отгоняли друг от дружки, а они возьмутся за руки, ходят и поют. В церковь они с Марией тоже ходили сцепкой. Как Мария померла, Дуня стала ежедневно в церковь ходить, и хотя еще при Марии в них начали кидать камнями, а без нее стали больше. Ей в это время было около двадцати лет. А потом Дуня только к заказным обедням ходила, потому что в праздник ей не давали проходу. Была она слабая и больная, до того слабая, что стала ходить с батогом, но печку сама топила (в это время тетя ее померла). Сядет она на стульчик, силы у нее нет, и печку топит. Потом она вовсе ослабела, и к ней стали две девушки ходить.

Когда Дуне было за двадцать лет, она сильно заболела. Дело было на святках. Дуня кричала: «Умру, у меня жар». Девушки ее вынесли во двор и вылили на нее два ведра холодной воды. Потом она им говорит: «Несите меня в келию». И положили ее на лавке, и после этого она уже не вставала.

Постель ее была такая: руные да два голика⁴, которые прислал о. Иоанн Ардатовский, на голиках постланы две суконки, которые на ногах носят, и больше ничего. В головах два зипуна худых положено, а одета она была тулупом; на ней был надет зипун, только не в рукава, а накинут на плечи, вроде накидки, а другим накрыта голова. При людях она закрывала им лицо. Когда тулуп истлел, она положила его на постель, никому не отдала (тогда она была одета таким же зипуном, третьим); и так зиму и лето. Ничем другим она не позволяла себя одеть. Как истлевала одежда, она ее клала на постель, и так три одежды были у нее до самой смерти. Ситцевого она ничего не носила от юности, рубашка была тканая, когда истлеет, она ее на постель клала, сарафан тоже, как истлеет. Пояса носила всю жизнь одинаковые: шерстяные голубые с беленькой серединой, и если не дать такой пояс, она совсем не подпояшется. Шаль тоже у нее была шерстяная. И все на ней было шерстяное, кроме ручного платка, тот был ситцевый. Хожалки унесут истлевшее с постели, закинут куда-нибудь, она начнет плакать, и сутки, двое

плачет: «Давай мне рубаху». Волосы от юности не давала никому резать, и ногтей на ногах и на руках никогда не обрезала, и вот нечаянно их у нее заденут неловко, она скажется больной, плачет, а не дает срезать. Когда ноготь спадет, она его подберет и тоже положит себе на постель. С крестом то же. Ушко сломится, крест потеряется, она начнет плакать – и молиться без креста не хочет, и новый не берет: «Найдите мне этот крест». Только его найдут, привяжут, а на другое утро она его опять потеряет, а все это во время молитвенного правила. Четки у нее всегда были одни и те же, шерстяные. Потом льняные нитки стала держать в руках во время правила. На ногах носила длинные шерстяные чулки.

Отец Анатолий⁵ благословил к ней жить Дарью. Теперь их стало трое (дядя жив еще был). Тут стали ходить благочестивые девушки петь, и у них образовалось правило. Пели они стихиры, кондаки и акафисты. Ни в чем Дуня не могла получить утешения, как только в продолжительном пении и чтении. Читала она хорошо, но писать не умела. Читала больше жития святых, книги брали в церкви, но были у нее и свои. У Даши был хороший голос, как, впрочем, и у Дуни, и у дяди. Но Даша была неученая, Псалтирь читала на память, а книгу держала для виду, так же на память пела и стихиры. И вот Дуня стала плакать, что ей нужно хожалку ученую, о. Анатолий благословил ей Аннушку, она очень любила петь и читать и устав церковный хорошо знала. Ей было тогда двадцать три года, и жила она у Дуни восемнадцать лет. Пришла она к ней из веселой жизни. Заставит ее Дуня пол мыть, а она скажет: «Вели мне поплясать», – и Дуня дозволит, все от нее терпела. Она читала романы украдкой от Дуни. Даша увидела и Дуне сказала. Аннушка стала плакать: «Что же мне, Дуня, делать, мне скучно, я убегу...» И хотела бежать. Был вечер, а то бы убежала. А ночью видела себя во сне в Понетаевке, в церкви, и видела преподобного Серафима, как бы кормящего медведя. Она подошла к нему, поклонилась в ноги, и он ее благословил, дай ей сухарик и сказал: «Ах ты, бездельница! Вот я тебе дам дело, иди нянчи моих детей». И взял ее за руку и повел в келию. И там стоят две люльки, и в них лежат две маленькие девочки; и

он сказал: «Нянчи их», – а сам ушел. Она стала нянчить, а они стали плакать. Она хотела бежать; подошла к двери, и она была как стена: нельзя было выйти. Анна проснулась. И рассказала Дуне свой сон. А Дуня сказала, что эти девочки – она и Даша. Она уговорила Анну остаться и велела молиться Царице Небесной.

Однажды Анна пошла по воду. Была зима и мороз, а ведра худые. Из них все вытекало. Она стала плакать и браниться скверными словами: «Подавиться тебе, жадная, не починишь мне ведра». В эту ночь ей было видение. Видела она очень хороший сад. Листья такие большие, что нигде таких не видала, а цветы были белые, синие и красные, что тоже нигде не видала. В этом саду была церковь с золотыми главами. Над ними светило солнце, внизу была трава по пояс; и слышно было благоухание. Она хотела войти в этот сад, глядит, в траве змеи, а ноги были у нее босые. А ей хотелось войти. Хотела она ноги обуть, с тем и проснулась.

Однажды взяла Анна и унесла – думала, рыбу, а оказался чайник, завернутый в бумагу. Вернулась, а Дуня ей говорит: «Анна, дай мне рыбки-то». Та бух ей в ноги: «Дуня, прости!» Дуня ей говорит: «Больше не воруй».

А однажды она все деньги унесла. Дуня посылает: «Воротите Анну». Та опять просит прощения, но потом опять не удержалась. Прожила она так у Дуни семь лет, а после того ее родные сманили, и она ночью убежала. Выкрала у Дуни все (сказала про себя: «Тебе за это будет спасение») и на двух возах увезла. Мать ее очень обрадовалась: «Вот, доченька, будем с тобою жить». А она стала тосковать. Прожила год, стала просить отца с матерью отпустить к Дуне. А они: «Мы тебя не пустим». Она сказала: «Я уйду». И ночью убежала.

Подошла к Дуниной келии, дверь отворена, вошла Анна в келию, упала перед Дуниной постелью и стала плакать. На нее глядя, плакали Дуня и Даша.

Дуня ее простила, сказала: «Это тебя враг научил». А она в ответ: «Ты мне его посадила». Да тут же в келии упала, а Дуня заплакала только. Трое суток Анна кричала: «Предайте

смерти». Потом ей Дуня дала сухарей, и она исцелилась. И вновь стала исправно петь и читать.

Правило Дуни было таково. Неопустительно ежедневно пели стихиры образу Владимирской Царицы Небесной. Это было общее пение, вечером в восемь часов начинали, и продолжалась служба до двенадцати часов ночи. В это время ничего не читалось; пели, кроме стихир, тропари и кондаки святым и Царице Небесной. По вторникам справляли стихиры с акафистом Иверской Божией Матери. В этот день к Дуне приходило много народу. Утром начинали молиться с пяти часов, а иной раз по слабости – с шести утра. И молились до двенадцати часов дня. Дуня это время молилась в тишине. Никого к ней не пускали, а хожалки про себя молились. Читали в это время Псалтирь, Евангелие, каноны, акафисты и клали поклоны (Даша молилась, как Дуня). Утреннее правило она разделяла, и было минут по двадцать отдыха; если во время отдыха приходил кто с великой скорбью, она впускала, а во время правила никого не пускала. После правила ее обращали лицом к иконам, подкладывали под нее руны, сажали и зажигали все лампы, было их двенадцать. Тут она тихо молилась с полчаса. После этого они начинали петь и пели пятнадцать минут: пели Верую, Достойно, Отче наш, Заступницу, Яко неодолимую стену, Богородице Умиленю, Крест всей вселенной. Среди этого пения выносили из чулана просфоры и Дуне давали раздробленную просфору, а девушкам по целой. Перед тем как ее посадить, велит вымыть ей руки, а потом, как дадут ей просфору, заплачет и скажет: «Перекрести руки». Положат ей просфору, разрежут ее пополам. Одну половину опять в чулан унесут, а эту половину еще разрежут пополам, и половину она дает той, которая ей служила. Давали ей три просфоры: из Сарова, Понетаевки, Дивеева, так что у нее получалось три части. Потом ей в руки подавали просфоры, а в блюдечко наливали крещенской воды, она клала просфоры в блюдечко и ставила на стол, а когда клала, говорила: «Христос Воскресе!» – и тихо молилась. Потом, как она помолится, опять пели: Спаси Господи, От юности, святителю Николаю и Царице Небесной, пели недолго. Потом она ела

просфору и заливала крещенской водой и в блюдечке, немного оставляла той, которая за ней ходила, а девушки становились у порога и после нее ели свои просфоры. Тут лампы гасили, ее поворачивали опять и клали. Когда ее поворачивали, она все стены и углы ограждала крестным знамением со словами: «Огради, Господи, силою Честного и Животворящего Креста». Во время правила она вместе с четками держала всегда моток ниток льняных и, пройдя четки, делала на нитках петлю, потом опять молилась по четкам, потом еще делала петлю, и так до четырех петель, потом эти петли связывала узлом, вроде креста, и затыкала за пояс; это означало, что она молитву кончила, и ее можно сажать.

Если в то время, как она молилась и разрезали просфору, кто придет и стукнет чужой, дверь не открывали, а говорили, чтобы он не сходил с крыльца, стоял лицом к церкви и молился умом.

Утром, когда вставала, умывалась, а вода была одна и та же по неделе и больше. Вода стояла покрытая в печке, так что была всегда теплая. Той, что ей служила, она велит сперва умыться и помолиться, и руки оградить знамением креста и вокруг Дуни. Девушки все отойдут к двери, Даша вынет из печки чугуна, почерпнет чайной чашкой воды, затем нальет в нее святой воды, возьмет полотенце и его крестит, затем берет блюдо, из которого Дуня ела, над этим блюдом она и умывалась. На столе у Дуни стояла кружка с крещенской водой, а рядом глиняная посуда вроде горшка. Если в кружке оставалась еще вода, то она выливали ее в горшок, а в кружку сливали воду после умывания. Воду, оставшуюся в чашке, и воду из-под умывания дня через два-три выливали в такое место, где не ходили люди.

После окончания правила девушки уходили кто чай пить, кто куда, а кто воду носил, положит три поклона и по воду пойдет. Воду надо было качать колесом и непременно натошак, и было это очень тяжело, а Дуня при этом скажет: «Тверди Богородицу и иди, ни с кем не говори...» Сначала ходили по ночам, а в последнее время стали ходить и днем. Когда выкачаешь воду, нужно было оградить все крестным знамением

и ведро сполоснуть, и если кто застанет, никого не стыдиться и молча идти с водой обратно. Если случится, покойника несут, или о покойнике ударяют, или с топором или с косой кто встретится, падаль какая-нибудь, хоть до Дуниного крыльца донесут, а только в двери не войдут, воду надо было вылить на землю и идти за другой. И чтобы дорогой ни случилось, она велела ничего не скрывать. Принеся воды, надо было положить двенадцать поклонов Царице Небесной и спросить у Дуни благословения ставить самовар; его тоже оградить крестным знамением, сполоснуть, а то пить не станет, закрыть его, угли холодные положить в самовар, от свечи зажечь, и как пар пойдет, тогда можно самовар поднимать, и в это время она велела молчать тому, кто ставит. Поднимут самовар на стол, ладану в трубу положат, чайник заправят чаем и ставят на ладан, в это время ей отрезают хлеба. И вот много ей нарежут хлеба, целую стопу, ото всякого, и каждый кусок оградит знамением креста, и все эти куски она сложит в платок и положит на постель, а себе оставит один кусок ржаного хлеба и от него съест малую часть. За чаем сидела полтора часа, и чтобы кипел самовар, и пар шел, а выпивала чашку с небольшим за все время. Налиют чашку, скажет: «Холодна», потом нальют, скажет: «Горяча», – и так всегда. Хожалки начнут роптать, что долго, народ ропщет, долго не пускают. И только перед самым чаем она разрежала огурец и съедала кружочка два или гриб соленный, пирог раз откусит, когда Бог посылал.

Потом начинали печку топить. И та, которая печку топила, та за дровами не ходила. Картошку мыли во дворе холодной водой, какая бы погода ни была, хоть ледышки плавают, и обязательно в трех водах. Крупу мыть не велела руками, а ложечкой, и солить также из ложечки, а не руками. Вкушала она каждый день во все посты и во все дни. В скоромные дни на молоке кашу варили, а в постные дни на воде.

Дров наложат в печку, а двигать нельзя, потому что во всей печи не было ни одного целого кирпича, а одни осколки на поду, и не давала перекладывать печь – для подвига. Пока варят пищу, нельзя топить печь, не отворя дверь, а зимой дым шел, и трубу никогда не закрывали ни на ночь, ни на день. Говорит –

дух тяжелый, так она сама себя в холоде держала. Маленькую печь тоже топить было нельзя, а большую не давала замазывать: «Не выношу духа глины». Во время пения она глаза закроет, и когда много было народу, то начнут потихонечку замазывать, а она начнет плакать как малое дитя: «Зачем во время пения озоруете?» – «Зачем ты, Дуня, не даешь замазывать?» – говорили ей после девушки. А она не дает, а народу жалуется: «Они не замазывают мне печку». Хожалок никого не подпускала к печке греться, хоть умирай, не подпустит. Скажет только: «А как святые терпели? Вы здоровые не можете терпеть, как же я больная терплю?» За семь лет до смерти сажали ее к печке греться, но хожалки ее чуть не уронили, и с тех пор не стала греться. За три года до смерти одни чулки ее грели. В свободное время или во время пения не давала греть, а когда хожалки ложились спать, она одну из них поднимала и заставляла греть, та клала чулки на спину и, стоя, прислонялась спиной к печке. В это время Дуня заставляла молитву читать; две молитвы хожалка прочитает и грохнется на пол – уснет, а она закричит: «Она меня колотит!» Всех поднимет на ноги и всем жалуется: «Мои хожалки озоруют, не погреют меня».

Так одну ночь чулки заставляла греть, а другую заставляла вшей бить, даст свечку и бей. Когда вшей бьют, читают Богородицу, и только кончат, Дуня кричит: «Не всех убила, ногу вошь кусает». А во время молитвы никогда ни на что не жаловалась, только во время сна.

Те куски, которые она завязывала и клала на постель, после шести недель клала себе на спину, на них спала, на сухарях, в холоде и во вшах. Когда рубашка была худая, хлеб впивался в тело. Потом из хлеба вырастали целые вороха на постели. Там он зеленел, завелись под конец мыши и черви, в этом во всем она и лежала.

Она носила вериги, которые у нее были поясом, и никому не разрешала касаться этого места. Рубаху Дуня не меняла, пока та не истлеет, меняла раз в год и тогда всех, кроме двух девушек, высылала. Руки мыла с мылом по локоть раз в год, затем обливала их в тазу со святой водой; ноги мыла до колен

– тоже обольет, но простой водой, а тело никогда не мыла. Когда ее мыли. то послушница держала ее, Дуня голову прислонит, а сама держит свечу зажженную.

Голову мыли теплым, разогретым в печке елеем, мыли раз в год, и волосы были свалены, как шапка; иногда без народа она снимала шаль и чесала руками голову, вшей нельзя было исцель, тьма; их не били, а прямо в тряпку собирали. Через два дня после мытья она меняла рубашку и грязную, вшивую опять клала на постель.

Печь топили часов в семь-восемь вечера, и с восьми же часов стихиры пели, часа в два-три ночи она обедала. Обедала Дуня одна, чужих никого не пускала, хожалки все стояли, а сидеть не на чем было. Подавали ей в блюде, ложку хожалка поддерживала, а когда наливала, она кричит: «Мне больше наливай». И вот раза два хлебнет и скажет: «Я устала, отдохну», – и пока отдыхает, вроде как бы заснет, щи остынут, а потом она просит горячих, а их нет, и она плачет, и так щи остаются; Поля доедала их совсем холодными. А когда второе накладывали, то Дуня опять кричит: «Дай мне каши, да с пенками, клади больше». И тоже все остывало. «Остудила», – кричит, плачет, с тем и уснет. Яиц всегда велела сажать по пятку; скажет: «Давай мне три на стол, а два оставь на шестке». Потом опять говорит: «Отдохну». Как только хожалки уснут, она опять велит яйца убрать на шесток, а разбивать яйца в келии она не давала, потому что они пахли, давала хожалкам, которые с ней жили. Сама ела только два яйца в год. Об этом знали только две хожалки.

Особой пищи она не употребляла и редко ела картошку с разварки. В последний год печку почти не топили. Щи варили летом у Карасевых, зимой – дома, в печи ничего не пекли, ни хлеба – ничего, и сухарей не сушили, пекли только яйца. Рыбу ела редко. Мяса от юности не ела. А приносили всего: и сдобных лепешек, и вкусного, и сладкого. Все, что приносили, она делила на две половины и давала хожалкам половину (их было четыре) и говорила: «Вот, не гневайтесь, что я вам не даю». Они воевали, что их, здоровых, четыре, и им мало, и полученное тут же съедали, а другую половину Дуня в чулок

клала, скажет: «Завтра», да так и оставит. Хлеб она потребляла от одних людей, там женщина пекла с молитвой. Принесет в чистом, и когда принесет, пели «От святых иконы Твоя». Тараканов было множество; хлеб отрежут, закроют, а они все изъедят, да заветрится; отрезала первый кусок Поле, потом Даше и третий – всегда черствый и маленький кусочек – себе, остатки, корки отдавала младшей хожалке. И назавтра ели сухари натошак. Она говорила, кто ест мягкий хлеб, тот не постник, но если постишься да дорвешься до мягкого хлеба, это плохо. Всякий кусок Дуня крестила и говорила: «Христос Воскресе!»

Если молитвенного правила не кончит, то три дня пролежит без пищи. После еды читали молитвы на сон грядущим и Псалтирь. Когда все лягут, Дуня просит младшую хожалку принести две копеечные свечи, и как только все заснут, она их оградит знамением креста, потом подадут ей свечу в руки, и она ее зажжет. Поля греет в это время чулки, а Дуня не спит, шарит у себя, ищет за поясом нитки или еще что-нибудь, и как догорят свечи – всех поднимает, а Полю кладет. В последний год она стала будить, как только одна сгорала свеча, а раньше больше давала покоя.

Поля уснет и дверь ногами невзначай откроет, Дуня и закричит: «Караул!» – все встанут, а дверь открыта – зимой, и она всем начинает на Полю жаловаться, плакать и говорить: «Вот монашки что делают, зимой отворяют двери, нарочно меня хотят заморозить». А у нее и без того холод был такой, что в чайнике и в лохани замерзала вода. Все спали на полу измученные, не слыша ничего. Келия была дырявая, предлагали ей ставить новую, но она не захотела.

Двор она решила сделать, Полю посылала. Поля говорила: «Сперва надо сделать келию». А она говорит: «Нет, двор». Послала ее отмерить место на сажень от старого двора, его она ломать не велела, а разбирать, чтобы стука от полома не было. Стали строить. А давала она строить не всем, а кто табак не курит. Также и об ограде на могиле говорила: «Поля, дай ограду строить тем, кто не курит». Довела стройку до холодов. А эти люди, муж и жена, какие строили, были самые бедные и

строили ей бесплатно. И бревна возили бесплатно. Даже хлеб с мякиной они ели в это время. Потом она их позвала к себе. «Вы здесь,-говорит, – хотите получить награду или в будущем?» Они не захотели плату взять, помолились и взяли у нее благословение. Врыли столбы и забрали стены. Она посылает Полю: «Поди посмотри, не косо ли поставили». Та сказала: «Немного косоватый будет». Дуня до того плакала, невозможно, и спрашивает: «Нельзя ли его опять разломать и исправить?» Даша пожалела этих людей и стала уговаривать. А она Даше говорит: «Ты не вникай, это дело не твое, пусть Поля сама, как хочет, с ними». Поля сказала: «Никак, Дуня, нельзя, надо рядом врывать другой столб». Она и велела: «Ставьте другой столб», А он был ни к чему: только чтобы не было косо. И когда они кончили – строили они шесть недель – их призвала в келию и говорит: «Вот вы мне здесь выстроили, а вам в будущем Господь выстроит». Дала им по кружке воды и по куску ржаного хлеба. В том же году муж и жена оба умерли. «Еще бы кто нашелся, кто бы мне келию выстроил, – говорила. Полому чтобы не было и стуку я не слыхала, а келию бы мне выстроили. Если я стук-то услышу, я не вынесу», – так без келии она и осталась.

Денег от юности в руки не брала. Письма кто присылал, она мало читала, которым отвечала, а которым нет. Сроду ни с кем она не целовалась и руку никому свою не давала целовать; своим хожалкам всем запрещала давать руку при здравии и не велела с мужчинами оставаться наедине.

В Саров пускала один раз в год, а Даша двадцать лет никуда не выходила. Во время воскресной обедни Дуня запрещала печку топить и к святыне приступала строго, а последнее время не давала уж и полы мыть, потому что полы она считала большой грязью, и белье не давала стирать в пятницу и среду, а только во вторник и в четверг, и при этой работе не давала со своего стола просфору, не давала дома обедать и лампаду поправлять, но в церковь пускала; после полов она велела мылом руки мыть, съесть кусок хлеба и взять книгу в руки – Псалтирь или молитвенник. Только через двое суток она разрешала прикладываться к иконам, также и после

бани: ходи дома немытая, до всего допустит, а после бани – нет. Если обуются в лапти или в валенки или еще во что-нибудь, весь месяц в этой обуви ходить надо, хоть сыро, хоть жарко, разуться нельзя, а то не будет пить и есть и плакать будет. Если тихонько разуются, она все равно узнает, ругаться не будет, а будет сильно плакать. У них до того ноги отекут, что невозможно, весь день на ногах, без отдыха и без сна; ноги сырые, а греться не пустит, а иначе закричит дуром; также весь месяц не давала сменять белье и платок, а при народе обличала: она монашка, а грязная.

Кто ей служил, тем не давала брать в руки ни ножа, ни топора, ни веника, а то ей была великая скорбь! И ничего не давала делать, кроме молитвы; не давала ходить за собой при женской немощи, брала другую. Если обе сразу, то она и не разговлялась.

Мало кто ее подвиг понимал. Она плачет, жалуется на хожалок, а сама так велит. И тут же плачет и улыбнется. Поле она сказала: «Если я тебя при людях буду ругать, ты не смущайся». «Они меня не моют и рубахи мне не дают», – и заливается при этом слезами.

Чтобы подвига ее не знали, она говорила: «Ныне нет отрадного дня», – и сама не ела, и никому не давала. А тут по покойнику в колокол ударят (село-то большое) – нельзя уже есть, или еще что случится, все это были поводы, чтобы не есть. Покойника пронесут, хожалки просят, она: «Завтра поедем»; скажет: «Молитесь, чтобы завтра отрадный был день». Так и отведет день ото дня, потом и забудется, а хожалкам не дает, говорит: «Больному принесли, я сама съем». Когда покойника несут, она лежит недвижимо, и если ест в это время, то бросит, и если правило, молиться больше не станет, лежит и всем велит молчать. Поля ее спросила: «Дуня, почему ты так к покойникам относишься?» – «Глас Господень – когда в колокол бьют – объяснил, чтобы молились за рабов». И скажет: «Такой же брат, такая же сестра, мы все одной крови. Вспомни, что их встретит. Умру, и ты молись за меня». И до тех пор лежит недвижимо, пока его не схоронят, и никого в келию в это время не пустит. Она говорила, что не только за того, кто милостыню

приносил, нужно молиться, но за всех, о ком узнаешь. Она очень боялась загробной жизни, как ни один старец не боялся. Поля раз говорит: «Дунюшка, хорошо, чтобы ты померла». А она заплакала и говорит: «Я лучше здесь на ножах буду лежать». Спросит: «Поля, я умру, будешь за меня молиться?» Она ответит: «Буду», – «Ну скажи тогда, как ты за меня будешь молиться?» – «Ежедневно буду за тебя молиться 150»⁶. Она говорит: «А за это отрада будет?» – «Да». Она утешится и успокоится.

Одна женщина удавила ребенка на первый день Пасхи и к ней пришла, а Дуня это провидела. Как она вошла в келию, Дуня сразу закрылась с головой. Женщина принесла каравай белого хлеба и два пуда пшеничной муки. Семь человек их было, и никому из них Дуня не дала брать его в руки, чужих покормила и чужим отдала этот каравай, а муку в сенях поставили; так на нее и лил дождь. А женщина ей не созналась, Дуня ее не обличила при всех, а Полю послала спросить, она сказала несчастной: «Ты не отчаивайся, ведь и разбойника Господь спас, ты кайся». Женщина заплакала и говорит: «Если узнают, что я родила, то я удавлюсь». Дуня Полю призвала: «Ступай, посылай ее в Глухово». Только та уехала, Дуня Полю послала догонять и велела сказать о. Николаю, чтобы он ей дал молитву и поисповедовал и чтобы помолился о ней. Свекровь убийцы дала Поле кусок белого хлеба. Пришла она вечером, а Дуня плачет, говорит: «Поля, у тебя в кармане зараза лежит», – и велела вынести хлеб чужим людям, и карман чтобы чужие вымыли. Вытащили этот хлеб, помолились, сходили за водой, и только тут она стала разговляться.

Загорелось у благодетелей в доме, и она Полю послала: «Сбегай, Полинька, а то Карасева сгорит». А дом-то был заперт, и никого не было. Та влезла в окошко, залила огонь, приходит, хожалки Дуне говорят: «Как ты теперь будешь из ее рук есть, когда она пожар заливала?» А Дуня послала ее по воду и ела. А бывало, если кто из них в руки головешку возьмет, она ни за что не станет есть.

А то был еще случай такой. Неподалеку от Дуни в одном доме затлелось, три дня тлело, а все было заперто. Когда

зашли в этот дом, то увидели, что лежит обгорелая старуха возле самовара, и как стали ее брать, у нее рука отвалилась. Вытащили ее на луг, и вдруг видит Даша – поросенок бежит, она говорит: «Дунюшка, смотри, как поросенок-то бежит». Дуня глянула, но увидела не поросенка, она взвизгнула, ее заколотило, и окна, и двери, все велела запереть крепче, и никого не пускала, и потом так плакала, прямо невозможно, и велела перекрестить все кругом, и окна и двери, и лежала, не пила, не ела целые сутки, и занавесили все окна, потому что старуху несли хоронить мимо Дуни (около этого дома Дуню потом били). И где лежала старуха, она этим местом не давала проносить милостыню, а если кто проносил, то она сама не брала и жаламкам не давала.

А одного старика Дуня велела ради Бога посещать – он жил в нищете, весь в червях был. И когда умер и его так же несли мимо Дуни, то она велела открыть все двери и окна и сама пела и молилась.

А тут, если и родственники умирали, она жаламок не пускала. Сама ничего с таких поминок не пила и не ела и им не давала, а от других и чужих давала. Когда кого расстреляют, да из этой семьи придут, то она не пускала их до сорока дней и говорила: «Ну, они руками хватают везде». Видно, боялась, как ее будут расстреливать. «Какой бы позорной смерти ни предали их, а все-таки их хоронят, а меня не станут хоронить и в колокола звонить не будут. Господи, Господи, какие люди счастливые, помрут – звонят, а меня, как скотину, в яму свалят. Но этих людей, – говорила она, – кои меня расстреливать будут, тоже расстреляют» (что и сбылось). Верующим наказывала: «Бегите на скит за можжевельником и бросайте под ноги, как меня понесут». А они ей отвечали: «Мы не только это, Дуня, мы сколько священников призовем тогда». А она отвечала: «Все разбежитесь от меня. На могилку мою почаще ходите, вы будете плакать и рыдать на моей могилке, я буду все слышать, но отвечать не могу». Поле говорила: «Я умру, ты принимай схиму, я умру, а ты останешься, а если не примешь, то Богом будешь наказана». Поля ответила: «Я, Дуня, неученая». «Кто у меня

живет, все будут ученые. Старайся обо мне молиться, и я там тебя не забуду. Иди в монастырь».

Незадолго до смерти, когда ее мыли, она говорит: «Давайте мне рубашку, кою я на смерть приготовила, уж зима, холодно, она потолще, в ней будет потеплее». А когда ей голову расчесывали, сказала: «Ты меня последний раз держишь». Еще она говорила: «Я до осени доживу, новую жизнь поведу, а вы всякий сам себе хлеб приготовляйте, я больше вам готовить не стану, тогда вам всем легко будет жить, а ты принесешь мне из Бабина». (Везде не давали молиться за нее до сорока дней, а в Бабине священник все время молился. И на дому у Дуни служил панихиды. Этого священника она исцелила: он очень сильно заболел горлом. Поля в то время была в Гавриловке и торопилась к службе. Пришла к сестре и спрашивает: «Обедня будет?» А сестра отвечает: «Батюшка сильно хворает, скоро умрет, доктора сказали». И вдруг пошел звон к утрени, и батюшка идет ни в чем невредимый. В церкви к Поле батюшка подошел и рассказал, как он от Дуни получил исцеление. Входит к нему сначала апостол Фома, потом преподобный Серафим, старец Никодим и с ними Дуня: «Я ее лик не видел, но она вошла с ними, взяла за горло и сказала: “Вставай, здрав будешь, иди служи обедню, жалко, ты у меня у живой не был”. Лица всех видел, а ее не видел, слышал только голос». Святые ему сказали, что с ними Дуня.)

Однажды о. Софроний (он сам иконы писал) в день Ангела прислал ей икону Спасителя в терновом венце. Дуня как увидела, так и заплакала: «Архимандрит, – говорит, – а дурак, больному в день Ангела какую икону прислал, надо утешительную, а он скорбную». И послала ее обратно. А он сказал: «Ну вот, какое-то у нее является суеверие, она бы какую икону мне ни написала, я бы за благодать принял». Потом пишет в письме: «Помолись, Дуня, за меня, если я до Пасхи доживу, обедню отслужу, то тебе хожалку пришлю, а до Успения доживу, то Царицу Небесную пришлю».

Самая первая хожалка батюшки Софрония – Александра Михайловна, о ней и писал о. Софроний Дуне, когда обещал прислать хожалку. Она тридцать лет к нему ходила и за

тридцать верст ему хлеб носила, и вот начал батюшка ее гнать: «Уйди от меня, выгоните ее, она – воровка, она у нас все растащит». Она плачет: «Ваше преподобие, что вы со мной делаете», – а он знай гонит. Дуня и прислала за ней, взять ее погостить.

Привезли ее совсем больную, она кричит: «Дуня, помираю от холоду и голоду», а Дуня говорит ей: «Терпи». Так она пробыла у Дуни весь Пост и выздоровела. А когда пришла к о. Софронию, он велел ей готовиться к исповеди: «Я, говорит, тебе последнюю обедню отслужу». И другие хожалки стали готовиться, но он их никого не причастил, а только ее, она на Пасху причастилась и две недели спустя умерла. Дуня, как узнала о смерти Александры Михайловны, очень плакала и сказала: «Отпало у меня правое крылышко».

У Александры Михайловны в ногах были черви, и она в баню не ходила. А получила она эту болезнь так. Она пришла к о. Софронию, а он говорит: «Ты любишь меня?» Она говорит: «Люблю, батюшка». «Ты чего хочешь – вечного или земного?» Она говорит: «Вечного», – «Хочешь страдать, как я, мою скорбь получить?» Она говорит: «Хочу». И стали у нее на ногах пробиваться раны, и завелись в них черви. Ноги у нее болели пятнадцать лет. Никому она этого не говорила, только Дуне показала, потому что Дуня это провидела и сама спросила: «Сознавайся, какую скорбь ты несешь; Поли не бойся, она со мной вместе и никому при твоей жизни не скажет».

Александра Михайловна раньше Дуню не знала совсем. Когда о. Софроний скрылся в леса, никому не сказал, Александра Михайловна очень плакала о нем, ходила и искала его. По лесу однажды идет, и догоняет ее старец и спрашивает: «Кого ты ищешь?» Она говорит: «Старца, который всегда утешал меня, он скрылся». Старец сказал: «Запоет петух, иди на голос, и он тебя встретит, а еще в Пузе есть больная девица, тоже посещай ее каждый месяц, как и батюшку».

Услыхала она петуха и пошла, видит, стоит о. Софроний прямо против келии. И он посылал Дуне с Александрой Михайловной все, что только ей понадобится, а Дуня – батюшке. Однажды о. Софроний прислал Дуне большой образ

Царицы Небесной Иверской и всегда присылал масла. И вот у его хожалки Веры так заболели пальцы, что думали, они у нее отвалятся, И он ее послал к Дуне: «Поезжай, Верочка, к Дуне, от Царицы Небесной ты исцелишься». И Вера получила исцеление.

Когда Поля в первый раз пришла к о. Софронию, он прямо сказал: «Счастливица та, которая благословила тебя в монастырь» (благословила Дуня). И дальше все время говорил о Дуне, какая она подвижница и светильница, от земли до неба столп, и что надо слушать ее и подражать ей.

После Поля стала ходить к нему. Пришла один раз, а он: «Что она к тебе привязалась, вшивая девчонка к монастырскому человеку, какая же в ней может быть благодать, никаких у нее уставов нет, заведут они и целый день и ночь только поют, грязь у ней, холод, вши, разве только в этом спасение, в холоде и грязи, и тараканы у ней. В пятницу рыбу она потребляет, в утреню ест, в обедню спит. Вон у меня девушки поклоны кладут, акафисты читают по монастырскому уставу, а она и сама мучается, и хожалок мучает, и всех, кто к ней ходит, мучает». Три раза он говорил одно и то же, что она беспокоит монастырского человека, отрывает ее от послушания. В третий раз он начал говорить: «К тебе Дунюшкина вошь пристанет, как ты придешь в монастырь, тебя выгонят из монастыря-то, скажут: вшивая». Она отвечает: «Я нарочно бросала, да они не пристаю́т». Он вдруг ей показал пальцем на правую руку, вот Дунина-то вошь, она стала ее искать, а он начал смеяться, как малое дитя, и потом сказал: «Кто больных любит, великая благодать». Взял ее за голову и говорит: «Я сейчас тебя благословляю к Дуне жить, служи ей как матушке-игумении, не преступай ни одной заповеди ее, свою волю не твори, а послушание все исполняй, что она тебе скажет».

Милостыню всю Дуня крестила и пела «От святых иконы Твоя», и кондак, и величание. Раз принесли милостыню в Вербное воскресенье, к Пасхе творог, и внесли в сени; кошки раскрыли и поели его, и все четыре сразу околели: в нем был намешан мышьяк. А один раз окна в первый день Пасхи выбили, и Дуня лежала в стеклах и в крови и не велела

убирать, пока не кончит правила. Окончила молитву, тогда дала убрать, а выбил окна муж одной женщины по злобе, что она ходит к Дуне.

На Дуню и до революции гонение было и всякие досады. Однажды приехали урядники, созоровать над нею хотели, покружились около келии, а к ней подойти не смогли и уехали.

Напротив Дуниной келии жили неприятели Дуни. Бывало, дьякон убьет собаку и бросит к ней во двор, а ей это скорбь большая. Она сутки плакала, не переставая, после этого. Вскоре его перевели из Пузово в другое место. Другие враги объявились. Камнями пуляли в народ, что около келии стоял, и все это место впоследствии выгорело, и скорбь этим людям была невыносимая.

Все соблазны проходили через Дуню. Позвала она к себе Марию Кошелевскую, а она жила дурной жизнью, Дуня ее спасала от блуда. Бывало, Дуня ее очень строго держала. Той терпения нет, начнет ругать Дуню, поругает и упадет, прощения просит и кричит: «Меня Бог не простит». Она все время боролась со страстью, а не могла, чтобы ее не удовлетворить. Была она известна всем и не стеснялась, при всех говорила о своей жизни. До Дуни она детей морила. Началось ее падение с того, что ушла она от мужа к священнику, а потом пошла и по всем. Дуня ее непрестанно уговаривала и называла ее по-всякому и плохим словом, даже и при народе. Иногда Мария говорила: «Уйду, удавлюсь вон у вас на дворе», – тогда Дуня нагнала ее по-всякому ублажать и уговаривать. Сама срамит Дуню, думает что-нибудь срамное: враг налетит – ничто ее удержать не может, а потом плачет и начнет говорить: «Ты через меня, Дуня, погибнешь, пусти меня лучше в мир, уйду и погибну одна». А Дуня ее так и не пустила.

Милостыню в худой посуде или в худом полотне она не принимала, и ей тогда была скорбь, она говорила: «Это Господа прогневлиют». Она говорила, что грешный человек недостойн принять милостыню от праведного и наоборот, сама-то она принимала, но учила так.

Она ела молоко от одних и тех же людей. Раз у Даши это молоко пролили, и она заменила его другим, думая, что Дуня не

узнает, а Дуня как попила, так у нее кровь из горла пошла, она и говорит ей: «Зачем ты меня искушаешь, зачем подменила мне молоко?»

От некоторых Дуня ни под каким видом ничего не брала. Хожалки ее убеждали, потому что очень просят и плачут. Тогда она им сказала: «Один послушник убеждал старца взять гречневую крупу, а старец не взял, а велел послушнику – возьми и свари из нее кашу. За трапезой старец спросил этой каши, послушник пошел, а в горшке каши нет, а он полон червей, тогда старец сказал: «Больше меня никогда не убеждай, что мне принять, а что не принять». Так и вы меня не убеждайте».

Одна из хожалок (Наташа) унесла у нее мед и заболела, лишилась голоса и не только петь не могла, но и говорила с трудом. Дуня ей говорит: «Открой, Наташа, ты чего-нибудь у меня тайком съела, я не верю, что ты простыла, ты заразу съела». Наташа созналась, прощения попросила – и тут же голос явился, и стала она петь.

Одна женщина, Варвара, торговала вином (а Дуня ругала тех, кто вином торгует), и вот вдруг у нее что-то случилось с ребенком. Она слышала, что в Пузово отчитывают, и говорит: «Пойду у Дунюшки спрошу, как мне с ним быть». Она сначала пошла в Котельму к Алексеюшке – это тоже старец был. Он сказал: «Наказано это дитя за родителей». Варвара обратилась к Дуне. Тут Дуня ее и обличила, что она вином торгует: «Не торгуй вином, тогда дитя здорово будет». Еще обличила, что она шьет в праздники.

Это дитя звали Анной. Не давали ей есть по два дня – она и не просила, только все молилась: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Эта девочка никогда не садилась за стол без молитвы. Однажды она сказала: «Меня приобщите и ведите в Пузу к Дуне». Как только на пузинскую землю перешли, Анна и говорит: «Мама, мама, вот и Дуня нас встречает». А мать говорит: «Нет». А она говорит: «Вот, вот, мама». Когда вошли к Дуне в келию, она спросила мать: «Мама, что их, две, Дуни-то?» А Дуня спросила: «Ты за меня, Нюра, молишься?» Она ответила: «Молюсь». Дуня дала ей просфору. А Варвара после того изменила свою жизнь и стала ходить к Дуне, и служила ей

восемь лет. Дуня ей говорила: «Сейчас перетерпишь, потом будет жизнь хорошая». У нее еще был сын Михаил, он очень любил Дуню. Сел он один раз у реки и просит: «Господи, дай мне поймать рыбку руками, я бы ее тут же снес Дуне». И вдруг мелькнула большая рыба, он ее схватил, посадил в крынку и живую принес Дуне. Незадолго до смерти Дуни мать не взяла его с собой, и он все плакал, что не посмотрел последний раз на Дуню. И вот однажды убирали дом к Михайлову дню, а Миша спал на лавке. И видит, входит к нему Дуня, на груди у нее золотые кресты, и одета она как схимница, и на голове у нее корона, и говорит ему: «Ну вот, теперь увидел меня...»

Глуховский Петр Павлович ходил к Дуне ночью петь стихиры, и вот, как кончили, он Дуне говорит, что боится идти, а Дуня ему отвечает: «Тебе ангелы посветят». И как только он вышел, перед ним огненный шар покатился, и за ним он дошел до самого дома.

А одну девицу пузинскую, тоже после пения, Дуня убеждала остаться, а та просится; так ее и не убедила. Пошла – и под ноги ей со свистом покатились бревна; шум, грохот кругом; тогда она пришла к Дуне и плакала. Дуня говорит: «Вот, будешь послушание исполнять; горький плод, когда кто послушание не исполняет».

Однажды несли ей пищу, и кувшин с молоком разорвало. Пришли, Дуне сказали, а она ответила: «Это бес, потому что вы без молитвы наливали».

Шли как-то женщины из Бабина с хлебом. Их поймали, повели в Совет, отняли хлеб и начали Дуню ругать в Совете. В это время у Дуни из горла пошла кровь, и она сказала: «Где-то меня клянут». Когда Дуню убили, у этого человека; который ее ругал, сделалось что-то с ребенком. Ни в больницу, никуда его нельзя деть, бьется что есть силы. И видит жена его сон: над Дуниной келией висят два пузырька – один с маслом, другой со святой водой, и слышит она голос: «Иди и возьми, от этого исцелится твой сын».

Спустя немного времени пошла Варвара, сестра Поли, в Совет за разрешением молоть на мельнице и увидела, как этот мальчик страдает. А мать ее и спрашивает: «Не осталось ли у

вас после Дуни масла и воды?» Она ответила: «Есть». И как помазали его, он утих, и все недуги прошли, они его повезли в Рогожну в больницу, и там, как только он принял лекарство, опять началось беснование, а как его маслом помазали, он выздоровел, и больше лекарств ему не давали.

Дуня строго запрещала с женами разводиться. Еще она велела монахиням девство хранить, а если падет, то лучше до трех раз пасть, а не выходить замуж. Лучше покаяться и опять Богу служить.

Еще она запрещала продавать молоко. А велела подавать, и Господь возродит на загоне вдвое. Это она говорила всем, не только своим: хоть стакан, да подай. Поучала: «Когда жнешь, Богородицу читай, а когда пояс ткешь, читай Отче наш». Она очень строго велела мирским между ужимать: «Лучше твое пусть останется, а чужого не трогай. Тогда ты будешь целый год подавать чужую милостыню, что от других взял, а не свое». Не велела, кто торгует, обвешивать, а велела всегда поход пускать. А если торгуешь и похода не даешь, себе ужимаешь, то твою милостыню Господь не принимает, она идет за того человека. У кого нанимают жилище, то нельзя много брать, а по силам надо плату брать, а то ты будешь вор. Если дешево с обманом купишь чего; она тоже говорила: «Вор». Строго запрещала чужое утаивать у себя, от тех милостыню она не принимала. И вот тогда скажет: «Эти люди приходят меня испытывать», – и она их не пускала совсем. Хожалки говорят: «Хорошие это люди, Дуня». А она знай свое: «Не пущу». Они ее уговаривают: «Он плачет, просится, ты распутных пускаешь, а это хороший человек». Она укажет: «Это не ваше дело». Не пустит, а потом окажется, что этот человек хотел ее испытать. И странников иных не пускала, ответит им: «Я в больнице». А иным, велит сказать: «Она у нас спит, ждите до двух часов дня». Они не ждут и уходят. А иных примет и пошлет к благодетелям, чтобы напоили и накормили. Однажды приехал к ней на лошади с колокольчиками брат о. Виссариона Саровского – его прислала Паша Дивеевская, а Дуня его не приняла: «Скажите, что я в больнице». На другой год он опять приехал к Паше, а Паша говорит: «Ты поди пешком и обуи лапти, тогда она тебя

примет». И правда, она его приняла. Потом он ей очень поверил и много ей помогал.

Однажды принесла Поля Дуне платок с просфорами, платок этот был подарен ей матушкой-игуменией – большой, хороший, сорок копеек тогда стоил. Поля отдала в нем просфоры и ушла, а сестра ее Варвара осталась. Дуня испачкала весь платок в елее да и говорит: «Отдай ей». Та Поле принесла и говорит: «Дуня не велела тебе его стирать». Поля заплакала, ей жалко стало и думает: еще прозорливая, блаженная, а эдакий платок в сорок копеек, да еще подарок матушкин, так испортила. Пожалела, да и выстирала его, а с ним несколько носовых платков. И откуда только взялся вихрь, все платки унес, кроме Дуниного. На другой день пошла она к Дуне, а та и говорит: «Прозорливая, а испортила платок в сорок копеек».

Не велела она никому обращаться к врачам. Идите в монастырь, примите Святые Дары и воду святую пейте. Велела мазаться маслом и сама никогда не обращалась к врачам. И еще она за послушание не велела делать операцию. Она говорила: «Разве Бог не исцелит? Бог что раньше, что теперь, одинаково».

Нотное и быстрое пение она не любила. Говорила: «Что в книгах есть, все читайте и пойте, разве святые отцы писали здесь, чтобы слова-то оставлять?» Батюшка Софроний и Дуня не разрешали петь на клиросе мужчинам с девушками. Он говорил: «Сено с огнем не лежит, не принято Богом это богослужение» (пение их).

Как-то Даша стала о хлебе смущаться, что много его копится и он гниет, и хотела об этом открыть о. Анатолию, который ее благословил жить к Дуне. Подобрала подруг, чтобы тихонько ночью бежать в Саров. Села и сидит, уже утро, а она идти не может, ноги отнялись. Дуня просит: «Умой Меня», – она ни с места. Она ее толкает, а та не встает и ничего не говорит, а потом сказала, что у нее ноги отнялись. Дуня говорит: «Что-нибудь плохо помыслила». Та ей созналась, и Дуня ее простила и сказала: «За это тебя наказал Господь», – и она исцелилась, как помазалась елеем от преподобного Серафима.

Хлеба Дуня хожалкам не давала, раньше раздавала, а в последний год до смерти велела тайно от них наверх убирать, когда сорок, когда тридцать караваев поднимут наверх, и до трехсот караваев дошло, и он лежал все время невредимый. Даша за месяц до смерти слазила туда, увидала, напугалась и сказала, что их за это расстреляют, и с тех пор он зацвел и сделался как пыль. Такое волнение поднялось в хожалках, и Дуня все говорила на Полю: «Я не знала ведь, что у нас там хлеб, вы не смущайтесь, вы все будете в раю, ваши добродетели не пропадут, а она будет в аду». Поля сказала: «Зачем меня старцы благословили к тебе погибать». Она ответила: «Замолчи, я буду в аду и ты в аду».

Сахар у Дуни был и все было, но хожалкам она с сахаром пить не давала. Иногда она от тошноты ела лимон, орехи или огурцы и грибы. Раз в месяц, не больше; разгрызть орехи сама не могла, грызла ей Даша.

Однажды Даша призвала матушку-схимницу, и хожалки стали ей открывать, что они смущаются, что у Дуни неправильные подвиги. Дуня это провидела и велела Поле натаскать горшков с червями. Все вошли в избу, а схимница вышла в сени, увидела все эти горшки и начала проверять. Дуня опять позвала ее к себе, а хожалки не объяснили Дуне, зачем здесь схимница и зачем она выходила во двор. Дуня ей сказала: «Матушка, ко мне все приезжают проверять, все узелки проверят, придет время – ничего не останется, а мне за это достанется. Это потащат не узелки, а кровь мою, где что лежит, это все кровь моя. Умные будут плакать, а кои не в Боге, будут радоваться. Давайте меня вымойте, только другим хожалкам ничего не говорите».

После правила она Полю послала за водой, мыть ее. Пошла Поля, стала качать воду, и подошли к ней солдаты с ружьями и стали к ней приставать и смеяться. Она принесла воду и сказала, что солдаты с ружьями вокруг нее стояли. Дуня заплакала, велела вылить воду и отложила мытье до другого дня. На другое утро идет Поля с водой, а ей дорогу перешла женщина с веником, она Дуне сказала об этом, и та опять велела ей вылить воду. До третьего утра оставила. Третье утро

опять пошла за водой, идет мужик с косой, она опять велела вылить воду. В четвертый раз мужчина шел с топором, на пятый попалась женщина со скребком, на шестой день пожар – старуха сгорела, на седьмой – покойник, на восьмой несли навстречу покойника, на девятый день она плакала, ругала Полю с Дашей, говорила, что не хотят они призреть больного человека, и наложила на них по сто поклонов Иисусу и Царице Небесной. Еще она наказала, чтобы натошак хожалки прочитали после правила акафист Знамению Царицы Небесной. Они ослушались, потому что поднялась буря, гром и молния, и расщепило дерево, и пошли они шесть человек рубить это дерево на дрова. Дуня послала Дашу: «Поди, что они не идут Заступницу петь», а они все ушли, не слушаясь ее. Тогда она двое суток их не пускала в келию, они били в двери, колотили, а она все-таки их не пускала. «Это, – говорит, – дерево не пройдет, это они не дерево спилили, а человеческую жизнь, прискорбно душе моей, горе непослушание». На десятый день за водой не пришлось идти из-за всего этого. Потом она опять их начала ругать: «Прибавьте еще молитвы, это вы не усердно просите Владычицу». На одиннадцатый день пошла Поля по воду, принесла ее в келию благополучно, затопила печку, призвала Дашу помочь ставить воду, а Даша все дрова и залила. Тогда Дуня заплакала, как малое дитя: «Какие козни враг на меня наводит, если завтра вы не попросите Владычицу, то я останусь немытая», – и велела еще прибавить молитвы. На двенадцатый день принесли благополучно и вымыли ей руки и ноги.

Через два дня стали ей рубаху менять, народ она весь выслала, чужих на улицу, а своих во двор; остались Поля и Даша. Дуня говорит: «Поля, подай мне рубаху», – та стала подавать, она и говорит: «Ты ее сперва на себя надень, а то я боюсь, что она меня задушит, ворот не пролезет». Поля ответила: «Я недостойна, Дунюшка, чтобы после меня ты надевала». «За послушание надевай». Она надела. Потом сказала: «Она свободна, можно». Дуня ее надела, а Поле подала рубаху, кою скинула. Через два дня хотели надеть на нее сарафан. Она говорит: «Вы мне не надеваете». А Даша и

говорит: «Ты сама не хочешь». Она очень плакала и осталась в худом сарафане, ни за что не хотела переодеть, так и расстреляли ее в худом сарафану

В Глухове были знакомые девушки, к ним ходил Илья, и они почитали его за прозорливого; приходят они к Дуне и говорят о нем. Такой-то и такой-то, во все ночи молится, постится (ему было в то время девятнадцать лет), поставил себе часовню на Ильинском колодце и там всю ночь молится. Потом просили они Дуню:пусти его, он боголюбивый. До трех раз они приходили просить Дуню пустить к себе. Он два раза приходил, она не пускала. На третий раз пустила. Лет за пятнадцать до Дуниной смерти он пришел к ней и стал петь у нее, голос у него был хороший, пел со слезами, усердно. И это время он жил хорошо, все пел, да молился и мало спал. Затем скопил денег и уехал на Афон и там принял схиму. На Афоне год или два жил и привез оттуда святыни всякой чуть не вагон, икон много, крест о. Софронию, который теперь стоит на его могиле. Вернувшись, он задумал ехать в Москву и пропадал там три года. На деньги, вырученные от продажи святыни, завел торговлю в трактире и стал торговать фруктами. Через три года опять приехал в Пузово и стал развратно жить, женился и выдавал жену за сестру, а ребенка за приемыша, хотя он очень походил на отца. Потом он стал пристращаться к вещам. Принес две суконные накидки и целый узел денег и положил Дуне в ноги, она кричит: «Убери», – а он не берет, потому что боится, чтобы там у него не унесли. И стал он ходить по свадьбам, петь песни, плясать. Дуня за ним пошлет, чтобы вытащить, а он послов бьет. Напьется, подойдет и начнет кричать: «Колдунья», – всяко станет называть ее. Но когда народ придет, то он ласковый, поет, молится, а что принесут, то утащит. Когда утреннее правило идет, он придет и начнет представлять что-нибудь, чтобы рассмешить девушек и Дуню отнять от молитвы, а не пустить тоже нельзя, он страдал, что донесет начальству, и Дуня всячески смирялась перед ним, а хожалки все верили, что он святой, да только блажит. Людям Дуня говорила, что его ей жаль и что он хорошей жизни, и только с Полей говорила про него как есть. Когда ее что станут спрашивать, она отвечала: «Я

ничего не знаю, вон Илюша скажет». И он говорил иногда правду, а иногда врал. Но говорил он не от Бога. Но Дуня от него много скрывала: «Уберите скорее, а то Илюша идет, нахватает тут руками, опоганит все». Когда его на военную службу брали, человек с топором дорогу перешел, она сказала: «Этот топор не пройдет». Взяли его на службу, он приехал на побывку, просрочил, вдруг принесли икону Царицы Небесной Достойно из Дивеева и стали петь, пропели, и всех Дуня проводила ко кресту в другую келию, где хожалки жили. Илья и дьячиха (старуха) пели, вошел милиционер и сказал: «Вы все арестованы». Потом стал Илью спрашивать, почему просрочил, и всех переписал, и хотел всех хожалок отправить по домам. Дуня Полю посылает: «Поди, проведай, что там делается». Она пошла будто за ведром, а сама – послушать.

Илью забрали в Глухово и посадили там в холодную. Милиционер пошел ужинать и Илью взял с собой; у милиционера не было к ужину соли, а его тошнило есть без соли. Илья это видит и говорит: «Отпусти меня, я десять фунтов соли тебе дам». «А ты обещаешь завтра к восьми утра прийти?» – «Обещаю». Тот его пустил.

Он прибежал к Дуне и стал плакать, говорит: «Я убегу». Дуня говорит: «Ты убежишь, а нас убьют тогда». Он выругал ее и всех матерно. «Пущай», – говорит.

Дуня замолчала. И он стал еще сильнее ее мучить. Поля говорит: «Пускай, Дуня, он убежит, что он тебя мучает, а Дашку, жену, пусть оставит, тогда с нее спрос будет».

Он убежал. Жену его посадили, а ребенка оставили. Тут она сказала, что приведет мужа, ушла к нему, и они все убежали и скрылись.

Милиционер пришел на Спас, все девушки были в церкви, стучит он, спрашивает: где Илья? Они говорят: «Нет его у нас». Он позвал понятых. Дуня кричит: «Не пускайте никого». Даша в сени вышла на крыльцо, а Поля – в воротах и говорит: «Нет его у нас».

Пока Даша говорила с ним, Поля молилась Покрову Пресвятой Богородицы покрыть их Своим честным омофором, потом она подходила и говорила с ним, а Даша в это время

молилась. «Нет у нас его, если перелезешь, да найдешь его у нас, то расстреляй меня первую».

В это время подросли мужики и стали уговаривать: «Не тревожь больного человека». Тогда он грозил послать заявление в Ардатов и вытребовать отряд искать дезертиров и накладывать налоги на богатых мужиков. Девушки стали уговаривать Дуню: «Давай пустим, а то он отряд вытребует». Она сказала: «Я его не пущу, а отряду двери отворю». Больше они ее убеждать не стали. Приехал отряд ее убить.

Как пришел милиционер, Дуня сказала: «Надо терпеть, Поля, хлеб размачивать и убирать». Поля стала хлеб убирать: который размачивала, который в землю зарывала, осталось только десять караваев. Пришла ее сестра, а Дуня и говорит ей: «Чему ты свою сестру научила, я на нее прельстилась, я думала, она умная и кроткая, а она вон что наделала, сколько хлеба сгноила». И послала ее посмотреть хлеб. Сестра очень напугалась, когда увидела столько хлеба гнилого, а Дуня на Полю пальчиком грозит и смеется.

Потом она проводила всех хожалок, остались две, да три женщины, и сестра Поли в их числе. Помолились, попели. Внесли масло и свечи и платки головные и ручные, Дуня все перекрестила и сказала: «Несите в тот дом, туда не придут» (платков в мешке было около трехсот). И она говорит: «Чтобы все на моей могилке в одинаковых платках стояли и пели. Сорок аршин материи десяти человекам на кофты. Это масло и свечи берегите и их не жгите, они мне будут нужны».

Пришли к Дуне солдаты, вошли они и стали стучать в боковые двери, а Поля была во дворе. Дуня сказала Даше: «Беги, скажи Поле, чтобы она бежала в ворота за мужиками, как бы для заступления». Вышла Поля и побежала за народом, к верующим; они пришли, а солдаты уже вошли. Их пришло сначала двое. Они вошли и начали читать бумагу, кто здесь живет из хожалок, все они были переписаны как бы для того, чтобы продукты им отпускать, а Дуня сразу сказала, что это не для продуктов, а чтобы знать, кто у нее живет.

Солдат спросил: «Которая Евдокия Шикова?» Показали: «Вот, больная». – «Которая Дарья Тимолина?» Даша сказала:

«Я». – «Которая Мария Неизвестная?» – «Это я». – «Анна Ильина Хозинская?» Она была в бане. «Мария Кошелевская?» Она ушла провожать сестру. «Где Дарья Сиушинская?» – «Ее нет, – Даша сказала, – это чужая», – а это она и была. «А где Наталья Инютинская?» – «Она на родине».

Бросился солдат в чулан, а другой остался стоять в дверях. Поля прибежала в это время с Анной, двери открыты были, и стала говорить: «Пусти меня, я здесь живу, я не знала, что запись». Он спросил ее имя, она сказала, а он говорит: «Такой нет». А Поле очень хотелось проститься с Дуней. Она просит, он не пускает. Она говорит: «Убейте меня вместе с ней, я не уйду». Вышел из келии Кузнецов какой-то, ударил ее раз пять и двери запер. Она не отходила, смотрела в окошко. Видит, нашел он просфоры и елей, бросил их в лицо Дуне и начал ее обзывать скверными словами. Потом она у него стала просить прощения. Как помянула она «ради Христа», он и стал ругать Спасителя по-всякому, она и не стала больше прощения просить. Потом стал ее за волосы таскать и бить плетью, а хожалок в келии не трогал. Потом взял восковые свечи, скрутил их по десять штук вместе, зажег и стал кидать иконы и искать деньги. Все иконы побросал, затем в чулан полез, а там его за руку крыса схватила. Он остервенился и начал бить Дуню, стащил ее с постели и здесь нашел Илюшины деньги, а как деньги нашел, стал бить еще сильнее.

Они пришли в шесть часов вечера и били ее в келии до десяти часов вечера. Потом они ушли. Она попросила: «Унесите меня из келии».

А у тех было в это время собрание в доме учителя, зятя пузинского священника о. Василия Радугина. Кузнецов им объявил, что нашел; были солдаты и народ и поднимали руки; это называлось полевым судом. Это было в субботу в шесть часов вечера, 3 августа, а днем в двенадцать часов приходил брат Поли и говорил, что сегодня приедут солдаты, чтобы их всех убить, он слышал. Поля рассказала об этом Дуне и говорит: «Давай, Дуня, я зажгу келию, а тебя и Царицу Небесную вынесем и ты будешь здорова и цела». А она не захотела и

говорит: «Эх, Поля, разве можно сжечь такую святыню, столько людей ею попользуются».

В десять часов вечера ее понесли из келии в келию хожалок, они жили через пустырь. Когда они двором ее понесли, солдаты остановили и спрашивают: «Вы ее куда понесли?» – и снова стали ее бить. Так она тут и осталась. Ее положили опять на лавку. Били ее всю ночь попеременно, били и плетьюми, и стаскивали, и топтали ее ногами, и в воскресенье с утра били, и везде стояла кругом стража, и никого к ней не пускали. В воскресенье, после обедни, стали все выкидывать из ее келии. Солдаты кидали иконы и топтали ногами, и крестьяне стали брать их в церковь. Когда понесли Иверскую Божию Матерь, от нее было сияние. Солдаты хорошие вещи брали себе, а похуже кидали народу, и все тут торжествовали и тащили. Десять солдат залезли на крышу и искали в соломе деньги. А народ стащит вещь, да опять бежит что есть мочи, чтобы еще захватить. А Дуня спрятала деньги раньше. Свои деньги – шестьсот рублей – она отдала Поле, и та их спрятала у Карасевых под полом, и они их там, как магнитом, нашли. А деньги, которые выручил дядя от продажи хозяйства, лежали на печи в тряпочке, и их нашли.

Дуню, когда тащили вещи, все время били – и так до утра понедельника. В понедельник поутру через заднюю калитку проникли к ней некоторые верующие, солдат попался хороший и не бил ее в это время. Дуня попросила: «Меня надо приобщить, позовите священника».

Батюшке о. Василию Радугину сказали, он пошел, но его не допустили. Он попросил у них пропуск, у главных, они ему дали. Он пришел к Дуне, исповедал и приобщил ее и хожалок за два часа до смерти. Она ему говорит: «Батюшка, нельзя ли постараться?» А он говорит: «Вас убьют, Дунюшка, нельзя, решили убить». Она говорит: «Батюшка, чай бы, должен суд быть». «Они решили промеж себя». Вскоре он ушел. Солдаты нарядили подводу, мужиков пузинских – копать могилу. Подъехал мужик на лошади, и они стали выходить. И до того у них были прекрасные лица, что невозможно было смотреть. Они вышли все с четками, церковь напротив, они на нее

помолились; и стали их опять бить. Когда Дуню били, хожалки бросились защищать, кто – на ноги, кто – на тело. Затем сели на подводу, перекрестились. Дуня у Даши на коленях, сели все рядом. Как лошадь тронулась, стали креститься. А на углу дома стоял мужик неверующий, Иван Анисимов, и он увидел, что на плечах у них голубь белый, и куда ударяли, туда он садился, и били по голубю. Тут же он уверовал и говорит: «Теперь бы я последнюю корову отдал, только бы не убивали их». Трое мужиков, Петр, Иван и Макар, из тех, кто постоянно ходил к Дуне, попытались за нее вступиться, но были избиты плетью. Дуня увидела это и говорит: «Смотри, как с них грехи сыплются. Смотри, сейчас с Макара грехи летят, как от веника листья в бане, как его за меня бьют». Петр Карасев впоследствии рассказывал, что никакой боли от ударов не чувствовал. «Я бы счастлив был, если бы меня еще раз избили за Дунюшку».

(В ночь под воскресенье одна женщина всех била камнями, кто шел к Дуне. И видит она над Дуниной келией четыре огненных столба: два срослись, а два отдельные; это было на рассвете.)

Их привезли на могилу. Посадили ко крестам. Дуню и Дашу – у одного, Дашу другую так, а Марию тоже у креста, и сидели они все рядом.

Потом их стали расстреливать. Сначала хотел стрелять татарин, но бросил и сказал: «Нет, не буду, у меня руки не поднимаются». Его стали принуждать, но он отказался. Другого поставили, и тот стал расстреливать. Два выстрела дали для страха, а на третий расстреляли первой Дуню; как ее убили, сверху пошла как бы чаша, кто видел, как просфора, – это видела Таня и еще много народу. А одна женщина видела, как в это время Дуня над своей келией по воздуху пошла и это место благословила крестом и сказала: «Жалко, что здесь остается один золотой, ну пускай остается. И тогда женщина закричала: «Миленькая Дунюшка, как же мы теперь без тебя жить будем?»

Машу застрелили не до смерти. Ее прикалывали штыком. Потом с Дуни сняли чулки⁷, креста у Дуни не нашли, потому что он был у нее не на шее, а приколот к рубашке. Их хотели в могилу бросать, но один мужик, Василий Седнов, прыгнул в

могилу и стал их принимать. Хоронили без гробов, с хожалок и юбки-то сняли. Василий покрыл им лица платочками, и стали их заваливать, а народ к могиле не подпускали. Василий говорил, что у Дуни были вериги.

Расстреляли их 5/18 августа 1919 года. В этот день все верующие ощущали благоухание от могилы. Потом солдаты ушли и поручили следить, чтобы на могилу не пришел священник и не отпел бы их. После этого стали видеть на могиле горящую свечу, а над келией Дуни в двенадцать часов дня, вскоре после расстрела, солнце играло саженьях в десяти от земли. Тут же, на ее могиле, в 1924 году Пелагея Гавриловская видела видение, а перед этим блаженная Мария Ивановна говорила: «Ходите к Дуне на могилку чаще, там ангелы поют непрестанно». Эта женщина накануне памяти Дуни пришла к Поле и спрашивает, пойдут ли они служить панихиду с дьяконом на могилу. Поля сказала: «Сейчас собираемся и пойдем за дьяконом». Женщина зашла куда-то по делу и прошла прямо на могилу и видит: стоит дьякон в облачении, кадит и служит. Она думала, что все уже пришли, подошла ближе – и пропал дьякон, и нет никого на могиле; тут подошли и все с дьяконом.

Еще при жизни Дуне очень хотелось, чтобы принесли к ней в келию Оранскую Царицу Небесную. Плачет, всех посылает: просите у иеромонаха Царицу Небесную; а иеромонах никак не дает. Так и не дал. И вот он видит видение, что Царица Небесная молится на воздухе над Дуниной келией, и услышал голос; проси у нее прощения. Он прислал тут же письмо Дуне и просил прощения.

Дьякон пузинский, имя ему Иона, поступивший по благословению Дуни в Оранский монастырь, смутился ее смертью и увидел видение, что к ее могиле текут тысячи людей, много архиереев и духовенства, и служат все на ее могиле.

Однажды Дуня послала Полю к о. Иоанну Ардатовскому и наказала, чтобы она у него попросила белый платок с гранеными краешками. Пришла она, а в это время женщина как раз принесла ему такой платок. Он закрылся этим платком и запел Вечную память. «Как это хорошо, праведные души в рай

идут. Хорошо цветок расцвел, скоро и корень расцветет», – говорит.

Через три года после Дуниной смерти Поля была у о. Иоанна Ардатовского и встала ночью помолиться за Дуню, а он вдруг сказал ей: «Ложись спать». Она за послушание легла и только закрыла глаза, – видит сон. Она увидела священника Выездновского Ивана Михайловича; принесли мантию, стали Дуню на постели одевать в мантию и постригать. Она говорит: «Я рада за тебя, Дуня, что ты ангельскую одежду надеваешь на себя». Дуня встала, подошла к порожку, поцеловала ее и сказала: «Христос Воскрес». Четки у нее голубые, крест серебряный, и сказала: «Больше обо мне не плачьте, я среди горнего Иерусалима у Престола Божия стою». Поля спросила про девушек, которых расстреляли с ней, она ответила: «Им хорошо, но только они не со мной». Поля спросила про Дашу, она ответила: «Около меня тоже будет девушка», – но не велела об этом никому говорить, потому что она еще жива, а Поле сказала: «Молись, да Иисусову молитву в молчании твори».

Батюшка тут же подошел к Поле и говорит: «Сказывай, как ты Дуню видела». А она такой радости, как тогда, никогда еще не испытывала.

Один раз во время утреннего правила Дуня обмирала часа на три. Через четыре дня она сказала, что видела сон: «Кто у меня поет, все стоят с букетами в руках, и у всех розы, у кого белые, у кого розовые и даже голубые, у кого можжевельник, и у всех ветви, кто приходил ко мне; у Анны книга с золотыми буквами (она чтица хорошая была), а Поля с Дашей стоят около меня с сухими прутьями, они не молятся». Так она их смиряла.

Все девушки просили у Дуни что-нибудь после ее смерти, кто что из ее вещей, а Поля просила ее постель. «Я, – говорила, – сделаю футляр и поставлю ее туда, и будем к ней прикладываться». Илюша смеялся: «Мышиные хвостики будешь казать». Дуня заплакала: «Не тронь ее, Илюша, пусть она меня успокоит. Скажи, скажи, Поля, как ты сделаешь». Потому, наверное, Дуня и дала ее сестре горсть крошек с постели да еля, свеч и платков.

Как-то Поля к блаженной Марии Ивановне пришла, а она и говорит: «Моим именем Пузо три раза сгорит», – и три раза в ладоши хлопнула. «Вон, – говорит, – Дунины тряпки горят, ее кровь догорает».

На третий день случился пожар, горела Бармина, которая грабила Дунино добро (и в осень три раза горело Пузово). И еще сказала про колодец: «Будет колодец до скончания века, все источники посохнут, а этот нет, и все из него будут пить». И ругала всех пузинских: «Предатели, на что Дуню предали, за то-то они наказаны Богом будут»; и начала говорить, что Дуня выйдет мощами, понесут ее четыре епископа, будет четыре гроба, и народу будут тысячи, и тогда все восплачут, и неверующие уверуют.

А о. Софроний так говорил: «Мы с тобой об келии-то не станем хлопотать и о часовне, а о храме похлопочем, на ее месте будет храм. Ты загороди пряслом место, где была ее келия. Твоя келия будет в церковном корпусе, дверь из кельи будет в алтарь. Мы этих людей не ищем, Сама Царица Небесная этих людей пошлет. Тут будет четверо мощей, и Дуня будет мощами. Придут четыре епископа, и будет народ, и больные будут исцеляться. Народ уверует в нее, и будут звонить во все колокола, и Дуня прославится очень далеко».

Потом Поля у о. Софрония стала просить благословения в монастырь: «Не благословляю я тебя коммунистам работать, надо кому-нибудь Богу работать». Тут приехали мужчина с женщиной, пузинские погорельцы, и говорят: «Батюшка, мы сгорели». А он им сказал: «Это только ваш хлам сгорел, а ваше тело не страдало, а как страдала ваша святильница от трехдневного побоя! Если бы вы за нее заступились, вы бы не сгорели. Все ее тряпки в Пузе выгорят, а место ее освятится после беззакония» (пожар был необыкновенный, горело все подряд, даже где не было строений, вода около ее келии кипела, и горело, что в воду было брошено). Этим мужчине с женщиной он сказал: «У вас Дуня выйдет мощами, такая у вас радость будет в Пузе, нигде такой радости не будет, вы ходите на ее могилку, кто будет болен из вас».

В другой раз Поля пришла к о. Софронию, и батюшка начал ей говорить: «Ты Дуняшу видишь во сне?» Она говорит: «Только два раза видела». А он говорит: «Ты ее увидишь наяву. Ты к ней была близка?» – как будто не знает. «Близка». «Ты видела, какие у ней ножки-то больные? Из них кровь текла, а она ходила и за то Бога благодарила». Поля говорит: «Нет, она не ходила». И с тех пор у нее ноги отнялись, и за ней ходили монахини из Дивеева и Понетаевки. Потом ее исцелила Дуня. Сказала: «Вставай, тебя Царица Небесная исцеляет», – и взяла за ноги. Утром в этот день она еще пила с ложечки, а вечером стала чистить самовар и вымыла полы. А лежала она с зимнего Николы и по ее день Ангела. «Иди, – говорит, – в Пузу, справляя день моего Ангела» (1 марта).

Дуня говорила: есть пост не в пост, и молитва не в молитву, и послушание не в послушание; если постишься, то и мягкий ржаной хлеб не ешь, и досыта не вкушай. Если ты день не ешь, а на другой день приготовишь себе хорошую пищу, такой пост Бог не примет. Если ты молишься для людей, чтобы тебя люди видели, а на душе у тебя этого нет, это не молитва. А послушание, если ты исполняешь его так, что тебе легко и подходит, это не послушание, а то послушание принято у Господа, которым Бог благословит.

Она говорила: человек спасения ищет, а спасение – человека. Друг к другу идут и друг друга не найдут. Она говорила: кто больного жалеет, тот крест должен нести.

Если нет скорби при подвиге и если тебя только все ублажают и чтут, не дохожден подвиг твой ко Господу, если же подвиг ради Бога, то будет скорбь непременно, если враг побежден, он будет действовать через человека.

Очень велела охраняться тайноядения. Она так говорила: от него корень злобы вырастает, человек все равно что змею глотает, за непослушание Господь попускает болезни. Поля однажды на яблоко соблазнилась и его припасла; думает, воды принесу, самовар поставлю и поем, а Дуня уже велит его обратно положить. Поля плакала, просила дать, а она не дала. Прибавь, говорит, поста и молитвы, Господь будет всего посылать в изобилии, и не съест тебе. Чем больше поста и

молитвы, тем больше Господь будет всего посылать. Когда ей икону Царицы Небесной принесли, тогда из разных губерний потек к ней народ. Девушки начали плакать: «Бог нам посылает столько милостыни, куда нам ее деть, нам все равно не даешь». А Дуня сказала: «Злитесь, на вашу злость Господь еще больше пошлет, если бы не на пользу, разве бы Царица Небесная послала мне всего столько?» В сенях было как склад: хлеб белый, рыба в коробках, мед, варенье – и все это раскрыто, и никто до этого не дотрагивался. А деньги по полу валялись и по ним ходили. Дядя Дунин по старости последнее время совсем не слезал с печи; попросит он пить, а они говорят: еще рано, а уже вечер; подадут ему хлебца – и ладно. Ему было видение, как солдаты потащат все в разные стороны.

Дуня поучала девство хранить. Это говорила она монастырским людям. Она тело свое не велела показывать и в баню не благословляла со всеми ходить, а холодной водой мыться. В пище советовала воздерживаться, руку не позволяла давать, кроме как под благословение подходить. На мужчин возбраняла смотреть, а смотреть вниз. По келиям она тоже не разрешала ходить. Монах выйдет из келии – в келию войдет не такой. Читть начальников надо монастырским людям. К службе наказывала ходить неопустительно, в нечистоте не позволяла ходить до шести дней. Плакала, кто стрижет волосы из монашествующих. За трапезой не разрешала говорить ни слова, и все везде и всегда ограждать крестным знамением поучала она монастырских людей. И одеваться, и обуваться, и спать ложиться – ограждать и окна, и двери – это и мирским, и скотину ограждать вечером и утром. Не разрешала часто посещать женские монастыри монахам и наоборот. Строго запрещала переходить из обители в обитель. Какой Бог крест послал – терпи. Приходили к ней со слезами; от нее никто не уходил неутешенным. Дуня и материально монастырских поддерживала. Она особенно любила монастырских людей и духовенство. Я, говорит, их считаю как ангелов.

Дария Тимолина. Она стала жить у Дуни после Насти пузинской. Эту Настю Дуня взяла к себе за ее кротость, у нее была большая любовь и ревность к Дуне, и она дала обещание

никогда Дуню не оскорблять и не раздражаться, к чему трудности жизни и ее собственные болезни подавали множество поводов. Настя была больной, а проживши несколько лет у Дуни, стала еще сильнее болеть. Насте Дуня говорила: «Отвыкай есть каравай, привыкай к кусочкам». Прожила она у Дуни пятнадцать лет; при ней еще начала ходить Дарья и ходила три года, а после смерти Насти о. Анатолий благословил Дарью жить у Дуни. Родители ее не пускали, они были неверующие; Дарья плакала, просилась к Дуне, а они ее силком просватали. Она убежала к Дуне, пришли родные, за волосы вытащили ее из Дуниной келии и сильно били. В этот раз ее увели – она опять прибежала. Родные во второй раз просватали ее и насильно увели домой. Двадцать лет потом она не выходила из Дуниной келии: ни в церковь, ни к родным (причащались они на дому).

Телесных искушений у нее не было, только сильно ее мучил сон, никак она не могла его побороть и все плакала и посылала к о. Анатолию спросить: «Погибаю я, все сплю». Отец Анатолий сказал: «Спи, это подвиг такой, а то ты не сможешь больной служить». Дарья постница большая была, и не было у нее никаких соблазнов, а вот спать даже стоя могла. От Дуни все терпела. Та ее ругает, а она смеется. Родная ее сестра приходила к Дуне, и она им не давала потихоньку говорить, а заставляла говорить все въявь, открыто. Даже в женской немощи ее не отсылала от себя Дуня, а мылась она всегда после этого на дворе и зимой, и летом. И после этого Дуня ей не давала греться на печи. Дух у нее непрестанно горел к Богу.

Расстреляли ее сорока лет.

Дария Сиушинская. Непрестанно молилась Иисусовой молитвой. Когда еще в миру была, проходила каждый день Псалтирь всю без отдыха, стоя на ногах. Очень была смиренная. Жила у Дуни три года. Сорока лет расстреляна.

Мария. Дунина хожалка Мария прежде была замужем. Была больная три года, нога у нее болела. Лежала в больнице. Возле нее лежала старушка русская и призывала святителя Николая Чудотворца. А Мария была мордовка, услышала и сама стала так призывать. Явился ей старичок и исцелил ей ножку. И

обещалась она странствовать. Пришла из больницы к мужу – и забыла, что обещала. Ей опять явился святитель Николай Чудотворец и сказал: «Ты что, забыла свое обещание?» Она стала просить у мужа билет странствовать. Он ей не дает: «Ты не придешь». Она говорит: «Я приду». Он ей выхлопотал и дал. И она пошла странствовать. Пришла в Саров, из Сарова пришла в Лихачи отдохнуть и стала ходить к Дуне. И пришла ей мысль – пойти к Дуне жить. Старичок явился, сказал: «Иди к Дуне жить». До Пасхи пожила – и ушла к одной женщине. Та говорит: «Ты что ушла?» Мария: «Голодно, я и ушла». Ночь пришла, он ей опять явился и говорит: «Зачем ты ушла, ступай». Три раза повторил: «Ступай, и ступай, и ступай». Она собралась, ушла к Дуне и уже не уходила.

Мария Дуне говорила: «У тебя подвиг, а ты терпи, ты уж лежи». Служила она Дуне семь лет. Мария была смиренная, как ребенок. У нее сильно болела нога, вся пятка отгнила. Она любила сладко поесть и воровала сладкое, и за это, может, страдала. Дуня скажет ей: «Маша, на что воруеть и ешь?» – «Хватит нам и лошадям, Дунюшка», – та отвечает. «Развеселите меня», – скажет Дуня. А Маша ей: «Начинай, Дунюшка» – она и развеселится.

Пошла она однажды в Саров, взяла потихоньку у Дуни денег, накупила конфет и орехов и всю дорогу кормила детей Варвары, Анну и Мишу, говоря: «Ешьте, ешьте, у нас Христос богатый, каждый день нам дает». Они вернулись к Дуне, она ребятишек и спрашивает: «Чем вас Машенька кормила?» – «Орехами, зернами, конфетами и белым хлебом». «Ах мордовская воровка». А Маша говорит: «Плохо я их тебе накормила, чай, Варварушки нашей ты бы спросилась; я тебе молюсь, молюсь, а тебе все мало». «Машенька, больше не воруй». А она: «Христос будет посылать, всегда буду воровать, а ты Ему скажи, чтобы Он не посылал. Тебе это кто дал? Христос дал», – и ни за что не скажет, где она взяла. Дуня скажет: «Ты мое взяла», – «Откуда ты знаешь, что твое, я Богу молюсь разве напрасно».

Когда стряпала, бухнет масла. «Зачем ты, Мария?» – «Чай, посытнее, люди сколько раз поели, а мы еще нет».

Ради Бога она ушла от своего мужа, которого любила, и своего имени никому не открывала, потому что муж ее очень любил и долго искал, и ни родные, ни муж не знали, где она.

В последний год Мария разболелась ногой и передвигалась с трудом, а Дуня ей не давала хлеба: хорошо воровала, теперь потерпи. Даша потихоньку давала, а Дуня провидела и посылала Полю следить. На смерть Мария пришла за час и была спокойна, хотя знала, что их убьют.

Приведем несколько случаев, свидетельствующих о прозорливости, благодатной целительной силе молитв преподобномученицы Евдокии, случаи, которые можно приводить без числа, так как и по сей день множество людей получают исцеления и благодатную помощь на ее могиле.

У одной благочестивой вдовы был сын, все ему хотелось уйти в монахи, два раза просился к Дуне, чтобы получить благословение в монастырь; она ему ни благословения не дала, ни самого его в келию не пустила, а бабам сказала: «Пусть он не просится в монастырь, он все равно жить там не будет». А он и отвечал: «Что же это я, с такой верой иду, а потом и уйду?» А у него, и правда, рвение было от юности. Он ушел в монахи и три года жил очень хорошо, примерный монах был, а затем ушел из монастыря и в Нижнем Новгороде стал коммунистом.

Бабы поначалу смущались, думали: «Вот так блаженная, неправду сказала», – и только через три года узналось, что все было правдой.

Из деревни Куралово Аксинья была больна. Стала ходить к Дуне. Она дала ей хлеба, и Аксинья стала здорова, а до этого никакие врачи не помогали. Ее сноха Евдокия тоже была больна: отнялись ноги, полгода совсем не ходила, и врачи отказались от нее. Ее хозяин говорит: «Поезжай в Пузу, от притки⁸ ворожи». Аксинья спрашивает ее: «Поедем в Пузу, к больной Дуне?» Она согласилась ехать, но от мужа украдкой. Они приехали к Дуне. Дуня и говорит ей: «Вы приехали к ворожее?» Они говорят: «Нет, мы, Дунюшка, к тебе». Дуня говорит: «Садись на стул». И дала ей две чашки чаю выпить, и сказала: «По вере вашей дастся вам». Привели больную под

руки – из келии вышла здорова, исцеление получила и больше не болела.

Село Верякуши, звали женщину Параскевой. У нее была внутренняя болезнь; ей нельзя было ржаной хлеб есть. Ела она немного белого хлеба, очень была больна. Она пришла к Дуне, Дуня расспросила про болезнь. Потом дала ей сухарь ржаной со своей постели, Прасковья сказала: «Дуня, мне нельзя ржаной сухарь есть». Дуня ответила: «Я сама больная, а ем ржаные сухари». Она съела – и здорова стала, и всякую пищу стала потреблять. Она была единственной дочерью у отца, а он был очень скупой. После исцеления он Дуниным хожалкам купил келию и стал всем милостыню творить.

Две девушки села Верякуши, Наталия и Мария, пришли к Дуне и говорят: «Мы просфоры больше печь не будем, нам муки не дают, у нас только в кадушке. Где мы будем брать?» А Дуня говорит: «У вас не будет убывать, милость творите и Богу служите». И у них в кадушке мука не убывала. И стал их враг искушать: как до Дунина места дойдут, так у них ноги отнимаются, как топором тянут. И один раз не поняли этого искушения и воротились домой. Как воротились домой – и здоровы стали. На праздник опять собрались. Как до этого места дошли, опять с ними так случилось, но все-таки они пришли к Дуне. И стали Дуне рассказывать. Дуня ответила: «Это враг наводит болезнь, ему не любо, что вы больного посещаете».

Пришла к Дуне одна женщина. Дуня велела ее пустить. Когда вошла она в келию, Дуня стала ей говорить: «На тебе нет креста». А она говорит: «Есть». Дуня ей говорит, что нет, а она опять говорит: «Есть». Дуня заплакала и говорит, что нет креста. Потом и женщина заплакала и созналась, что, правда, нет, и стала просить у Дуни прощения. Дуня велела хожалкам дать ей крест.

Однажды один мужчина, Николай, пришел вечером и принес ей хлеб и стоял, пока пели стихиры. Дуня велела хожалкам взять хлеб. Потом после стихир велела обратно отдать: «Он тебе нужен». Он смиренно его взял и пошел домой. Ему встречается женщина среди ночи. Он спросил: «Чего ты ходишь среди ночи?» Она сказала: «У меня сын пришел из

солдат, болен, десять домов пробежала и нигде хлеба не нашла». Он ей отдал этот хлеб. Этот год был самым голодным, а женщина была очень бедна.

У сестры Елены была болезнь: ничего нельзя было есть, кроме пшена, а к пшену у нее было отвращение. Дуня дала Елене хлеб и сказала: «Отдай сестре, чтобы она ела и не брезговала». Елена отдала сестре хлеб, та съела – и выздоровела. Мать Еленина пришла к Дуне и говорит: «Дуня, Елена уезжает в Сибирь». Дуня ей говорит: «Не поедет, она ногу сломает». Так и случилось.

Муж с женой пришли помолиться к Дуне. Когда молились, среди пения, Дуня говорит: «Погодите петь, Никифор с Марфой уйдут домой». Они говорят: «Дуня, мы будем петь до конца». Дуня говорит: «Нет, вам надо идти домой». Они пошли домой, пришли, а у них теленок запутался в нацепку головой и едва не удавился. Еще бы пять минут и издох.

Пришли к Дуне из Кременок три женщины. Дуня хожалкам сказала: «Я их не пущу, мне жарко, скажите, чтобы они шли домой скорее, мне жарко». Вышли они из Пузово – загорелись Кременки.

У одной девушки, Параскевы, был хороший голос. Она ходила к Дуне на правило. И говорит: «Дуня, я ныне не приду». Дуня говорит: «Если не придешь, то тебя накажет Царица Небесная, голос пропадет». Она не послушалась – и наутро охрипла. Утром пришла к Дуне и говорит: «Дуня, прости меня, я совсем охрипла». Дуня дала ей сухарь со своей постели. Прасковья съела сухарь – и стала в этот же вечер петь стихиры.

Возвращаясь из церкви, она всегда заходила к Дуне. Однажды в праздник Дуня долго не давала ей есть. Хожалки вынесли ей в сени ватрушку, и она украдкой ее съела. Когда она вошла в келию, Дуня сказала: «Прасковья, ты украдкой ватрушку съела, я теперь тебя оставлю ночевать, положу на полу, а захочешь пить, пей в лохани».

Пришла на Дунину могилку вдова по имени Анна. У нее были больные глаза. Она упала на могилку – и тут же глаза ее исцелились. Множество народа было свидетелем этого исцеления.

Из села Хозина пришли две девушки. Дуня их обличила, сказав: «Даша, скажи, как подружка подружку любит?»

Однажды пришел парень, она его обличила: «Зачем у матери украдкой молоко ешь?» Он отказался: «Я не ем». Она говорит: «А в погребе?» Он улыбнулся и сказал: «Кто тебе сказал?» – «А вон перед тобой кринка висит». «Я только один раз – и забыл».

Из села Хозина шли пять женщин и одна девушка, несли яйца. Девушка сказала: «Давайте за труды возьмите по яйцу, а я два себе возьму за то, что несу». Пришли к Дуне. Дуня хожалке говорит: «Дай им по яйцу, Анне – два, Анна несла одна».

Пришли к Дуне один солдат и женщина. Дуня долго его не пускала, говоря: «Он идет не с хорошей думой». Женщина уговорила пустить. Только он вошел в келию, Дуня стала ему говорить: «Выбрось из головы все дурное. Твоя жена очень умная и кроткая, ее зря поносят. А корову мать с сестрой продали, а говорят на нее». Сердце его охватило раскаяние, он заплакал и говорит: «А я шел убить ее».

Дуня велела напоить его чаем и накормить и благословила зайти к преподобному Серафиму в Саров и отслужить молебен.

В 1967 году Анна Силаева из села Бабина заболела болезнью мочевого пузыря. Болела восемь месяцев. Лечилась лекарствами, ходила и к знахаркам, но ничего не помогало. Взяла она тогда землицы с могилы Дуни, положила в воду, эту воду пила – и болезнь прошла.

В 1983 году на могилу к Дунечке вместе с певчими из села Бабина пришла Наталия О. Пели панихиду, просили Дунечкиных молитв. У Наталии уже несколько месяцев болела правая нога в колене. И когда они шли из Бабина в Пузово (это около семи километров), она особенно чувствовала свое нездоровье. Никогда прежде ей не приходилось обращаться с просьбой об исцелении на могилах праведников Божиих и она робела, не зная, как это сделать. А потом встала на колени у края могилы и попросила, чтобы Дунечка исцелила ей ногу. Потом прочли акафист Иверской Божией Матери и собрались в обратный путь.

На полдороге она почувствовала, что идет легко, не прихрамывает, и нога не болит.

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова)

«Будет вам монастырь»

Многие годы после кончины преподобного Серафима сохранялся в Дивееве рассказ о том, как на праздник Рождества Богородицы батюшка Серафим сказал: «Придет время, и мои сиротки в Рождественские ворота, как горох, посыпятся».

– Какие же это ворота будут? – все спрашивали сестры.

В 1927 году, на наш престольный праздник – Рождество Богородицы, в два часа начиналась малая вечерня. Я в звонарях была. Подошла к двери на колокольне – меня хватъ сверху!.. Красна шапка – милиционер! «Стой!» – не дает открывать. «Как «стой»? Нам уже время!» – «Вам, – говорит, – время, а нам нет».

В недельный срок монастырь был закрыт.

И разлетелись мы кто куда. А дождик лил!.. Люди на нас и Господь на нас! Сестры вспомнили: «Батюшка Серафим, вот и «Рождественские ворота»! Власти нам предложили: можете оставаться, но только не надевайте монашескую одежду, будьте как все люди. И в мастерской, где работать, чтоб икон не было, а поставьте Ленина, На это никто не согласился. Был у нас тогда тайно один архиерей. Он сказал: «Вот вас из монастыря выгонят, а монашество свое берегите».

Монастырь оказался за стенами обители, за канавкой преподобного Серафима. Сестры расселились в округе, тайно собирались для службы, молитвенного правила не оставляли. Изредка странствующие священники, иеромонахи, а то и епископы служили по домам Литургии. Так продолжалось десять лет, до 1937 года.

А в тридцать седьмом объявилась «тройка» – суд, судить нас. «Ходили в церковь?» – «Ходили». «Значит, бродяги!» Давали кому по три годочка, кому по десяточке. Уже на пересылке один священник, тоже арестованный, смеялся: «Ну, батюшка Серафим целый этап монашек пригнал!» Была у нас, когда мы еще в Дивееве вокруг монастыря жили, блаженная – Мария Ивановна. Она при мне помирала, я за ней ухаживала.

Тогда мы все у нее спрашивали: «Мамашенька, когда же обратно в монастырь?» – «Будет, будет вам монастырь, мы с матушкой-казначеей (а матушка-казначей к тому времени уже лет пять покойницей была) начнем вас в монастырь вызывать. Только называться вы будете не по именам, а по номерам. Вот тебя, – говорит, – Фрося, будут звать «триста тридцать восемь». Так и сказала: «Мы тебя позовем с казначеей: «Триста тридцать восемь!» Я это запомнила: А когда в тюрьму взяли, мне этот номер и дали. Вот тебе и монастырь! Охранники всякие были, были и хорошие. Везли нас в Ташкент в вагонах. Зима, а охранник наверху, холодно ему. Только поезд тронется, он нам стучит: «Запевайте «барыню»". А какая «барыня»? Мы пели «Благослови, душе моя, Господа», всенощную. А в Ташкенте уж другие нас встретили. Была «генеральная проверка». Там все снимали. И когда сняли крестик, такое было чувство, будто перед тобой Сам Господь распятый... Как же без креста? Мы пряли на узбекских прялках, а в них вилки деревянные, чуть обрезать и крестик будет. Такие крестики мы и сделали. А когда пошли в баню, начальнику сразу доложили: монашки опять в крестиках. Но тут уж оставили нас, снимать не стали. Не знаю, как люди, а монашки так думали: все это Божие попущение – за грехи народа и пришло время потерпеть.

В лагере монастырь просуществовал до конца сороковых годов. Сроки заканчивались, и сестры постепенно снова собирались вокруг обители. Устраивались работать кто в колхозе, кто в Дивееве, который стал райцентром. Наступили хрущевские гонения. Собираться вместе для молитвы стало совсем опасно. Но Господь не оставлял: как раз в это время в городе жила последняя великая дивеевская блаженная Анна Бобкова.

Умирили старые монахини. На их место заступали новые. Молитвенная дивеевская жизнь все эти годы не прекращалась ни на день. В конце концов все вернулось на круги своя, к общине, подобной общинке первоначальницы матушки Александры: так же сестры, ищущие монашества, собираются в Дивееве для совместной подвижнической жизни. Кстати, сбылось еще одно из пророчеств преподобного Серафима о

Дивееве. Он запрещал сестрам называть Казанскую церковь – ту, которая была еще при нем, – приходской, хотя и при жизни преподобного, и до самого закрытия в 1927 году эта церковь, в отличие от монастырских, была именно приходской. Батюшка говорил, что церковь эта будет монастырской, а мирская, тоже Казанская, будет в другом месте. Так и получилось. В 1988 году Дивеевский исполком выделил для строительства церкви дом прямо над источником Казанской Божией Матери. Новый храм освятили, конечно, в честь этой иконы 22 апреля, в Лазареву субботу, 1989 года. «Не хлопочите, и не доискивайтесь, и не просите монастыря, – говорил преподобный Серафим первым дивеевским сестрам, – придет время, без всяких хлопот прикажут вам быть монастырем, тогда не отказывайтесь». Так случилось и на этот раз. Председатель исполкома встретил на улице помощницу старосты и неожиданно сказал, чтобы община готовилась принимать монастырский Троицкий собор. Та прибежала к старосте и закричала с порога: «Катерина, храм отдали!»

В Дивееве сейчас две действующие церкви. 30 апреля 1990 года, на Похвалу Богородицы, при огромном стечении паломников со всей Руси архиепископом Нижегородским и Арзамасским Николаем был освящен Троицкий собор, а позже, в день преподобного Серафима, 1 августа, освящены приделы Серафимовский и иконы Божией Матери «Умиление». Серафимо-Дивеевский монастырь возрождается.

1990

Монахиня Таисия (Арцыбушева)

Записки

Весной 1924 года в Дивеево и Саров стали приезжать москвичи, да и из других городов знакомые, и моя свекровь многих принимала у себя. Знакомые посылали своих знакомых, и дом у нас почти всегда был полон народом. В тот год побывал у нас впервые о. Александр Гумановский, о. Филипп Чудовский и многие другие. В конце мая приехал в Дивеево о. Владимир Богданов. Приезды гостей очень улучшали наш стол, так как из Москвы привозилось то, что в Дивееве достать было трудно: сахар, конфеты, пшеничная мука и т. д. Жить стало легче, и настроение улучшилось. Опять появилась духовная забота, так как материальная стала не так остро чувствоваться.

О. Владимир Богданов остановился не у нас, а в монастыре у своих духовных дочерей Галактионовых. Младшая из них, Екатерина Ивановна, была со мной в очень хороших отношениях и особенно любила Алешу, которому в то время было четыре с половиной года. От Екатерины Ивановны и ее сестры монахини Михайлы я много слышала об о. Владимире, особенно о том, как он прекрасно исповедует.

У меня явилось желание поисповедаться у него. Подробной облегчительной исповеди у меня не было давно, грехов же накопилось много.

О. Владимир ответил мне, что уезжает в Саров, и если я тоже приеду туда, то он ничего не имеет против моей исповеди у него. Я с согласия моей свекрови отправилась в Саров. О. Владимир предложил мне пойти с ним гулять в лес, и во время прогулки я исповедалась. Исповедь была в форме беседы. Он не удовольствовался исповедью текущих грехов, а расспрашивал некоторые подробности за прошедшие годы. И я неожиданно вспомнила один грех, забытый мною, как в раздражении сказала Алеше, когда он был совсем маленьким, еще при жизни мужа: «Ах ты, проклятый мальчишка, успокойся же ты наконец». Я забыла об этом грехе, когда приносила подробную исповедь, и вспомнила о нем случайно.

О. Владимир совершенно неожиданно для меня сказал мне, что этот грех он не может разрешить, так как его снять с меня может только соборование. Причем он прибавил, что не только я сама должна собороваться, но и дети, хотя оба были еще младенцы.

Соборовать нас о. Владимир отказался, а велел просить об этом о. Сергия Битюгова, который должен в непродолжительном времени быть в Дивееве. «Я его увижу в Москве и скажу ему, – сказал о. Владимир. А вы, когда он приедет, напомните ему».

Очень я была поражена таким решением, но не спорила, наоборот, отнеслась очень серьезно к его словам и стала дожидаться о. Сергия.

Мы соборовались всей семьей. Перед соборованием о. Сергей велел мне у него исповедоваться, и на исповеди он мне сказал, что Патриарх, по-видимому, вступает в общение с обновленцами и потому от его поминовения надо воздержаться, пока вопрос этот не выяснится. Ввиду того что в Дивеевском монастыре Патриарха поминают, о.Сергий велел мне воздержаться временно от причащения Святых Таин, также и детей не причащать. Вопрос он поставил так, что раз я у него исповедуюсь и соборуюсь, то должна за послушание исполнить его совет. Он обещал дать знать о ходе событий, как только вернется в Москву.

Вскоре он уехал. Мне очень трудно было исполнить его требование незаметно. Весь монастырь знал, что я приобщать детей водила еженедельно. На исповеди я о. Сергию это говорила, но он просил меня потерпеть ради православия.

Нечего было делать, надо было исполнять и терпеть. А терпеть пришлось много. Произошло все это в конце июня, ряд праздников – Владимирской Божией Матери, Рождество Иоанна Предтечи – были в монастыре престольные. Толки среди дивеевских жительниц начались тотчас же. Все удивлялись, почему я перестала причащать детей. Помогла в этом моя свекровь. Думая сделать лучше, я ей передала слова о. Сергия. Я надеялась, что она поймет и согласится, что в данном случае я поступить иначе не могу. Но она не только не помогла мне, а, наоборот, рассказывала об этом всем. Она была возмущена,

жаловалась на меня, укоряла меня, просила и тем удваивала трудность, которую я испытывала. Я считала, что послушанием я не погрешу, даже в случае ошибки того, кто дал послушание. Непослушание же само по себе грех, и потому я решила терпеть.

Подошел праздник святых апостолов Петра и Павла. К негодованию моей свекрови и в этот день я детей не причастила. В это же время у меня было еще тяжелое горе. Я получила известие о болезни брата Володи, а в самый день праздника телеграмму о его смерти. До сих пор я крепилась и не плакала, как тяжело мне ни было. Но получив телеграмму о смерти Володи, я дала волю слезам.

От отца Сергия никакого ответа о церковном деле не было. Отношения со свекровью все ухудшались. Наступали новые праздники: память преподобного Сергия и Казанской Божией Матери. Я решила временно уехать из Дивеева с детьми. В десяти верстах от нас жила знакомая семья священника, я переговорила с ними и просила меня принять погостить к себе, не объясняя причины.

Скрывая ото всех, я стала собирать и укладывать вещи и договорилась с возчиком. Уехать я хотела 5 или 6 июля. За день до назначенного дня отъезда, вечером, уложив детей спать, я со слезами стала молиться о том, чтобы Господь дал мне указание, что делать. «Господи, пошли мне кого-нибудь для разрешения моего состояния. Ты все можешь. Если завтра до обеда Ты никого мне не пришлешь, то это будет означать, что мне надо уехать из Дивеева, если же мне уезжать не надо, то завтра кто-нибудь приедет и прекратит мои мучения».

К нам все это время продолжали приезжать гости, но пока ни один из них не привез мне разрешения мучающего меня вопроса. Моя свекровь заводила со всеми разговор о церковных разногласиях, рассказывала всем, что я не причащаю детей, некоторые молчали, другие уговаривали меня, и все это было невыносимо тяжело.

На другой день после принятого мною решения издать до обеда указания Божия я пошла в баню стирать белье, мне хотелось до вечера все успеть выстирать, высушить, чтобы не

везти с собой ничего грязного. За мной пришли перед самым обедом. Я пришла домой и вышла в кухню за супом. И в эту минуту вошла к нам незнакомая мне особа с письмом к моей свекрови. В этот момент у меня из головы совершенно исчезло воспоминание о вчерашней молитве. Я взяла от нее письмо, приняла ее очень холодно и, не пригласив в комнаты, выслала к ней свекровь, сама же села обедать. Через минуту свекровь моя возвращается и говорит: «Опять гости. Это Наташа (ее племянница) пишет, просит принять ее духовного отца с двумя духовными дочерьми, Я откажу, довольно неприятностей в нашем доме. Я не в силах больше принимать всех». Как это ни странно, но и тут, узнав, что к нам приехало духовное лицо, которое, может быть, могло бы мне все разъяснить, то есть именно то лицо, о котором я накануне молилась, я все же не поняла этого. В душе я сочувствовала своей свекрови, так как большие приемы были мне уже в тягость, особенно ввиду всех моих переживаний.

Приезжая гостя продолжала просить принять их, и свекровь моя сдалась на ее просьбу и разрешила им прийти, но с условием, что им будет дан только приют, в услугах же она заранее отказала. Я была недовольна таким решением. Мне хотелось, чтобы никого у нас не было посторонних, так как при гостях мне труднее было уехать незаметно. Приходилось отъезд отложить. Чтобы совершенно не участвовать в приеме гостей, я поспешила обратно к прерванной стирке.

Вспоминая все это сейчас, я удивляюсь, как в ту же минуту не поразила меня точность исполнения моей молитвы. Я просила прислать кого-нибудь до обеда, это было бы, как я просила, для меня знаком, что мне уезжать не надо. И даже не потрудились узнать, кого Господь послал.

Часов в 8 вечера я вернулась домой. До меня днем дошли слухи в баню, что к нам приехал какой-то иеромонах с двумя духовными дочерьми, что свекровь моя уже хлопочет, чтобы их хорошенько принять, но почему она изменила свое намерение, я не знала и не особенно интересовалась, так как была очень усталая и недовольная. Я поужинала одна в кухне, не желая выходить к гостям, и собралась пройти в комнату к детям,

уложить их спать, а затем лечь самой. В это время в кухню вошла свекровь моя со словами: «Ах, милая, если бы ты знала, как он красив, ты знаешь, что я не хотела его принимать. Ты слышала, как я резко приняла его духовную дочь, но она меня упросила, я согласилась с раздражением, а когда он пришел и сел и я поглядела на его измученное лицо – он мне показался до того похожим на Петечку, и я тут же про себя сказала: все тебе будет, все для тебя сама буду делать. Пожалуйста, выйди, Тасечка, познакомься, главное, погляди на него, как он красив».

Затем пришел в кухню мой свекор и тоже стал меня звать в столовую, говоря, что если я не выйду, то это будет неприлично с моей стороны.

Под его влиянием я решила выйти. Все же слова моей свекрови о красоте приезжего меня совершенно не заинтересовали. Наоборот, я, видя такой ее восторг, представила себе, что она уже ему все обо мне рассказала, нашла в нем себе союзника, и я внутренне приготовилась к новым неприятностям.

Выйдя с таким настроением, я, вероятно, имела вид очень неприятный, и воображаю, какое впечатление произвела на наших гостей. Приезжий оказался архимандрит Даниловского монастыря о. Серафим. Красота его меня не поразила, хотя, конечно, он был красив, особенно глаза с детским, чистым взглядом.

Я поздоровалась, села нарочно за самовар, не глядела на него и на вопросы отвечала неохотно.

Свекровь моя сказала, обращаясь ко мне: «А вот о. архимандрит говорит, что у них в монастыре поминают Патриарха».

«Ну, так и есть, – подумала я с досадой, – успели договориться». Вслух же я ничего ей не ответила, сделав вид, что не слышала ее слов.

Во время чая прибежала из монастыря недавно поступившая туда монашенка, специально, чтобы видеть о. Серафима (она его знала по Москве), и, уходя, сказала мне (я вышла ее проводить): «Это очень уважаемая личность, он очень известен в Москве». На это я с досадой подумала: «Все они

уважаемые личности, а говорят все разное, которой же уважаемой личности верить?»

О. Серафим весь вечер упорно старался вызвать меня на разговор. В конце вечера, когда мои свекор и свекровь вышли из столовой, я проговорила, что мне очень тяжело и я думаю уехать из Дивеева.

Только ночью у меня неожиданно явилось воспоминание о моей молитве и о том, что она в точности исполнилась. «Как я об этом сразу же не подумала, – удивлялась я. Может быть, он и правда мне все объяснит, завтра непременно с ним поговорю и спрошу».

Утром к обеду я не ходила, гости же, вернувшись с моей свекровью из церкви, после чая собрались идти с нею по святым местам Дивеева.

Я улучила минуту, когда о. Серафим в ожидании своих спутниц остался один, подошла к нему и сказала, что мне очень надо с ним поговорить, но что дома у нас неудобно, а не может ли он встретиться со мной на кладбище у могилы моего мужа.

Он охотно согласился, и мы решили, что самое удобное время будет перед всенощной в 5 часов вечера.

Ровно в 5 часов я пришла на кладбище. Через несколько минут подошел ко мне о. Серафим и прямо спросил меня: «Что вас мучает?» – «Церковный вопрос, батюшка», – ответила я и рассказала ему все мною пережитое за последние два месяца.

«Мы в Даниловском монастыре тоже очень мучились этим, – ответил он. Три дня не поминали Святейшего, но потом все разъяснилось. Патриарх и не собирался вступать в общение с обновленцами, и мы, конечно, начали его снова помянуть. Хорошо, что вас мучило это, я боялся, что что-нибудь другое, а в этом отношении совершенно успокойтесь и спокойно причаститесь сами и детей причастите».

У меня как гора свалилась с плеч, и я попросила его меня поисповедовать вечером. К великому удивлению моей свекрови, на другой день я причастилась и причастила детей. Служил о. Серафим в церкви на кладбище.

С собой у о. Серафима была книга апостольских и канонических правил, по которой он мне много объяснял. То,

что я оказала послушание о. Сергию Битюгову, он счел правильным.

Особенных подробностей о себе я ему не рассказывала, главное, говорила о переживаниях после исповеди у о. Сергия.

Моя свекровь, в высшей степени удивленная тем, что, по ее мнению, я так легко сдалась, решила, что личное обаяние о. Серафима подействовало на меня, и попыталась этим воспользоваться. Она тоже пошла исповедаться к о. Серафиму, причем рассказала ему о всех наших с ней разногласиях и в конце концов заставила его все это записать, чтобы повлиять на меня.

На следующий день о. Серафим попросил меня пойти с ним в сад и показал мне список моих обвинений.

Откровенно сказать, мне не очень приятно было его читать. Он стал уговаривать меня подчиниться моей свекрови, говорил о необходимости наладить наши отношения и спросил, не хочу ли я еще раз исповедоваться у него. Я согласилась, и вечером во время исповеди он предложил мне перейти под руководство к нему.

«С владыкой Николаем, – говорил он, – у вас общения почти не было, руководство же вам, вы сами понимаете, необходимо. Я беру на себя ответственность за вас перед Богом. По мере сил моих я буду вас поддерживать, помогать, но взамен требую полного откровения и послушания».

Вид у него был очень серьезный и даже суровый. «Необходимо полное отвержение от своей воли», – несколько раз повторил он.

Я ответила, что должна подумать, соглашаюсь ли я на это.

«Если соглашаетесь, то напишите мне полную исповедь с семилетнего возраста, – сказал о. Серафим, – и завтра утром до Литургии дайте мне ответ».

Я ушла к себе и здесь в продолжение нескольких часов испытывала громадную борьбу. Самоволие и самолюбие протестовали во мне сильно. Я чувствовала, что о. Серафим будет требовать полного подчинения свекрови, и из-за этого душа моя возмущалась, но, с другой стороны, мне было ясно, что продолжать так жить, как я жила, немыслимо. Я

чувствовала, что без руководства я не спасаюсь, что что-то надо предпринимать, раз я вступила на путь духовной жизни. Я понимала, что мне предлагается путь, хотя и трудный, может быть жесткий, но истинный.

Внутренний голос твердил мне, что приезд о. Серафима был не простым, а точным ответом на мою молитву и что я должна на это обратить внимание и не уклоняться от Промысла Божия.

Результатом большой борьбы было то, что я решилась согласиться на предложение о. Серафима. Писать снова исповедь с семи лет мне не хотелось, мне казалось невозможным снова все вспомнить и снова испытывать стыд перед духовником, как я уже испытала в Ельце. Но о. Серафим сказал, что это необходимо. «Я должен о вас все знать», – сказал он.

Пришлось снова писать полную исповедь. Исписала я уйму бумаги и, не перечитывая, отдала ее о. Серафиму, который уходил в Саров. Исповедь мою он прочесть не успел, а взял ее с собой.

Ровно через неделю, 14 июля, пришла из Сарова его духовная дочь. Принесла мне от о. Серафима письмо, где он писал, что исповедь мою прочел, очень рад, что я так откровенно все написала, и звал меня в Саров.

Я ушла в Саров ко всеобщей в тот же день. Вечером о. Серафим долго со мной говорил, прочитал мне разрешительную молитву, и наш союз духовный был закреплен. Во время этой исповеди я почувствовала громадную разницу между мирским священником и монахом-аскетом. Насколько в Ельце о. Владимир все выслушивал безучастно и снисходительно, настолько о. Серафим отнесся серьезно, внимательно, без всякого снисхождения и со многими указаниями. Соответственно этому и облегчение было неизмеримо больше.

Он скоро уехал в Москву, обязав меня писать ему ежедневное откровение и посылать его с оказией в Москву. Кроме того, дал правило пятисотницы.

С этого дня началась для меня новая жизнь.

Во-первых, я почувствовала над собою контроль. Теперь уже зря ничего делать было нельзя. Каждый поступок надо было записывать, и не только поступок, а каждое слово греховное, и анализировать мысли. Каждый вечер я должна была вспомнить проведенный день и записать грехи. Следствием этого явилось желание избегать всех лишних встреч, лишних разговоров.

Постепенно я так к этому привыкла, что откровение стало для меня насущной потребностью. О. Серафим на полях отвечал мне и возвращал обратно записки. В конце августа я поехала через Москву в Елец. После кончины брата мне хотелось побывать на его могилке, видеть мамочку.

Когда я приехала в Москву, о. Серафим послал меня к о. Алексею, он считал необходимым, чтобы я получила от старца разрешение и благословение на его руководство мною. Я поехала на другой день и была принята.

Я рассказала батюшке, как неудачно сложилась для меня моя попытка получить руководство от владыки Николая, рассказала подробно о всех моих переживаниях, начиная с исповеди у о. Владимира Богданова, о моей молитве перед приездом о. Серафима, его приезд, мой переход к нему, об ежедневном откровении, которое я ему посылаю, и в конце спросила: благословляет ли меня батюшка у него остаться.

О. Алексей с необыкновенным интересом слушал мой рассказ. Он сказал, что я была права, оказывая послушание о. Сергию Битюгову, так как при послушании ответ несет тот, кто дает послушание, что приезд о. Серафима – это явная милость Божия, явное послание Божие, и то, что я пользуюсь руководством о. Серафима, есть очевидная воля Божия. Батюшка благословил меня со словами: «Всю мою власть над тобою как духовный твой отец с шестнадцатилетнего возраста передаю о. Серафиму».

«А как же владыка Николай?» – спросила я.

«От него как высшей над нами иерархической власти тебе тоже надо получить на это благословение», – ответил батюшка.

О. Серафим велел мне спросить у старца, как лучше руководить: строго или снисходительно. Батюшка ответил:

«Лучше строгость, но строгость умеренная, чтобы не довести до отчаяния».

С этими результатами вернулась я к о. Серафиму. Это было в августе 1924 года.

Побывав в Ельце недолго, я вернулась в Дивеево. До января жизнь текла обычным порядком. Я все время проводила в работе, занималась с детьми, писала откровения, посылала их с оказией и получала ответы.

С декабря 1924 года у меня начался опять процесс в легком. Температура по вечерам поднималась. Я очень похудела. Местный врач сказал, что, по его мнению, у меня серьезный процесс, и настойчиво советовал показаться специалисту. Слова врача взволновали мою свекровь, и она уговорила меня ехать в Москву.

Отношения мои с нею очень улучшились, так как меня заставлял о. Серафим ломать волю перед ней. Дело это было очень для меня трудное, и я справлялась с ним с трудом, но все же старалась.

Приехав в Москву после Крещения, я показала врачам, которые назначили мне лечение и посоветовали пожить в Москве, чтобы быть под их наблюдением. Деньги на жизнь и на лечение прислала мне мамочка. Она продала свое котиковое пальто и поделилась со мной. Поселилась я у духовной дочери о. Серафима, Софьи Михайловны (которая была с ним в Дивееве). Чтобы не обременять ее, я познакомилась со второй духовной дочерью о. Серафима, Марусей Прозоровской, которая оказалась моей землячкой из Задонска. Так я и жила: неделю у Софьи Михайловны, неделю у Прозоровских.

В первые же дни моего пребывания в Москве о. Серафим послал меня к владыке Николаю, который незадолго до моего приезда вернулся в Москву.

Владыка Николай принял меня как родную дочь. Он был очень ласков, очень добр, заботлив. Полная противоположность обращению о. Серафима, который всегда принимал сухо и даже сурово. Я уже привыкла к такой его сухости, чувствовала от нее пользу и под внешней суровостью чувствовала заботу и любовь к душе своей. О его суровости я писала ему как-то в

откровении, и на полях он ответил: «Да, но это суровость внешняя, а под этой суровостью – глубокое, глубокое желание спасения тебе». Я в это верила и чувствовала, потому его суровость не отталкивала, но все же прием владыки, его ласка, забота, внимание невольно подчеркнули разницу между ними.

Я рассказала владыке все подробно о себе. «Бедная моя детка, к кому ты все попадала», – несколько раз повторил он во время моего рассказа. Когда я досказала ему об о. Серафиме и просила подтвердить благословение о. Алексия, владыка ответил, что для этого должен с о. Серафимом познакомиться лично, и обещал в ближайшее воскресенье побывать в Даниловском монастыре.

В этот день владыка мне рассказал об одном случае из своей жизни, который имел влияние на укрепление в нем безусловной веры в загробную жизнь. После смерти отца-протоиерея в городе N мать их очень бедствовала, они терпели сильную материальную нужду. В самое трудное для них время мать получает денежное письмо. Письмо начиналось так: «Многоуважаемая Матушка. Не знаю, правильно ли я пишу ваш адрес. Но сегодня ночью явился ко мне мой товарищ по семинарии – ваш покойный муж – и сказал мне: «Прошу тебя, помоги моей вдове с детьми, они очень бедствуют». И отчетливо произнес ваш адрес. В тот же миг я проснулся, записал услышанный адрес. Посылаю деньги...» «Этот случай, – сказал владыка, – настолько врезался в мое сознание, что во всю жизнь ничто не могло поколебать во мне веру в загробную жизнь. Много мне пришлось слышать еретических и безбожных мнений, доказывающих, что никакой загробной жизни нет, но я уж с детства знал, что это ложь».

Ближайшее воскресенье совпадало с днем моего Ангела, 12 января. Владыка исполнил свое обещание, побывал в Даниловском монастыре. Я дожидалась его, он задержался, разговаривая с одним иеродьяконом. Мимо меня прошел о. Серафим, поздравил меня с днем Ангела и ничего больше не сказал.

Владыка же, проходя мимо, пригласил меня к себе. Когда я пришла, он не сразу высказал свое мнение. Видимо, он боялся

меня огорчать, но наконец сказал, что о. Серафим ему не понравился, показался очень гордым.

«Я не запрещаю тебе пользоваться его руководством. Я нахожусь в таких условиях, что руководить тобою шаг за шагом, как это делает о. Серафим, я не могу, потому пользуйся им, но отдать тебя ему совсем я не хочу. Я оставляю за собою право отозвать тебя в любое время, когда ты мне понадобишься».

Другой раз он еще говорил так: «Его суровость мне непонятна, я считаю, что он не понимает разницу в натурах, в организмах. Он мерит всех по одной мерке. Он не понимает, что есть организмы хрупкие, которые могут надломиться под напором».

«Я теперь понимаю, почему у тебя началась чахотка – от непосильных переживаний. Разве можно так ломать человека сразу!».

Я передала о. Серафиму только то, что владыка мне разрешает остаться у него под руководством, но отдает не совсем, то есть может меня отозвать. Все остальное я от о. Серафима скрыла. Душа моя разрывалась между двумя. Приду к о. Серафиму, он как будто еще суровее, исповедь принимал по-прежнему, но на вопросы отвечал очень скупой, и часто я читала на полях: «Не знаю, спроси это у владыки».

Владыка принимал меня так ласково, так просто, что поневоле тянуло к нему. Он мне даже как-то сказал: «Если правила о. Серафима тебе будут непосильны, не исполняй их. Даю тебе на это мое архиерейское разрешение, а ему не говори об этом».

Я чувствовала внутренний разлад. Я выбилась из колеи, в которую вошла и за полгода привыкла. Уйти от о. Серафима мне было страшно. Я понимала, что в Москве оставаться долго я не могу. Придется уехать. Писать владыке изо дня в день, как я писала о. Серафиму, я не могла бы. Редкие, короткие записки от владыки не удовлетворяли бы меня после того, как от о. Серафима я получала ответ почти на каждую мысль.

Но с другой стороны, суровость о. Серафима по сравнению с добротой и лаской владыки уже была заметнее. Невольно тянуло к ласке, вниманию, жалости.

Несказанно тяготило меня и то, что я не была откровенна с о. Серафимом как всегда.

Недели три я была в таком состоянии и наконец решила ехать к о. Алексею.

Благословение на поездку я ни у кого не хотела просить, так как чувствовала в душе какое-то ожесточение от внутреннего разлада. Я пошла к Литургии в Даниловский монастырь, и так как у меня было поручение к о. Серафиму от Софьи Михайловны, то после службы я поднялась наверх в корпус, где он жил. Он принимал нас иногда наверху, в кухне. Я молча передала ему присланное и стала уходить. О. Серафим внимательно посмотрел на меня. «Что с тобой?» – спросил он. Я не смогла солгать ему. «Я еду к о. Алексю сейчас». «Зачем?» – «Потому что я измучилась, – ответила я, – пусть о. Алексей решит окончательно, у кого из вас мне оставаться. Благословите меня». Он ничего не ответил, молча благословил меня, и я ушла.

О. Алексей в то время уже жил в Сергиеве Посаде, в маленьком беленьком домике, С ним жил и келейничал о. Макарий. Приехала я к батюшке в сумерках. О. Макарий надолго оставил меня в прихожей, перед комнатой батюшки. За дверью слышался разговор. По доносившимся до меня словам я понимала, что о. Макарий не хочет меня пускать, так как я слишком поздно приехала. Батюшка же отвечал, что он хорошо отдохнул днем. Так как о. Алексей слушался о. Макария, то я не знала, какое будет решение. Горела лампадка у маленькой иконки над дверью. Я стояла и молилась, чтобы Господь вразумил их допустить меня к батюшке.

Наконец о. Макарий вышел и сказал: «Ну иди, да только недолго, ишь как поздно приехала, разве так можно».

На этот раз я много поплакала. Сердце было слишком переполнено. Я рассказала ему все. Батюшка подробно, подробно расспрашивал о руководстве о. Серафима, интересовался каждым его указанием. В них главной нитью проходило отречение от своей воли, то, что владыка называл ломкой. Я ничего не скрыла от батюшки – и мое раздвоенное

состояние и тяготение к ласке владыки, и о внешней суровости о. Серафима.

«Мое мнение и благословение, – сказал о. Алексей, – оставаться тебе у о. Серафима. От его руководства я вижу большую пользу. Польза же от владыки Николая сомнительна».

Это были буквальные слова батюшки. Уходя, я спросила, как сказать владыке об этом. «На усмотрение о. Серафима, – ответил он, – если он найдет нужным, то пошлет тебя к владыке или иначе как-нибудь сообщит».

Я вернулась с облегчением. Когда я все рассказала о. Серафиму, он велел мне самой пойти к владыке и ему передать.

Очень трудно мне было это исполнить, но я исполнила, смягчив несколько слова о. Алексия.

Владыка выслушал молча и, когда я кончила, быстро сказал: «Старец прав, старец прав».

С тех пор я его видала очень редко, раза два или три, не больше. Он уехал вскоре из Москвы и умер в апреле 1928 года.

Одна его духовная дочь, которая, так же как и я, ушла от него к о. Серафиму, передавала мне, что владыка очень тепло отзывался обо мне и жалел, что я ушла. «Как он вас любит, – говорила она, – как мать родная. Он велел вам передать, что если вам тяжело, то чтобы вернулись к нему, в любую минуту он примет вас обратно». Я не искала возвращения к владыке. Я знала и чувствовала его доброе ко мне отношение, чисто материнскую любовь, но понимала, что он слишком снисходителен и что эта снисходительность не полезна мне.

О. Серафим перестал меня посылать к владыке Николаю. Я ему открыла все то, что до сих пор скрывала, то есть о своем мучительном раздвоении между ним и владыкой. Он выслушал все очень серьезно и сказал: «В этом утаивании и был весь корень твоих мучений. Надо открывать все до мельчайших подробностей, тогда никогда такой трудности не будешь переживать».

К этому времени относится обещание, данное мне о. Серафимом, не оставить в будущем моих детей. Я по его приказанию показала еще одному врачу, который нашел мое

состояние не улучшенным и высказал опасение, что может начаться скоротечная чахотка. Будучи под впечатлением его слов, я написала о. Серафиму просьбу после моей смерти не оставить детей. Тогда еще мой вопрос с владыкой Николаем не был разрешен, но у меня отчего-то больше желания было просить об этом о. Серафима. Он просто ответил мне: «Я обещаю тебе это».

Я уже писала о том, что частично во время моего двухмесячного пребывания в Москве я жила у Маруси Прозоровской. Она была старше меня лет на десять. Характер у нее был горячий, экзальтированный. Говорила она много, высказывала свои самые сокровенные мысли. Она болела туберкулезом и считала себя на краю смерти.

Как-то раз, во время одного из наших с ней ночных разговоров, она мне сказала, что ее мечта – получить перед смертью постриг. Эта мысль меня поразила. Несмотря на то, что я несколько уже лет жила рядом с монастырем, мне и в голову не приходило, что можно получить постриг вне монастыря. Я даже не знала, каково значение пострига, думала, что необходима постепенность: сперва рясофор, затем мантия и наконец схима.

От Маруси Прозоровской я узнала, что постриг, подобно крещению, прощает все грехи мирской жизни; прочитав чин пострига, я подумала, что постриг ценно принять именно в молодых годах. «Какой смысл в старости давать обет целомудрия, – думала я. Старики и без обета останутся целомудренными. На их целомудрие никто и не посягнет. Какая же это жертва ради Бога. В молодости же действительно чем-то жертвуешь, от чего-то отказываешься ради Господа».

Мысль эта очень заняла меня, но о. Серафиму я ее не открыла сразу. Вскоре после этого наступила масленица.

В среду в Даниловском монастыре была первая великопостная служба. Под впечатлением и разговоров с Прозоровской, и мнения врача, что мне грозит, может быть, скоротечная чахотка, отстояла я эту службу. Мне представлялось, что я скоро умру, что надо не терять времени, служить Господу. После службы подхожу к о. Серафиму и

говорю: «Батюшка, у меня упорный помысел, что мне надо принять постриг». Он даже не удивился, а только спросил: «А как же дети?» – «Дети, не помешают». «Я сам решить этого вопроса не могу, – ответил он, – поезжай к о. Алексею, что он скажет». «Я так недавно у него была, он меня не примет, – сказала я. Решите вы сами». «Нет, не могу, этот вопрос слишком серьезный. Поезжай, если воля Божия на это есть, то ничто не мешает. Если не примет – значит, нет воли Божией. Только пусть о. Алексей сам откажет в приеме, если же о. Макарий, то старайся добиться».

На другой же день я поехала в Сергиев Посад. Приезжаю и встречаю суровый и непреклонный отказ от о. Макария. «Нет, нет, и не проси, ведь совсем недавно была, что за дела такие пошли, и докладывать старцу не буду, у него родные из Москвы. Уезжай, уезжай». Я ушла. Считать ли это указанием Божиим? Нет, это не о. Алексей отказал. Надо добиваться.

Мне пришло в голову пойти к наместнику Лавры о. Крониду, которого мы знали почти с детства. Он жил в двух верстах от Сергиева Посада, в Черниговском скиту. Через час я сидела уже в приемной о. Кронида и ему рассказывала о своем деле. Все подробности о себе я не рассказывала, а лишь о болезни, страхе смерти, о желании принять постриг и о том, что о. Серафим хочет знать об этом решение о. Алексея. О. Кронид отнесся ко всему очень серьезно и сочувственно. Он успокоил меня, что батюшка меня непременно примет, что он сам пойдет хлопотать за меня перед о. Макарием и чтобы я пришла к пяти часам вечера к о. Алексею.

Ровно в 5 часов я пришла к дверям батюшкиного домика и от страха села на крылечке. Я боялась постучаться. «Дождусь, когда о. Кронид выйдет», – думала я.

Сидела я недолго. Открылась дверь, и я услышала ворчливый голос о. Макария, но уже с добродушным оттенком. «Ишь, непослушная, к наместнику пошла, нет чтобы Макария послушаться, надо наместника беспокоить. Ну уж иди, иди, нечего тут мерзнуть».

Я вошла в ту же прихожую. Слышу, что о. Кронид с батюшкой пьют чай и тихо о чем-то говорят. Слов я не слышала.

О. Кронид вышел и сказал мне: «Идите к старцу, он вам все сам скажет». Батюшка, как обычно, лежал на своей кровати. Через минуту вошел о. Макарий. «Убирай посуду, – сказал батюшка, – и уходи к хозяйевам, она мне прислужит, если что понадобится».

«Ну, вот теперь можно спокойно поговорить», – сказал он, когда я вернулась, закрыв за о. Макарием дверь.

Он сперва пытался меня отговорить. Говорил о трудности правила монашеского, о том, что накладывается на постриженного. Что, живя в миру, мне очень трудно будет не нарушить монашеского правила. Сперва я что-то отвечала, а после замолчала и плакала. Я почувствовала страх, так как увидела, что батюшка говорит о постриге в мантию, я же думала о рясофоре. Потом батюшка начал говорить о том, какое счастье в молодости послужить Господу, похвалил мое это желание и снова говорил, что это будет для меня трудно. «Ну, что же, батюшка, – сказала я, – значит, нет на это для меня воли Божией!»

Тогда батюшка решительно сказал: «Ну как уж Господь решит. Дай мне вон ту книгу», – и он указал мне на тоненькую книжку в переплете, лежащую на аналое. Я подала требуемую книжку и стояла молча, глядя на него. Батюшка быстро открыл книжку и стал читать про себя. Лицо его необычайно просияло. Он сел на кровати и сказал: «Подойди ко мне, я тебя благословлю на принятие монашеского пострига». Благословив, он прибавил: «Дай Бог тебе быть хорошей монахиней и хорошей матерью. Не оставляй детей». Я спросила у о. Алексия об имени монашеском, он ответил: «Это уж какое о. Серафим даст».

После, еще недолго поговорив со мной, он отпустил меня. Я поспела на вечерний поезд. По дороге я записала все слова батюшки и по приезде передала их о. Серафиму. На другой день о. Серафим подробно расспрашивал меня обо всем, с интересом слушал, но ничего определенного не сказал.

Через два дня начинался Великий пост. По разрешению о. Серафима я стояла все службы и постилась. И несмотря на это, здоровье мое заметно стало поправляться. Я перестала кашлять. Температура спустилась. На четвертой неделе Поста я

показалась врачу, который сказал, что все явления в легких у меня затихли и я могу ехать домой, но с тем, чтобы там продолжать тот же режим, Я обещала, но не сказала ему, какой «режим» был у меня последний месяц.

О. Серафим, узнав о словах врача, очень был доволен и велел мне уезжать. «А как же постриг?» – спросила я, удивленная. Но он спокойно сказал: «О. Алексей поручил это дело мне, сейчас я не собираюсь тебе постриг давать. Если решу, то напишу тебе».

Я была огорчена, но, как всегда, от меня требовалось отсечение воли. Сейчас особенно. Я уехала с обычным благословением о. Серафима писать ежедневно. На этот раз он требовал это настойчивее.

Вернувшись в Дивеево, я продолжала прерванную жизнь с детьми, за мое отсутствие умер мой свекор. С детьми возни было меньше, они уже отболели всеми детскими болезнями и были этот год совершенно здоровы. Время незаметно прошло до лета. За это время у меня было лишь одно смущение. Приезжал к нам о. Александр Гумановский и, узнав, что я пишу откровение о. Серафиму, стал уверять, что для о. Серафима это бесполезно и потому он бы советовал мне прекратить. Я в порядке откровения об этом о. Серафиму написала, он ответил, что не надо обращать внимания на то, что говорят, а что с о. Александром он переговорит по этому поводу.

В июне месяце, в самый праздник Владимирской Божией Матери, поздно вечером к нам приехала одна духовная дочь о. Серафима, она привезла мне мои записки, где на полях было написано: «Приезжай, постриг дам».

Я прочла эти слова поздно ночью и совсем заснуть уже не могла от волнения.

Перед этим за несколько дней мне пришлось быть у легочника-врача в сорока верстах от Дивеева с одной больной женщиной. Врач, Сперанский А. В., в свое время лечил моего мужа и поинтересовался моим здоровьем. Надо сказать, что результаты лечения в Москве к весне у меня сошли почти на нет. Я снова кашляла и температура опять поднималась. Выслушав меня, Сперанский сказал: «У вас значительно

процесс спустился, теперь уже не только верхушка легкого задета, но и под лопаткой. Надо вам опять лечиться». Но мне лечиться уже не хотелось. Я предавала себя в волю Божию, так как видела, что лечение помогает ненадолго.

Предстояла мне большая трудность. Достать монашескую одежду, но так, чтобы никто не догадался, что это для меня. В начале июля я поехала в Саров и там по дороге в ближнюю пустыньку у часовенки с иконой Божией Матери Владимирской молилась о помощи в этом деле. Вернувшись, я начала доставать одежду и все получила в неделю. Единственного человека я посвятила в это: Елену – келейницу блаженной Марии. Она мне все помогла достать, как будто для себя. Блаженная в то время меня хоронила. Она по ночам просыпалась и начинала петь по мне заупокойные молитвы. Об этом знали все, и так как я болела, то все были уверены, что я скоро умру, да я и сама так думала. Но Господь судил иначе. О. Серафим написал мне, что уезжает в отпуск, но к первому августа приедет, чтобы я к этому дню приезжала. На этот раз с трудом я отпросилась у своей свекрови. Она не хотела меня отпускать и отпустила с условием, что я скоро вернусь.

Приезжаю в Москву числа 3-го. Узнаю, что о. Серафима нет и есть слух, что он не вернется до сентября. Что делать? Если бы не условие, данное моей свекровью, я бы терпеливо ждала, но мне надо было возвращаться. Я так и решила, что уеду, так как к тому времени страх у меня к постригу возрос необыкновенно. Но все же я не решилась поступить самочинно и поехала к о. Алексию. Он не разрешил мне уезжать, а надумал, что я могу от его имени обратиться к владыке Пахомию.

Я, вернувшись от батюшки, пошла к владыке Пахомию, который сказал, что по благословению батюшки он не отказывается, и пока велел мне у него исповедоваться. Назначил день. Мне очень не хотелось этого. Еле-еле пересилила себя, пошла, но по дороге все молилась, чтобы Господь отвел от этого. Владыка Пахомий оказался занятым и отказал мне, и когда я пришла на другой день в Даниловский, то узнала, что о. Серафим приехал.

Я у него исповедалась и рассказала, что была у о. Алексия и что он ввиду отсутствия его велел обратиться к владыке Пахомию.

О. Серафим через несколько дней сказал мне, что раз о. Алексей назначил мне владыку Пахомия, то пусть владыка Пахомий и дает мне постриг. Как я ни умоляла, как я ни доказывала, что речь о владыке Пахомии зашла только из-за отсутствия о. Серафима, батюшка был неумолим. Я исповедовалась у него ежедневно, он много говорил со мной, но дня пострига пока не назначал. Один вечер я сказала ему, что у меня такой страх перед постригом, что я отказываюсь от него. «Как отказываешься?– гневно сказал о. Серафим. Хотела, просила, получила благословение, а теперь отказываешься? Нет, добивалась и теперь неси». Потом он прибавил: «Завтра же иди к владыке Пахомию и проси его назначить день».

Все это было сказано так решительно, так сурово, что я не посмела ослушаться. Это было 20 августа. Владыка назначил на 22 число утром до Литургии.

Накануне вечером после службы я подошла к о. Серафиму. Он не исповедовал меня в этот день, но немного поговорил. Меня поразило, что он был в этот вечер мягкий и даже ласковый. Благословляя меня, он встал и, глядя задумчиво на икону Божией Матери, сказал: «Не бойся, мы поручим тебя Царице Небесной».

Эти слова, сказанные так задушевно, так тепло, на всю жизнь остались у меня в памяти.

Постриг совершился утром 22 августа 1925 года в старом соборе Даниловского монастыря между ранней и поздней Литургией. В храме, кроме владыки Пахомия, о. Серафима и меня, никого не было.

О.Серафим подводил меня и покрывал своей мантией, а владыка Пахомий постригал и сам пел.

Было что-то необыкновенно трогательное во всем этом. У о. Серафима на глазах я видела слезы. И у меня на душе было тихо и хорошо. После пострига оба благословили меня, и владыка сказал мне слово в предостережение от прелести. Сейчас, спустя много лет, вспоминая и переживая вновь то

время, я вижу во всем глубокий смысл. Тогда мне хотелось, чтобы постригал меня о. Серафим. Теперь же в том, что он меня подводил, я вижу особое значение. Он как бы вел к Богу душу, которой он руководил и довел до желания посвятить себя Господу.

Я пробыла в Москве до 11 сентября и ежедневно причащалась. 13-го ко всеобщей под Воздвижение креста Господня я приехала в Дивеево. Настроение у меня было чудесное. Я была полна желанием служить Богу и детей воспитывать для Него Единого. Мне казалось, что это совместимо вполне. Мне было определено правило. Жизнь около монастыря с новым чувством, с новыми внутренними обязанностями, о которых никто не должен был знать, казалась мне раем. Но не успела я провести так и двух дней, как получила телеграмму от сестры Кати, что у мамочки случился удар. Доктора считали, что больше десяти дней она не проживет. Сестра спешно меня вызывала. Я послала телеграмму о. Серафиму через Прозоровскую, спрашивая, что мне делать. Он ответил, чтобы я ехала. Я опять пустилась в путешествие. В Москве я была от поезда до поезда, так как торопилась в Елец. Маму застала в очень тяжелом положении. Кроме кровоизлияния, лишившего ее всей левой стороны, было и какое-то психическое расстройство. Она чувствовала руку и ногу с копытом. Перед ударом во сне она говорила с каким-то гадом, гнала его от себя, а он ответил: «Уйду, но не совсем». Ежедневно ей казалось, что она умирает. Сильные боли во всей отнятой стороне требовали ежедневно наркотических средств. Я провела около нее до 8 октября и наконец, отчаявшись в какой-либо возможности улучшения, стала ее уговаривать принять постриг. Мне казалось, что постриг снимет все грехи и ей сразу станет легче. О моем постриге она ничего не знала. К моему удивлению, она несколько не удивилась моим словам, а просто сказала: «Я согласна, только надо получить благословение о. Алексия. Поезжай к нему и спроси».

Я 9-го отправилась в Москву. Приезжаю к о. Серафиму, рассказываю ему все. Он мне сказал, что за последнее время о. Алексей перестал принимать, а если кого и примет, то делает

вид, что не узнает. Пошел слух, что батюшка впал в детство. «Но ты не смущайся, – научил меня о. Серафим, – а скажи ему: «Батюшка, не притворяйтесь, у меня очень важное дело».

Так в точности и случилось. О. Алексей сделал вид, что видит меня в первый раз, но когда я повторила фразу о. Серафима, батюшка рассмеялся и спросил: «Кто тебя научил так сказать?»

Мы говорили с батюшкой долго и серьезно. Он расспрашивал обо мне, потом о маме. Сказал, что он совершенно не знает сейчас ее устройства и хотел бы кому-нибудь поручить это дело. Но кому, никак не мог придумать. Наконец остановился на о. Серафиме. Он велел мне просить о. Серафима съездить со мною в Елец и чтобы батюшка на месте решил, можно маму постригать или нет. «Всю мою власть над работой Божией Анастасией передаю о. Серафиму», – сказал батюшка.

В это мое свидание батюшка очень строго говорил о необходимости исполнения правила. Он сказал: «Монахиня, не исполняющая правило, не монахиня, а хабалка».

Как часто впоследствии я вспоминала батюшкины слова, укоряя себя.

Вернувшись в Даниловский монастырь, я получила согласие о. Серафима на поездку к маме тотчас же, но начальство его не сразу разрешило ему поехать. Только 18-го числа уехали мы с ним в Елец. Маму застали точно в таком же положении. То же умирание, то же ощущение копыт и те же обезболивающие наркотики.

В первый же день приезда о. Серафим ее исповедовал часа три. После мама говорила, что за всю жизнь никогда так не исповедовалась. Он причащал ее три дня подряд, соборовал и наконец 21-го, под праздник Казанской Царицы Небесной, постриг с именем Митрофания, в честь св. Митрофана Воронежского. После праздника Казанской Божией Матери, на праздник Скорбящей Царицы Небесной, я ездила с о. Серафимом в Задонск, где он никогда не был. Вернувшись, он прожил у нас в Ельце еще несколько дней и вернулся в Москву один. Я же осталась ухаживать за больной. Сразу после

пострига прошли у нее все психические явления. Прошло ощущение копыт, прошло умирание, прошли боли, так что наркотики все отменили, но паралич остался. Мама прожила еще семь лет и скончалась тихо-тихо, жизнь ее последние два или три года была праведная и скончалась она необыкновенно светло. Таково было мнение всех живших с нею и за нею ухаживавших.

Я прожила в Ельце до Рождества, накануне сочельника я уже была в Дивееве. О. Серафим торопил меня к детям на этот праздник.

На святках я была с детьми в Сарове. Говела там и приобщалась у саровского духовника о. Гурия. Он понравился мне очень, но о постриге я ему ничего не говорила. Он был очень простой, малограмотный, и мне казалось, что он не одобрит пострига вне монастыря, и я не решилась ему сказать.

За то время, что я была в Ельце, я показалась всем елецким врачам, и они единогласно нашли у меня следы глубокого процесса под лопаткой, но совершенно зарубцевавшиеся. Не было сомнения для меня, что это было исцеление после пострига, так как в июне перед постригом процесс, по уверению специалиста Сперанского, был в разгаре. С тех пор все явления в легких у меня прошли. Рентген всегда показывает очаг плотного затемнения (старый процесс), который напоминает мне о явном чуде надо мной по милости Божией.

В конце января меня опять вызвали в Елец, но когда я доехала до Москвы, о. Серафим сказал мне, что он списался с моими, не могут ли они обойтись без меня. Он не хотел, чтобы я опять покидала детей. В день моего приезда он получил ответ от моей сестры, что я могу не ехать.

Он расспрашивал меня о том, где я говела, и, узнав, что в Сарове у о. Гурия, благословил продолжать у него говеть, но о постриге, соглашаясь со мной, говорить не велел.

Я уехала домой. Говела у о. Гурия, а о. Серафиму продолжала писать как обычно. В конце февраля я получила от него письмо, что он передает меня о. Гурию и велит мне прекратить посылать ему ежедневные исповеди, а все это отдавать о. Гурию. «Я тебя не отдаю совсем, а как директор

порукает дела помощнику, так и я поручаю тебя о. Г. От времени до времени буду контролировать тебя, – писал он. Что скажет тебе о. Г., то говорит тебе Бог...» Это было очень неожиданно для меня и трудно. О постриге говорить о. Гурию было нельзя, исповедоваться поэтому было трудно. Писать ему приходилось крупными буквами, мои обычные записи для него не годились. Но делать нечего, надо было отсекал свою волю.

В начале 1926 года заболел скарлатиной Алеша. Его взяли в монастырскую больницу вместе со мной. Через пять дней я заболела сама. К нам приставили сиделку, так как я болела очень сильно. Десять дней я была между жизнью и смертью. Врач считала мое положение очень тяжелым, но по милости Божией я осталась жива.

В день, когда мне особенно было плохо, мать игуменья Дивеевского монастыря разослала сказать по послушаниям, что я умираю и кто жалеет сирот, пусть помолится ночью 150 раз Богородице. На эту просьбу матушки откликнулся почти весь монастырь. Об этом я узнала уже после. Записываю это для детей, чтобы воспоминание их о дивеевских сестрах было благодарным.

Поправляться я стала быстро, но шелушение шло медленно, так что меня продержали в больнице больше двух месяцев. Алешу же выпустили раньше. От о. Серафима за время моей болезни я получила два письма. Отвечала я ему коротко, так как сама писать не могла, а диктовала письма через Екатерину Ивановну Галактионову, которая ежедневно подходила ко мне под окошко. От нее я узнавала все внешние новости. Между прочим узнала о том, что в Дивеево как бы на поселение приезжают два епископа: еп. Филипп и еп. Серафим (Звездинский). Я, сидя в своем невольном заточении, много читала духовных книг и без конца записывала всякие мысленные грехи. Накопилась толстая тетрадь. О. Серафиму, не посылала, так как его не было в Москве. Он уехал в отпуск на три месяца. О. Гурию отдать ее тоже было нельзя, так как надо было бы все переписать крупными буквами. У меня на это не хватило ни энергии, ни бумаги. Так я эту тетрадь и спрятала,

но, привыкнув на каждую мысль получать разрешение, я чувствовала, как эта спрятанная тетрадь тяготит меня.

Домой я вернулась 4 июля. В этот же день приехали в Дивеево оба епископа, а к нам в дом прибыл гость – племянник некоего князя, фамилию его я не помню. Во время моей болезни хорошие знакомые Петиной матери приезжали с князем в Дивеево и останавливались у нас. А племянник уже по следам дядюшки к нам приехал позднее. Этот молодой человек особенное внимание уделил мне; проводя у нас несколько дней, он от меня не отходил. Вероятно, нужно было мне пройти это искушение. Сам он мне не нравился, но речи его были очень искусительны. По вечерам мы с ним сидели чуть ли не до утра, и он всегда начинал душевные беседы, во время которых усиленно звал меня обратно в столицу, убеждал не погребать себя в провинции и т. д. К несчастью, его слова падали на благодатную почву. Я приняла помысел, что я слишком поспешно решила шаг, отрешавший меня от мира, что он прав: ради детей я должна переехать в столицу и жить иначе. Меня охватила тоска по миру, с одной стороны, с другой – ужас, что я мысленно нарушаю обеты. По привычке записывая откровение по вечерам, я подумала, что мне некому их исповедовать: о. Гурий о монашестве моем ничего не знал, о. Серафима не было в Москве. Мой искуситель ушел от нас в Саров, а через день пошла туда и я. Подсознательно у меня было желание его еще видеть и послушать лишний раз его речи. Не могу этого скрыть, так как такое мое состояние повлияло на перемену в моей жизни.

Исповедь у о. Гурия на этот раз ничего не дала, до сих пор у меня еще не было переживаний, связанных с постригом и данными обетами, поэтому я говорила о. Гурию все и получала облегчение, но на этот раз искушение было связано с мысленным нарушением обетов. Без этого не было в моем желании уехать особого греха, даже если бы я пожелала выйти замуж – это не могло считаться тяжким грехом для мирской, светской женщины, какой меня считал о. Гурий. Он так и ответил мне, что мое желание уехать вполне понятно в моем возрасте.

Я не виню его, ведь он же не знал о моем монашестве – что же другое он мог сказать?

Я вернулась из Сарова без облегчения, с жадной подробной откровения. Но к кому идти? Я передана была о. Гурию. Без его разрешения я ни к кому не имела права идти на исповедь. Но под каким предлогом испрашивать на это разрешение о. Гурия? Мне помогло в этом случае состояние моего здоровья.

Скарлатина дала осложнение на сердце, у меня опухли ноги. Ссылаясь на это, я написала о. Гурию просьбу разрешить мне исповедоваться у одного из вновь прибывших епископов. Я называла сама владыку Филиппа, так как он был знаком с моей свекровью, знал покойного мужа и несколько раз уже у нас был. Мне казался он доступнее для меня. Мое письмо в Саров понесла Анна Григорьевна. Ответ она мне принесла накануне праздника Умиления Божией Матери, 27 июля. О. Гурий не сразу ответил на мое письмо, он его прочел, а за ответом велел ей прийти перед ее уходом из Сарова. Когда она пришла, он сказал: «Передай ей: Бог благословит ее к владыке Серафиму».

Ответ о. Гурия очень был мне не по душе. За это время было уже несколько архиерейских служб в Дивееве, и владыка Серафим не произвел на меня никакого впечатления. Близко я его не знала, слышала, что он приехал с двумя духовными дочерьми. Я воображала себе трудность проникнуть к нему, так как мне говорили, что он никого не принимает. Владыка Филипп мне нравился все больше и больше.

В день возвращения Анны Григорьевны из Сарова приехал к нам снова о. Александр Гумановский. Во время всенощной, глядя на служащего владыку Серафима, у меня все больше и больше являлось нежелание к нему идти и пришла мысль испытать еще раз волю Божию, переспросить у о. Александра Гумановского. «Он знает хорошо о. Серафима, он мне скажет, не обижу ли я его тем, что пойду к епископу Серафиму», – думала я. У меня была тайная надежда, что о. Александр отговорит меня, я знала, что он уже был в хороших отношениях с о. Серафимом, и он сам сказал мне, что берет свои слова назад, насчет моего откровения о. Серафиму. У меня была даже

мысль: лучше ни к кому не пойду, только не к этому владыке. Подсознательное чувство было и то, что если я пойду к нему, то ему надо говорить все. Это не о. Гурий, которому душу можно открыть наполовину. Между тем по внешнему виду владыки душа моя к нему не тянулась.

Я так и сделала, как хотела. Переспросила о. Александра. Он мне, не задумываясь, ответил, что, по его мнению, о. Серафим не только не обидится, но будет очень рад. «Вам громадная польза будет от общения с владыкой. Ведь это же исключительный человек. Я помогу вам в этом. Напишите письмо владыке, попросите его вас принять, а я письмо передам и со своей стороны попрошу».

Слова о. Александра прекратили мое колебание. Я написала письмо, которое он передал владыке 30 июля. Владыка не особенно охотно и лишь под влиянием просьбы о. Александра согласился и назначил мне прийти к нему 3 августа в понедельник к часу дня. 31-го о. Александр уезжал от нас и попросил меня сопровождать его по святым местам Дивеева, а также провести его в больницу монастыря, где он обещал побывать. По дороге мы издали увидели владыку Серафима. Он гулял около могил дивеевских блаженных. «Подойдите к нему, – попросила я, – познакомьте меня с ним, мне легче будет пойти к нему в понедельник». «На обратном пути», – ответил он, – «Он же уйдет». «Не уйдет, я его перекрещу», – и с этими словами о. Александр осенил издали владыку крестным знаменiem: «Владыка святой, погуляй здесь до нашего возвращения».

Мы шли назад часа через два, так как о. Александр очень задержался в больнице; владыка гулял на том же месте. «Вот видите, я вам говорил», – торжествовал о. Александр. Мы подошли, и он представил меня владыке. Тот благословил меня и молча на меня смотрел.

«Владыка, – сказала я, – вы мне назначили прийти в понедельник в час, а нельзя ли в 11 часов утра? В час дня у нас обед».

«Можно, – ответил он, – в 11 часов».

Он смотрел на меня пристально, как будто читал что-то в моей душе. Когда мы отошли, я подумала: «Да, если пойду к нему, то надо говорить все или ничего». В этот миг у меня что-то сжалось в сердце и вспомнился о. Серафим. «Имею ли я право так делать?» – подумала я. «Что скажет тебе о. Гурий – то говорит тебе Бог», – вспомнились слова батюшки в письме. Этим я успокоила себя.

О. Александр уехал в этот же день. Я с детьми ходила его провожать далеко в поле. Он просил меня, не колеблясь, идти к владыке.

«Вы не можете себе представить, какую пользу вы от него получите. Вы будете мне благодарны», – говорил он.

«Не думаю», – уныло ответила я, а про себя подумала: «Господи, если бы была надежда на скорое возвращение о. Серафима, ни к кому бы я не пошла». Незадолго перед этим я получила от о. Серафима письмо из Киева, где он писал, что заболел и задерживается, когда вернется, не знает.

«А я уверен, что будете очень благодарны», – сказал о. Александр.

Он уехал, а я два дня мучилась внутренним разногласием. Бесчисленное количество раз я передумывала, то я решалась идти, то твердо решала, что не пойду. В воскресенье я была у обедни, издали видела владыку, но к нему не подошла.

В понедельник всю Литургию я промучилась от мыслей. Во время евхаристического канона я взмолилась о вразумлении свыше и неожиданно для себя помолилась так: «Царица Небесная, Ты видишь мое мучение, Ты видишь, что мне сейчас не у кого спросить. Поэтому молю Тебя, укажи мне Сама. Я после обедни дождусь владыку, если он мне переменит день или хотя бы час назначенный, то это будет для меня знаком того, что мне идти к нему не надо. Если не переменит, то значит Тебе угодно, чтобы я пошла к нему и говорила все». Эта молитва сразу успокоила меня, и после Литургии я осталась дожидаться выхода владыки. Он не служил в этот день, а молился в алтаре.

Скоро храм опустел, требы все кончились, церковницы успели подмести и прибрать собор, а владыка все не выходил.

Я дожидалась, но начинала волноваться. Было уже около десяти часов, к 11 часам мне надо было идти к владыке, а перед этим необходимо было вернуться домой к детям, накормить их, отпустить гулять.

«Зачем я жду? – думала я. Через час я все равно буду у него и узнаю, отменил он мой прием или нет, тогда и узнаю волю Божию». «Нет, дожись, – говорил мне внутренний голос, – ты сказала, что здесь дождешься».

Несколько раз я подходила к выходной двери с желанием уйти, но опять возвращалась к боковым дверям, через которые всегда выходил владыка. Наконец он вышел, благословил подошедших к нему двух церковниц, потом с улыбкой подошел ко мне и произнес: «Не раздумали?» – «Нет, владыка, – ответила я, – а вы?» – «Нет, не раздумал, в 11 часов я вас жду, ровно в 11 часов», – подчеркнул он. «Что это? – мелькнуло у меня в голове. Неужели он узнал мои мысли?»

В 11 часов я была у него. Он встретил меня серьезно, даже несколько сурово и с первых же слов стал отговаривать меня от исповеди ему.

Он сидел в кресле у стола, а я стояла рядом. «Я человек здесь случайный, – говорил он, – я могу не сегодня-завтра уехать. Какой будет для вас смысл от обращения ко мне?» Он говорил долго, наконец я сказала: «Ну что же, владыка, прикажите мне уйти, тогда я уйду». Он быстро встал с кресла: «Грядущего ко мне не изжену вон, – произнес он с силой, – начинай исповедь».

Я исповедовалась полностью. Я рассказала все, что накопилось у меня на душе, всю мою внутреннюю борьбу последнего времени, с тоской о мире (о монашестве я ему сказала сразу), почему я чувствовала потребность в полной исповеди, о моем отношении к о. Серафиму и к о. Гурию. Рассказала и о внутреннем разногласии, идти ли к нему или нет. Когда я передавала ему об утреннем моем обращении к Царице Небесной с молитвой указать мне, идти ли мне к нему, владыка прервал меня словами:

«И я тебе открою свои помыслы. Мне не хотелось тебя принимать. Сегодня, причастившись, я думал о тебе и тоже

просил указания Божия и решил так: если ты меня дождешься в храме после Литургии, то я тебя приму, приму без оглядки, а если ты не дождешься, а просто придешь к 11 часам ко мне, то я тебе откажу». И еще сказал: «Я сразу понял, когда первый раз тебя увидел с о. Александром, что ты монахиня, и если бы ты утаила от меня, то я бы спросил при разрешительной молитве, как твое монашеское имя».

«Отчего же вы узнали это?» – спросила я. Он улыбнулся и ничего не сказал. После он часто говорил мне: «Сегодня причащаться ты подходила в шляпе, громадной шляпе с пером, я не хотел тебя причащать». Другой раз говорил: «Сегодня ты в мантии подходила, я на тебя радовался».

На следующий день, 4 августа, он служил в церкви на Дивеевском кладбище и я причастилась у него. Долго я испытывала внутреннее раздвоение. Первое время мне казалось, что я изменила о. Серафиму, что я неправильно поступила; я открывала эти мысли владыке, и тот уверял меня, что от о. Серафима он меня не отнимает: «Придет время, – говорил он, – я посажу тебя в лодку, дам в руки два весла и отправлю к о. Серафиму». О. Серафиму я написала обо всем, и когда он вернулся из Киева, ему мое письмо передали. В конце августа я получила от него письмо: «Очень рад за тебя, – писал он, – что ты попала к владыке Серафиму. Это большой выигрыш для тебя. Владыка, великий старец откровения. Будь с ним откровенна во всем. Земно кланяюсь владыке и прошу за тебя».

Это письмо меня совершенно успокоило, и я начала ходить к владыке безо всякого смущения.

Чем чаще я у него была, чем больше я слышала от него живых слов, тем сильнее я к нему привязывалась. В конце концов я почувствовала, что он стал для меня выше о. Серафима. Но как и тогда, когда было надо мною двоевластие о. Серафима и владыки Николая, я мучилась, так и теперь меня мучило сознание двоевластия надо мной. Вопреки совету владыки, который говорил, что время все покажет, что не надо ставить точек над «и», я написала письмо духовной дочери о. Серафима, Софье Михайловне. В нем я писала, что очень

счастлива тем, что имею в лице владыки, и лучшего не хочу, и сама от этого счастья не уйду. Не знаю, показала ли она это письмо о. Серафиму. Как-то в это же время я получила письмо от другой его духовной дочери, Елены. Она мне писала, что слух о моем уходе от о. Серафима проник в Даниловский и что, по ее мнению, на о. Серафима это произвело тяжелое впечатление. Но я продолжала молчать и ничего самому о. Серафиму не писала. Я ушла молчком и угрызений совести уже не чувствовала.

Мои записки не есть откровение помыслов, я просто записываю, как в духовном отношении шла моя жизнь. Оттого анализировать свои мысли и чувства, какие были в то время, не хочу. Думаю все же, что все, со мной случившееся, было не без Промысла Божия. Верно, так нужно было.

Владыка был в Дивеево ровно год и два месяца. Он мне разрешил бывать через день у него на домашней службе вечером. К Литургии до 8 ноября он ходил в храм, а с 8 ноября ему дали отдельную церковь, где он ежедневно служил Литургию почти уединенно. До февраля мне не было разрешено туда ходить, а с февраля 1927 года до дня его отъезда из Дивеева – 8 сентября того же года – я ходила к его Литургии ежедневно. К семи часам утра у него уже кончалась служба. Когда я приходила домой, дети еще спали. Мне это было очень удобно.

По его благословению я приобщалась раз в неделю. Исповедовалась у него накануне. После вечерней службы у себя он оставлял меня почти каждый раз, а иногда днем разрешал прийти и тогда говорил со мной дольше. С того времени, как я стала ходить к его Литургии, он принимал меня реже. «Литургия старца, – говорил он, – это океан милости Божией. Все можно у Господа вымолить за этой Литургией». После каждой Литургии он говорил небольшое слово, Я очень подробно записывала их, но, к сожалению, тетради мои были сожжены. Осталась лишь тетрадь записей того, что он говорил мне на исповеди. Эту тетрадку вместе с записками оставляю, если Бог даст, Алеше.

Алеше в 1926 году в сентябре исполнилось семь лет. Первая его исповедь была у владыки. Заодно с Алешей и Серафима он согласился исповедовать. В день Ангела Алеши, 5 октября, была и первая исповедь Алеши. Владыка подарил ему книжку жития св. Алексия с надписью: «Моему самому маленькому духовному сыну в день первой исповеди. Будь маленьким всегда на зло, расти большим на добро».

Из Дивеева владыка переехал в город Меленки по Казанской железной дороге. Я была у него там несколько раз в период 1927–1930 годов. Последний раз я была у него 26 сентября 1930 года. С тех пор я его не видала, но переписывалась. Все три года я, хотя ездила к нему не очень часто, но писала ежедневные откровения и посылала ему со случаями, которые были, кроме моих поездок. Со мной были у него два раза дети.

13 декабря 1930 года я уехала из Дивеева и поселилась в городе Муроме. Оттуда я еще имела возможность переписываться с владыкой, посылать ему исповеди, но сама у него уже не была. Один раз оттуда к нему ездил Серафим с моим поручением.

Владыка Серафим был сын единовещерческого священника о. Иоанна. Мать его умерла, когда он был совсем маленький. Отец воспитывал его очень строго и в благоговении к храму. Особенный трепет внушался ему к Божественной Литургии и принятию Святых Таин. Двадцати восьми лет он сильно болел и получил исцеление от изображения непрославленного еще тогда преподобного Серафима Саровского. Вскоре он поступил в монастырь. Кажется, в 27 лет получил постриг, 27 сентября (совпадение с днем рождения Алеши). В 1921 году получил архиерейство и назначение в Дмитров. Из Дмитрова был сослан в Зырянский край, оттуда в Аносовский женский монастырь, где пробыл год, а в 1926 году – в Дивеево.

Особое отношение было у владыки к Литургии. Служение Литургии было для него основным делом всей жизни.

Он написал мне надпись на акафисте своего сочинения (Благодарение по принятию Святых Таин). Там были слова «Для Божественной Литургии и солнце светит, и луна и звезды

тихий свет свой посылают, и земля дает плод свой – да будет Св. Агнец на престоле. Весь смысл жизни сей земной не в чем ином, как в постоянном приуготовлении себя к принятию Св. Таин Христовых, молитвенном подвиге, воздержании, чистосердечном покаянии. В таковом приуготовлении к Св. Тайнам и в самом причащении Св. Животворящих Таин Христовых заключается весь смысл жизни христианина. Христианин должен причащаться наивозможно чаще».

В этом была основа его руководства: «Каждую минуту своей жизни помни, что ты готовишься к принятию Святых Таин. Что бы ты ни делала, делай с мыслию, что ты скоро будешь причащаться. Надо почувствовать себя черной тучей, чтобы озариться молнией Святого Причащения».

Владыка очень высоко ставил монашество. «Это святыя стогны, политые потом, кровью и слезами преподобных», – говорил он. Он не был против монашества в миру. Наоборот, он всячески укреплял, поддерживал, возбуждал ревность и желание служить Богу. «Ведь не правда ли, – говорил он мне, – мы с тобой за свое монашество с радостью отдадим жизнь». О старчестве он говорил как об особом даре Божиим. Не каждый духовный отец является старцем для чад своих. Бывает так, что у духовного отца много чад духовных, а старцем он для одного-двух. Это дается Богом. «Я не умею объяснить, почему это так», – говорил владыка. «Ты хочешь познать эту тайну, – говорил он мне, – ты ходишь кругом да около старчества, но еще не проникла в эту тайну». «Когда ты получишь старца, ты будешь его чувствовать около себя всегда».

Другой раз он говорил мне: «Ты познаешь старчество, когда крест твой войдет в рамки терпения и смирения». Он учил, что кто искренно предает себя в послушание духовному отцу, тот каждое слово его считает словом Божиим. «Духовный отец по отношению к такому чаду ничего не делает и не говорит без внушения Божия». Подобное есть и у епископа Феофана в «Пути ко спасению»: «Руководитель дает всегда точное и верное руководство, как скоро руководимый предается ему всей душой и верою, – Сам Господь блюдет такого преданника». Владыка говорил, что в истинном отношении к отцу не может

быть ни зависти, ни ревности, ни обиды, так как все принимается как от руки Господа. Если есть что-либо подобное – значит, нет настоящего отношения.

Он говорил, что чем откровеннее духовное чадо с отцом, чем глубже открывает раны свои, тем ближе оно делает духовного отца. Подобно матери, для которой самое неудачное, убогое дитя дороже здоровых. «Никогда не стыдись открывать грехи, – говорил он, – чем безжалостнее будешь обличать себя, тем больше будет облегчение».

Несколько раз за те четыре года, что я была под руководством владыки, он говорил мне, что за меня перед Богом будет отвечать не он, а о. Серафим. Я не придавала значения этим его словам. Я так внимательно записывала почти каждое его слово, а эти слова умышленно не писала, считая, что он шутит.

В предпоследний раз, когда я была у него в Меленках, он, задумчиво глядя на меня, сказал: «Ты отойдешь от меня... перейдешь к третьему Серафиму и с ним спасешься». Я не поняла тогда, что он хотел сказать, но переспросить не захотела. Тогда мне было больно от мысли, что я отойду от него.

Он любил говорить образами, торжественно, часто мистически, таинственно. Иногда необыкновенно сильно, иногда отечески, ласково. Иногда обличал и говорил: «Я навожу на тебя прожектор, чтобы ты видела, какая ты должна быть и какая есть». Иногда он поражал меня вопросом: «Что ты делала в таком-то часу, я слышал то и то», – и так именно и было.

Однажды я забыла ему сказать один грех, он долго просил меня подумать, вспомнить, нет ли еще чего, затем встал, накрыл мою голову омофором и сказал: «Ну, повторяй за мной, прости меня Господи за...» – и назвал мой грех со всеми подробностями.

«Мне велено тебе сказать...» – часто говорил он, и от этих слов делалось жутко.

Раз он вышел после Литургии из алтаря и, подойдя ко мне, сказал: «Мне велено тебе сказать, как она, которая причащается еженедельно, не находит в себе Божественной

Росы для того, чтобы смочить порох, а наоборот, поджигает его подобно спичке. Взыщу и с пороха и со спички, но со спички больше» (это говорилось об отношениях с матерью Пети).

Другой раз вышел из алтаря с сияющим лицом и, подойдя ко мне, сказал: «Ликуй, Таисия, ликуй, пой Христос Воскресе, мне был голос о тебе, что ты спасешься!»

Он всегда говорил мне, что раз Господь, допустив мой постриг, оставил при мне детей, значит, и главное мое дело – воспитание их.

«Тебе даны две корзиночки, наполни их цветами любви к Богу, веры, христианского воспитания», – говорил он.

Как-то раз я пришла к владыке утром с обоими детьми. Он молча взял Алешу за руку и повел к себе в моленную, поставил перед иконами и начал облачать в полное монашеское одеяние. Дал в руки крест и зажженную свечу. Все это он делал с необыкновенно торжественным видом, соблюдая полное молчание. Алеша, в то время семилетний ребенок, стоял очень смирно. Присутствовали при этом только я и Серафим. Детям казалось, что владыка шутит с ними, Серафим попросил его: «И меня». Владыка ответил: «А тебя – нет». Я же почувствовала во всем этом, конечно, не шутку, а глубокое предсказание. На глазах у меня были слезы, которые я скрыть не могла. Другой раз владыка велел Алеше принести ему ножницы и трижды отрезал ему волосы, потом наклонился и на ухо сказал: «А имя тебе будет... только не говори никому, даже маме». Алеша после сознался мне, что не расслышал. На исповеди владыка мне сказал, объясняя предсказание блаженной Марии об Алеше, что он умрет на Пасху: «Неужели ты не понимаешь, что это значит... Алеша будет монахом...», потом еще прибавил одну фразу, но ее я не могу сказать. Он писал мне: «Следи за детьми, блюди их в строгости, ответ за них дашь, особенно за младшего».

Много он еще мне говорил, и его слова почти все уже исполнились. Я твердо уверена, что и то, что он предсказал об Алеше, сбудется. Потому прошу его не затруднять исполнение воли Божией над собой. Не срывать с себя руки Божией, избравшей его на служение Себе.

На важные вопросы владыка иногда отвечал не сразу. Помолчит, а потом ответит, и уже решительно, как будто получил внутреннее указание. Эта решительность очень успокоительно действовала на душу. Много любви и заботы я видала от него. Он говорил: «Ты пришла ко мне с сердцем, и я отдаю тебе кусочки сердца моего с кровью».

Как-то раз в Меленках я была у владыки, и он сказал мне: «Знаешь, я видел тебя. Вижу, будто подхожу я к воротам Царствия Небесного. У входа стоит экспресс, почтовый поезд, автомобили, рысаки и среди них старая, белая кляча, запряженная в таратайку. Подивился я, иду дальше, вхожу и что же я вижу? Тебя, ты сидишь и облизываешься – видно, уже наелась. «Здравствуйте, владыка», – говоришь ты мне. А я тебе: «Как ты сюда попала?» А ты отвечаешь: «А вы видели, у ворот старая, белая кляча в таратайке стоит, так вот я на ней и приехала».

После я спросила владыку: «Владыка, вот вы часто даете мне надежду, что я спасусь. Как же это будет, ведь я все время столько грешу? Неужели я изменюсь?» Он не сразу ответил, а долго молчал, глядя на меня. Потом сказал: «Ты спасешься покаянием... Грешить ты будешь до самой смерти... но покаяние тебя спасет».

Другой раз в Меленках он в полном облачении после службы сказал мне (при этом правая рука у него была на сердце): «Даю тебе слово, что перед смертью ты будешь причащаться каждый день. Я упросил Господа об этом для тебя. Поверь мне, это так будет. Я не знаю, как и где это будет, но это будет. Видишь, я говорю это тебе, облаченный в полное архиерейское облачение после Литургии. В залог того, что я тебе говорю правду, вот тебе веточка» – и он вынес мне зеленую веточку из алтаря. (Веточку эту я сохранила, она лежит засушенная в тетради, где я записывала слова владыки.)

Он заповедал мне молиться о материальных нуждах святому пророку Илье. «Молись просто и проси, что тебе нужно. Пророк Илья тебе подаст все, что тебе надо».

С 27 сентября 1930 года я его не видала. В январе 1931 года в Муроме я получила от него письмо, где он мне написал:

«Я помолился за тебя: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пошли чаду моему, монахине Таисии, старца по сердцу ея. Ей, ей, буди». И на полях было написано: «Милостивый Господь пошлет тебе старца по сердцу твоему, который тебе все объяснит».

Монахиня Серафима (Осоргина)

Преподобный Серафим в жизни матушки Фамари

Хочется мне теперь вновь перенестись мыслями в Перхушково, в те далекие солнечные, морозные дни, которые я провела там, когда вся природа, весь лес вокруг дома застыли в ослепительном снежном сиянии, а ночью звезды, казавшиеся огромными, шевелились на темном небе, и от сильного мороза иногда раздавались как будто сильные удары в стены: это давали трещины бревна деревянных стен от замерзавшей в них влаги.

Переношусь мыслями в келию матушки Фамари, когда я по утрам сидела у нее и слушала ее рассказы. Из этих рассказов я узнала, почему скит назывался Серафимо-Знаменским, узнала, какую роль играл в жизни матушки преподобный Серафим.

Постараюсь как можно точнее передать рассказы матушки.

После разговора с игуменией Бодбийского монастыря; когда матушка, тогда еще княжна Тамара Марджанова, высказала свое желание стать монахиней, игумения Ювеналия дала ей две книжки: Авву Дорофея и краткое жизнеописание преподобного Серафима, тогда еще не прославленного. Это была первая «встреча» матушки с Саровским подвижником, он впервые овладел ее вниманием, вошел в ее сердце.

В 1903 году, когда в Сарове готовились к торжественному открытию мощей преподобного Серафима, матушка, тогда уже игумения Бодбийского монастыря, посылая одну из своих монахинь за сбором для монастыря по разным городам России, поручила ей непременно быть в Сарове в день открытия мощей и привезти ей иконку, освященную на раке. Посланная монахиня была в Сарове и присутствовала на торжестве прославления преподобного Серафима, но когда она, скромная и смиренная, одна из последних среди огромной толпы богомольцев подошла приложиться к раке с мощами, все иконки были уже разобраны, и ей ничего не досталось. Почти все уже разошлись, а она все стояла перед ракой преподобного и плакала оттого, что не исполнила поручения своей игумении. Из алтаря вышел монах, увидел плачущую монахиню и спросил ее, о чем она плачет.

Поняв ее горе, он вынес из алтаря маленькую иконку преподобного Серафима, освятил ее на раке и передал ее для матушки.

С радостью вернулась сестра в Бодбийский монастырь и привезла иконку матушке. Это была простая деревянная икона с поясным изображением преподобного Серафима, размером приблизительно 12х15 сантиметров. Матушка хранила ее у себя в келии.

Через некоторое время к матушке приехала в гости ее близкая родственница с мальчиком лет шести-семи. Муж ее был известный хирург. Вскоре после приезда в монастырь у мальчика случился острый приступ аппендицита. По мнению монастырского доктора, надо было немедленно делать операцию; боли были сильные, температура держалась высокая, на животе появилась краснота. Послали телеграмму отцу, срочно вызывая его в Бодби. Матушка и раньше звала его приехать вместе с женой и сыном, но он был очень занят и не мог освободиться. Послав телеграмму, матушка сказала своей родственнице: «Ну вот, мы сделали все, что могли в человеческом плане, теперь давай по нашему монастырскому обычаю помолимся».

Призвали священника. Матушка принесла икону преподобного Серафима и положила на грудь мальчику. Он был в бреду и метался. Отслужили молебен. Можно было себе представить, как молились матушка и мать ребенка, – жизнь его была в опасности. Во время молебна мальчик затих и спокойно заснул.

Вечером приехал отец и сразу прошел в комнату больного. Матушка с матерью оставались в соседней комнате. Через некоторое время отец-хирург вышел с расстроенным и недовольным лицом:

– Зачем вы меня вызывали телеграммой? Что вы, шутки шутите? Вы знаете, как я занят!

Жена бросилась к нему, не понимая его слов, его недовольного тона.

– Мальчик совершенно здоров, – объявил хирург.

Это была правда: температура упала, краснота на животе исчезла, не было никакой чувствительности в области аппендикса, ребенок был совершенно здоров. Это было первое чудо, совершившееся от иконы преподобного Серафима.

Вскоре после этого произошло второе чудо исцеления. Заболела монахиня, мать регентша; у нее определили рак горла. Она уже почти не могла глотать, не могла говорить. Отслужили молебен перед иконой преподобного Серафима, и с этого момента монахиня почувствовала, что ей лучше. После молебна она проглотила кусочек просфоры со святой водой. Она начала поправляться и совсем выздоровела от своей страшной и, казалось, безнадежной болезни. Мать регентша просила матушку оставить у нее икону преподобного Серафима.

– Икона осталась у нее, – говорила матушка, – я еще как-то тогда не вполне сознавала, что это действительно чудотворная икона.

Помню живо, как матушка мне все это рассказывала, помню ее голос, помню, как она волновалась, рассказывая о третьем, самом поразительном чуде.

Была в монастыре послушница Ульяша. Послушанием ее было носить на монастырскую кухню дрова, которые были сложены в большом сарае в несколько сажен высоты. Один раз, когда Ульяша брала дрова, они посыпались на нее, и вдруг обрушилась вся дровяная стена, завалив горой несчастную Ульяшу. Когда ее наконец вытащили, она была без памяти. Вызвали доктора, который осмотрел ее. Она была совершенно искалечена, переломаны были руки, ноги, ребра, грудная клетка сдавлена, внутренние органы смещены, – но она была еще жива, сердце билось. Доктор сказал матушке, что Ульяша в таком виде, что помочь ей, сделать что-нибудь нельзя. В общем, из слов доктора матушка поняла, что положение безнадежно.

Ульяша лежала в монастырской больнице, где доктор бывал ежедневно. Она так и не приходила в сознание, но продолжала дышать. Прошло два-три дня, а она все еще была жива, но страшно изменилась: лицо как-то скривилось и посинело. Доктор зашел к матушке после обхода больных и сказал, что, по его мнению, Ульяша этой ночью скончается:

пульса уже почти не было, и доктор удивлялся живучести этого несчастного, раздавленного, исковерканного существа.

Вечером, после вечерних молитв, матушка позвала свою молодую послушницу Фиму и сказала ей:

– Доктор думает, что Уляша скончается сегодня ночью. Я не хочу будить сестер ночью для панихиды, отслужим утром. А ты пойди сейчас к матери регентше, попроси ее дать икону преподобного Серафима, отнеси ее Уляше, положи ей на грудь и положи поклон, чтобы Господь взял ее душу без страданий.

Фима ушла, матушка одна в своей келии молилась.

– Вдруг, – рассказывает матушка, – слышу топот ног, кто-то бежит и прямо врывается ко мне в келию. Это Фима, она задыхается, бросается ко мне:

– Матушка, матушка, Уляша...

– Что, Уляша скончалась? Я же тебе говорила, что мы не будем сестер будить!

– Нет, матушка, Уляша... встала!

– Что-о?!

Матушка, как услышала эти слова, в одну минуту была на дворе и сама почти бежала к больничному корпусу. Видно было, что невероятная весть уже разнеслась по монастырю; везде в окнах зажигался свет, сестры выбегали и спешили к больнице. А когда матушка бегом поднялась по ступенькам больничного крыльца и направилась в комнату больной, в дверях ее встретила сама Уляша, крепко стоявшая на ногах и державшая в руках икону преподобного Серафима. Увидав матушку, Уляша поставила икону на подоконник и сказала: «Матушка, акафист!» (это были первые слова, которые она произнесла) – и положила земной поклон перед иконой. Во время чтения акафиста собралось множество сестер, многие плакали. Невозможно передать радость и умиление всех при виде исцеленной Уляши. Настроение было, как на Пасху.

Уляша рассказала потом матушке все, что с ней было. Последнее, что она помнит, это как она пошла в сарай и страшный грохот свалившихся на нее дров. Потом сразу увидела себя в большом сосновом лесу. Надо сказать, что Уляша, родившаяся и выросшая на Кавказе, никогда соснового

леса, который ей привиделся, не видала. Она говорила, что шла по этому лесу и увидела перед собой согнутую фигуру старичка в белой ряске с палочкой, который уходил от нее. Она спешила, ей так хотелось догнать его, она побежала за ним и... встала, держа в руках икону с изображением этого самого старичка, преподобного Серафима.

А когда матушка стала спрашивать Фиму, та рассказала, что она, по поручению матушки, пошла к матери регентше, взяла у нее икону и понесла в больницу. Фима боялась одна войти к Ульяше – «она такая страшная лежала, лицо все синее» – и позвала с собой другую послушницу. Они вошли, положили икону на грудь умирающей, и вдруг им показалось, что Ульяша вздрогнула. С перепугу молоденькие сестры выскочили из комнаты и стали в щелку смотреть на Ульяшу. Они видели, как сперва тихонько, а потом все сильнее Ульяша начала дышать, а потом понемногу стала двигать руками и ногами, потом вдруг крепко взялась руками за лежавшую на ее груди икону, села на кровати, спустила ноги и встала... Тут Фима сломя голову помчалась к матушке.

На следующий день в обычный час приехал доктор. Матушка велела прямо провести его к ней и ничего ему не говорить. Когда он вошел, матушка сказала, что хочет вместе с ним пройти в больницу посмотреть Ульяшу.

– Как, неужели она еще не скончалась? – спросил доктор и прибавил, что он никогда не видал, чтобы так долго держалась жизнь в совершенно искалеченном теле.

Матушка ничего ему не сказала. Они вместе вошли в больницу и направились в комнату Ульяши. Сама Ульяша открыла им дверь и низко поклонилась доктору. Матушка говорила, что никогда не забудет его лица: он побледнел и невольно попятился. Когда она все рассказала ему по порядку, доктор хотел уйти и только как-то смущенно сказал:

– Ну что же, мне здесь больше делать нечего!

Но Ульяша сама остановила его:

– Доктор, меня исцелил Господь по молитвам преподобного Серафима, но вы старались мне помочь, когда я была без

памяти. Я вам очень благодарна. А теперь очень прошу вас еще раз меня осмотреть.

Матушка тоже настаивала на этом, и доктор внимательно осмотрел Ульяшу. Он нашел, что она совершенно здорова, не было ни одного перелома, сердце, легкие, все внутренние органы работали нормально.

Матушка рассказала мне, что этот доктор раньше был неверующим человеком и что после чуда, совершившегося с Ульяшей, он пришел к вере.

С тех пор матушка никогда не расставалась с иконой преподобного Серафима.

Один раз, в последний год своего игуменства в Бодбийском монастыре, матушка ездила в Тифлис по делам монастыря с одной из сестер и послушницей. Вдруг на безлюдной дороге в горах на карету напала вооруженная толпа горцев, начали стрелять. Одна лошадь была убита, кучер ранен. Матушка держала обеими руками на своей груди икону преподобного Серафима. К счастью, в это время подоспел отряд казаков, который должен был эскортировать карету. Они появились как раз в тот момент, когда карета с одной убитой лошастью и тяжело раненным кучером стояла на дороге под обстрелом. Казакам скоро удалось прогнать горцев. Когда стрельба прекратилась, офицер, соскочив с лошади, подошел и открыл дверцу кареты, которая буквально была изрешечена пулями. Матушка сидела, держа икону преподобного Серафима. Не только она и ни одна из сестер не были ранены, но даже одежды их нигде не были прострелены – а на полу кареты казачий офицер набрал целую пригоршню пуль. Так преподобный Серафим защитил матушку и спас ее.

Напомню, что, будучи настоятельницей Покровской общины в Москве, матушка очень сблизилась с Великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Когда у маленького наследника Алексея Николаевича открылась страшная болезнь, гемофилия, Великая княгиня Елизавета Феодоровна стала просить матушку послать ему чудотворную икону преподобного Серафима. Как ни трудно было матушке расставаться с этой иконой, но в таком

случае она, конечно, не могла отказать и отдала икону Великой княгине для передачи Государыне Александре Феодоровне.

И никогда больше матушка этой иконы не видала! Она знала, что икона стояла у изголовья Наследника, но что случилось с ней, когда Царская Семья в 1917 году была арестована, никто не знал и никогда не узнал...

Это была совсем простая деревянная иконка, похожая на множество подобных икон, но матушка говорила: «Я бы ее из тысячи икон узнала!»

После первых чудес, сотворенных иконой на Кавказе, матушка вставила ее в узенькую серебряную рамочку.

...

Мысль создать новый скит явилась у матушки, когда она ездила в Саров и когда молилась перед иконой Знамения Божией Матери. Действительно, сама Божия Матерь внушила ей эту мысль, как бы поручила ей создание скита. И вот почему матушка Фамарь так хотела создать скит, посвященный Богоматери и преподобному Серафиму.

Много, много чудес совершил еще преподобный Серафим в жизни матушки. Здесь я рассказала только о тех, самых выдающихся, которые мне запомнились по рассказам матушки.

И в Перхушково, уже после разрушения Серафимо-Знаменского скита, когда матушка жила с десятью сестрами под постоянной угрозой ареста, преподобный Серафим не оставлял ее своей заботой. Ничто не обеспечивало материально жизнь матушки с сестрами, но они жили не только не голодно, но помогали многим приезжавшим к ним. Бывали, конечно, и у них более трудные времена.

Раз зимой матушка сильно заболела. У нее был плеврит, она едва не умерла и страшно ослабела. Матушка была великая постница, ела обычно так мало, что можно было только удивляться, чем она жива. Так, например, обед ее состоял обычно из двух печеных картофелин или из одного печеного яблока. А тут, ослабев от болезни, ей вдруг захотелось подкрепиться, и она сказала, что съела бы рыбы. Где было взять свежую рыбу зимой в деревне, в то время когда и картофель с трудом доставали! Поехать в Москву за рыбой

было невозможно – денег на это не было; Сестры ужасно горевали, что вот «матушке рыбы захотелось», а достать негде.

Днем две сестры пошли с ведрами за водой на речку. Они шли по узкой тропинке, протоптанной в снегу, и молились преподобному Серафиму: «Батюшка, преподобный Серафим, пошли рыбки нашей матушке».

Пришли они на речку и видят – в проруби две щуки в воде играют. Это совершенно необычайное явление зимой!

Сестры побросали ведра и бросились бежать домой, так как нечем было выловить щук. Прибежали к батюшке, отцу Филарету. Он схватил сачок и поспешил с ними на речку. А щуки как бы дожидаются и все играют в проруби. Отец Филарет поймал сачком одну щуку, и как же были счастливы сестры, что сумели исполнить желание своей матушки!

Этот случай, да и вся жизнь матушки с сестрами напоминают мне рассказ из «Дивеевской летописи», где видно, как Божия Мать и преподобный Серафим заботились о самых простых, ежедневных нуждах сестер. И в Перхушкове чувствовалось непрестанное реальное общение с небесным миром. Потому и настроение общее, вся атмосфера была всегда светлая и радостная, несмотря на исключительно трудные и тяжелые времена.

25 августа / 7 сентября 1970 г.

Бюсси (Франция)

Блаженная Пелагея Ивановна

**Сказания о Христа ради юродивой подвижнице
Серафимо-Дивеевского монастыря Пелагее
Ивановне Серебrenиковой.
Подвиг юродства Христа ради**

Юродство Христа ради составляет столь редкий, столь трудный и вместе с тем столь высокий христианский подвиг, на который призываются Господом Богом только особенные избранники и избранницы, сильные телом и духом. Эти избранники и избранницы добровольно отрекаются ради Христа не только от всех удобств и выгод житейских, от всех условий и требований общественных, от родства самого близкого и кровного, но и от самого образа и подобия человеческого. Но этого мало; за свои слова и дела они подвергаются самым оскорбительным насмешкам и поруганиям, самым тяжким истязаниям и мукам; и все это переносят с неимоверным терпением, с удивительной кротостью и непостижимой радостью. А между тем, непрестанно возводя очи ума и сердца своего к Богу, постоянно горя духом своим перед Ним, они своими словами или необычайными поступками то грозно обличают и подобно молнии поражают людей могучих и сильных, но несправедливых и забывающих правду Божию, то подобно весеннему благотворному солнцу радуют и утешают людей благочестивых и богобоязненных. Лишенные, на первый взгляд, разума человеческого, они прозревают тайны сердец человеческих, предрекают будущее, врачуют недуги телесные своим словом или прикосновением и избавляют от немощей духовных своими вразумлениями и наставлениями.

К числу таких избранниц Божиих принадлежит Пелагея Ивановна Серебrenикова, Христа ради юродивая подвижница Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губернии Арзамасского уезда.

Происхождение Пелагеи Ивановны

Пелагея Ивановна родилась в октябре 1809 года в городе Арзамасе от купца Ивана Ивановича Сурина и супруги его Прасковьи Ивановны, урожденной Бебешевой. Отец ее Иван Иванович жил довольно богато, хорошо торговал и имел свой кожевенный завод и был человек умный, добрый и благочестивый. В семействе у него, кроме супруги, было два сына, Андрей и Иоанн, и дочь Пелагея. Промысл Божий устроил так, что вскоре он умер, оставив жену свою и трех малолетних детей сиротами. Впрочем, Прасковья Ивановна вскоре вышла за второго мужа, купца Алексея Никитича Королева, тоже вдовца, у которого от первой жены осталось шесть человек детей.

Детство Пелагеи Ивановны, по рассказам ее матери

Алексей Никитич Королев был человек суровый и строгий, и дети его от первой его жены не любили детей Прасковьи Ивановны, поэтому жизнь их в доме отчима, особенно жизнь маленькой девочки Пелагеи, не могла быть покойна и радостна. Неудивительно после этого, что в девочке очень рано зародилось желание уйти от такого сурового отчима, никогда не вступать в среду таких семейных уз и делать все наперекор людям. А это желание совершенно согласовалось с премудрыми планами Промысла Божия. Рано и Господь начал призывать ее к трудному и необыкновенному подвигу. По рассказам матери ее, «с малолетнего еще возраста с дочкой ее Пелагеей приключилось что-то странное: будто заболела девочка и, пролежав целые сутки в постели, встала непохожей сама на себя. Из редко умного ребенка вдруг сделалась она какой-то точно глупенькою. Уйдет, бывало, в сад, поднимет платице, станет и завертится на одной ножке, точно пляшет. Уговаривали ее и срамили, даже и били, но ничто не помогало. Так и бросили». Нельзя из этого рассказа матери не видеть, что Пелагея Ивановна с самых ранних лет обнаруживала в себе необыкновенное терпение и твердую волю.

Выдача в замужества, по рассказу самой Пелагеи Ивановны

Господь, очевидно, призывал свою избранницу к одинокой и притом необычайной жизни; это предчувствовала и сама Пелагея Ивановна, но матери не того хотелось.

Пелагея Ивановна выросла девицей высокой, стройной, крепкой и красивой, и мать, глядя на нее, думала, что при таких ее физических достоинствах найдутся ей приличные женихи, хотя и небогатые, и не посмотрят на странности ее. А самой Пелагее Ивановне крайне не хотелось выходить замуж; какой-то внутренний голос звал ее на иной путь. «Выросла Палага», – говорила впоследствии сама о себе Пелагея Ивановна бывшей в монастыре ходившей за ней старице Анне Герасимовне, – и как всегда водится, лишь только ей минуло 16 лет, мать постаралась поскорее пристроить дурочку-то – выдать в замужество. Вот по старинному обычаю пришел к ней на смотрины невесты со своей крестной матерью один мещанин г. Арзамаса, Сергей Васильевич Серебреников – человек молодой, но бедный и сирота, служивший приказчиком у купца Николая Ивановича Попова. По обыкновению сели за чай и привели невесту – Пелагею Ивановну, наряженную в богатое платье. Пелагея Ивановна, как сама после рассказывала той же Анне Герасимовне, не имея ни малейшего желания выходить замуж, дабы оттолкнуть от себя жениха, взяв свою чашку, стала дурить: отхлебнет чаю из чашки да нарочно ложкой польет на каждый узорный цветок на платье, польет да и пальцем размажет. Видит мать, что дело плохо, – заметят, что дурочка, да, пожалуй, и замуж не возьмут; самой остановить нельзя, еще будет заметнее, вот и научает она работницу: «Станешь, мол, чашку-то подавать, незаметно ущипни ты дуру-то, чтоб она не дурила». Работница, радевшая хозяйке, поспешила в точности исполнить данное ей приказание, а Пелагея Ивановна, лишь прикрывавшая себя своим напускным дурачеством, все это хорошо видела и понимала, да и выдала мать-то свою. «Что это, – говорит, – маменька? Или уже вам больно жалко

цветочков-то? Ведь не райские это цветы». Все это заметила крестная мать жениха и, уходя, говорит ему: «Не бери, Сергей Васильевич; это не дело, что она богата. Ведь и вправду все говорят, что она глупая». «Нет, маменька крестная, – отвечает жених, – она вовсе не глупая, а только некому было учить ее, вот она и такая. Что же, я сам буду учить ее».

Пелагея-то Ивановна чрезвычайно полюбилась ему; и что она не выделяла, дабы отклонить от себя этот нежелательный, ненавистный ей брак, никак не могла отделаться от него, и в 1828 году, 23 мая, едва ей минуло семнадцать лет, была она выдана замуж за этого самого Сергея Васильевича Серебреникова, и брак был совершен в Богословской церкви города Арзамаса и записан в метрической книге этой церкви.

Поездка к старцу Серафиму

Замужней уже женщиной вместе с мужем своим и с матерью ездила Пелагея Ивановна в Саровскую пустынь к подвижавшемуся тогда в ней и всем известному святостью жизни своей и даром прозорливости отцу Серафиму. Старец Божий хорошо принял их, и, благословив мужа и мать, отпустил их в гостиницу, а Пелагею Ивановну ввел в свою келью и долго-долго⁹ беседовал с нею. О чем они беседовали, это осталось тайной между ними.

Между тем муж, долго ожидавший ее в гостинице, видя, что им пора ехать домой, а жены все нет как нет, потерял терпение и рассерженный пошел вместе с матерью разыскивать ее. Подходят они к Серафимовой келии и видят, что старец, выводя Пелагею Ивановну из своей кельи за руку, до земли поклонился ей и с просьбой сказал ей: «Иди, матушка, иди немедля в мою-то обитель, побереги моих сирот-то; многие тобою спасутся; и будешь ты свет миру. Ах, и позабыл было, вот четки-то тебе; возьми ты, матушка, возьми».

Бывший тогда у старца Серафима келейником Иоанн Тамбовцев¹⁰, бывший очевидцем-свидетелем этого события, прибавляет, что «когда Пелагея Ивановна удалилась, тогда старец Серафим обратился ко мне и, положив свои руки мне на плечо, сказал: «Верь Богу, отец Иоанн, – эта женщина, которую ты видишь, будет великий светильник на весь мир».

И без того на все сердившийся Сергей Васильевич, услышав столь странные речи старца да вдобавок еще увидя четки в руках жены своей, обратился с насмешкой к теще своей и говорит ей: «Хорош же Серафим! Вот так святой человек, нечего сказать! И где эта прозорливость его? И в уме ли он? На что это похоже? Девка она что ль, что в Дивеево-то ее посылает, да и четки дал».

Вступление на новый путь жизни

Тайная продолжительная духовная беседа с дивным старцем имела решительное влияние на дальнейшую жизнь Пелагеи Ивановны. И пошла по ее именно воле жизнь ее каким-то странным, необычайным и уродливым по понятию людей, не могущих подобно старцу Серафиму прозирать тайн Божиих, путем.

Подружилась она в Арзамасе с одной арзамасской купчихой по имени Параскева Ивановна, тоже подвизавшейся в подвиге юродства Христа ради, и под ее руководством научилась непрестанной молитве Иисусовой, которая начала в ней благодатно действовать и которая сделалась постоянным ее занятием на всю ее жизнь. Дома целые ночи проводила она в молитве. Одна арзамасская старушка, бывшая сверстницей и подругой Пелагеи Ивановны в молодых годах, рассказывала, что в ночное, от всех сокрытое время Пелагея Ивановна почти целые ночи, стоя на коленях лицом к востоку, молилась в холодной стеклянной, к их дому пристроенной галерее. И это хорошо было известно рассказывавшей старушке, потому что жила она напротив Серебрениковых. «Ну, и судите сами, – прибавляла она в простоте сердца, чуждого высших духовных интересов, – весело ли было мужу ее? Понятно, не нравилось. Эх, да что и говорить? Я ведь хорошо знаю весь путь-то ее; великая была она раба Божья».

С молитвенными всенощными подвигами Пелагея Ивановна стала вскоре соединять и подвиг юродства Христа ради и как бы с каждым днем теряла более и более рассудка. Бывало, что делает? Наденет на себя самое дорогое платье, на плечи – шаль, а голову обернет какой-нибудь самой грязной тряпкой и пойдет или в церковь, или куда-нибудь на гулянье, где собирается народу побольше и помоднее, чтобы все ее видели, судили и пересмеивали. И чем более пересуждали ее, тем более радовали душу ее, которая искренно пренебрегала и красотой телесной, и богатством земным, и счастьем семейным, и всеми благами мира сего. Но зато тем больше и скорбнее

приходилось мужу ее, не понимавшему великого пути ее. И просил, и уговаривал ее Сергей Васильевич, но она ко всему оставалась равнодушной.

Когда 27 июня 1827 года родился у них первый сын Василий, тогда Пелагея Ивановна точно не рада была его рождению. Многие родственницы хвалили мальчика и говорили матери: «Какого хорошенького сынка дал вам Бог», а она ответит во всеуслышание и при муже: «Дал-то дал, да вот прошу, чтоб и взял. А то что шататься-то будет». 13 июля 1828 года родился у них второй сын Иоанн, и на него она так же точно смотрела. И с той поры муж ее перестал щадить ее. Он не мог понять всей высоты ее самоотвержения и полнейшего отречения от самого естественного и самого дорогого чувства материнской любви. Впрочем, оба мальчика вскоре умерли, конечно, по молитве блаженной.

Беды от сродников

И стал муж ее так страшно бить, что она, несмотря на свою здоровую и крепкую натуру, видимо начала чахнуть и порешила во что бы то ни стало окончательно удалиться от него. Через два года родила она дочь Пелагею, и как только родила, даже не глядя на дочку, в подоле платья своего принесла ее к матери и, бросив на диван, сказала матери: «Ты отдавала, ты и нянчись теперь, я уже больше домой не приду». И забежала она по городу от церкви до церкви; и все, что ни давали ей жалости ради или что ни попадало ей в руки, все уносила она с собой и раздавала нищим или ставила свечи в церкви Божией. Муж, бывало, поймает ее, бьет чем ни попало, поленом – так поленом, палкой – так палкой, запрет ее, морит голодом и холодом, а она не унимается и твердит одно: «Оставьте, меня Серафим испортил». Не покоряясь мужу, она всячески старалась уклониться от сношений с ним. Выведенный из терпения и как бы обезумевший от гнева Серебреников, переговорив с матерью ее, решился прибегнуть к следующей страшной мере: притащил ее в полицию и попросил городничего высечь упрямую и непокорную жену. А бывший в то время городничий из угождения мужу и матери велел привязать ее к скамейке и так жестоко наказал, что присутствовавшая при этом и тоже просившая наказать ее мать ее, как сама впоследствии все это рассказывала, содрогнулась и оцепенела от ужаса. «Ключьями висело тело ее, – передавала Прасковья Ивановна, – кровь залила всю комнату, а она, моя голубушка, хотя бы охнула. Я же сама так обезумела, что и не помню, как подняли мы ее и в крови и в ключьях привели домой. Уж и просили-то мы ее, и уговаривали-то, и ласкали – молчит себе да и только».

В следующую после этого ночь городничий, столько поусердствовавший при наказании Пелагеи Ивановны, увидел во сне котел, наполненный страшным огнем, и услышал чей-то неизвестный голос, который говорил ему, что этот котел приготовлен для него за столь жестокое истязание избранной рабы Христовой. Городничий в ужасе проснулся от этого

страшного видения, рассказал о нем и запретил по всему вверенному ему городу не только обижать, но и трогать эту безумную, или, как говорили в городе, испорченную женщину.

Сергей Васильевич и сам подумал, что его жена, может быть, и вправду, как говорили в городе и как она сама твердила, испорчена, и попробовал прибегнуть к духовному врачеванию. Он поехал с нею в Троице-Сергиеву Лавру.

Кратковременное изменение в поведении Пелагеи Ивановны

Во время этой поездки произошла внезапная перемена с Пелагеей Ивановной: она как бы и вправду избавилась от своего тяжелого недуга и сделалась такой кроткой, тихой и умной, что муж ее не помнил себя от радости. Он послушал ее доброго совета, безбоязненно и с полнейшим доверием вручил ей деньги и все прочее и одну отпустил ее домой, а сам отправился в другое место по весьма важному и неотлагательному делу.

Поспешив окончить это дело свое и горя нетерпением, возвращался он домой в радостном ожидании, что наконец-то обретет он столь давно потерянную, любящую и любимую жену свою. Но каков же был его ужас и гнев, когда узнал он, что Пелагея Ивановна все до малейшей полушки и до последней вещи раздала Бог знает кому и ведет себя хуже прежнего, что возвратилась в город какою-то нищею да и в доме-то все старалась раздать, что только могла.

Новые истязания

Как на лютого пса или на дикого зверя заказал Сергей Васильевич железную цепь с таким же железным кольцом и сам, своими руками заковал в нее Пелагею Ивановну и приковал к стене, и издевался над нею, как ему хотелось. Иногда несчастная женщина, оборвав цепь, вырывалась из своего дома и, гремя цепью, полураздетая бегала по улицам города, наводя на всех ужас. Всяк боялся приютить ее или помочь как-нибудь, обогреть или накормить, или защитить от гонений мужа. И вот несчастная вновь попадала в свою неволю и должна была терпеть новые и более тяжкие мучения. «Ведь безумною-то я хотя и стала, – говорила она сама впоследствии, – да зато много и страдала. Сергушка-то (муж) во мне все ума искал да мои ребра ломал; ума-то не сыскал, а ребры-то все поломал». Действительно, одна благодать Божия подкрепляла ее, как свыше предназначенную избранницу Божию, и давала ей силу, переносить все то, что с нею тогда делали.

Раз, сорвавшись с цепи, она в страшную зимнюю стужу полунагая приютилась на паперти одной арзамасской церкви, называемой Напольной, в приготовленном по случаю эпидемии для умершего солдата гробе, и здесь полуокоченелая ждала себе смерти. Завидя церковного сторожа, она бросилась к нему, моля о помощи, и так напугала его, что тот в ужасе от этого привидения (как ему подумалось) забил страшный всполох и встревожил весь город. После этого Серебренников совершенно отрекся от жены своей, выгнал ее вон из дому, притащил к матери и там оставил ее.

Новые скорби от сродников

Новая долгая и мучительная жизнь потянулась для избранницы Божией в доме ее матери. Дом этот вроде как должен был бы быть близким и родственным, но он сделался для нее совершенно чуждым и мучительным. Мы сказали прежде, что мать ее, Прасковья Ивановна, вышла за второго мужа, арзамасского купца Алексея Никитича Королева, у которого от первой жены было шесть человек детей: четыре дочери и два сына. Вся эта семья, начиная от крутого и сердитого отчима, бывшего Пелагею Ивановну своими руками, и до последнего члена его семьи, – все ненавидели ее. А особенно меньшая дочь его Евдокия вымещала на ней, ничем неповинной, все свои домашние неудачи и всю свою злобу. Эта несчастная девица, которую никто не хотел взять замуж за себя по ее дурному характеру, вообразила себе, что ее не берут именно потому, что опасаются, что и она может сойти с ума, подобно Пелагее Ивановне, и решила погубить ее. Она подговорила однажды одного злодея, хорошо умевшего стрелять, убить ее, когда она бежит за городом, юродствует. Несчастный согласился застрелить, выстрелил, но дал промах. Тогда Пелагея Ивановна, оставшись целой и невредимой, предрекла ему, что он не в нее стрелял, а в самого себя. И что же? Через несколько месяцев предсказание ее сбылось в точности, он выстрелил в самого себя и умер смертью самоубийцы. Так суд Божий не замедлил совершиться над человеком, посягавшим на жизнь блаженной подвижницы. Доставалось ей от отчима и матери ее, так что та ни на кого уже не возлагала своего упования, кроме единого Бога и Его святых угодников.

Отправление в Воронеж и посещение преосвященного Антония

Так, раз постаралась она отправить дочь свою с арзамасскими же богомолицами в Задонск и Воронеж к святителям Тихону и Митрофану, думая, авось исцелится она. Прибыв в Воронеж, Арзамасские богомолицы пошли с нею к преосвященному Антонию, столь известному в то время святостью жизни своей и даром прозорливости. Ласково принял их владыка, благословил и отпустил, а к почитаемой ими дурочкой Пелагее Ивановне обратился со следующими словами: «А ты, раба Божия, останься». Три часа беседовал он с нею наедине. Бывшие тогда с нею спутницы, как впоследствии сами они рассказывали, весьма разобиделись на это и толковали между собою: «Что уж больно он занялся с нею? Чай, и мы не беднее ее; тоже можем сделать пожертвование. Не Бог весь, кто она, такая же нам равная». Прозорливый владыка узнал их завистливые и нечистые мысли и, провожая Пелагею Ивановну, говорил ей: «Ну, уже ничего не могу говорить тебе более. Если Серафим начал твой путь, то он же и докончит». Затем, обратившись к ее спутницам, сказал: «Не земного богатства ищу я, а душевного». И всех отпустил с миром.

Вторичное посещение матерью старца Серафима

Увидев, что и святые угодники как бы не помогают Пелагее Ивановне, и услышав, что преосвященный Антоний упомянул о старце Серафиме, измученная Прасковья Ивановна решилась еще раз сама съездить в Саровскую пустынь. Прибыв к старцу Серафиму, она говорила ему:

– Вот, батюшка, дочь-то моя, с которой мы были у тебя, замужняя-то, с ума сошла, то и то делает и ничем не унимается; куда-куда мы не возили ее; совсем отбилась от рук, так что на цепь посадили.

– Как это можно? – воскликнул старец. Как это могли вы? Пустите, пустите, пусть она по воле ходит, а не то будете вы страшно Господом наказаны за нее, оставьте, не трогайте, оставьте.

Стала было оправдываться напуганная мать:

– Ведь у нас вон девчонки замуж тоже хотят, ну зазорно им с дурью-то. Ведь и ничем-то ее не уломаешь – не слушает. А больно сильна без цепи-то держать – с ней и не сладишь. Возьмет это, да с цепью-то по всему городу и бегают; срам да и только.

И невольно рассмеялся старец Божий, услышав внешне столь справедливые и резонные оправдания матери, и сказал:

– На такой путь Господь и не призывает малосильных, матушка; избирает на такой подвиг мужественных и сильных и телом, и духом. А на цепи не держите ее и не можете, а не то Господь грозно за нее с вас взыщет.

Благодаря этим словам достоуважаемого старца и боясь наказания Божия, домашние улучшили хоть несколько жизнь Пелагеи Ивановны. Ее уже не держали более на цепи и позволяли выходить из дому. Получив свободу, она почти постоянно по ночам находилась на погосте Напольной арзамасской церкви. Здесь видали ее, как она по целым ночам молилась Богу под открытым небом с воздетыми горé руками, со многими воздыханиями и слезами. А днем она юродствовала, бегала по улицам города, безобразно кричала и

всячески безумствовала, проводя время на улице, прикрытая лохмотьями, без куска хлеба, голодная и холодная. Так провела она четыре года и не переставала посещать свою учительницу, юродивую Параскеву, ту самую, которая с первых пор учила ее непрестанной молитве Иисусовой.

Направление в Дивеевскую пустынь

Все доселе совершавшееся с Пелагеей Ивановной было как бы приготовлением ее к тому месту, которое назначил ей прозорливый старец Серафим при первом еще свидании с нею. «Иди, матушка, иди немедля в мою-то обитель; побереги моих сирот-то; и будешь свет миру; и многие тобою спасутся», – говорил тогда блаженный старец. Много препятствий нужно было преодолеть, много скорбей и истязаний нужно было перетерпеть страдальце, чтобы наконец сами родные убедились в том, что ее надо отпустить в Дивеево, где ей назначено просиять своими необычайными подвигами.

Мать всячески стала хлопотать о том, как бы сбыть ее с рук своих; она даже предлагала за то деньги и говорила: «Намаялась я с нею, с дурую». В разные монастыри и в арзамасскую Алексеевскую общину предлагала она ее, да на беду безумная не слушалась матери, никуда не хотела идти, а только твердила одно: «Я дивеевская, я Серафимова и никуда не пойду». И слова ее исполнились. В 1837 году, уже по кончине блаженного старца Серафима, была в Дивеевской общине одна старица, очень опытная в духовной жизни, ученица блаженного Серафима, Ульяна Григорьевна, бывшая красносельская крестьянка, любвеобильная и странноприимная. Ей назначено было послушание: по какому-то делу отправиться в Арзамас с двумя послушницами. Когда ехали они городом, вдруг откуда ни возьмись бежит к ним Пелагея Ивановна, влезает в их повозку и зовет их к себе. «Поедьте к нам чай пить. Отец-то хоть и не родной мне и не любит меня, да он богат, у него довольно всего, поедьте». Прибыли по ее зову дивеевские и рассказали все домашним. Ульяна Григорьевна, имевшая дар прозорливости, сказала матери: «Вы бы отдали ее к нам, что ей здесь юродствовать-то?» Возрадовалась, услышав это, Прасковья Ивановна.

– Да я бы рада-радехонька, если б вы ее взяли и если б она пошла, – отвечала она. Ведь нам-то, видит вот Царица

Небесная, как надоела она, просто беда. Возьмите, Христа ради, вам за нее мы еще и денег дадим.

Ульяна Григорьевна обратилась ласково и к самой Пелагее Ивановне: «Полно тебе здесь безумствовать-то, пойдем к нам в Дивеево, так Богу угодно».

Будто равнодушно все это слушала безумная и вдруг при последних словах Ульяны Григорьевны вскочила и как умница поклонилась ей в ноги и сказала: «Возьмите меня, матушка, под ваше покровительство». Все изумились ее речам, один только деверь злобно усмехнулся и сказал: «А вы и поверили ей. Вишь, какая умница стала! Как бы не так! Будет она у вас в Дивееве жить? Убежит и опять станет шататься». И еще более удивились все, когда на эти столь недобрые речи деверя своего Пелагея Ивановна пресмирненно поклонилась и ему в ноги, и совершенно здраво и разумно ответила: «Прости Христа ради меня, уж до гроба к вам не приду я более».

Воистину, видно, пришло определенное Богом время поступить Пелагее Ивановне в Дивеевскую общину, потому что и Ульяна Григорьевна пригласила ее в Дивеево единственно любви только Христовой ради и сжалившись над несчастной страдальцей, да и сама страдальца без всякого сопротивления, с полной охотой оставила кров родной матери своей и с радостью отправилась в Дивеево¹¹.

Первое время пребывания Пелагеи Ивановны в Дивееве

В Дивееве начальствовала тогда Ксения Михайловна Кочалова. Это была великая старица и подвижница, по свидетельству самого старца Серафима, который называл ее «огненным столпом с неба» и «терпугом духовным» за ее строгость и суровость. Вот к этой-то начальнице и привезли Пелагею Ивановну и рассказали о ней все, что знали. А Пелагея Ивановна еще по дороге в Дивеево и при самом вступлении в эту свыше ей назначенную землю успела уже наделать по своему юродству множество несообразностей и неприятностей, которые поразили матушкиных келейниц. «Какую-то вовсе дуру привезли к нам», – говорили они. «Знать, это дочь купчихи Прасковьи Ивановны Королевой, – отвечала Ксения Михайловна, – она, бедная, вовсе из ума выжила».

Между тем, Пелагея Ивановна вошла с келейницами к настоятельнице и, увидев простосердечную, молодую еще девицу из села Кременок Ардатовского уезда по имени Анна Герасимовна, стала перед нею на колени, поклонилась до земли и, воздев руки свои, воскликнула: «Венедикт, Венедикт! Послужи мне, Христа ради». Услышав эти слова, матушка Ксения Михайловна весьма растревожилась. «Вот так хорошо, – говорила она, – не успела еще и носа показать, да уж и послушницу подавай ей, вишь какая! Ты вот сама послужи сперва, а не то, чтоб тебе еще служили». Молодая же девушка, которой блаженная так усердно кланялась, подошла к ней и, жалея ее, бедную, погладила ее по голове; и видит, что голова-то у нее вся проломана, в крови, и так и кишат в ней насекомые. И так-то ей стало жаль ее, но сказать ничего не посмела. Этой-то сострадательной и простосердечной девице Анне Герасимовне Господь повелел послужить впоследствии во все пребывание Пелагеи Ивановны в Дивееве – в течение 45-ти лет – с усердием и преданностью подвижнице Божией.

И зажила «безумная *Палага*», как называли ее многие, в Дивееве, но не радостной жизнью... Приставили к ней сначала

молодую, но до крайности суровую и бойкую девушку, Матрену Васильевну, впоследствии монахиню Макрину, известную своей строгостью и суровостью... И так она была ее, что смотреть нельзя было без жалости. А Пелагея Ивановна не только не жаловалась на это, но и радовалась такой жизни. Она сама как бы вызывала всех в общине на оскорбления и побои себе: она по-прежнему безумствовала, бегала по монастырю, бросая камни, била стекла в келиях, колотилась головой своей и руками об стены монастырских построек. В келии своей бывала редко, а большую часть дня проводила на монастырском дворе, сидела или в яме, выкопанной ею же самой и наполненной всяким навозом, который она носила всегда в пазухе своего платья, или же в сторожке в углу, где и занималась Иисусовой молитвой. Всегда, летом и зимой, ходила босиком, становилась нарочно ногами на гвозди и прокалывала их насквозь и всячески старалась истязать свое тело. В трапезу монастырскую не ходила никогда и питалась только хлебом и водой, да и того иногда не было. Случалось, что когда вечером проголодается и пойдет нарочно по кельям тех сестер, которые не были расположены к ней, просить хлеба, те вместо хлеба давали ей толчки и пинки и выгоняли вон от себя. Возвращалась домой, а там Матрена Васильевна встречала ее побоями.

Когда по кончине матушки Ксении Михайловны заступила место начальницы родная дочь ее, кроткая и словно младенец простосердечная старица Божия, Ирина Прокофьевна Кочалова, тогда некоторые из сестер, уважавших Пелагею Ивановну, стали говорить ей: «Что это, матушка, возьмите жалость, смотреть больно, как бьет Матрена-то Пелагею Ивановну; ведь собака – скот, и ту жаль, а она хоть и дура, все же человек-то есть». И добрейшая матушка Ирина Прокофьевна взяла от Пелагеи Ивановны Матрену Васильевну и приставила к ней другую молодую девушку – Варвару Ивановну; но не полюбилась эта девушка блаженной. И стала Пелагея Ивановна сама уже бить ее и всячески старалась от нее отделаться, прогоняла ее и говорила ей в глаза: «Не люблю тебя, девка, как ты ни служи мне, лучше уйди от меня». Пробовали, пробовали и с общего наконец совета, сжалившись над безумной, порешили на том,

что матушка Ирина Прокофьевна приказала келейнице своей привести к ней для услужения ту самую крестьянку Анну Герасимовну, которая тотчас по приезде в Дивеево так возлюбила Пелагею Ивановну, что тогда же сердечно желала остаться при ней в услужении Христа ради.

Лишь только вошла с матушкиного благословения Анна Герасимовна к Пелагее Ивановне, она, будучи весьма сильной и мужественной, вскочила, схватила ее, как маленького ребенка, в охапку, поставила в передний угол на лавку, поклонилась в землю и сказала: «Отец Венедикт, послужи мне Господа ради, а я тебе во всем послушна буду, все равно, как отцу».

И поселились они все три вместе – Ульяна Григорьевна, Пелагея Ивановна и Анна Герасимовна – в келии, которая по благословению старца Серафима построена была из Саровского леса на собственный счет Ульяны Григорьевны.

Анна Герасимовна, служившая Пелагее Ивановне во всю ее жизнь в Дивееве, оставила для нас весьма подробное повествование о подвигах Пелагеи Ивановны. Повествование это при всей подробности дышит такой искренностью и задушевностью, такой простотой и безыскусственностью и так прекрасно изображает светлую и великую личность подвижницы, что мы решаемся здесь поместить это повествование почти во всей его полноте.

Повествование Анны Герасимовны о жизни Пелагеи Ивановны в Дивееве

«Эх, матушка! Да кто же это знал, что все это об ней занадобится, – так начинает свое повествование Анна Герасимовна пред игуменией Марией. Приехала она дурую, и сама себя называла не иначе, как безумною да дурую. И в последний раз, когда к нам принесли икону Царицы Небесной «Оранская» и поднесли ей приложиться, она говорила: «Царица Небесная, Ты ведь знаешь, что я – дура» – и приложилась. Так-то она сама себя величала, а о прочих и говорить нечего. Многие сестры уважали и почитали ее, а другие не только не ходили к ней, но еще и ругали ее всячески: «И безумная-то она баба, и бес-то в ней прозорливый сидит», и другими позорными словами.

И чего-чего только не было? Всего и не припомнишь. Скажу только одно: много прожила я с ней, много пережила, много натерпелась, а теперь, когда ее, моей голубушки, уже нет, рада бы хоть взглянуть только на нее, а не то что послушать ее, да где ж ее взять-то. А ведь все это она предвидела и предсказывала. Раз незадолго до смерти своей, когда я, видя, что она все говорит, все говорит, так вот и сыплет, разропталась на нее да и говорю: «И вправду ты блаженная, ну что это ты все говоришь без умолку? Как это тебе не надоест? И как не устанешь ты?» – «Погоди, – говорит, – батюшка (так всегда она звала меня), погоди, придет время, и сама рада будешь поговорить, да не с кем будет». Вот и вправду пришло это время. Тоска на меня нападает страшная, рада бы я хоть увидеть бы только ее, а не то, что поговорить с нею, да вот ее уже нет.

Да! Странный она была человек и непонятный, мудрена-то, мудрена, что и говорить! А я, хоть и долго жила с нею, да что я? Я неумелый, простой человек; где ж мне было ее понимать? Что, бывало, вижу и пойму иной раз, так страха одного ради, как ее, мою голубушку, судят, все более молчу. Много, много было всего прожито. А что знаю и упомню, как лишь смогу да сумею,

не взыщите, – все расскажу, а вы уже как вам Бог велит, так и рассудите.

Малое время пробыла она до меня в общине и ровно 45 лет жила со мною».

Жизнь у Ульяны Григорьевны и уважение к ней Пелагеи Ивановны

Ульяна Григорьевна имела, как сказано было выше, свою собственную келью, построенную по благословению старца Серафима из саровского леса. Постройка эта совершилась вот по какому поводу. «Ульяна Григорьевна, – говорит Анна Герасимовна, – страсть как не любила Ивана Тихоновича Тамбовцева; и когда ухитрился он, хоть и насильственно, учинить соединение у нас двух обителей, матушки-то Алексадры да мельничихи-то батюшки Серафима¹², да как стал всем самовольно распоряжаться¹³, она и говорит: «Что это? Не могу и не хочу этого терпеть. Куплю себе место и поставлю свою келью, чтоб мне никто не препятствовал. Пелагею Ивановну к себе возьму, пусть живет, никто нас тогда не тронет, она защитит нас». И поставила она этот вот корпус, и стали мы в нем жить. Старинная-то Серафимовская келья теперь вот уж она одна только осталась у нас в обители. И Пелагея Ивановна точно защитила нас. Вот раз, как сейчас помню, после бывшего у нас пожара слышу я, что Иван Тихонович в корпусе рядом с нами ходит и у всех самовары отбирает да посуду бьет, и говорю: «Вот Иван-то Тихонович, слышь, все у всех колотит; что и к нам за тем же придет». А Пелагея-то Ивановна сидит на полу у печки да и говорит: «А ты, батюшка, сиди-ка себе да сиди, я его не боюсь, не смеет, я старичку-то (так звала она всегда старца Серафима) поближе его, земля-то у меня своя да и корпус свой». Встала и ушла на лежанку. Как раз и входят матушка и Екатерина Васильевна Ладыженская¹⁴, за ними Иван Тихонович, и уж было бы дело, да Пелагея-то Ивановна, приотворив дверь чулана, говорит ему: «Борода-то у тебя лишь велика, а ума-то вовсе нет; хуже ты бабы». Он так и засеменял, весь растерялся. «Что это, что это ты, раба Божья?!» – говорит. Больше ничего сказать-то не посмел, ничего не тронул, с тем и ушел. И после уж к нам не только никогда не ходил, а даже всегда Пелагею-то Ивановну обегал и боялся.

Уж и любила же она зато Ульяну Григорьевну и всегда чтит память ее. Раз собралось много гостей к Ульяне Григорьевне: батюшки Василия¹⁵ дети и еще некоторые. Пелагея-то Ивановна сидела, сидела да и говорит: «Что ж? И у меня есть своя гостья; пойду, ее приведу». Встала и ушла. Смотрим: идет и несет на руках прехорошенькую черненькую собачку какую-то барскую. «Вот, – говорит, – бабенька (так звала она Ульяну Григорьевну), тебе и моя гостья; она тоже кушать хочет, дай ей кусочек». И села, а собачку-то на колени себе положила. Я так и залилась от смеха, а Ульяна-то Григорьевна сердится. Пелагея-то Ивановна ей и говорит: «Бабенька, а бабенька, ты не сердись, ведь и ей кушать хочется; не жалея, дай ей кусочек-то». Я вот и говорю Поле-то¹⁶: «Дай собачке-то кусочек, что ж не дать?» Накормила собачку, и как накушалась, тут же она и пустила ее. Что уж это значило, Бог весть, а что какая-нибудь в этом притча была, я знаю, потому что этакой собачки и поискавши-то тут взять было негде. Да и без притчи, зря, так себе никогда и ничего она не делала. Ульяна Григорьевна всегда была так гостеприимна, странноприимна да нищелюбива, что, бывало, никого-то не пропустит, и всяк к ней идет, и всякого-то она приветит, и накормит, и напоит, так что все, что имела, в это прожила, а умерла, так и похоронить почти было нечем.

Раз умерла у нас одна сестра в больнице, звали ее Агафьей Лаврентьевной. Ей еще батюшка Серафим так предсказал при жизни, когда она здорова и молода была: «Тебя, матушка, на тот свет проводит апостол Петр». Уж три года лежала она в болезни; язык совсем отнялся, только, бывало, и лепечет одно слово: «Лета да лета». Намаялась, ну и вправду скончалась она в один час с нашим священником отцом Петром. И исполнилось батюшкино предсказание ей, что апостол Петр проводит ее в Царство-то Небесное. Вот когда хоронили ее, сестры смотрят, как ее понесли, да и говорят: «Хорошо ей там будет, настрадалась раба Божия». А Пелагея Ивановна, случившаяся тут, сделала точно зонтик рукою-то над головой от солнца, поглядела вверх на небо да и говорит: «Раба-то Божия, раба Божия, да не доспела того места, как моя-то Ульяна».

Скончалась Ульяна Григорьевна в день моих именин в день памяти Симеона и Анны. Вот как, бывало, придут мои именины-то, Афанасия Назарова¹⁷ на чай-то и позовет и пирожок испечет. Я и начну тревожиться и роптать. «Вот, – говорю, – еще что выдумали. Именины справлять? К чему это?» А Пелагея-то Ивановна погрозит, бывало, и говорит: «Смотри, батюшка, ты у меня память бабушкину всегда твори. Никто, кроме ее, меня не взял, дуру». И очень, очень всегда любила и чтילה она ее».

Подвиги Пелагеи Ивановны в Дивееве для умерщвления плоти.

«Первые-то лет десять, если не более, возилась она с камнями. Возьмет это платок, салфетку или тряпку, всю-то наложит пребольшущими камнями доверху и знай таскает с места на место; полную-то келью натаскает их, сору-то, сору и не оберешься. Уж и бранилась-то я с нею, и всячески старалась отучить ее от этого – не тут-то было, таскает да таскает. Бывало, себя-то самое в кровь изобьет, даже жалость глядеть. И чудное дело, скажу вам; чего-то чего только с этими с камнями она, бывало, не проделывала.

Рядом с нами после пожара обители остались, и теперь еще видны, пребольшущие ямы, как всегда после постройки бывает, да от печей обгорелые кирпичи кое-где неубранные в грудах лежали. Вода летом стояла в этих ямах. Моя-то умница и добралась до них. Что это? Гляжу, как ни приду домой от службы, вся-то придет тина-тиной, грязная да мокрая. Допрашиваю, бранюсь – молчит. Погоди, думаю, надо посмотреть, где это она купается. Встала я это раз, к утрени собираюсь; она и не шелохнется, как будто и не думает никуда идти, только глядит на меня. Вышла я и пошла будто в церковь, а сама притаилась в сторонке. Дай, думаю, погляжу, что будет. Вот, выждав немного, вижу: бежит так-то скорехонько, торопится, и прямехонько к этим ямам. Наберет этого кирпича охапку, грудищу целую, станет на самом краю ямы, да из подола-то и кидает по одному кирпичу изо всей что есть мочи в яму, в самую-то воду. Бултыхнется кирпич да с головы до ног всю ее и окатит, а она не шелохнется, стоит как вкопанная, будто и впрямь какое важное дело делает. Пovyкидав собранные кирпичи, полезет в самую-то воду чуть не по пояс, выбирает их оттуда. Выбрав, вылезет и, опять став на краю, начинает ту же проделку. И так-то и делает все время службы в церкви. Впрямь, думаю себе, дура; да раз и говорю ей:

– Что это ты делаешь? И как тебе не стыдно! То с камнями возжалась, всю келью завозила, а теперь еще с

кирпичами связалась да купаешься. Ты погляди-кась на себя, ведь мокрехонька. Не наготовишься подола-то замывать.

– Я, – говорит, – батюшка, на работу тоже хожу; нельзя, надо работать, тоже работаю.

– Ох, – говорю, – уж и работа! Ничего-то не делаешь, что уж это за работа?!

Она это уставясь прямо-прямо глядит, на меня.

– Как, – говорит, – не работаю, ничего не делаю? А камни-то. Нет, батюшка, ведь это я тоже свою работу делаю.

Э-эх! Да, бывало, разве с нею сговоришься? Ну вот так-то, бывало, всякую службу и отрабатывает себе. И многое множество лет работала она этак.

Вот, когда уж она стареть стала, помню, как сейчас, иду я в Благовещение к вечерне, гляжу, поднимается и она и говорит: «Господи, вот уж и моченьки нет», – вздохнула, а слезы-то, слезы у ней крупные так и катятся по щекам. И так-то мне ее, голубушку мою, жаль стало.

– Ну вот, полно уж, не ходи, – сказала я, – я пойду, никто тебя не неволит, лежи, да и все.

– Эх, – говорит, – батюшка; ведь ты ничего не знаешь; коли ведь уж взялась, так и возись. Надо, надо работать.

И пошла, бедная, опять с камнями возиться, потому что ямы-то так и остались незарытыми, а кирпичи-то, за недосугом многих дел поважнее, не прибраны были. Да, пожалуй, и еще более продолжалась бы эта ее работа, невзирая ни на старость ее, ни на немощь ее, если бы, жалея ее, не упростила я свезти эти кирпичи. Ну, как отвезла, так и перестала.

И диковинное, скажу вам, дело! Бывало, в воду сама лезет за этими кирпичами, и вся-то с головы до ног мокрехонька сделается, и воды нисколько не боялась; а как стара-то стала и бросила свою-то работу, то так стала бояться воды, что, бывало, нечаянно чуть обрызнешь ее, она, моя голубушка, так и всполошится, так вся и встрепенется; оттого, полагаю я по своему разуму-то глупому, что уж больно она доняла себя, столько лет водою-то окачиваясь. Господь весть.

А то придумала она еще и палками свою-то работу работать. Наберет это, бывало, большущее беремья палок и

колотит ими о землю изо всей-то мочи, пока всех их не перебьет, да и себя-то всю в кровь не разобьет.

И чего только она не выделявала! И ничего-то ей, бывало, не делается, как вот прочим людям. Отпала у нас однажды изгородная доска от прясла да вверх и торчит большущим гвоздем. «Ах, грех какой! Не наткнулся бы кто», – говорю; хотела убрать. А Пелагея Ивановна уж наскочила на нее и что было мочи босой ногой как ударит на гвоздь так, что насквозь ноги-то и выскочил. «Что это, – говорю, – ты делаешь?! Ох, и впрямь-то безумная ты», – да бегом уж бегу в келью-то, поскорее чем-нибудь завязать ногу-то. Гляжу, а ее уж и след простыл. Постояла я, постояла, да так ни с чем и ушла. Прибегает вечером. «Ну, – думаю, – слава Богу!» – да к ноге, перевязать-то, знаешь, хочу. Смотрю и глазам своим не верю: пристало землицы кое-где, а раны даже и знаку-то нет никакого. Вот так-то всегда и бывало».

Прозорливость Пелагеи Ивановны

«Бывало, она целыми днями и долгое-долгое время по обители ходит, по кельям, в поле и в село; дома никогда почти не лежала, разве ночью, и то самую-то малость. Возьмет это Полю, с нею и бегают, куда ей только по-ихнему, по-блаженному-то, занадобится. Мы, бывало, знаем, что кроме ее некому к нам прийти, не боялись, и дверь на ночь никогда не запиралась. Днем бегают да бегают, бывало; захочет поесть, меня дома не застанет – к покойнице Матрене Федотьевне¹⁸ прибежит; любила она ее очень.

– Катенька, Катенька! – так звала она ее. Дай мне хлебца, поесть надо, а то отца-то дома у меня нет.

Ну и покормит ее. Федотьевна тоже чудной жизни была.

Повадилась она вот этак постоянно бегать в кабак к целовальнику. Люди и рады, и по-всячески судят ее, и «пьяница-то она, и такая и сякая». А она, знай себе, ходит да ходит. Вот раз это ночью, гляжу, приносит моя Пелагея Ивановна нагольный тулуп да целый-то пребольший узлище пряников. «Поешьте, – говорит, – батюшка». Я так и обомлела, страх даже на меня напал. «Господи! – думаю. Где же это она взяла столько, да ночью?» Кто же их, этих блаженных-то, знает? А она это веселая, радостная такая, так вот и заливается, приговаривая: «А вы кушайте, кушайте». Что же вышло? Как бы вы думали? Кончилось тем, что она своими-то в кабак хождениями две человеческие душеньки спасла. Сам целовальник это мне рассказывал, прося у нее прощения. Задумалось ему загубить жену свою, и вот раз ночью порешил он покончить с нею, завел ее в винный погреб и уже занес было руку, как незаметно за бочками притаившаяся Пелагея Ивановна схватила его за руку и закричала: «Что ты делаешь? Опомнись, безумный!» И тем спасла их обоих. После этого и хождение в кабак прекратила. Как прознали про это многие, поняв ее прозорливость, перестали осуждать ее, а стали почитать.

Жили мы с ней по смерти Ульяны Григорьевны долгое время в страшной бедности, ну как есть в нищете. Не только

заварить чайку не было, но и подолы ее за неимением мыльца, бывало, глиной кое-как позатрешь, да и замоешь. Родные-то ее, обрадовавшись, что избавились от нее, вовсе ее и бросили; боялись даже показаться, как бы она к ним не вернулась. Лет семь не только никого из них не было у нас, но и не слыхали-то мы о них ничего; наконец-то раз вздумалось матери, Прасковье-то Ивановне, поглядеть на дочь свою, ну и приехала она с падчерицею своею Авдотьей, да не к нам, а остановилась у Настасьи Андреевны Прасоловой, что против нас жила; и с их-то двора Пелагею Ивановну, бывало, и видно. Я ничего еще не знала; да Пелагея-то Ивановна такая-то скорбная, вижу, хоть будто шутит, мне и говорит: «Арзамасские приехали, батюшка, да сюда-то и боятся прийти, чтобы я с ними не поехала. Так вот что: как запрягут лошадей-то, пойдем с тобой туда. Я в их повозку-то взойду, да и сяду; они и подумают, что я с ними хочу». И так грустно улыбнулась, точно сквозь слезы, только не заплакала. «Что же, – говорю, – пойдем». А сердце у меня так и перевернулось от жалости, на нее глядя. Сказано – сделано. Как заложили да подали им лошадей, мы и приходим. Гляжу, будто обрадовались. А Пелагея-то Ивановна так-то хорошо поздоровалась и разговорилась с ними, будто вовсе умная. Да вдруг как побежит, прямо в повозку-то села да по лошадям-то ударила и за ворота выехала. Куда что девалось? Обе, мать и сестра, испугались, страшно рассердились и принялись ее бранить по-всячески. Доехав до красильной, остановилась она и вылезла. «Нате, – говорит, – Бог с вами, не бойтесь, до гроба я к вам не поеду». А сестре-то неродной, Авдотье, которая не любила ее очень и всегда бранила, сказала: «Ты вот хоть и не любишь меня и злилась на меня, Дуня, но Бог с тобой; только помни: хоть и выйдешь ты замуж, а первым же ребенком умрешь». И разбранила же за то ее Авдотья и говорила матери: «Дура-то твоя вот, слышишь, что выдумала говорить». И не поверила, а как вышла замуж, да и вправду первым ребенком-то, девочкой, умерла, так и пришлось поверить».

Нищета и нестяжательность Пелагеи Ивановны

«И стала мать ее, Прасковья Ивановна, с той поры бояться ее, так что раз прислала фунт чаю да в сундучке кое-какие платьишки ее мирские; а она, моя матушка, и не поглядела даже, отворотилась и полою закрылась, так что я все кое-кому разделила.

Вскоре после этого я как-то разболелась; приехала к нам Глафира Семеновна, сноха отчима Пелагеи Ивановны, которая была очень милостива и еще в девушках в Арзамасе Пелагею-то Ивановну очень любила, читла и верила ее Божию пути и призванию, за что по выходе замуж много приняла побоев от свекра своего. Пелагея-то Ивановна смотрит на нее да так-то ласково говорит ей: «Не выпросишь ли ты у матери моей какой-нибудь позавалющий самовар; вот у меня батюшка-то все хворает». Возвратясь в Арзамас, Глафира Семеновна и говорит Прасковье-то Ивановне, что самоварчик просит Пелагея Ивановна. «Верьте Богу, маменька, – говорит, – грех нам будет, что мы вовсе ее бросили. Я была сама у нее и видела, она не то, что беднее всех, а живет в сущей нищете». И прислали нам после этого самоварчик да фунт чаю, с этого только времени мы и стали кое-чем обзаводиться. После того, совести ради, кое-что и дельвали родные. Так, приехал раз брат ее родной, Андрей Иванович, и отдал мне кожу. «Сшей ты ей, – говорит, – хоть коты какие», – ведь уж больно совестно. Ну, и сшила я; да она насилу-то их надела и ушла; потом приходит без котов.

– Куда же ты коты-то подевала?

– Там, – говорит.

А где «там», Господь ее ведает.

Так и бросила, и никогда-то никакой обуви, ни чулок она не носила и надевать не надевала. Так, бывало, босая и бегают».

Окончательное отречение от матери и от мужа

«Стали родные посещать нас в монастыре, и, бывало, всегда заранее Пелагея Ивановна это знает; уйдет да залезет в крапиву, и ничем-то ее оттуда не вызовешь. «О, батюшка, – скажет мне, – ведь они люди богатые, что нам с ними?!»

Раз приехал к ней сюда и муж, и это она провидела, и вот каким образом: встала да мне и говорит: «Батюшка, ныне арзамасские приедут, я буду у церкви, тогда придешь за мною», – и ушла. Было это летом. Сижу я и вижу: кто-то идет – двое, будто как к нам; один мужчина этакой хороший, молодой да бравый, и одет тоже хорошо. «Кто бы это, – думаю. Что-то вовсе я такого не видала и не знаю».

– Королева-то здесь? – спрашивает.

А это фамилия отчима Пелагеи Ивановны.

– Здесь, – говорю. А вам что нужно?

– Нужно,-говорит. Где она?

– А вот, – говорю, – пойдете. А вы арзамасские что ль? Родные ей будете?

– Кажется, будто сродником считался, – говорит.

Приходим это мы, а она, как сказала, у Тихвинской-то и сидит да улыбается. На одну ногу надела худой башмак, а на другую старую валенку, и палку в руки взяла. Подошел он, посмотрел, да и говорит ей: «А ты полно дурить-то, будет, поедем-ка в Арзамас». Я слышу да и думаю: что это он ее в Арзамас-то зовет? Кто же то такой?

– Кто же вы, – говорю, – ей будете?

– Я-то? Муж ее, – отвечал он.

– А! Вот что! – думаю себе. Что же? Если у вас дом хороший да горницы чистые, так берите ее с Господом; она вам их отчистит с камнями-то. А я радехонька буду; она мне этим сором-то вот как надоела.

Пелагея Ивановна знай молчит да улыбается.

– А вы, – говорит он, – думаете и вправду, что она безумная дура? Вовсе нет, только так дурит, и просто – шельма.

А приказчик-то, приехавший с ним, и говорит ему:

– Эх, Сергей Васильевич! Что вы говорите? Ну и стала ли бы она, если бы и маленький у нее был ум, терпеть такие побои, как вы ее били? А потому только и терпела, что без ума стала.

– Ну вот, – говорил муж, – что ей делается? Вишь, какая она здоровая да гладкая!

Пелагея Ивановна поклонилась да и сказала:

– Не ходила я в Арзамас да и не пойду, хоть всю кожу сдери с меня.

Услышав это, поклонился муж молча и пошел. И после того уж никогда не был, и ничего не слышно было о нем. Вот уж много лет спустя, в 1848 году, когда у нас собор закладывали летом, вижу я раз: моя Пелагея Ивановна вдруг как вскочит, вся поджалась, скорчилась, взад и вперед по комнате ходит да стонет и плачет.

– Что это с тобою, матушка? Уж здорова ли ты? Аль что случилось?

– Ох, – говорит, – батюшка! Ведь вот ты какой! Умирает он, да умирает-то как! Без причастия!

Уж тут только я все поняла и замолчала. Немного времени спустя бывший-то с ним на ярмарке приказчик приезжает к нам и рассказывает, что Пелагея Ивановна своим видом и действиями показывала все то, что было с Сергеем Васильевичем. Его действительно схватило; он точно так корчился, бегал по комнате, стонал и приговаривал: «Ох, Пелагея Ивановна, матушка! Прости ты меня Христа ради. Не знал я, что ты терпишь Господа ради. А как я тебя бил-то! Помоги мне! Помолись за меня». Да без причастия так и умер. А тогда была страшная холера. И с тех-то вот пор до 25 сентября 1883 года никогда она не поминала о муже; а тут это вижу; она будто пригорюнилась, подперлась рукой и такая сидит скорбная и грустная.

– Что это, матушка, – говорю, – ты какая?

А она как вздохнет это так тяжело да и говорит: «Ох, Сергушка, Сергушка! По тебе и просфорки-то никто не подаст».

Я это так и встрепенулась. Ведь это она мужа вспомнила, ведь это она всегда его так называла. Посмотрела в календаре,

ан 25 сентября «преподобного Сергия», именинник был, надо полагать.

Вот и мать-то ее, Прасковья Ивановна, как приезжала к ней в последний раз, говорит:

– Ну, Пелагеюшка, прости меня Христа ради; я тебя много била.

– Да, – говорит, – маменька, много ты меня напрасно била; Бог простит. А все же о том надо просить Бога. А уж теперь в остатки видимся, маменька; в этой жизни мне с тобой более уж не увидаться.

Так и случилось, не видалась она с нею после этого и вскоре умерла Прасковья Ивановна».

Новые юродства в Дивееве ради умерщвления плоти

«Временами приезжал к нам из Арзамаса некто бывший военный и тоже блаженный, Федор Михайлович Соловьев, всем хорошо памятный и всем известный даром прозорливости. Так уж тут и уму непостижимо, что только выделявали они вместе; страх возьмет, бывало, не знаешь куда и деться. Ульяну Григорьевну на что любила Пелагея-то Ивановна, а и та боялась их. Волей-неволей приходилось мне одной оставаться с ними. Как поднимут, бывало, они это свою войну, мне уж никак не унять. Придет Соловьев, принесет чаю, либо мяты, или зверобоя, что ни попало, да по-военному: «Не досаждай, – крикнет, – Анна! Ставь самовар и пей с нами», – да еще на грех в самый-то чистый понедельник. Ну и пьем, сидя на лавочке в уголочке; сама тряской трясусь, потому что как ишь ни сойдутся у Рождества ли на кладбище, у нас ли в келии, оба большущие да длинные, бегают взад и вперед, гоняются друг за другом; Пелагея Ивановна с палкой, а Федор Михайлович с поленом, бьют друг друга. «Ты, арзамасская дура, на что мужа оставила? – кричит Соловьев. «А ты зачем жену бросил, арзамасский солдат этакий?» – возражает Пелагея Ивановна. «Ах ты, большой сарай, верста коломенская!» – кричит Федор Михайлович.

И так-то идет без перерыву у них своя, им лишь одним понятная перебранка и разговор. Я сижу еле жива от страху; грешница, я думаю себе: «Ой, убьют». Ходила даже несколько раз к матушке Ирине-то Прокофьевне. «Боюсь, – говорю, – матушка, души во мне нет, пожалуй, убьют». А матушка-то, бывало, и скажет: «Терпи, Аннушка, дитяtko, не по своей ты воле, а за святое послушание с ними, Божиими-то дурачками, сидишь. И убьют-то, так прямо в Царство Небесное попадешь». Ну, и терплю, сижу. Бывало, сестры-то и те говорят: «Гляди-кась, что делают! А Анна-то кременковская с ними с дураками возжается, из ума тоже выжила, совсем дурую стала». Да что? С Соловьевым-то, бывало, своя у них, им лишь одним понятная

да Богу, блаженная война идет. И помимо этого со всеми она, Пелагея Ивановна, воюет. Где там, разумеется, и кто их поймет – тех блаженных-то. По-ихнему, по-блаженному-то, так и надо, только и слышишь: «Возьми ты свой грех-то», либо: «Уймите вы вашу дуру-то, что она у тебя озорует, безумная-то дура; хоть бы привязывали вы ее что ли». Все это сама слышит, бывало, моя-то Пелагея Ивановна; молчит и опять за свое. Что делать? Стала я пробовать, как больно-то уж развоюется, запирает ее. Заперла это раз, она, моя голубушка, и заснула, а я-то позабыла да и ушла. Проснулась и подняла крик; слышат другие – кричит кто-то, да не поймут сразу-то. Вот и вылезла она в окошко, прямо на сложенные дрова, да и кричит, с них-то, значит, слезть-то нельзя. И увидали да кое-как на руках уж и сняли. В другой раз тоже до того расходилась, удержу нет, прибежали, сказывают: «Возьмите свою-то дуру; больно озорует, никак не сладишь, уйми ты ее». И заперла я ее в чулан. Вот посидела она это маленько: «Батюшка, отопри, кормилец, отопри». «Нет, – говорю, – не отопру». Она опять: «Батюшка, отопри, соколик, отопри, надо». «Не отопру, – говорю, – все вон на тебя жалуются; обещай, что не будешь, тогда отопру». Замолчала да немного погодя говорит Поле: «Девка, отопри хоть ты, ведь пес-то (я значит) ни за что не отопрет и меня не выпустит». «Как же я без матушки могу отпереть?» – отвечает Поля.

«Погоди, – думаю, – что дальше будет?» Отперла я сама да и говорю: «Не ходи ты туда, а то более никогда выпускать не буду». Она как вскочит, схватила меня за плечи, перевернула, да уж и нет ее, убежала. Беда, какая проказница была. И с этих самых пор стала она бояться не только замка, а чуть, бывало, без умысла нечаянно дверь притворишь, задрожит это вся, даже вскочит, так что, бывало, ни днем, ни ночью мы никакой двери не запирали. А наружной-то двери так и не бывало до 1883 года, так цельные 22 года без двери и жили».

Намерение изгнать Пелагею Ивановну из Дивеева

«Доходили и до начальства своеволия ее. Покойная матушка Ирина Прокофьевна несколько раз собиралась прогнать ее и ко мне об этом неоднократно присылала. Раз приходит ее келейница-то и говорит мне: «Приказала тебе матушка взять дуру-то твою и отправить откуда взяли». И так-то мне стало что-то скорбно. «Я не брала и не повезу, как хотите, вы делайте. Да и что гнать-то ее, – говорю. Ульяна-то Григорьевна не так ее приняла, а тоже 500 р. за нее Иоасафу-то¹⁹ отдала». А Пелагея-то Ивановна, как не до нее дело, сидит в уголочке в чулане, поглядывает, слушает да молчит.

– Вон, слышишь? Что молчишь? – говорю я. – Матушка хочет отсылать тебя дуру за то, что все дуришь.

– Да что она обо мне говорит! – сказала сама-то, – она еще не начальница; ведь еще сама-то, вот как я, в уголке посидит.

– Слышишь, – говорю я келейнице-то Ирины Прокофьевны, – что она говорит? Поди да скажи матушке-то.

И ушла она да все матушке-то и пересказала. Зная прозорливость Пелагеи Ивановны, испугалась матушка Ирина Прокофьевна, присылает к нам келейницу кое с чем, с гостинцами, да и не велит ее трогать-то. Взошла келейница, дает ей что-то. «Матушка прислала». А она не унялась, знай себе говорит: «Нет, ведь ей уж недолго начальницей-то быть». Как бы вы думали? И вправду через две недели матушку-то Ирину-то Прокофьевну тихомолком от нас, по Иоасафовой-то хитрости, сменили, поставив начальницей Екатерину Васильевну Ладыженскую. Но когда приходили сестры к Пелагеи Ивановне и о ней говорили: «Вот у нас новая матушка», – «нет, – отвечает она, – это еще не коренная. Да еще смута-то, смута-то какая у нас будет», – и замолчит.

– Ну, – говорю, – у тебя, видно, все не настоящие да не коренные.

А вот когда матушку-то Елизавету Алексеевну поставили начальницей, я опять так и говорю ей: «Ведь новую матушку-то поставили нам; что, и эта, по-твоему-то, опять не коренная?» –

«Нет, – говорит, – батюшка, вот это-то уж настоящая, как есть коренная».

Ну уж и впрямь настоящая да коренная вышла Елизавета Алексеевна Ушакова, теперешняя наша матушка Мария».

Ревность по правде

«Что сказать вам о том, как Пелагея-то Ивановна воевала за Елизавету Алексеевну и что она выделявала в то время, как разыгралась у нас ею же предсказанная заранее смута при приезде к нам владыки Нектария для насильственной смены Елизаветы Алексеевны на Червятинскую Лукерью, нынешнюю в Понетаевской обители мать Евпраксию?

До приезда владыки мы ведь ничего не знали и даже не подозревали, что архиерей приедет открывать монастырь, и только перед самым его приездом вижу я: что-то сильно заскорбела моя Пелагея Ивановна, все-то ходит, мечется да бегают, приговаривает:

– Ох, горе-то какое! Тоска-то, тоска какая!

– Ну что еще за горе? – говорю, – вот владыку все ждут, а ты тут «горе». Давай-ка я лучше самоварчик поставлю.

– Ох, – говорит, – матушка (первый раз еще так назвала она меня), какой это тебе «самовар»; горе-то какое, туча-то какая идет! Пойдем к воротам.

Пошли. Вижу, уж и лица на ней нет, точно сама не своя стала. Просидели мы целый день у ворот-то; она так и тоскует, так и мечется. «Какой ныне гром-то, – говорит, – будет! Ведь, пожалуй, кого и убьет, да, верно, убьет».

– Что это? – говорю. Господи, помилуй!

И так напугалась, что вся дрожу. «Быть какой-нибудь беде», – думаю, потому что вижу, изменилась, истосковалась она, словно изорвалась вся.

Настали сумерки, как вскочит вдруг она и побежала прямо в гряды, что тут против ворот в ту пору у нас были, и засела в них. Ну и я с нею. Нашла туча с большим громом и сильным дождем, поливает она нас да поливает, а она не только не идет домой, а сидит и меня не отпускает, словно не она стала. «Сиди, – говорит. Сидела я, сидела, промокла да и говорю: «Что это? Господи, помилуй! Дождь так вот и поливает. Там вон все владыку с фонарями ждут, а я тут и сиди с тобой». Да и встала, уходить хочу. Как она вскочит, схватила меня за подол да и так

грозно да гневно крикнула на меня: «Так и сиди!» Ужас напал на меня. «Что это? Господи! – думаю. Уж непременно какая-нибудь да беда!» Ну и сидели мы да издали видели, как собрались сестры с фонарями у ворот, – владыку ждут. До последней-то косточки промокли. А как приехал владыка, вижу: вскочит она из грядок-то да вперед к воротам-то так и бросилась. Немного спустя после его приезда встала, оглядела себя и меня, видит: с обеих-то нас вода словно ручьем льет. «Ну, – говорит, – слава Богу! Теперь ничего не будет». И пошли мы домой, как были мокрехоньки, вижу: будто прилегла на чуточку, а потом всю-то ноченьку кто ее знает где вся мокрехонька и пробегала. «Ой, – думаю, – не ладно что-то, ой, беда!» Так вот сердце-то во мне и ноет. Вижу, что не даром она все это: и к владыке выходит, и все выделявает, а что, и в ум не возьму. И потому никто в обители-то знать ничего не знал и, как говорится, не гадал, какая кутерьма выйдет.

На первый же день приезда вижу, и жалует к нам владыка, сердце у меня так и заныло. «Что это, – думаю, – мы дураки, и никогда к нам такие лица не ходили». Вошел, видит: в чулане на табурете сидит поджавшись Пелагея Ивановна. Взял табуреточку и сел с нею рядом, а мне на лавку сесть приказал. «Ах, – говорит, – раба Божия! Как мне быть-то?» Она глядит на него да так это хорошихонько и говорит ему: «Напрасно, владыка, напрасно ты хлопчешь. Старую мать не выпустят». Услышав это – как сейчас вижу, – облокотился он бородою на свой посох и пригорюнился, из стороны в сторону покачивая головою. «Уж и сам не знаю, как быть», – говорит, на меня глядя. «Что-то мне страшно», – сказала она.

Эге-ге, вот оно что! Стала смекать я да и, маленько поосмелев, попросту и говорю: «Преосвященнейший владыко! Да зачем же сменять? Ведь она никого не обижает». Думаю с глупого-то моего разума сделать лучше, ан вышло хуже. Едва договорила я, как Пелагея-то Ивановна вскочит, тревожная да страшная такая, да ну воевать! Все, кто ни был со владыкою, с перепугу разбежались, кто куда мог, и осталась с ним я одна одинешенька; тряской трясусь да творю молитву: «Господи, только помози». Да кое-как, улучив минуту, владыку-то уж и

выпроводила вон, а она-то воюет, что ни попало под руки, все бьет да колотит. Ужас на всех и на нас-то напал. К вечеру, слышу, говорят, архиерей сказал какому-то с ним прибывшему Виноградову, барину, что «напугала меня Пелагея Ивановна, уж и не знаю, как быть!»

– Охота вам, владыка, – говорит барин, – безумную бабу слушать.

И пошел против всех на другое утро владыка, невзирая на просьбы и слезы сестер, совершенно беспричинно отменил Елизавету Алексеевну и поставил Лукерью. Пришла нам о том поведать Аграфена Николаевна Назарова и, зная, как Пелагея Ивановна любила кошек, принесла прехорошенького котенка и подает ей.

Что это, Господи! Гляжу: вскочит моя Пелагея Ивановна да прямо кулаком-то по голове как хватит котенка-то; он, бедняга, и не пикнул; убила. Никогда с ней такого еще не было.

– Полно, – говорю, – Пелагея Ивановна, озорничать-то.

– Нет, – говорит, – не перестану.

– Да, вот, – говорю, – все так. Ей все равно, а я-то причем? Только знай чрез тебя все к ответу иди.

– Нет, – говорит, – что тебе? Я и помимо тебя выберу время.

Сердце так и оторвалось у меня, хожу уж и я сама не своя точно, глаз с нее не спускаю. Пришла ночь, сидит дома, на другой день расхорошая-хорошая встала и пообедала с нами. Отлегло у меня. «Ну, – думаю, – слава тебе Господи, угомонилась». Да уж не помню зачем и вышла в чулан. Прихожу, а уж ее и нет. Так во мне сердце-то и упало. «Где она это? – думаю. Как бы еще чего не наделала!» Тороплюсь, собираюсь идти разыскивать, а ко мне уж бегут навстречу. «Что ты, – говорят, – делаешь то? Что безумная-то твоя дура наделала? И не знаешь? Ведь она владыку-то по щеке ударила». Так я и обмерла. Ничего не соображу даже. «Вот, – говорят, – теперь в сумасшедший дом ее, да и тебе-то беда будет. И тебя к ответу». «Господи! – говорю. Да я-то причем с ней? Ведь не пятилетняя она, не на руках мне носить да караулить ее».

Горе страшное взяло меня, так-то мне тяжело да тошно, сил моих нет. И горько-прегорько заплакала я. Она и идет.

– Побойся ты Бога, что, – говорю, – надурила ты? Ну виданное ли дело? Ведь и вправду люди говорят: в сумасшедший дом тебя засадят. Да и меня-то горькую за дурь-то твою так не оставят.

– Не была, – говорит, – в нем сроду, да и не буду. А так надо. Ничего и не будет.

– Да, – говорю, – говори.

Вот как все совершилось, едет от службы владыка на дрожках, а моя-то разумница на дороге сидит (и когда успела?), яйца катает, как раз после Пасхи вскоре все это было. Владыка-то, видно, хоть и послушал барина, да не был покоен, потому что (что правду-то таить?) не по-Божьему сделал дело-то. Увидел Пелагею Ивановну, видно, обрадовался и думал, не успокоит ли она его совесть, слез с дрожек-то, подошел к ней, просфору вынул. «Вот, – говорит, – раба Божья, тебе просфору моего служения». Она молча отвернулась, ему бы и уйти, видит, неладно, прямое дело. Кто им, блаженным-то, закон писал? На то они и блаженные. А он, знаешь, с другой стороны зашел и опять подает. Как она это встанет, выпрямится, да так-то грозно, и ударила его по щеке со словами: «Куда ты лезешь». Видно, правильно обличила, потому что владыка не только не прогневался, а смиренно подставил другую щеку, сказав: «Что ж? По-евангельски, бей и по другой».

– Будет с тебя и одной, – отвечала Пелагея Ивановна, и как бы ничего не сделала, словно не до нее дело, а так надо, опять стала яйца катать.

Уехал владыка, а мать-то Пелагеи Ивановны, Прасковья Ивановна, услышав всю эту историю-то в Арзамасе, перепугалась, приехала к нам и говорит мне: «В сумасшедший дом, говорят, засадят; а вам-то с ней беда будет. Ее-то мне уж не жаль. Слыханное ли дело? Что наделала! Бог с ней, туда ей и дорога, а вот вас-то, голубушка вы моя, уж больно жаль. За нею, за дурую, ходила да радела».

Все это молча слушала Пелагея-то Ивановна да на эти ее слова-то и сказала: «Сроду там не была да никогда вовек и не

буду. Ничего не будет». Что же? Ничего и вправду не было, а еще владыка-то, бывало, так почитает ее, что всегда справлялся, жива ли она. И что еще? Присылал ей и свое благословение и от нее просил себе святых молитв ее, даже и просфору раз прислал ей со странником и еще что-то в гостинец. Видно, уразумел он, что не по-Божески поступил и что справедливо, хотя безбоязненно и дерзновенно, обличила его блаженная раба Христова».

Так судит о поступке блаженной Пелагеи Ивановны достопочтенная Анна Герасимовна. Для более верного уразумения этого поступка мы приведем здесь слова приснопамятного первосвященника Московского Филарета. В письме своем к высокопреосвященнейшему Исидору, митрополиту Санкт-Петербургскому, он между прочим писал: «Неправильное избрание Гликерии подтвердилось. Иоасаф открылся самым нелепым человеком. В общине сестер, простых и скромных, постепенно собрал себе партию, главой которой теперь Гликерия, и произвел разделение и смуты... После избрания Гликерии одна живущая в Дивееве и уважаемая всеми юродивая при народе ударила преосвященного Нектария в щеку»²⁰. Эти слова приснопамятного первосвященника Московского проливают ясный свет на поступок блаженной Пелагеи Ивановны. Поступок этот вызван был крайней несправедливостью в избрании Гликерии, не по общему желанию сестер, а по интригам и проискам Иоасафа. Поступок этот свидетельствовал о ревности по правде, явно нарушенной и попранной. Из рассказа Анны Герасимовны нельзя не видеть, что Пелагея Ивановна долго боролась сама с собою пред этим поступком своим, переносила тяжкую внутреннюю скорбь и перед самым поступком отворотилась от преосвященного, и все-таки решилась на этот поступок. Это, очевидно, не простая человеческая дерзость против архипастыря церкви, но именно ревность по правде, столь явно поруганной и попранной.

Послушаем дальше повествование Анны Герасимовны. «В тот самый день, когда архиерей сменил Елизавету Алексеевну и поставил на место ее Череватинскую крестьянку Лукерью, в тот самый день Пелагея Ивановна убила котенка назаровского. И

все шесть месяцев, в продолжение которых сидела Лукерья, она все ломала, била и воевала без уговону. Был у нас свой собственный, тоже прехорошенький, котенок – тем же временем и его она убила. И уж так-то мне больно, досадно да жалостно стало. «Что это, – говорю, – Пелагея Ивановна; будет тебе! Все-то ты бьешь, да убиваешь, кажется, сама кошек-то любила, а тут, глядь-ка, другого котенка уж убиваешь. Как это не жалко тебе? Ведь тварь чем же виновата!» – «Так-то так, батюшка, – отвечает, – да что же делать-то, когда так надо». Вот тебе и толкуй с ними, с блаженными-то.

Гляжу раз: бежит откуда-то и несет прехорошенького котенка, где взяла, уж и не знаю. Принесла она его да в передний-то угол на лавку и посадила, гладит да приговаривает: «Ну вот, двух я убила, а ты уж теперь поживи у меня». «Ну, – говорю, – одного убила, да еще мало, и другого, а теперь своего принесла, пусть же этот вот и живет».

К вечеру, слышу, приехал к нам Тамбовский архимандрит Иоаким (неправильное-то Нектарьевское дело в Святейший Синод поступило, временно вишь и перевели нас к Тамбовскому архиерею), для того чтобы матушку-то Елизавету Алексеевну, не по-Божьему-то у нас отнятую, нам возвратить и опять поставить начальницею; тут-то уж и поняла я все ее проделки. Вот почему котенка-то сама принесла. Эх, Пелагея Ивановна, Пелагея Ивановна! И чудна только она была».

Любовь к цветам

«Ну, с тех вот пор как возвратили нам матушку-то Елизавету Алексеевну, все по-прежнему стало у нас покойно, перестала озорничать и моя Пелагея Ивановна. Вместо камней да палок с матушкиного игуменства цветы полюбила, цветами заниматься стала. Сидит ли, ходит ли, сама знай их перебирает; и сколько, бывало, ей нанесут их! Целые пуки. Всю-то келью затравнят ими. Тут вот она и бегать почти перестала, все больше в келии, бывало, сидит. Любимое ее место было на самом-то на ходу, между трех дверей, на полу, на войлочке у печки. Повесила тут батюшки Серафима портрет да матушкин; с ними, бывало, все и ночью-то разговоры ведет да цветов им дает».

Всенощное бодрствование

«Спать она почти не спала, разве так, сидя тут же или лежа немного задремлет, а ночью, случалось, посмотришь, ее уж и нет; уйдет, бывало, и стоит где-нибудь в обители, невзирая ни на дождь, ни на стужу, обратясь к востоку; полагать надо, молится. Больна никогда не бывала. Раз только за три года до смерти вот этак-то ночью ушла она. Я нездорова была; Маша стирать в лес ушла, а буран страшнейший ревет. Слышу я: бьет десять, одиннадцать, двенадцать часов, наконец, час, а ее все нету.

– Поленька, – говорю, – ты бы сходила, посмотрела Пелагею-то Ивановну, с четырех часов нет, а на дворе-то что? Ведь, пожалуй, убьет.

Взяла фонарь Поля – задувает; так в потемках-то и вышла. Искала, кричала, не нашла. Ну-ка, взбудоражили всех. А как есть зги не видать; Пелагеи Ивановны нет как нет. «Ступайте, – говорю, – в мир, ищите и там уж ее». Пять часов утра. «Господи! – говорю. Что же это?» Часов этак в шесть пошла Маша в обитель, глядит: покажись ей, будто Пелагеи Ивановны рубашка-то на грядках против собора белеет. Подошла Маша, а она сидит в грядках-то, не шелохнется, уж совсем почти замерзла; и так-то Маше обрадовалась, так к ней и прижалась. Вишь, в грядки-то как залезла она мокрая, ветер-то и сшиб ее; повалившись, она села, выбившись из старых немощных-то сил, сарафан-то тем временем примерз к земле, ей и не выбиться. Скричала Маша сестер; принесли ее на руках, положили, напоили чаем с вином, стала отходить понемножку и рассмеялась.

– Разве, – говорит, – вам меня жаль?

– Жаль-не жаль, – говорю, – а какой бы выговор-то я приняла.

– Да вот я, Симеон (последнее-то время все Симеоном меня звала), заплуталась, дороги-то не нашла, меня сшибло, я путь-то уж совсем потеряла.

Я-то ворчу, знаешь, а самой вот как ее жаль, и сказать не сумею; отвернулась да заплакала. Увидела она это да сестрам-то и показывает. «Ох, пес какой батюшка-то, говорит «не жаль», а смотрите-ка, плачет». Насилу, насилу мы тогда ее отходили. Судите сами: старухе ночью, девять часов кряду, на страшнейшем буране, чуть не хуже зимы, просидеть в одном сарафанишке с рубашкою; как не умерла – диво! Вот лишь с тех-то пор стала она чулки надевать; и до самой смерти никуда уж из кельи не выходила».

Дар слез

«Дар слез был у Пелагеи Ивановны замечательный, но прежде она плакала более тайком, скрытно. Помню, раз хватилась я ее, уж очень долго ее не было; искали-искали, нигде не нашли. Пошла я в поле и вижу: сидит она у кирпичных сараев и так-то горько плачет, словно река льется. Надорвалось даже у меня сердце, на нее глядя. «Ох, – думаю, – что это как она плачет! Уж не побил ли кто ее!» Так думаю с малого-то моего разума, глупого, а она, моя голубушка, мне и говорит: «Нет, батюшка, это я так; надо мне уж так-то плакать, вот я и плачу». А года вот за четыре до смерти своей, как слышно стало, что у нас творится на Руси, какие пакости да беззакония, то уж как она, сердечная, бывало, плакала-то; уж и не скрывалась и почти не переставала плакать. Глаза даже у нее загноились и даже заболели от этих слез.

– Что это значит, матушка, – говорю я, – что ты все так страшно плачешь?

– Эх, Симеон, – говорит она, – если бы ты знала это! Весь бы свет теперь заставила плакать».

Покорность

«А как она была покорна и послушлива, скажу вам! Настоящих послушниц не найдешь таких; даром, что блаженная. Как привели ее к нам, она хоть и бегала, а всегда, бывало, сказывалась. А прошлой вот осенью, незадолго до смерти, стала Поля на ней сарафан примерять: она и заупрямься – и ее бить. Поля мне и сказала. «Да ты что же это, – говорю, – озоруюшь?» – и ударила ее платком по спине. Она так и затряслась, так было ко мне и бросилась. «Маменька, – говорит, – ты меня за что, за что бьешь? За что бьешь?»

– За Полю, – говорю, – ты ее заколотила.

– Да ведь я за дело, – говорит. Ну да что же? Прости меня Христа ради.

И так-то хорошо поклонилась мне в ноги.

Бывшая в то время монахиня Есфирь крайне удивилась.

– Вот, – говорит, – матушка-то Пелагея Ивановна как смирению-то учит нас! Какая послушная.

– Ох, – говорю, – матушка, это точно. Вот первые-то лет десять как она, моя голубушка, меня слушалась, поглядели бы вы.

– Уж и десять лет?.. А как побольше... улыбаясь сказала Пелагея Ивановна.

– Кто же это знает, – говорю, – может, и больше. Уж не помню.

– Нет, уж другой Палашки у вас не будет, вам другой такой не найти, – задумавшись, ответила она.

В прежнее то время у нас не было послушницы, одни жили. Придет, бывало, летняя пора, все на работу уйдут. Вот, бывало, и за нею-то гляди, да стряпай, и все прибирай, а положено еще кроме того всякой из нас свой урок. Свитку принесет монахиня Александра – ее обязательно надо сшить в положенный срок; вот, бывало, вижу: мне некогда, сила не берет. И скажу ей как есть умному человеку: «Матушка, Господа ради, пособи мне; мне недосуг, а спрашивают; слышишь, «к сроку надо». И подвяжет она фартучек, наденет наперсточек, не говоря ни

слова. Гляжу: шьет хорошохонько. Уж такая-то послушная была! В другой же раз, если, забывшись, оставлю я свитку, она нарочно так-то напутает, что и распутать невозможно. Однажды таким-то вот родом все так перепутала, что и поправить было нельзя. И бежит к нам мать-то Александра, выговаривает: «Так нельзя; знаете, что нужно, а портите. Что это, глядите, Господи, помилуй. Как это можно так шить!»

– Не меня, – говорю, – вини; вон дура-то сидит; на ней взыскивай.

И так мне что-то это пришлось больно, что вот, каюсь вам, согрешила – по голове-то этой самой свиткой ее и ударила.

Она и не тряхнулась. «Что ж, – говорит, глядя на мать Александру, – что на мне возьмешь? Я безумная».

Нитки даже пряла у меня она, и по своей охоте. «Дай-ка, – скажет, – мне, батюшка, гребень-то, я попряду». Подаю я гребень, ну и сидит да прядет с лучиною; свечей и ламп тогда и в заводе-то не было... Напрядет толстых ниток; у меня Ладыженские, бывало, и разберут».

Терпеливость и смиренность

«Что и говорить? Воевать по-своему, по-блаженному, воевала; а уж терпелива и смиренна была, удивляться лишь надо. Бывало, таракашка зря ни сама не тронет, ни другим не даст, не только кого обидеть; на ногу наступят, бывало, ей, раздавят вовсе да еще стоят на ней, а она не пикнет, лишь поморщится только. Волосы даже раз загорелись от неосторожности на ней, и тут молчит. И как хочешь, бывало, ее унижай, поноси, ругай ее в лицо, она еще рада, улыбается. «Я ведь, – говорит, – вовсе без ума, дура». А кто должную лишь честь воздаст ей за ее прозорливость да назовет ее, бывало, святой или праведницей, пуще всего растрожится. Не терпела почета, а напротив, поношение любила больше всего».

Нестяжательность

«Никогда ничего ни у кого Пелагея Ивановна не искала, не просила и не брала. Она была совершеннейшим образом нестяжательна, оттого у нее ничего своего и не было, кроме двух столовых серебряных ложек, да и те матушке нашей отдала. Я расскажу вам, как это было. За свое-то добро да семейных скорбела; раз вот и говорит матери: «Ведь Палага-то безумная, куда хотят и мытарят серебро-то ее». А мать, услышав это и зная ее прозорливость за последнее время, боялась ее и привезла ей эти две ложки.

– А что ж мой жемчуг не привезла? – спросила Пелагея Ивановна.

– Я его внучке Наде отдала, – отвечала Прасковья Ивановна.

– Напрасно, – говорит, – я и сама бы нашла, куда его поместить-то.

После этого пришла как-то матушкина келейница, Орловская Катя. Пелагея Ивановна, не говоря никому, взяла одну из этих ложек, сунула ей в колени и говорит: «Отдай матушке». А спустя немного времени и говорит мне: «Симеон, а Симеон! Мы с тобой люди-то кой-какие, к чему нам это?» – и подает мне другую-то ложку. «Отошли, – говорит, – матушке». Так из всего ее добра единственно уцелевшие и ей доставшиеся эти две столовые серебряные ложки находятся теперь у матушки.

В другой раз, вскоре после смерти деверя ее, приезжает к нам брат ее. Как всегда все вперед зная, перед самым приездом его Пелагея Ивановна села прясть; сидит и прядет. «Ах, – говорит он, – вот так хорошо, от пера да за прялку». Присрамить захотел.

– Что же? – отвечает она. Ведь мы люди бедные, богатым до нас нет и дела; они нас знать не хотят; делятся, а нас даже и не спросят.

– Это что значит? – говорит брат.

Ан и вышло, что значило, недовольна была она и выговаривала очень, зачем в здешнюю-то обитель менее на помин дали. И вот так-то часто она им выговаривала за свои-то вещи да за свою обитель. А то, что дадут, то и есть, что наденут, то и носит, а ничего не дадут – даже и не просит.

Все она и пила, и ела, и носила, что подавали ей ее почитатели ради Христовой милостыни. Из платья кто что принесет, сама не брала, бывало, мне подадут: сарафан ли, рубашку ли, или платок. Мы, бывало, на нее и наденем, да и то не всегда дается надеть-то, а как ей Бог велит. Гостинцев каких принесут: конфет, пряников или просфору, – она не от всякого возьмет. А что уж возьмет, то в свою житницу – так мы прозвали ее пазуху – положит. И была у нее эта житница словно большущий какой мешок, за шею привязанный; так, бывало, будто с целым мешком и ходит везде. И Боже упаси, как тревожится – не коснись никто этой житницы!

В последние-то годы ей приносили все из матушкиных комнат; очень любила она эту матушкину пищу и называла ее своею да Божией. «Царица Небесная, – говорила, – мне это прислала». А то: «Ну-ка, подай-ка мне – там есть моя-то пища». Бывало, не ест другой-то, своей дожидается. И страшно растревожится, если что из принесенной этой пищи кто тронет.

Денег ни от кого никогда не брала. Так, раз одна бедная барышня была у нее; Пелагея Ивановна страх как хорошо приняла ее. Полагая, как всегда мирские-то думают, что надобно что-нибудь дать блаженной, она подала ей рубль медными деньгами. «Оставь, – заговорила Пелагея Ивановна, – у тебя у самой это последнее». Как бы вы думали? Ведь и вышла правда; последний ведь рубль был в кармане у барышни-то, хоть и хорошо была одета она».

Нелицеприятие

«Никого ничем никогда она не отличала, ругал ли кто ее, ласкался ли кто к ней – для нее все были равны. Всякому говорила она лишь то, что по их, по-блаженному, Сам Господь укажет и кому что надо было для душевного спасения: одного ласкает, другого бранит, кому улыбается, от кого отворачивается, с одним плачет, а с другим вздыхает, кого приютит, а кого отгонит, а с иным хоть весь день просиди, ни полслова не скажет, точно будто и не видит. С раннего утра и до поздней ночи, бывало, нет нам покоя, так совсем замотают: кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о горе, кто о смерти, кто о болезни и скота, и людей – всяк со своими горем и скорбями, со своей сухотой и заботой идет к ней, бывало, ни на что без нее не решаясь. Сестры, у кого лишь чуть что, все к ней же летят, почтой²¹, бывало, и то все ее же спрашивают. Как есть, нет отбою. И все говорят: что она им скажет, так все и случится; Сам, значит, уже Бог так людям на пользу жить указал. Как же их погонишь-то?! И ее прогневать не хочется, да и Бога-то боишься. Бывало, с утра и до поздней ночи и тормошишься; иной раз как тошно, а терпишь, да молчишь – делать нечего. Старух и молодых, простых и важных, начальников и не начальников – никого у нее не было, а все безразличны. Любить особенно, Бог ее ведает, любила ли кого, я не заметила. Меня любила, кажется, да и то как-то по-своему. Раз, например, отпустила я жать Полю, одна и осталась. Пелагея Ивановна у меня убежала, а я заболела, да и немало, вовсе свалилась, так другой день и лежу. Прибежала она и говорит: «Что это вы, батюшка?»

– Да! Вот теперь, – говорю, – батюшка! батюшка-то небось пять раз на день в караулку-то да в поле за тобой бегают! А вот как батюшка-то другой день болен лежит, так ты и не заглянешь, не наведишь его! Не подойдешь сказать: не хочешь ли, батюшка, испытать или чего...

Глядит, слушает молча, нагнулась, поцеловала меня в лоб и ушла. Уж не знаю, спросила ли у кого, или кто ей дал, только

приходит вскоре: в одной руке белый хлеб несет, в другой зачерпнула в этом старинном котле (уж лет 50 ему, что под лавкой у нас нарочно для того и стоит) воды ковшиком да ко мне и подходит.

– Не хочешь ли поесть-то, батюшка? Вот и водичка, на-ка попей.

А еще захворала я. Тоже лежу, она и бежит, увидала.

– Знать ты, батюшка, хвораешь.

– Да, хвораю.

– Ах, кормилец ты мой! Что это у тебя? Голова что ли болит?

Схватила в охапку меня на руки и тащит на двор.

– Что ты, – говорю, – безумная, выдумала? Оставь! Поля, не давай ей!

А она знай: свое. Вытащила меня на воздух, села да на коленках-то меня и держит, качает да, дуя в лицо, целует меня и приговаривает: «Ох, батюшка! Этакой ты у меня плохой!»

Именинница я, знаете, на Симеона и Анны. Вот последние-то годы все звала она меня Симеоном, и всегда-то по-разному. Как, бывало, назовет, я уже и не знаю, ласкает или за что бранит и сердится; привыкла, знаете, к этому. Когда была довольна – все «Симеон» да «Симеон-батюшка», а как сердита, ни за что так не скажет, а все «Семка» да «Семка». А растревожусь, рассержусь я, бывало, и начну кому выговаривать что, она сейчас возьмет меня за руку, гладит руку-то, в глаза так и глядит, так и ласкается. «Ведь ты у меня Симеон-Богоприимец, батюшка; ведь он так прямо на ручки-то Господа и принял; да был хороший да кроткий такой. И тебе так-то надо».

По всему вот по этому-то и думаю я, что она любила меня. Ульяну Григорьевну покойную вот тоже любила она, даже плакала, как хоронить ее понесли.

Еще матушку нашу Марию она очень любила и редкий-то день, бывало, не вспомнит о ней. И с портретом ее целыми часами разговаривает, и всякой-то от нее посланной обрадуется, и все «Машенька» да «Машенька», другого названия и не было. И как ей все было известно: и заботы, и

нужды обители, и как им, начальницам-то, трудно. Все, бывало, об ней вздыхает да охает. «Машеньку-то мне жаль! Ах, как Машеньку-то жаль! Бедная Машенька!» Так что если в обители или у матушки неприятности какой быть, ходит моя Пелагея Ивановна – и не подходи к ней, растревоженная, расстроенная, ничем в ту пору ей не угодишь. «Машеньке-то, поди, как трудно, никто ее не жалеет», – скажет она. Ну, уж и знай, что уж что-нибудь да не ладно».

Забота об обители

«Обитель она очень хранила, называя всех в ней своими, дочками. И точно была она для обители матерью; ничего без нее здесь и не делалось. В послушание ли кого посылать, принять ли кого в обитель или выслать – ничего без ее благословения матушка не делала. Что Пелагея Ивановна скажет, то свято, так тому уж и быть. И как, бывало, она скажет, так все и случится. Раз приходит к нам которая-то из наших сборщиц, сидит вот да и ропщет: «Батюшка-то Серафим, слышь, предсказывал, говорят, что через омет нам деньги-то бросать будут – только возьмите. А уж где же бросают-то?!» Вздохнет да охнет. «Так-то просить, ничем не выпросишь». Пелагея Ивановна и говорит ей: «У Бога милости много, а нашу обитель, знай, Он никогда не оставит».

А ныне вот осенью, как покража-то у нас в трапезе случилась и приказано было все запереть да построже держать, вот и затолковали у нас: «Бойтесь пожара, подожгут». Я слышу да сестрам говорю: «Вы, сестры, смотрите, не больно крепко спите, нас, говорят все, поджечь собираются». Пелагея-то Ивановна слушает да и говорит: «Полно! Ложитесь-ка себе, да покрепче спите. Обитель наша никогда ничем не повредится, и никогда в ней ничего не случится, потому что те, кому поручено, караулят». В это самое время на эти слова ее караул, поставленный у собора из церковниц, и забил в доску. «И впрямь, – говорю, – слышь: караульницы-то наши пошли».

– Эх, Симеон! – перебила она меня. Ничего-то ты не понимаешь. Да ведь не эти караульщики. Что эти-то?! Тот караулит, кому поручено караулить обитель.

Должно быть, разумела старца Серафима».

Дар предречения

«А вот в 1882 году все затолковали у нас, что скоро мощам быть, я и говорю раз Пелагее-то Ивановне: «Слышишь, что говорят? Мощи будут».

– Будут, – отвечает.

– Скоро ли? – спрашиваю.

– Нет, – говорит, – еще не скоро.

Мне стало досадно.

– А ты-то, – говорю, – почему знаешь?

– Да я-то, – говорит, – хоть и не знаю, а только не скоро.

А вот весной в 1883 году сидит она в чулане у открытого окошка да и говорит мне:

– Симеон, да поди-ка ты ко мне, поговорим-ка немножко.

– Что же, – говорю, – давай поговорим.

Подошла, знаешь, я и села возле нее на лавку.

– Гляди, – говорит, – Симеон, как хорошо расцвело.

А сама так и трепещет вся, так вот и ликует. А я-то, знаешь, взглянула, вижу, и вправду сирень расцвела, да и говорю:

– Матушка, гляди-ка, как хорошо сирень-то расцвела.

– Ох, – говорит, – Симеон! Какая же ты глупенькая! Ничего не понимаешь!

И взяла меня за руку, крепко ее сжала и говорит:

– Через шесть-то лет что в обители расцветет!

А сама так вот вся и трепещет. Тут только я поняла, что она что-то видит, чего нам не видно, и что-то хорошее обители предрекает».

Общение между юродивыми

«Забегали к Пелагеи Ивановне и прочие бывшие в обители блаженные рабы Божии – такие же, как и она, дурочки, как себя они величали. Раз, например, зашла, так всеми называемая блаженная Паша Саровская. Она потому и называлась Саровскою, что несколько лет спасалась в Саровском лесу. Взошла и молча села возле Пелагеи Ивановны. Долго смотрела на нее Пелагея Ивановна да и говорит: «Да! Вот тебе-то хорошо, нет заботы, как у меня: вон детей-то сколько!» Встала Паша, поклонилась ей низехонько и ушла, не сказав ни слова в ответ. Спустя много лет после того сестра обители нашей Ксения Кузьминична, старица прежних Серафимовских времен, однажды во время обедни осталась одна с Пелагеей Ивановной и, сидя на лавке у окна, тихонько расчесывала у нее голову, а Пелагея Ивановна спала. Вдруг Пелагея Ивановна вскочила, точно кто ее разбудил, так что старицу Ксению испугала, бросилась к окну, открыла его и, высунувшись наполовину, стала глядеть вдаль и кому-то грозить. «Что такое?» – подумала старица Ксения, подошла к окну поглядеть и видит: отворяется обительская калитка, что у Казанской церкви, и в нее входит блаженная Паша Саровская с узелком за плечами, направляется прямо к Пелагее Ивановне и что-то бормочет про себя. Подойдя ближе и заметив, что Пелагея Ивановна ей таинственно грозит, Паша остановилась и спросила:

- Что, матушка, или нейти?
- Нет, – говорит Пелагея Ивановна.
- Стало быть, рано еще? Не время?
- Да, – подтвердила Пелагея Ивановна.

Молча на это низко поклонилась ей Паша и тотчас же, не заходя в обитель, ушла в ту самую калитку. И после этого года полтора не была у нас.

Вот они, блаженные-то, как разговаривают, поди и понимай их, как хочешь... А они, дурочки-то, все знают, лишь друг на друга только взглянут, все и понимают.

Что же, вы думаете, значили эти таинственные их разговоры? А вот что: лет за шесть до смерти Пелагеи Ивановны явилась к нам опять Паша с какой-то детской куклой, а потом, еще немного погодя, и со многими куклами; нянчится, бывало, с ними, ухаживает за ними, называя их детьми. И стала Паша по нескольку недель, а потом уж и по нескольку месяцев проживать у нас в обители, где день, где ночь. За год до кончины Пелагеи Ивановны почти весь год прожила у нас. А как скончалась Пелагея Ивановна, то осталась даже и совсем в нашей обители. Была несколько раз она у меня, и я пробовала предложить ей остаться.

– Нет, нельзя, вон маменька-то не велит, – отвечает мне, показывая на портрет Пелагеи Ивановны.

– Что это, – говорю, – я не вижу.

– Да что ты, – говорит, – не видишь, а я-то вижу, не благословляет.

Так и ушла и поселилась у клиросных в корпусе.

Точно так же хаживали к нам и почитали Пелагею Ивановну и наши блаженные покойная сестра Прасковья Семеновна, тоже еще Серафимовская старица, называвшая ее всегда: *Пелагея Ивановна – второй Серафим*; также покойная же сестра *Прасковья Яковлевна*, называвшая ее *маменькой*.

А вот когда перед самой смертью пришла к нам в последний раз некая блаженная Евгения Феофановна, не из нашей обители, а только бывавшая у нас, тот-то что было! Вот как теперь гляжу и никогда не забуду: приходит она к нам и два узла тащит махров²². «Вот, Герасимовна сухоребрая, – кричит, – никому не верю, а тебе все имение тащу».

– А ты полно дурить-то, – говорит ей Пелагея Ивановна, – лучше о смерти поговорим.

Феофановна-то, услышав эти слова, как вскочит, подбежала к ней, пала к ногам ее и стала обнимать их. «Ты меня проводи», – говорит, и так-то обе плакали, что жалость было смотреть на них. Чрез несколько дней, не более, заболела Евгения Феофановна, 4 февраля; стужа была страшная. Уж как и откуда она очутилась, не знаю. Просилась и билась под окном у диакона Ивана Никитича Садовского, что в приходе родного

брата батюшки Василия, да никто там не впустил ее, зная, как бушует блаженная. Ведь ни угомон, ни закон для них не писан, не всякий терпеть-то их может. Так совсем было она и замерзла, да возле колокольни-то жили Хохловские старик со старухой, те и услышали ее стоны, сжалились над ней, взяли к себе в избу да мне и сказали. Пришла я, вижу: лежит; и жалко мне ее стало... Как быть? На ту самую пору Агафья Лаврентьевна, нашей же обители сестра, говорит мне: «Жалко мне тебя, Герасимовна, будет с тебя и одной, дай-ка я ее к себе возьму». И перенесли мы ее к Агафье-то Лаврентьевне. На другой день Пелагея-то Ивановна мне и говорит: «Поди к Евгении-то, захвати, пока жива». Пошла я, а она лежит, как бы и не было ничего с ней, и все бранится да блажит. «Меня, – говорит, – приедут провожать-то с колоколами». Так и случилось. За батюшкой Василием приехали с колокольчиками свадьбу венчать, а Евгения-то отходит; он на этих лошадях с колокольчиками и приехал ее приобщать. Тут и умерла она.

И много их хаживало к нам».

Последнее пребывание в обители

«С тех пор, как Пелагея Ивановна поселилась в обители, она уж никогда и никуда из нее не выходила. Раз я начала упрашивать ее и говорить: «Что бы нам с тобою в Сарово-то к батюшке Серафиму сходить, Пелагея Ивановна».

– Пойдем, – говорит.

Ну я и обрадовалась, наняла лошадь, собрались и отправились мы с ней, да доехали до нашей монастырской-то гостиницы – за ворота-то она и не едет. «Зачем, – говорит, – я поеду. Чай, не с ума сошла. Он (то есть батюшка Серафим) всегда здесь. Не надо, не поеду». Тем и окончилась Саровская наша поездка. В другой раз вот помню: понетаевские-то наши соседки²³ всегда очень ее любили да и попробовали ее раз позвать к себе. «Как ты нас обрадуешь-то, – говорили они. Как тебе хорошо-то будет у нас! В экипаже тройку пришлем за тобой, только пойдем». Она все молчала да отворачивалась, а они-то все знай к ней лезут. «Хоть на недельку, на денек приезжай». «Наплевать вам, чай не вовсе я с ума сошла», – отвечала им и ушла.

Так весь век свой и прожила, голубушка моя, у любимой своей печки на полу между тремя дверьми».

Причащение Святых Таин

«А вот еще скажу вам: с грешными людьми часто бывает, что они за собою ничего не видят, а на других указывают. Что делать, на то они и грешные люди. Вот так-то и у нас было. Стали соблазняться тем, что Пелагея Ивановна не исповедуется и Святых Таин не причащается. Вот приказали нашему батюшке отцу Ивану Феминину (из соседнего прихода, потому что своих священников тогда еще не было) исповедать ее. Пришел он, и долго-долго они пробыли вместе наедине. Смотрю: выходит батюшка такой-то взволнованный и пошел прямо к матушке настоятельнице; слышим, объяснил он ей, что Пелагея Ивановна великая раба Божия и что не он ее, а она его исповедала и прямо высказала ему все потаенные грехи его. И насчет Святых Таин всегда хлопотали наши сестры-хлопотуши, обзывая ее испорченною, да меня за нее укоряли, А дело-то в том, что она приобщалась Святых Таин, только не часто. Разболелись у нее как-то ноги, я и говорю: «Не приобщить ли тебя, Пелагея Ивановна».

– Что ж, – говорит, – батюшка, хорошее дело.

И приобщил ее батюшка о. Василий. Точно так же как-то раз в Великий пост предложила я ей приобщиться, и она не только рада была, но даже сама все и правило-то к причащению вычитала, и приобщилась. Раз сестры так доняли меня, что невтерпеж мне стало, я и говорю ей: «Что это ты не приобщись? Ведь все сестры говорят, что ты порченная».

– Ах, нет, – говорит, – батюшка, старик-то батюшка Серафим ведь мне разрешил от рождения до успения.

Что значили эти слова святого старца, не знаю я, а думаю по моему глупому разуму, не указал ли он ей и тут путь высочайшего самоотвержения. Что может быть выше, радостнее и блаженнее приобщения Святых Таин Христовых? О, они, эти блаженные, добровольно осуждают себя и на это лишение. А впрочем, Бог их знает! С ними бывают такие чудные события²⁴.

Вот я вам еще скажу: раз сестры тоже пристали ко мне и укоряют, что не причащу Пелагею Ивановну. Вот пошла я и

сказала о том батюшке, а он мне ответил: «Нечего слушать их! Что они понимают? Когда она сама пожелает, а этак ты, Герасимовна, за мной и не ходи. Знаю я Пелагею Ивановну, какая она раба Божия. Она с таким благоговением, с таким смирением, с таким страхом и трепетом принимает Святые Христовы Таины, что вся даже просветлеет, и так вся ликует от духовного восторга, что даже на меня самого страх нападает от этого ее просветления. Потому сама она лучше и нас с тобою знает, когда Господь благословит ее приобщиться». С тем я и ушла. А разуму-то, грешница, все еще не научилась. Так раз вот в 1882 году в Петровки²⁵ больно уж доняли меня опять сестры за то, что не приобщила-то я ее. Собралась я сама приобщиться да все и приговариваюсь к ней о том же, а она все молчит. Я уже больно раздосадовалась. Приобщиться-то я приобщилась, да ее и выбранила за то, что она-то не приобщилась, а она все молчит. Заснула я ночью и вижу: входят к нам священник и диакон с Чашей и приобщили ее. Проснувшись я, и уж не во сне, а наяву, слышу: отворилась дверь и уходят, шаги мужские. «Поля, Поля! – кричу соскочив. Кто у нас был? Кто сейчас вышел?» Проснулась Поля и говорит: «Никого не было». А Пелагея-то Ивановна, вижу, молча сидит на любимом своем месте, на полу у печки на войлочке, и такая-то веселая, светлая да румяная, точно вся помолодела. Увидав ее такую, я стала просить у нее прощения: «Ах, матушка! Ведь ты святая, ты ведь молилась да...» Я не успела договорить, а она мне: «Что ты просишь у меня прощения, ведь я не то, что ты говоришь, я великая грешница». Так и залилась я слезами, что оскорбила ее, а она, увидав мои слезы, улыбнулась да и простила. И вот с этих-то уже пор, что, бывало, ни говорят мне, как ни досаждают, никого я не слушалась, а как самой ей угодно, как Господь ей укажет, так и делала».

Таинственные посещения

«И частенько-таки бывали ей подобные посещения свыше. Вот уж в 1884 году, незадолго до смерти, по обыкновению лежу я на лежанке ночью и не сплю, она тоже, по обыкновению своему всегда не спать, ночи сидит на любимом своем месте, на полу у печки. Вот слышу я: пришел к ней батюшка Серафим, слышу я голоса его и ее; и долго так говорили они. Я все слушаю да слушаю – хочется, знаешь, узнать, а всего-то расслышать не могу, только понимаю, что все об обители толкуют. И нашу матушку настоятельницу помянули, это-то я хорошо разобрала. Вот когда уже все стихло и не слышно стало голосов их, я и выхожу, к ней.

– Это ведь у тебя, Пелагея Ивановна, батюшка Серафим был? Я его голос слышала, и вы с ним все об обители толковали и матушку поминали: ведь так? Что ж это значит? Не случится ли у нас чего?

– Мало ли, – отвечала она, – у нас дел.

Так и не добились я у нее ничего.

А вот также за 12 дней до смерти ее лежу я на лежанке ночью, а она на своем полу на войлочке сидит; вдруг – и никогда еще этого не было – слышу я: она запела, всего-то уж не упомню, а вот эти слова хорошо поняла: «Ангели удивившая, как Дева восходит от земли на небо». Ах, думаю, что это с ней? Никогда еще так-то не бывало, как бы чего не случилось?.. И прошло мало, этак дня чрез два ночью опять слышу, что кто-то говорит с нею, и таким каким-то странным голосом, а она точно с ним спорит. «Это еще что? Кто это? – думаю, да не вытерпела и окликнула. Маша! Это ты что ли?» А послушница Маша мне и отвечает: «Нет, матушка, не я, а, должно быть, не Пелагея ли Гавриловна». А Поля-то крепко-накрепко спит. Тут не выдержала я, вскочила да и вхожу, вижу: сидит она на своем месте. «Да что же это за странности? – говорю. Третьего дня ты пела, и я очень хорошо это слышала да промолчала; сейчас опять кто-то странным таким голосом разговаривал тут с тобою.

Хочу я знать, кто это был. Уж что-нибудь это да значит...»
Поглядела она на меня да развела руками.

– А вот тебе, – говорит, – и не узнать.

– Как, – говорю я с досадою, – не узнать? Мало ли кто приходит! Кто тебя знает! Может, не вор ли какой.

– Вор и есть, – говорит она, – тот самый, который души ворует.

Поняла я тут страшный голос, что напугал меня, и замолчала».

Последняя беседа с матушкой благочинной

«Незадолго до смерти Пелагеи Ивановны пришла к нам наша только что поставленная мать благочинная, монахиня Елена, и Пелагея Ивановна долго-долго хорошо беседовала с ней, наставляла ее никого не обижать и строго исполнять свою должность и утешала ее. «Вот право, ей Богу, никто ничего не сделает, не гляди ни на кого. Вот посмотри на эту просфору». И вынула из пазухи хорошую просфору. «Такая же хорошая, как эта просфора, будешь и ты: я помогу, а Господь все устроит». И так-то была она весела, так-то вот и глядит ей в глаза, точно будто не наглядится на нее, вон как мать на дитя свое родное, давно не виданное, ласкает – не наласкается, точно вся трепещет от какого-то выпренного восторга».

Предсказания о благотворной деятельности матушки благочинной и о месте своего погребения

«Мне и стало досадно. Когда мать-то благочинная ушла, а она так вот и радуется, так вся и трепещет от восторга, я и говорю: «Что это, Пелагея Ивановна, гляжу я на тебя и не надивлюсь. Пришла благочинная – и вот как ты радуешься, точно не знаю, что случилось, точно вся праздничная. И чему ты рада? Диви бы уж кто, а то мать благочинная. И редко-то бывала она у тебя, да никогда тебе ничего не давала. Ведь вы прямо блаженные, нет у вас различия. Ну что ты глядишь – не нарадуешься, не нагладишься на нее, ведь уже это я сама видела.

– А что же, – говорит, – Симеон, человек-то она хороший.

– Ну уж хороший? Нашла.

– Ах, Симеон! Какая ты. А может, что еще и больно хорошо сделает.

– Сделает, – прибавила я, – как бы не так, дожидайся. Да и что она нам сделает-то? Ничего нам не надо; по матушкиной милости все у нас есть: келья своя, более нам ничего не надо. Умрем, так небось похоронят, не выкинут.

И так вот я на нее раздосадовалась.

– Эх, – говорит, – Симеон, гляжу я на тебя, ничего-то ты не понимаешь.

И умолкла.

– Да чего понимать-то? Нечего. Вот и ты умрешь, чай, как доброго человека похоронят. Да еще кто знает? Пожалуй, и гроб-то не в пример другим сделают?

– Что же, пожалуй. Да и воистину, какой еще гроб-то сделают, – задумавшись, сказала Пелагея Ивановна. И вдруг встала и, подойдя к иконам, так вся и просветлела. Она, моя голубушка, ублажала матушку благочинную за благоустройство собора и предвидела, что матушка благочинная укажет место вечного покоя ее, предвидела и почести, какие воздавались ей при погребении, а я-то по своему глупому разуму толкую о своем».

Болезненное состояние незадолго до смерти

«Дня за два до того, как ей совсем слечь, говорит она мне: «Ох, Симеон, Симеон! Как мне жаль матушку-то, да делать-то нечего». В то время вся Царская Фамилия здесь ожидалась.

– Что ж, – говорю, – разве беда какая случилась?

– Да беда-то не очень велика, – говорит, – а матушку-то мне жаль.

Тут как раз я и разнемоглась, и затолковали у нас в келии-то, как бы мне не умереть.

– А я-то с кем же останусь, – говорит Пелагея Ивановна и подошла ко мне. Нет, маменька, вставай, мы с тобой проживем еще маленько.

– Ну, – говорю, – когда мы друг друга так любим, что ты без меня не хочешь оставаться, а я без тебя, так давай кинем жребий, кому выйдет прежде умереть, тебе или мне.

– Ну, – говорит, – давай.

Не успела я сказать, как наши келейницы притащили нам длинную-предлинную бечевку. Пелагея Ивановна прехорошо стала перехватывать рукой. Вышло мне прежде умереть. Увидя это, Пелагея Ивановна пригорюнилась, вздохнула и говорит: «Ох, Господи! Да кого же мне искать-то еще. Нет, уже лучше я прежде умру!» 11 января, встав с места, направилась она к двери на двор и говорит: «Ох, Маша. Что-то у меня как голова болит! Пойду-ка я в остаточки на звезды-то небесные погляжу». Не дойдя до двери, вдруг упала, дурнота сделалась с ней; подняли мы ее, sprыснули святой водой, она чуточку очнулась да и говорит: «Что это, Господи, как бы не умереть! Симеон, Симеон, мне матушку да тебя только жаль».

– Полно-ка, – говорю я, – может, кого и еще?

– Так-то так, – отвечает, – да матушку-то больше всех.

– Да, – говорю, – пожалеешь вот ты. Нет, видно не больно жаль, коли не слушаешь никого да рвешься к двери-то. Вот как уж слаба да принуждаешь меня вот тут на полу-то возле тебя сидеть да караулить.

А она-то, моя голубушка, слушает да вдруг как поднялась да так-то было скоро попыталась выйти, а уж не смогла, в сенях-то опять было упала.

– Ой, Маша! Как меня тошнит, – говорит и села на лавке.

Поддержали мы ей голову, водицей святой попоили и повели в келью. А она и мои-то руки целует, и Машины-то, и даже у тут бывшей своей племянницы – молодой клиросной Паши – все и целует. Мы ей не даем, а она так и хватает, и так-то цепко ловит руки-то да все и целует, целует; так и уложили мы ее. Через несколько этак дней гляжу как-то: поднялась моя Пелагея Ивановна да прямо к Маше, поклонилась ей в ноги. Я что-то проворчала, смотрю, говорит: «Прости меня, Машенька, Христа ради». И мне тоже в ноги.

– Уж ты и вправду не собираешься ль умирать, Пелагея Ивановна, – говорю; не полюбилось мне это, что уж это за смирение такое напало. Вот всем в ноги кланяется, да у всех руки целует, точно отблагодарить всех хочет.

– Да кто же знает, матушка, ведь пожалуй умрешь, – говорит.

– На днях вот и ко мне подошла да поклонилась в ноги тоже, – заметила мне Пелагея Гавриловна.

Она молчит.

– Ну, – думаю, – уж если так ласкается да смиряется, видно, и вправду умереть собирается; всех, значит, и благодарит.

И сжалось у меня сердце-то.

20 января подала ей Маша чаю, а она и не встает.

– Положи-ка меня хорошенько, Марья, я больно хвораю, – сказала она.

Так и не пила ничего, и не ела, и молчит.

– Матушка, – говорит мне Маша-то, – вот Пелагея-то Ивановна очень захворала.

– Что это с тобою, матушка? – подошла я к ней и спросила.

– Да ведь я, маменька, захворала, – говорит.

– Что ж. Послать что ли сказать. Приобщиться надо.

– Да, – говорит.

А глаза веселые-развеселые, и сама вся радостная и всех-то крестит, кто ни приди.

23–го ночью был гром и молния, а утром как раз пришел с запасными Дарами священник наш, Иван Доримедонтович Смирнов, приобщить ее; стал возле ее кровати на колени и поднес святую Чашу, но блаженная тихонько отодвинула ее от себя и так несколько раз делала. Бывшая тут мать Афанасия Назарова насильно скрестила было ей руки, говоря: «Приобщайте, батюшка», – но Пелагея Ивановна с необыкновенной силой оттолкнула ее и опять тихонько отодвинула святую Чашу.

– Оставьте ее, не насилуйте, – сказал батюшка и стал уговаривать ее.

– Разве другой-то раз можно? – проговорила блаженная.

Батюшка приказал всем выйти. Все и ушли, остались только мы с батюшкой. Тишина была мертвая. Вдруг Пелагея Ивановна сама взяла святую Чашу и сама, как должно, приобщилась и запила теплотою.

– Оставьте, – сказал наш батюшка, – это значит, недостойн я приобщить ее.

Вечером просили мы того же батюшку Смирнова пособоровать ее.

– Недостойн я, – говорит, – но мы уговорили его.

Пособоровавшись, она была веселая, хорошая такая, и на другой день в понедельник веселая же была; всех встречала, приветствовала и провожала глазами, кто бы ни приходил к ней, а приходило много прощаться.

25 января, не предупредив меня о том, пришли читать ей отходную. Я как батюшку-то увидела, так, знаете, растревожилась. «Кто это догадался?» – говорю. А она мне: «Полно, – говорит, – маменька, не тревожься. Ведь это ничего, молитва Богородице только». Прочел батюшка отходную, а у меня вот так сердце-то и разрывается.

– Что это, Пелагея Ивановна, видно ты уж и вправду умереть хочешь?

– Умру, маменька, – отвечает. И кто меня помнит, того и я помню, и если буду иметь дерзновение, за всех буду молиться.

– А матушку-то, – говорю, – так и оставишь?

– Нет, – говорит, – маменька, я там ей еще больше помогу, буду Господа за нее просить.

С этих самых слов, со среды вечера, она совсем умолкла. С субботы же, 28 января, совсем даже и глаз не раскрывала. И когда приехали к ней в этот день два племянника ее проститься с нею, то одного из них, Николая Андреевича, она только перекрестила.

С субботы на воскресенье ночью она крепко и будто как-то спокойно спала, что мы с матушкой благочинной говорили, что, может быть, судя по такому сну, она и поправится.

В воскресенье, 29 января, к вечеру сделался с блаженной сильный жар, так что она не могла уже совсем спать, а в 12 часов ночи, на понедельник, 30 января, вдруг успокоилась совершенно; тихо, крепко и так глубоко заснула. И вот в этом-то последнем земном сне своем она ко второму часу стала дышать все как-то глубже и реже и ровно в четверть второго часа на понедельник 30 января (в праздник трех святителей и день кончины родной ее матери) Пелагеи Ивановны не стало. Чистая, многострадальная душа ее отлетела ко Господу».

Приготовление к погребению

Убрали блаженную в беленькую рубашку, в сарафан, положили большой серый шерстяной платок на плечи, повязали голову белым шелковым платочком; одним словом, нарядили так, как она и при земной жизни своей наряжалась. А так как она любила цветы, то в правую ее руку дали ей букет цветов; на левую надели шелковые черные четки, потому что батюшка Серафим, благословляя ее на подвиг юродства Христа ради, сам дал ей четки.

Лишь только убрали ее совсем, ударили в большой колокол, и так как это было в два часа ночи, то колокольный звон напугал многих сестер, думали, не пожар ли. Блаженная Паша Саровская, приютившаяся в то время у нас, сказала: «Какой пожар?! Вот глянуло солнышко, ну, маленько снежок-то и растаял, теперь в обители-то у вас темно будет».

Так и стояла Пелагея Ивановна три дня в крошечной, тесной келейке своей. Здесь битком был набит народ, ни на минуту не выходивший; здесь все время зажигались и горели свечи, непрестанно совершались панихиды, и вследствие того жара была нестерпимая, и несмотря на все это, она лежала во гробе, моя красавица, точно живая, точно вся просветлевшая.

На третий день вечером, как и говорила она, что сделают ей гроб не в пример другим, и вправду положили ее в прекрасный кипарисный гроб, весь украшенный херувимами, со словами: *Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас*, на крышке и на гробе: *Со святыми упокой* выкаленными словами. А на внутренней стороне гробовой крышки была привинчена дощечка с надписью: «Проходившая путь Христа ради юродства раба Божия блаженная Пелагея 30-го января 1884 года отошла ко Господу». Перенесли ее в теплую зимнюю Тихвинскую церковь, где и простояла она до девятого дня, в который и схоронили ее. Это промедление произошло вот по какому особенному случаю: семь лет тому назад, именно в 1877 году, когда совсем был готов собор Святой Троицы к освящению и только ожидали приезда владыки

Иоанникия, который тогда был епископом Нижегородским, а ныне митрополит Московский, блаженная Пелагея Ивановна однажды вошла в собор, оглядела все в нем и на вопрос сестры Елены Николаевны Анненковой (впоследствии матери благочинной, на которую возложено было строение и благоуукрашение собора): «Скажи, матушка, все ли так, и все ли в порядке, и не забыла ли я чего?» – ответила: «Все хорошо, все так, а вот местечка-то мне не приготовила». Это весьма озаботило матушку Елену. Но вот прошло благополучно и освящение, а слова эти так и остались без исполнения. Прошло три года, в 1880 году Пелагея Ивановна, уже никуда не выходявшая из своей кельи, однажды совершенно неожиданно пришла в игуменские комнаты, легла на кровать матушки, охала и металась, как больная (чем предсказывала почти полугодовую болезнь, которая вскоре постигла матушку), а потом, сходя с матушкина крыльца, обняла ту же Елену Николаевну и пошла вместе с нею по направлению к собору. Проходя мимо корпуса монахинь, говорила, что надо построже держать их. Потом подошли они к боковой северной паперти собора и остановились.

– Я у тебя усну, – сказала Пелагея Ивановна матери Елене.

Потом пошли далее к главной паперти, остановились здесь, и опять Пелагея Ивановна сказала, указав на собор: «Я у тебя здесь лягу, приготовь мне местечко». И так обнявшись, прошли вокруг собора и возвратились в келью.

Таким образом еще за семь лет блаженная предсказала, на чьих руках она уснет сном смертным, и указала место своего вечного покоя.. И все исполнилось так, как она говорила. Слова ее о том, что сестер надо держать построже, исполнились, потому что как раз после этих слов матушку Елену назначили благочинной монастыря и она действительно повела сестер построже. Так же точно сбылись и слова: «Я усну у тебя», потому что матушка Елена совершенно неожиданно прислана была к смертному одру Пелагеи Ивановны и была все время при ней, так что и действительно на руках ее она и уснула сном смертным. Поэтому и теперь, когда возник вопрос, где положить Пелагею Ивановну, матушка благочинная и сама вспомнила все

слова Пелагеи Ивановны, и напомнила о них матушке-игумении, и для успокоения своей совести просила ее исполнить завещание покойницы – позволить просить разрешения у преосвященного Макария, епископа Нижегородского, похоронить ее в склепе под собором. Матушка уважила просьбу своей благочинной, и вот, пока нарочно для того посланная сестра ездила в Нижний, прошло довольно много времени, и только на девятый день после кончины Пелагеи Ивановны пришлось хоронить ее. Все эти дни стояла она в теплой зимней церкви Тихвинской Божией Матери. Здесь по окончании церковных богослужений день и ночь не умолкало чтение Псалтири по усопшей, здесь непрестанно совершались по ней панихиды, числом от 30 до 40 в течение дня, здесь постоянно горели вокруг гроба свечи, сюда кроме монастырских стекались со всей епархии целые тысячи мирян, которые благоговели перед ней, которые и уважали ее, всегда и во всем к ней прибегали, а также при гробе ее скорбели и плакали, что они лишились в ней своей матери, утешительницы и молитвенницы. И все это, вместе взятое, невольно производило какой-то благоговейный трепет в душе всякого, здесь находившегося, трогало всех до глубины души, умиляло даже и жесткие сердца. Народу не только не убывало, но напротив, прибывало с каждым днем все более и более, так что матушка-игумения, снисходя к слезной их просьбе, а равно и по благоговению к почившей рабе Христовой, нашлась вынужденной дать дозволение и ночи проводить им у ее гроба. Вследствие этого церковь не только днем, но и ночью была наполнена все прибывавшим народом. Жара стояла в храме такая, что со стен потекли потоки воды, и даже на холодных папертях было так тепло, как в кельях. И несмотря на это, почившая раба Христова лежала во гробе своем как будто только лишь забывшаяся сладким сном, ничего не являла в себе мертвенного, лежала как живая, даже не холодная, а теплая, и непрестанно менялась в лице своем, не имея ни малейшего мертвенного, безобразия, а напротив, сияла какой-то духовной красотой. Вся она с головы до ног осыпана была свежими цветами, которые и при жизни так любила; цветы эти

непрестанно заменялись новыми, и тотчас же нарасхват разбирались массами народа, уносившего их домой с благоговением.

В девятый день после кончины блаженной, то есть 7 февраля 1884 г., совершено отпевание ее при громадном стечении народа. Когда после отпевания и продолжительного последнего прощания понесли многострадальное тело подвижницы Христовой к нарочито приготовленному месту упокоения у Свято-Троицкого собора против главного алтаря и когда стали закрывать крышкой гроб, то и тогда прощавшиеся с нею свободно брали ее ручки, которые были так гибки, мягки и теплы, как у живой.

Могила ее первоначально, обнесена была деревянной решеткой и обсажена кустами сирени, жимолости и цветами. На самом месте, где в каменном склепе постановлен гроб ее, первоначально положена была простая дубовая доска с крестом на ней из черного дуба – частью по неимению тогда средств, частью по уважению к тому убогому ложу ее, которое она так любила всю свою земную жизнь.

Все сказанное нами доселе заимствовано из рассказов матери Пелагеи Ивановны, и особенно из записанных рассказов достопочтенной Анны Герасимовны, 45 лет жившей с Пелагеей Ивановной. Чистосердечное повествование этой доброй труженицы, проведеншей столь долгое время при самой подвижнице, дышит простотой и задушевностью и изображает великий подвиг юродства Пелагеи Ивановны с неподражаемой наивностью, теплотой и полнотой. Великий образ подвижницы Христовой восстает перед нами во всей своей необыкновенной простоте и небесном благолепии.

К этому простосердечному, искреннему и задушевному повествованию достопочтенной Анны Герасимовны мы прибавим еще несколько сведений, собранных нами от других лиц, близких к подвижнице Христовой.

Художник *М. П. Петров* пользовался особенным расположением Пелагеи Ивановны и наречен ею духовным ее сыном, Он представлял собою живой пример того поразительного благодатного действия, посредством которого

она обращала на путь спасения сердца человеческие. Вот что он рассказал о первом своем посещении Пелагеи Ивановны: «После бурной моей жизни, побыв на Афоне и в Иерусалиме, я не знал, на что мне решиться, идти в монастырь или жениться. На возвратном пути из этого благочестивого путешествия заехал я в Сарово и в Дивеево; это было в 1874 году. На второй день по приезде в Дивеево меня свели в келью к юродивой Пелагее Ивановне, о которой много давно я слышал; когда вошел я в ее келью, меня так поразила ее обстановка, что я сразу не мог понять, что это такое: на полу на войлоке сидела старая, скорченная и грязная женщина с огромными ногтями на руках и босых ногах, которые произвели на меня потрясающее впечатление. Когда мне сказали, что это и есть Пелагея Ивановна, я нехотя поклонился ей и пожалел, что пошел к ней; она не удостоила меня ответом на поклон мой и с полу пересела на лавку, где и легла. Я подошел к ней и спросил: «Идти ли мне в монастырь или жениться?» Она ничего на вопрос мой не ответила и только зорко на меня смотрела своими быстрыми блестящими глазами. Я повторил раза три тот же вопрос и, не получив от нее ответа, ушел от нее раздосадованный и разочарованный, решив к ней уже более не ходить. Прожив целый месяц в Дивееве в монастырской гостинице и занимаясь живописью в соборном храме, я часто слышал упреки от монахинь и от начальницы гостиницы в том, что я не верю благодатным дарам Пелагеи Ивановны, и по настойчивой просьбе начальницы гостиницы решился еще раз зайти в ее келью и с большой неохотой пошел, лишь бы только более мне ею не надоедали. Когда вошел я в келью Пелагеи Ивановны, я нашел ее по-прежнему сидящей на полу на войлоке, но она немедленно по приходе моем встала и выпрямилась передо мною во весь рост. Это была женщина высокого роста и очень красиво сложенная, с необыкновенно живыми, блестящими глазами. Постояв передо мною, она начала бегать по комнате и хохотать, затем подбежала ко мне, ударила по плечу и сказала: «Ну, что?» У меня давно болела эта рука от паралича, но после этого удара Пелагеи Ивановны боль в ней мгновенно и совершенно прошла. На меня напал

какой-то панический страх, и я ничего не мог ей сказать, молчал и весь трясся от испуга. Потом она начала рассказывать мне всю мою прошедшую жизнь с такими поразительными подробностями, о которых никто не знал, кроме меня, и даже рассказала содержание того письма, которое я в этот день послал в Петербург. Это меня так поразило, что у меня волосы стали дыбом на голове и я невольно упал перед ней на колени и поцеловал ее руку. И с этого разу стал я усердным ее посетителем и почитателем, неотступно надоедал ей своими просьбами и вопросами и удостоился такого ее расположения, что она не только на личные мои вопросы, но и на письма мои всегда охотно и прозорливо отвечала или краткими записочками, или через добрых знакомых. Я часто к ней ездил и проживал подолгу в Дивееве собственно для того, чтобы видеть и слышать дивную старицу. Она меня вытащила со дна ада».

Достопочтенный М. П. Петров сообщает несколько новых сведений о благодатных дарованиях Пелагеи Ивановны и ее помощи тем, кто прибегал к ней.

«Сестре моей, – говорит он, – Пелагея Ивановна предсказала смерть за два года. Со мною самим было такое обстоятельство: я собирался съездить в Бологое, где жил тогда известный о. Николай, бывший миссионер, которого почитали за великого мужа. Мне хотелось с ним повидаться и побеседовать, но я не решался ехать без позволения Пелагеи Ивановны. Я написал к ней письмо и просил у нее позволения на эту поездку. Письмо было готово, я оделся и хотел уже идти на почту. В это время входит почтальон и подает мне письмо от Пелагеи Ивановны. К удивлению моему, она пишет, чтобы я не ездил к о. Николаю²⁶, это меня чрезвычайно удивило, прежде, чем я послал письмо с моим вопросом, я получаю уже от нее ответ».

В 1881 году я был болен дифтеритом, – говорит тот же Петров, – пять суток лежал я совершенно без чувств, на шестые сутки стало мне полегче, и я, взглянув на портрет Пелагеи Ивановны, сказал: «Что ж ты меня не навестишь? Когда ты была больна, я нарочно к тебе ездил». И немного погодя заснул, и что же? Вижу во сне, что Пелагея Ивановна стоит

около меня и говорит: «Вот я и пришла к тебе навестить тебя; не бойся, не умрешь». И Михаил Петрович выздоровел.

«Однажды Пелагея Ивановна пила чай, – говорит он еще, – и ей налили чашку сладкого чая. Вдруг она вскочила с полу, схватила чашку, побежала с нею на улицу и вылила эту чашку по направлению к одной деревне. На другой день приходит к ней женщина из этой деревни, бросается к ней, благодарит ее и рассказывает, что у них вчера был пожар в их деревне. «Уж начал загораться и мой амбар с хлебом, – говорила она сквозь слезы, – я упала на колени и закричала: «Матушка Пелагея Ивановна, спаси!» И тотчас ветер подул в другую сторону, и огонь стал потухать». По рассказу этой женщины, ветер переменялся, а огонь стал утихать в ту самую минуту, когда Пелагея Ивановна вылила чашку чаю в ту сторону, где стояла эта деревня».

«Благодарю Бога, – говорит в душевном умилении М. П. Петров, – что Господь удостоил меня видеть такую рабу Божию, и я не только удостоился видеть ее, но и сподобился называться духовным сыном ее».

Говоря далее о разных обстоятельствах жизни Пелагеи Ивановны и о разных духовных дарованиях ее, достопочтенный М. П. Петров рассказывает следующий случай: «Однажды по возвращении ее из Сарова в Арзамас она встретилась с одной девицей и говорит ей: «Ты выйдешь замуж вот за этого молодого человека» – и указала на шедшего мужчину. Эти два семейства были во вражде, и нельзя было ожидать согласия на брак от родителей, а между тем через месяц девица вышла именно за этого человека».

«В Дивееве к ней стал стекаться со всех сторон народ, люди разных званий и состояний; все спешили увидеть ее и услышать от нее мудрое слово назидания, утешения, совета духовного или обличения и укора, смотря каждый по своей потребе. И она, обладая даром прозорливости, говорила всякому, что для него было нужно и душеспасительно, – с иным ласково, а с иным грозно, иных же вовсе отгоняла от себя и бросала в них камнями, других жестоко обличала, причем голос ее, как некогда у блаженного Христа ради юродивого Андрея,

подобно колоколу звучал сильно и благодатно, так что кто его слушал, вовек не мог забыть потрясающего действия ее слов. А говорила она почти неумолкаемо, то иносказательно, то прямо и ясно, смотря по душевной потребности слушающих.

После 20-летнего подвижничества в Дивееве Пелагея Ивановна вдруг резко изменила образ своей жизни. Однажды сказала она своей сожительнице, Анне Герасимовне: «Сейчас был у меня батюшка Серафим, велел мне молчать и находиться более в келии, чем на дворе». И она замолчала и редко кого удостоивала своим разговором, говорила мало, отрывистыми фразами, более сидела в келии и, подобно преподобному Арсению Великому, стала избегать людей и более внимать себе. В это время духовные подвиги ее были самые разнообразные».

Об умерщвлении плоти мы уже знаем довольно подробно из рассказов Анны Герасимовны, например, о ношении камней, о бросании кирпичей в воду, о палках и пр., но кроме этих подвигов были и другие, именно: та цепь железная, которою некогда приковывал ее муж ее и которую она принесла с собой в Дивеево, служила и теперь ей подчас веригами, а подчас изголовьем. Спала она и сидела всегда на полу, и непременно около входной двери в келью, так что проходящие нередко наступали на нее или обливали ее водой, что, видимо, доставляло ей удовольствие. Как только все в кельях улягутся на ночь спать, Пелагея Ивановна, тоже притворившаяся, что ложится спать, вставала, становилась на молитву и молилась почти всегда до утра, тихо плакала и вздыхала на молитве и иногда в восторге духовном громко восклицала, чем и будила бывшую около нее келейницу Анну Герасимовну, причем притворялась спавшей и восклицавшей во сне. Пищу принимала умеренно и питалась преимущественно черным хлебом, который носила всегда за пазухой и из которого катала шарики. Эти шарики служили ей вместо четок при совершении молитвы Иисусовой. И это было почти постоянным ее занятием.

«Любила она очень цветы, – говорит достопочтенный М. П. Петров, подтверждая рассказ Анны Герасимовны, – и если имела их в руках, задумчиво перебирала их, тихо нашептывая

молитву. В последнее время живые цветы почти всегда имелись у нее в руках, потому что их приносили ей те, кто желал: сделать ей удовольствие, и эти цветы, видимо, утешали ее. Перебирая их и любуясь ими, она и сама делалась светлой и радостной; точно витала уже умом своим в ином мире. Ногтей своих Пелагея Ивановна никогда не обрезала и никогда не ходила в баню. Вообще тело свое истязала и угнетала.

Такие подвиги Пелагеи Ивановны стали привлекать к ней внимание Дивеевских монахинь, и прежнее нерасположение к ней у многих из них сменилось уважением. В келью к ней стали ходить многие из них или для того, чтобы посмотреть на подвижницу, или послушать ее, или получить от нее что-нибудь, потому что мирские люди приносили ей разные приношения, которые она и раздавала монахиням. Но были между сестрами и такие, которые упорно продолжали преследовать подвижницу Божию своей ненавистью и всячески осуждали ее и укоряли. Таких особенно любила Пелагея Ивановна и всячески старалась платить им за зло добром. Инокни, привязанные к подвижнице, глубоко веровали в силу ее молитвы, искали у нее наставлений духовных и обретали их в ее кратких, прозорливых речах. Так, одна благочестивая монахиня дивеевская, сильно к ней привязавшаяся, видя ее подвиги, дерзнула просить у Господа, чтобы Он открыл ей, верен ли тот путь, по которому идет та подвижница Божия, и ведет ли ее ко спасению, потому что часто приходилось ей слышать разноречивые толки других монахинь об этом, и у нее самой сердце колеблется по этому поводу. Господь услышал ее молитву. Она увидела во сне, что Пелагея Ивановна идет по двору монастырскому и два ангела ведут ее под руки. Когда, проснувшись, монахиня эта пошла к Пелагее Ивановне, чтобы рассказать ей свой сон, та предварила ее рассказ строгим запрещением никому не говорить о том, что она видела во сне».

Достопочтенный Михаил Петрович Петров, которого сама блаженная Пелагея Ивановна духовно усыновила себе и который всем сердцем чтит ее память, получив столь много благодеяний от нее, с особенным усердием и истинно сыновней любовью потрудился в собирании достоверных сведений о

почившей подвижнице и имеет у себя несколько собственноручных писем от тех лиц, которые сами получили от нее или исцеления, или предсказания, или наставления.

а) Рясофорная послушница Понетаевского монастыря Дарья Семеновна Березина писала ему от 28 марта 1884 г. следующее: «В 1873 году от известной мне только одной причины сильно болела у меня голова, в особенности левый висок, так что я с 3 февраля по 13 июня не находила отрады в болезни. Все меры были приняты к излечению, но ни один доктор не мог помочь²⁷. Но я знала, что болезнь моя была послана мне самой Царицей Небесной и по просьбе моей, а объявить об этом кому-нибудь я страшилась и думать. А боль была нестерпимая, поэтому я и лечилась, а после всего я решилась поехать в Сарово искупаться на источнике о. Серафима и тут почувствовала некоторую отраду от болезни. В ночь, на которую я искупалась, я могла заснуть, но утром снова чувствовала боль и в отчаянии души своей поехала в Дивеевский монастырь, и прямо к Пелагее Ивановне. При первой встрече она зорко и пристально взглянула на меня, так что у меня от боли и вместе от радости сердце затрепетало, и слезы душили меня. Я не успела упасть к ногам ее, как она протянула руку и двумя пальцами с длинными ногтями начинает слегка колотить мне по больному виску с такими словами: «Говорю, курва²⁸, не лечись, не лечись! Сама заживет». И начала меня поить чаем с того блюдечка, из которого сама пила. И много еще говорила мне касательно моей жизни, и все сбылось на мне. И я, пробыв в Дивеевской обители трое суток, всякий день неоднократно ходила к ней и чувствовала себя совершенно здоровой, и отправилась в свою обитель. И с того времени эта болезнь не повторялась.

Во второй раз я была больна, – писала в том же письме Дарья Семеновна Березина, – в 1876 году, страдала внутренней болью, и мне необходимо было лечиться. Я три с половиной месяца лежала в уездной земской больнице. С помощью Бога и врача, который заботливо старался лечить меня, я немного поправилась, или лучше сказать, опасность, которая угрожала смертью, миновала, но совершенно поправиться не было мне

никакой надежды. Правда, я сама совсем еще не теряла этой надежды, но со стороны других, а в особенности моих родных, брата и старшей сестры, которая более всех видела мои страдания, надежды не было, и все советовали мне для сохранения моей жизни оставить монастырское послушание, которое на меня было возложено – петь на клиросе. А я и слышать не хотела, потому что пение для меня было лучшей отрадой в жизни, самым сладостным утешением и пищей для души. Сестра особенно много меня упрашивала, настаивала, даже упрекала и опровергала все мои резоны, и одно говорит: «Откажись от этого послушания». Даже сильно вооружала против меня и брата моего, от которого я много в жизни зависела. И что же? Я уж не могла ничего говорить против них, только об одном просила: съездить и спросить решительного слова от Пелагеи Ивановны, и притом с тем условием, что как она скажет, так и исполнить. Мое сердце чувствовало, что она заранее уж предвидела скорбь души моей, потому что я заочно неоднократно умоляла ее о помощи в моей болезни.

Когда пришли мы с сестрой в ее келью, нашли ее лежащей на прилавке на постланной постельке, и в головах две подушки. Окружена была она множеством народа; всякий спрашивал о чем-нибудь и ожидал ответа. Я как взошла, так и поклонилась ей у постельки, тоже и сестра моя сделала, но мы дали свободу прочим окончить, а она не сводила глаз с меня в течение целого часа времени. Потом стали мы ближе подходить к ней, и она так скоро обернулась на бок на постельке своей и начала сестру мою бить кулаком; несколько ударов дала и что-то про себя ворчала. Конечно, и сестра и я довольно испугались. Я стояла у ног ее и ждала, что еще будет. Она обернулась опять по-прежнему и ласково стала глядеть на меня и что-то шептала губами. И минуту спустя приподнимается несколько с изголовья и вытягивает ножку свою (но не помню, которую) и касается моего живота, даже в самое больное место, и крепко упирается в него ногой. Конечно, для нас было понятно то и другое. И с того времени я никогда не ощущала болезни в животе моем, и до сего времени без всякого затруднения пою на клиросе».

б) Послушница Покровской женской общины, что при селе Медяни Курмышского уезда Симбирской губернии, Надежда Александровна Разстригина писала М. П. Петрову от 26 марта 1884 года следующее.

1) «В 1874 году 5 мая дочь курмышского крестьянина Разстригина, ныне недостойная послушница Надежда Покровской женской общины, что при селе Медяни Курмышского уезда Симбирской губернии, со своей матерью шедши в Киев для поклонения тамошней святыне, были мимоходом в Серафимо-Дивеевском монастыре у блаженной старицы, прозорливой Пелагеи Ивановны, для получения от нее благословения на путешествие. Увидав блаженную старицу, моя родительница сказала ей: «Матушка, я со своей дочерью иду в Киев, благословите нас на путь». Получив ее благословение, мать моя опять спросила: «Схожу ли я благополучно в Киев?» Тогда блаженная старица раскрыла глаза, сложила руки на груди и легла впереди на лавку, сделавшись как бы мертвой, сказав: «Я умру». Родительница моя, услышав это, заплакала и спросила: «Матушка, я, верно, помру дорогой?» Блаженная старица отвечала ей: «Молоденькая дочка помрет». Эти слова я приняла; на свой счет, посему во время путешествия каждый день и час ожидала своей смерти. Но это предсказание блаженной исполнилось не надо мною, а над моей родной сестрой Марией, которая без нас захворала и умерла».

2) «При этом же свидании с Пелагеей Ивановной я спрашивала ее: «Матушка, как вы благословите меня: в миру ли мне жить, или поступить в монастырь? Она дала, мне поцеловать руку свою, говоря тихо: «В монастырь беги». Я опять спросила: «Да в какой же монастырь?» – «Который недалеко устраивается». Вот и это предсказание сбылось надо мною. Возвратившись из путешествия, недолго я жила в доме своих родителей, всего только 41 день. В продолжение этого недолгого пребывания моего в доме родителей в душе моей возродилось неутолимое желание – оставить мир и поступить куда-нибудь в святую обитель. Вот я по благословию блаженной старицы и своих родителей и поступила во вновь

устрояемую обитель – Покровскую женскую общину, где и до сего времени пребываю.

3) "*Предсказание*, только не помню, когда оно было, – пишет дальше та же послушница Надежда Александровна Разстригина. Двадцатилетняя моя сестра Агриппина заболела. Нам всем семейством желательно было узнать, выздоровеет ли больная или умрет? Для этого наша родительница отправилась в Серафимо-Дивеевский монастырь к блаженной старице Пелагее Ивановне спросить ее относительно больной. Когда она пришла к блаженной старице, то стала спрашивать ее: «Матушка, у меня хворает дочка, и не знаю, выздоровеет она или помрет. Скажите мне». Эти слова моя родительница неоднократно повторила, но блаженная старица на все ее вопросы ничего не отвечала и молча любовалась букетом цветов, который в то время держала в руке своей. Наконец послушницы блаженной старицы начали просить ее: «Матушка, утешьте вы эту женщину, скажите ей что-нибудь насчет больной ее дочери». После их просьбы блаженная старица взяла из букета цветок сирени, любовалась на него и повторяла несколько раз слова: «Груша, Груша!»²⁹ Потом этот цветок поднесла к лицу родительницы нашей и сказала ей: «Вот этот цветок и Богу будет хорош». После того больная наша сестра Агриппина недолго жила на белом свете».

«Всех этих предсказаний, – прибавляет Надежда Александровна Разстригина, – и исполнения их я была свидетельницей, что и удостоверяю своей подписью». (Следует подпись.)

в) Собственноручное свидетельство Тверской епархии Малицкого монастыря духовника, иеромонаха Алексия, от 29 мая 1884 года.

«В 1877 году духовный мой сын М. П. Петров, отправляясь из Твери в Дивеевский монастырь для свидания с блаженной памяти старицей Пелагеей Ивановной, которая руководила его в жизни и, можно сказать, усыновила его в духовном отношении, зашел ко мне проститься и испросить благословения на путь. При прощании я убедительно просил его, чтобы он попросил совета и наставления у досточтимой

старицы в моих крайне неблагоприятных обстоятельствах, и вместе с этим святым молитв ее за меня, грешного. По приезде в Дивеево, когда он передал старице мою просьбу, она сказала: «Гонение, которое он перетерпит, в радость обратится». И действительно, по прошествии двух лет я претерпел величайшее гонение, какого я никак не мог ожидать по преклонности моих лет, но это гонение было к лучшему и впоследствии обратилось мне в радость. Таким образом все то сбылось, что было предсказано за два года ранее самого события. Благоговей пред Господом Богом и мысленно испрашивая ее святой помощи и соизволения на мое искреннейшее слово правды о таковом ее предсказании, я принимаю дерзновение всенародно свидетельствовать о даре прозорливости вышеупомянутой старицы Пелагеи Ивановны, в чем и подписуюсь». (Следует подпись.)

г) Собственноручное свидетельство иеромонаха Ниловой пустыни Тверской епархии Антония.

«В 1881 году, состоя иеромонахом Тверского архиерейского дома, я тревожился мыслью, где лучше всего я могу продолжать свое служение? И куда поэтому должен отправиться? Почему и обратился за советом к старице Пелагее Ивановне. Через несколько времени получаю ответ на бумажке: «В Нилову пустынь». Предсказание это сбылось в точности: в 1886 году я поступил в Нилову пустынь, где со спокойствием духа и прохожу свое служение. По священству выдаю это за чистую истину». (Следует подпись.)

д) Собственноручное свидетельство крестьянина Тверской губернии Новоторжского уезда деревни Горок Степана Кудинова, от 14 апреля 1888 года: «В 1883 году я был в Дивееве и был у Пелагеи Ивановны, которая мне что говорила, все ее слова сбылись в точности, в чем и свидетельствую моей совестью». (Следует подпись.)

е) Из собственноручного письма рясофорной монахини Прасковьи Дмитриевны Арвонатаки от 11 августа 1888 года к духовнику ее, отцу Авраамиию, который просил ее собрать сведения о Пелагее Ивановне от Дивеевских монахинь: «Все наши монахини, и старые, и молодые, почти в одно слово

говорят, что она была раба Божия. И священником сказанную надгробную речь вам в удостоверение прилагаю³⁰. А мы все, то есть Серафимо-Дивеевского монастыря сестры, утверждаем единогласно, что она не только была прозорливой и предсказывала будущее, но и мысли узнавала, с какими приходили к ней, и часто обличала сказанные слова о ней в насмешку, или неверие, когда к ней приходили, а после возымели большую веру и до смерти ее всегда посещали». Далее Прасковья Дмитриевна упоминает о предсказании Пелагеи Ивановны Елизавете Николаевне Кудрявцевой, которое мы здесь передадим подробнее: «Одна мирская образованная особа, в настоящее время монахиня Дивеевского монастыря, еще до поступления своего в монастырь посетила вместе с родственницей своей Дивеевский монастырь, где ей очень понравилось, так что она сама пожелала туда поступить, хотя имела жениха по имени Сергей. Когда пришла она в келью Пелагеи Ивановны и спросила ее, идти ли ей в монастырь, та ничего не ответила. И хотя вопрос этот неоднократно предлагался ей посетительницей, продолжала упорно молчать. Посетительница наконец сказала, что она еще совершенно свободно может располагать собою и испросить согласия и благословения у родителей своих на поступление в монастырь. Пелагея Ивановна и на это отвечала ей молчанием и только зорко смотрела на нее, отчего жутко стало посетительнице; казалось ей, что точно насквозь видит она всю ее душу. В это время мелькнула в ней мысль о женихе, и при этом, не он ли служит преградой к поступлению в монастырь, и не это ли означает молчание прозорливицы. Пелагея Ивановна, провидя духом ее помыслы, быстро встала с пола, где сидела, выпрямилась во весь рост, протянула посетительнице свою руку и сказала: «Живи, как ты живешь. Сергей смертный». Посетительница очень удивилась, что, не зная дотоле ее и не зная ее жениха, она прямо называла его по имени, и притом так знаменательно, что как бы предсказывала ему смерть. Действительно, так и случилось: жених ее вскоре умер, и она, вполне свободная, поступила в Дивеевский монастырь и прилепилась к Пелагее Ивановне самой искренней любовью,

стала любимой ее ученицей и много потом потрудились в собирании и записывании верных сказаний о жизни и подвигах блаженной подвижницы».

Продолжим повествование Прасковьи Дмитриевны Арвонатаки. «Многие в обители говорят про Пелагею Ивановну, что «она мне много говорила, а что именно, теперь припомнить не могу»; даже прошедшее рассказывала каждому, кому нужно было убедиться в ее прозорливости и на пользу души. Мне самой сказала она, что было со мной в жизни, и прибавила такие слова: «Умнее бы была, если бы своим умом жила». «Я вам могла бы, – продолжает писать Прасковья Дмитриевна своему духовному отцу, – о ее предсказаниях, собственно ко мне относящихся, написать несколько листов, а также относящихся к моему сыну, и все они сбылись; но теперь печаль и скорбь подавляют меня. Что могла, то собрала и посылаю к вам... Отец Агафодор, саровский иеромонах, всегда уважал и чтит Пелагею Ивановну и однажды приехал посетить ее. Увидав, что она уж очень слаба, говорит ей: «Пелагея Ивановна, какая ты стала плохая! Ты скоро умрешь». Она взглянула на него да и говорит ему в ответ: «А ты впереди меня пойдешь». И что же? Он был у нее в ноябре и 2 декабря скончался, а Пелагея Ивановна умерла 30 января рано утром».

Поясняя повествование Анны Герасимовны о том, как Пелагея Ивановна незадолго до своей смерти посетила келью матушки игумении, Прасковья Дмитриевна говорит в письме к своему духовному отцу: «Вот вам еще событие. Всею монастырю известно, что когда матушке-игумении заболеть, то Пелагея Ивановна, давно уж не выходившая из своей кельи, тут во время обедни приходит в матушкины комнаты, проходит прямо в ее спальню (хотя совсем не знала расположения комнат), ложится на ее постель, довольно долго лежит на ней, охает и стонет и много делает указаний и примет на болезнь, потом встает с постели и хочет уходить. Келейницы матушкины предложили ей чаю, она выпила две чашки и ушла прежде, чем матушка возвратилась от обедни. Матушка-игумения действительно скоро занемогла и была близка к смерти, и шесть месяцев не выходила из кельи».

«Еще вам одно напишу, – продолжает Прасковья Дмитриевна. Ваш арзамасский житель, родной племянник Пелагеи Ивановны, Дмитрий Андреевич, приезжал к ней три раза и с тремя невестами, чтобы она благословила его жениться, но она все не благословляла, а потом, когда в четвертый раз приехал, то она его встретила, подала красное яблочко и благословила жениться.

Не только ее слова, но и все движения нужно было замечать, и даже положение, в каком ее заставляли: сидит ли она, лежит ли, или ходит. Я одну барыню к ней привела, а у барыни два сына были, и мы Пелагею Ивановну застали лежащей поперек кельи на полу. Так эти дети и делали со своей матерью: все поперек да напротив, оба своевольничали, оба без расчета деньги тратили и матери не доставляли ни одной минуты отрадной.

Посетителям много говорила Пелагея Ивановна, и все сбывалось. Стало быть, ее богоугодная жизнь заслуживала того, что к ней за 600 верст и более приезжали люди, чтобы по ее совету решать свою участь или узнавать, где правда. Кто приходил с душевным умилением и истинной скорбью в сердце, она всех принимала и советы давала, и как она скажет, так все и действовали. А кто шел с одним только любопытством или от нечего делать, так и она их гоняла, толкала, даже била и говорила: «Галки, галки!» А иных при мне с намерением ударяла по одному и тому же месту и по несколько раз – для их исцеления. Так было с одной барыней при мне. Пелагея Ивановна все ударяла ее по плечу, и та не только не отходила от нее, но как будто рада была, что она ее ударяет. Когда мы пошли от Пелагеи Ивановны, эта барыня сказала мне, что это плечо не давало ей покоя, такая в нем была ужасная боль, и что после ударов Пелагеи Ивановны она чувствовала все более и более облегчения».

Все это мы выписали из письма почтенной Прасковьи Дмитриевны к ее духовному отцу. Уж одно то, что она писала все это к такому лицу, как духовный отец ее, ясно показывает всю истину слов ее, и всякий совершенно должен им верить.

ж) Одна из дивеевских сестер, достойная полного уважения и доверия, но желающая по своему смирению остаться неизвестной, писала от 20 декабря 1890 г. к М. П. Петрову следующее: «Мать Алевтина сказывала мне: «Когда я в черной гостинице была *старшей*, однажды пришел монах средних лет, благоговейный по виду, кроткий и смиренный, худой и тощий. Я поговорила с ним, он назвал себя послушником одного из Соловецких монастырей, только не помню, которого, и идет на богомолье пешком в Киев. На мое предложение ему чаю он сказал, что не пьет по болезни, а пьет льняное семя, и выпил две чашки». «Я с ним простилась, – говорила мать Алевтина, – сказав, что иду в церковь, говею, тогда и он сказал: «Нельзя ли и мне поговорить у вас». «Отчего же? Можно, ежели желаете». А сам все так тихо и кротко разговаривал. Приобщился он так, как приобщаются послушники, без шапочки, с открытой головой. Разговорились с ним о Пелагее Ивановне; он очень пожелал ее видеть.

– Ах, как бы я желал поклониться ей, – сказал он.

– Что же? Пойдемте, с удовольствием вас сведу.

Пошли с ним. Когда мы отворили дверь, она лежала, но тотчас же встала и, стоя, зорко смотрела на него. Я ему сказала, чтобы на лавочку сел. И Пелагея Ивановна рядом с ним села и говорит ему: «Смерть на дороге». Он ответил: «Я, матушка, боюсь, чтобы душевной смерти не было, а от смерти телесной я недалеко, жду ее, потому что все болен, и надо же когда-нибудь умереть, а лишь бы душевной-то смерти не было». Она продолжала все зорко на него смотреть и говорит: «Ведь вам что? Ты – отец, а она – мать, – показывая на меня. Ну так и следует сказать. А когда птица вылетит из клетки, то и птенцы кто куда разлетятся. А право, смерть на дороге!» Потом, отвечая на его мысль, сказала: «Маленьким не мешает быть, а ведь ты – отец, а она – мать, ну так и надо сказать».

Когда послушник Гавриил (так его звали) вышел со мною от Пелагеи Ивановны, я ему и говорю:

– Верно, вы должны быть иеромонахом, она вас называла отцом?

– Ну, когда Пелагея Ивановна велела вам открыться, так нечего делать, скажу всю правду: я, грешный игумен Соловецкий, дал обещание, когда устрою монастырь, сходить пешком в Киев, скрыв себя, – путешествую, как простой послушник». А между тем с ним был другой послушник, но он его отсылал всегда вперед идти, назначая, до каких пор и куда; например, сам пришел к нам в Дивеево, а послушника отправил в Сарово, а когда сам придет в Сарово, его отправит дальше. Это для того, чтобы в безмолвии и тишине идти с единым Господом и без боязни. «А что Пелагея Ивановна сказала: не мешает быть маленьким, – это на мою мысль говорила она. Я мысленно говорил ей: я грешный игумен, а приобщался с открытой головой, как послушник, не погрешил ли я? На эту тайную мысль она и сказала: «Маленьким не мешает быть. Ты – отец, а она мать, так и надо сказать». Вот как толковал сам игумен некоторые слова Пелагеи Ивановны, но он не все их понял, он не понял того вразумления и того укора, которые делала ему блаженная прозорливица за оставление им братии обители своей: «Когда птица вылетит из клетки, и птенцы кто куда разлетятся». О. игумен оставил свою братию, *вылетел из клетки*, что же могло случиться с его птенцами, особенно когда смерть ожидала его на дороге? «Смерть на дороге». Это было ясное и грозное предсказание матушки Пелагеи Ивановны. Что же случилось? «О. игумен пробыл у нас неделю, – говорит монахиня Алевтина, – простилась я с ним с глубоким уважением. Прошло несколько времени, получаем мы письмо от его послушника. Послушник пишет, что о. игумен на обратном пути из Киева заболел в Воронеже и там в монастырской больнице скончался. Итак, предсказание Пелагеи Ивановны сбылось в точности, он не возвратился более в свой монастырь, смерть посетила его в дороге. Немало хлопот причинила смерть его в Воронеже. И там выдавал он себя за послушника, но когда рассмотрели его бумаги, то для удостоверения в том, что он игумен, должны были отнестись к Архангельскому епископу, и тот подтвердил, что он точно игумен, ближайший ученик его и любимец, и все книги, какие нашлись у покойного, подписаны были рукой преосвященного».

«Еще скажу факт прозорливости блаженной Пелагеи Ивановны, – пишет М. П. Петрову та же смиренная дивеевская сестра, желающая остаться неизвестной. Варвара Александровна Карамзина послала свою келейницу к Пелагее Ивановне; она посланной сказала: «А баба-то мертвая». Через несколько дней Карамзина получает от своего племянника г-на Эселева известие, что жена его в этот же самый день умерла и лежала на столе».

«Родственница моя А. М. И-на, – продолжает та же дивеевская подвижница, – имела весьма великую веру и пламенную любовь к Пелагее Ивановне и поступила в монастырь по ее благословению. За пять лет до своей смерти она была у нее совершенно здоровой и просила ее помолиться за ее трех молодых монашенок. А Пелагея Ивановна сказала ей: «Ты их воспитывала, а Бог тебя заколет?» Никто не понял тогда, что значит это слово: заколет. Что же? Через несколько времени она слегла в постель и пять лет не покидала ее, страдала солитером, и переходы болезни были разительны и разнообразны. Ее поднимали с постели и сажали, одна рука была в параличе, без движения; по временам были припадки от волновавшегося солитера, и несколько месяцев все тело ее было как бы онемелым, все члены как бы омертвелыми с головы до ног. Шесть послушниц поднимали ее с кровати и те же шесть послушниц клали на кровать. Вот, действительно верно было слово: *Бог тебя заколет*. Потом такое болезненное состояние ее прошло, и осталась одна рука без движения. За полтора года до смерти, 21 сентября, во время ранней обедни, когда пели Херувимскую песнь (я тогда ктиторшей была, при свечном ящике стояла), меня позвали к А. М., и что же я увидела? А. М. сидит посреди комнаты бледная, как мертвец, с закрытыми глазами (а у нее был всегда легкий румянец на щеках), грудь синяя, и икала она громко, на всю келью, окружена была семью сестрами, шестью послушницами, старшей больничного корпуса Карамзиной, докторшей монастыря: Федосьей Васильевной Эпальской. Меня послали как можно скорее к Пелагее Ивановне. Я скорбная бегу, боясь уже не застать ее, потому что солитер поднялся к шее и душил

ее, сердце стало реже биться и пульс все более и более ослабевал, так что докторша сказала мне: «Ради Бога, скорее к Пелагее Ивановне, чтобы она помолилась за А. М.; солитер ее окончательно задушит». А грудь и шея все более синели, и лицо покрывалось уже мертвенной бледностью. Не успела я подбежать к Пелагее Ивановне и сказать ей: «А. М. умирает, помолитесь, матушка, чтоб Господь принял ее душу с миром», – как она быстро, глядя на меня, перекрестилась и сказала: «Право, ей Богу! И ты такая же, как А. М., и ты пройдешь такую же болезнью, коли из тебя его не вынуть. А она еще не умрет». Пораженная этими словами и успокоенная тем, что А. М. не умрет, я с верой пошла домой, не думая о себе. Вскоре после моего возвращения действительно солитер начал опускаться вниз и когда, видно, занял свое место, А. М. открыла глаза и оживилась. Ее подняли и положили на кровать, на которой она все так же пролежала еще полтора года».

Так писала достопочтенная дивеевская подвижница к М. П. Петрову об исполнении предсказания Пелагеи Ивановны над болезненной Анастасией Михайловой, но и над ней самой исполнилось слово великой старицы: «И ты пройдешь тою же болезнью, коли его из тебя не вынуть». В том же самом письме она писала к г-ну Петрову: «Солитер расстраивает так сильно всю мою внутренность, что я едва ноги таскаю по комнате и исхудала так, что страшно глядеть. Никуда не хожу более трех недель, даже у себя в домово́й церкви не бываю».

Все эти собственноручные свидетельства ясно показывают, какое благотворное влияние имела блаженная Пелагея Ивановна на всех тех лиц, которые прибегали к ней за помощью, и какими высокими благодатными дарами обладала она.

В дополнение к сведениям, сообщенным достопочтенной Анной Герасимовной о последних днях блаженной старицы Пелагеи Ивановны, мы приведем здесь еще некоторые сведения, заимствованные из письма той же дивеевской подвижницы к А. Ф. Ковалевскому.

«У таких подвижниц, как Пелагея Ивановна, – пишет она, – часто бывают при созерцательной и образцовой их жизни свои

тайные видения и откровения при благодати Святого Духа, им присущей... Я отправилась в келью Пелагеи Ивановны к Анне Герасимовне, и между разговорами спросила ее: «Что? Пелагея-то Ивановна в первое время по вступлении в монастырь ходила ли в церковь?»

– Как же, ходила; и приобщалась не часто, а очень часто оставалась молиться в церкви. Потом наш протоиерей Василий (любим был отцом Серафимом) приходил к ней в келью приобщать ее. Раз как-то он пришел ее приобщить; она приобщилась да и стала сама его исповедовать, так что он ужаснулся и поклонился ей в ноги и просил ее святых молитв, так все верно и прозорливо она ему сказала! С тех пор весь монастырь по словам батюшки Василия стал считать ее великой прозорливицей. Потом она очень редко приобщалась».

«А раз, – продолжает та же дивеевская подвижница, – одна сестра, смущавшаяся, что она никогда не приобщается, сидя у нее в келии, думала об этом. А Пелагея Ивановна и говорит ей: «Посиди у меня, дочка». Та довольно поздно засиделась и уснула. Когда проснулась, видит, что Пелагея Ивановна стоит со скрещенными руками и ангел Божий ее приобщает. А когда та сестра подошла к ней, то она погрозила и сказала: «Молчи о том, что видела». Потом еще другая ее келейница, Пелагея Гавриловна, недавно мне передавала: «Лет 30 тому назад проснулась я ночью и вдруг вижу: ангел Божий прилетел, взял ее и скрылся на небо, а потом опять спустил ее. И Пелагея Ивановна лежит на полу у печки, лицо светлое, радостное. Я к ней да и говорю: «Матушка, что я видела-то!» – «Молчи, молчи, никому не говори!» – ответила она.

«До кончины своей за пять лет Пелагея Ивановна сделалась очень больна, безнадежна; мы думали, что она скончается. Тогда при матушке-игумении, казначее и многих сестрах ее соборовали два священника и диакон. Я тоже была и рыдала, да и все плакали, и мать игумения; а она смотрит на всех с ангельской улыбкой и переводит свои светлые, блестящие голубые глазки со священников то на матушку, то на сестер. В руках же имела огромный букет цветов и перебирала

их. Нашей удручающей скорби не было пределов, но благодаря Всевышнему, она осталась жива, только год от году слабела».

Затем достопочтенная подвижница дивеевская повторяет почти буквально тот случай, когда батюшка о. Иоанн Доримедонтович Смирнов пришел со Святыми Дарами в келью Пелагеи Ивановны и хотел ее приобщить, а она слегка отклоняла неоднократно святую Чашу, а потом и приобщилась.

Изображая самые последние часы ее земной жизни, дивеевская подвижница говорит: «Сестры все перебивали у нее и до самой кончины осаждали ее келью, желая принять последнее ее благословение, но неотступно день и ночь при ней пребывали, по назначению и благословению начальницы, кроме ее трех келейниц, еще четыре сестры: Чернышева, Арвонатаки, Карамзина и я, грешная Кудрявцева. Глядя на нее, мы рыдали и невольно замечали, что ей были таинственные видения, то тяжелые и страшные для нее, то радостные и светлые. Вдруг, например, повернет голову к стене и грубым голосом скажет и пальчиком погрозит: «Нет, этого я не делала!» Видно, враг рода человеческого и к ней приступал со своей ложью и клеветами. А то раз, несмотря на страдания и крайнюю слабость сил, накануне уже самой смерти, вдруг привстала на кровати, протянула ручки свои, высоко поднимая их, и в восторге воскликнула: «Матерь Божия!» Лицо ее сияло радостью, и вся она трепетала. Сказав эти слова, она в изнеможении опустила свою голову на подушку. Видно, Матерь Божия не оставила ее без Своей божественной помощи в последние минуты ее жизни.

Надгробное слово

Надгробное слово, произнесенное при отпевании блаженной Пелагеи Ивановны, имеет весьма важное значение. Оно указывает на ту духовную связь, которая находилась между нею и прозорливым старцем Серафимом Саровским, и разъясняет, какое значение имела почившая подвижница для Дивеевской обители.

Оно начинается такими словами: *Блажен путь, в онъ же идеши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения.* Проповедник, упомянув о кончине блаженной Пелагеи Ивановны, говорит дивеевским инокиням: «Еще раз постигла вас, благоговейные матери и сестры, глубокая скорбь разлуки с дорогим для вас существом. Было время, когда вы глубоко сетовали и плакали о разлуке с приснопамятным старцем Серафимом, вашим *отцом*, основателем сей святой обители, теперь вы плачете об общей вашей матери – сей лежащей во гробе блаженной старице Пелагее Ивановне. У вас нет уже ни отца, ни матери; и вы в полном смысле – сироты»³¹.

Затем в утешение сетующих инокинь проповедник говорил: «Вы, конечно, не будете искать себе отрады и утешения в одних слезах; ваша достоуважаемая старица Пелагея Ивановна, как и приснопамятный старец Серафим, оставили вас только телом, а не духом; по духу они вам отец и мать, по Духу они и сейчас живы и находятся в ближайшем предстательстве за вас пред престолом Господа Бога, Творца и Промыслителя всех. Вспомните: когда вы оплакивали разлуку со своим *отцом*, старцем Серафимом, вы думали, что потеряли все; вы оставались, на первый взгляд, беспомощными, вас отовсюду теснили; вы не имели ничего: ни места для обители, ни кровя для жилища. Ну, что еще вам более можно было потерять?.. Но было ли все это к лучшему? Тогда наша обитель была истинно бедная, никем не знаемая, кое-как влачила свое существование, а теперь что стало? И все, конечно, по молитвам старца Серафима, памятованием его людьми благочестивыми, благотворительными; наша обитель стала хотя

не богатой, но обширной, славной и, можно сказать, цветущей. Так и достоблаженная старица Пелагея Ивановна, которая была для вас нежно любящей матерью, которая сорадовалась вашим радостям, которая ласкала и утешала вас в ваших скорбях, оставляет вас только телом, но имейте несомненную уверенность, что она не прервет с вами духовного союза. Она своим предстательством пред престолом милосердного Господа будет вам утешительницей в скорбях и всяких невзгодах трудовой иноческой жизни... Прощаясь с нашей дорогой Пелагеей Ивановной, помолитесь Господу Богу, чтобы ее строгие иноческие подвиги, которыми ознаменовала она жизнь свою, пребыли и для нас образцом пламенной любви к Богу и к ближним и примером истинной заботливости о нашем собственном спасении и спасении наших ближних, а ее беспримерное юродство, соединенное с величайшим самоотвержением, напоминающее нам древних великих подвижников и подвижниц христианства, да утвердит в наших сердцах уверенность, что и в наши времена, внешне скудные верою и благочестием, премилосердый Господь воздвигает в наше назидание и утешение великих подвижников и подвижниц веры и благочестия».

«Ты же, незабвенная матушка Пелагея Ивановна, – говорил проповедник, обращаясь к почившей, – исполненная долголетней и многотрудной жизни и пламенной любви к Богу, гряди с миром, куда воззвал тебя Вседержитель. Да обретет там твоя чистая душа то сокровище, которое она искала для себя и для ближних в продолжение всей земной жизни, да сподобит тебя Господь радостно встретить там великого отца и наставника твоего и нашего, старца Серафима, и вместе с ним и со всеми святыми вечно созерцать и славословить Господа Бога, и да дарует он тебе благодать – быть молитвенницей и за нас грешных».

Слово это, произнесенное при гробе, в котором покоилась почившая Пелагея Ивановна, как живая, «вся – красота духовная», как знаменательно выразилась о ней досточтимая Анна Герасимовна, «вся, просветившаяся каким-то тихим и необыкновенным светом», и особенно это сближение ее с

великим подвижником, общим отцом и наставником всех дивеевских сестер, старцем Серафимом, не могло не произвести самого сильного впечатления не только на сестер дивеевских, но и на всех присутствовавших при отпевании. Все чувствовали, что они прощаются с родной матерью; все понимали, что она переходит в лучший, горний мир, и по любви своей не забудет их и там, у престола Премилосердного Господа.

После погребения тотчас началось поминовение усопшей. И в храме Божиим, и во многих кельях читалась день и ночь Псалтирь, ежедневно совершались заупокойные Литургии, многократно в день служились панихиды и для сестер, и для посторонних богомольцев.

В обители распространялись слухи о дивных явлениях почившей то одной, то другой сестре.

«Мать Маврикия передавала мне, – пишет неоднократно нами упоминаемая дивеевская подвижница, – что со дня кончины блаженной нашей старицы Пелагеи Ивановны она часто погружалась в думу, как легко и бесстрашно Пелагея Ивановна должна проходить мытарства. Постоянно имея это памятование на сердце, она в 20-й день после ее кончины пришла в ту келью, в которой Пелагея Ивановна жила 45 лет. Взошедши в келью, она увидела Пелагею Ивановну в отроческом виде и приняла это за душу новопреставленной, и сказала: «Матушка Пелагея Ивановна! Я думаю, как вам хорошо там». На эти слова она повторила три раза: «С Елисеем, с Елисеем, с Елисеем». Мать Маврикия, обращаясь к Анне Герасимовне, спросила ее: «Про кого это Пелагея Ивановна говорит?» Анна Герасимовна ответила ей: «Елисей был пророк и любимый ученик пророка Божия Илии».

«Наша монахиня Феодосия Егоровна, – продолжает писать та же дивеевская подвижница, – рассказывала, что она видела незадолго до 40-го дня незабвенную матушку нашу Пелагею Ивановну вместе с блаженной Прасковьей Ивановной, – той самой, у которой Пелагея Ивановна в начале своего многотрудного подвига училась молитве Иисусовой; они беседовали между собой и долго оставались на пригорке около источника матушки Александры, нашей первоначальницы.

Наша служащая больным Мария, много плакавшая о Пелагее Ивановне и в течение 40 дней прочитывавшая ежедневно все 150 псалмов по ней, видела ее в церкви во гробе; подошла к ней и видит, что она смотрит, как живая. Тогда Мария стала просить ее, чтобы она помолилась за нее. Пелагея Ивановна отвечала: «Что плакать-то? Я за тебя молюсь и буду молиться».

Послушница старицы Платониды, Екатерина, ложась спать, подумала, Отчего она не видит Пелагеи Ивановны, несмотря на то, что столько раз молилась о том. И вот в 40-й день удостоилась видеть чудный сон. Перед ней было огромное поле, на нем воздвигнут великолепный собор с хрустальными окнами, со множеством глав, обнесенный очень высокой белой оградой. Несмотря на высоту ограды, чрез нее виднелись в соборе белые свечи, ярко горевшие. «На паперти пред входом в соборные двери какой-то блаженный старец, стоявший около меня, – описывала свое видение Екатерина, – сказал мне: «Вот ты желала видеть Пелагею Ивановну; вот это ее место». А вдали находились великолепные сады».

«Одна из наших больных видела, – говорит еще все та же дивеевская подвижница, – блаженную Пелагею Ивановну в 40-й день после ее праведной кончины, что она радостно предстоит Господу и молит Его не оставить ее обитель, и чтобы все в ней подвижающиеся сподобились вечного блаженства. «Вид Пелагеи Ивановны, – говорила эта больная, – был так дивен, и кругом ее было так светло, что я никогда до гроба не забуду этого сна, который при одном воспоминании приводит меня в неизреченную радость и сердечный трепет»».

Таковы сказания о блаженной старице Пелагее Ивановне, собранные нами от лиц, самых близких к ней. Мы старались сохранить, по возможности, подлинные слова этих лиц и их воззрения на великую подвижницу. При помощи их сказаний восстает пред нами во всем нравственном величии эта необыкновенная страдальца, эта немыслимая почти в наше время Христа ради юродивая, эта чудная прозорливица, и привлекает к себе сердца всех истинно верующих в Господа Иисуса Христа и Его всемогущую благодать.

Чудная связь находится между этой необыкновенной подвижницей и великим старцем Серафимом, основателем Дивеевской обители, начало которой положил он по особому откровению свыше и по благословению Пресвятой Богородицы. Эта чудная связь началась на земле при необыкновенных обстоятельствах, когда прозорливый старец после продолжительной своей беседы с Пелагеей Ивановной – еще молодой супругой Сергея Васильевича – благословил ее на великий подвиг юродства, поклонился ей до земли и сказал умоляющим голосом: «Поди, поди, матушка, поди в Дивеево, побереги моих сирот», продолжалась она и после того, как чудный старец переселился в вечность. Пелагея Ивановна как молнией освещала свой путь, когда при разных обстоятельствах своей жизни твердила: «Я – Серафимова», «Серафим меня испортил», «старичок-то (то есть Серафим) ближе к нам...» – и до конца жизни своей неусыпно бодрствовала над Дивеевской обителью. «Вон сколько у меня деток-то», – говорила она другой блаженной, Паше Саровской, выражая всю любовь свою к Дивеевским сиротам. А эта сердобольная заботливость о матери-игумении Марии, о ее трудах и хлопотах по управлению обителью, эта ревность по правде попорченной и поруганной, когда она решилась вразумить святителя, – все это ясно показывало в ней верное и точное исполнение просьбы великого старца: «Поди, поди в Дивеево, побереги моих сирот». И она берегла и сберегла их для вечности. Бережет и теперь, без сомнения, своей молитвой ко Господу и своим ходатайством пред Ним.

Келья блаженной Пелагеи Ивановны

Келья блаженной Пелагеи Ивановны сохранялась в обители с особенной заботливостью в том самом виде, в каком она была при ее жизни. В переднем углу чулана – ей собственно принадлежавшие святые иконы: Спасителя, благословляющего с раскрытым Евангелием и словами: *Приидите, благословеннии Отца Моего*, в фольговой ризе, – благословение ей родного отца ее, и Владимирская икона Божией Матери в фольговой ризе – тоже родительское ей благословение, и затем прочие святые иконы, которые ей были приносимы и даримы разными богомольцами.

В келии все убогие келейные вещи, напоминающие собою великую подвижницу Христову, и над этими по виду убогими, но тем не менее для обители драгоценными пожитками ее, сделаны следующие надписи:

1) Особое место – на полу около печки, где на простом жестком войлоке пребывала большей частью раба Божия, старица Христова Пелагея, все ночи проводя без сна в созерцании и молитве. На этом же, освященном ее молитвенными подвигами и различными ей бывшими откровениями, месте бывала она посещаемая на лоне Господа блаженствующими святыми, равно и старцем Божиим Серафимом. И столь было любезно душе ее это место, что говорила часто: «Умру, а не уйду отсюда».

2) Ложе: кровать, тюфяк, подушка, на которых последние трое суток земной подвижнической жизни своей блаженная старица Пелагея окончила многотрудный, тернистый свой подвиг и почила сном покоя блаженной вечности, 1884 года, 30 января, в четверть второго часа по полуночи, 75-ти лет от роду.

3) Вещи, в скорбной земной подвижнической жизни служившие рабе Божией, Христа ради юродивой старице, блаженной Пелагее:

а) *железная цепь*, которую наложили на нее муж с родной матерью и которой приковывалась она к стене, как зверь лютый,

ради подвига ее юродства Христа ради, в продолжение долгих восьми лет жизни ее в миру.

б) *железный пояс*, который также долгие восемь лет жизни своей в миру носила она Христа Господа ради, так что врос он в мучимое всякими побоями и истязаниями удручаемое тело ее, и уже с кровью сняла она его, придя в эту святую обитель.

в) *свитки и рубашки*, ей приходившими боголюбцами Христа ради подаваемые и ею с любовью носимые, *сарафан* блаженной старицы Пелагеи, *чулки*, лишь года за два до успения ею надеваемые и носимые ради старческой немощи, *убогое одеяло* блаженной Христовой старицы.

Вскоре на могиле блаженной старицы вместо простого дубового креста воздвигнут был большой изящный памятник; на этом памятнике следующие четыре надписи:

1) «Пелагея Ивановна Серебrenикова, урожденная Сурина, по благословению старца Божия иеромонаха Серафима за святое послушание оставила все счастье земной жизни, мужа и детей, приняв на себя подвиг юродства, и приняла гонения, заушения, биения и цепи Христа Господа ради. Родилась в 1809 году, прожила в монастыре 47 лет, и 30 января 1884 года отошла ко Господу 75 лет от роду».

2) «Блажени есте, егда поносят вам, и изжденут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех. Все здесь претерпевшая и все превозмогшая силою любви твоей к Богу, любви Его ради потерпи нашу немощь духовную и крестом подвига твоего заступи нас».

3) «Свято-Троицкого Серафимо-Дивеева монастыря Серафимов Серафим, блаженная Пелагея. Пелагея, взяв крест свой ради Бога, на земле жила она вся в Боге, и на небе живет вечно с Богом».

4) «Блажени изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное. На тернистом пути подвига твоего не оставляла ты никого, к тебе прибегающего не забуди и там, в блаженстве вечной Божией славы, обитель, тобою излюбленную».

Инокaины Дивеевской обители и благочестивые богомольцы посещают и могилу, и келью блаженной подвижницы с

особенным чувством любви и благоговения. Всем хочется помолиться на том месте, где покоится многострадальное тело почившей и где витает ее чистая душа; всем хочется вознести свою молитву пред теми святыми иконами, пред которыми молилась в своем чулане почившая старица и которые были благословением ее родителей; всем хочется подышать тем воздухом, которым дышала великая подвижница, побыть хоть несколько минут на том месте, где она столько лет подвизалась, благоговейно взглянуть на эту цепь и на это кольцо, которыми ее приковывали, и на все эти убогие вещи, ей принадлежавшие, и поучиться ее долготерпению, простоте и скудости, и вместе с тем усердно попросить ее святых молитв за себя и за своих ближних.

Прозорливый старец Серафим предсказал о своей Дивеевской обители, что она прославится святостью своих подвижниц и процветет и духовно, и вещественно. Слова богомудрого старца сбылись. Блаженная Пелагея Ивановна своей святой жизнью прославила Дивеевскую обитель, и начала процветать эта обитель и духовно, и вещественно. И дай Бог, чтобы она и теперь более и более сияла святостью жизни своих подвижниц и из рода в род процветала и духовно, и вещественно во славу Божию.

Священник Вл. Тенищев

Из воспоминаний о Серафимо-Дивеевской старице Наталии

Вот и еще вновь прозябшая ветка из Дивеевского виноградника, возделанного преподобным Серафимом, Саровским чудотворцем!

Этот молодой побег, искусно пересаженный рукою опытного вертоградаря на новое место, скоро освоился с местной почвой, распустился пышно и оделся густой зеленой листвой. Это – Мелявинская женская община.

Храм юной общины устроен в честь иконы Божией Матери, называемой «Умиление». Пред этой самой иконой скончался преподобный Серафим.

Знаменательно то, что торжество освящения этого храма, в присутствии дивеевских сестер и других инокинь, совершено было 13 февраля 1903 года, т. е. как раз в то время, когда вся православная Россия начала уже готовиться к великому и всенародному торжеству прославления благоднейшего пестуна и печальника Дивеевской обители. Так благому Провидению Божию угодно было предварить всенародное торжество прославления угодника Своего созданием еще другой, новой отрасли из его наследия, которое он при жизни своей так заботливо и со всею любовью возвращал, лелеял и оберегал.

Появление этой новой женской обители интересует и привлекает внимание многих вследствие своего родства с славной Серафимовской обителью, а главным образом – благодаря в Бозе почившей первоосновательнице, старице своей, пользовавшейся при жизни вполне заслуженным авторитетом.

В свое время мы лично знали эту многочтимую старицу и высоко ценим ее духовную жизнь. И теперь нравственно побуждаемся почтить ее память несколькими сочувственно-признательными строками и с отрадным чувством отметить появление на свет Божий ее обители.

Еще очень недавно, а именно 9 февраля 1900 года мирно отошла ко Господу эта хорошо известная посетителям женских

обителей старица девица Наталия, с 1848 года проживавшая в Серафимо-Дивеевском монастыре. Всю жизнь свою она служила особым избранным путем, – путем «блаженных», а потому и именовалась всеми знавшими ее не иначе, как «блаженной Наталией» или «блаженной Наташей» Этот весьма трудный и далеко не для всех понятный род служения и угождения Богу приняла старица Наталия еще в молодых годах по благословению одного киевского старца. Некоторыми странностями старицы нередко смущались люди светские, не имеющие надлежащего понятия о блаженных. Дивеевское монастырское начальство еще в самом начале поступления Наталии в монастырь решило было совсем удалить ее из монастыря, благодаря упомянутым странностям; но накануне назначенного дня удаления благочинная монастыря, некто Татиана Бучумова, увидела во сне другую, чтимую уже тогда, блаженную – Пелагею Ивановну Серебrenикову. Серебrenикова показала благочинной бумагу, где было крупными буквами написано: «Не трогайте Наталию: ей назначено здесь жить». Это видение навсегда решило участь блаженной: ее, действительно, не решались уже больше беспокоить, и она провела всю жизнь в Дивеевской обители.

В последние три-четыре десятилетия образ жизни старицы во многом изменился. Особых, выдающихся странностей ее не стало уже заметно. Но взамен этого началась и постепенно усиливалась ее подвижническая жизнь. Заключалась она в бденных, изо дня в день, сидениях, сначала в притворах храмов, а затем в легких тесовых загородах-шалашниках, под открытым небом, во всякую непогоду, не исключая зимних вьюг и морозов. Весьма благоуспешно и с особой силою развился у блаженной и благодатный дар старчества, благодаря которому она начала вести открытые и для каждого простеца доступные духовно-нравственные назидательные беседы, давать душеспасительные наставления и разного рода духовные советы и ответы на разные жизненные запросы и исключительные обстоятельства.

Любовь и расположение простого народа к старице росла все более и более, желание видеть ее и беседовать с нею

увеличивалось в народных массах все в больших и больших размерах. Ее постоянно осаждали толпы народа, жаждущего ее духовных бесед и наставлений, среди которых нередко можно было видеть и достаточное число интеллигентных лиц. Лицам, совсем ничего не слышавшим о старице и в первый раз видевшим ее, на первый взгляд казалось непонятным: чем и как могла расположить к себе народные сердца эта ветхая, согбенная и удрученная летами старица? Но это недоумение скоро сменялось чувством глубокого уважения, когда эти лица узнавали от других и сами лично убеждались, что старица Наталия выделяется своими многолетними продолжительными молитвенными бдениями, подвигами, постоянным чтением священных и духовно-нравственных книг, постом и молитвою. В ней обитал, – если не во всей полноте, то все же в большей мере, – дух старца Серафима и оптинского старца Амвросия: иначе она не могла бы с таким успехом подвизаться на поприще старчества, которое не без основания считается лучшим и отборным цветом монашества в мужских обителях, а в женских – прямо можно назвать таковое лишь редким исключением.

Место бесед старицы Наталии состояло, как мы, упомянули уже выше, из тонкой открытой тесовой загороди, рядом с келией. Внутри этой загороди или открытых сенок, кругом обложенная массивными книгами в кожаных, переплетах, покрытая ветхими рубищами, сидела блаженная старица, часто безмолвно, глубоко погруженная в богомыслие и молитву. Во все время открытых сидений старица проводила день и ночь на одном месте: здесь она, в свободные часы от бесед со странниками, молилась, читала, писала; тут же, сидя на лавке, низко согнувшись, она засыпала на краткое время (как обыкновенно располагаются на ночь – так она никогда не ложилась). При ней находилось достаточное число послушниц. Но самую большую часть времени проводила со старицей ее главная и любимая послушница Е. К-на, по указанию Вышенского затворника епископа Феофана ревностно служившая ей в продолжение 10 лет, вплоть до ее кончины. Открытые сидения у старицы начинались обыкновенно с весны и лета, а затягивались, случалось, до глубокой зимы, несмотря

на трескучие морозы. Когда же старица перебиралась в свою келию, беседы ее с кем бы то ни было уже прекращались: в келии у себя она никого не принимала, кроме самых близких лиц. Уступая лишь усиленному желанию и просьбе некоторых, старица переговаривалась с ними чрез вставленные двойные рамы в окне.

Свои беседы и наставления Наталия обосновывала главным образом на избранных текстах Св. Писания, изречениях св. отцов и примерах из житий святых; недаром около нее, во время ее открытых сидений, всегда находились: Библия, Добротолюбие, Четьи-Минеи и патерики. В беседах с блаженной сразу замечались ее разносторонняя духовная начитанность, острая память, хороший навык извлекать нужное из прочитанного и умение практически применять к делу приобретенные в разное время сведения и познания из Св. Писания и святоотеческой литературы.

Наружный вид блаженной всегда был одинаков. Верхнее одеяние ее постоянно было светлое, но крайне ветхое и запыленное. Положение тела согбенное. Лицо полузакрытое и всегда с поникшим взором. Пища ее была чрезвычайно скудная и в малом количестве; по средам и пятницам она и совсем ничего не вкушала, кроме антидора и теплоты с просфорой, каждодневно приносимых послушницами из церкви. Нижнюю одежду, по словам послушниц, она сменяла всего один раз в год, перед Пасхой или Благовещением. Строгое воздержание в пище и самоумерщвление плоти в разных видах делали старицу неподражаемой в обители.

И вот эта самая блаженная Наталия, незадолго до своей кончины, а именно 26 июня 1899 года, положила основание новой женской обители, в 3 верстах от села Теплова, Ардатовского уезда, Нижегородской губернии. Место было приобретено старицей Наталией почти всецело на собственные средства. В селе Теплове оно известно под названием «Мелявы», т. е. мелкой речки, когда-то протекавшей по этой лесной равнине, но затем в конец обмелевшей и оставившей следы лишь в виде небольшого овражка. С этим местом

связывались воспоминания об одном преступлении, история которого заслуживает полного внимания читателей.

В 80-х годах проживал в селе Теплове один благочестивый человек из крестьян, некто Иван Терентьевич Яшин. Он известен был как великий молитвенник, девственник и добрый наставник в духовной жизни, к которому многие крестьяне обращались за духовными-советами.

На том самом месте, где теперь застроилась обитель блаженной Наталии, убили одного тепловского крестьянина, по имени Андрея Губанихина. Народная молва негласно хотя и называла преступника, но судебные власти почему-то не раскрыли ничего.

И вот, старшая сноха убитого, Наталья Губанихина, здравствующая и по сию пору, в то время женщина еще молодая, бойкая и энергичная, глубоко почитавшая И. Т. Яшина, отправилась к нему спросить его: продолжать ли розыски убийцы или оставить?

– Я пришла спросить тебя об одном деле, – проговорила Губанихина, входя в его избу.

– Хорошо, хорошо, – проговорил ласково, обычной скороговоркой Иван Терентьевич, – а вот я тебе расскажу сон-то свой. А ты вот сядь-ка сюда, – указывая на лавку, пригласил он посетительницу.

И когда та прошла по келии и села на переднюю лавку, он продолжал:

– Прихожу это я на Меляву – знаешь Меляву-то? – Ну, и своим глазам не верю: такой неопикуемой красоты златоглавый собор видел я там посреди других церквей, что просто чудо! А кругом раскинулась какая-то богатая иноческая обитель!.. Да ведь как явственно, явственно-то видел, Наташа, – диво! – воодушевленно и с восхищением рассказывал Иван Терентьевич.

А когда Губанихина поведала о деле своего посещения, то он опять с тою же живостью продолжал:

– А вот теперь я и понял, зачем мне это чудный сон был! Понял, понял, истинно говорю тебе, Наташа!.. Оставьте искать душегубца! Не надо искать его! Совсем никакой пользы от того

не будет ни вам, ни вашему покойничку. А вот на Меляве, поверь мне, будет со временем место святое, и вашему покойничку будет от этого хорошо!

Семья Губанихиных послушалась данного Иваном Терентьевичем совета: оставила розыски преступника и успокоилась, хотя рассказанный им сон долго оставался неразгаданным и несбывшимся. Но когда чрез 20 лет, сверх всякого ожидания и подготовки, вдруг началась постройка общины и храма на Меляве, тогда с редким удивлением стали вспоминать этот сон не только в семье Губанихиных, но и все те местные крестьяне, которые слышали в свое время об этом загадочном сне Ивана Терентьевича от Губанихиных.

Когда и каким образом явилась мысль и намерение у старицы Наталии основать свою, отдельную от Дивеевской, обитель, – с точностью определить нельзя. Года за четыре до кончины старица Наталия приобрела пять десятин земли около села Нучарова, Ардатовского уезда, где затем, по ее указанию, был выстроен большой дом. При виде этой постройки, многие были уверены, что тут блаженная хочет положить начало обители. Но старица Наталия, услышавши об этих толках и гаданиях, сама поспешила разрешить этот интересовавший многих вопрос, заявив, что не на этом месте будет ее главная обитель, а на другом, – и то будет окружено лесом. В 1899 году почитателями старицы Наталии приобретено было по случаю и по сходной цене 200 десятин залежной, с мелкой порослью, земли, вблизи села Теплова, которая, согласно предсказанию блаженной, действительно была окружена со всех сторон сосновым строевым лесом. Деньги были уплачены частью самой старицей из собранных сбережений на этот предмет, частью ее благотворителями.

С великой заботою, неусыпною бдительностью и редким духовным проникновением следила старица за первыми моментами созидания обители, этого столь трудного и ответственно-великого взятого на себя дела. Не выходя из стен Дивеевской обители, старица Наталия, тем не менее, делала много разных заочных распоряжений и указаний по устройству и

распланировке построек в своей заведенной обители, так же, как саровский старец Серафим – в устройении Дивеевской.

Все сестры для новой обители избирались по усмотрению и благословению самой старицы, и такой порядок продолжался вплоть до ее кончины. Нередко при выборе сестер с большей очевидностью выражался дар духовной прозорливости блаженной. Раз приходит к старице издалека одна молодая девица для духовной беседы. Та охотно и с любовью приняла ее, долго беседовала с ней, а напоследок и совсем уговорила ее остаться у нее в качестве послушницы. Но дивеевское монастырское начальство, и без того сильно тяготившееся в последнее время ее личными послушницами, распорядилось немедленно выслать послушницу, не предварив о том старицу. Последняя, лишь только узнала об этом, начала выражать свое недовольство, скорбь и сожаление такими, неслыханными дотоле, воплями и стенаниями, что бывшие ее послушницы совсем растерялись и потеряли головы, не зная, что делать и как пособить горю. Успокоившись несколько, блаженная, не обращая внимания на распоряжение благочинной, властно приказала отыскать и воротить ей новую молодую послушницу. Это твердое и властное приказание старицы было исполнено: девицу разыскали и привели, хотя для этого и пришлось наводить справки на расстоянии не одного десятка верст. Водворенную таким необычайным порядком и с такою необычною душевною тревогою старицы, юную послушницу после этого больше уже не тревожило монастырское начальство; и она, перешедши после кончины старицы в ее новую обитель, в настоящее время вполне оправдывает надежды старицы.

Чтобы успешнее объединить будущую общинную жизнь своих сестер, старица Наталия преподавала им, в разное время, много всякого рода правил, наставлений и заветов.

Когда старица Наталия начала заводить свою обитель, ей было лет 70, но силы ее, несмотря на многотрудную, исполненную всяких лишений жизнь, не казались особенно слабыми. Но разные скорби и огорчения, постигшие ее вскоре после этого, сильно повлияли на ее здоровье. Некоторые из

влиятельных дивеевских сестер начали выражать сильное неудовольствие к ее начинаниям, усматривая в этом некоторое своеволие и нарушение монастырских правил и объясняя созревшие планы в голове старицы особым влиянием на нее старшей послушницы. Монастырская администрация вскоре сочла нужным распорядиться поставить нескольких караульных сестер со строгим приказанием, чтобы последние ни под каким видом не допускали посторонних лиц и всякого рода посетителей к блаженной Наталии.

Эта и другие подобные строгие и незаслуженные меры сильно огорчали блаженную. Старица несколько раз собиралась переехать на Меляву, в свой родной, ею самой заботливо приготовленный, укромный уголок (собственный ее корпус, в котором помещались ее замечательные массивные иконы), где давно с нетерпением и распростертыми объятиями жаждали встретить ее родные, близкие лица. Было одно время, что и готовые лошади стояли уже у крыльца ее кельи, но решиться оставить обитель, духовно окормлявшую ее много лет, она не могла без согласия и благословения местной начальницы; а этого-то последнего условия именно и недоставало ей теперь. Пишущему эти строки всего за месяц до кончины старицы пришлось беседовать с нею в ее келии по некоторым вопросам новоустроваемой обители. И вот, между прочим, когда зашла речь о том: соберется ли старица переехать на Меляву или нет, – на это она ответила так: «Утешь всех моих мелявских и скажи им, что телом я хотя и в Дивееве, но духом – постоянно у них на Меляве...»

Незаметно наступил последний день жизни блаженной старицы – 9-е февраля 1900 года.

В наружности старицы перед ее кончиной особых резких перемен не замечалось, кроме общей слабости и утомления. Первой заботой ее в этот день было – приобщиться Св. Таин, что она и исполнила с подобающим благоговением, а затем распоряжения по хозяйственной части покидаемой общины. К вечеру она сделалась заметно тревожной.

– Ах, мама, как мне что-то трудно! – не раз говорила она, обращаясь к своей любимой послушнице, которую, по своей

особой к ней расположенности, называла всегда мамой.

А спустя некоторое время, вдруг неожиданно и взволнованно заговорила о своей обители:

– Мама, собирайся, поедem завтра на Меляву!

– Ах, матушка, сколько раз ты уже собираешься, а потом все раздумываешь и оставляешь! – с некоторым недоверием ответила старшая послушница, нисколько не подозревая настоящего смысла этих загадочных слов.

– Нет, мама, пора, пора уже: завтра поедem! – в том же загадочно-таинственном духе продолжала настаивать старица.

Затем она велела читать молодой послушнице акафист Воскресению Христову. После чтения акафиста, вполне успокоенная молитвой, старица Наталия объявила своим послушницам, чтобы они больше не беспокоили ее никакими разговорами и, по обыкновению, осенила их крестным знаменем на сон грядущий; сама же приготовилась, как и всегда, проводить ночь сидя. Старшая послушница расположилась рядом со старицей, другая – в ногах у нее, прочие вышли в другую комнату.

Едва успела только задремать старшая послушница, как сердце ее вдруг дрогнуло и болезненно сжалось; разбуженная щемящим предчувствием, она быстро взглянула на сидящую старицу, но последняя, как бы нарочно избрав эти таинственные минуты полной тишины и безмолвия, тихо и мирно отошла уже к Господу... Это было в половине 12-го часа ночи. Блаженная встретила смерть, как воин на страже: в том самом положении, в каком привыкла она в продолжение многих лет проводить свой подвиг духовного бодрствования, – именно, сидя.

Кончина блаженной, несмотря на то, что ее можно было заранее предвидеть, как громовым ударом поразила ее послушниц, доселе живших за старицей, как бы за каменной, твердой стеной. Теперь они сразу почувствовали себя беззащитными сиротами. Им позволено было оставаться в монастыре только до погребения старицы.

Погребение блаженной Наталии назначено было на 11 февраля. Тело блаженной, при теснившихся толпах народа, погребено было на почетном месте, – против алтарной стены

Троицкого собора, рядом с местночтимой блаженной Пелагеей. Послушницы блаженной тотчас же после погребения своей дорогой старицы оставили Дивеевскую обитель и со скорбью на сердце отправились к сестрам на Меляву.

С этого времени для насельниц Мелявской обители началась новая, сиротливо-непривычная и трудная жизнь, – жизнь, полная всевозможных скорбей, огорчений и материальных лишений. Но с Божией помощью и по молитвам преподобного Серафима и своей старицы блаженной Наталии самая трудная пора теперь миновала. Община достаточно застроилась и украсилась храмом, в котором чуть не каждодневно совершается служба заштатным старичком-священником, при достаточно стройном пении местных сестер, которых насчитывается в обители до 60. Началось уже ходатайство о формальном открытии общины. Будем верить, что ходатайство это будет удовлетворено и что дело старицы Наталии, как дело во славу Божию, принесет обильные плоды...

Юродивая Паша Саровская, старица и подвижница Серафимо-Дивеевского женского монастыря

Прасковья Ивановна обладала весьма типичной наружностью. Наружность эта бывала весьма разнохарактерна, смотря по настроению: то чрезмерно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то горько-горько грустная.

Отец настоятель Суздальского Ефимьева монастыря архимандрит Серафим (Чичагов), автор «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», прекрасно изучив эту замечательную женщину, говорил о ней: «От доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские, добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все странности ее, – иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки, – лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Облекаясь иногда в сарафаны, она, как превратившаяся в незлобное дитя, любит яркие красные цвета и иногда одевает на себя несколько сарафанов сразу, как, например, когда встречает почетных гостей или в предзнаменование радости и веселия для входящего к ней лица».

По свидетельству монашествующих, преподобный Серафим еще при жизни своей благословил Прасковью Ивановну на скитальческую жизнь в дремучих лесах Саровских. Там она пребывала в посте и молитве около тридцати лет. Жила она в вырытой ею пещере. Говорят, что у нее было несколько пещер в разных местах обширного непроходимого леса, переполненного хищными зверями. «Во время своего житья в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества она имела вид Марии Египетской, – говорил архимандрит Серафим. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и поэтому черная и страшная, она носила в то время короткие волосы, так как ранее все поражались ее длинными до земли волосами, придававшими

ей красоту, которая мешала ей в лесу и не соответствовала тайному постригу. Босая, в мужской монашеской рубашке-свитке, расстегнутой на груди, с обнаженными руками, с серьезным выражением лица, она приходила в монастырь и наводила страх на всех; не знающих ее».

Прасковья Ивановна жила в домике, очень небольшом, слева от монастырских ворот. Там у нее была одна просторная и светлая комнатка, замечательно опрятная. Вся стена этой комнатки против дверей была закрыта большими иконами. В центре – Распятие, по сторонам его – справа Божия Мать, слева – ап. Иоанн Богослов. В этом же домике, в правом от входа углу, имелась крохотная келья-чуланчик, служащая спальней комнаткой Прасковьи Ивановны. Простая деревянная кровать юродивой Паши Саровской с громадными подушками редко занималась ею, а больше на ней покоились куклы. Да и не было времени ей лежать, так как ночи напролет она молилась перед большими образами. Изнемогая под утро, Прасковья Ивановна ложилась и дремала, но чуть забрезжит свет, – она уже моется, чистится, прибирается или выходит на прогулку – для молитвы. После обедни она садилась за работу, вязала чулки или делала пряжу. Это занятие сопровождалось, конечно, внутренней молитвой, и потому пряжа Прасковьи Ивановны так ценилась в обители, что из нее делались пояски и четки. ...

Народ почитал в Прасковье Ивановне прорицательницу. Под окнами ее домика по целым дням стояла толпа богомольцев, с благоговением ожидавших, не даст ли она им добрый совет, не помолится ли за них.

Имя Прасковьи Ивановны было известно не только в народе, но и в высших кругах общества. Почти все из высокопоставленных лиц, посещая Дивеевский монастырь, считали своим долгом побывать в гостях у Прасковьи Ивановны.

Случаев прозорливости Прасковьи Ивановны невозможно собрать и описать. Положительно, она знала каждую мысль обращающегося к ней человека и всего чаще отвечала на мысли, чем на вопросы. В беспокойные для нее дни,

несомненно вследствие борьбы ее с врагом человечества, она без умолку говорила, но невозможно было ничего понять, ломала вещи, била посуду, точно боролась с духами, волновалась, кричала, бранилась и бывала вся вне себя.

В обители все почитали ее за «маменьку».

О прозорливости Прасковьи Ивановны рассказывали: «Когда наша мать настоятельница и игуменья Мария, – рассказала мать Анфия, заведующая монастырской гостиницей, – текущей зимой была тяжело больна, мы, сестры, сильно скорбели и опасались за конец болезни. Неоднократно мы спрашивали Прасковью Ивановну, выздоровеет ли наша мать настоятельница, и она каждый раз говорила нам, что ее ждет скорое выздоровление. Предсказание Прасковьи Ивановны сбылось. Мать настоятельница оправилась от своей тяжелой болезни, и опасность миновала».

Та же мать Анфия сообщила: «Другой случай прозорливости Прасковьи Ивановны был тоже в прошлом (1902 году), когда у нас в монастыре сооружалась колокольня. Архитектор нашел, что она построена неправильно и грозит своим падением. Работы были прекращены, что всех нас немало огорчило. Нас лишь утешала Прасковья Ивановна, говоря всем, что запрещение строить будет снято, колокольня достроится, и на нее будут подняты колокола. Это предсказание также в точности исполнилось».

Один из москвичей-корреспондентов, посетивший в Дивееве с товарищами Прасковью Ивановну, о ее прозорливости сообщил: «Когда мы вошли в ее домик, нас встретила мать Серафима и молоденькая послушница. Они сообщили нам, что Прасковья Ивановна заперлась в своей крохотной келии, но она, может быть, скоро выйдет, и поэтому нас просили обождать. Мы стояли у входа в покой с матерью Серафимой, как дверцы кельи открылись и к нам порывистыми шагами вышла Прасковья Ивановна. Она была такой, как ее описал о. архимандрит Серафим. Не обращая ни на кого внимания, она порывисто прошла и, обращаясь к художнику М., сказала, грозя пальцем: «Денежку не бережешь, по ветру пускаешь!» Сказав это, она, проходя к окну, перед которым

стояла группа богомольцев, пожала мне руку, молча. Бросив взоры на стоявших на дворе богомольцев, она вновь устремила свои очи на нас и довольно долго вглядывалась в нас, как бы читая наши мысли. Становилось жутко. Но вот она по своей прозорливости прочла наши мысли: мы искренно жалели ее. Она немного постояла, как бы в полузабытьи, потом ее лицо просияло, и она на нас уже перестала смотреть сурово. Ее лицо стало радостно, она повеселела. Мы передали ей нашу лепту – на свечи. Это еще более обрадовало ее. Она стала резвиться, как дитя. Немного спустя, она опустилась перед распятием на колени и стала горячо молиться, все время кладя земные поклоны. Мать Серафима и послушница при этом стали петь задравный стих, закончив поминовением наших имен: Иакова, Стефана и Эмилия. Мы были поражены и обрадованы тем, что эта блаженная с чистым взором ребенка молилась за нас, грешных. Радостная и довольная она отпустила нас с миром, благословив на дорогу. Сильное впечатление произвела она на нас. Это цельная, не тронутая ничем внешним натура, всю свою жизнь, все свои помыслы отдавшая во славу Господа Бога. Она редкий человек на земле, и надо радоваться, что такими людьми еще богата земля Русская»³².

Таковы-то отзывы о юродивой Паше Саровской, которую преподобный Серафим благословил на жизнь скитальческую и которая так долго исполняла завет святого и великого старца Саровского!

Алексей Любомудров

Праведница земли Казанской

Праведники и подвижники уходящего века были подлинными светильниками для нашего яростного мятущегося мира. Лик каждого из них способен озарить унылые души, вселить в сердца бодрость, побудить к подвигу. Удивительные судьбы святых людей свидетельствуют: как ни тяжка окружающая жизнь, можно и должно идти спасительным путем Христовым. Одна из праведниц земли Казанской, взрастившая полученный в детстве дар веры и пронесшая его сквозь все испытания, монахиня Антония (Берг).

Родилась она в 1900 году в Казани, в семье Германа Александровича и Марии Ивановны Берг. Отец – профессор немецкого языка, мать – прекрасная пианистка, преподавала музыку. И было у них трое детей: Левочка, Анечка и Манечка. Семья жила дружно. Душой дома была мать, глубоко верующая, поглощенная заботами о православном воспитании своих чад. Чтобы привить им христианскую нравственность, она придумала для детей игру – общество «аквилистов», общество тех, кто стремится в своих мыслях и чувствах взлететь ввысь («aquila» по-латински «орел»). В уставе этого общества орлята были записаны правила поведения, среди них значились пункты: «не лгать», «не лениться», «относиться к чужим так же, как к своим». У ребят были заведены книжечки, в которых велись записи о своих грехах». Орлята читали их вслух, остальные обсуждали. Так, Мария Ивановна прививала детям начатки христианской любви, духовного совершенствования и покаяния.

Все Берги обладали музыкальными способностями и прекрасными голосами. Мария Ивановна организовала детский Церковный хор: пел в церкви села Ильинка под Чебоксарами; летом там отдыхали многие семьи из Казани. Орлята ставили детские спектакли, – «оркестром» был сам Герман Александрович – играл на рояле.

Детство Бергов было чистым и безоблачным.

Няня, глубоко верующая, много рассказывала малышам о святых местах, и эти рассказы глубоко запали им в душу.

Отец, Герман Александрович, был лютеранином, что весьма беспокоило мать. Мария Ивановна обратилась за советом к своему духовнику, старцу Седмиозерной пустыни близ Казани Гавриилу (ныне прославлен в лике святых), и тот ответил: «Потерпи, не пришло еще время». Спустя несколько лет отец однажды побеседовал с известным проповедником, служившим в Казанской Духовной академии. Беседа произвела на него сильное впечатление, и лютеранин крестился в Православие, ощутив необыкновенную духовную радость.

С приходом революции кончилась веселая, беззаботная жизнь.

Судьбы университета сложились по-разному. Лев Германович стал профессором Казанского университета, известным ученым-химиком. До конца жизни он оставался глубоко верующим человеком: в условиях гонений на Церковь это было подвигом для каждого христианина. О Марии Берг известно мало. Рассказывают, что она расписала храм в Москве и скончалась в монастыре.

Печатью милости Божией отмечена жизнь Анны Берг, монахини Антонии. Свидетельница братоубийственной войны, кровавых расправ чекистов над ни в чем не повинными жителями Казани осенью 1918 года, прихода безбожной власти, она все более склонялась к тому, чтобы всецело посвятить себя Богу. И Господь дивно управил ее путь.

Анечка была миловидна, прекрасно пела, работала хормейстером в клубах и госпиталях. Когда исполнилось двадцать, мать послала ее учиться на курсы в Петроград. Анна отправилась в путь, непростой и опасный в условиях разрухи и гражданской войны. Тут она решила осуществить свое давнее желание – совершить паломничество в Киев. Доехав до какого-то города, она почти без средств, с одним чемоданчиком, уселась на вокзале и заплакала от отчаяния. Здесь ее заметил военный, подошел и участливо спросил, в чем ее горе. Анна, опасаясь незнакомца, сказала, что едет к больному мужу, но не может добраться. Тогда он сказал, что везет солдат в том же направлении и мог бы взять ее в эшелон. Вручив свою судьбу воле Божией, Анна согласилась ехать. В вагоне к ней начали

подбираться солдаты, но офицер строго одернул их, сказав, что у женщины горе. Анна сошла на одной из станций. Вдруг к ней приблизились два человека в форме и потребовали документы. Она не растерялась: «Я долго ехала в эшелоне, мне нужно отлучиться, поддержите мой чемоданчик, сейчас вернусь». Сказав это, убежала от них, но осталась без вещей и денег.

Анна побывала в Чернигове, помолилась у мощей святителя Феодосия и пешком отправилась в Киев. Шла через леса, питалась сыроежками. Когда добралась, ноги сбила в кровь. В Киеве ее повстречала блаженная Серафима. «Девочка, хочешь пойти со мной? Мне как раз нужна келейница», – сказала она Анне и взяла ее к себе. У матушки Серафимы Анна прошла трудную школу послушания, смирения и молитвы. Блаженная заставляла подолгу читать Псалтирь вслух. Бывало, девушка задремлет, а матушка Серафима начнет постукивать ее чем-нибудь по голове, приговаривая: «Это я не тебя, а бесов колочу!» И Анне становилось легко и хорошо. Смирение юной послушницы матушка испытывала так: нарядит ее в пестрые кофту и юбку, разноцветные чулки и в таком диком наряде заставит ходить по городу. Прохожие смеялись над ней, иные злобно кричали: «Что ты притворяешься дуручкой!» Эти спасительные уроки очищали душу и оказались очень полезными впоследствии. На всю жизнь сохранила Анна любовь к своей духовной наставнице, у которой прожила четыре года. Впоследствии она вспоминала. «Матушке Серафиме было 90 лет, но она была необыкновенно быстрая: когда шли по городу, я еле за ней поспевала».

В Киеве Анна приняла тайный монашеский постриг и наречена Антонией. Постриг совершил монах из Ближних (Антониевых) пещер Киево-Печерской Лавры.

Как-то зимой инокиня Антония застудила ноги. Видя, как в легкой обуви она стоит часами на ледяном каменном полу церкви, диакон сжалился над ней и дал сапоги. И все же ноги болели сильнее и сильнее, в конце концов почти отнялись. Тогда Антония чуть не ползком добралась в храм к мощам святой великомученицы Варвары (много веков пребывают в Киеве) и стала горячо просить ее об исцелении. Болящую

приложили к мощам. Словно благодатная сила приподнимает ее, инокиня Антония встала на ноги и вновь смогла ходить.

В Киево-Печерском монастыре находилась древняя почитаемая икона Успения Божией Матери. Во время службы она была над царскими вратами «Великой» церкви, а затем ее опускали для поклонения верующих. Однажды Антония, прикладываясь к этой иконе, вдруг услышала голос: «Теперь Я – твоя мать». Анна поняла, что это означает. Она записала день, в который это случилось, и горячо помолилась о новопреставленной Марии. Позже пришло известие, что именно в этот день скончалась в Казани ее мама, Мария Ивановна Берг. Подруга Марии Ивановны рассказывала, что умирающая видела рядом со своей кроватью сидящую на стуле Анечку... Так души праведных людей соединились в молитвенном общении при переходе одной из них в вечность.

Жизнь в Киеве становилась все тяжелее, и матушке Антонии приходилось скитаться по кладбищам, ночевать в поле, терпеть голод и холод. Она попросила матушку Серафиму отпустить ее в Дивеево, и та ответила: «Поезжай, там тебе хорошо будет».

Инокиня приехала в знаменитый Дивеевский монастырь, основанный преподобным Серафимом, Саровским чудотворцем. На святом источнике ей явился в видении сам старец и благословил ее. Настоятельницей там была игумения Александра. «Что Вы умеете делать?» – спросила она прибывшую и, узнав, что та может регентовать, обрадовалась: в Дивеевском монастыре было несколько хоров и требовались хорошие регенты. Антония открыла игумении, что она – рясофорная монахиня и, поступив в монастырь, уже не скрывала своего монашества.

Игумения определила молодую монахиню под духовное наставничество опытной старицы, схимницы Серафимы. В Дивееве мать Антония руководила хором три года, до самого закрытия обители в 1927 году. Здесь же она и написала стихотворение «Подвиг старца Серафима», которое ныне стало народной песней, задушевно распетой паломниками в Дивеево.

Подвиг старца Серафима

Ночка безмолвная, зрители –
Звездочки смотрят с небес.
Тихо вокруг. От обители
Тянется Саровский лес.
Келия там одинокая,
В ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая
Подвиг, что он совершал.
Там, при дорожке под соснами,
Камень тяжелый лежал,
Старец ночами бессонными
Здесь на коленях стоял.
Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял с волей Господнею
Тысячу дней и ночей.
Весь без вниманья ко внешнему
В сердце молитву слагал.
«Боже, будь милостив грешному» –
Старец смиренно шептал.
Хлеб и вода ключевая,
Каторжный труд среди гор.
Скоро кончина святая –
Слышится ангельский хор,
Тихо лампада мерцает,
В келье священный покой.
Радостно жизнь покидает
Старец-подвижник святой.

После закрытия монастыря мать Антония вместе с игуменией переехала в Муром, где стала псаломщицей. В то время в Муроме служил иеромонах Пимен, будущий Патриарх, и ей запомнились его духовные беседы. В Муром к дочери приезжал престарелый ее отец, Герман Александрович, там же он и скончался как глубоко православный человек. Когда Берг лежал на смертном одре, лицо его словно сияло.

В войну монахиня Антония возвратилась в родной город Казань, и здесь начались для нее новые мытарства. Никто не пускал к себе на квартиру монашествующих: в то время это было опасно. Она долго скиталась, пряталась в подвалах, на чердаках, ведя жизнь странницы. Здесь, наверное, открылся ей полностью смысл уроков киевской матушки Серафимы, которая прозревала предстоящие ей испытания и готовила к ним. Брат Лев Германович, профессор, известный ученый, жил в Казани. Он сам был верующим человеком, очень любил сестру и помогал ей вещами, но поселить у себя не мог, к тому же ее недолюбливала его супруга. Возможно, и монахиня Антония не согласилась бы жить в светской семье. Так она последовала за блаженными, несшими подвиг странничества и юродства Христа ради, и стала «бездомной странницей града Казани».

Одним из немногих действовавших тогда в городе был храм во имя Ярославских святых Феодора, Давида и Константина на Арском кладбище. Матушка Антония стала служить в этом храме псаломщицей и регентом. Поначалу ей денег не платили, но позволили ночевать в церковной сторожке.

В этом храме находились многие спасенные от безбожников святыни, собранные из закрытых церквей. В горячих молитвах перед чтимыми иконами Спаса Нерукотворного, Божией Матери Казанской, Феодоровской, Толгской, припадая к мощам казанского святителя Гурия – аскета-молитвенника, претерпевшего в своей жизни немало гонений и поруганий, – матушка Антония несла церковное послушание до конца дней.

Иногда ее навещали друзья молодости, с которыми она некогда проводила безмятежные годы детства и юности. Для них, людей сугубо светских и в силу разных причин отдалившихся от Церкви, судьба Анны Берг представлялась трагической: красавица, способная пианистка вдруг стала «монашкой-фанатичкой». Лишенную крова, нищую и голодающую, ее сочувственно спрашивали, довольна ли она своей жизнью, счастлива ли? Та отвечала: «Мне ничего больше и не надо, я всем довольна». Отрекшаяся суеты земного мира, став невестой Христовой, матушка Антония имела великое

духовное утешение от Господа, которое неведомо мирскому разумению...

В 1950 году на Казанскую кафедру назначили архиепископа Сергия († 18.12.1952). Во время первой же службы в кладбищенском храме он обратил внимание на матушку Антонию, вручил ей просфору и тихонько промолвил: «Держи крепче, тут еще кое-что есть». Под просфорой оказались 200 рублей. Владыка, сам человек святой жизни, сразу прозрел в Антонии благодатного человека и понял, что она очень нуждалась.

Владыка купил в Казани небольшой домик для монахинь, в нем поселились матушки Сергия, Михаила и Антония. После кончины монахинь Михайлы и Сергии мать Антония взяла к себе в домик келейницу Марию Николаевну Охотину (врача по профессии). Когда дом снесли, мать Антония поселилась на улице Гвардейской, в доме 5, на втором этаже, где и прожила остаток лет. Последней ее келейницей была Антонина Шелаева (ныне принявшая постриг с именем Анна и служащая в той же церкви на Арском кладбище). Она свидетельствует о духовных дарованиях матушки Антонии, которая стяжала непрестанную молитву и часто молилась ночи напролет. Всю жизнь исполняла матушка заповедь первой наставницы, блаженной Серафимы: ежедневно делать по двадцать земных поклонов. Никогда и никого не осуждала. Временами как бы юродствовала.

К монахине Антонии обращались за советом и помощью. Однажды к ней на улице подошла женщина и сказала: «Матушка, как мне быть? Я – врач, замужем за татаринном, свекровь меня ненавидит и бьет. Сирота я, заступиться некому. Дома – страх что творится...» Мать Антония ответила ей: «Пойди на любую могилку, помолись, прочти 150 раз «Богородицу...», попроси Ее – и все уладится». Видимо, матушка посылала ее на могилу, чтобы та смогла в уединенном месте помолиться перед крестом. Открыто, при людях молиться было невозможно: верующих увольняли с работы. Через некоторое время эта женщина вновь встретила мать Антонию и бросилась к ней со словами: «Я вам так благодарна, ведь теперь у нас дома – тишина!»

Матушка имела дерзновение и силу отмаливать людей, одержимых бесовскими наваждениями. Ее келейница рассказывала:

«У нас при церкви был один молодой человек: - пел и читал в храме. Однажды он зашел в дом к чернокнижнице и посмотрел там из любопытства одну книгу о магии. С тех пор изменился, перестал ходить в храм. Я стала молиться за него, и вдруг на меня словно что-то нашло: ни молиться не могу, ни что-либо делать, руки опускаются. Это не укрылось от матушки Антонии: «Что с тобой, Тонечка? – спросила она. Почему ты такая грустненькая?». Я рассказала ей, что пыталась молиться за Володю (так звали того парня). «Да тебе ли с твоими силенками молиться за него, – взволновалась матушка, – да враг тебе знаешь как отомстит, вверх ногами поставит!» После молитв матушки от меня тотчас отошло все нехорошее. Вот насколько сильна была ее молитва.

Помню еще один случай. Я пела на клиросе, у меня был сопрано, и вот однажды голос сорвался. Пошла к врачу, а он строго сказал: «Не петь, не читать, а то останетесь совсем без голоса». Я расстроилась, рассказала все матушке. «У нас врач – Господь, исцелит и поможет», – сказала она. После этого голос у меня быстро поправился».

Господь даровал Своей угоднице монахини Антонии тихую и мирную кончину. Последние дни она почти ничего не вкушала. Завещание ее было кратким: предать тело земле и вынимать просфору за упокой ее души. Скончалась матушка в седмицу Жен-мироносиц, 24 мая 1986 года. Когда над усопшей читали Псалтирь, ее любимый котик плакал у гроба совсем по-человечьи...

Матушку хотели похоронить на Арском кладбище: здесь, в церкви, она трудилась много десятилетий, здесь покоился ее брат. Уже была подготовлена могила, но возникли какие-то непреодолимые обстоятельства, и погребсти ее здесь не дали. Она покоится на Царицынском кладбище Казани.

Господь принял в Свои обители праведницу и подвижницу, которой довелось нести трудный иноческий подвиг во время лютых гонений на Православие. Ныне она, верим,

предстательствует пред Господом о спасении всех, живущих в казанской земле и в стране Российской. Упокой, Господи, душу рабы Твоея монахини Антонии и ее святыми молитвами помилуй нас!

Раздел второй. ПАЛОМНИКИ. Сергей Александрович Нилус

Служка Божией Матери и Серафимов (Симбирский совестный судья Николай Александрович Мотовилов)

Последние слова последней беседы батюшки о. Серафима со мною были следующие: «...так-то, ваше Боголюбие, укоряеми – благословляйте, гоними – терпите, хулими – утешайтесь, злословими – радуйтесь! Вот наш путь с тобою, и претерпевый до конца той спасется! Грядите с миром в Воронеж!»

Сказаны они мне были 5 сентября 1832 г. при отправлении моем в первый раз в жизни в Воронеж.

(Из записок Н. А. Мотовилова)

Серафим! О святое и дивное имя! Как велик ты, великий преподобный, у Господа! О имени твоём скрежещут зубами беси и... трепещут!..

И велик же был их скрежет зубовой! С того священного дня, как Боголюбивый Государь, Божий Помазанник, исполненный и водимый Святым Духом, воплотив в своем лице всю народную веру, одномысленно с Православною Церковью преклонил свои колена со всем своим многомиллионным народом у раки новоявленного угодника Божия, Серафима Саровского, – с того самого дня весь полк сатанинский, во главе со своим миродержителем и князем злобы поднебесной, восстал против того, кто еще в немощем человеческом теле одолел исконного врага человеческого рода.

Не стану поминать всей бешеной ярости, которая бессильно и бесплодно обрушилась на святые дни, на незабвенные июльские Серафимовы дни, единодушно пережитые всем православным миром во главе с его Богоданным Главой: ярость эта памятна всем, кто вблизи или вдалеке принимал участие в покаянной народной молитве у гроба и у раки преподобного Серафима, кто «среди лета пел» с народом «Пасху».

Господь посрамил сатанины замыслы: в дым разлетелось все их злоухищрение. Будущее покажет во всю ширь и мощь все значение для жизни русского духа недавно пережитых,

перечувствованных и передуманных Саровских торжеств. Но и настоящее уже таково, что ясно стало видно исконным врагам России, как далеко ей при условии подъема веры до той преждевременной смерти, которую они уже, казалось, с победным кличем торжествовали.

Но злобная клевета, разбившись о неодолимую стену святости подвижника Христова, переменила направление и ударила, хотя и с ослабленной силой, во все то, что прямо или косвенно служило к прославлению святого угодника.

Один из таких ударов пришелся по человеку, отдавшему все свои духовные силы на служение памяти батюшки Серафима и основанной им Серафимо-Дивеевской женской обители, последнего на земле жребия Царицы Небесной. Это был симбирский и нижегородский помещик и симбирский совестный судья, потомственный дворянин Николай Александрович Мотовилов.

Вражья злоба, не одолев Серафима, навалилась всею тяжестью на Мотовилова и постаралась очернить и оклеветать его память в глазах всех тех, кто по Серафиме был заинтересован этою из ряду вон выходящею личностью. Она ославила его «сумасшедшим».

С помощью Божией и батюшки Серафима, я попытаюсь осветить мрак лжи, окутавший память этого мирского сподвижника и послушника преподобного отца нашего Серафима Саровского³³.

I

В семье Мотовиловых, между теми, по крайней мере, ее членами, кто еще до сих пор дорожит семейными воспоминаниями, в глубине колыбели ее зарождения возникло и до сих пор держится предание, что родоначальником их был выходец из Литвы, князь Монтвид-Монтвил. Простой народ переделал эту фамилию на свой лад и прозвал чужеземца Мотовило, и под таким прозвищем он стал своим, уже русским человеком. От этого корня пошел русский род Мотовиловых.

Один из предков Николая Александровича Мотовилова, еще будучи литовским князем, участвовал со своими людьми с

Димитрием Донским в Куликовской битве. В одной из ветвей мотовиловского генеалогического древа, если не ошибаюсь, – в роде сенатора Кассационного департамента Георгия Николаевича Мотовилова, – должен до сего времени храниться как родовая святыня образ (тельный) святителя Николая Чудотворца, надрубленный тяжелым басурманским мечом. Если он сохранился, то это теперь один из немногочисленных вещественных свидетелей первых лучей зари Московского царства³⁴.

У этого образа есть свое предание.

Отец Николая Александровича, Александр Иванович, в молодости своей полюбил девицу из старинного дворянского рода Дурасовых; но, воспитанная в Петербурге, успевшая свыкнуться со столичной жизнью, Марья Александровна Дурасова, к которой присватался Александр Иванович, не пожелала уйти с мужем в деревенское затишье и отказала ему в своей руке.

Борьба с чувством отвергнутой любви привела к тому результату, которым в доброе, святое, старое время люди сердца и долга увенчивали всякую борьбу, ставшую непосильною: они обрекали себя Богу и в одной только Божией помощи шли искать себе спасения от нестерпимых борений своего духа. Тихие обители, посвященные Богу, за своею высокою монастырскою оградой, среди лесов, вдали от суеты мятежного мира, давали желанный приют изболевшим душам и в Христе отраду и успокоение.

Так было в те времена, такие к нам по времени близкие и такие по духу – увь! – далекие...

Саровская пустынь приняла неутешного Александра Ивановича в число своих послушников и, казалось, на всю жизнь скрыла его от всякой мирской заботы и горестей. Но Богу угодно было изменить твердое решение неутешного юноши.

Проходя послушание на просфорне, Александр Иванович стал уже готовиться к принятию пострига, но как-то раз, утомившись от непривычной работы, задремал и увидел дивный сон, определивший, вопреки его намерениям, всю его

дальнейшую жизнь и имевший пророческое значение для Николая Александровича.

Едва успел задремать саровский послушник, как вдруг увидал, что в просфорню входит святитель Николай и говорит:

«Не монастырь путь твой, Александр, а семейная жизнь. В супружестве с Марией, которая тебя отвергла, ты найдешь свое счастье, и от тебя произойдет сын, его ты назовешь Николаем – он будет нужен Богу. Я – святитель Николай и назначен быть покровителем Мотовиловского рода. Им я был уже в то время, когда один из родоначальников твоих, князь Монтвид-Монтвил служил в войске Дмитрия Донского. В день Куликовской битвы татарский богатырь, поразивший воинов-иноков Пересвета и Ослябю, ринулся было с мечом на самого Великого Князя, но Монтвид грудью своей отразил направленный смертельный удар, и меч воткнулся в образ мой, висевший на груди твоего предка; он пронзил бы и самого твоего родича, но я ослабил силу удара и рукой Монтвида поразил татарина насмерть»!

Сон этот, как и следовало ожидать, изменил направление мыслей Александра Ивановича, и он вышел из Сарова. Вторичное предложение, сделанное им Дурасовой, не было отвергнуто; и от этого предсказанного брака родился 3 мая 1809 года первенец, которому и было дано имя Николай.

Это и был наш Николай Александрович Мотовилов.

II

Мотовилов рано лишился своего отца. По восьмому году от рождения он остался сиротой с матерью, еще совсем молодою вдовой, и сестрой, года на два или на три его моложе. Большое состояние, оставленное Александром Ивановичем, заключалось преимущественно в населенных землях трех губерний – Симбирской, Нижегородской и Ярославской – и требовало неустанного попечения. Заботы о воспитании детей-малолеток, общий уклад нравственной и религиозной жизни старинного помещичьего быта, в котором еще высоко стояли идеалы супруги и матери, и главным, конечно, образом Божие изволение – все это заставило мать Мотовилова предаться с

покорностью своей доле и не искать себе того, что ныне принято называть личным счастьем.

Это личное счастье прежние матери искали и всегда находили прежде всего в Боге, в Его Святой Церкви и в домоводстве, заключавшем в себе воспитание детей и заботу о сохранении для них состояния.

Помещичий быт старой Руси, тщетно ожидающий своего беспристрастного историка, знает много типов таких матерей и хозяек, которые в тиши своих деревень строили имущественное благополучие своих детей, а с ними и родины.

Первою утешительницей матери Николая Александровича в постигшей ее скорби была Церковь и ее верные служители, рабы Божии всякого звания, начиная с архиереев и кончая той Христа ради бродячей Русью, которая, отбросив всякое попечение о заботах завтрашнего дня, в молитвенном подвиге и лето, и зиму, и в весеннее распустье, и в осеннее ненастье обходит в поисках за святыми местами своим неустанным дозором бесчисленные грады и веси, дремучие леса, торные большие дороги и прихотливо бегущие пешеходные тропинки с трудом проходимых дебрей просторной России. От неприступных ледяных Соловков до вечно зеленого Афона и святынь Иерусалима, от Почаева и Киева до границ Восточной Сибири, до стен таинственного Китая доплескивается чистая волна исконного Православия, создавшего и прославившего могучую Россию. Обходит этот неустающий дозор святыни Православия и по всем углам и закоулкам несет благодать святыни, раздавая ее верующею рукой всякому верующему русскому сердцу. Наивная вера, наивные речи! Дети-повествователи, дети-слушатели! Но кто слышал пламенные речи одних, кто умел подметить слезы умиления других, тот лицом к лицу видел, тот уста в уста целовал ее, нежно любимую, детски святую, благодатную Русь... От светлых царских покоев, от знатного терема ближнего князя-боярина до промозглой от сырости и непокрытой нищеты хаты бедняка простолюдина, в те простые и верные времена вся несметная Христова богомольческая рать находила всюду себе приют и

привет, теплый угол, яркий очаг сердечной любви и гостеприимного радушия.

Старая Русь умела понимать и ценить этот духовный подвиг своего народа. Забирались и тогда в это стадо овец Христовых волки из стаи сатанинской, но из-за случайных волков не порочили тогда чистого овечьего стада и золотым его руном одевалась непостыдно и безбоязненно и отогревала свое русское сердце святая, чистая вера русского человека.

III

В начале XIX века мало еще была поколеблена вера русского захолустья: жизнь тогда не ведала той быстроты разноса духовной заразы, которой ознаменовалось так называемое наше время, – время пара, электричества, железных дорог, телеграфа, телефонов – всего, словом, того, что издергало и измочало нервы современного человечества. Сто верст представляли собой пространство в полсутки езды, и с 500–600 верст от больших центров, от столиц, начиналась уже русская захолустная жизнь, почти не затронутая веяниями времени в своих вековых устоях. Захолустье, так неумно и зло высмеянное неглубоким острословием эпохи реформ и европейского обезьянничества шестидесятых и последующих годов, было тою истинною нивой, которая растила зерно русской исконной жизни и давала обильные жатвы, кормившие могучий государственный организм России. Дальность расстояния, с трудом преодолеваемая перекладными, почтовыми, «долгими», заставляла обывателя сидеть дома, в доме уметь находить и сосредоточивать все свои материальные и духовные интересы.

Жизнь протекала в семье, и вся в ней сосредоточивалась. Ехать было некуда, да и незачем; знали свой околоток, и знали его хорошо, основательно, точно; вдаль не стремились, а где родились, там и умирали. Дальние поездки предпринимались только по особой нужде, и притом с великою тугой сердечною.

Но для жизни духа и в те малоподвижные времена расстояниями пренебрегали, и поездки на месяц и более, верст за 400, за 600, не были в диковину для дедов наших и бабок.

Нельзя было назвать это передвижение поездками – это были целые паломничества, обыкновенно организованные со всеми чадами и избранными домочадцами, и целью их бывали более или менее отдаленные монастыри с почивающими в них св. мощами Божиих угодников или живущими в них прославленными народною верой и просветленными богоугодной жизнью и Божественной благодатью старцами-подвижниками.

«Не в препретельных земных премудрости словесах, но в явлениях силы и духа» искали ответа старики наши на все запросы души человеческой и, верен Господь, – его получали.

Великое горе молодой вдовы потянуло ее за советом и благодатною помощью к великому Божьему угоднику, отцу Серафиму, в то время иеромонаху Саровской пустыни, окончившему подвиг затвора и начавшему принимать посетителей, которых стало собираться великое множество со всех концов центральной России в уединенную Саровскую пустынь. Слава отца Серафима как человека высокой духовной жизни уже и тогда гремела по всему верующему Тамбовскому и Средне-Поволжскому краю. Старики рассказывали, что бывали в Сарове дни, когда число приходивших и приезжавших к отцу Серафиму достигало десяти тысяч.

IV

В первую свою поездку в Саров к отцу Серафиму вдова Мотовилова захватила с собой и своего Николеньку. Это было в 1816 году. Николеньке шел тогда восьмой годок. Мать с сыном ехали на Арзамас из своего имения, сельца Бритвина, Нижегородской губернии, Лукояновского уезда. В рукописях Мотовилова есть указания, что в Арзамасе одна всеми чтимая «блаженная» встретила Мотовилову и предсказала ее мальчику его незаурядную судьбу силы непонятной и отвергнутой миром, но угодной Богу.

Батюшка Серафим только что отворил тогда двери своей затворнической кельи, и одною из первых принятых им посетительниц была вдова Мотовилова с сыном.

В рукописях Николая Александровича мне удалось найти изображение от руки плана кельи отца Серафима в том виде, в котором она врезалась в его детскую память.

Обстановка кельи поразила мальчика настолько, что уже спустя много лет он помнил ее во всех подробностях. Особенно его детское воображение было поражено обилием горящих свечей в семи больших подсвечниках перед иконой Божией Матери. Но слова и смысл речей беседы отца Серафима с матерью от него утаились. В воспоминании его сохранился один только эпизод пребывания в батюшкиной келии. Скучно стало мальчику, привыкшему резвиться на деревенской свободе, и, пока мать внимала беседе богомудрого старца, он стал бегать по келии, насколько позволяла ее обстановка. Мать с упреком его остановила. Но батюшка на ее упрек ребенку возразил:

– С малюткой Ангел Божий играет, матушка! Как можно ребенка останавливать в его беспечных играх... Играй, играй, деточка! Христос с тобой!

Эти слова, полные кротости и отеческой ласки, Мотовилов помнил всю жизнь.

Могло ли предчувствовать тогда детское сердце, что келья эта, в которой происходила беседа матери с преподобным, впоследствии определит весь строй многострадальной жизни Мотовилова!

V

Семейное ли благочестие, столь свойственное в те времена дворянским семьям, проживавшим безвыездно в своих поместьях, раннее ли знакомство с людьми духовного подвига, с которыми любила проводить время благочестивая мать, предызбранность ли, сказавшаяся в знаменательном сновидении отца, но в Мотовилове рано проснулась религиозная любознательность, доставлявшая ему немало огорчений в отроческом и юношеском возрасте.

Узнав при изучении Священного Писания о Троичности во Едином Существе Бога, он стремился объяснить себе этот догмат явлениями видимой природы, чем в немалое приводил смущение не только простых сердцем своих деревенских

наставников, но и законоучителей, готовивших его к поступлению в Казанский университет.

– Батюшка!– спрашивал он своего наставника. Вот вы меня учите, что человек состоит из тела и души. А ведь мы по образу и подобию Божиему сотворены, стало быть, мы тоже троичны по существу?

– Ну не еретик ли ты?! Истинно, еретик! Говорю тебе – высихи себя не ищи! Куда ты заносишься, куда ты заносишься? – спрашиваю я тебя!

И за словесным увещанием «еретика» обыкновенно следовало наставническое вразумление, от которого немало плакивал вразумляемый.

Мать тоже сильно огорчалась, боясь чрезмерной, как ей казалось, пытливости своего ребенка. В те добрые простые времена просто и по-детски веровали и зрелые люди.

Особенно ее страшило будущее ученье сына в шумном академическом городе Казани. Дух неверия и ересей, посеянный в умах дворянских вольнодумцев Екатерининского и Александровского времени ордой иноземных гувернеров и гувернанток, явившейся в Россию с готовою программой разрушения русских устоев, не мог этот дух утаиться от предчувствия сердца любящей и истово православной матери. Ну как эта пытливость разума, теперь под ее крылом направленная к познанию Божественного, да обернется в противоположную сторону! А примеры тому бывали.

Уже тогда в провинциальном обществе начали поговаривать о масонах, как о секте таинственной, хотя и безобидной по внешности, но по всем признакам вероотступнической и вредной. Православный дух покойного ее мужа тоже прозревал гибель от масонства, которым, как новинкой, последним словом европейской образованности, начали увлекаться наиболее выдающиеся провинциальные деятели.

Смотри, матушка, береги Колю от масонов, если меня не станет! Именем моим закажи ему не ходить в их богоборное общество – погубит оно Россию!

Такие речи слышал от отца и сам Мотовилов. Пытливый ум ребенка, конечно, не понимал, что такое за страшилище –

масоны; вряд ли он даже мог сколько-нибудь обнять необъятное слово «Россия», но отцовские слова не пропали для него бесследно, и для Николая Александровича Россия и масонство остались навсегда двумя понятиями, из которых одно непременно должно было уничтожить другое.

Мотовилов на всю жизнь остался непримиримым врагом этого тайного и по существу глубоко революционного общества.

Но материнское вещун сердце не ошиблось в одном: университет со своими общественными науками, в которых никогда не поминается имя Божие, веселое, шумливое и, конечно, вольнодумное светское общество дворянской Казани – все это скоро в своем житейском водовороте закружило юного Мотовилова, будущего завидного жениха, как о нем, вероятно, втайне мечтала не одна маменька, – и светская жизнь, хотя временно и поверхностно, но все же успела, казалось, изгладить то духовное, что было в детстве посеяно в душе религиозного мальчика.

– Ну, маменька! – часто говаривал он матери, – у вас опять эти «искушения»!

«Искушениями» он называл странниц и монахинь, которых любила у себя поприветить Мотовилова. Слыша разговоры Николиньки не всегда скромные и о предметах нескромных, потупя глаза и перебирая четки, со вздохом и как бы про себя они тихо шептали, бывало:

– Искушение!

Не любил их в то время жизнерадостный Мотовилов. На радужном фоне веселья шумного света, к которому тянулось его сердце, эти смиренные фигуры с постническими лицами, в черном одеянии, пожилые, некрасивые, с молитвою Иисусовой на устах, должны были ему казаться таким темным и непривлекательным пятном...

Под невзрачною внешностью и истинное смирение многим кажется лицемерием. Кому нужны эти загнанные, забытые, жалкие, темные облики? Они – режущий ухо диссонанс в победном аккорде нарядного мира!

VI

Но Божье призвание вело Мотовилова на иной путь – на ином пути он был нужен Богу.

В половине университетского курса с Мотовиловым произошел случай, необыкновенно характерный как для него, так и для той эпохи, которая его воспитала. В своих записках он туманно говорит, что «этот случай его поверг в такую бездну отчаяния, что он не мог его пережить, ибо должен был лишиться и своей дворянской чести, и дворянского звания и быть отдану в солдаты». По словам Елены Ивановны, этот случай, это страшное несчастье, так потрясшее Мотовилова, был поцелуй, брошенный им в университетском коридоре одной барышне. Поцелуй этот был замечен начальством, которое придало ему такое значение – на словах или на деле – кто знает, – что Мотовилов счел себя окончательно погибшим. Особенно его страшила мысль, что он убьет свою «маменьку». А любил он свою «маменьку» так, как только могло уметь любить его чистое сыновнее сердце.

Какая бездна отделяет чувства большинства современной молодежи от чувств того времени!..

В темную ночь из квартиры профессора Фукса, у которого Мотовилов жил в то время на квартире, он ушел к Черному озеру, известному всякому казанцу, и там решил утопиться. Уже он готов был в него броситься, но какая-то невидимая сила вдруг приковала его к месту, с которого он хотел кинуться в воду, и в ночной темноте, над мрачными водами Черного озера, он внезапно увидал в ярком сиянии образ Казанской Божией Матери. Озаренный дивным светом Лик Пречистой укоризненно взглянул на юношу самоубийцу и бесследно скрылся в темноте ночи.

Это было первое знамение в его жизни.

История, угрожавшая Мотовилову в университете, не имела для него последствий – выручил его из беды его квартирохозяин, профессор Фукс, удостоверивший, что «он за Мотовилова ручается» как за высоконравственного юношу. Но дивное видение оставило глубокий след в его душе, и, хотя утехи мира все еще продолжали с неудержимою силой затягивать его в свои обманчивые сети, тем не менее, событие

на Черном озере положило начало совершившемуся впоследствии в нем глубокому духовному перевороту.

О времени его жизни в Казани после этого события мы не имеем достоверных сведений. Знаем только, что, по выходе его из университета со званием действительного студента, умерла его мать во время совместной с ним поездки на богомолье в Киев, оставив на его попечении все имения и пятнадцатилетнюю девицу, сестру.

Самому Мотовиллову шел семнадцатый год. Это было в 1826 году.

VII

В те времена дворянская честь требовала обязательной службы Государству. Молодой человек, окончивший курс своего учения, должен был непременно служить или на коронной службе, или по выборам – неслужащий дворянин был все равно что недоросль из дворян. Уклонение от службы Отечеству считалось таким позором, что ни одна девушка из порядочного семейства не пошла бы замуж за того, кто сколько-нибудь не прослужил в военной или гражданской службе Царю и Отечеству. Обществу тогда не служили – понятие общества поглощалось догматом Царя и Родины – им и служили. Конец Александровских и Николаевских времена строги были в проведении в жизнь государственных принципов.

А сердце Мотовилова уже было охвачено «страстью нежной».

В соседстве с его симбирскими деревнями жила в своих поместьях вдова Михаила Петровича Языкова, из старинного рода симбирских дворян Языковых. С ней жила и дочка-подросток, Катенька, девушка лет пятнадцати. Болезненная по природе, совсем больная ко времени выхода Мотовилова из университета, вдова Языкова никуда не выезжала из дому, гостей не принимала, кроме родных и близких соседей, и Катенька росла почти в полном одиночестве. Церковь, домашние богослужения и уход за матерью – в этом была вся жизнь молодой девушки, почти ребенка. В эту-то Катеньку, или Екатерину Михайловну Языкову, с двенадцатилетнего ее

возраста и был влюблен Мотовилов. Миловидная девушка прельстила его сердце не столько своею внешностью, сколько внутренними качествами своей высокорелигиозной женственной души.

Нравился ли ей Мотовилов? Сказать трудно... Что касается самого Мотовилова, то надежда видеть любимую девушку своей женой не покидала его много лет спустя после первой вспышки зароненной в его душу искры беззаветного чувства. Цельные были тогда натуры и любить умели подолгу, преданно и верно.

Но не Мотовилову суждено было овладеть чистым, девственным сердцем Языковой. Его ждало другое сердце, другая рука должна была с его рукой нести предназначенный ему тяжкий крест к прославлению великого Имени Божьего.

Божий избранник, вызванный к жизни явно выраженной Божественною волей, должен был пройти через горнило всяких страданий, всяких искушений, мук сердечных и физических, должен был понести всякую скорбь, всякое гонение, чтобы духовно очищенным и просветленным быть достойным совершить на земле великое дело Божие.

VIII

Для деятельного христианина, для всякого воина Церкви Христовой, для всякого верного ее сына, а не наемника, глубоко поучительно ясное водительство Руки Божией в многострадальной и до сих пор не оцененной по заслугам жизни Мотовилова.

Теперь видна его заслуга: соблюдение для потомства мельчайших черт жития великого угодника Божия, преподобного Серафима, и процветание духовного детища батюшки – Дивеева. Но и в современной нам оценке деятельности Мотовилова молва людская не отводит ему того высокого места в величественном здании великих Саровских дней, которое ему принадлежит по праву.

Следя шаг за шагом за жизнью этого великого духом и сердцем человека, по обрывкам рукописных его воспоминаний, по воспоминаниям о нем людей ему близких, – вдовы его,

Елены Ивановны, и сирот батюшки Серафима, Дивеевских насельниц и молитвенниц, – нам, быть может, удастся восстановить в возможной яркости весь этот сложный, исполненный трагизма и, во всяком случае, незаурядный характер нравственного христианского мученика XIX века, истерзанного пытками душевными, и где же? В центре исконного Православия – в России.

Вернемся же к тем отдаленным уже для нас временам, когда влюбленный Мотовилов должен был вступить в самостоятельную жизнь круглым сиротой, с девочкою-сестрой на руках и с большим хозяйственным делом на своем неопытном попечении.

Сердце Мотовилова во всем строе его жизни всегда было на первом плане. Веления практического смысла, холодные веления рассудка если и не были ему чужды как человеку в полноте современного ему образования, то рассудок всегда находился у него в подчинении сердечным влечениям. А мотовиловское сердце было во всем пламенное.

Чтобы получить руку Языковой, надо было служить – так, по крайней мере, думал Мотовилов, так думало тогда все дворянское большинство. Онегины и Чацкие только зарождались. И вот тут-то, на первых порах, при вступлении в новую жизнь самостоятельного человека, ему пришлось столкнуться с тайною, но уже великою и грозною силой масонства, с тем корнем пышно расцветшего впоследствии бурьяна русского революционного движения, которое своим лжелиберализмом заразило цвет русского служилого и помещного дворянства.

«Вышедши из Императорского Казанского университета, – пишет Мотовилов на найденном мною, оторванном от какой-то тетради листе, – действительным своекоштным студентом 8 июля 1826 года, и на пути богомолья в Киев лишившись родительницы моей в 20-й день того же июля 1826 года, и оставшись круглым сиротой 17 лет от роду, имея сестру Прасковью, пятнадцатилетнюю, я через друга матушки моей, Надежду Ивановну Саврасову, вскоре познакомился с Симбирским губернским предводителем, князем Михаилом

Петровичем Баратаевым, и вскоре сблизился с ним до того, что он открыл мне, что он гранметр ложи Симбирской и великий мастер иллюминатской Петербургской ложи. Он пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом. Я отвечал, что батюшка, родитель мой, запретил мне вступать в масонство, затем, что это есть истинное антихристианство, да и сам я, будучи в университете и нашедши книгу о масонах, в этом совершенно удостоверился и даже видел необыкновенные видения, предсказавшие судьбу всей жизни моей и возвестившие мне идти против масонства, франкмасонства, иллюминатства, якобинства, карбонарства и всего с ними тождественного и в противление Господу Богу имеющегося. Это так разозлило его и тем более в простоте сердца ему открытое намерение мое вскоре по устройстве дел моих ехать в Санкт-Петербург для определения на службу в Собственную Его Императорского Величества Канцелярию, что он поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только Россия, но и весь мир.

Вскоре после того вышел закон, чтобы молодые люди, хоть и окончившие курс учения и получившие дипломы на ученые степени в высших училищах, не имели бы права отправляться на службу в столицу, а должны были бы три года послужить в губернии будто бы для ознакомления с процедурой провинциальной службы.

Срезанный на первых порах с ног, я, как говорится, сел как рак на мели».

Уверенность кн. Баратаева, что Мотовилову за отказ его вступить в члены масонской ложи ни в чем не будет успеха, оправдалась вскоре на деле. На открывшуюся вскоре вакансию должности почетного смотрителя Корсунского уездного училища Мотовиловым была выставлена своя кандидатура, и когда ему было дано знать от Совета Казанского университета и от Училищного Комитета, что он на эту должность избран, то Баратаев призвал его к себе и объявил:

– Этой должности вам не видать как своих ушей. И не только вы этой должности не получите, но и не попадете ни на какую другую государственную должность, ибо и Мусин-Пушкин (тогда попечитель Казанского учебного округа), и министр князь Ливен – подчиненные мне масоны. Мое приказание – им закон!

С этого момента началось преследование или, вернее, травля Мотовилова, усилившаяся с течением времени до степени гонения, которое довело его в конце концов до такого нервного расстройства, что он заболел нервным ударом, приковавшим его к постели. В тяжких страданиях он промучился более трех лет. Его преследовали на службе, которой он, правда, все-таки добился, благодаря своей сверхъестественной энергии, помешали его браку с Языковой, создавали репутацию сумасшедшего и даже во времена губернатора Загряжского ухитрились подвергнуть личному задержанию по обвинению в государственной измене. От этого ареста он был освобожден лишь по приказанию министра юстиции, Дмитрия Васильевича Дашкова.

Не было клеветы, насмешки, тайных подвохов и ухищрений, которым не подвергла бы его политически-сектантская человеческая злоба.

Возникновение и жизнь масонских лож, их сила и значение в жизни России еще ждут своего правдивого историка, вернее, наблюдателя. Да и дождутся ли они его?.. Печатью глубокой тайны, в которую посвящены отдельные, и притом неведомые самой масонской армии, главнокомандующие единицы, покрыта сущность их деятельности, их средства и цели как былые, так и настоящие. Масонство, с уверенностью можно утверждать, существует и ныне, под другою личиной, но разрушительные его и главным образом антихристианские, точнее антихристовы цели остались все те же.

Многострадальная жизнь Николая Александровича Мотовилова, с энергией отчаяния боровшегося за лучшие дворянские заветы прошлого, до фанатизма преданного Самодержавию, нравственно замученного исповедника Православной Веры, намеренно оттертого от полезной и глубоко патриотической общественной деятельности –

поучительнейший пример того, что значило в то время, да, пожалуй, и в наше – открыто восстать против этой тайной, но великой подпольной силы.

Если бы Господь не отвел энергии недюжинной силы Мотовилова на другое, истинно богоугодное дело, ему пришлось бы преждевременно покончить свои расчеты с земною жизнью: масонская сила никогда не останавливалась перед тайным убийством тех, кого считала для себя опасными.

IX

Для какого же богоугодного дела Господь отвел энергию Мотовилова от дел государственных, к вершению которых так тяготело истово русское сердце Мотовилова? Кто должен был быть непосредственным орудием Божьего промысления о земном назначении Мотовилова, предуказанного еще в знаменательном сновидении бывшего Саровского послушника, впоследствии ставшего отцом Николая Александровича?

Творение духа преподобного Серафима Саровского, Дивеевский женский монастырь, последний жребий Царицы Небесной на земле, будущая женская лавра и житие угодника Божия, нашедшее в Мотовилове своего свидетеля и вдохновенного описателя – вот то богоугодное дело, на которое был вызван к жизни Николай Александрович.

Преподобный отец наш Серафим Саровский – вот та видимая святая рука, изменившая и направившая стопы Мотовилова по иному пути, перепоясавшая его Божественною благодатью и поведшая его туда, куда он и не хотел, быть может, идти в то время, когда его юному, неопытному взору житейский путь мира казался таким заманчивым и блестящим.

Как велика была задача, ему предназначенная, показали уже отчасти великие Саровские дни. Будущее раскроет еще больше, еще значительнее несравненную тайну силы этих дней для обновления духа Православия, а с ним и величия Родины с ее мессианскою целью.

Служебные неудачи, тайная и явная злоба влиятельного масонства, не пощадившая даже его чистой любви к Языковой, рывшая ему всевозможные ямы и ловушки, в которые он в

простоте юного сердца ежеминутно попадался, сломили богатырский организм Мотовилова, и, как я уже говорил, тяжкая болезнь приковала его к постели более чем на три года. В своих физических страданиях, усугубленных нравственными, круглый сирота с девочкой-сиротой, сестрой, на руках, без поддержки, без родного, бескорыстного участия (одна Надежда Ивановна Саврасова, друг его матери, его не оставляла), он обновился духовно и воззвал ко Господу, и Господь не преминул услышать голос скорби Своего раба.

К этому приблизительно времени относятся три знаменательные сновидения, которые ему дарованы были как бы в предвещание судьбы его жизни и в откровение некоторых тайн Божественного домостроительства. Берем их описание из подлинной рукописи Мотовилова, уцелевшей на отдельном листе³⁵.

«В первом сне показан был мне неимоверно величайший не дом, а дворец батюшки моего в жизни будущего века. Две с половиной версты длины, полверсты ширины и четверть версты высоты; трехэтажный, с колоннами, каждая выточена из одной цельной небесной жемчужины; по архитектурному стилю похожи на ионический ордер; оконные стекла все цельные внизу и вверху; по 25 сажен вышины и ширины, а в бельэтаже 25 ширины и 50 сажен вышины; крыша вся из чистого золота; стены из небесного мрамора, белейшего, чем самый лучший каррарский мрамор. Гора, на коей стоял этот дом, семь верст вышины, полого к нему простирающаяся, а в длину, верст в тридцать вокруг, сад из непревосходнейших плодовых и вечно цветущих деревьев и кустарников. Я видел родителя своего, восставшего нетленным из гроба и вошедшего в оный, а мне невидимый кто-то сказал: «Вот это за святую, многомилостивую жизнь уготованный родителю твоему дом его в жизни будущего века».

Во втором сне показался мне мой, за грехи мои уготованный дом, весь в смоле, капающей с потолка от растопления раскаленными углями. Но Господь сподобил меня выйти из него, и мне потом показаны были красоты рая Божиего и Вечного Царствия Божиего и сказано: «Смотри же!—

вышел ты во сне из дома вечной твоей гибели, выходи и на самом деле из нее в жизни, да спасешься, подобно родителю твоему, и на земле, и на небесах».

В третьем сне взяли меня с одра почти предсмертной болезни моей пятнадцать великих пустынников, святых угодников Божиих, а именно: 1) святой Марк Фраческий, 2) святой Онуфрий Великий, 3) святой Петр Афонский, 4) святой Иоанникий Великий, 5) святой Антоний Великий, 6) святой Макарий Великий, 7) святой Савва Освященный, 8) святой Герасим, иже на Иордане реце, и остальные, все подобные им, и привели меня к стене до небес вышиной и шириной до края земли, и поставили перед дверью 15 сажень вышиной и 5 сажень шириной; а за ними стояла толпа несметная людей: цари, патриархи, народоправители, бояре всех народов, митрополиты, архиепископы, епископы, священники, архимандриты, монахи, и мирские всякого звания – ученые, разночинцы, купцы, мещане, дворовые люди и крестьяне всех наименований. И все это стояло тесно, нивелирно, смешавшись, зря, без толку, тесно так, что если бы бросить яблоко между голов их, по их плечам, то оно покатилося бы, а не упало на землю. И святые Божии пятнадцать великих пустынников сказали мне: «Мы привели тебя сюда, к этой толпе прогневавших Господа Бога нечестивцев, и Господь Бог Вседержитель через нас, рабов Своих, велит тебе возвестить слово Его и суд Его Божественный о них. Скажи же при нас им всем: цари, патриархи, народоправители, бояре, купцы, мещане, дворяне, ученые, и ремесленники, и мужики, священники, и монахи, и монахини, и люди всех наименований! Вы всецело во всем прогневили Господа Бога! Все древнее, святое, богоугодное, душеполезное и всеспасительное вы презрели, отвергли и омерзили в душах своих и дышите ненавистью ко всему богоугодному. Вы так преогорчили благодать Божию всеми мерзостями ваших нововведений, что фиал гнева праведной ярости Божией кипит негодованием, не растворенный ни самонаималейшею каплей сострадания к вам, богомерзким нечестивцам, и горе вам, если вы не покаетесь и не отвратитесь от богомерзких злоб ваших, и не взыщете вскоре

пути истинного во всех мерзостях ваших покаяния перед раздраженным вами Господом Богом!.. Ну, говори же при нас все это им!..» И сколько я ни плакал, уверяя их, что я не смею и что, как только заикнусь им о том, они погубят меня; но они грозно возразили мне: «Если ты не возведешь им всей этой воли Божией, то Господь погубит вместе с ними и самого тебя, да и те во веки веков станут на тебя жаловаться Богу. Если же они и прогневаются все до одного на тебя и захотят истребить тебя с лица земли, то защитит тебя Господь Бог в Троице Единый и Сама Госпожа, Пресвятая Богородица будет Заступница твоя противу всех их нападений на тебя. Иди же сквозь их и глаголи дерзновенно им эти слова милосердия и живота вечного, и Сам Господь благословит тебя, и Матерь Божия будет тебе Сама Помощницею во всем».

И я сказал им все; и они выслушали все и, расступаясь предо мною, стали давать мне дорогу между собою. Треугольник большой, на несколько сажен, открылся предо мною, и я, всем повторяя эти милостивые и щадливые слова Господни, мало не дошедши до конца треугольника, попробовал, как широка данная мне людьми дорога, и протянул крестообразно в обе стороны руки мои, и не хватило до людей на целый аршин от рук моих. И я не знаю, почему и зачем взмахнул я руками, и меня на аршин приподняло от земли кверху, так что я кружась полетел, как большая птица, вверх к поднебесью и увидел, что взлетел выше всех, а внизу подо мною – люди что черви кишат... Сначала я крайне испугался, думая, что упаду вниз и совершенно расшибусь в прах; но под меня подостлалась светлая, чистая и, как хрусталь, прозрачная перина, и я неизъяснимо возрадовался и сказал: «Господи! когда я там был с ними вместе внизу, какими они мне великими тогда казались и как величались они тогда предо мною! А теперь что стали они? не более червей, кишащих в навозной куче!»

С этим я проснулся».

Эти сновидения и тяжелая болезнь дарованы были Мотовилову в период его жизни от 19 до 22 лет.

Врачебная помощь, к которой неустанно он обращался во все время своей продолжительной болезни, оказалась бессильною. Измучив его тело, тяжкая болезнь очистила дух, и дух его обратился к Богу, Который и указал ему путь для исцеления тела и еще большего просветления духа.

Путь этот был – отец Серафим Саровский.

Когда-то, в детстве Мотовилова, батюшка видел его Ангела с ним игравшего; теперь этот же Ангел Хранитель вел его вторично к преподобному уже с тем, чтобы вручить его на всю жизнь руководительству божественного старца.

Х

Вот как описывает Мотовилов первую свою сознательную встречу с преподобным Серафимом.

«За год до пожалования мне заповеди о служении Божией Матери при Дивеевской обители, великий старец Серафим исцелил меня от тяжких и невероятных, великих ревматических и других болезней, с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших, и с язвами пролежней на спине и боках, коими я страдал неисцельно более трех лет.

1831 года 9 сентября батюшка отец Серафим одним словом исцелил меня от всех болезней моих. И исцеление это было следующим образом. Велел я везти себя, тяжело больного, из сельца Бритвина, Нижегородского Лукояновского имения моего к батюшке о. Серафиму; 5 сентября 1831 года я был привезен в Саровскую пустынь; 7 сентября и 8-го, на день Рождества Божией Матери, удостоился я иметь две беседы первые с батюшкой о. Серафимом, до обеда и после обеда в монастырской кельи его, но исцеления еще не получил. А когда на другой день, 9 сентября, привезен был я к нему в ближнюю его пустыньку близ его колодца и четверо человек, носившие меня на своих руках, а пятый, поддерживавший мне голову, принесли меня к нему, находившемуся в беседе с народом, во множестве приходившим к нему, тогда, возле большой и очень толстой сосны и до сего времени (шестидесятые года истекшего столетия) на берегу речки Саровки существующей, на его

сенокосной пажинке, меня посадили. На просьбу мою помочь мне и исцелить меня, он сказал:

– Да ведь я не доктор. К докторам надобно относиться, когда хотят лечиться от болезней каких-нибудь.

Я подробно рассказал ему бедствия мои и что я все три главные способа лечения испытал, а именно: аллопатией – лечился у знаменитых в Казани докторов – Василия Леонтьевича Телье и ректора Императорского Казанского университета Карла Феодоровича Фукса, по знанию и практике своей не только в Казани и России, но и за границей довольно известного медика-хирурга; гидропатией – на Сергиевских минеральных серных водах, ныне Самарской губернии; взял целый полный курс лечения и гомеопатией у самого основателя и изобретателя сего способа Ганнемана через ученика его, пензенского доктора Питерсона, – но ни от одного способа не получил исцеления болезней моих, и затем ни в чем уже не полагаю спасения, и не имею другой надежды получить исцеления от недугов, кроме как только лишь благодатиею Божией. Но будучи грешен и не имеючи дерзновения сам ко Господу Богу, прошу его святых молитв, чтобы Господь исцелил меня.

И он сделал мне вопрос:

– А веруете ли вы в Господа Иисуса Христа, что Он есть Богочеловек, и в Пречистую Его Божию Матерь, что Она есть Приснодева?

Я отвечал:

– Верую!

– А веруешь ли, – продолжал он меня спрашивать, – что Господь как прежде исцелял мгновенно и одним словом Своим или прикосновением Своим все недуги, бывшие на людях, так и ныне так же легко и мгновенно может по-прежнему исцелять требующих помощи одним же словом Своим, и что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогуще, и что по сему ходатайству Господь Иисус Христос и ныне также мгновенно и одним словом может исцелить вас?

Я отвечал, что истинно всему этому всею душой моей и сердцем моим верую и если бы не веровал, то не велел бы

везти себя к нему.

– А если вы веруете, – заключил он, – то вы здоровы уже!

– Как здоров, – спросил я, – когда люди мои и вы держите меня на руках?

– Нет! – сказал он мне. Вы совершенно всем телом вашим теперь уже здоровы в конец!

И он приказал державшим меня на руках своих людям моим отойти от меня, а сам, взяв меня за плечи, приподнял от земли и, поставив на ноги мои, сказал мне:

– Крепче стойте, тверже утверждайтесь ногами на земле... вот так! Не робейте! Вы совершенно здоровы теперь.

И потом прибавил, радостно смотря на меня:

– Вот, видите ли, как вы хорошо теперь стоите?

Я отвечал:

– Поневоле хорошо стою, потому что вы хорошо и крепко держите меня!

И он, отняв руки свои, от меня, сказал:

– Ну, вот уже и я теперь не держу вас, а вы и без меня все крепко же стоите; идите же смело, батюшка мой, – Господь исцелил вас! идите же и трогайтесь с места!

Взяв меня за руку одною рукой своею, а другою в плечи мои немного поталкивая, повел меня по траве и по неровной земле около большой сосны, говоря:

– Вот, ваше Боголюбие, как вы хорошо пошли.

Я отвечал:

– Да, потому что вы хорошо меня вести изволите!

– Нет! – сказал он мне, отняв от меня руку свою. Сам Господь совершенно исцелить вас изволил, и Сама Божия Мать о том Его упросила. Вы и без меня теперь пойдете и всегда хорошо ходить будете; идите же! – И стал толкать меня, чтобы я шел.

– Да этак я упаду и ушибусь! – сказал я.

– Нет! – противоречил он мне. Не ушибетесь, а твердо пойдете...

И когда я почувствовал в себе какую-то свыше осенившую тут меня силу, прибодрился немного и твердо пошел, то он вдруг остановил меня и сказал:

– Довольно уже! – и спросил: – Что, теперь удостоверились ли вы, что Господь вас действительно исцелил во всем и во всем совершенно?.. Отъял Господь беззакония ваша и грехи ваши очистил есть Господь. Видите ли, какое чудо Господь сотворил с вами ныне! Веруйте же всегда несомненно в Него, Христа Спасителя нашего, и крепко надейтесь на благоутробие Его к вам, всем сердцем возлюбите Его, и прилепитесь к Нему всею душою вашею, и всегда крепко надейтесь на Него, и благодарите Царицу Небесную за Ее к вам великие милости. Но так как трехлетнее страдание ваше тяжело изнурило вас, то вы теперь не вдруг помногу ходите, а постепенно: мало-помалу приучайтесь к хождению и берегите здоровье ваше, как драгоценный дар Божий!..

И, довольно потом еще побеседовав со мною, отпустил меня на гостиницу совершенно здоровым.

Итак, люди мои пошли одни из леса и ближней пустыньки до монастыря, благодаря Бога и дивные милости Его ко мне, явленные в собственных глазах их, а я сам один сел с гостинником отцом Гурием, твердо без поддержки людской сидя в экипаже, возвратился в гостиницу Саровской пустыни. А так как многие богомольцы были со мною при исцелении моем, то прежде меня возвратились в монастырь, всем возвещая о великом чуде этом.

Лишь только приехал я, игумен Нифонт и казначей иеромонах Исаия с двадцатью четыремя старцами иеромонахами Саровскими встретили меня на крыльце гостиницы, поздравляя меня с милостию Божиею, через великого старца Серафима мне во дни их дарованную. И сим благодатным здоровьем пользовался я восемь месяцев настолько, что никогда подобного сему здоровья и силы не чувствовал в себе до тех пор во всю мою жизнь. Часто в течение сего времени и подолгу бывал я в Сарове и неоднократно беседовал с сим великим старцем Серафимом и в одну из бесед³⁶ его в конце ноября 1831 года имел счастье видеть его светлее солнца в благодатном состоянии наития Святаго Духа Божия».

XI

Совершившееся чудо произвело на Мотовилова потрясающее впечатление и определило весь строй его дальнейшей деятельности на Божьей ниве.

Неотразимо влек его к себе после того преподобный Серафим. Мотовилов не мог не видеть в нем проводника Божественной благодати такой духовной красоты и силы, что перед этим дивным обликом в просветленных его очах побледнели и как бы временно стушевались все обманчивые прелести мира, к которым он прежде с такою страстностью тянулся. Благодатные дары прозорливости, исцеления, могучая, беспредельная сила молитвы преподобного, этого как бы ангела во плоти, так близки были духу исцеленного и благодарного Мотовилова, так влекли этот дух к христианскому совершенствованию, невозможному во всей полноте без разрыва с миром, что Мотовилов с этого времени привязался к своему благодатному врачу всем своим пылким сердцем и весь отдался его руководительству, наслаждаясь почти постоянно его богомудрыми беседами. Едва ли не каждый месяц уезжал он из своих поместий в Саров к Серафиму и по две, по три недели проживал под крылом своего наставника и благодетеля, по часту и подолгу пользуясь его интимным с ним общением.

А мир между тем все-таки врывался в его душу, не только не устая в борьбе со стремлением его духа, но как будто все сильнее и яростнее нападая на него, увлекая его своими блестящими приманками, набрасывая на него свои соблазнительные сети.

Конечно, образ Языковой, олицетворенная первая любовь Мотовилова, восставал во главе всех остальных обольстительных призраков властных мирских воспоминаний, и, конечно, бедная, истерзанная душа в нем, и только в нем, искала всей полноты своего земного счастья.

«Ин суд Божий и ин суд человеческий!»

Эта тайная душевная борьба не могла утаиться от прозорливости преподобного, и, когда она достигла уже степени великой сердечной муки, тщательно, впрочем, скрываемой от

батюшки, – так, по крайней мере, казалось Мотовиллову, – батюшка Серафим вдруг, неожиданно, его спросил:

– Что же, ваше Боголюбие, вы все хотите о чем-то спросить меня, да будто и не смее? Говорите просто со мной, убогим Серафимом: я все, при помощи Божией, готов ответить вам, что мне Господь открыть соблагоизволит!

«Я сказал, – так пишет в своих записках Мотовилов, – что я чрезвычайно люблю одну девицу дворянку, соседку мою по Симбирским моим деревням, и хотел бы, чтобы он, батюшка Серафим, помолился о ней ко Господу, чтобы Господь Бог нарек мне ее в невесты.

– А разве она очень хороша собой, – спросил он, – что вы ее так усердно и крепко любите, ваше Боголюбие?

Я отвечал, что она хоть и не красавица в полном смысле этого слова, но очень миловидна. Но более всего меня в ней прельщает что-то благодатное, Божественное, что просвечивается в лице ее. Вид ее меня порастил еще, когда она была в двенадцатилетнем возрасте, и с тех пор я всесердечно полюбил ее.

– А почему же не красавица?– спросил меня отец Серафим. По описанию вашему она должна быть таковою!

Потому, – отвечал я, – что для полноты типичной красоты надо иметь большой рост, стройность корпуса, царственность взгляда и многое другое, чего она не имеет. Правда, в замену того она имеет нечто столько затрагивающее душу человека, чего и многие красавицы в себе не имеют...

– Да что же это такое?– спросил великий старец.

– А это, – отвечал я, – то, что она как монастырка воспитана.

– Как?– переспросил он. Как монастырка? Я не вник хорошенько в ответ ваш!..

– А это вот что я разумею под этим, – сказал я ему. Отец ее, Михаил Петрович Языков, рано оставил ее сиротой, пяти или шести лет, и она росла в уединении при больной своей матери Екатерине Александровне как в монастыре – всегда читывала ей утренние и вечерние молитвы, и так как мать ее была очень религиозна и богомольна, то у одра ее часто бывали

и молебны и всенощные. Воспитываясь более десяти лет при такой боголюбивой матери, и сама она стала как монастырка. Вот это-то мне в ней более всего и в особенности нравится.

Батюшка отец Серафим продолжал меня спрашивать:

– Что же, ваше Боголюбие, разве монастырки лучше воспитаны, чем светские девушки?

– Конечно, – отвечал я, – в большем страхе Божиим, с большею любовью к Богу и в большем благоговении, чем мы, мирские!

– А из чего вы это заключаете?– спросил он.

– Из слов Пахомия Великого, – отвечал я, – когда ему была открыта от Господа Бога судьба будущего монашества и братия спрашивала у него: «Что же, отче, Господь Бог открыть тебе изволил о нас?» – он отвечал: «О нас, отцы святии и братия, Господь сказал, что мы все монашеское исполняем так, как следует, и Он благословляет пути наши; но за нами имеющие жить монахи хуже нашего будут жить, ибо вполнину противу нас будут благоугождать Господу». «А далее, – спросили отцы, – что будет?» «О!– воскликнул Пахомий. Что далее, то все хуже и хуже будет, так что последние монахи уже ничего нашего, монашеского, делать не будут, а будут жить, как нынешние мирские христиане живут!» «А мирские будут жить хуже скотов». «Как же спасутся они?» – спросили отцы. «А мирские будут жить хуже скотов». «Как же спасутся они?» – спросили старцы. И Пахомий отвечал им, что Господь сказать ему изволил: «Приидут скорби на них, и обрящутся выше отец своих». «Почему же?» – опять спросили старцы. «Вот почему, – отвечал Пахомий. В настоящее время по преизбыточеству в нас благодати Божией и по усердию нашему к делу спасения между нами находятся многие Боговдохновенные, прозорливые рабы Божии. Если падет кто-нибудь из нас – брат или сестра, то как бы ни было тяжело его падение, никто из нас по преизобилующей в нас Божественной любви к ближнему не поленится и на тысячеверстное путешествие, и на все великие трудности пойти, чтобы воздвигнуть падшего или падшую. Нам, следовательно, и много лучше, и много легче теперь, ибо брат от брата помогаем, удобь побеждает грех. А в те лютые и многобедственные времена

монахи и монахини не только не станут помогать друг другу, но еще и сами друг друга станут повергать в гибель, и тогда придется всякому из любящих Бога спасти свою душу и пещись о ней, как пустыннику или пустыннице...» Так вот, батюшка, почему и думаю я, что, как ни плоха теперь жизнь современного монашества, все же она подобна древней мирской христианской жизни. Поэтому-то девушка, воспитанная по-монастырски, по-моему, лучше будет воспитанной по-мирски... Вот это воспитание я так люблю и уважаю в Языковой.

Великий старец глубоко-внимательно слушал мой ответ и как бы в забытии спросил меня:

– А много ли лет теперь вашей предназначенной вам от Бога невесте?

Я отвечал:

– Пяти или шести лет она осталась сиротой после отца, десять лет жила при матери, да с полгода или несколько более матушка ее скончалась... Думаю я, что ей теперь не более 16 или 17 лет!

– Что вы, батюшка, ваше Боголюбие! Нет, нет! Вашей, от Бога вам предназначенной невесте, теперь 8 лет и несколько месяцев, этак 3 или 4, а уж едва ли более 5 месяцев, а ведь по новому постановлению Синода нельзя мужчине моложе 18 лет, а девушке 16 – вступать в брак. Так не подождать ли вам вашей Богом предназначенной невесты, этак 8 или 10 лет? А то как же вам теперь жениться на ней? Никак нельзя – молода еще очень.

– Да, помилуйте, батюшка отец Серафим! – сказал я. Как же молода? Ведь и по новому закону мне на ней жениться можно!

– Да о ком вы говорите мне, убогому Серафиму? – спросил он меня.

– О Языковой, – отвечал я, – о Языковой, Екатерине Михайловне!

– А! – отозвался он. О Языковой!.. Ну, я не о ней говорю вам, а я, убогий, о предназначенной вам от Бога невесте говорю теперь, и ей, уверяю вас по Бозе, ваше Боголюбие, более 8 лет с несколькими месяцами теперь никак не будет!»

Беседа эта была в октябре 1831 года. Велико было в то время разочарование и вместе горестное недоумение Мотовилова!

На этом, однако, знаменательная для жизни Николая Александровича беседа не кончилась. С особенной резкостью и ясностью должен был быть обозначен поворотный пункт, изменявший в корень и твердо определявший направление его главной деятельности в будущем. Эта деятельность была охарактеризована Мотовиловым в том названии, которым он любил себя именовать и в записках своих, и в своей речи: «Служка Божией Матери и Серафимов».

XII

«Помолчав немного, батюшка продолжал³⁷:

– Ведь иное, ваше Боголюбие, просить Господа Бога, чтоб Он преднарек кому невесту – как вот вы, например, просите теперь, чтобы я, убогий, упросил Господа, чтоб Он вам преднарек в невесты Языкову, – а иное, когда Господь уже Сам кому какую невесту преднареци соблагоизволил – как вот, например, для вашего Боголюбия. Невесте вашей теперь не более 8 лет и 3, 4 или 5 месяцев. Уж это, поверьте, в точности верно, и сам я, убогий Серафим, вам в том свидетельствовать готов. А о судьбах Божиих и непостижимой неведомости их я, убогий, вот что сказать вам имею: известны вам из Библии Товит и сын его Товия?.. Вот сын Товита и молится, бывало, чтобы Господь ему такую-то именно невесту дал. А Сарра, дочь Рагуила, сродница Товиина, в то же время, бывало, также молится Господу Богу, чтоб Он ей такого-то жениха дал. А Ангелы-то Господни обоих их молитвы святы и возносят к Престолу Вседержителя Бога... Вот Господь, видевши, что обои они одного и того же просят у Него, и решил по Своей благодати соединить их обоих узами брака святого. А ведь между ними было несколько сот верст, и они друг друга не знали. Но Совет Божий столь тверд был о соединении их, что Господь даже бесу попустил быть около Сарры, который убивал всякого другого жениха, кроме Товии, который дерзнул бы прикоснуться к ней. Хотя она и за седмерых женихов была выдаваема, но все семь

поражены были смертью, ибо не им она была уготована от Господа Бога. Когда же Провидению Божьему благоугодно было соединить Товию и Сарру, то Товии Господь послал в спутники Архангела Рафаила, и он на пути к селению Рагуилову в реке Тигре поймал рыбу и велел Товии изъять из нее желчь для прогнания, как потом оказалось, духа злобы от Сарры. Так вот, ваше Боголюбие, каковы-то судьбы Божии! Кто бы мог подумать, чтобы разделенные таким дальним расстоянием Товия и Сарра вступили между собою в брак! Но невозможное от человек возможно у Бога!..

Тут батюшка о. Серафим приостановился и как бы задумался и, вдруг свернув; речь на другое, внезапно спросил:

– А что, ваше Боголюбие, вы сделали с девушкой вашего дворового человека, что у вас жила?

XIII

Я так и обмер, испугавшись и прозорливости старца и вместе того, что как бы он не стал бранить меня за мой грех... Но старец, не дожидаясь моего ответа, стал продолжать:

Святая Церковь Господня в правилах своих соборных так узаконяет, что, если кто поемлет свободную девушку и живет с нею, тот обязан жениться на ней после, и это долг требует того. Ежели девица не пожелает того, то устроить ее жизнь настолько безбедно, чтоб она уже потом, по одной тяготе бедности, не могла впасть в новые грехи и всегда благодарила бы Господа.

После этих слов мне стало легче на душе.

– Я так и сделал!– сказал я батюшке о. Серафиму.

– Ну, – отвечал он, – и вельми хорошо, что так вы сделали, и да благословит вас Господь Бог!.. А были ли у вас от нее дети?

Я отвечал:

– Были: сын и дочь!

– Живы ли они?

– Нет!

– Ну, – сказал он, – когда нет, то да упокоит их Господь Бог во Царствии Своем. А когда бы живы были, то надлежало бы вам воспитать их в страхе Божиим, ибо, ваше Боголюбие, не

надобно презирать и незаконнорожденных детей – они не виноваты в своем появлении на свет. Да и родителей их лучше не осуждать, ибо неосуждение есть половина спасения... Был, например, случай в Греции: вельможа царский, ехавший через реку, увидел девушку, моющую платье. Пленившись ее красотой и узнав, что она дочь вдовицы, пребыл с нею. После того девица эта увидела сон, будто звезда пресветлая скатилась ей в утробу. Некий великий и Боговдохновенный старец, к которому она и мать ее обратились, возвещая бывшее, объяснил им, что родится некто великий от этой дочери. И родился, батюшка, угодник Божий, Феодор Сикеот, хранить которого к нему приставил Господь, кроме Ангела Хранителя, еще и великомученика Георгия Победоносца... Слава Богу! Вельми хорошо сделали вы, что наградили ту девицу и отдали ее замуж... Но, ваше Боголюбие, жизнь велика, и в жизни многое случается. Бывают и такие случаи, что вы ли или другой какой мужчина, хоть и не имеете не только никакого близкого дела с девицей, но даже и мало знакомы с нею, а девицу ту станут поносить за вас ли или за кого другого и станут говорить: ближняя-де она его и он-де живет с нею, то хоть и есть пословица, крайне, впрочем, неугодная Богу, что быль де молодцу – не укор, и хоть мужчин и не укоряют много за это, но девице, даже и сохранившей целомудрие, потеря честного имени и доброй славы – хуже смерти. Молю и прошу, ваше Боголюбие, не презрите словес и не забудьте убогой просьбы моей...

Тут батюшка поклонился мне до лица земли и, вставши, продолжал:

– Если когда-нибудь где-нибудь девицу станут поносить за вас, что-де она ближняя и искренняя мотовиловская, а про вас будут говорить, что вы живете с ней, то хоть бы вы и вовсе не касались ее, прошу и умоляю вас – уважьте просьбу убогого Серафима- освятите ее себе!

– Как, батюшка, освятить?

– Не об освящении говорю я: как чистая дева, она свята и без того. Освятите ее себе в подружие, то есть поимите ее себе в жены, просто сказать – женитесь на ней!

И батюшка снова, во второй раз, преклонился передо мною до лица земли. Я тоже припал к его ногам, и когда встал, то сказал ему:

– Да что это вы, батюшка? О ком вы говорите? Ведь я уже сказал вам, что та девушка, которая жила у меня, уже пристроена, а новых, поверьте, с тех пор, как я задумал жениться на Языковой, а тем более, как стал бывать у вас, у меня уже нет ни одной.

– Эх, ваше Боголюбие, какие вы!.. Не о теперешнем времени я вам говорю, а о грядущем. Ведь я вам сказал, что жизнь велика и в жизни много случается. Так вот как с вами впереди случится, что вас станут укорять за какую-нибудь девушку, а ее поносить за вас, то вот тогда-то не забудьте просьбы и мольбы убогого Серафима – женитесь на девушке этой!

И батюшка в третий раз поклонился мне, грешному, до лица земли, а я опять упал ему в ноги.

Вставши и прямо глядя мне в глаза, отец Серафим стал зорко в меня всматриваться и, как бы заглянув мне в самую душу, спросил:

– Ну, что же, батюшка, исполните вы просьбу убогого Серафима?

И я сказал:

– Если Бог удостоит исполнить, то постараюсь сделать, как вы желаете!

– Ну, – сказал отец Серафим, – благодарю вас! Не забудьте же эту девушку!.. А она, скажу вам я, убогий Серафим, она как Ангел Божий и по душе, и по плоти...

Потом, помолчав некоторое время и всматриваясь в меня проницательно, и как бы насквозь пронизывая меня своим взглядом, он добавил:

– Но, может быть, вы смутитесь, когда я вам скажу ее звание!.. Она – простая крестьянка!.. Но не смущайтесь сим, ваше Боголюбие: она и по праотцу нашему Адаму, и по Господе нашем Иисусе Христе сущая вам сестра!

Тут батюшка стал говорить о том, как нам жить с будущей моей женой и беседу свою завершил повторением просьбы

своей, умоляя не забывать ни просьбы своей, ни беседы; а затем отпустил с миром, ничего уже не говоря о Языковой».

XIV

Когда создавался Серафимо-Дивеевский женский монастырь, он был маленькою, еще не признанною ни светскими, ни духовными властями общинкой, составленною из нескольких Бога ради живущих черничек, преимущественно крестьянского звания. Великого духа были эти первоначальницы будущей женской лавры, и великий подвиг веры и нищеты приняли они тогда на себя, эти чистые души. Участие преподобного Серафима в деле устройства и руководства этой беспримерной в русских летописях женской обители достаточно известно всякому, интересовавшемуся житием этого всея России чудотворца.

Одними из первых насельниц Дивеева были две сестры – Прасковья и Марья Семеновны Милюковы, девушки крестьянского звания. С ними жила их родная племянница, дочь их брата Ивана, Елена, девочка лет шести.

За два года с небольшим – месяца так за три или за четыре перед исцелением Мотовилова, преподобный Серафим неожиданно велел двум сестрам Милюковым и другим бывшим с ними у него Дивеевским монахиням привести к нему маленькую Елену.

«Помню, – рассказывала мне сама Елена Ивановна Мотовилова (она и была тою маленькою девочкой Еленой), – привели меня к батюшке в его пустыньку, что стояла в Саровском лесу. Я еще тогда совсем маленькая была и только начинала учиться грамоте. Батюшка взял меня на руки, поставил меня на стол в своей келии да и говорит тетке моей и другим с ней пришедшим сестрам:

– Кланяйтесь ей – по времени великая госпожа ваша будет!..

Они мне и поклонились: такая была вера в батюшкины слова. Тут он дал мне шесть азбучек.

– На тебе эти азбучки, – сказал он, – по времени они тебе пригодятся!

Были у меня в то время брат да сестра – стало быть всего было нас трое. Для кого же, – думали мы тогда, – еще-то три? А вышла замуж за своего Мотовилова, и было у меня ровно шесть человек детей, которых всех по этим азбучкам-то и выучила».

Припомним время беседы преподобного Серафима с Мотовиловым о предначерченной ему от Бога невесте. Беседа эта была в октябре месяце 1831 года. Елена Ивановна родилась 17 мая 1823 года.

«Предначерченной вам от Бога невесте теперь 8 лет и несколько месяцев, этак 3 или 4, а уж едва ли более 5 месяцев», – говорил тогда батюшка.

Это ли не чудо прозорливости?.. И как же такой благодатный дар должен был действовать на восприимчивую душу Николая Александровича!..

В указанное время Мотовилов не имел еще никакого понятия ни о Дивееве, ни о той роли, которую с течением времени он должен был играть в судьбах этого последнего на земле жребия Царицы Небесной.

Восьмилетняя в то время девочка, Елена Милюкова, еще того менее могла подозревать, что когда-нибудь выйдет замуж, да еще за богатого дворянина, который в будущем не постоит ни перед чем, чтобы исполнить завет своего батюшки, и в мирском облике станет тем служкой Божией Матери и Серафимовым, каким он стал, по дивному смотрению Божию, впоследствии.

Воспитываемая в то время в зарождающейся монастырской общине двумя тетками, отдавшими себя всецело на служение Богу и Пречистой, она готовилась на всю жизнь остаться в монастыре. Могла ли думать она, как «монастырка» воспитанная, – «быть великой госпожой» для воспитавшего ее Дивеева?! Разве только в смысле духовном...

XV

Как уже говорили мы, возможно, частые свидания с божественным старцем стали для Мотовилова настоятельной потребностью духа. И старец, проникнув в глубь его душевную и видя способность его пламенного сердца загореться

неугасимым огнем великой любви к Богу, все ближе, все теснее принимал его в свое общение. Горячий патриот, воспитанный в духе Православия, проникнутый беззаветною верностью престолу и родине на истовых началах русской государственности, Мотовилов не мог не скорбеть и не ужасаться того, с какою головокружительною быстротой и силой стали врываться в устои русской жизни и главным образом в руководящее ею сословие разрушительные принципы французской революции.

Декабрьские дни, обесславившие русское дворянство, терзали его сердце верного дворянина, готового живот свой положить за своего царя, за Помазанника Божия. Грозный призрак масонства, которому Мотовилов приписывал тайное руководящее значение во всех наступивших в Европе и России смутах³⁸, стоял перед его умственным взором с пламенеющим мечом отмщения за грехи вольнодумного общества, за главный его грех отступления от правой веры в Бога. Верное сердце трепетало за будущность родины.

Старец разделял его опасения и, одаренный великим даром изумительного прозрения, указывал ему те пути скорби, которые угрожают России, если она не покается в грехе надвигающегося отступления от Православия.

События грядущего раскрывались старцем Мотовилову с ясностью панорамы, развертывающейся перед глазами изумленного сотаинника Серафима.

События Севастопольской войны, времена эмансипации, скорби Православной Церкви, даже время открытия своих мощей, которое наступит в царствование Императора Николая, «в душе христианина» – по выражению преподобного – все это море пророческого прозрения вдаль еще зарождающихся времен и событий захватывало дух и вело Мотовилова к предначеченной ему цели служения Богу на том поприще, которое должно было быть ему указано преподобным Серафимом. Проявления силы и благодати Божественного Промысла, действовавшего на глазах Мотовилова в преподобном с таким явным и несокрушимым могуществом, постепенно создавали в Мотовилове стойкость и пламенность

веры такой, которой не могли противостоять уже никакие сопротивные силы.

Для Николая Александровича наступало время исполнения третьего его сна, признанного преподобным Серафимом за сон пророческий. Назревало время борьбы за Православие, за Дивеев – дом Пресвятой Богородицы, за заветы батюшки отца Серафима. Наступало время страстного обличения, время подвига, тяжких испытаний, великих откровений, разрыва с победоносным миром и нестерпимой тяготы заушений, оплеваний – всей той муки сердечной, крест которой твердо и бестрепетною рукой был донесен Мотовиловым до своего праведного конца.

XVI

Разрушилось последнее звено, связывавшее Мотовилова с прежнею его жизнью. Свойственная всякому человеку на первых ступенях веры немощь коснулась и Мотовилова. Так была сильна его любовь к Языковой, что, вопреки предсказанию преподобного, он решился сделать ей предложение и получил отказ. Это было в мае 1832 года. Языкову уже просватали за известного богослова, философа и поэта Хомякова.

Наказание Божие не замедлило постигнуть за неверие: Мотовилов тяжело заболел – у него вновь отнялись ноги.

В таком положении его привезли 3 сентября 1832 года в Саров. Об этом он пишет так:

«Когда в мае месяце 1832 года поразила меня тяжкая душевная скорбь, то я снова подвергся болезни и отнятию по-прежнему ног. Страдавши в течение четырех месяцев, услышал я об открытии в Воронеже св. мощей святителя Митрофана и о святости жизни тамошнего епископа Воронежского, Антония, почему и пожелал я ехать туда и пожить по совету родных. Ближе на 200 верст было бы ехать через Пензу из Симбирского имения, но, помня великие милости Господни, через великого старца Серафима явленные мне, велел я везти себя через Саровскую пустынь в Воронеж. Хотел прежде всего ему первому заявить о моем втором бедствии, что и сделал я, приехав 3 сентября 1832 года в Саров. Когда же меня принесли

к нему, то он отечески принял во мне участие и, несколько побеседовав со мною, сказал:

– Помолимся Господу, чтоб Он возвестил нам: мне ли по-прежнему исцелить вас или отпустить в Воронеж.

И когда на другой день я опять был принесен к нему, то он сказал мне:

– Не по Бозе сказал я, убогий Серафим, вашему Боголюбию, чтобы мне исцелить вас: Господь исцелит вас у мощей святителя Митрофана. Вот, батюшка, Господь и Божия Матерь, в сию ночь явившись мне, убогому, в 17-й или 18-й раз, изволили открыть мне всю жизнь вашу от рождения и до успения. И если бы Сам Господь не вложил персты мои в раны Свои гвоздиные и в Пречистое ребро Свое, копием пронзенное, я бы не поверил, что могут быть на земле такие странные жизни. И вся эта жизнь ваша будет исполнена таких причуд и странностей оттого, что у вас светское так тесно соединено с духовным и духовное со светским, что отделить их нельзя.

– Батюшка! – спросил его Мотовилов. Что значат слова ваши – до успения? Или я скоро умру?

– Нет, ваше Боголюбие, не скоро вы умрете – вам еще надо быть пособником мне во исполнение всесвятой воли Божией. Успение – значит тихая, христианская кончина, которой вас Господь удостоит по истечении дней вашей земной жизни.

– Что же, батюшка, какая же будет моя земная жизнь? – спросил преподобного Мотовилова.

– Этого мне, убогому, не велено открывать вашему Боголюбию. Господь сказать изволил: «Рабам Моим даю все здесь на земле востерпеть, а в жизнь будущего века перевожу их совершенно очищенными от всякия скверны плоти и духа, и хотя Ангел смерти и допускается до разрешения союзов тела их и души, но страдание смерти не прикоснется к их душам. Они умирают, точно как засыпают. Но ты ему не открывай всех обстоятельств его жизни, а только то, что дозволю, ибо если он узнает все и Я буду наказывать за грехи его, то он тогда может Мне сказать: «Господи, за что же Ты меня наказываешь, когда устами раба Твоего, Серафима, Сам же предрек мне, что так-то и так согрешу». А когда вздумаю Я награждать за правду его, им

сделанную, то разве враг-диавол не будет иметь права, дерзнувши, так сказать: «Где эта правда Твоя, Господи, что Ты награждаешь его за ту правду, которую через Серафима Ты же ему Сам возвестил, что он ее непременно совершит; а ведь он верит Серафиму, как Самому Тебе, Господу Богу». Вот почему я, убогий, и открываю вам только то, что уже сказал вам... Так-то, ваше Боголюбие: укоряеми – благословляйте, хулими – утешайтесь, злословими – радуйтесь! Вот наш путь с тобою!.. Претерпевый до конца – той спасется. Грядите с миром в Воронеж – там и исцелитесь!»

Вот тут-то после последней своей беседы с Мотовиловым преподобный и заповедал ему служение Божией Матери в лице Дивеевской обители. Он призвал двух сестер Мельничной общины – Евдокию Ефремовну Аламасовскую, бывшую при явлении Божией Матери в день Благовещения 1831 года (впоследствии – монахиню Евпраксию) и Ирину Семеновну Зеленогорскую, бывшую впоследствии третьей начальницей, чтоб они могли засвидетельствовать другим слова его.

Вложив в руки Мотовилова правые руки сестер и придерживая их своими руками, отец Серафим заповедал, чтоб они не только сами после его смерти обо всем подробно рассказали Николаю Александровичу, что и где и как Божия Матерь заводила через него, но чтобы все сестры ничего от него не скрывали, потому что Божьей Матери угодно, дабы Николай Александрович был назначен питателем обители. Затем преподобный подтвердил, чтобы, по воле Царицы Небесной, Николай Александрович все знал об обители так же подробно, как известно ему самому. Обратясь же к Мотовилову, батюшка приказал ему, чтоб он был в свое время свидетелем всего, что делалось в Дивееве при «убогом Серафиме», и засвидетельствовал, что даже все строение, найденное после смерти Старца, выстроено не самопроизвольно им самим, а по назначению и указанию Царицы Небесной.

– И камешка одного я, убогий Серафим, самопроизвольно у них не поставил! – сказал батюшка, оканчивая свою речь.

«И давши мне заповедь о служении своим мельничным сиротам, – пишет Мотовилов, – батюшка отпустил меня с миром

в Воронеж, куда я и прибыл в 19-й день сентября 1832 года, а потом в ночь на 1 октября, на праздник Покрова Божией Матери, получил я от этой вторичной болезни совершенное и скорое исцеление молитвами Антония, епископа Воронежского и Задонского».

XVII

Это было последнее свидание с преподобным. Воля Божия была объявлена, и с этого момента прежний Мотовилов умер для жизни колебаний и сомнений. Родился «непоколебимый в вере служка Божией Матери и Серафимов».

Но высокое это и чрезвычайное звание, недоступное для простого смертного, не могло быть дано человеку без особых испытаний. Обилие чудес и знамений, свидетелем которых был Мотовилов, общение с великим светочем Православия, общение близкое, по существу, к сотаинничеству, вся та глубина великой тайны спасения, заключенная в благодати Божией, которая ему была открыта преподобным, величие, наконец, возложенной на него преподобным Серафимом миссии, – все это не могло не вызвать и величайших искушений со стороны исконного врага человеческого рода.

Дни Серафимовы близились к закату. Завет, данный преподобным Мотовилову, уже указывал на то, что и счет этим дням был известен великому старцу, и старец, зная угрозы будущего, нависшие над головой своего служки, отправляя его в Воронеж, как бы передал его с рук на руки другому великому воину Христовой рати. Этот воин был еще при жизни прославленный святостью жизни и чудесами архиепископ Воронежский и Задонский Антоний I Смирницкий.

В лице Антония Мотовилов нашел себе другого благодатного покровителя и заступника против той сатанинской силы, которая втайне уже против него ополчилась, чтобы помешать ему исполнить ту великую задачу попечения о Дивееве, которую возложил на него преподобный Серафим.

Божиим произволением Николай Александрович был задержан в Воронеже после своего исцеления. В покоях архиепископа, принявшего в нем сердечное участие и.

полюбившего его, он занялся собиранием материалов для составления жития и описания чудес святителя Митрофана. Из одной атмосферы истинной святости Господь перенес его в другую, исполненную благоухания Святого Духа Божиего.

Святитель Антоний ожидает исполнения времени, назначенного Богом, чтобы светом святости своей еще более просветить славу Воронежского края, уже сияющую в лице двух великих угодников Божиих, святителей Тихона и Митрофана.

К концу декабря 1832 года сердце Мотовилова, до того времени спокойное, стало тревожно. Святитель Антоний заметил это и спросил его, что с ним?

– Хочу ехать к батюшке Серафиму!– ответил Мотовилов. Боюсь не застать его в живых, если промедлю.

Оставалось всего несколько дней до кончины преподобного.

Духом своим провидя бесплодность поездки, зная, что Мотовилов уже не застанет батюшки Серафима в живых, и опасаясь потрясения еще не вполне его окрепшего организма, святитель удержал его у себя до времени.

Утром 2 января 1833 года, в день праведной кончины преподобного, в ранний час, Мотовилов, томимый предчувствием, вбежал к Антонию в его внутренние покои. Святитель не дал ему слова выговорить и встретил его такими словами:

– Сегодня ночью около двух часов я видел старца, похожего на Вассиана³⁹. Старец этот пришел ко мне в великой славе, но лицо его было скорбно, и слезы текли по его ланитам.

– О чем ты, великий старец, так горько плачешь?– спросил я его. В такой ты славе – тебе бы только радоваться, а ты плачешь!

– Не о себе плачу я, – душа моя наслаждается радостью невыразимую; но есть у тебя здесь одна помещица, – ее-то я оставил сегодня, – и о ней-то так скорбит и плачет душа моя!

– Владыко! Вы мне не говорите, вы жалеете меня: не Вассиан к вам являлся сегодня ночью – это Серафим был у вас! Это он, это душа его являлась к вам сегодня: помещица – это

душа моя грешная, – о ней плачет мой батюшка, отходя ко Господу. Скажите, владыко, – умер Серафим?

– Да, – отвечал святитель, – батюшка Серафим сегодня ночью умер. Его уже теперь не застанете!

– Ах, владыко, владыко! Зачем же вы меня удерживали, когда я так хотел туда ехать?..

– Вы бы его все равно не застали в живых: в три дня не доедешь от Воронежа до Сарова. Смиритесь – Богу так угодно!

– Владыко! Я сейчас еду.

– Ну, поезжайте с Господом.

В тот же день высокопреосвященный соборне отслужил по почившем панихиду, а 4 января Мотовилов выехал из Воронежа и 11-го прибыл в Саровскую пустынь, через два дня после погребения о. Серафима.

XVIII

Велика была скорбь Мотовилова, когда, по приезде в Саров, он увидел только свеженасыпанную могилу, скрывшую от него навеки того, кого он на земле больше всего любил, с тех пор как убедился, что не для него расточаются светом утехи радости и земной славы.

Неутешная его скорбь тронула суровых монахов Саровских и «в большое утешение великой скорби моей, – пишет Мотовилов, – что я не удостоился поспеть к погребению отца Серафима, игумен Нифонт благословил меня тем самым Евангелием, которое во вседневном употреблении у великого старца Серафима было в течение трех с половиною последних лет его жизни, имеющее сзади на переплете обгоревшее немного место в день его кончины; также образом Божией Матери Жизнодательницы, небольшим на кипарисе, тем самым, которым его благословила родительница его при дозволении навсегда остаться в Сарове. Мне отдали еще ту самую книжку – Алфавит духовный, с недостающими с начала несколькими листами, по которой он сам, великий старец Серафим, учился духовной жизни, и из двух крестов, всегда бывших на нем, – маленький крест, вырезанный его руками и обложенный серебром того старинного серебряного рубля, который дала ему

его матушка, отпуская его в Киев на богомолье и который был на нем».

Мотовилов тогда же купил дальнюю пустыньку отца Серафима и вместе с ближнею, уступленною Саровом Дивееву, перевез ее к сиротам батюшки.

Это были первые шаги Николая Александровича на пути пожизненного послушания, наложенного на него старцем. При его посредстве большая часть святыни, оставшейся после преподобного, была передана в собственность неутешных дивеевских сестер.

Но с этих первых шагов его на поприще служения Дивееву начались на него и нападения вражды. Сила этих нападений была так велика, что, не имея мы свидетельства об искушениях такого рода в житиях святых угодников, казалось, трудно было бы поверить, что такая сила предоставлена Богом врагу нашего спасения.

Создавался последний на земле оплот веры, последний Дом Богородицы, до которого в последние времена не посмеет коснуться рука антихриста. Как же было не восстать врагу нашего спасения?

И с какою яростью произошло это восстание!

XIX

Составитель Летописи Серафимо-Дивеевского женского монастыря, вдохновенный отец архимандрит Серафим (Чичагов)⁴⁰ вскользь коснулся этого страшного момента жизни Мотовилова. Он пишет так:

«Николай Александрович Мотовилов, человек горячего и искреннего сердца, был в то время холост и, дабы действительно послужить памяти отца Серафима и исполнить его заповедь относительно Дивеева, решился сам поехать на родину великого старца в Курск, собрать сведения о детстве и юношестве его, а также посетить Киево-Фроловский монастырь и расспросить о монашествовавшей в нем Агафии Семеновне Мельгуновой, основательнице Казанско-Дивеевской общинки... Мотовилов все добытые сведения о родителях отца Серафима в г. Курске и о самом великом старце передал по возвращении

из путешествия Ивану Тихонову⁴¹, который и пользовался этим при издании сказаний о подвигах отца Серафима».

«Зато эта поездка, – пишет отец Чичагов, – имела весьма дурные последствия для самого Николая Александровича: он беспричинно заболел сильным нервным и душевным расстройством. Так как лекарственные средства не помогали ему, то Николай Александрович поехал опять в Воронеж к архиепископу Антонию, который признал, что болезнь произошла по попущению Божию от врага, излившего на него свою месть за труд, послуживший к прославлению великого угодника Божия, отца Серафима. В продолжение нескольких месяцев он излечился совершенно, будучи часто причащаем Христовых Таин святителем Воронежским Антонием».

В действительности же это вражье нападение было несравненно страшнее и длительнее. Я опишу его с рукописи Мотовилова, у меня хранящейся и найденной среди такогохлама старых хозяйственных счетов, что можно было ее легко не заметить, как, вероятно, и не заметил ее отец архимандрит.

Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом коснулся разговор о вражых нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в реальности явлений этой человеконенавистнической силы. Тогда преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение 1001 ночи и 1001 дня с бесами и силой своего слова, авторитетом его святости, в котором не могло быть и тени лжи или преувеличения, убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках или мечтаниях, а в самой настоящей горькой действительности.

Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что от души воскликнул:

– Батюшка! Как бы я хотел побороться с бесами!..

Батюшка Серафим испуганно перебил его:

– Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не знаете, что говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними!

– А разве, батюшка, у бесов есть когти?

Эх, ваше Боголюбие, ваше Боголюбие, и чему только вас в университете учат?! Не знаете, что у бесов когтей нет. Изображают их с копытами, когтями, рогами, хвостами, потому что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление Божественной благодати из ангелов света, какими они были до отпадения, соделало их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием, а подобие нужно – вот их и изображают черными и безобразными. Но, будучи сотворены с силой и свойствами ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что, как и сказал я вам, малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю. Одна Божественная благодать Всесвятого Духа, туне даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражи!

Жутко стало тогда Мотовилкову. Тогда под защитой преподобного он мог не бояться злобы сатанинской. Но легкомысленно-дерзкий вызов, по попущению Божию, не остался без последствий: он был принят.

Вот о том-то и плакала душа преподобного, когда явилась в час своего разлучения с телом великому архиепископу.

XX

По кончине преподобного Серафима, Мотовилов вскоре уехал в Воронеж просить благословения высокопреосвященного Антония на поездку в Курск, чтобы собрать сведения о родителях своего благодетеля и о жизни его в Курске и тем положить основание трудам своим по составлению его жития. Одновременно с этим трудом он, по поручению владыки, должен был заняться составлением службы и акафиста святителю Митрофану.

Решивши посвятить себя делу служения Божией Матери и преподобному Серафиму, Мотовилов не мог скинуть со своей души тяготения к светской жизни и семейным радостям: он

помнил предсказание отца Серафима о предназначенной ему невесте и об ее красоте и, не зная ее, ожидал ее. Но, не разрывая с миром и все-таки идя по пути духовного совершенствования, он не мог обойтись без духовного руководителя.

Серафима заменил Антоний. Не изменив своей вере в своего батюшку, он отдался руководительству другого святого подвижника.

На поездку Мотовилова в Курск высокопреосвященный не сразу согласился и долго отговаривал его ехать, просил повременить и заняться лучше разбором рукописных и иных сведений о житии и чудесах святителя Митрофана, нужных для составления ему службы. Владыка прозревал страшную беду, грозящую Мотовилу во время этой поездки и хотел отдалить ее от Николая Александровича. Но пылкий и скорый на решения служка Серафимов и слышать не хотел об отсрочке своей поездки и медлил только, ожидая, что владыка смирится и отпустит, видя его нетерпение.

Пришел, видно, час воли Божией, и владыка наконец благословил поездку в Курск нетерпеливого Николая Александровича, но благословил как-то нехотя, с тугой сердечной.

XXI

Немного удалось собрать Мотовилу сведений в Курске. Близкие родные, помнившие детство и юность преподобного, кто перемер, кто отошел забвением. Даже дом, в котором родился и воспитывался преподобный, был разрушен, и на месте его выросли новые постройки. Нашелся один старик, сверстник батюшки, который и дал ему сведения, вошедшие теперь во все издания жития преподобного. Поездка в Курск и пребывание в нем были вполне благополучные. Гроза ждала на возвратном пути в Воронеж.

На одной из почтовых станций по дороге из Курска Мотовилу пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи и стал их разбирать при тусклом свете одинокой свечи, еле

освещавшей просторную комнату. Одною из первых ему попала записка об исцелении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной, у раки святителя Митрофана Воронежского.

«Я задумался, – пишет Мотовилов, – как это может случиться, что православная христианка, приобщающаяся Пречистых и Животворящих Таин Господних, и вдруг одержима бесом, и притом такое продолжительное время, как тридцать с лишним лет. И подумал я: «Вздор! этого быть не может! Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к Таинству Святого Причащения!..» И в это самое мгновение страшное, холодное, зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста.

Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада вползающего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на все его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамени, застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно-ужасное совершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. В этих страданиях он вернулся в Воронеж к Антонию. Рукопись его дает такое описание мук:

«Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении три геенские муки. Первая – огня неслетимого и неугасимого ничем более, как лишь одною благодатию Духа Святаго. Продолжались эти муки в течение трех суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 раз в сутки снимали эту геенскую сажу, что было видимо для всех. Престали эти муки лишь после исповеди и Причащения Святых Таин Господних молитвами архиепископа Антония и заказанными им по всем 47 церквям воронежским и по всем монастырям заздравными за болящего болярина раба Божия Николая ектениями.

Вторая мука в течение двух суток – тартара лютого геенского, так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства я с полчаса держал руку над свечою, и она вся закоптела донельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удостоверительный я записал на

целом листе и к тому описанию рукою моею и на ней свечною сажей мою руку приложил. Но обе эти муки Причащением давали хоть мне возможность пить и есть, и спать немного я мог при них, и видимы они были всем.

Но третья мука геенская, хотя на полсуток еще уменьшилась, ибо продолжалась только полтора суток и едва ли более, но зато велик был ужас и страдание от неопишуемого и непостижимого. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже от исповеди и Причащения Святых Таин Господних. В этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня оными. Эта мука была – червя неусыпаемого геенского, и червь этот никому более, кроме меня самого и высокопреосвященнейшего Антония, не был виден; но я при этом не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего, потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность и, выползая через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо недаром подалось мне это свыше от Господа видение, да и не возможен кто подумать, что я дерзаю всуе Имя Господне призывать. Нет! В день Страшного Суда Господня Сам Он Бог, Помощник и Покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него, Господа, и на Его Божественного Промысла деяние, во мне Им совершенное».

Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания Мотовилов имел видение своего покровителя, преподобного Серафима, который утешил страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить.

Только через тридцать с лишком лет совершилось это событие, и Мотовилов его дождался, дождался и исцеления по великой своей вере.

XXII

Адские, в буквальном смысле этого слова, муки Мотовилова, в облегчении которых принимал такое деятельное участие свят муж архиепископ Антоний; приблизили его окончательно к высокопреосвященному. Антоний полюбил его истинно отеческою любовью.

Эта любовь, эта интимность общения, которыми дарили Мотовилова два великих светильника Русской Православной Церкви – Серафим и Антоний, из которых один уже стал молитвенно признаваемым преподобным, – одно это служит неопровержимым доказательством, что в Мотовилове Россия утратила необыкновенного по духовной силе человека, не только не использовав этой силы, но в досталь при жизни его наглумившись над многострадальным ее обладателем. А силы эти были заключены в непоколебимой, пламенной вере чисто исповеднического характера и огненной любви к Престолу и Родине.

Богатырский организм Мотовилова горел и на медленном огне сгорал от пожиравшего его пламени, зажженного сердцем, негодующим на видимое ему отступничество руководителей России от праведной веры отцов и от преданности Престолу. Его не могло утешить пророчество, что «сему надлежит быть», он грудью стал против всего «сего», всем своим богатырским телом он лежал на пороге той открытой двери, через которую ломилась в Россию вся та вражья рать, которую несмысленные современники принимали за ангелов света, несших им будто бы великие идеи – свободы, равенства и братства, в действительности же – горе, смерть и разрушение.

Как было не признать тогда им, оболыщенным вражьими видениями, в человеке, удостоенном величайших откровений, того «сумасшедшего», которым они его ославили.

Теперь Серафимова святость – ему защита. Но в то время ему суждено было испить чашу горечи до дна, и он ее бестрепетно выпил, ни разу не поступившись ни верой своею, ни убеждениями.

Сердце обливается кровью, когда видишь в разрозненных бумагах его то там, то сям душу терзающие восклицания:

«Христианин есмь! Слышите ли вы все?.. Аз христианин есмь!»...

Так восклицали только мученики первой зари христианства в ответ на подобные и жестокие крики торжествующего язычества: «Christianos ad leones!» – «Христиан – ко львам!»

Велика же была эта мука человеческая, что бумаге одной поверялась в таких криках душевного терзания! Воздадут они за Мотовилова в страшный день судный!..

Близость к Антонию, общение с ним в духе, враждебно настроенный к исповеднику мир заставляли Мотовилова все свободное от хозяйственных забот и хлопот о быстро развивающемся Дивееве⁴² время отдавать высокопреосвященному. Шестьсот верст от Симбирского его имения, Цыльны, до Воронежа не были для него препятствием, да и вообще его душа не признавала никаких препятствий в исповедании своей любви и веры.

XXIII

Однажды, в конце шестой недели Великого поста, Мотовилов был в Сарове у игумена Нифонта. Приближалась ни ранняя, ни поздняя Пасха. На дворе стояло в разгаре весеннее распустье, но вода еще в реках и озерах не трогалась. Чего-то добившись для Дивеева от игумена (тогда Саров принимал еще материальное участие в его судьбах), Мотовилов на радостях с места собрался в Воронеж к Антонию встречать Пасху.

– Безумие! Куда едешь в такую непогоду? Ведь тебя зальет по дороге водой!– воскликнул ужаснувшийся игумен, добро расположенный к Николаю Александровичу.

– Меня Антоний будет ждать. А лошади-то у меня вы сами знаете – какие⁴³, – объявил Мотовилов, и тут же велел запрягать, и уехал в Воронеж.

Мотовиловские кони не выдали, и в Великую Субботу часам к двум или трем дня он уже был верстах в сорока или пятидесяти от Воронежа, в селе Княж-Байгора. Для сокращения пути ему надо было переезжать ниже прудовой плотины. Вешняя вода уже ломала лед и напирала на плотину. Крестьяне отговаривали переезжать по этому месту, утверждая, что

плотину сейчас спустят, и советовали ехать в объезд. Ехать в объезд – значило опоздать к заутрени...

– Чего раздумывать! С Богом, пошел под плотинкой! – крикнул Мотовилов. Да пошел скорей!

Кони рванулись и стрелой помчались к другому берегу.

Не успели сани долететь до половины опасного пути, как спустили воду, и вода отвесною стеной сажени в три вышиной налетела на Мотовилова и покрыла его, кучера и тройку; Мотовилов успел только крикнуть:

– Святитель Митрофан, спасай!

И больше уже ничего не помнил.

Очнулся он уже на другом берегу. Взмыленная тройка тяжело косила боками, с которых ручьем текла вода. Кучер весь мокрый стоял около саней и расталкивал потерявшего сознание барина. Сани были полны воды.

Опрокинули сани, отлили воду, обтерли чемодан и опять:

– Пошел скорее – к заутрени опоздаем!

Но к заутрени Мотовилов не опоздал. Обмерзлый и обледенелый, он входил в покои архиепископа как раз в тот момент, когда владыка уже шел в церковь.

Владыка его встретил словами:

– Святитель Митрофан мне возвестил чудесное спасение ваше, и что вы прибудете к нашей заутрени. Переодевайтесь скорее и идем вместе воздать хвалу Господу Богу за избавление ваше от наглой смерти!

Чемодан с вещами Мотовилова оказался внутри сухим.

XXIV

Эта заутреня памятна осталась Мотовилову. За Литургией, которую служил архиепископ Антоний, он с умилением и ужасом видел его окруженным светом немерцающего сияния, и, когда владыка выходил из алтаря благословлять народ и произносить молитву о вышнем благословении насажденного Господнею Десницей Его винограда, видел из уст Антония исходящий пламень в виде огненного языка, устремляющегося на служащих и на молящихся и окутывающего каждого из них своим неизреченным светом. Но не все достаивались

прикосновения этого дивного пламени: некоторые, до которых пламень касался, светлели и начинали сиять тем же светом, что и владыка; других этот Божественный пламень обходил, и они чернели, как уголь. В числе сослужащих был один протоиерей – его Мотовилов видел как бы всего опоясанным, как свивальниками, черными полосами. «Вид его, – пишет Мотовилов, – был как зебра, и впоследствии вскоре этот протоиерей был изобличен в каких-то дурных деяниях и извергнут из сана».

«На небе был я или на земле в эту Божественную службу – того я не знаю, – Бог знает», – вспоминает в великом восхищении Божий раб, Николай Александрович.

Во время богослужения архиепископ Антоний раза два проникновенно взглядывал на Мотовилова, и милостивый его взор точно вопрошал его:

«Видишь ли ты явления Божественной благодати, подаваемые истинно верным?»

И взор Мотовилова отвечал:

«Вижу, устрашаюсь и в велием благоговении безмерно радуюсь!»

Кто же мог верить в то время свидетельствам Мотовилова?! Надвигалось преддверие шестидесятых годов: дух материализма уже зрел в воздухе – для него подвижников не существовало, и Мотовилов для него был или лжец, или сумасшедший. Но лжеца все же надо было опровергать, а сумасшедшего стоило ли?

После этой службы на Светлое Христово Воскресение оба сотаинника – великий архиерей и мирянин Мотовилов – две ночи не спали, проведя их в духовной беседе о совершившемся и о других тайнах дивного о грешных людях Божественного смотрения.

Куда девались записки об этих полных благодати ночах, мне неизвестно. В ворохе бумаг, доставшихся мне для рассмотрения, я этих записок не нашел. А они должны были быть...

XXV

Настало, наконец, время исполнения пророчеств преподобного Серафима о сочетании браком Николая Александровича с предначерченной ему от Бога невестой. В хлопотах о Дивеевском монастыре, часто его посещая, он в одну из своих поездок заболел и вынужден был около года пролежать в своем доме в селе Дивееве, вблизи монастыря. За эту болезнь он узнал свою невесту. Это была, как уже мы выше говорили, племянница двух великих духом дивеевских монахинь, Марии Семеновны и Прасковьи Семеновны Милюковых, в то время семнадцатилетняя красавица, Елена Ивановна. Она жила в монастыре, носила «черненькое», но обетов послушания и монашества не принимала.

Как произошло это сближение, мне неизвестно, да я и не допытывался узнавать, несмотря на то, что имел возможность в беседах с Еленой Ивановной расспросить ее об этом: любовь – цветок нежный, касаться его может только близкая и тоже нежная рука; тем более нежен засушенный цветок пережитой старой любви, – как легко неосторожным движением осыпать его поблекшие лепестки!..

Но не трудно догадаться, на какой почве произошло это сближение: любовь к Серафиму, любовь к Дивееву – эти два чувства соединили в одну супружескую любовь сердца Николая Александровича и Елены Ивановны, и свадьба их состоялась в 1840 году при обстоятельствах, во всем согласных с предсказанием преподобного Серафима.

Желание Мотовилова исполнилось – Елена Ивановна была в полном смысле слова «как монастырка воспитана».

Эта свадьба еще более прикрепила Мотовилова к Дивееву: воспоминания детства и вся родня Елены Ивановны остались в этом дивном приюте Царицы Небесной, и он стал еще милее, еще ближе сердцу Николая Александровича.

Но мир не простил ему этой свадьбы, как не прощал ему ничего в его жизни: Николай Александрович с Дивеевым и нарождающейся семьей остался совершенно одинок на белом свете.

Так Серафим с отеческою любовью искоренял в нем все светское, жалостливо, но неуклонно ведя его к одному

духовному.

А миру было над чем посудачить и было чем по поводу этой свадьбы оттолкнуть от себя Мотовилова. Зато в лице жены он нашел себе полноту радости жизни, – это была ему «истинная и по праотцу Адаму, и по Господе Иисусе Христе сестра».

XXVI

После свадьбы молодые переселились на постоянное пребывание в Цыльну, симбирское имение Мотовилова.

Душевная болезнь, как теперь принято называть тяжкий недуг, которым страдал Николай Александрович, ни в чем не проявлялся, по крайней мере не проявлялся в той мучительной форме, которою он страдал в Воронеже. Только какая-то неотступная тоска грызла его по временам, всякий приступ которой облегчался Святыми Тайнами и благочестивыми поездками в дальние и ближние монастыри – в Киев, Воронеж, Задонск, Саров и Дивеев. Это были излюбленные места его усердных паломничеств. Но и другие святые места Святой Руси привлекали его боголюбивую душу. Недаром преподобный Серафим его называл «ваше Боголюбие». Где только не пребывал за свою христианскую жизнь, кого только не перевидал этот горевший верою человек!.. Второй его благодетель, Антоний Воронежский, мирно почил о Господе. Но, сирота в миру, Мотовилов не оставался сирым в мире духовного совершенствования: в тесном общении он жил, можно сказать, со всеми истинными столпами Православия того времени.

Не на высотах иерархии искал он их, а в пустынях, вертепах и пропастях земных. Там, в сокровенной, таинственной тишине, незримой враждебному миру, во внутренней пустыне монастырской огады, находил он тех безвестных тружеников великого христианского духа, которых весь мир недостоин и которыми еще и доселе сияют мало кому видимые, скромные насельники и насельницы православных русских монастырей.

В свободное от разъездов по делам Дивеева или по богомольям время Мотовилов отдавался воспоминаниям о

Серафиме: и если в настоящее время могло быть так подробно и тщательно составлено житие преподобного, то этим Православие более всего обязано Николаю Александровичу. Служа Дивееву, он не уставал служить и Серафиму.

В таинственной глубине века между тем зарождались тяжелые для России события – приближалась Севастопольская война.

Мотовилов по-своему отнесся к народному бедствию: кто хотел и кто не хотел слушать, он всем говорил, что настало время покаяния, что «фиал гнева Господня» готов излиться на Россию за измену всем отечественным устоям и, главным образом, за измену Православию. На него смотрели как на безумного и в глаза и за глаза высмеивали и, как могли, оскорбляли.

При первом выстреле, направленном на севастопольские бастионы с вражеских кораблей, он послал Государю, для отправки в Севастополь, копию иконы Божией Матери «Радости всех радостей», перед которою всю жизнь молился и в молитвенном подвиге скончался преподобный Серафим, и в горьком предчувствии ждал гнева Божьего.

События доказали, что Мотовилов не ошибался.

В записках Мотовилова мне пришлось найти чрезвычайно интересный эпизод из эпохи Севастопольской обороны, оставшийся совершенно неизвестным. Дух времени пытался утаить его от служащего ему рабски мира.

Умер великий Государь Николаи Павлович.

Севастопольская война уже кончилась. Настали великие дни коронации Императора Александра II. Мотовилов был в числе других дворян выбран в депутацию от нижегородского дворянства на коронационные дни в Москву. На одном из вечеров у князя Ивана Феодоровича Звенигородского ему довелось встретиться с одним из героев Севастопольской обороны, адмиралом Петром Ивановичем Кислинским. Мотовилов не преминул поинтересоваться, что случилось с посланною им покойному Государю иконой и была ли она доставлена в Севастополь. Кислинский ему ответил:

– Икона Божией Матери была от Государя прислана, но наш светлейший⁴⁴ на нее не обратил никакого внимания, и она долгое время хранилась в каком-то чулане, пока сам Государь не запросил, куда она помещена. Тогда ее разыскали и поставили на Северную сторону, и только Северная сторона, как вам известно, и не была взята неприятелем. Да чему вы удивляетесь? У нас еще и не такие дела дельвались... Как-то раз я был у светлейшего, и мы с ним засели играть в шахматы. Вдруг входит адъютант и докладывает, что явился гонец от архиепископа Херсонского Иннокентия и хочет видеть главнокомандующего. Не отрываясь от игры, светлейший сказал:

– Спросите у него, что ему нужно?

– Гонец сказал, что ему нужно лично видеть вашу светлость!

– Ну, зовите!

Вошел гонец.

– Что тебе нужно?– спросил главнокомандующий.

Владыка прислал меня доложить вашей светлости, что он прибыл к Севастополю с чудотворною иконой Кашперовской Божией Матери и велел просить встретить ее, как подобает, у врат Севастопольских. Владыка велел сказать: се Царица Небесная грядет спасти Севастополь.

– Что, что? Как ты сказал? Повтори!

– Се Царица Небесная грядет спасти Севастополь!

– А! Так передай архиепископу, что он напрасно беспокоил Царицу Небесную – мы и без Нее обойдемся!

Так закончил светлейший свой разговор с гонцом архиепископа. А дальше вот что было: ответ этот был передан Иннокентию во всей тяжести его грубой и кощунственной формы.

Тогда владыка решил: «Нас не принимают, так мы сами пойдем!» – и велел везти святую икону впереди себя на бастионы.

Вдруг ему объявляют, что икона нейдет, что лошади стали. «Понесем тогда», – сказал владыка. Но икона не дала себя нести дальше Северной стороны. Ее нельзя было сдвинуть с

места. Видя это чудо, отслужили Царице Небесной молебен на Северной стороне, и владыка увез икону обратно.

Каково это было слышать пылкому сердцем Мотовилову!⁴⁵

XXVII

Пришли наконец и шестидесятые годы. Состоялось долгожданное православно верующею Россией торжество открытия св. мощей святителя Тихона Задонского.

В день открытия, за Литургией, Мотовилов стоял в алтаре, молился и горько плакал о том, что Господь ему не посылает того исцеления, которого, по обещанию преподобного Серафима, ждала его измученная душа. Во время пения Херувимской он взглянул на горнее место и увидел на нем святителя Тихона. Святитель благословил плачущего Мотовилова и стал невидим.

Мотовилов сразу почувствовал себя исцеленным.

Кто опишет радость исполнившейся веры?!

С этого момента Мотовилов уже не принадлежал себе, а отдал всего себя на служение Богу. Сменявшиеся на его глазах события внутренней русской жизни хоть и огорчали его, хоть все по-прежнему он ненавидел ото всей своей души возмущавший его дух времени, которого он никогда иначе не называл, как «духом антихриста, близ грядущего в мир», но миру уже он почти перестал досаждать своими обличениями и пророчествами. Только один раз не вытерпело горячее мотовиловское сердце.

Справляли «лучшие люди» открытие новых тогда земских учреждений, конечно, справляли, как водится, пышным обедом. Мотовилов был на этом обеде. Слушал он, слушал витиеватые речи только что народившихся ораторов губернских парламентов да вдруг как вскочит с бокалом в руке:

– Высоко поднимаю я свой бокал за скорейшую гибель того учреждения, которого основание вы так торжественно празднуете. Не погибнет оно, так погубит оно Россию. Высоко поднимаю я бокал, чтобы мельче разбить его оземь, чтобы не мог никто сказать – я пил из мотовиловского бокала за гибель России!

Разбил бокал и ушел с праздничного обеда.

Так завершилась вся политическая карьера последнего из могокан старого дворянского русского духа.

XXVIII

Последние годы своей жизни Мотовилов окончательно предался странничеству.

По всему простору Руси великой видели его красную шубку. Так и звали его «барин в красной шубке». От Тихона к Митрофану, от Серафима к канавке Царицы Небесной в Дивеев, от Антония и Феодосия к Александру Невскому – по всем святым местам, с жаждой, неутолимою жаждой святыни, переходил и переезжал этот служка Божией Матери и Серафимов.

С годами то, что люди называли в нем странностями, увеличивалось все более и более. По Дивееву, который он любил до самозабвения, во всякую погоду – в мороз ли, в дождь, в солнцепек – всегда ходил он с непокрытой головой, считая священным долгом хоть раз в сутки обойти всю канавку Царицы Небесной. Когда случалась гололедица и ходить по довольно высокому валу этой канавки было невозможно, он становился на четвереньки и так на четвереньках и шел по этому святому для него месту, по которому, как говорил преподобный Серафим, прошли Стопочки Самой Царицы Небесной.

Одни над ним смеялись, и таких было много, чересчур даже много; ну а были и такие, которые умиленно плакали. Кто как понимал, конечно.

Христа ради юродивая, дивеевская блаженная, великая раба Божия, Пелагея Ивановна Серебrenикова, его считала своим и звала его Николкой.

– Безумный ты, Николка! Такой же безумный, как и я! – говаривала ему блаженная. И любила же она его!

В марте или в апреле 1878 года, как-то утром, Мотовилов рассказал Елене Ивановне свой сон:

– Видел я сегодня, матушка, во сне Царицу Небесную. Милостиво Она так на меня взглянула да и говорит мне:

напиши-ка в Задонск к Зосиме⁴⁶, чтоб он выслал тебе точную копию Моей иконы, которая служит запрестольным там образом. Когда ты ее получишь, то Я тебя поведу по таким святым местам, которые ты еще не видал, и покажу тебе таких святых угодников Божиих, о которых ты и не слыхивал.

– Вот, матушка, и думаю я написать наместнику и игумену Задонскому – пусть вышлет мне эту икону.

– Куда ж ты ее денешь? Ведь у нас вся образная увешана иконами!– отвечала ему Елена Ивановна.

– Куда-нибудь да денем!

Так и написал Зосиме. На это письмо Зосима, приятель Николая Александровича, отвечал так:

«Знаю я, что у тебя места в образной уже нет. Образ большой и, прости, выслать тебе его не могу».

«Опечалился тут мой Мотовилов, – рассказывала мне Елена Ивановна. Но не прошло и недели, опять письмо от Зосимы: просит прощения за отказ и пишет, что не успел он отправить письма своего с отказом, как в следующую же ночь увидал во сне Царицу Небесную, с угрозой ему выговаривающую, как он смел не исполнить мотовиловской просьбы. «Икона, – так пишет он, – тебе вышлетя, как только мы ее напишем».

Получили мы икону эту в июле месяце. Место ей нашел-таки мой Мотовилов. Смотрю – начал он класть под икону эту деньги. Завернет в бумажку и положит. Так и день, и другой, и третий. Ну, думаю я, собирается, стало быть, к святым местам, денег набирает. Так прошло времени немало, а он все никуда не едет. Как-то раз вошла я в комнату, где висела эта икона: глядь – на полу валяются те деньги, что он столько времени собирал. Я и кричу ему:

– Николай Александрович, а Николай Александрович! Так будешь собирать деньги, ехать будет ко святым местам не на что!

Пришел он на мой зов, собрал деньги, пересчитал; как будто побледнел немного, но не сказал ничего и спрятал деньги в стол. Прошло после этого немного времени, заболел мой Мотовилов, лег в постель и стал все хиреть и хиреть, – доктора

и болезни никакой определить не могли, – а через девять дней и умер; не умер, а заснул тихо-тихо, как ребенок. В день кончины и Таин Святых причастился. Тут только поняла я, что это были за святые места и Божии угодники, которых обещала ему показать Царица Небесная.

За три дня до смерти застала я его утром такого веселого, такого радостного.

– Видел я, – говорит, – наш двор полон – все мои святые благодетели у нас на дворе собрались. Вот радость-то!

А на третий день скончался. Похоронили мы его в Дивееве, и, кажется мне, сколько собрал Мотовилов мой денег под образом, столько и стоили мне его похороны».

Такой рассказ я слышал от Елены Ивановны.

А вот что я слышал от келейницы покойной дивеевской игумении Марии, матери Елизаветы: «Николай Александрович, уезжая перед своей смертью в Симбирскую губернию в свое имение, был совершенно здоров. Прощаясь с нами, сказал: «Ну, прощайте, матери! Бог даст, хоть бочком, да протащите меня к себе». Мы в этих словах усмотрели, что Николай Александрович говорит о жизни будущего века, про уготованные Богом Дивееву обители. А вышло, что он свою смерть предрекал. Привезли его хоронить к нам, по его завещанию. Хотели внести в наш Рождественский храм, а гроб-то был большой и не мог войти в двери храма – они ведь у нас, знаете, узкие, – и пришлось внести «бочком»; так бочком и протащили».

Кончина Мотовилова случилась 14 января 1879 года. К этому времени в Дивееве ждали икону Нерукотворенного Спаса, которую должен был прислать с войны брат одной из дивеевских монахинь. Монахиня эта все бегала к блаженной Пелагее Ивановне узнавать, скоро ли привезут икону. О мотовиловской болезни в Дивееве не знали.

– Вот подожди: сперва Николку привезут, а там и икону, – отвечала блаженная.

Так и вышло. Тело Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и Серафима, привезли для погребения в Дивеев, а за ним привезли и икону.

Так окончилась многострадальная жизнь. Такова история Мотовилова.

Блаженный он был, блаженно и умер.

Кто посмеется над этой историей, а кто, может, и горько задумается.

О, как бы я желал задуматься над этой историей моему читателю!

Письмо Н. А. Мотовилова Императору Николаю I⁴⁷

Всеавгустейший Монарх
Всемиловейший Государь!

Вследствие верноподданнического желания моего иметь счастье всенижайше лично доложить Вашему Императорскому Величеству о словах пророчесственных великого старца Серафима господин министр высочайшего двора Вашего граф Владимир Федорович Адлерберг поручил мне отнестись к графу Алексею Феодоровичу Орлову⁴⁸, а им передано мне, чтобы я, нимало не стесняясь никаким опасением, все, что знаю по сему предмету изложил на бумаге во всем пространстве и полной сущности оного в словах, сколько можно более коротких, и если могу, то не искал бы счастья лично всеподданнейше докладывать о том Вашему Императорскому Величеству. Вот смысл того, в каком виде передана мне Высочайшая воля Ваша, Всемиловейший Великий Государь Император, но как сообразить пространство с краткостью, безопасную нестеснительность устного всеподданейшего доклада с неизбежною осторожностью изложения тех же мыслей на бумаге и наконец, что думать о предложении не искать возможности хотя на одно мгновение насладиться столько желанным для каждого верноподданного Вашего и превозмужденным счастьем видеть пресветлое лицо Высочайшей Особы Вашего Императорского Величества, когда великодушная доступность Ваша, Всеавгустейший Монарх, столь велика, что не скрывает Вас и от самого последнего из Ваших верноподданных. Мне говорят, что смутность современного положения нашего Отечества невольно делается главнейшею причиною того, что едва ли можно будет мне удостоиться величайшего для меня счастья лично видеть Вас, от всего сердца моего нелицемерно любимый мною Монарх. Но неужели две-три, а много четыре минуты достаточны, быть может, на Высокомонаршее благосклонное выслушание слов великого старца Серафима – слов едва ли только лишь не в современном состоянии Отечества нашего и долженствующих

быть приведенными в известность Вашему Императорскому Величеству – так много отнимет времени от великих забот Ваших о непоколебимости державы Вашей, и каким образом слова великого старца могут быть помехою счастью Русской земли, когда они от него-то лишь, ибо Высочайшей Особы Вашей, без коей и счастья на земле Русской быть не может, и относятся только. Да и было ли когда-нибудь на бумаге излагавшееся мною доведено до Всеавгустейшего сведения Вашего хотя одно слово правды моей без того, чтобы оно было или превратно истолковано, или и вовсе предано совершенному умолчанию, в чаянии, что я никогда и никак не сподоблюсь счастья лично видеть Вас, Государь, и обо всем всеподданнейше доложить Вам по сущей справедливости. И не извольте подумать, что я дерзаю так всеподданнейше изъясняться, не имея на то никакого основания. Нет, Ваше Императорское Величество, никто более моего не имеет права неоспоримого на таковой образ мышления, хотя и весьма для меня неотрадный, но тем не менее неотвратно вынужденный из меня неизбежностию.

Чтоб доказать настоящие слова мои, мне следовало бы только хотя в кратких очертаниях да рассказать постепенно все обстоятельства жизни моей, послужившей как основными и сопутствующими, так и завершающими побудительными причинами к тому, но, чтобы действительно не употребить во зло благомилостивейшее Высочайшее внимание Ваше, осмелюсь только привести один пример:

Вашему Императорскому Величеству вероятно известно дело о двух Дивеевских женских общинах – сущность того дела, официально изложенная, имеется в Святейшем Правительствующем Синоде, дело это началось по моей просьбе, но так ли оно официально представлено, как на самом деле все, до него относящееся, было излагается мною на бумаге; вот самый короткий отчет, мой собственный, об истинной и действительной его сущности.

Ярославская помещица, полковница Агафья Симеоновна Мельгунова, урожденная Белокопытова, постриженница Киево-Фроловского женского монастыря, в монахинях Александра,

сподобилась во сне получить от Божией Матери извещение, что не в Киеве должна окончить она жизнь свою, но идти на Север великой России, и там Царица Небесная укажет ей место, где по кончине ее, благоволением Божией Матери, устроится обитель девическая, на которую Она с Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры низведет Свое благословение, равное тем трем святым местам Ея небесным благословением⁴⁹. Монахиня Александра видела второе явление Божией Матери в Нижегородской губернии Ардатовского уезда, в селе Дивееве, на том самом месте, где потом великим старцем Серафимом устроена двухпрестольная церковь Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. Старица Божия после многолетних трудов монашеских, около того места проведенных, наконец за полгода до смерти своей поселилась с тремя при ней сестрами противу сего места, про которое Царица Небесная сказала ей в видении, что оное есть именно то, которое будет принадлежать великой обители, предреченной ей в Фроловском Киево-Печерском монастыре, и умирая, дала заповедь иеродиакону Саровской пустыни Серафиму попещись о благоустроении духовном имеющей некогда по предречению Божией Матери основаться той великой обители.

После кончины ее на месте ее жительства к тем сестрам, к ней пришедшим и после нее оставшимся, собрались другие, и основалась община, содержащая устав и молитвенное правило, одинаковое с правилом Саровской пустыни. Между тем иеродиакон, впоследствии иеромонах Серафим, преуспевая в духовных и монашеских подвигах в пустынножительстве семнадцатилетнем, где сподобился перенести посты – 3-дневный и 7-дневный, двух-, трех-, четырех- и шестинедельный и наконец 72-дневный – и после того борьбу с бесами в течение 1001 дня и 1001 ночи и получил совершенную победу над ними, о чем мне самому из уст в уста передал. И после всего того пятилетним безмолвием в затворе достигши полного, подобно пророку Моисею Боговидцу, благодатного внутреннего и внешнего озарения решился заняться благоустроением помянутой выше общины, бывшей под начальством Ксении Михайловны Миловановой, и желал

научить их простоте жизни и легчайшему приобретению благодати Духа Святого именно тем же способом, коим он из многолетней собственной благодатной опытности научился, но она его мало стала слушаться, говоря, что уже им дан устав строителем Пахомием, начальником Саровской пустыни, и она не согласна на нововведения, чая, что чрез соблюдение и прежнего устава того она и сестры ее спасутся; и великий старец Серафим, ища не своих си, а еже ближнего, оставил их в покое и обратился к прежнему, совершенно отлученному от всякого сообщения с любыми, пустынножительству, но Божия Матерь явилась ему, приказала завести новую и вторую в Дивееве общину в поле возле села того из одних только девиц с условием, чтобы никогда вдовицы в ней не жили, дала этой общине новый и нигде не бывалый, а Ею Самою изобретенный и законоположенный устав, сообщенный устно во время явления Своего великому старцу Серафиму, и в основание новой обители приказала ему самому из саровского леса срубить двухпоставную мельницу и к ней пристраивать в порядке Ею Самою указанном кельи; из прежней же общины взять сестер, поименно Ею Самою указанных, и к ним лишь тех потом присовокуплять, которых Она Сама изволит ему указать, а на месте помянутом выше, где было Ее явление второе монахине Александре, устроить в честь Рождества Сына Ея Господа нашего Иисуса Христа и Ея собственного двухпрестольную церковь, в коей диакониссами для прислуживания алтарю избрать из новейшей общины Ея девической сестер, и самую церковь подчинить ведомству сей девической общины, обещав, что его собственные мощи, равно как и мощи первоначальницы Александры, будут некогда почивать в нижней Рождества Ея церкви – и, другие многие прибавив к тому о сей второй девической Дивеевской общине предречения, повелел, чтобы место усадьбы этой общины обведено было канавою и валом, сделанным трудами сестер общинских – что все великим старцем Серафимом исполнено – и в Дивееве со времени заведения сей новой, Мельничною прозванной, общины стало существовать две, совершенно отдельные друг другу немало не подчиненные хотя и не лишённые, однако же, христианского

общения обители; и из сих-то двух общин по особому явлению Божией Матери, в ночь с 3 сентября ему бывшему, он 4 сентября заповедал мне от лица Самой Божией Матери служить его собственной девической общине и, сложив руки мои с руками двух сестер сей общины, сказал мне: «Как Божия Мать предала мне из рук в руки общину сию, так и я тебе по Ея же повелению передаю служение мое сей Ея великой обители по смерть твою, служи же Царице Небесной во всю жизнь твою и сохраняй в ней все, как сама Божия Мать в ней через меня, убогого Серафима, устроить изволила. А в грядущее лето мы на сих трех грядочках поработаем с тобою». Объявив сестрам всем, что Божия Мать меня назначила им быть питателем во всю жизнь мою, отпустил в Воронеж.

По возвращении откуда узнал я по кончине его, что в Дивееве существуют две общины, а в Куликове, Тамбовской губернии Темниковского уезда, начинается третья, по благословию того же великого старца; и приняв на себя по заповеди его служение его собственной общине, Мельничной девической Дивеевской, а по моему собственному, не без воли впрочем Божией, о чем бы долго было здесь пояснять, и двум другим, я писал к господину обер-прокурору Святейшего Правительствующего Синода графу Николаю Александровичу Протасову от 14 января 1838 года о существовании трех различных общин, поименованных выше, и о различном в пользу их отдельном для каждой пожертвовании земель моих; и наконец, будучи особенным благодатным исцелением в ночь с 1 на 2 июня 1842 года, дарованным мне от тяжкого ушиба во всем теле и вывихе левой ноги и двух ребр в левом боку, удостоверил, что просьба моя от 1 июня того 1842 года справедлива и угодна Богу с приказанием послать ее непременно на имя преосвященного Иоанна, епископа Нижегородского и Арзамасского; я не только послал ее тогда, — а преосвященный немедленно в Святейший Правительствующий Синод, но и после того неоднократно просьбами о соблюдении всех моих условий при пожертвовании земельных, положенных мною и клонившихся лишь только к соблюдению заповеди великого старца Серафима и

непременной воли Самой Божией Матери через него мне сначала, а потом уже и непосредственно чрез последнее, третье, благодатное наделение объявленные, неоднократно настаивал о возвращении обоим общинам Дивеевским их прежней самобытности, а чрез то о непременном навсегда непоруганном, чрез их устроение таковое, воли Божией всесовершенном исполнении, нарушенных несправедливым соединением; и все то не на словах, но на бумаге изъявлял, ссылаясь и на самые законы – в пользу мою говорившие – и делал то не через какое-нибудь низшее и светское место, но чрез Святейший Правительствующий Синод. И чрез столько-то великое место и всех моих вышепомянутых благодержимых и справедливых настаиваниях, единственно лишь только страхом Божиим и любовью к Божьей Матери из меня вынужденных, старался до Высочайшего сведения Вашего, но чем же увенчались все таковые многолетние и неотступные хлопоты мои? Условия мои осмеяны, я сам выставлен хлопотущим, не зная о чем, соединение общин приписано не превратному о существовании их донесению, вынужденному несправедливым о том настоянием одного из членов Святейшего Правительствующего Синода, но Высочайшей воле Вашего Императорского Величества, хотя от Вас, однако же, вся правота настоящего положения дел Дивеевских двух общин совершенно закрыта разнообразными превратными толкованиями воли великого старца Серафима и клеветами на меня; и чрез кого же все то сделано? Через Святейший Правительствующий Синод, а клевета на меня взводимая взведена – через сенатора! Как же после всего того, простите такому вопросу моему, Ваше Императорское Величество, я осмелюсь через письменное изложение на бумаге всеподданнейше доводить до Высочайшего сведения Вашего тайну Божественных предречений о Вас и России Вашей, тогда как и заповедано мне верноподданнически доложить оную лишь только усты к устам.

Если же во мне изволите сомневаться, не изменник ли я какой и не со злым ли умыслом дерзаю утруждать Ваше Императорское Величество, то осмелюсь нижайше представить

Всеавгустейшему вниманию Вашему, Великий Государь, какая кровь переливается в жилах моих с отцовской стороны, мотовиловской. Предки мои – славянские властители, равные в правах нынешних дворян, удостоились участвовать вместе с Гостомыслом в призвании Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение землею Русскою, что хотя известно только мне по семейным нашим преданиям, однако никакому сомнению не подлежит, а с Пожарским и Мининым были тоже двое Мотовиловских. Предки мои при избавлении Москвы и России от поляков и потом при возведении на Всероссийский престол Всеавгустейшего Дома Романовых, из них от Евсевия Семеновича Смирного-Мотовилова, воеводы иркутского или тобольского, по прямой линии происходит прадед мой, надворный советник Михаил Семенович Мотовилов, трудившийся вместе с фельдмаршалом Минихом в свержении Бирона и открывший в Саровской пустыни тот акт, который нужен был Государыне цесаревне Елисавете Петровне при восшествии ее на престол Всероссийский, и во все время почти тысячелетнего дворянства своего в государстве Российском Мотовиловы, служа стольниками и полковниками, сотниками стрелецких полков и воеводами передовых полков и в областных городах, что ныне губернские, ни разу не изменяли ни Богу, ни Государю, ни Отечеству, служа и Тому, и другому, и третьему всегда верою и правдою, а с материнской стороны я осмелюсь, указав на покойного бригадира Николая Алексеевича Дурасова и всех от сестер его происходящих, заключить, что она из одного и того же рода и, в доме его быв воспитана, имела счастье неоднократно пользоваться высоким благоволением и всеавгустейшим вниманием великой бабки Вашей Государыни Императрицы Екатерины Великой, каковым удостоен был и родитель мой, начавший службу свою при высочайшем дворе Ее Величества и только по тяжким болезням своим, и во всю потом жизнь удручавшим его, принужденный выйти в отставку.

Простите безумью моему, Ваше Императорское Величество, если дерзнул помянуть о заслугах предков моих, а сам ничего дельного не удостоился сделать для Вас, Великий Государь, и

еще раз благомилостивейше извольте сделать один вопрос, что если бы и всякому из великих сановников, окружающих престол Ваш, было положено в жизни хотя половина препятствий, коими меня устранили от возможности быть полезным Вашему Императорскому Величеству, то могли ли бы они хотя что-нибудь доброе для Вас сделать? И если им никто не препятствовал в служении Вам, Великий Государь, то за что же такое меня не только 14 лет сряду не пускали на государственную службу, но даже теперь, и во вторичный приезд мой в северную столицу Вашу, предлагают мне не добиваться личного всеподданнейшего представления Вашему Императорскому Величеству, тогда как Вы сами и от последнего из солдат Ваших себя скрывать не изволите?

Простите же великодушно чистосердечному простодушию верноподданнической речи моей, и если можете, то не отриньте, еще раз умоляю Ваше Императорское Величество, моей неотступной просьбы всемилостивейше дозволить мне изустно доложить Вам слова великого старца Серафима, сказавшего мне про Вас, Великий Государь, что Вы в душе христианин, чего не смеют сказать про себя очень многие, того Серафима, коему возвещено от Бога, что смерть его будет подобна смерти семи отроков, спавших в Ефесской пещере. А о нем прояснено мне то, что он воскреснет прежде общего всех воскресения из мертвых в царствование Вашего Императорского Величества и единственно лишь только для Вас, Великий Государь, о чем всем в полноте всего и вышеизложенного, изъяснив по сущей справедливости, по долгу православно христианской верноподданнической совести, что готов и присягою подтвердить, вполне предаю себя Всеавгустейшей воле Вашего Императорского Величества, и если Всемилостивейше соблаговолите дозволить мне открыть Вам тайну, которой не преувеличивал цену лишь потому, что единственно Вашему Всеавгустейшему суду высокомонаршему желал и желаю всеподданнейше предоставить сделать настоящую и справедливую ей оценку, то буду непрестанно благодарить Господа, положившего Вам по сердцу, вовремя благоприятно послушать верноподданническую речь мою о ней. Если же нет,

то двадцать два года терпевши и неоткрывши ее никому, унесу ее с собою во гроб с совестью неукоризненною тем, что я скрывал талант, вверенный мне от Господа через великого раба Своего Серафима.

Вашего Императорского Величества верноподданнейший раб, титулярный советник, почетный смотритель Корсунского уездного училища, член Нижегородско-Ардатовского тюремного комитета и кандидат в должность симбирского совестного судьи Николай Александров сын Мотовилов.

7 марта 1854 года

Жительство временное имею в Санкт-Петербурге, 1-й адм. част. 1-го квар. в Большой Миллионной улице в доме графини Зубовой, у Мозалевского № 4

Письмо императору Николаю I [Слово великого старца Серафима]

Всеавгустейший Монарх Всемиловитейший Государь!

Имею счастье лично моими глазами видеть собственноручное Вашего Императорского Величества Высочайшее повеление о всеподданнейшем докладе слов великого старца Серафима на бумаге, спешу немедленно исполнить священнейшую для меня Всеавгустейшую волю Вашу.

Вот содержание его беседы в четверток на Пасху 1832 года:

– Рассказав подробно о Илие Фесвитянине и об Авессе, военачальнике Давидове, о Гедеоне, вожде израильского народа, он заключил, что в России много есть еще верных Богу людей, хотя разврат духовный и многих от Бога отвлекает, и, сказав, что надобно царям служить, так как Авесса, который за жизнь Давидову стократно готов был своею собственною пожертвовать, и прибавив, что, подобно Гедеону, людям Божиим надобно призыва и избрания Божьего ожидать, и тогда, действуя по Боге, не отчаиваться, если б их усердие к Отечеству и не получило надлежащей оценки, ибо любовь к Царю и Отечеству угодна Богу, и если бы люди не поценили, то Бог воздаст, – он спросил меня, что именно влечет меня в Петербург; я сказал, что желание служить там Вашему Императорскому Величеству; почему же там, а не в другом месте, я ответил, чтобы, находясь ближе к Вам, в случае нужды быть немедленно готову пролить до последней капли кровь свою, если б то понадобилось за Ваше Всеавгустейшее здоровье, и быть, если можно будет сколько Богу угодно будет помочь, полезным Церкви Христовой. Он отвечал: «Усердие твое угодно Богу, и Он не оставит тебя за оно, но так как по слову пророка – во время благоприятно послушах тя и в день спасения помогах ти – то ревность хотя и по Богу да не по разуму (то есть преждевременно), то не только негодна Богу, но и грех есть. Так и теперь поездка твоя не по дороге – и это самое усердие твое к Государю, если преждевременно узнают о

нем люди недоброжелающие ему, то может повредить тебе, а ты себя береги. О Государе же не пекись, Его Господь сохранит. Он в душе христианин, чего не могут про себя сказать иные даже и из духовных великих особ. Велик был Государь Император Петр I Алексеевич, за что Великим и отцом Отечества справедливо наречен, а по вере в Господа с верою Его Императорского Величества и сравнен быть не может; сами рассудите: Петр Великий жил во времена такие, когда и одним взглядом дорожили царским первейшие бояре, как милостию Божию, и все безмолвно Царю покорялись, так ему легко было управлять. А ныне не тот народ уж стал, и если и за всю етою переменою слушаются Государя и трепещут враги его, то уж Сам Господь наш Иисус Христос и Божия Матерь помогают во всем за нелицемерную веру его Православную, вот ею-то он и выше Петра Великого и за нее-то и помогает ему Бог во всем и возвеличит во дни его так Россию над всеми врагами ее, что она станет превыше всех царств земных и не только нам у иностранцев уже не придется учиться ничему, а еще и им доведется бывать в нашей Земле Русской да учиться у нас и Вере православно христианской и жизни благочестивой по етой вере; а много-много будет сначала до того всякого горя Государю и неоднократно станут искать его освященной Богу главы и живота Царской фамилии, но Господь всегда будет защищать и его и весь Августейший Царский Дом его; праведника ради единого целый род спасается, что речет триех ради, а в его государевом роду, посмотрите-ка, ваше Боголюбие, сколько святых мощей от его венценосной плоти и крови, мню, что не один десяток угодников Божиих, так все они молитвенники за род его и его священную Особу Императорскую; вот хоть бы и августейшая родительница его, благочестнейшая Государыня Мария Феодоровна, она как мать родная для всех сирот и бедствующих, а ето ведь святых только жен богомудрых дело, и если то велико в простом человеке, тем более в священной венценосной Царской особе угодное Богу, а Государь в Бозе почивший Всеавгустейший родитель его, император Павел Петрович, как любил Церковь святую, как чтил святые уставы ее и сколько сделал для блага

ее, немногие из царей русских, подобно ему, послужили Церкви Божией; а Его Императорскому Величеству и еще гораздо более поможет Господь сделать и для Церкви святой Православной нашей и единой во всей вселенной истинной, непорочно Апостольской Вселенской Церкви Христовой, но до этого еще много должно будет горя и Государю, и Земле Русской перенести; восстанут на него не только враги внешние, но и внутренние и вот как это будет: **бунтовщики-то, восставшие на Государя при восшествии его на престол, похвалялись, что хотя и скошена трава, да корни остались, то хотя и не по Боге они хвалились тем, а ето, однако же, правда, ибо главные начальники** етого злого умысла, выдавши тех, которых сами же вовлекли в злой етот умысел свой, **а сами остались в стороне, и вот они-то и ищут и будут искать гибели Государя и всей Фамилии его Царской, и неоднократно будут подыскиваться, нельзя ли как-нибудь извести их, а когда неоднократные их покушения не удадутся, то они примутся за другое – и будут стараться, что если можно им будет, то бы во всех должностях государственных были все люди или согласны с ними, или по крайней мере не вредные им. И будут всячески восстанавливать Землю Русскую противу Государя; когда же и то им не будет удаваться, так как им хотеться будет, ибо по местам ими заводимые частные возмущения будут по милости Божией скоро прекращаемы, то они дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет Земле Русской и, в один день, в один час заранее условившись о том, поднимут во всех местах Земли Русской всеобщий бунт; и так многие из служащих тогда будут и сами участвовать в их злоумышлении, то некому будет унимать их. И на первых порах много прольется неповинной крови, реки ее потекут по Земле Русской, много и вашей братьи, дворян, и духовенства, и купечества, расположенных к Государю, убьют; но когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда, ваше Боголюбие, усердие ваше по Боге и ко времени. И Господь поможет правому делу: станет за Государя и Отечество**

и святую Церковь нашу, а Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской; но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая за Государя стоявшая сторона получит победу и переловит всех изменников, и предаст их в руки правосудия. Тогда уж никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят – и вот тут-то еще более прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог помазанного Своего Давида, раба Своего, мужа по сердцу Своему, благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича – его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над Землею Русскою. Так что же унывать нам, ваше Боголюбие: аще Бог за ны, кто на ны – их же Бо предъведе, сих и предызбра, их же предызбра, сих и освяти, их же освяти, сих и прослави – сих и блюдет; что ж унывать нам, ваше Боголюбие, аще Бог за ны, кто на ны – разумеите языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог, могущие покоряйтесь, яко с нами Бог, и аще паки возможете, паки побеждени будете, яко с нами Бог – так-то, ваше Боголюбие, с нами Бог и унывать нам нет никакой дороги».

Я в неизреченной радости лишь только хотел было сказать: «Так благословите же, батюшка, я сей час поеду в Петербург и постараюсь видеть Государя и всеподданнейше доложить ему слова ваши», а он, закрывши мне рукою своею рот, сказал:

– Как вы не понимаете: не теперь, а после; теперь еще не время, а после, когда по пророку узрите Иерусалим, обстоим вон. Господь вас Сам приведет тогда и сам положит по сердцу вашему возглаголать благая о Иерусалиме. А теперь беречись надобно вам, а **Государя Господь сохранит и благословит его и Землю Русскую** всяким благословением, и в земных и в небесных; во время же свое усты ко устом все слова мои его Величеству доложи – тогда и то, что теперь думаешь, скажи.

Я спросил, что же; он отвечал: «Все что ко благу Государя, святой Церкви и Земли Русской, Бог тогда по сердцу тебе положит – то ты не убойся и все возвести его Императорскому

Величеству, а каково тебе и прежде неоднократно говорил: Господь и Божия Матерь Сами устроят путь твой во благое, и убогого Серафима молитвы к Ним за тебя всюду будут с тобою».

Вот все, Ваше Императорское Величество, что батюшка отец Серафим в эту незабвенную беседу для меня изволил говорить о Вашем Императорском Величестве и прибавил, «что Господь на многие лета еще продлит дни живота Вашего и в старости маститой дарует Вам кончину мирную и святую, как тем из всеавгустейших предков Вашего Императорского Величества, которые верою и правдою благоугодили Богу».

Здесь бы следовало еще мне помянуть о том, каким образом после кончины великого старца Серафима сказано было мне самому о его воскресении из мертвых – и подтверждено о том троекратно: в 1835, в 1847 и в 1851 годах, но не знаю, угодно ли будет Вашему Императорскому Величеству знать о том.

За тем всеподданнейше изъяснив в самых коротких, сколько мог, словах о беседе отца Серафима и припадая к высокоосвященным стопам ног Ваших до лица земли, всеуниженнейше, верноподданнически рабски умоляю Вас, Великий Государь, что дерзал утруждать Вас всеподданнейшею просьбою усты ко устам возвестить все то Вашему Императорскому Величеству – таково действительно было и на деле желание великого старца Серафима. Всемиловитейше простите меня.

Вашего Императорского Величества верноподданнейший раб, титулярный советник, почетный смотритель Корсунского уездного училища, член Нижегородско-Ардатовского тюремного комитета и кандидат в должность симбирского совестного судьи Николай Александрович Мотовилов.

9 марта 1854 года

Жительство временное имею в Санкт-Петербурге, 1-й адм. част. 1-го квар., в Большой Миллионной улице, в доме графини Зубовой, у Мозалевского № 4.

Докладная записка императору Александру II

По секрету

Оригинал черновой, писанный 15 апреля 1866 года, в тяжелой болезни моей, в селе Рождественском, Цыльне тож

Его Императорскому Величеству

Благочестивейшему Самодержавнейшему

Великому Государю Императору

Александру Николаевичу

Самодержцу Всероссийскому,

Государю Всемиловитвейшему

В 1854 году, в бытность Вашего Императорского Величества Государем Цесаревичем, Наследником Всероссийского престола, я имел щастие всеподданнейше подавать Вам докладную записку о некоторой части бедствий моих пожизненных, преимущественно же по делам моим тяжбым с татарами деревень Малой и Большой Цыльн и деревни Бестюрлеева Врага, Тланка тож, и о жалованных предкам моим, арзамасцам Кириллу и Даниилу Мотовиловым, земель, в 1703 и 1704 годах. И собственноручно Вы, Великий государь, начертали на той записке: «Помоги Мотовилову».

Но Высочайшее Вашего Императорского Величества повеление, поставленное мною на вид и Межевой канцелярии по тем делам, и до сих пор еще не исполнено.

А по ходатайству моему докладною запискою от 20 октября 1861 года на имя господина министра внутренних дел о дозволении мне открыть действия моего Спасопреображенского банка и по тому же предмету другою докладною запискою от 13 августа 1861 года на имя митрополита Исидора Святейшему Правительствующему Синоду о дозволении мне строить на мое, из польз сего банка, иждивение собор Божией Матери Радость всех Радостей в Дивееве ни полслова мне еще ни тем, ни другим не отвечено. А о прочих делах и говорить нельзя – так всякое мое усердие к пользе Вашего Императорского Величества заглушают, что, например, по бумагам моим: 1-е – генерал-адъютанту барону Врангелю на одном листе о

возможной подати и насущной потребности погорелому городу Симбирску, и 2-е – сенатору Жданову о действительно существеннейшей и главнейшей причине симбирского пожара и неумолимом подготавливании известною партией той всероссийской революции, о коей великий старец Серафим еще в 1832 году, в четверток на Светлую Пасху, сказал, что она чрез реформы, декабристическим заговором устроиваться в России имеющая, произойдет и о чем на двух листах собственноручная моя, в 1854 году в мартиреи месяце поданная Его Императорскому Величеству записка должна храниться в III Отделении Собственной Его Величества Канцелярии, то по бумаге на одном листе барону Врангелю и сей последней, на 4 листах, господину сенатору Жданову, ровно ничего до сих пор не отвечено. Тогда как последняя бумага моя – высокогосударственной важности, ибо на вопрос его превосходительства, чем я докажу, что и польский бунт и все другие, мелочные, но, тем не менее, всепагубные русские бунты – суть подстройка лишь одной декабристически-русской агитации и кто – суть главные декабристы. Я отвечаю: что о них в точной и ясной отчетливости изъяснено в издании 1862 года жизни Рылеева, напечатанной в Лейпциге. И что всего удивительнее то, что и сам великий старец Серафим мне в 1832 году, в четверок на Святую Пасху, говоря о декабристах, прямо всех их поименно помянуть изволил и поэтому, собственно, и не пустил меня в Санкт-Петербург, что эти люди, узнав мою великую преданность Государю Императору, всеавгустейшему родителю Вашему, и совершенную несолидарность мою с их церкви- и монастыре-разорительными, цареубийственными и антихристиански-аболюционистическими направлениями, не только не допустят меня до Государя, не дадут ходу мне никакого по службе, но и вовсе сотрут с лица земли. Ибо хоть они вполне окружили престол его величества Государя Николая Павловича, но он – в душе христианин, и вот лишь эта великая истинная вера его в Бога и есть его единственная от всех их защита.

Долгом всеподданнейшим щитаю доложить, что и к подаче господину сенатору Жданову последней, на 4 листах, черновой

докладной записки (ибо ему неужгодно было допустить меня почему-то к переписке ее набело) я возбужден был не прелестным, но истинным мне явлением во сне в Бозе почившего Государя Императора, родителя Вашего, обещавшего и Вам о сем мне явлении сказать священнотайно. Видением, крайне знаменательным и не менее того важным, каковое видел я много лет назад тому в ночь накануне взятия войсками Вашего Императорского Величества знаменитой крепости Карс. Когда он, великий Государь, изволил утешить меня уверением, что он не только совсем прощен, помилован, спасен, благословлен от Господа Бога, но и близ великого старца Серафима помещен. И о декабристических всепагубных действиях от него самого и, еще того подробнее, от самого отца Серафима слышал.

Пред подачею же господину сенатору Жданову бумаги, как из прилагаемых описаний сих видений всемилостивейше благоусмотреть соизволите, он приказал мне действовать так, как отец Серафим в 1832 году предрек, о чем на двух листах моей записки о декабристах, избличенных великим старцем Серафимом, двенадцать лет тому назад чрез графа Орлова всеподданнейше представленной.

Да еще уже и после того по особому, от великого старца Серафима священнотайному извещению, данному мне в 1 день апреля 1865 года, о гибели Линкольна, хоть и неярого, но все-таки аболюциониста. А как выражался он, великий отец Серафим, Господу и Божией Матери не только не угодно такое страшное угнетение, разорение и несправедливое уничтожение, которое возобладавшими над всем декабристами, ярыми аболюционистами, творится повсюду у нас в России, но и самые обиды Линкольна и североамериканцев, Южных Штатов рабовладельцев, всецело неуждны благодти Божией. А потому на образе Божией Матери Радость всех Радостей, имевшей по тому повелению его, батюшки отца Серафима, послаться президенту Южных, а именно рабовладельческих Штатов, велено было скрепить подписью: «На всепогибель Линкольна».

Но я признаюсь откровенно, что, высокопреосвященного Филарета просьбу вспомнив о смягчении слов в моей

докладной записке 1 июня 1861 года противу обид епископа Нектария, заключавшихся в апостольском выражении: «Дыша прощением и убийством – ни слова в весьма гневном настроении», дерзнул ослабить силу боговдохновенной, священнотайно глаголанной ко мне речи б[атюшки] о[тца] Серафима и подписал: «На всепобеду над змией, Линкольном, и северными аболюционистами», или полное всеобладание над всем Севером и пр.; в подробности точные списки с обеих священно поведенных подписей под обоими образами Божией Матери и президенту рабовладельческих Штатов, и Пию IX при сем всеподданнейше представляются в точных копиях.

Итак, буду продолжать, что кроме того им же, б[атюшкой] о[тцом] Серафимом, священнотайно, но для меня вполне ясно поведено от лица Господня Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доложить, что по поводу Восьмого Вселенского Собора крайне насущно в настоящее время, как, во-первых, для соединения святых Божьих Церквей под единую главу Христа Жизнодавца и под единый Покров Пресвятой Богородицы, так, во-вторых, всецелое и всеполное анафематствование всей мерзости отступления от святой вселенской веры Христовой, или аболюционистического нивелирования всего на свете, то есть, по-русски – декабризма, а по-вселенски – масонства, франкмасонства, иллюминатства и всей их якобинской престолов церковных и монастырей святых разорительной и цареубийственной баре-гонительной правительственности – всеподло безбожной и всецело антихристианской, сосредоточенной преимущественно в ложах: Симбирской, Московской, С.-Петербургской – по России, Нью-Йоркской – по Северной Америке, Калькутской – по Ост-Индии, Лондонской, Франкфуртско-на-Майнской, кроме мелких лож шведских, прусских, германских, австрийских, итальянских и прочих, всемирно возглавляемых в Клубе Юнион в Париже, – как во вселенской централизации всего богопротивного, антимонархического и панреволюционернейшего в мире.

То хоть бы и следовало в апреле месяце 1865 года к Вашему Императорскому Величеству послать мне еще третью икону Божией Матери б[атюшки] о[тца] Серафима Радость всех

Радостей, но что у Вас уже есть таковые две, 1854 года, Вам мною всеподданнейше представленные. И одна в Севастополе, а другая в большом соборе Зимнего Вашего Императорского дворца, то велено мне лишь с приличным сыновним верноподданническим благоговением всеподданнейше умолить Ваше Императорское Величество, не соблагоугодно ли будет Вам извлечь ее из небрежного хранения где-то в ризнице⁵⁰ и благолепно в приличном киоте поставить в Вашей церкви сего Богосшественского собора, против местной главной, возле царских врат иконы Пресвятой Богородицы, в подобие с таковым в отдельном киоте, противу местной же Христа Спасителя иконы. А так как грядет язва на Санкт-Петербург (то есть холера, а может быть, и язва заговорничества, проявившего себя выстрелом 4 апреля⁵¹, о чем я сего 27 июля объяснил), то неблагоприятно ли будет Вам всемилостивейше высочайше повелеть соизволить с приличным священнослужением и повсюду литией и водоосвящением, и окроплением святою водою и Зимнего дворца Вашего и всего С.-Петербурга обнести сею иконою, обойти всю Вашу столицу и резиденцию. И Господь, как в 1854 году, так и ныне и от всегубительной язвы сокрыть и Вас, и Вашу северную столицу всецело соблагоизволит, а при священнослужении и обходе и дворца, и Санкт-Петербурга, чтобы были петы в честь Божией Матери те же оба параклисисы Ей, Владычице нашей Приснодеве Богородице Марии, о коих я еще в 1854 году поведал и откровенно чрез его сиятельство господина министра Императорского Двора всеподданнейше докладывал.

И потом еще более нижайше и от лица самого батюшки отца Серафима, им великим старцем тогда, в 1 день апреля 1865 года, явльшимся и потом.

Все это до сих пор писано было мною в тяжелой болезни моей, лежа, действительно, на предсмертном одре. И ночь с 15 на 16 апреля прекратила эту черновую мою рукопись. А назавтра, 16 апреля, из рассказов мирового посредника князя Николая Николаевича Ухтомского узнал я о подлом и гнусном поступке мерзавца, именующего себя Каракозовым. Кто он действительно, я не могу сказать, но мне до бесконечности

грустно было, что его свидетельствовали, в своем ли он уме. И весь шум празднований, речей и прочего до бесконечности по глубокому чувству, внутренне не одобряющему все это, до бесконечности не нравится.

Что бы я далее написал в последней моей короткой записке от 14 или 15 апреля 1865 года, всеподданнейшей, теперь не могу сказать, но два сна мои, или лучше, видения, о почившем в Бозе Государе Императоре Николае Павловиче утром сего 27 июля, и простите, что таким дурным пером, но все-таки напишу.

1-й сон был накануне взятия Карса.

Те же агитационно-революционные партии стали после кончины Его Величества всевозможные клеветы на него распускать. И хотя я глубоко был убежден, утверждаясь на словах о нем великого старца Серафима, что все это ложь, но, тем не менее, сердце мое до бесконечности грустило о моем незабвенном царе Императоре, благодетеле.

И вот я вижу сон: Государь Император Николай Павлович и Государыня Императрица Александровна Феодоровна будто бы входят в маленькую столовую Зимнего дворца, куда и я по высочайшему повелению имел счастье быть приглашенным. И Государь сказал мне: «Давно, еще при жизни моей, я хотел тебя хлебом-солью нашею царскою попотчевать, да не удалось, то поешь с нами теперь». Его Величество Государь Император посадил меня по правую сторону за круглым столом, а Ее Императорское Величество Государыню Императрицу Александру Феодоровну посадил по левую сторону. И когда стал кушать, то я увидел, что он, подобно архиепископу Антонию, стал быстро жевать, и подумал: «А как Государь за обе щеки уписывает». А умерший Его Величество улыбнулся, оборотившись ко мне, и сказал: «Хорош же молодец! Во-первых, про царя и повелителя своего и думать так невежливо и не следует, но я знаю, что ты не в злобе подумал. А во-вторых, ты сам же сказал мне от лица великого старца Серафима, что я – христианин в душе. А разве христиане умирают – они по Христе Жизнодавце и сами живые всегда, так и я почил на время, до будущего всех общего Воскресения из мертвых плотию, но душою и духом моим жив, здоров и в милости

Божией нахожусь и не только прощен во всех грехах моих, ибо несть человек, иже проживет и не узрит смерти греховныя, – но и спасен, и помилован, и во всем разрешен навеки. И не только благословлен от Господа Бога, но за великую любовь мою к великому старцу Серафиму и помещен близ него в Царствии Божием. И что ты написал мне о цареубийственной жажде революционерства декабристического, то о всем том старец Серафим еще более и в подробнейшем виде ныне передал (значит, до взятия Карса). Но что же ты-то мне подробно так не передал тогда?»

И я отвечал: «Ваше Императорское Величество! Если бы, презрев клеветами на меня графа Орлова и плюнув на его предостережения, Вы изволили тогда всемилостивейше допустить меня до тайной аудиенции, то я тогда бы безбоязненно имел возможность всеподданнейше передать Вашему Императорскому Величеству не только то, что богооткровенно я имел щастие узнать из уст святого Серафима о декабризме, но и то, что, руководим будучи его божественными наставлениями и непрестанною помощиею Божиею во время многолетних странствований по России, я имел возможность не словом, но делом узнать о дальнейшем ходе етой богомерзкой и царедушительной агитации. Ибо после выпуска, всемилостивейше Вами пожалованного в 1833 году мне, из-под ареста симбирского, чрез министра юстиции Дашкова, все христиане истинные принимали меня как мученика за веру Христову. Ибо я несправедливо был арестован за мое исцеление в Воронеже в 1 день октября 1832 и за написание полной службы и акафиста святителю [Тихону] Митрофану, и доселе не допущенного Святейшим Синодом к печати, и за мнимое, короткое будто сообщничество мое с Алексей Петровичем Ермоловым, и с Михаилом и Александром Николаевичами Муравьевыми, и Андреем, их братом, коего с Норовым, бывшим потом, с 1854 года моим личным начальником, министром народного просвещения, я в простоте сердца называл моими сотоварищами в путешествиях по святым местам. То, повторю, рабы Христовы считали меня мучеником за веру, а рабы антихристовы и революционеры,

реформаторы без реформ, считали меня за заговорщика великого, но отделавшегося от ареста, тоже принимали меня за своего собрата-революционера и были со мной донельзя откровенны».

– Да, – изволил отвечать мне Его Императорское Величество, – и об этом великий старец Серафим сказал мне. Но что до того стало, что ты в письме своем написал мне, что ты будто бы никому о том никогда до 1854 года не говаривал, то это не совсем так.

-Да, – отвечал я, – простите меня, Государь. Я погорячился и в горячности забыл, что когда заговорщики иные, тоже разгорячась и ошибаясь, заявляли нередко охоту свою истребить весь Ваш августейший императорский род, то я словами великого старца, которого они и при революционности своей все-таки уважали, имел щастие отмежевывать их от их царедушительных замыслов.

– То-то же, – сказал Государь, – мне и об этом великий старец Серафим тоже сказал. И мы с ним тебя помним и часто говорим о тебе, и желаем тебе во всем ради пользы Церкви Христовой, нашего императорского Дома и всей России блестящего и всеполно-победоносного, непреодолимого во всем успеха.

Вот весь, во всей его замечательной подробности, великий сон накануне сдачи Карса, о коем краткую записку я дал в 1861 году чрез княгиню Варвару Аркадьевну Горчакову вместе с некоторыми анекдотами о Суворове, слышанными мною в детстве почти что от дядьки моего, суворовского полковника Тищенко, сообщил и бывшему генерал-губернатору Александру Аркадиевичу Суворову-Рымникскому.

Но вот описание и другого, тоже замечательного сна, накануне 30 дней до расстреляния второго, расстрелянного за симбирские пожары, перед прибытием в Симбирск сенатора Жданова.

Я видел, что будто бы я в Симбирске (живши, однако же, по поводу погребения Симбирска в имении моем и месте родины, Симбирского уезда селе Рождественском, Цыльне тож). И что будто бы по высочайшему повелению зовут меня к почившему в

Бозе Государю Императору Николаю Павловичу в симбирский Покровский монастырь. И я прямо пошел в маленькие покои деревянные покойного преосвященного Анатолия, где потом по некоторому случаю помещался преосвященный Евгений, предполагая, что Государь Император, вероятно, уже изволил остановиться, но мне указали за кладбищем маленький, чисто опрятный флигелек, вроде пустынной отшельнической кельи, против коего в палисаднике, прекрасно украшенном великолепными цветами, изволил сидеть Государь Император Николай Павлович, на том самом кресле императора Петра Великого, находящемся в Санкт-Петербурге в Монплезире, с коего Его Величество приказал во время царствования своего поделать все [неразб.], потом в сем и Его любимом месте Петра Великовского уединения.

Когда я имел щастие подойти к Его Императорскому Величеству, то Государь изволил мне сказать:

– Что это значит, Мотовилов, что при жизни моей ты сам вызывался мне служить, а теперь уж и я сам тебя зову-зову, да все не дозовусь. Неужели и ты, подражая другим, вздумал нам тоже изменить?!

Я спокойно сказал:

– Нет, Ваше Величество. Но мне и не говорил никто, чтоб Вы изволили меня требовать.

– А, – сказал Государь, обращаясь к окружающим его, – вот не справедлив ли мой спор с вами, что вы лжете на Мотовилова, будто бы он забыл меня и мой Императорский Дом, святую Церковь и нашу святую Русскую землю. Ну спасибо, что как раз немедленно явился. Я знал тебя и твердо верил, что не ошибаюсь в тебе.

Как только это выговорить изволил Государь Император, то как раз наискосок от этого места, возле собора Покрова Божией Матери, заколебалась земля над усыпальницей последнего нашего юродивого Андрея Ильича (о коем и жизни его есть в журнале «Странник» повесть), и он из-под крышки чугунной памятника своего вышел, из гроба воскресший и, творя свое обычное юродство, переваливаясь с боку на бок, в своей пестро-красной рубашке, и произнося обычные звуки: «А-аа-а»,

стал подходить прямо к Его Императорскому Величеству. А Государь, изволивши встать и сложивши три перста первые правой руки православно-христианским сложением перстов, и перекрестившись правильно, а не горстью, обычному некоторых примеру, изволил сказать: «Ну, слава Богу, эти двое (значит, и меня в числе Христа ради юродивых считая) ныне во всем помогут».

И лишь только он изволил всемилоостивейше выговорить эту монаршую речь, как докладывают Его Величеству, что от его Императорского Величества, благочестивейше царствующего Императора Александра II Николаевича, к нему прибыл фельдъегерь с депешами. И подают ему четыре мои рукописи, наполовину листа свернутые и четырех цветов – белого, розово-красного, голубова и зеленого, шелковыми широкими лентами крестообразно перевязанные.

И Государь, на меня оборотись, изволил мне сказать:

– А ето твои бумаги, ты знаешь их сущность. А я, как тебе сказывал некогда, и еще лучше твоего их знаю из рассказов о них великого старца Серафима и сам займусь с сыном моим разбором их. Ну а ты начинай же действовать, как тебе великий старец Серафим в пользу нашу действовать заповедал.

Я сказал Его Величеству:

– С наивеличайшей радостью, от всей души моей готов на службу Вашего Императорского Величества. Но не в том одном дело. Надобно, чтоб мне не только высочайше разрешено было, но чтобы уже никто из господ министров, подобно министру финансов Броку, не мешал уже более мне ни в чем в службе Вашему Императорскому Величеству. Вы и всеавгустейший сын Ваш, и вся Ваша императорская фамилия, кого из них в тайны Ваши допустить изволите, должны знать, что я для Бога, для Вас и России намерен сделать. И сделать постараюсь даже более, чем обещал и обещаюсь при помощи Божией. Но министры ваши не имеют на это, кроме графа Владимира Феодоровича Адлерберга, никакого права, и если бы так было, то давным-давно все богопротивное и злое истреблено было бы богоуказанными мне чрез великого старца Серафима, благодатными средствами.

Но со времени кончины Вашего Императорского Величества, вопреки всей любви и всей милости Вашей ко мне, и вместо того, как Вы, передавая мне Ваши два поклона чрез господина министра императорского двора, переданы мне и слова, что вспоминаете обо мне, как об одном из первых деятелей в войне по Восточному вопросу, а я уничижен, отвержен. Меня гнетут, обрывают, как собаку, и жизнь моя в звании совестного судьи хуже всякой каторги – то как же я смогу хоть чем-нибудь послужить Богу и Вам, и России по богоуказанным мне чрез Серафима словам Господним. Ведь подобно Илии пророку, и моей души ищут жрецы революции, декабристы, царедушители, враги Бога, Царя и царства Русского.

– Ну, об этом уже не горюй. Я сам все это исправлю. И сам за тебя скажу сыну моему Александру. Смотри же, исполни и бесстрашно служи нам верою и правдою.

– Готов и буду при помощи Божией служить Богу, Вам и России. Служить, как великий старец Серафим меня богооткровением напутствовал, и великий Серафим убедительно просил.

Кончено 28 июля – в день Одигитрии Божией Матери и именин б[атюшки] о[тца] Серафима. 1866.

Е. И. Мотовилова

Из воспоминаний о муже Николае Александровиче

По выходе моем замуж за Николая Александровича, несмотря на молодые лета, мне пришлось в очень скором времени взяться за управление хозяйством и имениями. Хотя Николай Александрович и сам не переставал заниматься всем этим, но, заметив мою способность к ведению дел имения, поспешил передать мне все эти заботы, чтобы самому более свободно заняться тем, к чему его влекло постоянно: Николай Александрович, будучи светским и семейным человеком, проводил духовную жизнь.

Долго я не понимала этого направления моего мужа, и на этой почве у нас случалось возникали недоразумения.

Николай Александрович, где бы ни был и чем бы ни занимался, имел мысль, «погруженную в Бога», он весь горел любовью к Богу, к Божией Матери и к святым угодникам Его.

Он часто уезжал ко святым местам и имел большое знакомство с подвижниками того времени, которых было немало.

Случалось, что я сопровождала ему в этих посещениях святых мест.

Мы бывали в Воронеже у архиепископа Антония (этого, по выражению преподобного Серафима, великого архиерея Божия); он имел великий дар прозорливости и большую духовную любовь к моему мужу. Однажды по приезде в Воронеж по некоторым причинам я решила отложить причащение Святых Таин, тем более что мы должны были скоро уехать, но Николай Александрович просил меня идти с ним к преосвященному спросить его об этом. Не успели мы взойти к нему, как он, благословив нас, обращаясь ко мне, сказал на мою мысль: «Во время путешествия, матушка, никак и ни по каким причинам не оставляйте приступать к Святым Тайнам: я нахожу в случившемся с вами действие врага нашего спасения».

Часто мы бывали в Задонске, где архимандритом был духовный друг моего мужа отец Зосима. Первый раз увидела я его, по приезде в Задонск, в церкви. Вижу, входит довольно

молодой монах и кладет множество земных поклонов пред святыми иконами, и я подумала: «Вот какой еще молодой доволен, а уже какие имеет подвиги».

По окончании службы Николай Александрович пошел со мной на чай к отцу архимандриту, и я очень удивилась, узнав в нем монаха, которого я видала в церкви. За чаем, обращаясь ко мне, отец Зосима вдруг говорит: «Вот, матушка, иные думают, что я еще молод, да уж и большой подвижник, только это все неверно, и мне скоро пятьдесят лет».

Бывали мы у известного подвижника Парфения Киевского, знали Игнатия Брянчанинова, Феофана, епископа Тамбовского, впоследствии затворника Вышенского, и много-много кого знал и у кого бывал Николай Александрович.

Но большинство этих поездок Николай Александрович совершал один: хозяйство и семья задерживали меня дома. Случалось, что Николай Александрович задерживался очень долго, и я начинала беспокоиться его отсутствием. Раз, помню, я целый месяц не имела о нем известия из Воронежа. В великой печали поехала я в один монастырь, где была затворница именем Маргарита, чтобы иметь от нее духовную поддержку и утешение. Вхожу к ней в келью и вдруг из-за перегородки, где она постоянно и пребывала, слышу, она кричит мне: «Не скорби, не скорби! Сегодня муж твой дома будет». Действительно, вечером Николай Александрович возвратился домой.

Великие рабы Божии и великие архиереи были в то время!

В Симбирске был епископ Евгений, часто случались в городе пожары, и жители очень волновались, боясь большого пожара, так как постройки были деревянные. Епископ Евгений говорил: «Не беспокойтесь, большого пожара, пока я жив, не будет, а вот умру – великий будет пожар».

Когда он скончался, стали по обычаю ударять в колокол, а с другой стороны города начали бить в набат – произошел пожар, который сильно опустошил город.

Но вот где-где я ни была, а лучше Сарова не видала! Благословенный, богоспасаемый Саров! Подвижники его по величию своих подвигов уподобились древним Отцам пустынным!

И Николай Александрович, куда бы ни ехал, где бы ни был, а все его постоянно влекло в Саратов и в Дивеев.

Зимой без шапки бывая в Дивееве, он по заповеди отца Серафима ежедневно ходил вокруг канавки и громко пел: «О, Всепетая Мати!» По заповеди же отца Серафима он любил ставить множество свечей в храмах к святым иконам и не жалел на это никаких расходов.

В доме у нас часто служили всенощные, а Николай Александрович сам читал шестопсалмие, при этом из глаз его текли потоки слез, и весь он умом был «горе».

Случилось однажды зятю нашему, князю N, быть при этом, и по окончании службы он стал высказывать свое удивление по поводу этого. На другой день он с Николаем Александровичем поехал осматривать имение. Николай Александрович ехал с кучером в одном экипаже, запряженном тройкой, а зять наш поехал в другом и ехал сзади. Дорога шла высоким берегом около реки. Вдруг лошади Николая Александровича чего-то испугались, бросились и прямо с обрыва с экипажем полетели в воду; в одну минуту Николай Александрович сбросил шляпу и, обращая взор свой к небу, громко начал 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго».

Долетев с обрыва до края реки, лошади погрузились в воду и, как будто удержанные какой силой, остановились и остались в стоячем положении, и ни Николай Александрович, ни кучер не получили никаких повреждений.

По возвращении зять наш говорил, что «действительно велика сила молитвы у Николая Александровича и что произошло явное чудо, так как спасения не могло быть по причине крутизны берега».

Да, Николай Александрович в вере был тверд и крепок как камень; его можно назвать исповедником веры.

Вращаясь всегда в высших духовных и светских кругах, Николай Александрович часто обличал начавшееся уже тогда настроение в желании различных реформ в нашей Православной Церкви.

В этих случаях и письменно, и устно он защищал целостность, святость и ненарушимость этих правил. Однажды в

многолюдном собрании был разговор по этому поводу, и Николай Александрович высказывал резкую правду; я незаметно стала дергать его, желая остановить излишнюю горячность его речи. «Что ты меня дергаешь, – воскликнул он, – я им правду говорю, притом не от себя, я не могу молчать, ибо слышу голос, говорящий мне: «Ты, немой, что молчишь? Ты познал глаголы живота Моего вечного, и ими может спастись ближний твой, в заблуждении находящийся». Так что боюсь обличающего меня, сказавшего: «Рабе лукавый и ленивый! Почто не вдох сребра Моего делателем?» Так что, матушка, где Дух Божий посетит человека, там и говори».

К Божией Матери Николай Александрович имел особенную любовь, часто прочитывал параклисы ей, повторяя их многократно.

Один раз кто-то за одним большим обедом, зная это, позволил себе что-то сказать о Богоматери.

Тогда, не стесняясь присутствовавшими на обеде, Николай Александрович начал буквально громить шутника, высказывая ему такую правду, что все бывшие на обеде встали на сторону Николая Александровича, и шутнику осталось покинуть с бесчестьем собрание.

Любовь Николая Александровича к ближнему была велика, он желал, чтобы все спаслись; часто приходили к нему по делу наши крестьяне, и, оставляя в стороне дело, он старался им растолковать предметы духовные, и правда наши крестьяне отличались редкой религиозностью.

Николай Александрович говорил мне, что отец Серафим сказал ему, «что все то, что носит название «декабристов», «реформаторов» и, словом, принадлежит к «бытоулучшительной партии», есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле, и отчасти православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими землями славянскими и составит громадный народный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные. И это, говорил он, так верно, как дважды два – четыре.

Итак, повторяю, по незнанию я говорила Николаю Александровичу, что ему следовало бы, если он хочет вести такой образ жизни, идти в монастырь, а не быть семейным человеком. На это он отвечал мне следующее: «Отец Серафим мне сказал, что монастыри есть место для высшего духовного совершенствования, то есть для тех людей, которые желают исполнять заповедь: «Если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за Мной». Но исполнение всех остальных, сказанных Господом заповедей, есть, однако, обязанность для всех христиан, так что, другими словами, прохождение духовной жизни обязательно и для монаха, и для простого семейного христианина. Разница в степени совершенствования, которое может быть и большим, может быть и малым.

И мы можем, – прибавлял отец Серафим, – проходить духовную жизнь, да сами не хотим! Духовная же жизнь есть приобретение христианином Святого Духа Божиего, и она начинается только с того времени, когда Господь Бог Дух Святой, хотя в мале и кратко, начинает посещать человека. До этого времени христианин (будь то монах, будь мирской человек) проводит жизнь общехристианскую, но не духовную; проводящих же духовную жизнь людей мало.

Хотя в Евангелии сказано, – говорит отец Серафим, – «что нельзя Богу работать и мамоне» и «трудно имеющему богатство войти в Царство Небесное», но Господь открыл мне, что чрез грехопадение Адама человек помрачился всецело и сделался односторонним в духовном рассуждении, ибо в Евангелии также сказано, что то, что невозможно для человека, возможно для Бога; поэтому силен Бог, вразумит человека, как без гибели душевной, находясь в условиях светской жизни, может человек служить духом: Богу. «Иго Мое благо и бремя Мое легко есть», а его часто заграждают такими тягостями (из излишней боязни служения мамоне), что, взявши ключи духовного разумения, получается и сами не входят, и другим входить препятствуют. Итак, по своем падении от крайнего греховного ослепления человек сделался односторонним.

Многие святые, говорил отец Серафим, оставили нам свои писания, и в них все говорят об одном и том же: о приобретении

Святого Духа Божиего через различные подвиги, чрез делание различных добродетелей, но главным образом чрез непрестанную молитву. И воистину, нет ничего на свете драгоценнее Его. Чтение же их писаний служит для познания того, чего именно достигать следует. Вот часто Господь оставляет без исполнения прошения наши и даже лиц, именуемых духовными, а все оттого, что по плоти живут, а не по Духу: «Живущие же по плоти Богу угодить не могут, – говорит святой апостол. Водимые же Духом суть сыны Божиим!» Сим последним не может отказать Господь в их прошениях.

Правда, Николай Александрович всегда имел молитву, возносимую к Богу в уме и сердце своем, и очень часто при этом приступал к причащению Святых Таин Божиих. Кроме того, отец Серафим ему и показал и растолковал, что такое есть присутствие Святого Духа Божиего и как понимать Его проявления.

Достигнув старости, Николай Александрович, по предсказанию отца Серафима, безболезненно и чрезвычайно тихо отошел ко Господу.

Чрез некоторое время по его кончине я получила письма от игумена Зосимы из Задонска и от монахини Евфросинии из Киева, которые одновременно извещали меня, что в день кончины своей Николай Александрович явился им и просил их не оставлять духовною поддержкою меня, его жену.

По желанию Николая Александровича тело его было отправлено из симбирского имения для погребения в Дивееве. Предполагая, что тело Николая Александровича повезут довольно тихо, я распорядилась отправить его тремя часами ранее нашего отъезда, И удивительное дело! Когда мы поехали вслед за ним, то до самого Дивеева не могли догнать его. Приедем на станцию, говорят, что только что уехали, начинаем погонять лошадей, но догнать не можем. Так Николай Александрович и мертвый спешил в Дивеев, как при жизни своей был там всегда и постоянно.

На могиле Николая Александровича положена была большая плита; неизвестно как сквозь нее проросли в

нескольких местах высокие березки. Это – свечи небесные, которые он при жизни ставил Богу.

Текст **«Воспоминаний Е. И.Мотовиловой о муже Николае Александровиче»** публикуется по: Душеполезное Чтение. 1912, № 7–8.

Протоиерей Стефан Ляшевский

Дивеев монастырь в мятежные годы

Более полувека тому назад, в 1924 году, митрополит Петербургский Серафим (Чичагов) заповедал мне продолжить его знаменитую «Летопись». Я тогда был молод, все мне казалось возможным и я с радостью согласился. «Летопись» дивеевскую я уже знал хорошо, бывал в Дивеевском монастыре, много слышал от матушки игумении Александры, надеялся, что скоро гонения прекратятся и тогда можно будет свободно писать, но вдруг у меня мелькнула мысль: «А почему же владыка митрополит сам не хочет ее продолжить?» Но владыка, увидев на моем лице мгновенное недоумение, сказал: «Я не доживу до того времени». Действительно, годы шли, гонения только увеличивались, и в 1937 году великий митрополит и священномученик закончил свою жизнь в страшном Лефортовском застенке, откуда никто тогда не выходил. Но до его гибели в течение 14 лет я часто с ним встречался и он мне многое поведал с тем, чтобы я в свое время все это передал всем любящим Дивеев. И когда я перед своим арестом и концлагерем прощался с моим наставником и благодетелем на праздник Богоявления в 1936 году в покоях Блаженнейшего митрополита Сергея, владыка Серафим плакал многими-слезами, обнимая меня и целуя еще раз, при этом напомнил мне о его завещании и благословил на служение Церкви в будущем.

Владыка знал, что мы больше уже не увидимся, то же высказал и митрополит Сергей, повторив несколько раз: «Неужели мы больше никогда не увидимся здесь, на земле?». Через два месяца я был арестован с группой духовенства и епископов на юге России и начался мой крестный путь. Владыку Серафима арестовали в этот страшный 1936 год, и, просидев больше года, он был замучен в Лефортовском застенке. Но священномученическую кончину задолго до этого предсказал ему сам старец Серафим Саровский, в видении в Дивееве в 1902 году. Об этом владыка сам мне рассказал в одной из наших бесед и думаю, что, по смирению своему, он только мне

одному и поведал об этом видении: «По окончании Летописи, – сказал владыка, – я сидел в своей комнатке в мезонине, в одном из дивеевских корпусов и радовался, что закончен наконец труднейший период подбора материалов книги по архивным записям современников преподобного Серафима. В этот момент в келию вошел преподобный, – и я увидел его как живого. «Понимаешь, – обратился владыка ко мне, – ни на одну секунду у меня не мелькнула мысль, что это видение, так все было просто и реально, но как же было велико мое удивление, когда батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за Летопись. Проси у меня все, что хочешь, за нее», – с этими словами он подошел ко мне вплотную и положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю: «Батюшка дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только так всегда быть около вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим. Только тогда я сообразил, что это было видение. Радости моей не было конца», – закончил владыка.

Батюшка Серафим обещал исполнить всякую просьбу, значит, и то, что владыка Серафим будет всегда в Царстве Небесном на тех же высоких сферах вместе с ним.

Каким бы ни был владыка Серафим великим святителем, Божиим архиереем, но надо было еще дополнить чем-то таким, чтобы быть там, в Царстве Небесном, около преподобного Серафима, – и он пошел на подвиг священномученичества, чтобы со священномученическим венцом быть там около преподобного Серафима.

Не об этом ли велел передать преподобный Серафим через матушку Евпраксию перед своей смертью: «Передай тому архимандриту Серафиму, который будет распорядителем во время моего прославления». На мой вопрос владыке – что же именно, владыка ответил: «Об этом буду знать только я».

Владыка Серафим застал в живых некоторых стариц, современниц преподобного Серафима, как, например, Ксению Васильевну, назначенную им церковницей Рождественских храмов, она же была ближайшей келейницей великой госпожи дивеевской Елены Васильевны Мантуровой.

В Дивеевском архиве хранилось много записей современников: 60 рукописных и 17 печатных. Все это было владыкой тщательно изучено и собрано воедино в его «Летописи», написанной за год до прославления преподобного Серафима.

Молитвами священномученика Серафима помоги мне, Господи, продолжить Летопись, по его завещанию мне.

1978 г. США

Торжества

Прежде чем приступить к продолжению Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря, хочу сказать коротко о том, что написано в «Летописи», изданной в 1903 году [второй раз], перед самым прославлением. Вся церковная Россия тогда ждала прославления преподобного Серафима, многие, многие. Сотни свидетельств об исцелениях, полученных людьми от батюшки Серафима, с запросами, когда же он будет причислен к лику святых, буквально стучались в Святейший Синод ускорить его канонизацию. Как ни бился совоспитанник благочестивейшего Государя, из знатного рода, Леонид Чичагов, накануне своего губернаторства оставивший все и принявший священный сан, доказывая, что Россия ждет такой канонизации, – решение о прославлении все откладывалось, пока Государь Николай II, ознакомившись с докладом протоиерея Чичагова, дал повеление: «Немедленно прославить!» Исполнилось предречение преподобного Серафима: «Того Царя, который меня прославит, – я прослаблю». Об этом и я слышал десятки раз от дивеевских сестер, так как были еще живы при написании «Летописи» монахини, современницы батюшки Серафима.

Священник Леонид Чичагов (впоследствии владыка Серафим) привел в «Летописи» множество свидетельств о чудесах преподобного. И люди поняли, что старец Серафим – святой, что было ко времени.

Повеление Государя о прославлении старца Серафима не подлежало никакому промедлению, и началась грандиозная подготовка к торжествам. Прежде всего надо было беспокоиться принять и обеспечить довольствием массы паломников. Владыка Серафим рассказывал мне: «Я знал, что со всей России прибудет колоссальное количество паломников, поэтому построил шесть четырехэтажных корпусов, конечно только для части паломников: духовенства, иночествующих и господ, потому что для всех невозможно было, ведь пришло и приехало на торжества прославления 300 тысяч паломников,

которые расположились на всех свободных от леса участках вокруг монастыря».

Государь объявил, что он прибудет с великими князьями. Три митрополита поспешили сообщить о своем присутствии на прославлении. Архиереев и духовенства притекло несчетное число. Государь на свои средства заказал неопишуемой красоты сень над гробницей преподобного. Четыре колонны, украшенные малахитом, яшмой, золотом, а рядом великолепные драгоценные лампы, все разные, именные; капители колонн сверху были украшены ликами. В общем, все украшено по-царски.

Подобного Саровским торжествам события в России не было. Когда начался крестный ход с мощами преподобного вокруг храма, весь народ плакал от радости, видя, как все великие князья во главе с Государем, во всей парадной форме, несли на своих плечах гроб великого угодника Божия, а самый лучший в России церковный хор воспевал гимны в честь прославляемого святого.

При этом сколько произошло исцелений – счету нет. Опишу только одно из них, о котором мне рассказал наш иеродиакон, у самой раки. Подвели к ступенькам гробницы человека, согнутого в дугу, так что голова его была недалеко от колен. Воцарилась гробовая тишина. Взоры были устремлены на страдальца. И вот подвели его и поставили на первую ступеньку сени, и он начал выпрямляться, в гробовой тишине раздался треск костей позвоночника, и больной стал выпрямляться во весь свой рост. Ужас объял предстоящих, раздалось неудержимое рыдание, так потрясло чудо. Болящий наклонился к главе батюшки Серафима, приложился и самостоятельно пошел. Люди целовали его одежды, ведь человека коснулась благодать Всесвятого Духа, целящего его по молитвенному предстательству преподобного Серафима.

И начались бесконечные паломничества в Саров и Дивеев. Монахи, помнящие это торжество, рассказывали мне, что они трое суток не спали и спать не хотелось, такое было состояние духовной радости. В Дивееве спасалось более тысячи инокинь, игуменией в ту пору была незабвенная Мария Ушакова,

украшенная четырьмя наперсными крестами, один – из Кабинета Его Величества. Дождавшись прославления батюшки Серафима, она вскоре отошла ко Господу, благословив на игуменство свою любимую келейницу и помощницу по управлению монастырем матушку Александру, про которую Феофан Затворник сказал, что «она – орел». Подлинно так! Орел поднебесный и по жизни и по управлению монастырем, поставленный Самой Царицей Небесной.

Чудотворный портрет матушки первоначальницы Александры

Вот что об этом портрете писал архимандрит Серафим, будучи сам прекрасным иконописцем: «Дивеевский собор украшался удивительной живописью собственной монастырской работы, нигде не встречаемой в других обителях во всей России. По молитвам преподобного Серафима Господь послал в Дивеевскую обитель нескольких сестер, между которыми в особенности отличалась и поныне стоит во главе Живописного корпуса мать Серафима. Ее кисть чрезвычайно нежна, дает настоящий свет и выражение лицам святых праведников и может быть всегда отличима от встречаемых других иконописных образов».

«В келии матушки первоначальницы находился портрет ее, сходство с которым удостоверяла ее послушница Евдокия Мартыновна, и еще ее портрет, скопированный дивеевскими монахинями, замечательный тем, что как сестры обители, так и посторонние лица видели, как он по временам оживает, улыбается, глаза блестят или, наоборот, делаются суровыми, грозными, тускнеют. Этот портрет, по бывшим при нем исцелениям, считается в обители чудотворным» («Летопись». С. 732). Так писал архимандрит Серафим. Могу засвидетельствовать и я, что этому портрету дана благодать «живого образа», к которому подводили нас, чтобы узнать, как надо встречать того или иного паломника.

Архимандрит Серафим писал, что нигде не встречаются такие «живые образá», а во время обновления икон в 1922–23 годах, как, например, в Таганроге, когда образ Спасителя в рост человека обновился и был настолько живым, что люди падали на колени, подходя к нему. Помню, упал на колени и я и простоял долго, и слезы лились безудержно – Спаситель стоял живой, каким он был в Святой Земле, воскрешая мертвых. Впечатления передать нельзя никакими словами – все земное не существует и вы чувствуете, что перед вами Творец мира, звездных миров, Господь всего сущего и на земле и на небе.

Потом, когда сняли серебряную ризу с иконы, образ оставался прекрасным, но уже далеко не таким, каким был во время обновления. Вот оно, проявление законов неземных.

Таков и живой дивеевский образ преподобного Серафима в главном соборе, к которому вели семь ступенек. Он был в серебряной ризе, что не мешало облику преподобного, – он был таким, какой батюшка Серафим теперь в Царствии Божиим – непередаваемый. Кстати, когда я увидел этот образ в Муроме (Дивеев был под запретом), небесный образ преподобного казался скорбным, под стать настроению сестер, живших уже в миру.

В один из моих приездов в Дивеев, в 1923 году, мне привелось жить, по благословению матушки игумении Александры, в очень хорошем доме у Наталии Давидовны, рядом с домом М. В. Мантурова. Она же готовила и обед на всю приехавшую «братию». Каждое утро я шел к дорогим могилкам у Казанской церкви и часто заходил в незабываемую келию матушки первоначальницы.

Войдя в келию и поцеловав по обычаю матушкин портрет, раз встречаю начальницу этого корпуса монахиню Эмилию, она взволнованно говорит: «Ах, какие милые молодые супруги только что ушли отсюда, видно было – очень любят друг друга, но молодая госпожа была какая-то странная, похоже, одержима злым духом. Мы ее подвели к портрету матушки, она поцеловала и, закричав, стала падать. Подхватив, отнесли ее на матушкину лежанку около печки, там она затихла, как бы уснула. Пролежав некоторое время, поднялась и стала совершенно здоровой, бодрой, радостной. Сказала: «Теперь все прошло!» Да это и видно было, и они начали от радости неудержимо плакать и рыдать, благодаря матушку Александру за исцеление. Плакала и я с ними, – продолжала матушка Эмилия, – говорю им: «Теперь идите, будете читать в знак благодарности житие матушки». Оно было короткое, в синем бархатном переплете с золотым крестом. Не могли дочитать до конца, хотя и читали попеременно, слезы душили их. Воистину портрет этот матушкин был чудотворным.

Царь в Дивееве

Подробности этого посещения Дивеева рассказала мне матушка-игумения Александра. Во время пребывания Их Величеств в Дивееве, при осмотре величественного собора и высказанного ими одобрения всего виденного, сестрами были пропеты тропарь и кондак преподобному Серафиму на чудеснейший дивеевский распев, композиции монахини Веры Чичаговой, управлявшей дивеевским хором из 40 инокинь. А он отличался поразительной гармоничностью, в нем совершенно не было слышно отдельных голосов. Игуменья, будучи знатоком церковных композиций, восхищалась дивеевскими распевами больше других – киевским, знаменным и т. д. Она подходила к хору, который на некоторые песнопения выходил к самому амвону, и пыталась услышать отдельные голоса, но не могла – их не было слышно. «Это ангельское пение», – сказала игуменья. Дивеевское пение наложило отпечаток и на матушкино церковно-певческое творчество.

Весьма понравилась Их Величествам дивеевская церковная живопись и иконопись – собор был расписан сестрами во главе с начальницей иконописной мастерской. Государь, создатель Комитета церковной живописи, ценил ведь не только академическую иконопись.

Дивеевский главный собор – Свято-Троицкий, правый придел в честь иконы Царицы Небесной Умиление, а левый, после прославления преподобного Серафима, был посвящен новоявленному угоднику Божию.

Во время прославления в Дивееве жила знаменитая на всю Россию Христа ради юродивая блаженная Паша Саровская, которую очень почитал архимандрит Серафим. Государь был осведомлен о Паше Саровской. Когда его экипаж подъехал к келии блаженной Паши, оттуда вынесли все стулья, на полу был расстелен ковер. Их Величества, князья и митрополиты едва смогли войти в келию. Параскева Ивановна сидела на кровати. Посмотрев на Государя, она сказала: «Пусть только Царь с Царицей останутся». Государь извиняюще посмотрел на

остальных, попросил оставить его и Государыню одних, видимо, предстоял серьезный разговор. Все вышли и сели в свои экипажи, ожидая выхода Их Величеств. Матушка-игумения выходила из келии последняя, но послушница осталась. Вдруг игумения слышит, как Параскева Ивановна, обращаясь к Царям, сказала: «Садитесь». Государь оглянулся и, увидев, что негде сесть, – смутился, а блаженная свое: «Садитесь на пол». Вспомним, что Государь был арестован на станции Дно! В великом смирении Государь и Государыня опустились на ковер, иначе бы не устояли от ужаса, который им преподнесла Параскева Ивановна. Она им сказала все, что потом исполнилось: гибель России, династии, разгром Церкви и море крови. Беседа продолжалась долго, Их Величества ужасались, Государыня была близка к обмороку. Наконец, она сказала: «Я вам не верю, этого не может быть!» Происходила встреча за год до рождения Наследника, которого так хотела Царская Чета. Параскева Ивановна достала с кровати кусок красной материи и говорит Государыне: «Это твоему сынишке на штанишки. Когда он родится – поверишь тому, о чем я говорила».

С того момента Государь начал считать себя обреченным на крестные муки и позже говорил не раз: «Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти Россию».

Не об этом ли самом и предупреждал отец Иоанн Кронштадтский. Он буквально не говорил, а кричал: «Вы не можете себе представить, что грядет на Россию!»

В Дивееве мы еще застали в живых казначею матушку Людмилу. Она нам сказала: «В катастрофе, происшедшей в России, виновны все: от Царя до последнего нищего!» Все сословия вели себя безрассудно, несмотря на многие предупреждения.

Жизнь монастыря до революции

Как ни величественны были годы начала XX столетия для расцвета благосостояния России, внешнего устройства Серафимо-Дивеевского монастыря, глубоко внутри страны таились злые силы атеизма, разнузданности, царило полное непонимание обществом назреваемых революционных событий. Что называется, ели, пили, веселились без меры, пока не разразилась страшная катастрофа.

И лишь благословенный Дивеев молча стоял перед своим большим Распятием на фоне черного сукна запрестольной стены в алтаре главного собора, чего не было нигде. Здесь как бы предчувствовали общую Голгофу всей России. Батюшка Серафим говорил своим дивеевским сиротам: «Страшное время идет на Россию, – я молил Господа отвести эту страшную беду, но Господь не услышал убогого Серафима». В записках князя Путятина, человека, очень близкого Дивееву, сохранилась запись о том, что, когда Н. А. Мотовилов спросил батюшку Серафима: «Когда же будет самое страшное время?» – он ответил: «Немного позже чем через сто лет после моей смерти».

«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» огромна по своему содержанию, на ее 850 страницах архимандрит Серафим собрал все: житие преподобного Серафима, события, начиная с жизнеустроения обители первоначальницей Александрой, замечательные начертания житий будущих святых дивеевских: схимонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой. Вошли в «Летопись» бесчисленные чудеса по молитвам преподобного Серафима, дивеевских блаженных, Христа ради юродивых – Пелагеи Ивановны, Параскевы Ивановны и Наталии Ивановны. Приведены письма митрополита Филарета, защищавшего Дивеев от происков Ивана Тихонова, много другого интересного материала. Это ведь не просто история монастыря, а история Четвертого удела Царицы Небесной.

Много в «Летописи» прекрасного, но и много скорбного, подвижнического.

Сестры монастыря при жизни батюшки Серафима терпели всякие притеснения как от саровских настоятелей, так и от лжеученика Серафимова Ивана Тихонова, от бедности монастыря, от нижегородского епархиального архиерея Нектария и многое другое. Конечно, монашеская жизнь не сладкая, а уж после смерти батюшки Серафима его дивеевские последовательницы стали полными сиротами. Только в настоятельство игумении Марии Ушаковой и стал Дивеев монастырь полным мира и радости для его насельниц. Ее преемнице, матушке Александре, выпала горестная доля после революции, при ней закрыли монастырь в 1927 году, и Дивеев «ушел в мир» под ее водительством и во многом благодаря ей продолжал существовать.

Страшные испытания и подвиги сестер во время революции

За беззакония людей началась катастрофа. Безумцы ломали дом, в котором жили, совершенно не предвидя, чем все это кончится.

Сильно пострадал и Дивеевский монастырь: были отобраны земли, питающие обитель, начался голод. Сестрам нечем стало заработать себе на хлеб. Остановились мастерские: художественные, рукодельные, – никому это не было нужно, все стали бедными. Прекратились паломничества и помощь благодетелей. Как же добыть пропитание? Обменивали у крестьян свои вещи, но надолго их хватить не могло. Монастырь начал таять. Матушка игумения пыталась спасти монастырские драгоценности, зарыв их ночью около игуменского корпуса и насадив на этом месте кусты. Но тщетно, комиссар-латыш пришел и объявил, что ему все известно. Ценности потеряны. Обессиленные голодом сестры шли по деревням, обменивая на кусок хлеба то небольшое, что они имели.

Как в таких условиях поддерживать монастырские порядки? Но ничего не было нарушено: ни продолжительные службы, ни чтение Псалтири в Рождественском храме, ни повечерия, параклисы и многое другое. Потом нэп, подвиги теперь были не по силам, кое-как дотянули до нэпа. Казалось, наступило постепенное возрождение: вновь стали работать и рукодельные мастерские, и живописные, и сельскохозяйственные. Появились первые богомольцы-паломники. Одними из первых, как нам говорили, приехали мы, Таганрогское молодежное братство.

Церковные события 1921–22 годов

Московский Церковный Собор, заседавший в 1917–18 годах, предвидя страшное разорение Церкви, призвал к жизни создание братств – ревнителей церковного благосостояния, в том числе и молодежные братства, которые были совершенно новым явлением в русской жизни того страшного времени.

Кровь лилась везде и всюду непрерывно. Расстреливались крестные ходы, таких случаев насчитывалось больше тысячи. Русь покрылась могилами священномучеников и исповедников. Ужас объял Русскую землю. Люди стали колебаться и отходить от своих устоев. Пошатнулась и Церковь, появились обновленцы и раскольники. Господь поддерживал веру православных людей многими знамениями: обновлялись кресты на церквях и иконы в храмах. Были явлены примеры мужественного стояния в истине, на личном примере Святейшего Патриарха Тихона и других исповедников. Живоцерковники, поддерживаемые властями, захватили во многих городах абсолютно все храмы. Тихоновцы остались без храмов и кое-где совершались лишь тайные богослужения.

Святейший Патриарх был арестован и находился под стражей в одной из башен Донского монастыря. Печальна и участь многих архиереев, которые не подчинились живоцерковному высшему церковному управлению. В провинции шли судебные процессы над архиереями и духовенством. Ярким примером этого был процесс епископа Арсения Ростовского и Таганрогского. Он, как и Святейший Тихон просил считать во всем виновным только его и не осуждать духовенство, которое выполняло его указы. На суде обвинитель кричал: «Тихон в Москве, а Арсений на Дону» – и требовал расстрела. Суд вынес решение: епископа Арсения расстрелять. Но поднялся такой страшный крик и в суде, и в огромной толпе возле суда, что за этим последовало: «Но принимая во внимание и т. д. – заменить 5-ю годами лагеря в Соловках».

Со Святейшим они так поступить не решились, так как в это самое время последовал ультиматум лорда Керзона: «Или прекратите гонения и освободите Патриарха, или будет немедленная интервенция». Такой язык звери понимали, и Святейший был освобожден. Но вернуться уже на Троицкое подворье в Москве ему не разрешили, и он остался под домашним арестом в одной из башен Донского монастыря.

Вскоре после его освобождения я имел счастье побывать в этой башне. Я привез Патриарху живописную картину алтаря нашей подземной тайной церкви и показал ему. Святейший поцеловал это изображение и сказал: «Господня земля и исполнение ея». После довольно длительной беседы Патриарх спросил: «Сколько человек посещает ваш храм?» Я ответил, что около 20 человек. «А что же должен делать весь народ? Нет, дорогой мой, как это ни героично, но надо думать о всем народе. Как бы ни было там хорошо, но наверху – лучше». Святейший был отец всего народа, а не отдельных групп.

По возвращении из Москвы побывал я в тюрьме и у владыки нашего Арсения. В Ростове у нас было полное смятение, никто ничего не понимал. Во главе епархии стоял прежний епископ Феофилакт, и многим казалось это вполне нормальным. Но то, что в это же время в тюрьме сидел владыка Арсений, смущало далеко не всех. Не смущало это и прозорливого старца Иоанна Домовского, строителя и настоятеля великолепного Александро-Невского собора. Владыка Арсений во время моего посещения сказал мне: «Пойдите к о. Иоанну и скажите ему от моего имени, что он не может так поступать. Живоцерковники – не православные».

Страшно было идти к о. Иоанну с таким поручением, так как он был не только прозорливец, но и целитель многих. Войдя в келию о. Иоанна, я остановился и сказал: «Отец Иоанн, я пришел сказать вам то, что поручил владыка Арсений». Когда я передал ему буквально слова владыки, о. Иоанн начал плакать и рыдать. «Передайте владыке, что я не знал всего, я хочу умереть православным», – сказал он в ответ. Вот какие страшные времена тогда были.

Владыка Арсений, получив 5 лет, был сослан на Соловки.

Не все архиереи так мужественно вели себя. Нижегородский епископ Евдоким молчал и ничем себя не проявлял и не протестовал, но тайно дал согласие на сотрудничество. В Дивееве об этом прослышали, и один из священников монастыря потребовал, чтобы общение с Евдокимом было порвано. Матушка-игумения отлично понимала, что это означало бы немедленное закрытие монастыря. К счастью для монастыря, она нашла полную поддержку соседнего Тамбовского архиерея Зиновия, человека совершенно непреклонного. И он приехал в Дивеев, не посчитался в такое страшное время с прежними каноническими нормами поведения епархиальных архиереев, и убедил матушку не предпринимать никаких шагов в этом деле. Положение было весьма неопределенное. Как раз в это время святейший Тихон был освобожден, и я попросил его послать матушке-игумении тот образ преподобного Серафима, который я принес с собой, с его надписью, что он посылает этот образ именно Дивееву. Матушка поставила эту простую икону преподобного Серафима в свой святой угол, показав его предварительно всем. Этим был нанесен сокрушительный удар части сестер, сторонниц раскола, во главе с протоиереем о. Павлом. Официально раскола не было, все шло по-старому, но о. Павел не принимал никакого участия в жизни монастыря, и какая-то часть сестер так и осталась в оппозиции.

На чем же настаивал о. Павел? Ни больше ни меньше как на тайных монастырских богослужениях, что в монастыре было совершенно невозможно.

Как раз тут-то мы и приехали летом и привезли картину тайной своей церкви, просили снять с нее живописную копию, что и было сделано. Эта новость сразу же облетела весь монастырь и утишила пыл и о. Павла, и сочувствующих ему сестер, так как всем стало ясно, что мы всецело преданы матушке-игумении и что Святейший Патриарх считает, что все нормально.

После освобождения Святейшего Патриарха он назначил на Нижегородскую кафедру митрополита Сергия, который приехал в Дивеев и вместе с епископом Зиновием служил в Дивеевском

соборе. Здесь я впервые и познакомился с митрополитом Сергием, будущим Святейшим Патриархом.

Как во времена иоасафовской смуты Дивеев перешел под власть Тамбовского епископа Феофана Затворника, так и теперь повторился тот же переход под покровительство Тамбовского Зиновия – великого архиерея, преданного сына матушки-игумении Александры. Границы епархий во времена гонений могут нарушаться, и их территории могут переходить к православному архиерею. Подобный случай был во время Диоклетиановых гонений: в Тавриде не было ни одного живого епископа, и тогда архиепископ, не имевший никакого отношения к Тавриде, прислал архиерея.

Икона Царицы Небесной Умиление

Икона Царицы Небесной Умиление, перед которой скончался преподобный Серафим, есть часть Благовещения, т. е. того высочайшего момента, когда *Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя* (Лк.1:35).

Эта икона сразу же после смерти батюшки Серафима была послана в утешение сиротам дивеевским Саровским игуменом Нифонтом. С тех пор икона была всегда в храмах Дивеева на главном месте справа. При первой же возможности была сделана драгоценная риза с камнями. Прекрасная копия этой иконы довольно большого размера находилась на Дивеевском подворье (Мещанская улица в Москве). Точнейшая же копия, сделанная той же начальницей живописного корпуса матушкой Серафимой, но уже в уменьшенном размере, находилась в игуменском корпусе. Когда после революции и всяких притеснений матушке-игумении пришлось сократить размеры своего корпуса, эта икона была перенесена на хоры Троицкого собора. В низу этой иконы в рамке есть надпись славянскими буквами: «Подобие святыя чудотворныя иконы Божией Матери «Умиление», перед которой в молитвенном подвиге скончался приснопамятный старец Саровской пустыни иеромонах Серафим 1833 г. января 2-го дня».

Нимб был сделан на ризе в виде расходящихся лучей сияния, состоявшего из драгоценных камней и жемчуга. Этот нимб был весьма искусно нарисован на совершенно черном фоне, на таком же, как и фон на большом Распятии в алтаре главного собора.

Эта игуменская копия была среди других икон вставлена в общий киот на уровне человеческих глаз, если стать перед ней на колени. Не знаю почему я в тот день во время Литургии пошел на хоры, где никого не было, и стал на колени. Стал как раз около этой иконы и вдруг увидел ее. Сердце мое затрепетало, это был такой прекрасный образ, каких я до того времени никогда не видал. Странная, ни на чем не основанная мысль у меня была в то время, – что это моя икона, икона всей

моей жизни. Я просил Царицу Небесную даровать мне эту дивную икону, хотя я отлично понимал, что эту драгоценную икону я не могу даже помыслить просить у матушки-игумении. После Литургии я пошел к матушке-игумении и еле выговорил свою просьбу. Матушка сказала, что это ее икона, и больше никаких слов не произнесла. Сердце у меня упало, но оставалась маленькая надежда, что, может быть, я получу эту икону в день своего Ангела, через несколько дней, в день преподобного Серафима. С трепетом ждал я этого дня. Был на Литургии, получил от матушки большую просфору и приглашение на чай после Литургии. Были там и другие богомольцы, настроение держалось праздничное, но я не смел повторить своей просьбы. Попрощался и ушел с еще меньшей надеждой, что, может быть, получу икону в день ее празднования – 28 июля. После того дня я должен был уезжать, а моя супруга и ее подруга Нина должны были еще остаться в Дивееве на целый месяц по приглашению матушки-игумении и на ее иждивении (наши деньги кончились). И вот в день празднования этой иконы я пошел попрощаться с матушкой-казначеей Людмилой. Узнав, что я сейчас уезжаю, она ужасно заволновалась, сказав, что я должен остаться в Дивееве еще на три дня: «Пойдите к матушке-игумении и скажите, что я прошу, чтобы вы остались еще на три дня», что я и сделал и получил благословение еще на три дня. Наступил день отъезда, 1 августа – праздник Креста Господня. Накануне на всенощной владыка Зиновий постригал в рясофор 20 молодых послушниц и я впервые видел такой постриг. Наутро после Литургии я попрощался с матушкой-игуменией и матушкой-казначеей и пошел прощаться с блаженной Марией Ивановной. Она благословила, но сказала: «Через час Царица Небесная будет в Дивееве». Я посмотрел на часы, чтобы запомнить. Пошел прощаться в рукодельный корпус. Там меня встретили очень приветливо, восемьдесят сестер встали и пропели мне в дорогу тропарь батюшке Серафиму и немного задержали меня разговорами. После этого я пошел в корпус дантисток прощаться, где нас всегда особенно привечали. Когда я там был, то увидел, что из игуменского корпуса идет послушница

матушки и что-то несет, покрытое белым покрывалом. Мы все насторожились. Нюша, теперешняя игумения Мария [Барина], открывает покрывало, и я вижу, наконец, мою любимую и просимую икону, и говорит: «Это вам от матушки-игумении». Я падаю ниц и целую икону. Вот уж истинно: «Прошел ровно час, Царица Небесная сейчас в Дивееве!»

Вне себя я мчусь к матушке-игумении, делаю земной поклон, благодарю, а матушка говорит: «Где бы вы ни были, до самого конца вашей жизни эта икона должна быть неразлучно с вами». С благоговением обещаю исполнить поручение, не зная, что таким образом эта икона будет сохранена и вернется в свое время в Дивеев.

Возвращаюсь в зубоветеринарный корпус, где все сестры в восторге от иконы. Даша, святая душа, говорит: «Чудотворная икона». Я, возвращаясь в Таганрог, боюсь выпустить из рук икону, вкладываю ее в походную мою подушечку и в усталости засыпаю. В Москве, на Дивеевском подворье, говорю матушке Анфимии: «Вот какую драгоценность я получил». Открываю и, о ужас! – бумажная икона прилипла к живописной иконе Умиление как раз по щеке Богоматери и по Ее руке. Я пробовал отдирать бумагу, не получается. Понимаю, что до Таганрога так оставить нельзя, надо сейчас что-то сделать. Сердце у меня разрывалось: отдираются мелкие частицы краски со щеки и руки Богоматери. Я плакал, но должен был продолжать это делать, надеясь: приеду домой, Нина, наша художница, замажет эти выщербинки и искусно поновит икону. Приехал в Таганрог, дома собрались все наши, я со слезами рассказываю все, как было, вынимаю икону и глазам своим не верю – ни малейших следов повреждения, все зажило, как на живом. Оказывается, иконы могут быть живыми! Все мои были потрясены.

Прошло 56 лет. Икона все время неразлучно была со мной во всех непростых путешествиях по Европе и Америке. Надеюсь, что она сохранится до конца нашего изгнания, а потом возвратится в Дивеев. Когда она была написана матушкой Серафимой, у меня нет сведений, наверно, когда кончилась смута в прошлом веке и начались работы в иконописной мастерской, то есть в семидесятых или восьмидесятых годах.

Вероятней всего, что это был подарок к 25-летнему юбилею игуменства матушки Марии и потом по наследству оставленный ее преемнице, матушке Александре Траковской.

Когда в 1927 году благословенный Дивеев, как и другие монастыри, был порушен и начался полный разгром Церкви, то мне показалось, что близок конец мира, хотя блаженная Мария Ивановна предупреждала меня за несколько лет до этого, чтобы я не спешил с таким умонастроением («еще не кончились сроки»), но страшный разгром Церкви, закрытие монастырей и глумление над мощами угодников Божиих – разве могли быть другие настроения? Это был страшный период антицерковных гонений, продолжающийся и донине. Так называемые раскулачивания, когда гибли десятки миллионов тружеников, когда вымирали целые деревни, – разве не летели мы в пропасть? Все эти ужасы коснулись и нас: наши братчики, и я в том числе, были арестованы и вместе с епископами и священниками отправлены в концлагеря. Русская Церковь вошла на Голгофу, неотвратимую, страшную. Полная тьма водворилась вокруг.

По выходе из концлагеря в 1939 году я вернулся к своей инженерной работе. В конце войны, в 1943 году, я был посвящен в сан священника и начал поминать на ектениях – точно монастырский священник: «Еще молимся о здравии и спасении матери нашей игумении Александры, а после ее кончины – игумении Марии со всеми ее сестрами». Считал себя дивеевским священником в изгнании, поминал в храме иногда тихо, иногда громко и абсолютно всегда на домашних вечерах, совершая их довольно часто во всю свою священническую жизнь.

Дивеев полвека был в миру. В страшное время гонений не угасла свеча и для монахинь, и для большинства русского народа.

Чудотворная икона Умиление, или Радость всех радостей, как называл ее преподобный Серафим, сохранялась все время у матушки-игумении в Муроме. Судьба ее наместницы, оставшейся в Москве, мне неизвестна, сохранявшаяся у меня

игуменская копия ждет своего возвращения в возобновленный Дивеев.

Дивеев ушел в мир, и этот период существования был подобен тому периоду, когда матушка первоначальница Александра, монахиня в миру, жила со своими сестрами возле приходской Казанской церкви.

Когда в США появилась возможность увеличить цветную фотографию до больших церковных размеров, я заказал увеличить таким способом иконы Умиление и преподобного Серафима и поместил их в том храме, где настоятельствовал, так же точно, как в Дивеевском соборе: Умиление перед солеей справа, а икону преподобного Серафима так же слева, на соответствующих возвышениях, как они были в Дивееве. Это было как бы далекое Дивеевское подворье, в лице его настоятеля и моей матушки, будущей инокини Марии, как регента хора с дивеевскими распевами. Нечто подобное было на Дивеевских подворьях: в Москве, Нижнем Новгороде, Арзамасе и, конечно главным образом, в Муроме, во главе с матушкой-игуменией Марией.

Попутно упомяну и о Казанской иконе Божией Матери – фамильной матушки первоначальницы Мельгуновой, которая потом была отдана в Казанскую церковь, когда матушка Александра перестроила ее из деревянной в каменную.

Когда разоряли Дивеев в 1927 году, блаженная Мария Ивановна сказала, чтобы Казанскую икону отдали иеромонаху Серафиму (Смыкову), пребывавшему в то время в Дивееве, после чего он ушел в полнейший затвор в Краснодаре до 1942 года. Во время бегства за границу в 1943 году он взял эту икону с собой и по дороге остановился у нас в Таганроге, где я и видел ее и хорошо запомнил. Она была в золотой ризе, с 16-ю настоящими уральскими изумрудами (смарагдами), низана жемчугом и украшена одним, на груди, синим сапфиром, в короне виднелись бриллианты и крупный рубин. Рубины поменьше были еще и в шести других местах иконы. В нимб вделаны еще 16 прямоугольных изумрудов и много рассыпано других мелких камней. Вообще это была поразительной красоты драгоценнейшая риза, так как имения, принадлежавшие

матушке первоначальнице, были огромные – находились на территории трех губерний. Добравшись до Югославии, уже в сане архимандрита, о. Серафим был там по приходе Красной армии арестован, икону отобрали. Затем она попала в руки торговцев, ее оценили в полмиллиона долларов. Православные люди пытались ее выкупить и объявили сбор, но ничего не вышло. Через много лет ее продали Фатимскому католическому монастырю за 3 миллиона долларов, и в настоящее время она является главной святыней Фатимского монастыря. Там ошибочно считают, что эта икона из Казанского собора в Петербурге только потому, что риза на ней драгоценная. Когда цветная фотография иконы, находящейся теперь в Фатимском монастыре, попала мне в руки в 1976 году, я сразу ее узнал по хорошо мне запомнившейся драгоценной ризе. Ошибки здесь быть не могло. В печати промелькнуло сообщение, что когда Россия воскреснет, эта икона будет монастырем возвращена в Россию. Вряд ли!

Камень, на котором 1000 ночей молился преподобный Серафим

По кончине батюшки Серафима все его вещи перенесли в Серафимо-Дивеевскую обитель. Туда же перевезли и обе его пустыньки: ближнюю и дальнюю. Дальнюю пустыньку обратили в алтарь Преображенской церкви. В Дивеев перевезли большой гранитный валун, на котором три года молился батюшка Серафим. В Дивееве он был разбит на части, и значительная его часть была отправлена в Москву на Дивеевское подворье, вмонтирована в стену часовни, на которой изобразили в натуральную величину моление батюшки на камне, причем камень был не нарисованный, а тот, подлинный. К нему вели ступеньки, и можно было видеть, как люди, прильнув к камню, просили помощи у угодника Божия.

Когда разбивали этот валун, получилось много больших и малых осколков, на которых сестры нарисовали чудеснейшие миниатюры: моление на камне преподобного Серафима. Мне достался камушек из рук матушки-игумении Александры. Известны чудесные случаи исцеления от воды, в которую опустили такой камушек. Например, из Ставрополя написали в Дивеев, что одна девица долго мучилась глазами, так что могла потерять зрение. Увидев у знакомой камушек батюшки Серафима, мать болящей стала просить дать ей на время камушек, чтобы, облив его водой, помочить глаза страждущей. Через неделю девица выздоровела и могла работать. А какое-то время спустя в том же городе заболел ребенок: умыли его водой от камушка и он выздоровел. Его мать увидела сон, в котором преподобный Серафим сказал ей: «Сын твой исцелен, но не от лекарства, а от той воды, которой умыла его твоя родственница». Эта вода преподобного была так же целебна, как и вода из его источника в Сарове.

Любовь народа к камушкам старца свидетельствует о многих случаях исцелений – не все же могли поехать на Саровский святой источник. Серафимовы камушки развозили паломники по всей России.

Чудеса молитвенных исцелений по большей части связаны не с одними только молитвами, но и с каким-либо действием. Как может человек решить, что исцеление его произошло только по молитве, а не с помощью воды преподобного Серафима? За тысячу дней молитвы на камне батюшка Серафим много собрал благодатных даров, которые потом щедро раздавал, раздает и теперь.

Написание житийных икон великих первоначальниц

Батюшка Серафим не раз говорил своим сиротам, что четверо мощей будут открыты со временем в Дивееве. В одно из наших посещений обители мы привезли большую житийную икону матушки первоначальницы Александры, написанную художницей Ниной Никаноровной Казинцевой. В центре иконы была изображена первоначальница, во многом повторяя тот образ, что украшал ее келию и считался чудотворным. Житийные сюжеты, а их было шесть – вверху явление Божией Матери Агафии Мельгуновой в Киеве (на фоне Великой лаврской церкви матушка коленопреклоненно получает благословение от Царицы Небесной на основание Четвертого удела Пресвятой Богородицы). Наверху справа – явление Царицы Небесной в Дивееве, у паперти деревянной Казанской церкви. На среднем ярусе слева – на фоне Казанской церкви, около келии матушки, она учит крестьянских детей вере в Бога. Справа – в темной келейке матушка молится у большого Распятия. Пятый сюжет – матушка получает икону первомученика Стефана, в честь которого она устраивает придел в Казанской церкви. Последняя житийная картина – в крохотной спаленке матушки, лежащей на смертном одре, на коленях предстоят инок Серафим и игумен Пахомий. Матушка поручает своих сирот преподобному Серафиму.

На этой житийной иконе взору паломников представлены все великие события из жизни матушки Александры. Эта житийная икона была нами подарена игумении, которая распорядилась укрепить ее на стене в келии первоначальницы. Тогда же этот образ был сфотографирован и размножен в 100 экземплярах, раздали монахиням и светским людям. Время ведь было дикое и издать изображение литографским способом не представлялось возможным.

Моя супруга Капитолина Захаровна, будущая монахиня Мария, тоже изограф, написала две житийные иконы – схимонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой.

Житийный образ схимонахини Марфы – Марии Семеновны Мелюковой – копировал точный облик ее, написанный сестрами сразу же после ее смерти в схиме (лицо ангельское). Напомню, схимонахиня умерла в 19 лет. Моменты из ее жития следующие: 1. Схимонахиня Марфа носит кирпичи вверх строящейся Рождественской церкви. 2. Батюшка Серафим постригает ее в схиму. 3. Батюшка Серафим с ней и другой инокиней с зажженными свечами молится о Дивееве. 4. Восхождение души схимонахини Марфы к Престолу Божию. 5. Царица Небесная и схимонахиня Марфа в видении в церкви. 6. Святые три могилки.

Житийный образ монахини Елены Васильевны Мантуровой в центре изображал сцену: Царица Небесная показывает Елене Васильевне Небесный Дивеев, со множеством сестер в золотых венцах. Другие сюжеты: 1. Дьявол в виде дракона нападает на Елену Васильевну в дороге, бросаясь к карете. 2. Устрашение бесами Елены Васильевны во время чтения Псалтири в храме ночью. 3. Батюшка Серафим благословляет Елену Васильевну умереть за брата. 4. Видение святых перед ее кончиной. 5. Елена Васильевна трижды улыбнулась в гробу. 6. Елена Васильевна видит благодетелей дивеевских в Небесном Дивееве.

Житийных икон, как известно, Византия почти не знала, это чисто русское создание, возрожденное в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне и в наше время возвращенное в Ново-Дивеево, а оттуда перенесено в Европу и в Германское братство в Америку. Повсюду это было дело рук моей матушки Капитолины Захаровны, под конец своей жизни принявшей постриг с именем Мария. Теперь в Германии можно услышать акафист блаженному Прокопию Любекскому Чудю, написанный мной и изданный в 1948 году. А в Америке в день прославления преподобного Германа (1968) сонм архиереев пел ему акафист, написанный тоже мной и изданный на русском и английском языке, и в тысяче оттисков распространялся его житийный образ, написанный матушкой Капитолиной. Так. мы несем дивеевское послушание в изгнании, оставаясь верными Матери-Церкви.

Знаменательная встреча с медведем в Саровском лесу

Эта встреча с медведем наших братчиков осталась в памяти Саровской и Дивеевской обителей, об этом сестры долго рассказывали притекавшим паломникам.

Трое наших братчиков шли по дороге из Сарова в Дальнюю пустыньку и вспоминали рассказы из «Летописи», как батюшка Серафим кормил из рук страшного медведя. Один из наших братчиков сказал: «Вот было бы хорошо, если бы батюшка Серафим и нам показал бы медведя на воле». Прошло несколько минут, и страшный медведь вышел на дорогу, смотрит на них. И что же – испугались они и бросились бежать? Да, бросились бежать, только не от него, а к нему с криком: «Мишенька, ты послушался батюшку Серафима и вышел к нам навстречу!». А Мишенька побежал от них в гущу леса, они остановились и на коленях благодарили батюшку Серафима, что он исполнил их, можно сказать, детскую просьбу – показать медведя.

Старожилы уверяли, что медведи весьма редко появлялись перед людьми в Саровском лесу.

После паломничества наших братчиков, на следующий год, приехали другие из нашего братства, побывали у о. Афанасия в Дальней пустыньке. Он рассказывал им: «После того случая с медведем я подумал: вот приехали молодые люди и батюшка им показал медведя, а я вот живу тут 40 лет и батюшка никогда мне медведя не показал. И что ж получилось. Пошел я поздней осенью собирать ладан с кедров и заблудился. Кругом топь болотная, а уже темнеет. Взобрался я на поваленную большую сосну и иду, засмотрелся и поскользнулся у вывороченного корня и... упал прямо на спавшего медведя в берлоге. Медведь от страха страшно заревел, бросился на меня. Я пробежал до конца ствола, кругом топь, остановился и кричу: «Батюшка Серафим, спасите!» А медведь добежал до меня и ревет мне прямо в лицо, да так страшно. Я стою ни жив ни мертв, только молюсь: «Спасите, батюшка!» Обойдя несколько раз вокруг

меня, медведь ушел в лес, и я, весь дрожа от страха, добрался до пустыньки и там вспомнил: это мне за обиду на батюшку, что до того времени он не показал мне медведя».

Чтение житий первоначальниц в келии матушки Александры

Начиная с 1922 года, как уже упоминал, началось великое паломничество в Дивеев. Этому сильно способствовало послабление Церкви при нэпе, и люди со всех концов России хлынули к оставшимся святыням.

Много архиереев, живших в это время в Москве по вызовам ГПУ, спешили побывать в Сарове и Дивееве, испросить там заступничества преподобного Серафима. Некоторые архиереи, особенно из близлежащих городов, побывали в Дивееве по несколько раз. Почти в каждый наш приезд на неделю и больше мы сподоблялись чудесных архиерейских богослужений, а иногда их было и два, и три. Часто можно было видеть митрополита Сергия Нижегородского и епископа Зиновия Тамбовского. Видели мы там и Филиппа Звенигородского, и Серафима (Звездинского), и многих других. А духовенству – не было счету.

Чувствовала Русь православная, что надвигаются страшные времена и как бы спешила побывать в святых местах. Но самое поразительное явление той поры – паломничества молодежных братств, так что наше братство не было исключением. В Дивееве мы перезнакомились и с киевским молодежным братством во главе с его руководителем о. Анатолием Жураковским, и с нижегородским, и с другими.

Притекли молодые паломники воспеть славу батюшке Серафиму, матушке Александре, воспеть великую славу Четвертому уделу Царицы Небесной, этому земному отображению Небесного Иерусалима, пришли не в старости, убедившись в тщетности всех земных ценностей, а в расцвете своих молодых сил, чтобы поклониться до земли богоносцам. Среди паломников немало было таких, кто хотел бы избрать монашеский путь, если благословит Царица Небесная, – кому среди сестер обители, а кому быть монахами и монахинями в миру.

В основном все это была студенческая молодежь, невиданная раньше среди паломников, полная смирения, любви к Господу и к ближним своим – братьям и сестрам. «Неужели, – удивлялись насельницы обители, – кроме вас и эти юные мальчики пришли сюда ради любви к Господу и Его монашескому миру?» Да, можно было бы ответить теперь! Один из них, Вася Потапов, был истинным монахом в миру, не женился, потом стал доцентом авиационного института в Москве и умер 30-ти лет в Туркестане, завещав похоронить его со священником, на удивление всем-своим студентам. Другой Вася, Степыкин, был сослан в концлагерь как член нашего братства и умер в лагере.

Вечная память третьему таганрогскому нашему брату, Афанасию, написавшему гимн Дивееву и расстрелянному немцами в войну. Четвертый наш брат – Николай Куркумели принял мученическую кончину в лагере. Все они своей смертью и жизнью засвидетельствовали свою верность Христу Спасителю.

Как жаль, что во время гонений 1937 года погибла летопись таганрогского (молодежного) братства. Многие в ней было захватывающе интересно, так как вся она была написана в высоко духовных тонах. Одно только утешение, что ее прочли матушка-игумения и многие дивеевские сестры, когда мы привозили ее в Дивеев, и напрасно потом взяли назад – у сестер, может быть, она лучше бы сохранилась. В ней были описаны все наши поездки в благословенный Дивеев, так как наше братство тесно связано с Дивеевом. Как нам радостно было услышать из уст блаженной Марии Ивановны: «Они не свои, они Царицы Небесной “Умиление”». И еще однажды: «Батюшка Серафим и матушка Александра пошли провожать своих мужичков (т. е. нас) до Мантуровской рощи».

А когда умер в Таганроге наш брат Боря, 19-ти лет от туберкулеза, и мы, будучи в Дивееве, сообщили об этом матушке-игумении, то она дала распоряжение поминать его во всех местах Дивеева, где шли чтения Псалтири. Блаженная Мария Ивановна тогда сказала нам: «Боря похоронен не в Таганроге, а в Дивееве, он своей болезнью и чистым сердцем

заработал себе золотой венец». Да, чистая, золотая душа была у Бори. Умирая, он приподнялся на постели и глаза его засветились великой радостью. Он протянул руки, по-видимому, к батюшке Серафиму, и скончался.

Но самый лучший жребий выпал на долю моей матушки Капитолины, которая удостоилась за две недели до своей кончины быть постриженной как сестра Серафимо-Дивеевского монастыря, с именем Мария. Ведь именно ей матушка-игумения предрекла быть сестрой благословенного Дивеева. День Ангела ее стал 22 июля, память равноапостольной Марии Магдалины. Она всю жизнь была истинной монахиней в миру.

Как некогда пришли мудрецы с Востока, чтобы поклониться Младенцу Христу, и принесли дары: злато, смирну и ладан, так и эта молодежь, когда-то далекая от Церкви, пришла в Дивеев, чтобы поклониться Граду Царицы Небесной, и принесла сюда свои дары: любовь и почитание. Другого они ничего не имели. А любовь у них выразилась в том, что они старались делать все, что от них зависело: принесли житийные иконы первоначальниц, свою любовь к Дивееву, которую высказал брат наш Афанасий в послании, прощаясь с Дивеевом. Когда я его прочел в собрании молодых интеллигентных сестер, то они громко разрыдались. Был и еще один дар, о котором тоже упомяну.

Когда мы читали в «Летописи» жизнеописание великих первоначальниц, то слезы неудержимо катились из наших глаз. И вот мы что надумали: поручили нашим младшим сестрам сделать выписки из «Летописи», переплели их в особую книжечку, чтобы и другие паломники, читая наши выписки, могли поплакать.

И вот младшие наши сестры начали выписывать понравившиеся места на хорошей бумаге, красивыми большими буквами, чтобы легче было читать. Переплели книжечку в бархатный переплет с золотым крестом и повесили, по благословению игумении, возле житийных образов первоначальниц, чтобы руководители групп паломников, обычно священники, тут же их вслух читали, усевшись кто на ступеньках входа в матушкину келию, кто просто на полу, а некоторые стоя.

Матушка Эмилия, начальница этого корпуса, заботилась об организации таких чтений.

На этих чтениях некоторые незаметно смахивали слезы, потом начинали тихонько плакать, плач подхватывали другие и чтение приостанавливалось – невозможно было слышать из-за плача. Делали перерыв, чтобы немного успокоиться, а затем продолжить чтение. Эта особенность Дивеева не исчезала до самого закрытия монастыря. Такие сладкие слезы запоминались надолго.

Домик матушки Александры

Незабываем домик матушки Александры, где она начала полагать создание первого монастыря. Если этот домик будет разрушен, я восстановлю его по памяти с малейшими деталями, потому что все последующие годы, то есть 55 лет, я мысленно всегда бывал в этом драгоценнейшем для меня месте и помню все точные размеры и детали, а житийный образ матушки всегда висел над моей кроватью.

Незабываемо было для меня, но и не удивляло, когда я читал о том, как настоятель Казанской церкви о. Василий Садовский, обдумывая детали ремонта храма, вдруг увидел: в алтарь вошла матушка первоначальница. А ведь после ее смерти прошло очень много времени. Отец Василий ни на минуту не подумал, что этого же не может быть и три часа они обсуждали, что и как делать. О том, что это было видение, отец Василий понял лишь когда оно исчезло.

В домике матушки Александры потом жили и схимонахиня Марфа, и монахиня Елена Васильевна, хотя и числилась настоятельницей Девической киновии в пределах канавки. Не захотела подвижница покидать это благодатное место. Матушка Александра прожила в этом своем домике год и умерла в нем в 1789 году.

Матушка Александра была тайной монахиней почти всю свою жизнь и по совету киевских старцев именовалась своим светским именем – Агафией Семеновной. Только за неделю или две до смерти была пострижена в великий ангельский образ – схиму во время вечерни казначеем Саровской обители о. Исаией, с именем Александра.

Нужно понять то страшное для монастырей время, когда при Екатерине было закрыто 500 монастырей и насельники были совершенно бесправны.

В Дивееве постоянное присутствие матушки Александры так же ощутительно, как и батюшки Серафима. Почти в каждой келии имелся ее или живописный, или литографический портрет. Прием паломников всегда начинался с приведения их к

портрету матушки. Посещение ее могилки было неопустительное. Даже когда настало время назначить новую начальницу ее корпуса, после смерти предыдущей, то сама матушка Эмилия рассказывала мне: матушка-игумения накануне видела сон, что собрались все сестры, и матушка первоначальница говорит: «Где же моя Эмилия, мне нужно монахиню Эмилию». Она и была назначена начальницей, и это оказалось очень удачно.

Теперь приведем несколько случаев, когда матушка Александра являлась людям и как она исцеляла многих. Мы уже приводили случай с отцом Василием Садовским. Всего не перечислить. Но видение матушки Александры затворнику иеромонаху Серафиму (Смыкову) в Краснодаре в 1942 году мне хотелось бы привести. Отец Серафим только что вышел из 12-летнего затвора, и я, узнав об этом, отправился к нему. Очень духовно мы побеседовали. Через некоторое время я опять зашел к нему, и он прямо кинулся ко мне и говорит: «Как вы счастливы!» – «Чем же, отец Серафим?» – «Сегодня ночью я видел матушку Александру в видении и она говорила мне о вас. Я в страшном удивлении воскликнул: «Матушка, вы знаете Степана Николаевича?» Я спросил о. Серафима: «Что же матушка ответила?» – «Этого матушка не велела говорить!» Так и осталось тайной. Отец Серафим, уже в сане архимандрита, присутствовал на моем рукоположении.

Вспоминается и такой случай. Когда наши таганрогские братчики в духовном восторге рассказывали батюшке архимандриту Иосии о наших поездках в Дивеев, то батюшка сказал, что в следующий раз поедет вместе с нами. До этого о. Иосия так хотел вернуться на Афон, столь им любимый, но не мог. А ведь Дивеев – такой же Удел Божией Матери, как и Афон, и он, взяв меня с собой, зимой отправился в Дивеев и Саров. Был январь месяц, зима держалась снежная. Спешили мы очень. В Ардатове наняли деревенские сани, под вечер отправились. И в снежную метель заблудились и замерзли основательно. Не знаем, куда ехать, все замело. Остановились и, о ужас! – волки, вот натерпелись страху. А один волк вдруг

залаял, оказалось, это собаки, и мы были счастливы остановиться в той деревне.

В Дивееве нас встретили с большой радостью и любовью. Отца Иосию приглашали наперебой все, принимали жителя Второго удела Божией Матери как своего и близкого. Остановились мы в Казначейском корпусе, и батюшка Иосия, очутившись в родной монашеской обстановке, был счастлив.

В Дивееве все с радостью слушали батюшкины рассказы о наших тайных службах, так как в Таганроге в это время все храмы были захвачены живоцерковниками. Всенощная шла в теплом Тихвинском храме Дивеева и так чудесно пел большой дивеевский хор «Честнейшую Херувим», что забыть нельзя.

Преемство жребиев Пресвятой Богородицы

Когда Христос Спаситель возносился на небо, Он повелел апостолам, чтобы они шли и научили все народы, наченше от Иерусалима, – крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостолы бросили жребии: кому в какую страну идти. Пресвятая Богородица тоже взяла свой жребий, и Ей выпала земля Иверская, которую Она и просветила, послав туда вместо Себя юную девицу Нину, просветительницу Грузии.

При избрании Богоматерью Афонской горы Своим Вторым жребием Иверский монастырь и Иверская икона Пресвятой Богородицы были первоначальными святынями Афона. Когда Царица Небесная основывала Свой Третий жребий – Киев, то вывела из Афона Антония и послала его в Киев, как Она Сама сказала об этом матушке первоначальнице: «Я пришла возвестить тебе волю Мою: не здесь хочу Я, чтобы ты окончила жизнь твою, но так как Я раба Моего Антония вывела из Афонского жребия Моего, Святой горы Моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал новый жребий Мой – лавру Киевскую, так тебе ныне глаголю: изыди отсюда и иди в землю, которую Я покажу тебе. Иди на север России и обходи все великорусские места святых обителей Моих, и будет место, где Я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и прославлю имя Мое там, ибо в месте жительства твоего Я осную такую обитель великую Мою, на которую низведу все благословения Божии и Мои, со всех трех жребиев Моих на Земле: с Иверии, Афона и Киева». И преста видение.

Четвертый избранный удел Божией Матери есть последний перед концом мира. От него, по воскресении России, засияет свет по многим местам возрождающейся России. Россия ведь – Дом Пресвятой Богородицы – была, есть и будет до скончания века, только формы страны меняются. Россия была после избрания глубоко монашеская – не только киево-печерские подвижники были непревзойденными светочами народу русскому, не только они дали святых святителей на многие кафедры. Игумен всея Руси преподобный Сергей Радонежский

излучал святость во все концы крепнущего государства. А в наше время на крови новомучеников крепнет вера.

Что же будет при возобновлении Дивеева?

В жизни Серафимо-Дивеевской обители, как и в жизни государства и даже отдельных людей, бывают периоды большого подъема и периоды упадка. Этот общий закон не был чужд и благословенному Дивееву.

Еще в далекие времена матушки первоначальницы ей были даны Богородицей великие обетования о будущей славе и величии этого Четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве.

Если войти в келию матушки Александры, в ее убогую избушку в Дивееве, около церкви Казанской иконы Божией Матери, то сразу станет ясным трудный и скорбный путь этой великой избранницы Царицы Небесной. В доме были две комнатки и две каморки. В одной каморке находилась около печки небольшая лежанка, сложенная из кирпичей, около лежанки оставалось место только чтобы в свое время там умиравшей матушки мог стать настоятель Пахомий, приехавший из Сарова причастить ее Святых Таин, и на коленях перед матушкой иеродиакон Серафим, получивший от нее благословение заботиться о дивеевских сестрах. Больше там не было места. Тут же была дверь в темную каморку-молельню матушкину, где уже могла поместиться на молитве одна матушка перед большим Распятием с затепленной перед ним лампадой. Окна в этой молельне не было.

Молитвенное созерцание матушкино перед Распятием наложило отпечаток на весь дух жизни дивеевских сестер. Молитва на мысленной Голгофе, сострадание Распятому Христу – самая глубокая из молитв, отблески ее видят все православные христиане в Страстной четверг вечером и в пятницу на Плащанице.

Как только была построена первая монастырская церковь Рождества Христова, еще при жизни батюшки Серафима, на Царских вратах, возможно, по его указанию, было вделано большое Распятие по всей величине этих высоких врат. Перед

Распятием день и ночь горела лампадка и неусыпно читалась Псалтирь. Когда же построили большой летний собор, то всю заалтарную стену в нем занимало на фоне черного сукна большое Распятие. Ничего другого на заалтарной стене не было. Изображение Голгофы было видно со всех мест собора. Такого зрелища никогда нигде не было во всей России. Это напоминало предстояние на Голгофе Божией Матери, Иоанна Богослова, равноапостольной Марии Магдалины и других жен-мироносиц. Такое сочетание меня поразило больше всего. На этих молитвенных подвигах матушки Александры перед Распятием, а затем и всех ее сестер создавался благословенный Дивеев. Поучительна и добровольная нищета матушки, которая построила Казанскую каменную церковь, на ее же средства закончилась и постройка саровского Успенского собора, и во многих местах были матушкой построены храмы Божии. Сама же она приняла подвиг добровольной нищеты Христа ради. В Екатерининскую эпоху разорения монастырей нищета всюду была страшная. Россия переживала свою голгофскую эпоху, потому и молитва была голгофская.

В один из наших приездов в Дивеев я привез около 20 совсем миниатюрных Распятий; которые сделал сам: купив много иконок Голгофы на Афонском подворье в Таганроге, наклеил их на фанеру и лобзиком аккуратно выпилил изображенные фигуры. Выпиленные места покрасил в тот цвет, какой был там же на иконке: цвет креста, одежды Богоматери и Иоанна Богослова. К каждой иконке сделал подставку. Получилось красиво, и главное, можно было поставить Распятие в святой угол. Матушка-игуменья очень обрадовалась этому подарку, поставила это маленькое Распятие в свой святой угол, остальные раздала сестрам. Я не мог понять восторга матушки, так она обрадовалась подарку, и только позже понял, что это же изображение в духе их молитвенных подвигов. То было за несколько лет до закрытия монастыря и ухода всех сестер в мир на свою Голгофу.

Я приехал в Нижний Новгород по приглашению тамошнего молодежного братства, подобного нашему, и не застал возглавителя – был в отъезде. Его пустовавшая комната была

предоставлена мне для ночлега. Каково же было мое удивление, когда на его письменном столе я увидел прекрасно исполненное дивеевскими сестрами Распятие, стоявшее прямо на столе. Та же дивеевская идея молитв у Голгофы! Этим духом было проникнуто все нижегородское братство, глубоко монашеское братство в миру.

Построение нового собора

Когда в 1922 году мы впервые попали в Дивеев, то увидели почти законченный новый великолепный собор, которому предстояло великое будущее. Недоставало лишь внутренней отделки. Этот собор особенной красоты, красивей которого мы нигде еще не видели. Он устремлен ввысь, как бы приготовился вознестись на небо, о чем батюшка Серафим и предсказывал, что когда придет антихрист и подойдет к собору, то он вознесется на небо, а кто в нем будут недостойные – те будут падать на землю. То будет уже перед Страшным Судом, как одно из последних апокалиптических чудес. Собор это предречение святого Серафима и воспроизводил своим видом. Все в нем было гармонично прекрасно. Все! Даже его строитель, г. Долгинцев, отдавший все свое богатство на строительство собора, а его единственная дочь стала схимницей матушкой Серафимой, – духовное украшение монастыря. Когда ее пришли арестовывать, она попросила только разрешения взять с собой маленькую иконку преподобного Серафима, Редко кто видел эту матушку, она была почти затворница, но все о ней знали и любили и чтили ее. Мы ее уже не застали в Дивееве, была ли она уже на небесах или продолжала свой крестный путь – не ведал никто.

Собор стоял у канавки Царицы Небесной. Он был по величине такой же, как и летний холодный Свято-Троицкий собор, и создавал великолепный монастырский ансамбль града Царицы Небесной, обнесенного белой стеной. Все это напоминало городок древней Святой Руси. Ведь в Дивееве в ту пору жило более тысячи монахинь. Духовенство жило за оградой монастыря. А священников было три, не считая отщепенца о. Павла, который днем никогда в монастыре не появлялся.

Если б не мятежные годы, то, наверное, не было бы и мгновения, чтобы где-нибудь не совершалась служба. Церквей ведь было много: Свято-Троицкий собор, Тихвинская зимняя церковь, Преображенская кладбищенская церковь,

первоначальные церкви Рождества Христова и Рождества Божией Матери, церковь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, построенная еще матушкой Александрой. Это была бы обитель неусыпающих, какая имелась в Царьграде.

Тихим летним вечером можно было видеть, как сестры, выйдя на крыльцо своего корпуса, читают повечерие, устремив взор прямо на небо, как батюшка Серафим молился в лесу.

Новый собор внешне уже был достроен, даже большие золоченые кресты украшали уже его главы, кресты эти – дар петербуржцев, среди которых были собраны пожертвования братьями Арцыбушевыми: Михаилом Петровичем и Петром Петровичем.

С сердечным трепетом вошел я внутрь этого собора, там шли какие-то плотничьи работы, стены еще были белые, но какой восторг вызывала сама архитектура собора, устремленного в небеса! Я погрузился в раздумья – какие здесь будут во времена антихриста события? Мысль уносилась в недоступные времена. Я припомнил, как я бывал в древнейших храмах: в Великой церкви в Киеве, построенной по повелению Богоматери как Третий Ее удел. Там начиналась Русская Церковь, а здесь она кончится. Был на службе в пещерной церкви Киево-Печерской лавры, в той крохотной церкви, где молились преподобные Антоний и Феодосий: святое место сильно возвышало душу и создавало непередаваемую духовность. Не забыть никогда! Но самое сильное чувство было в храме в Керчи (древний Боспор), который посетил святитель Иоанн Златоуст, описав свои впечатления в письме к диакониссе Олимпиаде. Храм тот древний, древнее, чем Святая София Цареградская, построенная в 534 году. В Боспорском храме на одной из колонн имеется надпись: «Здесь похоронен священник (по нашему летосчислению) в 303 году». Служба здесь шла, как и тогда, на греческом языке, и грек-священник после службы давал мне объяснения.

Чувства, которые я переживал в новом дивеевском соборе, были схожи с теми, которые я имел при посещении этих древних храмов.

Канавка Царицы Небесной в Дивееве

Что представляла собой канавка вокруг киновии? Она была создана в последние годы жизни старца Серафима. Батюшка очень торопился с устройством этой канавки, то есть той дорожки, по которой прошла Царица Небесная. Батюшка прислал цветочных семян для украшения канавки. Позже внутри Канавки на территории киновии были посажены деревья, и в 1922 году они были уже могучими и красивыми.

Какое это было благодатное чудо: идти по канавке с четками в руках, читая 150 раз молитву «Богородице Дево, радуйся!» Особенно под вечер, когда стихает вся дневная озабоченность и наступает полная тишина, и небо становится как-то ближе к земле, когда медленно движутся молящиеся по канавке, как будто бы это происходит не в наш суматошный век, а в древней Святой Руси. Русь создала сказание о Китеже-граде, это была ее вековая мечта – уйти от грешного мира. Но здесь была не мечта, а истинная реальность, здесь было истинное богообщение небожителей с людьми. На канавке бывали истинные видения батюшки Серафима и других святых и праведных людей, здесь все жили духовной жизнью и духовными радостями. Здесь небо сходилась с землей! Здесь «шла брань с духами злобы поднебесной», которые всячески пугали подвижниц и тех, которые хотели следовать их путем. Даже паломники были страшены при темноте бесовскими явлениями, но всех ограждала благодать Божия, по молитвам батюшки Серафима и матушки Александры. Наш дорогой братчик однажды ночью встретил на канавке фигуру в два этажа ростом и ужаснулся, но тотчас ужас сменился полным миром душевным – батюшка Серафим никого в обиду не давал.

По Канавке шли паломники, повторяя путь Богоматери, шли монахини, священники и архиереи, шли умиротворенные, одухотворенные, набравшиеся духовных сил для трудного жизненного пути в то страшное время. Шли с незабываемыми впечатлениями на всю жизнь. Многие брали горсточку земли с канавки, и иногда она их ограждала от вражьих нападений.

Канавка была сделана четырехугольником, и на углах нами были сделаны, по древнему обычаю, на столбах красивые резные башенки со вставленными в них иконами Богоматери, идущей по этой канавке. Башенки были съемные и на ночь снимались сестрами. Подходя к ним, паломники крестились и кланялись. Это было им видимое напоминание, что здесь прошла Царица Небесная. Как трогательно все это!

Блаженная Мария Ивановна

Батюшка Серафим говорил, что блаженные никогда не переведутся в Дивееве. Так оно и получилось. Когда была близка кончина Пелагеи Ивановны, в Дивеев пришла Параскева Ивановна, но блаженная Пелагея, выглянув в окно, погрозила ей кулаком. Параскева спросила: «Что, еще рано, матушка?» И последовал ответ: «Еще рано».

Когда мы были у Марии Ивановны, то ее послушница рассказывала нам, как блаженные сменяют друг друга. Вот когда Параскева Ивановна умерла, ей на смену пришла Мария Ивановна. Слушая наш разговор, Мария Ивановна заявила: «Да, я тогда и заявилась». Это было в 1915 году, в год смерти Параскевы Ивановны, известной Паши Саровской.

Рассказывали сестры, что в ночь с 4-го на 5-е июля 1918 года, то есть в ночь мученической кончины Царской Семьи, Мария Ивановна страшно бушевала и кричала: «Царевен штыками! Проклятые жида!» Неистовствовала страшно, и только потом выяснилось, о чем она кричала. Значит, она знала, кто приказывал и кто был исполнителем этого чудовищного преступления, искупление за которое до сих пор несет русский народ, допустивший это!

Про Марию Ивановну говорили, что она сорок лет перед приходом в Дивеев прожила под мостом в непрестанной молитве.

Матушка-игуменья Александра часто посылала спрашивать Марию Ивановну по разным недоуменным вопросам. Сестры ее очень почитали не только потому, что имели в своей обители опыт трех предшествовавших блаженных. Я видел, как от нее выходил какой-то партийный, крестился со страхом и говорил: «Великая раба Божия!»

Со страхом и мы входили первый раз к Марии Ивановне. Я шел последним, и Мария Ивановна, приподнявшись, указала рукой на меня: «Вот тот высокий парень на моего свояка похож!» Послушница говорит: «У тебя никакого свояка нет». «Ты там много знаешь», – ответила она. Только позже выяснилось, о

чем говорила Мария Ивановна. Обнимая мою супругу Капитолину Захаровну, она произнесла: «Машенька, доченька!» Тем самым предрекала ее монашеское имя. Если она доченька, то ее муж вроде бы как свояк. Так это или не так, у блаженных ведь не допросишься.

Однажды мы пришли, а Мария Ивановна молчит. Келейница и говорит: «Ты бы что-нибудь, мамашенька, сказала бы». Молчит. «Ты вот пела владыке Тихону Уральскому, спой и им». «Он скорбный, потому и пела» (после Дивеева владыка Тихон поехал в Москву и след его пропал). Желая вызвать Марию Ивановну на разговор, келейница в ответ: «Они тоже скорбные». Блаженная махнула рукой: «Какие у них скорби, что чемодан сперли в дороге». Факт такой в действительности был в прошлый приезд.

Но никогда не забуду ее золотые слова, сказанные о нас: «Батюшка Серафим и матушка Александра пошли провожать своих мужичков даже до самой Мантуровской рощи». Больше, чем на батюшкиных и матушкиных «мужичков» мы и не претендовали.

И еще незабываемые слова Марии Ивановны: «Боря похоронен в Дивееве, он заработал себе золотой венец» (о нашем братчике).

Был еще пример большой ее прозорливости. Произошло это после того, как наш батюшка о. Иосия побывал в Дивееве. О чем он говорил с Марией Ивановной, нам неизвестно. Но когда мы очередной раз были в Дивееве, пришло сообщение, что наш батюшка о. Иосия арестован. Мы прибежали к Марии Ивановне сказать об этом и просить ее молитв. Она пришла в страшный гнев, подняла руки кверху и закричала: «Ах они проклятые, да какое они имеют право, а Иверская икона на что? Еще не вышел такой декрет». «Декрет» вышел только через 12 лет, когда батюшка был арестован и сослан в Зырянский глухой край. Мария Ивановна заметно успокоилась и сказала, что все обойдется благополучно. Так и получилось, батюшку продержали только два дня. Иверская икона (Афонская) всегда покровительствовала о. Иосии: было предзнаменование, что батюшка уйдет на небо именно в день Иверской иконы. Так и

случилось – 12 февраля 1939 года он скончался в ссылке, а на третий день душа его прилетела в Таганрог прощаться. Он благословил свою духовную дочь Капитолину, прервав ее сон. Был такой помолодевший, такой сияющий радостью и удалился светлым путем прямо на небо. Так молитвами Марии Ивановны отец Иосия получил большую отсрочку его ссылки.

Я не знаю точно, когда Мария Ивановна скончалась. Но когда мы посетили матушку-игумению, уже в миру (Муром, 1933), то в храме древнем, где бывали сестры, мне показали ее преемницу блаженную Серафиму Ивановну. Она подошла ко мне и пристально на меня посмотрела. Я поклонился. Вне храма я ее не видел.

Слова старца Серафима, что «блаженные в Дивееве не переведутся», исполнялись и тогда, когда Дивеев был в миру на своем крестном пути.

Дивеев в миру с центром в городе Муроме

В 1927 году были закрыты последние монастыри в России, в их числе и Дивеев. Всю свою ярость богоборческая власть обрушила на обители, дав некоторую видимость облегчения для приходских церквей. Саров закрыли на полгода раньше Дивеева. Таким образом, дивеевские сестры получили время для подготовки к уходу в мир. Все, что можно было взять с собой, сестры взяли. Причем матушка-игумения приказала, чтобы все главные святыни обители были взяты не в одно место, а хранились среди разных сестер, – только так можно что-то сохранить.

В Дивееве крепко помнили предсказание батюшки Серафима, что придет время, когда всем сестрам придется на время уйти в мир. А на какое время, батюшка не сказал – как Бог даст. Были и такие мнения, что близка кончина мира. Но прозорливые старцы, особенно Оптинские, говорили, что будет еще период благодати Божией на Руси. Во всяком случае, сестры уходили с крепкой верой, что уходят только на время, что Дивеев, как и вся Русская Церковь, вновь возродится. Эти надежды сестер слышали мы от многих, когда монастырь еще существовал и слухов о его разгоне не было. Но готовиться к этому неизбежному приходилось.

Матушка-игумения Александра после 1927 года приказала сестрам разъезжаться в разные города и села. Для себя же и наиболее близких ей сестер выбрала город Муром, где и поселились все, занимаясь цветоводством. Часть сестер перебралась в Москву, на Дивеевское подворье. Но сразу же их оттуда в 1927 году всех и выслали. То же было и в Нижнем Новгороде. Трудно было приспособливаться к новым условиям жизни, но другого выхода не оставалось.

Когда нэп кончился и с еще большей силой начался террор, некоторые молодые сестры были арестованы. Дивеев дал не только подвижниц, но и исповедниц и даже мучениц – скончались в лагерях, получив двойные венцы: исповеднические и мученические. Со временем имена их будут

установлены и почитаемы. Одна из них – молоденькая инокиня Анна из больничного корпуса заболела в лагере туберкулезом, была активирована и, еле добравшись к своим, скончалась. Я только услышал ее голос, обращенный ко мне, когда стоял в алтаре Свято-Николаевского храма в Таганроге, но я ее не видел после лагеря.

Тяжкий подвиг выпал на долю игумении Марии. В те страшные годы она ведь была совсем молодой сослана в лагеря на три года; Когда мы навещали матушку-игумению Александру в Муроме, то видели и ее будущую преемницу, недавно возвратившуюся из лагеря. Матушка сказала мне: «Что ей, бедной, пришлось перенести, я узнала только после ее возвращения из лагеря. А если бы узнала, когда она была еще в лагере, то я, наверно, умерла бы с горя!» Я ужаснулся и страданиям Нюши (так звали в миру матушку Марию) и не меньшими страданиями за нее игумении. Ведь игумения готовила ее в свои преемницы, как наместницу в Дивееве Царицы Небесной, которую не выбирают, а благословляет Сама Пречистая. «Я умерла бы с горя!» – сказано истинной матерью духовной.

За муромский период изгнания многие дивеевские инокини перешли в Небесный Дивеев, который видела великая госпожа дивеевская Елена Васильевна Мантурова, почти все молодые сестры, наши с матушкой сверстницы, поумирали, как и более старшие сестры из тех, кого мы знали с матушкой, но осталась только любимая духовная дочь матушки-игумении, которую мы видели в Муроме в 1933 году, когда ей было уже около 24 лет. Вторично я поехал в Муром в 1939 году, возвратившись из концлагеря, но матушку-игумению не видел, а только мне рассказывали о ней инокиня Мария Прусакова и инокиня Дария, которые жили в городе Коврове. Хотел поехать повидать матушку-игумению в Муроме, но не знал, можно ли мне ехать, боясь повредить ей моим приездом. Колебался, сел даже в поезд (проводжала меня инокиня Мария), но перед самым отходом поезда побоялся ехать и слез с поезда. Матушка-игумения жила, окруженная близкими ей сестрами: ее личным врачом Еленой и другими. В 1941 году началась война, всякая

связь была потеряна. Мы с матушкой, после моего посвящения в священнический сан, уехали за границу.

Игумен Серафим (Кузнецов)

Листки воспоминаний. Прозорливица Параскева

Преподобным Серафимом еще при жизни было написано по откровению Божию собственноручно письмо к тому царю, которому будет суждено приехать в Саров и Дивеев, передав его своему другу Мотовилову, последний передал это письмо покойной игумении Марии, которая вручила его лично Государю Николаю II, в Дивееве, 20 июля 1903 года. Что было написано в письме, осталось тайной. Только можно предполагать, что святой прозорливец ясно видел все грядущее, а потому предохранял от какой-либо ошибки и предупреждал о грядущих грозных событиях, укрепляя в вере, что все это совершится не случайно, а по предопределению Предвечного Небесного Совета, дабы в трудные минуты тяжелых испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца.

Своим провидящим духом прозревал мученическую кончину Царя и современный великий праведник батюшка отец Иоанн Кронштадтский, говоривший: Царь у нас праведной и благочестивой жизни, Богом послан ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду, как сказано Тайновидцем судеб Божиих: *Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю* (Откр.3:19). Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок; Бог отнимет у них благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых жестоких самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами.

Современная великая подвижница-прозорливица Саровская Параскева Ивановна, жившая последние годы жизни в Дивееве, а до того несколько десятков лет в лесу, начавшая свои подвиги еще при жизни преподобного Серафима; та, которая предсказала Государю и Государыне за год рождение сына, но не на радость, а на скорбь родится этот царственный птенчик, невинная святая кровь которого будет вопиять на небо. Она в последние дни земной жизни, в своих условных, но ясных поступках и словах предсказывала надвигающуюся грозу на Россию. Портреты Царя, Царицы и Семьи она ставила в

передний угол с иконами и молилась на них наравне с иконами, взывая: «Святые царственные мученики, молитесь Бога о нас». В 1915 году, в августе, я приезжал с фронта в Москву, а затем в Саров и Дивеев, где сам лично в этом убедился. Помню, как я служил Литургию в праздник Успения Божией Матери в Дивееве, а затем прямо из церкви зашел к старице Параскеве Ивановне, пробыв у нее больше часа, внимательно слушая ее грядущие грозные предсказания, хотя выражаемые притчами, но все мы с ее келейницей хорошо понимали и расшифровывали неясное. Многие она мне тогда открыла, которое я понимал не так, как нужно было в совершающихся мировых событиях. Она мне еще тогда сказала, что войну затеяли наши враги с целью свергнуть Царя и разорвать Россию на части. За кого сражались и на кого надеялись, те нам изменят и будут радоваться нашему горю, но радость их будет не надолго, ибо у самих будет то же горе.

Прозорливица при мне несколько раз целовала портреты Царя и Семьи, ставила их с иконами, молясь им как святым мученикам. Потом горько заплакала. Эти иносказательные поступки понимались мною тогда, как переживаемые великие скорби Царя и Семьи, связанные с войной, ибо хотя они не были растерзаны гранатой и ранены свинцовой пулей, но их любящие сердца были истерзаны беспримерными скорбями и истекали кровью. Они были действительно бескровные мученики. Как Божия Мать не была изъязвлена орудиями пытки, но при виде страданий Своего Божественного Сына, по слову праведного Симеона, в сердце Ее прошло оружие. Затем старица взяла иконки Божией Матери «Умиление», пред которой скончался преподобный Серафим, заочно благословила Государя и Семью, передала их мне и просила переслать. Благословила она иконки: Государю, Государыне, Цесаревичу, Великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, Великой княгине Елизавете Феодоровне и А. А. Вырубовой. Просил я благословить иконку Великому князю Николаю Николаевичу, она благословила, но не Умиления Божией Матери, а преподобного Серафима. Больше никому иконок не благословила, хотя я даже сам просил для некоторых, но и мои просьбы не повлияли, ибо

она действовала самостоятельно. Иконки были тотчас же посланы по принадлежности, где и были получены своевременно. После этого я пробыл в Дивееве еще несколько дней, по желанию старицы, ежедневно ходя к ней, поучаясь от нее высокой духовной мудрости и запечатлевая в сердце своем многое, тогда мне еще непонятное. Только теперь мне представляется более ясным, как Богом было открыто этой праведнице все грядущее грозное испытание уклонившемуся от истины русскому народу. Непонятно было для меня тогда, почему она благословила всем, кроме Великого князя Николая Николаевича, иконы не преподобного Серафима, а Божией Матери «Умиление», пред которой скончался преподобный Серафим. В настоящее время для меня и это ясно: она знала вперед, что все они кончат жизнь кончиной праведников-мучеников, как кончил жизнь и преподобный Серафим, и наследуют жизнь вечную в обителях рая вместе с ним. Целуя портреты Царя и Семьи, прозорливица говорила, что это ее родные, милые, с которыми скоро будет вместе жить. И это предсказание исполнилось. Она через месяц скончалась, перейдя в вечность, и ныне вместе с царственными мучениками живет в небесном тихом пристанище.

Как преподобный Серафим принимал всех грешников кающихся, но прогонял, не давая благословения нарушителям долга присяги, так поступала и эта праведница. Она жестоко таковых била палкой и прогоняла от себя, ибо ее чистая святая душа видела все тайны сердца человеческого.

Саровское духовное торжество

29 января 1903 года Святейшим Синодом объявлено о прославлении преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Особенно этим новым небесным знамением был утешен Государь, испытывая истинную радость и глубокое умиление. Царская Семья особенно чтит память преподобного Серафима еще с 1860 года, когда возложением полумантии праведника была исцелена малолетняя Великая княжна Мария Александровна и облегчена кончина Императрицы Александры Феодоровны, супруги Императора Николая I. Духовное торжество открытия честных мощей угодника Божия назначено было на 19 июля 1903 года. Сам Государь с Государыней и членами царствующего Дома совершил благоговейное путешествие на это великое духовное торжество, собравшее сотни тысяч православного русского народа. Я сам был на этом торжестве, видел, как Государь пешком, благоговейным паломником, ходил к целебному источнику и в Дальнюю пустыньку старца Серафима, на своих царственных плечах нес гроб с честными останками новоявленного чудотворца и причащался вместе с супругою своею Святых Таин Христовых. Они исповедовались у смиренного старца иеросхимонаха Симеона и причащались 18 июля за ранней обедней, которую служил архимандрит Андрей (впоследствии епископ Уфимский), как простые смертные паломники вместе с народом. Я сам среди этих паломников приобщался и видел, с каким благоговением царственные богомольцы приступали к Святому Таинству. Простота и религиозность их сильно повлияли на меня еще тогда, вызывая слезы умиления. Только истинная вера в Бога, истинная преданность Православию и глубокое благоговение к святым мощам праведного убогого старца-отшельника, смиренного пустытника подвигнуло на далекое и трудное путешествие царственных богомольцев, сопряженное с многими трудами и опасностями для самой жизни. Православный народ плакал от радостного умиления при виде того, как Царь и Царица смиренно преклоняли главы пред

святыми мощами новоявленного чудотворца. Государь на свои средства соорудил серебряную художественную раку для мощей преподобного Серафима, а Царица собственноручно вышила покров на гробницу и коврик с дорожками. Как было все это для верующего человека трогательно, радостно и поучительно.

Из Сарова царственные паломники выехали 20 июля в Дивеевский женский монастырь, это духовное детище преподобного Серафима. Здесь они навестили старицу подвижницу Параскеву Ивановну, которая предсказала Царице рождение сына. Это посещение прозорливицы совместно с пережитым в Сарове произвело сильное духовное впечатление на Императрицу, усердно молившуюся в Сарове о даровании ей сына. Когда же через год исполнилось предсказание прозорливицы, то можете себе представить, как это повлияло на душевное состояние Царицы и укрепило ее веру в правоту Православия.

Считаю не лишним напомнить, что некоторые либеральные газеты писали, что якобы в архиве департамента полиции была найдена бумага, где находилось следующее предсказание старца Серафима Саровского: «В начале царствования сего монарха будут несчастья и беды народные. Будет война неудачная. Настанет смута великая внутри государства, отец подымется на сына и брат на брата. Но вторая половина правления будет светлая и жизнь Государя долговременная». Такого предсказания в летописях как саровской, так и дивеевской обителей нет, а потому его надо приписать к выдуманной легенде легкомысленных людей.

Неприятно было врагам единой великой России саровское духовно-патриотическое торжество. Они шипели от зависти и злобы, замышляя новые интриги против России. Против воли миролюбивого Государя разразилась война с Японией. Несомненно, какая-то неведомая рука содействовала возникновению войны, чтобы дать возможность усилить противогосударственную работу

В разгар войны исполнилось давнишнее желание Царицы иметь сына. 30 июля в Петергофе родился сын. Прошлогоднее

предсказание в Дивеевской обители исполнилось. Велико было семейное счастье в Царской Семье, принесшее большое утешение в тяжелые скорбные дни неудачной войны. Крещение новорожденного совершено в петергофской церкви 10 августа. Восприемниками были: король Англии, король Дании, император Германии и некоторые из Великих князей. Тогда же Государь пожелал, дабы все войска действующей на поле брани армии были тоже в числе восприемников новорожденного Цесаревича, о чем и было дано знать на фронт. Во время крещения с младенцем произошел замечательный случай, обративший на себя внимание всех присутствующих. Когда новорожденного Цесаревича помазывали святым миром, он поднял свою ручку и простер свои пальчики, как бы благословляя присутствующих. В этом случае видели не простое совпадение, а что-то вещательное, объясняя всякий по-своему. Одни видели в этом хорошее предзнаменование, а другие наоборот. Государыня особенно была рада, что наконец-то Бог услышал ее молитву, даровал ей сына, приписывая эту милость Божию молитвам преподобного Серафима Саровского, ибо она и до поездки в Саров обещалась поехать туда на богомолье. Теперь с еще большей ревностью Царица отдалась всецело воспитанию детей, особенно воспитанию милого сына. Она считала для себя лучшим удовольствием быть в кругу своих детей, хотя с момента рождения сына она ему посвящала времени больше всех остальных. Заботливая мамаша всегда была с милым сыночком, не теряя его из виду, боясь за его жизнь, как бы что с ним не случилось, ибо он у нее один. Цесаревич был общим любимцем в Царской Семье. Когда стал подрастать, то весьма походил на папу, как говорится, вылитый отец. Царица сама с ним нянчилась, не доверяя никому, и всецело взяла на себя всю заботу его воспитания. Она зорко охраняла своего горячо любимого сына от всех опасностей, всегда находясь около него. В Царском ли Селе, Петергофе ли, на императорской ли яхте Царица всегда при сыне как преданная рядовая няня. Дочери, бывало, играют или гуляют с гувернанткой и камердинером, а когда с ними Алексей Николаевич, то обязательно среди них и Государыня. Даже во

время приемов, военных смотров и других отлучек из дворца Цесаревича Царица всегда находилась первое время при нем непосредственно или вблизи него. Когда мне впервые пришлось видеть Цесаревича 8 декабря 1910 года, шестилетним ребенком, в Александровском царскосельском дворце, то и здесь мамаша находилась в соседней комнате, до которой дошла с ним. Во время этой аудиенции я благословил Цесаревича святым нательным серебряным крестиком, который по воле Государя надел на него. Этот крестик был мною получен 23 января в Иерусалиме и в нем были вложены частицы святых мощей Иоанна Крестителя и великомученика Георгия Победоносца, а также частица от Святого Животворящего древа Креста Господня. Без благоговейного чувства не могу вспомнить этот момент, когда приходилось видеть его детский душевный восторг при получении этого священного подарка и как он, милый ребенок, сияющим побежал к своей маме поделиться своей радостью.

Цесаревич этот святой крестик имел всегда при себе до самой своей мученической кончины, в скорби узничества находя в этой великой святыне утешение. Как мне передавали, Цесаревич попросил маму рассказать ему о жизни святого Иоанна Крестителя и великомученика Георгия, особенно почитая их память.

Зоя Пестова

Поездка в Саров

*Любящим Бога все содействует ко благу! (Рим.8:28)
Записки эти завещаю дочери Наташе и внучке Кате*

Углич, лето 1915 года

Мне было 16 лет, когда я решила, что мне необходимо ехать в Саров, побывать у старца и определить свой дальнейший жизненный путь. Через полтора года я должна была кончить гимназию. Отец и мама внушали, что необходимо учиться дальше и получить высшее образование, чтобы быть самостоятельной, ни от кого не зависимой и богатой душой и карманом. Но куда идти учиться? По всем предметам 5, я первая ученица в классе, а особого таланта нет. «Специальность – как брак, – говорит папа, – сама выбирай, чтобы потом ни на кого не пенять. Жизненные ошибки даром не проходят».

Отец был доктором, и на эту специальность идти он не советовал. «Мне жаль твоей душевной чистоты: ведь медики все развратники... Да при твоём слабом здоровье да жалостливом сердце ты каждого покойника будешь оплакивать! Добрые дела делать можно везде, надо крепкие нервы иметь, а ты людей жалеешь!..»

Отец меня очень любил, знал, понимал, поддерживал во мне все хорошие начинания, давая денег на бедных и выполняя мои просьбы кого-либо посетить из больных или положить в больницу. Я «обожала» отца, прощая ему все, – все его ошибки, заблуждения. Так могут любить только дети – все прощать! От мамы я была далека, но ее самостоятельность (у нее был зубной кабинет), ее независимость мне нравились. В те годы (начало XX столетия) «свободолюбивые женщины» уже входили в моду.

Отец с матерью были в фактическом разводе, но семья еще как-то сохранялась. Связующим звеном были дети и невозможность развода. Отец явно тяготился семьей и ждал, чтобы поскорее подросли дети. Ждали и революции. Шла 1-я мировая война (1914–1918 гг.). Надвигались политические события, общество было «за» и «против», и мы, гимназистки, уже «судили и рядили» о войне и событиях в стране.

В 15 лет я хотела быть убежденной православной христианкой. Это шло вразрез с мировоззрением моих родителей и окружающего меня общества, интеллигенции захолустного города. Тогда, в 1915 году, верующими считались все, но я не помню ни одной семьи, где Евангелие воспринималось бы как основа жизни. Семейными неприятностями я была измучена и только в храме соседнего женского монастыря перед иконой преподобного Серафима Саровского находила утешение в моей недетской скорби. Никто так не страдает от ссор родителей, как дети!

«Сдвинуть» меня с Евангелия было уже нельзя. Родители были недовольны моим «увлечением» религиозными вопросами, чтением книг, моей подругой из семьи священника, и каждый из них старался «образумить» меня. Страшно вспоминать антирелигиозные высказывания, которые мне надо было слушать и после которых я убегала в церковь, скорее очиститься – исповедаться и приобщиться Святых Таин. «О чем вы плачете?» – спросит меня батюшка о. Алексей на исповеди. «Ссорюсь с родными». Не могла я на исповеди жаловаться и рассказывать семейные сцены, возмущавшие всю мою душу. Я не могла разобраться, кто виноват из родителей. В семье не было ни мира, ни любви, нас – детей – не берегли от сцен, от брани, от слез и скандалов. Сестра воспитывалась в институте, а я и брат (на 2 года младше меня) не знали покоя в семье.

Часто отец мне напоминал, что когда мне было 3 года, я болела скарлатиной и надежды на выздоровление не было. Папа пошел ко всенощной 6 декабря (19 н. ст.) на день св. Николая и, встав перед иконой, плакал навзрыд, вымаливая мне жизнь. «Если бы ты только видела, как я просил Николая Угодника оставить мне тебя!» – говорил отец и всегда со слезами. В комнате в спальней у отца висела икона, но я не видала отца молящимся. Но, бывало, он посылал меня подать «за упокой» своих родных, давал мне на свечи и на нищих, прислушивался к снам, принимал «со святом» приходского священника, в Пост 1,4 и 7-ю неделю не было мясных блюд, – так что назвать моего отца неверующим нельзя...

... Он боялся за меня, а вдруг я уйду в монастырь, а вдруг сойду с ума. Он умолял не поститься, не ходить на раннюю обедню, больше есть и спать, беречь нервы и как-то совсем не признавал, как я страдала от его насмешек и всяких обидных слов над тем, что было мне свято.

Семья жила зажиточно, и мне отец давал деньги на наряды, на театр, кино и на бедных. Я сама не была аскеткой и ходила на спектакли, в кино, возвращаясь с тревогой домой: «Что там делается?»

Свою маму в эти годы я не любила. Истерзанная семейным разладом, она была очень нервная. Ее отношение к религии было внешнее: она и обряды выполняла, и лампадки зажигала, и заказывала икону «семейную», и оклады на образа... Ах, как хотелось ей любви отца, какая она была бы семьянинка и хозяйка... Как она заботилась об отце и о нас! С годами она стала болеть и характер ее, и поступки граничили с характером душевнобольной и глубоко несчастной женщины. Она была красивая, энергичная и очень дельная, любила свое дело и хорошо зарабатывала, имея зубо врачебный кабинет, но болезнь ее подкашивала. «Каждая несчастная семья несчастна по-своему», и детям тяжелее всего!

«И бесы веруют и... трепещут». Мама жила по своей воле, так далеко от религии и Церкви.

... В 15 лет я прочла «Братьев Карамазовых». Образ Алеши поразил меня. Я решила, что найду такого Алешу в жизни. «Великий Инквизитор» меня потрясал, и я верила, что так будет. Я поняла, что свобода не во внешней жизни, а в духе и уже не интересовалась героями-революционерами, которыми восхищался отец: Гершуни, Фигнер, Засулич, Желябов для меня были безумными и преступниками. А вот старец Зосима... Найти такого в Сарове стало моей мечтой. Вот у кого надо спросить о жизненном пути!

В гимназии преподавал Закон Божий отец Николай. Это был добрейший учитель. Он часто со мной беседовал, давал мне читать Иоанна Златоуста. Но в 14–15 лет по силам ли такое чтение? Ходил он в темно-зеленой рясе, золотой крест украшал грудь. Его каштановые локоны так шли к его ласковым голубым

глазам. Он стал для меня примером кротости и всепрощения, когда в 30-м году я узнала, что он сослан в Сибирь и там спасается.

В классе я была любимицей и очень этим была довольна, стараясь всем двоечницам помогать и «вытаскивать» к ответу. Я дружила с лучшими ученицами, но особенно мне нравились «особенные», я их искала, старалась узнать, чем живет их душа. Вот Шура – высокая белокурая девочка. Она точно светится вся! Еще бы! У нее отец священник. Отец Михаил⁵² из деревни Тимохово, популярный, и дружил когда-то с самим отцом Иоанном Кронштадтским. Шура танцует? Да, отец ей сказал, что можно в 15–16 лет. «Всякому овощу свое время». Это не грех. Мы юны и молоды. Надо «духовно» дорасти, чтобы самой не хотелось танцевать. И я танцую с Шурой падеспань на школьном балу (год-два и Шура умерла от чахотки).

Все девочки были номинально верующие. Соблюдение постов, пожалуй, было самое главное. Евангелия сам никто не имел и не читал. Мечтали выйти замуж за богатого купца и выходили в 16 лет. Участь большинства была одна – идти в сельские учительницы и провести жизнь в глуши и тоске, в бедности и одиночестве. Хотели бы «учиться дальше», ехать в Москву или Питер, но плата за ученье, жизнь дорогая... да и война шла и надвигалась революция. Я мечтала учиться дальше, но кем быть? И мать и отец в этом меня поддерживали, отец обещал помогать... но ведь и семья без меня распадется... «Скорее бы!» – мечтал отец. «В Сарове я разрешу этот вопрос», – мечтала я и просила родителей отпустить меня.

Монастырь

Наблюдай за непорочным и смотри на праведного.
(Пс.36:37)

Я часто ходила в монастырь ко всенощной и к обедне и приобрела там друзей – монахинь, которые наперебой приглашали меня к себе после обедни «попить чайку» и побеседовать о духовном. Одна из старших монахинь очень меня любила. Звали ее матушка Еванфия, лет 60-ти. Она жила в монастыре с 17 лет, отказавшись выйти замуж и полюбив всего более Небесного Жениха – Христа. Наш монастырь на 600 человек имел свое хозяйство, поля и луга, скотный двор и огороды. Все работы несли молодые, даром – по послушанию. «Послушание выше поста и молитвы» – это было правилом монастыря.

Молодые монахини жили при старых в одной келии. Матушка прожила так 30 лет с одной монахиней, как с матерью.

– Не ссорились? – спрошу я.

– Было, было и недовольство, но надо было научиться смирению, терпению и кротости – это тоже большая наука. Но любящим Бога все ко благу: поплачешь, помолишься да и бух в ноги. Простите! И опять мир.

– Да у нас в миру этого нет и быть не может, – отвечу я, вспоминая свои ссоры с родной матерью. А хотелось бы вам в мир?

– Нет, никогда, как с радостью приняла пострижение. Вот из дома приедут родные да порасскажут про свое мирское житье, – сколько там зла, скорбей, неправды, шума и ссор, а здесь в монастыре-то у нас мир, благодать и любовь и спасение души для вечной жизни.

«Все тлен, – любила повторять матушка Еванфия, – а душа вечна и пойдет на Суд Божий, как прожита жизнь. Что ответишь, если душу свою погубишь?»

Теперь в старости у нее было одно послушание – она была привратницей, жила в келии у ворот, никуда не отлучалась и ключи от ворот носила с собой – это были большие два ключа.

На службы в церковь ее отпускала напарница, молодая хромая монахиня, помогающая во всем матушке. Все монахини свое послушание ретиво берегли и выполняли. Монахини все были прекрасные рукодельницы и охотно научили меня всяким своим рукоделиям. Делали они даром для всяких благотворительных лотерей изящные вещицы. Пяльцы, вязание, вышивание золотом и шелком было их трудом. Брали и заказы, так как не ущемлялось желание заработать, лишь бы послушание было сделано. Безделье считалось грехом, но, конечно, в праздники не работали.

– А мне бы какое дали послушание? – спрошу я.

– Если голос есть, в певчие, на клирос.

– Нет у меня голоса, всегда кашляю.

– Посох у игумении носить бы стала или в канцелярию, или в рукодельную, в иконописную.

Вздыхнула я: «Это на всю жизнь?!»

– Да, надо твердо решить, чтобы и себя и монастырь не осрамить!

«Монашество – это брак с Христом. Спасителя полюбить больше всех и вся».

Да, матушка Еванфия сама так и любила Христа и вела строгую аскетическую жизнь в подвиге и молитве. Вера ее была проста и крепка. Бывало, расскажешь ей свое горе, а она в ответ:

– А Николай Угодник на что? Обратись к нему, проси его, он тебе и поможет.

Все святые и преподобные были для нее живыми друзьями.

– Верь, что услышана будет твоя молитва! Значит, потерпеть тебе надо, значит, для спасения твоей души надо!

Сама она молилась о моих скорбях. Вместе мы решили ехать в Саров.

Монастырь наш разогнали в 1928 году. Умерла матушка 76 лет в 1930 году.

Упокой, Господи, ее душу!

Учительница моя

К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все желание мое. (Пс.15:3)

Была у меня большая детская скорбь. В 14 лет (5–6 класс) я летом брала частные уроки французского языка у одной учительницы гимназии, ведущей немецкий язык, Н. Д. К. Ей было 22 года, она недавно кончила с шифром (бриллиантовая медаль Императрицы Марии Федоровны) институт. Ее всегда можно было видеть в монастыре перед иконой преподобного Серафима Саровского. Никуда, кроме церкви, она не ходила и слыла «аскеткой», монашкой. На уроках она шутила со мной и вовсе не была «сумасшедшей», как ее называли у нас в доме. Я видела веру без колебаний и сомнений, я видела, как она стояла и молилась в церкви. Она вся была как горящая свеча перед Богом. Строгая, скромная, умная, убежденная, идейная, непоколебимая в вере – так ее характеризовали верующие. Она первая в жизни раскрыла передо мной Евангелие и прочла мне притчу о Сеятеле.

Зерно упало на добрую почву, и начала расти моя симпатия, – моя любовь к этой необыкновенной девушке. У нее были большие серые, выразительные глаза и задушевный мягкий голос. Бывало, и спорить с ней хочется, и не могу я согласиться с нею, и 100 вопросов почему да отчего ей задаю.

Но пришла осень, кончились уроки и родители восстали против увлечения. «Ты ведь любила учительницу рукоделия! Ведь Наталья Дмитриевна ненормальная! Она тебя аскеткой, монашкой сделает!»

На голову моей дорогой сыпались оскорбления, упреки, насмешки, а я только и мечтала видеть ее!.. Дословно списываю ее первое письмо ко мне, сохранившееся у меня.

«Дорогая Зоя.

Вы просто глядите на вещи одним левым глазом и вольною волею отрицаете существование половины явлений в мире. Почему? И нелогично, т. е. если отрицать, так уже все в данном случае. Послушайте! ведь теперь еще ничего в мире нет вполне

объяснимого. Если Вы привыкли вдумчиво относиться ко всему Вас окружающему, Вы не могли не поразиться тем, что ни один самый знающий ученый не может дать Вам ответ положительно на многие первостепенной важности вопросы. Пока плаваем по поверхности, будто что-то знаем, как только коснемся основ – признаем бессилие разума. Возьмем примеры. Почему слюнные железы выделяют слюну, а железы желудка выделяют желудочный сок? А еще другие, другие и т. д. Наука не решает такие вопросы и всякое выделение желез называет *секретом* желез.

Возьмем мир растительный. Почему, объясните мне, положенные рядом два крошечных зернышка яблони и березы выбирают из земли один одни, другой другие соки? Возьмите чудную розу и тот ком грязной земли, из которой она выросла. Все Вам здесь понятно? А если все, то посоветуйтесь с кем-либо и состряпайте Вы сами розу. Попытки создать самим живое существо, чем занимался Фауст у Гете, не увенчались успехом ни в одной современной лаборатории... Ведь не я одна, но великие люди признавали, что все явления в мире – чудеса, лишь с той разницей, что одни чудеса повторяются ежедневно и мы к ним привыкли, другие повторяются редко. (Если бы чаще, то мы тоже бы привыкли и перестали их замечать.) Мы их не понимаем, но, странное дело, – почему-то даже отрицаем! Почему это, а? Вы вообще, дорогая Зоя, бродите вокруг духовного мира, не имея *ключа* войти в него. Вы натываетесь на духовные явления, но не знаете, какой меркой мерить их. Вы можете отрицать их, смеяться над ними, но они *существуют* независимо от этого. А на Вас блестяще сбываются слова апостола Павла: «душевный человек не понимает того, что от духа, так как это кажется ему безумием». Ну подумайте, ведь было бы смешно, если бы Вы, не видя сроду рояля, засели бы играть и захотели сыграть Бетховена. Сколько бы Вы ни колотили по клавишам, а Вы бы все-таки не сыграли, не раскрыли его прелести. Чтобы войти в мир звуков, нужно знать известные приемы... Как же вы хотите вскочить без всякого приготовления в тот мир духовных явлений, который составляет целую половину жизни человека? Или, по-вашему,

нет этого мира? И наши души болтаются в наших телах, как горошина в пустой банке?

Для того, чтобы видеть Солнце, я должна *повернуться к нему физиономией* и раскрыть глаза. Чтобы увидеть источник духовного света, я должна *раскрыть свои духовные очи*. Это делается у людей грамотных чтением подходящих книг и молитвой, у неграмотных устным оглашением их и той же молитвой к Тому, Кто Один отверзает ум разуместь Писания (Лк.24:45). Так как Вы принадлежите к разряду грамотных, я шлю Вам для *серьезного* просмотра книгу. Если Вас интересует многое – найдете ответы. Если нет – не читайте. Нет, впрочем, читайте, во всяком случае потерять от чтения таких книг ничего нельзя, приобрести же, при желании, – очень много. Я больше чем уверена, что Вам эта книга понравится и своей глубиной и ясностью изложения. Читайте на духовное здоровье! Ну, всего хорошего! «Врачу, исцелися сам!»

Н. К.

Если не ошибаюсь, книга эта была епископа Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться».

Итак, чтение книг духовного содержания, чтение Евангелия и посещение церкви и молитвенное правило в своей комнате стало мне необходимо. В углу киот с образами и всегда зажженная лампада, на ночном столике Евангелие и какая-либо книга. Но отец следил за мной и, конечно, читал мои дневники, полные восхищения словами Натальи Дмитриевны.

– Новое твое обже! (обожание). А ты лучше прочти (автор). Сходи-ка в библиотеку, возьми Ренана, прочти вот этого автора.

Повинуясь, чтобы не вызвать раздражения, я сама шла в библиотеку, брала и читала. Нет, не нравились мне эти книги!

– Ну что, интересно? Поняла, кто был Христос?

Начинался разговор. Я была так молода, так любила отца, что спорить и дискутировать с ним не могла: боялась я, что еще 5–10 минут, и он скажет что-либо *страшное* для души. Где мне было тягаться с ним, с его запасом всяких научных атеистических доводов! А их у него было так много... «Папочка, ты бы прочел Евангелие... Ты бы полюбил церковь», – робко скажу я. «Я все знаю, я все знаю и понимаю, слушай меня, я

боюсь за тебя, ты мое счастье, я не переживу, если..., если...» На глазах слезы, голос дрожит, глухо кашляет в своем кабинете. Очень я его огорчала! Очень... очень!..

А я все же иду к обедне, ко всенощной, к матушке Еванфии.

Отец был председателем педагогического совета в гимназии, и конечно, начальство знало о влиянии Н. Д. на меня. Это было для Н. Д. опасно – вольнодумство не поощрялось. За мной стали и другие ученицы «обожать» Н. Д., причем ученицы-то самые лучшие 5–7 классов. С горечью и недоумением я видела, что Н. Д. сторонилась меня и ни книг, ни бесед уже не было, а причина та, что наша семейная обстановка была известна всему городу. Досужие кумушки разносили сплетни... Плохая семья!

«С кем вчера гулял твой отец на бульваре?»

Стыд жег мои щеки. Я замыкалась в себе и бежала в монастырь к матушке Еванфии.

«За что меня не любит Н. Д.?» – вопрошаю я в своем дневнике.

По всем предметам 5, а по-немецки всегда, за все ответы 4. Знаю, знаю, угадываю!

«Может ли что доброе быть из Назарета?» А я... а у нас бедлам (сумасшедший дом в Англии). Может ли что доброе быть из бедлама? Я грущу, вздыхаю и завидую Лизе. Да, я росла в обстановке очень тяжелой...

Лиза

Она была годом старше меня и на класс ниже меня. Наталья Дмитриевна считала Лизу своим маленьким лучшим другом. Лиза была краснощекая, крепкая, курносая девочка из крестьянской семьи, живущей в деревне. Отец чем-то торговал, привозя гастрономию из Москвы. У нее была длинная густая рыжая коса и блестящие круглые глаза. От всей фигуры веяло крестьянской дородностью, деловитостью. Она была в классе первой ученицей, но всех чуждалась. Учение ей давалось легко. Говорила она отрывисто-бойко, не стесняясь в выражениях.

Она следовала во всем за Н. Д. Ее можно было видеть и в церкви, где была Н. Д. ...

Н. Д. поклон и Лиза поклон.

Н. Д. снимет в церкви шляпу и Лиза тоже.

Н. Д. поставит свечу и Лиза сейчас же сделает то же.

Лиза исполняла все посты, хотя не скрывала, что черный хлеб съедала буханками. Одевалась в черное, ходила с глазами, опущенными вниз, не читала светских книг и, конечно, как Н. Д., не ходила ни в кино, ни на спектакли, не танцевала; говорила мало, а с некоторыми девочками и вовсе не разговаривала.

«Святоша! Монашка! Юродивая! Ханжа!» – смеялись над ней.

Несмотря на посты и службы, она была здоровая. Так вот и казалось, что сейчас прыснет смехом, что все это в ней наигранное, не ее... А она только и глаза поднимала, чтобы увидеть Н. Д. Перед уроком немецкого языка Лиза никому, а тем более мне, не даст зажечь в классе лампаду перед образом, всех оттолкнет; «Не так, я сама!»

Н. Д. войдет в класс, посмотрит на икону, невзначай что-то шепнет Лизе. А мне тяжело, обидно: со мной давно ни слова, ни взгляда. Даже и спрашивать перестала, как я руку ни тяну, а Лизу 5–10 раз за урок спросит. Уроки 5 и 6 классов шли вместе, так как учили немецкий язык не все.

Я стала дружить с Лизой, но никаких разговоров о Н. Д. Лиза со мной не вела. Думаю, что это был их сговор.

Все мои дневники того времени заполнены разговорами с Лизой об аскетизме, о монашестве, о молитве Иисусовой. Она, Лиза, была за аскетизм, за отказ от всего мирского, грешного. Лишь бы спасти свою душу для Царствия Божьего. А остальное – не мое дело! Я же выдвигала альтруизм и желание «положить душу за други своя». Здесь было скрытое влияние отца, рассказы про революционеров, каторжан. Ведь в студенческие годы отец увлекался революционными теориями и «преклонялся перед каторжниками», как говорила мама. Отец числился еще и тюремным врачом, и хотя в тюрьме города сидели только уголовные, отец жалел их и всегда говорил, что «все друг перед другом виноваты». Я как-то носила передачу в тюрьму. Отец уже в эти годы не вел переписку с «товарищами» и сжег все их письма, но, как многие, ругал царское правительство и ждал революции, когда будет... о чем только он ни мечтал!.. Ох, его мечты!

– Напеки пирогов, сходи на самые окраины, там, где живет беднота! – говорил папа. Я пекла пироги и выискивала бедноту. Мать меня ужасно напугала этими лачугами, накричала на отца, и филантропия моя кончилась.

Я сама искала какого-то подвига, стала думать, как бы помочь на войне, и отец нашел выход: дал работу. Набрав конвертов, бумаги, марок, я ходила в больницу и писала письма в деревни солдатам, которые лежали в больнице. Это отец воспитал во мне *участие к людям*, и я считала, как и он, что аскетизм – это эгоизм.

Раз в неделю отец дома вел бесплатный прием бедноты.

Вот и были у меня с Лизой разговоры, чем и как спасти свою душу.

Душеспасение Н. Д. и Лизы шло быстрыми темпами. Слухи шли, что они приступают к Святому Причастию чуть ли не ежедневно. Это производило сенсацию в городе не только среди купцов и интеллигенции, но и среди духовенства. А в городе 25 церквей и 3 монастыря – можно скрытно ходить. И

опять слухи, пересуды: «Это ересь! Это не по-православному! Н. Д. смущает учениц, улавливая их в религиозные секты».

Н. Д. и сочли бы сектанткой, если бы не знали, что местный архиерей благоволил к ней (Иосиф Петровых).

– Владыка приехал! – восторженно шептала мне Лиза.

Звонили колокола. Владыка совершал богослужение с пышностью и торжественностью. К Святой Чаше подходили только Лиза и Н. Д.

А когда владыка служил для себя, келейно, то Лиза пела и читала за псаломщика, а Н. Д. подходила одна. И за стол владыка их приглашал.

Но ведь таких, как Н. Д., в городе и не было.

Меня мучила *детская зависть*, но я не хотела так слепо следовать Н. Д., как Лиза, и не хотела отказываться от светских удовольствий, к радости отца, боявшегося «ереси» Н. Д.

В 15 лет я была бледная, худая девочка. Почему-то я не любила есть и ела мало, никакие сладости меня не интересовали, но красиво одеться я любила. Сине-голубое платье так шло мне. «Девочка-фиалочка», – называл меня кто-то, и я уже заглядывала в зеркало на себя. А Лиза шила черное платье, готовясь идти в монастырь. Она уже и четки себе приготовила и про себя творила Иисусову молитву – в 16-то лет! А?!

Отец же поучал меня, что смысл жизни в «неустанном делании добра»... Ах, я бы верила ему, если бы... за что он не любил мать? Почему при нас, детях, он говорил, что не дождется, пока мы вырастем?! Как он мечтал о другом, тяготился семьей!

Здоровье мое было слабое, и отец не раз со слезами на глазах уговаривал меня отдохнуть, гулять, есть. Я огорчала его до слез своей худобой и кашлем. «Какое у тебя раннее духовное развитие! – ужасался он. Я в твои годы только и думал об удовольствиях. Почему ты так настойчиво желаешь ехать в Саров? Видно, там ты найдешь себе какую-нибудь трагическую смерть!» Он пугал и себя и меня, «Мне надо найти свой жизненный путь!» – твердила я. Мы с Лизой решили ехать вместе.

Это было в июне 1915 года.

Поездка в Саров

Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. (Пс.19:5)

Меня отпустили в Саров с Лизой и двумя монахинями, одна из которых была матушка Еванфия, а другая до того молчаливая и тихая, непрерывно перебирающая четки, что можно было подумать, что она глухонемая, – матушка Варсонофия. Отец был очень озабочен, давал мне советы и наставления, со слезами крестил меня на дорогу. Я обещала ему не купаться в холодной воде – ведь я всегда кашляла. Мама была рассержена и пугала меня случаями на тему «что может случиться», приводя страшные трагедии.

Долго мы ждали парохода у пристани. Я помню, что читала книгу Арндта «Об истинном христианстве», сидя на бревнах у воды. Боялась, не пришла бы мать взять меня обратно.

Наталья Дмитриевна пришла провожать Лизу, и они сидели вдвоем наверху горы, на бульваре, мирно беседуя. Подойти к ним я не посмела, меня туда не звали и не сказали ни слова, – обидно мне было и завидно, да насильно мил не будешь! Дружбой со мной Лиза гордилась: я с ней советовалась по учебным делам, иногда она поправляла мое немецкое изложение; я защищала ее от нападок одноклассниц, она бывала у нас дома. Я извиняла ее резкость деревенским воспитанием, но преклонялась перед ее отданностью Церкви и подражанием во всем Н. Д. Ее духовное совершенство, как я считала, было необычайно идейно, глубоко... куда мне с моими сомнениями, с моим общительным характером, – я не аскетка, я люблю природу, стихи, ищу интересных людей, спорю с девочками о смысле жизни. Мне многое неясно, я хочу много знать! А у Лизы – все ясно, ничего не надо, кроме спасения души. Вот только у старцев Саровской пустыни испросить бы благословения на частое-частое причащение Святых Таин и на монашество.

– Давай, останемся?!

– Нет, я домой вернусь! – отвечаю я.

– «Всякий озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия!» – изрекает Лиза. Она цитатами из Евангелия и псалмов так и сыплет в ответ.

Едва мы сели на пароход и вошли в каюту, как Лиза распределила места. А я думала, что матушка Еванфия будет за старшую. Обе они устали, весь день ожидая на пристани сильно опоздавший пароход, и быстро уснули. Мы зажгли восковые свечки, взятые с собой, и читали Евангелие.

– 50 поклонов! – сказала Лиза.

– Не могу, устала, голова болит! – я почти засыпала.

– Разнюнилась! А еще в Саров едешь, сидела бы дома! – обрезала Лиза и стала отбивать поклоны на восток.

Утром встал вопрос о еде; Мы все набрали с собой хлеба, сухарей, яиц и прочих немясных запасов, так как время было военное, все дорожало и на пароходе все было дорого.

Лиза распорядилась съесть сначала мое. «У меня консервы, яйца, на обратную дорогу пойдут еще – все будем есть потом, после». Свой тяжелый рюкзак она спрятала подальше. Пили чаек с ситным. В обед взяли на кухне щей да картошки.

– Плати ты, – ты самая богатая из нас. Хватит с тебя! Хлеба черного ешь больше!

Сама она съедала огромные куски и смеялась надо мной: «Плюшек нет здесь, привыкла к бульону-то да котлетам, вот и голова болит... Ну и лежи! Неженка!»

Я только ежилась от такого обращения, стараясь помогать старушкам-монахиням во всем, держалась к ним ближе, и они уговаривали меня пообедать одной в столовой, не стесняться их. Я брала обед, но ели вместе.

Матушки расположены ко мне были больше, чем к Лизе, и Лиза старалась избегать их. Сидя на палубе, она то и дело вставала, крестясь на церкви, белеющие на берегах Волги.

На палубе ехали раненые солдаты. Публика слушала их страшные рассказы о зверствах немцев, о тяжелой жизни солдат в окопах. Как им всем хотелось домой к своим женам и детям, в свою деревню, к своему дому. Свои раны они считали счастьем, которое, может быть, освободит их от убийств и

смерти. Это были пожилые бородатые крестьяне. А молодые были озлоблены и ругали офицеров, командиров и Царя. Революционный дух уже веял везде, недовольство народа выражалось явно. Кто-то отдавал жизнь, а кто-то (я знала кто) разживался на войне.

Через два дня доехали до Нижнего Новгорода и ночевали в монастыре. Сидя у окна в эту июньскую теплую ночь, я стала молиться на небо, своими словами прося Бога вести меня, не дать мне запутаться, погибнуть для вечной жизни, забыв Евангелие и Церковь.

«Укажи мне, как жить дальше!» – вот был вопль моей души. Это был вопль вдохновенной молитвы. Я знала, что через год, когда я и сестра кончим гимназию и институт, наступит новая жизнь без отца, который так мечтал пожить «для себя». Мать, не стесняясь и не скрывая, высказывала свои мысли, пугая будущим.

Лиза утром ушла к обедне, где причащалась, и пришла усталая и чем-то недовольная.

В Ардатове сговорились с возчиком на пять-шесть дней. Двое ехали с поклажей, а мы, девочки, шли по очереди, так как лошадке было трудно всех везти. Возчик был бывалый, не один год возил по святым местам богомольцев. Возчик очень оценил повадки Лизы – как она умела вести и править лошадей, когда возчик шел.

– Ты все идешь, а она и возчика-то с козел согнала – сама сидеть хочет, – ворчали старушки.

– Люблю править! – лихо поговаривала Лиза, понукая хлыстом лошадку.

– А я не умею!

– Ну вот и шагай! Барыня!

Ехали мы ночью, и рассвет встречали в поле. «Споемте, девочки, – Слава Тебе, показавшему нам свет!», – просили матушки. Все хором спели, и еще молитвы спели. Какие-то богомольцы – две женщины, девушка и хромой мужчина подсели к нам и вышел хор. Они шли 60 верст пешком, а у нас был возчик, и мы расстались.

Величественная панорама открылась перед глазами, когда из-за леса показались храмы и потом весь монастырь (Дивеевский). Монахини встречали всех, брали поклажу и провожали в гостиницу. Будто они ждали богомольцев, а мы были им как родные. Мы отказались от дворянской гостиницы и пошли в «общую», как простой народ. Было чисто, но жестко спать на деревянной скамье, есть в простых жестяных тарелках, умываться из общего рукомойника. А тут еще и дети плакали, и болела голова от духоты и спертого воздуха. Это все после моей светлой, уютной комнаты! Ночь не дала отдыха... Утром обедня. Лиза опять подходила к Святой Чаше.

– А когда же ты исповедовалась? – спросила я.

– Смотри на себя, и довольно с тебя! – был ее ответ.

После обедни и завтрака из пшенной каши, которую принесли на стол в ведре и все, кто хотел, ели, мы пошли осматривать хозяйство монастыря. Меня заинтересовали мастерские. Светлые просторные комнаты, уставленные в ряд пяльцы. Монашенки-послушницы шьют, вышивают шелками и золотом, бисером и жемчугом красивые вещи, – и ризы к иконам, и пелены на надгробия, и разные панно, подвески.

Какая трудоемкая ручная работа, какое мастерство! В другом зале шьют белье, платье: ведь в монастыре больше тысячи насельниц – все свое и для своих. Вот и белье для армии, зеленые гимнастерки, суровые рубашки. Зал золотошвеек: шьют эполеты, погоны, вяжут аксельбанты для армии – это государственная нагрузка.

Руководят все свои же монахини.

– Откуда вкус, изящество рисунка?

– С детства приучают к послушанию, а Господь всему и умудряет, – разъясняет проводница. Трудолюбие вырачивает талант.

Осмотрели сиротский дом для девочек. Няни-монашки ухаживают за детьми. «Чьи же дети?» – «Да разные случаи сиротства и бедности, а теперь и беженцы от немцев из занятых губерний». Содержат за счет монастыря.

В художественных мастерских шел урок рисования. При монастыре есть школа для детей. Девочек учат писать иконы,

но сейчас их учат рисовать разные фигуры из кубиков, со слепков. Несколько девочек лет 10–12-ти в черных длинных платьях и скуфейках.

«Они уже хотят быть монахинями». «В 10-то лет?!» – ужасаюсь я. «Так уж видно по их характеру и сердечному расположению, что они склонны к монастырскому житию; не любят мира».

Взрослые монахини пишут иконы. Живописное Распятие надолго осталось в памяти. Везде трудолюбие, молчание, молитва!

В Дивеев принимают только девушек, вдов не принимают – так заповедал преподобный Серафим, – потому и называется Дивеево (Дева)⁵³. Здесь все готовое для насельниц: и одежда, и стол, зато весь труд, кому какой, дадут, никем не оплачивается, все делают «по послушанию».

Много всяких служебных построек, все делают монахини. Огород, сад, скотный двор, пчельник – всего не могли обойти. После ужина – постной лапши с грибами – монахиня стала обходить всех с блюдом. «Сколько же за день с четверых?» – спросили мы. «По усердию», – был ответ. Матушки наши оценили: и нам не дорого, и усердие показали.

Вечером надо было ходить по «Серафимовой дорожке» – насыпь небольшая с утоптанной тропинкой; шли с Иисусовой молитвой и четками: «За эту дорожку антихрист не пройдет!» – объясняет монахиня. «А скоро он придет?» – спросит кто-то. «Ох, скоро для тебя, скоро!»

– Антихрист – отречение! – пояснит следующий голос.

– Не отрекусь! Все, но не я! – отзовется еще голос.

– Помни, помни петуха!

– Запоет для тебя!

– Молитесь! Господь милостив, все простит.

Вот так идут одна за одной, прикладываясь к встречающемуся иконам на столбах, кладут поклоны.

Устала я, и червь сомнения подкрадывался язвительными мыслями: для чего все это? Скорей бы в Саров!

Утром пошли к обедне, было воскресенье и пел «большой хор». Было торжественное пение, вернулись часам к двум дня,

еле стояли на ногах от усталости. Лиза отказалась от всяких хлопот по хозяйству и помощи матушкам, запасы свои берегла и разговаривала, резко отвечая. «Ладно, уж перетерпи, пребудем в мире», – утешали матушки и меня и себя.

Лиза вела запись расходов, все деля на четверых поровну, и ела за троих, удивляя нас аппетитом. Белого хлеба не было совсем, и только просфоры ели по утрам.

К вечеру поехали по дороге в Саров, на той же отдохнувшей лошадке и с тем же возчиком. Почему-то он был голоден, взял у нас хлеб, а мы просили Лизу ему чего-либо дать из ее запасов. Я была очень удивлена, что возчик ел крутые протухшие яйца, данные Лизой, даже черные иногда. Погода была жаркая, и яички испортились. «Ну вот, нам не давала!» – «А смотри-ка, как он ест! – умилялась Лиза. Вот что значит голод. Вот что значит простой человек – не вы!» А извозчик, запивая водой из фляги, съел за дорогу десятка два яиц и все хвалил Лизу, как она умеет обращаться с лошадыю.

Кончился сосновый бор, проехали полями и перед нами – стены Сарова. Толпы народа, идущего туда и сюда, вызывали чувство, что здесь идут на базар и с базара. Крестьяне-мордва в расшитых сарафанах, ярких платках и фартуках, в онучах и лаптях заполняли дорогу. Шли с детьми, тащили тележки с инвалидами, с больными. Часто встречались на дороге нищие, калеки, слепые, сидящие на земле и поющие «Лазаря». В воротах при въезде монах высокого роста направлял пришедших и приехавших в корпуса. Везде стрелки с цифрами, так что сразу нашли «корпус для женщин без детей». А есть для семейных и для паломников-мужчин.

По мужскому монастырю женщинам и детям ходить нельзя. Нас ознакомили с расписанием служб в церкви и куда нужно сходить. В пустыньку, к камню, на источник. Сказали, что в три дня все можно сделать и «идите по домам», то есть больше и дольше жить нельзя и делать нечего. Строго, коротко, ясно, без поклонов. Мальчики-послушники, лет 12–14-ти принесли чайники с кипятком, миску черного хлеба. Они исполняли роли «мальчиков на побегушках» и быстро, точно выполняли приказания старшего седого монаха, смотря ему в глаза. Не

шалили. Видно, было строго: «По восемь часов бегают! – пояснил о. Паисий, – и все в чистоте и порядке держат». Впервые в жизни я услышала слово «беспризорные», они наши, приютские. Опять из занятых немцами областей, беженцы, потерявшие родителей и родных.

Утром в 5 часов перед обедней шла общая исповедь. В храме полно народу. Я впервые была на общей исповеди, но поняла, что индивидуальная исповедь заняла бы сутки-двое. Священник, заглядывая в требник, перечислял грехи, а народ шумно отвечал: «Грешны! грешны!» А я-то думала, а я-то мечтала об исповеди у старца! Я подошла из последних и сказала об этом. «Некогда, некогда нам! Видишь, сколько народу! Да что у тебя? Пела? Танцевала? Не постилась? Отдельно – зачем же? Бог с тобой, девочка. Иди с миром! Веруй и молись!» – «А может, мне в монастырь уйти?» – «В монастырь? Сначала надо в вере укрепиться в мире, себя испытать во всем. Ведь вы из светских девочек? По вас видно. Интересуетесь духовной жизнью? Читайте книги – это те же люди. Где нам с каждой говорить, видите, какая масса народа?! Некогда!»

На душе было обидно и горько. Лиза громко читала Правило ко Святому Причащению. Пели уже Херувимскую. Мужской хор монахов басил какое-то знакомое нотное пение, напоминавшее мне раннее счастливое детство на даче под Угличем в Улейменовском монастыре.

Чего я ищу здесь? Зачем я сюда приехала? В Угличе есть старые монахи и нет там этой толпы-мордвы, простого, ничего не понимающего, грешного народа. Я искала людей, которые могли бы служить мне «примером жизни», и я видела таких людей, но пример-то их не подходил мне, ведь мне было 15–16 лет и я была из неверующей среды, с детства слышавшая вокруг антирелигиозные рассуждения. Но я была верующая в Бога, любившая Христа и не хотела быть иной. Мне указывали на монахов, священников как на отрицательных персонажей в жизни, их осмеивали и ругали при мне, а к ним тянулась душа моя и в их жизни я находила замечательные поступки. Я видела нравственно совершенных людей, учеников Христа, людей,

далеких от грехов, и людей, окружающих меня. Здесь была ругань, а у тех – молитва; здесь была ненависть, злоба, месть, сплетни, а у верующих – любовь и всепрощение и неосуждение. Кто-то сказал, что душа человека по природе христианка и от самого человека зависит сохранить и сберечь свою душу. «Образ есть неизреченная Твоя слава» – душа – образ Божий...

«Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» – такими изречениями заполнен был мой дневник.

И если отцу моему грезилось через год-два, как мы кончим гимназию, бросить семью, так и мне хотелось уйти из дома, где не любили христианства, где не было последователей Христа. Но куда? Да ведь я и зарабатывать на хлеб себе не сумею... Впереди все неясно, все страшно... Тихая обитель, монастырь манил простотой жизни и цели, но ум не соглашался и требовал образования, широкой деятельности, воли, свободы ежечасной и какого-то жизненного размаха, а не сидения за пальцами, за шитьем, за работой, изнурительной, изо дня в день. «Погубить свою жизнь в монастыре – это сохранить душу для вечности! – поучают меня старушки-спутницы. И в монастыре грех и искушения бывают, но с молитвой все можно победить! А в миру – одна гибель!»

И вспоминаются мне случаи из моего раннего детства. Мне 6–7 лет. Бонна берет меня с собой в монастырь, «в гости к монаху о. Михаилу». Он с неохотой отворяет дверь в келию – смущен и недоволен. Я не понимаю, о чем ему тихо говорит бонна, но о. Михаил, сидя в углу под иконами, качает головой и говорит; «Нет, нам это не дозволено! Нет, нам это не полезно!» Я каким-то чутьем угадываю, что бонна зовет его гулять в лес, а это ему грех. Я в восторге от слов отца Михаила, я знаю, что он победил, что он верно поступил. Я готова целовать его руки и начинаю проситься домой.

«Пень! Какой же он дубовый пень!» – выходя, говорит бонна, а я знаю, что о. Михаил святой, и когда он служит обедню, я стою на коленях не перед образами, а перед ним. Я с детства любила батюшек. Послушник Николай по вечерам гуляет с нашей семьей во ржи; но вот 8 часов, удар колокола,

возвещающий, что ворота монастыря через полчаса закроют на ночь. «Останьтесь, погуляем еще, вы через стену влезете!» – уговаривают монаха мама и тетя. «Нам не дозволено так-то делать!» – отвечает он и убегает. Кем не дозволено?

Как потом в годы юности и всяких искушений эти слова: «это нам не дозволено!» – грели ярким огнем, очищали поступки, согревали душу и утверждали веру! Да, только верующему Господь давал силу преодолевать искушения и грех.

А время приближалось такое, что царствовал лозунг «все позволено!» Война, разруха, дороговизна. Даже в монастыре объявления: «Остерегайтесь воров!», «Не ходите по лесу одни!», «Берегитесь незнакомцев!» – уже и здесь случаи грабежа паломников.

Матушка Еванфия, понимавшая меня, утешала: «Получишь ты здесь и ответ и утешение, молись и не смущайся ничем. Ну что ж, что и здесь встречаются воры? Везде люди, везде и грехи. На святые места враг рода человеческого еще больше нападает, и на хороших святых людей больше ополчается. Грешники дьяволу не нужны, они и так его слуги!»

Пришли мы в собор прикладываться к мощам преподобного Серафима. Очередь вьется по церкви, читают акафист преподобному, и народ нестройно подпевает за певчими. У свечного ящика стоит звон от считаемых монет. Продают свечи всех размеров, и на блюде их носит монах к раке. А там блеск серебра и золота от множества зажженных свечей и лампад. Опять сомнения: да нужно ли все это почившему святому? И для чего все это столпотворение здесь? Очередь к мощам соблюдается строго, священник монах наклоняет голову на определенное место – задержаться ни на секунду нельзя, подходит следующий паломник... движется тысячная цепочка людей... Где же тут «поплакать у мощей, излить горе, просить о прощении, посещении и твердости» – скорее, скорее!!

Пошли на источник. Дорога лесом, сосновым лесом столетним. Дорога широкая, утопанная толпами богомольцев. Опять мордовки в ярких платьях, в лаптях, много и русских крестьян, группа монахов из какого-то мужского монастыря –

идут тоже к источнику. Девушки в белых платочках, как и я с Лизой. Вспоминается картина Нестерова «Святая Русь». Идут труждающиеся и обремененные... Большинство простой народ.

«Шляп нет, франтов нет; веселых нет, богатых нет», – считает Лиза. «Да богатых и веселых Господь и не звал к Себе, – скажет матушка, – им здесь ничего не надо и делать здесь им нечего!»

А мне надо идти, ведь я – обремененная сомнением и усталостью! Солнце нестерпимо палит, июнь, и хорошо идти по лесу в надежде напиться у источника. По бокам дороги – лавочки-киоски, где продают просфоры. Монах мочит водой низ купленной просфоры и чернильным карандашом выводит имена поминаемых «за здравие» и «за упокой». Просфоры идут в разные корзины.

«Всех помянем, всех помянем, – говорит старик-монах. Завтра получите в притворе церкви, ну что же, что не свою, не с вашими именами получите просфору? Мы все одно Тело Господне! Мы все равны: и стар, и млад, и беден, и богат – У Господа!»

Звонят пяточки и гривенники, опускаемые в металлические кружки. «И везде-то деньги надо!» – сокрушается Лиза, не уместившая на огромной просфоре всю родню. А мне не хочется никого писать неверующего, но матушка советует писать именно их, за кого будет молитва в церкви у престола. «А как же без денег? Ведь в монастыре больше тысячи живут, всех надо одеть, обусть, накормить, да и нас всех, паломников, хлебом и квасом даром кормят», – вразумляют нас. «Да, квас-то здесь отменный, а хлеб-то черный заварной лучше всякого медового пряника!»

Идем дальше. На обочине сидят нищие-калеки, поют «Лазаря», делят деньги, лежат, спят. Встретили тележку – безногого везли.

Ох ты Русь, терпеливая, нищая!

Вот и источник. Где же?

Спускаемся вниз по 10-ти ступенькам и попадаем в купальню. Пол бетонированный. Наверху у потолка железная труба с отверстиями, из которых большой струей льется вода,

холодная ключевая вода. Лиза и матушка подходят, крестясь, под ледяной душ. Я не хочу – обещала отцу, я кашляю. «Вот искупаешься и не будешь во век свой кашлять», – говорят мне. «Нет, не хочу!» – «Ну и будешь всегда кашлять!» – пророчат мне матушки⁵⁴.

«У нее веры нет в это, – вставляет Лиза и снова идет под струю. Как кипятком обдало!» – от ее тела идет пар. Я содрогаюсь, борюсь с собой: «Нет, не надо!» Подошла к колодцу и заглянула вглубь: там икона (?) преподобного Серафима. Все бросились ко мне: как? где стояла? как видела?

«Врешь, ничего не видела! Ишь, какая святоша!» – всполошилась Лиза. «Мне показалось... я видела, но чего ты накинулась на меня?» – «Преподобный показывается только особым людям!» – поясняют мне. «А она и не купалась даже! – Лиза выходила из себя. Ничего не видно!» – «Ну да ладно, оставьте Зою», – заступалась матушка; а я обижена и напугана, кругом люди слушают, все смотрят в колодец и на меня.

Здесь же киоск. Торгуют бутылками и деревянными к ним футлярами. Налив воды, взяла бутылку для мамы: «Может, исцелится». Пошли дальше лесом – к камню, на котором преподобный Серафим молился 1000 дней. Камень огорожен железной решеткой, рядом сосны окованы высоко железом. Паломники все портят, беря на исцеление. Вся земля около камня изрыта так, что образовались ямы из чистого желтого крупного песка, который насыпают в мешочки. Монах, сторож при камне, раздает мелкие камушки.

Рядом киоск торгует листочками с молитвами, кому какую. Ленты, закладки, образки и крестики на шнурках. У кого нет денег – берите даром, другие за вас дадут, но совестливые наши люди даром почти не берут, разве листок с молитвой. Все стоит копейку, две, пятак.

Черные шелковые четки купили и я и Лиза.

«Для чего они тебе?» – допрашивает Лиза. «В подарок матушке». «То-то!» Какая она, Лиза, сердитая.

У меня в душе смущение: везде торгуют, везде деньги... Разве в этом Царство Небесное? Разве здесь истина? Люди

чтут песок, чтут камень, чтут воду... все это мне не нужно, чуждо, да и устала я ото всего...

Опять идем в «Дальнюю келейку», где жил преподобный Серафим. Небольшая избушка, вся в иконах и лампадках. Старый монах, отец Афанасий, раздает сухарики. Кого погладит по голове, кого перекрестит, другому словечко скажет, а то поет молитву. Подхожу и я: «Ничего, не тужи, все хорошо будет!» – слова ободряют меня. Возвращаемся усталые и после скромного ужина узнаем от монаха, что в монастыре есть старец в затворе. Он никого давно не принимает, но ему можно написать письмо и получить ответ. Я обрадовалась, хотя червь сомнения не оставлял меня: «Как он мне ответит?»

Через всю жизнь сохранным пронесла я это письмо. Вот оно:

«Батюшка. Научите меня, как жить, чтобы быть достойной носить имя христианки. Покажите мне путь мой и как я должна идти по нему, чтобы достигнуть нравственного совершенства, к которому стремлюсь всей душой и хочу его приобрести. Скорблю о том, что мало во мне веры, которая укрепляет духовную жизнь. Догматы и обряды не находят места в душе моей, я их или отвергаю, или не следую им, потому что они не учат нравственности. Евангельские слова Иисуса Христа, что Царство Божие внутри вас есть, – живут в душе моей, но я не знаю, как воздвигать и укреплять это Царство. Я хотела бы иметь тишину и покой в душе своей с непрестанной молитвой Иисусу Христу, но в монастырь постричься я не могу потому, что хочу «душу свою положить за други своя», да и люблю жить с людьми и в мире.

Скорблю я и о том, что люблю своего папу часто больше учения Христа, и когда родители мои против моего частого хождения в церковь или к исповеди (что было в Великий пост), то я сильно сокрушаюсь сердцем и не знаю, что делать, не могу нарушить просьбу родителей. Нахожу утешение у Распятия, но сердце болит. Скажите мне, батюшка, сколько раз в году надо приступать к Св. Причащению? Мне говорят некоторые, что можно часто, но я боюсь привыкнуть, за что, конечно, на том свете потерплю от Господа наказание, да и сама, пожалуй, не

смогу быть всегда готовой, ибо погружена в заботы мира сего. Сегодня я исповедовалась и приобщалась Св. Таин, но не имею такой духовной радости, что раньше испытывала, по причине множества исповедников не успела сказать все свои согрешения, и мне горько сегодня.

Батюшка, знаете вы все, что есть в душе моей, и видите ее – научите же меня жить и скажите, укажите путь, я хочу жить истинной христианкой, сама не имея на это веры в догматы и обряды. Скорблю я о том, что, видно, скоро, наша семья распадется, а я не знаю, к кому отойти – к матери или к отцу. У отца моего любимого есть другая, и он хочет с ней жить, а не с нами. Я у отца любимая дочь и сама его люблю, а мать больную мне жалко оставлять. Скажите, батюшка, что будет с семьей нашей и к кому мне отойти, к отцу или к матери. Сердце болит, как подумаю о сестре Рае и брате Николае – куда нам идти и как жить дальше? У матери моей какая-то болезнь, голова и сердце болит, тоскует. Скажите, что ей сделать, чтобы выздороветь? батюшка, родимый, напишите мне записочку – я бы по ней и жила. Прошу вашего благословения на мою семью, рабу Божию Анну и на меня грешную, рабу Божию Зою».

Переписывала начисто. Лиза так и ахнула: «Где же старцу читать твое послание? Что писала?» Не дала я ей читать. Это был протест за ее ворчанье на меня. «А обо мне писала? А об Н. Д.?» – «Ничего тебе не скажу!»

А вокруг разговоры: «Да где же старцу все наши письма читать? Да когда же? Да грамотен ли он? Поймет ли он? Как он ответит?»

Монах раздавал конверты: «Положите по усердию на обитель». И здесь деньги! А кто распечатывает? Кто читает? И нашептывает дьявол сомнения. Вспоминаются слова Христа: «Се, сатана просил сеять вас как пшеницу!» Сеется душа, сеется через сито сомнений и неверия; отбрасывается мякина, остается вера. И пишут, и деньги дают, и верят, что будет ответ. Вера нужна, вера!

Огромный почтовый ящик, сюда и кладут письма. Не прочесть!.. Сколько здесь слез, молитв, просьб – и все с надеждой ответа.

На следующий день к вечеру идем все за ответом. Толпа идет к двухэтажному деревянному флигелю с балконом и лестницей, к нему. «Это немыслимо! – думаю я. Это обман: всем ответить?! О Господи, зачем я сюда приехала? Все ложь, обман народа...» – шепчет мне сатана в душе. Я отошла от толпы. На балкон вышел монах, принесли книги, картинки из жизни преподобного Серафима. Толпа засуетилась, все взоры обращены к балкону. Монах – это келейник старца о. Анатолия, который в затворе, не выходит, не принимает, не видит никого...

Верю, Господи! Помоги моему неверию!

Чудо

По вере вашей дастся вам! (Мф.9:29)

Я стояла вне толпы... я уже ничего не ждала, умом сознавая, что никто никакого ответа на письмо не даст, так как это и невозможно. Еще вчера вечером, написав письмо, я сказала об этом матушке Еванфии. Она хоть и огорчилась моим настроением, но не переставала обо мне молиться днем и ночью и глаза ее слезились. Она себя чувствовала как бы обязанной мне: она посоветовала мне ехать в Саров, я оплатила ей частично дорогу, а мое желание видеть старца, получить совет – невыполнимо. А вечером надо уже ехать дальше...

Толпа засуетилась, зашумела, и, обернувшись, я услышала голоса: «Тебя зовет! тебя зовет!» Матушка Еванфия машет рукой: «Иди, тебя зовет!» Все обернулись ко мне, толпа расступилась. Я птицей влетела на балкон, где стоял монах.

Высокий, худощавый монах лет 45-ти, с небесными голубыми глазами кладет мне руку на плечо. Я изумлена и не могу сказать ни слова, а он начинает говорить. Голос у него дрожит, он не то заикается, не то волнуется: «Вот пришла, девушка, сюда, за ответом к старцу, вот и отвечу тебе. Не тужи, только веруй и молись преподобному Серафиму, и все у тебя в жизни будет хорошо. Ты учишься, вот и учись дальше и будешь работать, и заработаешь на все, что тебе надо». «А мать? отец? семья?.. спешу я спросить. Я такая несчастная! Семья у нас... а сама так заплакала горько, – разлад в семье...»

– Ты одна будешь жить, но матери не оставляй. Их разлад тебя не касается, не горюй об этом – скорбями они придут к покаянию, а ты о них молись, но с ними тебе жить не надо, одна будешь жить.

– Монастырь?

– В монастырь тебе нет пути, не надо, не одна потом будешь: и муж будет, и дети будут, и еще и внуков увидишь... А сейчас учись и не тужи – все у тебя хорошо. Ясный путь Господь тебе укажет. Вот такая молоденькая; а сюда захотела и

приехала, это Господу и преподобному Серафиму надо... «Радость моя» – он тебе сказал, вот какая девочка приехала...

Монах гладит по голове, а слезы меня душат.

– У меня веры мало, я вот на источнике не купалась. Кашляю я...

– По вере, по вере надо! Но ты здорова, хоть и трудновато тебе будет жить, без скорби не проживешь, но ты себя укрепляй в вере и укрепишься. Твори людям добро во славу Божию, не забывай милостыню давать, и все у тебя будет хорошо и ясно. Я тебе все сказал. Ни к кому тебе больше не надо идти, не ищи, живи своим умом, молитвой...

– А папа мой?

– Нет, нет, одна, без него, а он покается, только потом, и мать, и он.

– В Москву мне, что ли, ехать?

– Да, в Москву, учиться нужно.

– А кем быть? Мне бы помогать хотелось... я бы в сестры на фронт...

– Куда тебе... ни-ни! Везде можно помогать.

– А по специальности?

– Держись ближе к рукоделию, девушке умствовать не полезно, а что попроще. Там семья, дети, заботы в доме, в ученье ты не ходи!

И опять повторяет:

– Тебе Господь все устроит, тебя преподобный Серафим ото всего защитит, если уж ты теперь-то к нему приехала, на всю жизнь он с тобой! Только ты не забывай этих дней, сегодняшней нашей беседы. Вот тебе и книга, прочитаешь ее, а там и с хорошими людьми поведись, держись церкви, посещай ее и к таинствам будешь ходить, так и жизнь пройдет. Жизнь твоя мне ясна, иди с миром!

Я, утешенная его мирной беседой, сошла вниз и бросилась к матушке Еванфии. «Ну вот и ответ тебе!» – сказала, заплакав, старушка, а кругом вопросы так и сыплют: «Что сказал? Что велел? Ответил?»

Я, успокоенная, с такой дивной тишиной в душе, сижу где-то на бревнышке, листая книгу.

«Царский путь Креста Господня, ведущий в жизнь вечную»⁵⁵. Это беседа ангела с девушкой о жизни, о пути, о кресте.

Идем домой. Матушкам монах дал по картинке. Лиза вся в слезах, рыдает, всхлипывает. Я молчу с ней, я не хочу ей ничего говорить, я вся полна пережитым. Так спокойно мне, так тихо на душе.

«Да ты знаешь ли, как он тебя-то позвал? – спрашивает меня матушка. Ведь первую тебя и зовет: Зоя! Зоя! Вот чудо-то! А в толпе-то и Зои нет, я сразу поняла, что это тебя зовет. Не Зинаиду, а Зою зовет... ведь это чудо... и тебя первую».

Сидя вдвоем, я все рассказываю матушке Еванфии, а она плачет счастливыми слезами: «Ведь я молилась! Ведь это чудо!» – «А о чем Лиза плачет?» – «Так она сама к нему взобралась по лестнице после тебя, что-то ему сказала, а он ее с лестницы да и толкнул, да чего-то сказал ей, – ох как ей обидно: с тобой-то он сколько поговорил, а ей-то – ох плохо, обидно ей»⁵⁶.

Стали приходить богомольцы: «А мне книжку, а мне дал четки, а меня иконой благословил, а мне велел... а мне сказал», – и все рады... О русские простые души!

К Лизе было трудно подойти, до чего она была огорчена. Я о себе ей ничего не сказала, как-то не хотелось слышать ее окрика.

На рассвете мы выехали в Знаменский монастырь. Там огромная икона Знамения. Лиза, к моему удивлению, не подошла к Святой Чаше и была сумрачна. Она кое-что узнала от матушки, что я на все получила ответ, и молчала со мной. Дружба наша все более расклеивалась и потому, что Лиза не развязывала свой мешок с продовольствием, а есть нам хотелось. Было за нее стыдно и горько за ее грубость, жадность...

На пароходе случилась совсем неприятная история. Лиза решила нас угостить консервами, но каждая при открывании шипела, вспухала и портила воздух. Консервы за пять дней жаркой погоды и от тряски тарантаса все испортились. Открыли окно и побросали в волны Волги все до одной банки. А мы все

голодные и денег нет, а ехать еще сутки. В Рыбинске взяли один обед за 1 р. 40 коп. (как цены-то растут!), и у меня осталось 2 коп. «Может ты, Лиза, купишь?» – «Мне еще после Углича ехать домой...» – отказала она, запихивая подальше свой кошелек.

Друг мой для меня был потерян.

...

– Я думала, что ты из Сарова возвратишься одухотворенная, а ты – злая! – сказала мама. Век не забыть мне этих слов! «Устала я! Не хочу говорить!»

Без меня читались мои дневники, все было пересмотрено. Отец очень интересовался моей поездкой, но не оставлял своей иронии: «А ты думала, там святость найдешь? Камень целуют! Воду святую пьют. Ну как, дочка, довольна? Насмотрелась? Открылись твои глаза?!»

Я замкнулась в себе и, чтобы не возбуждать в отце протеста, писала в дневнике ложь для отца и матери, что «в Сарове я не нашла того, что искала». Это дома нравилось.

Была ли я сама довольна поездкой? Осознала ли я все случившееся со мной? Конечно, довольна и осознала. В 16 лет трудно мне было разобраться во всем. Перечить родителям не хотелось, особенно отцу, который был рад, что я не осталась в монастыре, не заболела. Где-то в глубине души осталась беседа с келейником-монахом и прошла через всю жизнь, и была путеводной нитью в жизни. В душе был покой – путь был ясен!

Через года полтора я уезжала в Москву. Училась упорно и стала инженером. И были трудности и горести, но не теряла я веры, не сошла с христианского пути. И муж, и дети... и внуков вижу. Вот уж скоро и смерть – слава Богу за все!

Преподобие отче Серафиме, моли Бога о нас!

А что же с Наталией Дмитриевной?

Шли годы. Я приезжала в родной город и навещала ее; мы с годами сблизились. В 30 лет она приняла постриг в монастыре на Волге из рук митрополита Иосифа. Но тайного монашества не скрывала. Жила она бедно, частными уроками, все время проводя в церкви. Ссылки, тюрьма, сибирский концлагерь... и так с небольшими перерывами мирной жизни, и опять тюрьма...

за веру, за церковь, за связь с владыкой, и так до 60 лет. Не счесть ее горестей!

Я ее не оставляла и помогала ей. И она приезжала в нашу семью, отдыхала у нас по 2–3 недели, но пути наши были разные, и ее мировоззрение было иное, чем наше. Дело в том, что митрополит Иосиф в юности еще как-то выделял в миру Н. Д.⁵⁷ Конечно, такой девицы, с таким духовным подъемом, с таким умственным багажом вряд ли можно было сыскать! Да простит меня Бог, но я глубоко убеждена, что такое выделение в мире Н. Д. пошло ей в духовную пользу. Она в жизни много писала, размышляла об ошибках Церкви. В 20-х годах около нее сгруппировалась община христиански настроенных людей. Ежедневное причащение Святых Таин было необходимо для Н. Д. Если бы не время, если бы она была мужчиной – ее делом было бы реформаторство. Со своими «трудами» она толкалась напрасно во многие архиерейские двери и дошла до Патриарха (в 1950 г.). «Вы монахиня?» – спросил он. «Да». «Творите Иисусову молитву. Церкви не нужно ваших реформ!» – он отодвинул ее тетради.

Итак, везде было непонимание, отказ выслушать. Да в наше-то время до реформ ли?

Я же, обремененная семьей, детьми, работой, хозяйством, всегда говорила Н. Д., что мне не подходят ее «труды». В 1938 г. она поехала в ссылку к митрополиту Иосифу, но он, отколовшийся от центрального течения и став во главе «иосифлянства», упрекнул Н. Д. в том, что она ходит в церковь.

«Владыко, вы встали утром и сами отслужили обедню, а если я уйду из нашей Церкви, куда мне идти, где причаститься?»

Н. Д. мне точно передала их беседу.

Владыка Иосиф уже и в ссылке был взят снова и умер где-то в концлагере (в 1943 г.).

Сильна была вера Н. Д. Когда была потеряна всякая надежда «передать труды своей жизни» Церкви, на горизонте показался некто Н., и труды были переданы «прямо в «рот Церкви»⁵⁸.

Началась болезнь. Н. Д. трясло, она перестала ходить. Последнее наше свидание было в 1952 году, когда ей было 60 лет. Одиннадцать лет она пролежала в инвалидном доме. Все хуже был почерк в письмах, потом руки перестали действовать. Все тело ее окостенело. Голова была свежая, ясная. Я не могла по болезни с 1950 года посетить ее ни разу. Ее Голгофа была мне не по силам и не по разуму. Сгорела эта яркая свеча 25 ноября 1963 года в канун дня св. Иоанна Златоуста.

Хоронили ее торжественно, поминая как схимонахиню Серафиму. Упокой, Господи, душу ее!

О себе она всегда говорила, что она счастлива в жизни.

А матушка Еванфия? Монастырь разогнали в 1927 году. Матушка умерла 76 лет от роду, уже живя на частной квартире. Однажды она мне приснилась. Звонок. Я открыла дверь, и она вошла и сказала: «Помогайте отцу С.⁵⁹, и у вас все будет!» (Отец С. был в ссылке, и четверо детей остались сиротами.) Сон меня укрепил: ведь в эти, 30-е годы, опасно было помогать лагерным.

А Лиза? Я уехала из города в августе 1917 года. Разразилась в октябре революция. Я приехала в январе 1918 года к отцу и навестила бывшую подругу. С красным бантом на стриженной голове (коса-то у нее какая была!), в яркой красной кофте она сидела за пианино и наигрывала какую-то веселую песенку.

«Ты так изменилась... А ты в Бога-то веруешь ли?» – все же спросила я. «В Бога-то, пожалуй, и верую, но в вечную жизнь – нет! Да, я изменилась и мои убеждения совсем иные теперь...» – «Ты большевичка?» – «Да, пожалуй, что и так!» – «А Н. Д.? Ты у нее бываешь?» Она покраснела: «Нет, нет!»

Революция пришла и в наше захолустье. Монахини рассказывали мне еще через год, что «Лиза обмеряла монастырь, ведь она здесь все знает и всех, и выселяла из монастыря монахинь».

Узнала я, что при приеме в партию кто-то ей задал вопрос о ее вере и она сказала: «Я была под влиянием Крыловой Н. Д. тогда», – и публично отреклась от веры (и от Натальи Дмитриевны)⁶⁰.

Шли годы. Посетив Углич, я узнала, что Лиза «пошла в гору». Потом в 30-х годах слышала о трагической смерти ее двух девочек, муж бросил. Она жила в Москве, училась, была политработником, дошла до членов Центр. КИМа.

Как-то по приезде к нам Н. Д. просила меня, чтобы я с ней поехала к Лизе, но я отказалась. «Это будет мое последнее свидание с ней», – просила Н. Д. Но это был 38-й год. Было опасно ехать к недругу, и я отказалась. Был слух, что Лиза погибла при «культе личности». Как хочется верить, что она перед смертью покаялась. Провидел монах ее дорогу! Увидел в ней врага веры христианской...

Господи, прости прегрешения и отречения, и мученическую смерть прими как искупление! Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!

Анатолий Тимофиевич

В Дивееве летом 1926 года

Проснувшись рано утром, я сразу не мог даже сообразить, где я и что со мной. И вдруг стрелой пронеслась мысль: Боже, да ведь не во сне, а наяву я в благодатном Дивееве. Я вскочил и бросился к окну. Передо мной, весь в лучах восходящего солнца, как чудное видение, стоял большой пятиглавый храм. Кадильным фимиамом клубился утренний туман. Отдельно от храма высилась колокольня. Нет, это не сон, а наяву! Я в Дивееве! От этой мысли сердце радостно затрепетало. Спутник мой также проснулся, и мы, быстро одевшись и никого не беспокоя, зашагали к собору. Поднявшись по ступеням высокой паперти, вошли мы в него. Прекрасный, полный света, украшенный удивительной дивеевской живописью, собор поражал своей, я бы сказал, какой-то одухотворенной красотой и гармоничным сочетанием всех его линий. Первой мыслью было, конечно, припасть к величайшей святыне Дивеева – чудотворному образу Богоматери «Умиление», перед которым всю жизнь молился и скончался преподобный Серафим. Вот она, прославленная святыня, в золотой с драгоценными камнями цате, на правой стороне храма.

В эти ранние часы в храме, за исключением нескольких монахинь, почти никого не было, и мы смогли наедине помолиться, как нам хотелось. Скоро зазвонили к обедне, и собор начал наполняться молящимися. Быстро прошла Литургия. В конце ее к нам подошла послушница и передала от имени матери-казначее приглашение на чай.

О матери Людмиле, казначее монастыря, мы слышали еще в Киеве как об одной из живых достопримечательностей обители, великой молитвеннице и хранительнице церковных традиций и преданий монастырских.

Когда мы входили в большую комнату, где за столом сидело уже несколько монахинь, нас встретила сама мать Людмила. Двое послушниц слегка поддерживали ее под руки. Она была совершенно слепа, среднего роста, на вид совсем еще не глубокая летами старлица, в белом апостольнике, вся сиявшая

какой-то внутренней неземной красотой. Легкий румянец выступил на оживленном лице. Слепота не только не портила, а, пожалуй, еще более одухотворяла его.

Вспомнились слова Нилуса: «Удивительно приятна старость в Дивееве».

– Жалуйте, жалуйте, дорогие мои, долгожданные, – произнесла матушка.

– Ну вот, благодарение Господу, наконец собрались и приехали в гости-то к преподобному, – продолжала матушка, – давно, давно пора, ждет-то он вас не дождется.

Растерянные, не зная, что отвечать, молча подошли мы к ней под благословение. Ей подали заготовленные образки преподобного Серафима на эмали в металлических оправках. Медленно осенила ими матушка крестообразно каждого из нас и, задержав несколько свою руку на голове, добавила: – Господь да защитит, Господь да сохранит, Господь да управит по молитвам Царицы Небесной и преподобного Серафима! – И столько подлинной ласки зазвучало в ее старческом голосе, и так приветлива была улыбка на ее устах, что так и потянуло к ней всем своим существом. Только любящая мать могла так встретить своих детей после долгой, долгой разлуки.

После чаю и краткой беседы матушка позвала свою послушницу:

– Грунюшка, отведи-ка ты наших гостей к матери Киприане. Пусть там и поживут у нее. Она старица духовной жизни, да и место благодатное, так оно и хорошо будет.

Горячо поблагодарили мы мать Людмилу за ее исключительное дивеевское радушие. Я осмелился обратиться к ней с просьбой разрешить снять некоторые уголки Дивеева, особенно канавку, изображения которой я нигде не встречал.

– Ну что ж, во славу Божию и снимайте, – улыбнувшись, ответила матушка, прощаясь с нами.

По дороге мы стали расспрашивать нашу спутницу, куда это она нас ведет и кто такая мать Киприана.

– А это что у нашей блаженной Прасковьи Ивановны в келейницах-то жила, присматривала за ней. Строгая матушка,

да и подвижница. Оно и не мудрено, с блаженными-то поживши и самому разуму-то духовного набраться.

– Скажите, сестрица, – спросил я снова, – давно ли спасается в монастыре мать Киприана?

– О, почитай с молодых лет, и братец-то ее тоже иеромонахом в Сарове, а теперь вот еще и родная племянница ее у нас послушницей, вся-то семья, значит, и собралась под крылышком у преподобного.

Незаметно мы подошли к небольшому деревянному домику под железной крышей, стоявшему у самых ворот монастырской ограды, и я сразу узнал его по виденным много ранее снимкам. Это был одноэтажный домик с верандой, в котором много лет жила великая Христа ради юродивая блаженная Прасковья Ивановна. Здесь же посетили ее Государь и Государыня в памятный 1903 – год открытия святых мощей преподобного Серафима.

С некоторой робостью взошли мы на невысокое крылечко.

Сопровождающая нас послушница толкнула дверь, и мы очутились в небольшой горнице, откуда вело трое дверей. Сотворив обычную молитву, послушница слегка постучалась в среднюю дверь, откуда сейчас же послышалось ответное «аминь», – и тут же на пороге показалась высокая, худая, в черном одеянии инокиня. Видно, в молодости она была очень красива. Правильные, тонкие черты изможденного лица, большие впавшие серые глаза и удивительно прозрачный цвет кожи с восковидным оттенком говорили о той внутренней брани, которая велась в этой душе.

Наша сестрица отвесила поясной поклон.

– Благословите, матушка, вот привела гостей из Киева, они хотят пожить у нас поболее и помолиться, так матушка-казначей благословила им у вас находиться.

– Бог благословит, – ответила монахиня, между тем зорко оглядывая нас. Мы всегда рады гостям, как раз и келия для вас освободилась, только вчера уехали ваши же, киевляне, и она назвала имя известного профессора, последнего ректора Киевской Духовной Академии протоиерея Г. и священника Ш.

В душе я очень пожалел, что лишился возможности совместно с ними побыть в обители, так как оба были близки моему сердцу, особенно первый как мой наставник и руководитель.

Узнав, что уехавшие были наши добрые друзья, матушка, как-то незаметно для себя, потеряла свою суровость, и на ее лице появилась даже улыбка. Она открыла дверь направо и показала небольшую уютную комнату с двумя окошечками, выходящими на монастырский двор. Две кровати, несколько стульев, столик и небольшая этажерка составляли все ее убранство. В углу киот с образами и теплящейся лампадой. Все было просто, но женская рука чувствовалась во всем: и в изящных занавесках на окнах, и в ковриках, вязаной скатерти на столе и даже в стоящем скромном букете полевых цветов.

Не успели мы как следует рассмотреть свое будущее жилище и поблагодарить матушку Киприану, как она затворила дверь и сказала:

– А поначалу хорошо будет и поклониться святыне, – и она ввела нас в келию блаженной Прасковьи. Стены ее сплошь были увешаны образами, и что особенно привлекло наше внимание, это стоявшее посреди келии во весь рост Распятие прекрасной работы.

– Перед ним особенно любила молиться блаженная, – заметила матушка, – и уж сколько ночей голубушка выстояла напролет, не спавши, сколько слез пролито, то ведает Один только Господь.

Слева в углу находилась большая, покрытая пестрым одеялом кровать со множеством подушек. На кровати лежали куклы самого разнообразного вида, причем от некоторых осталось только одно туловище.

– Путь юродивых ведь особенный, – продолжала матушка, – и блажат они тоже по-особенному, чтобы люди не восхваляли их за святость. Как огня боятся они этого. Наша-то голубушка любила играть с куклами, наряжала их и разговаривала по-своему. Люди-то поначалу малодуховные да неразумные смеются, бывало, – что это, дескать, блаженная-то ваша в дите никак превратилась, – да и что греха таить, порой крепко

соблазнялись этим и бранились даже. А голубушка-то наша радехонька этому, еще пуще блажит, иных-то деток своих бьет, других ласкает да волосенки расчесывает. Ан стали мы примечать, что неспроста это делается. Уж как начнет, бывало, какую-нибудь особенно обрядить да голову расчесывать, так и гляди, кто-нибудь в монастыре и Богу душу отдаст, а уж когда разбушуется да начнет колотить их, знай, что какая-то напасть подходит к обители.

Только как-то приехали к нам раз купчиха с замужней дочкой. Купчиха-то, чтобы угодить Прасковье Ивановне, привезла ей из Москвы большую куклу, всю разодетую в шелка да бархат. Ан только она вошла да поклонилась ей, а Прасковья Ивановна как вскочит, да забегает, а потом как схватит новую-то куклу, да одним взмахом руку-то и отодрала и сует дочке-то в рот. «На, ешь! Ешь!» – кричит. Та сомлела, вся ни жива ни мертва, мать тоже трясется, да и я, грешная, признаться, испугалась, а Прасковья Ивановна пуще кричит: «Ешь! Ешь!» Еле-еле вывели-то гостей. А вышло-то ведь, что неспроста все это получилось. Мать-то опосля каялась, что дочка ее в утробе еще дитя свое погубила. Вот-то грех какой вышел, и все это блаженной было открыто, – закончила свой рассказ мать Киприана.

После монастырской трапезы, которую нам принесли в келию, мы посетили и матушку-игумению и передали ей церковное вино для обители. Матушка-игумения была нездорова, и мы у нее пробыли недолго.

Вскоре зазвонили к вечерне, и мы снова поспешили в храм.

Хорошо было после знойного летнего дня войти под его своды, веявшие легкой прохладой. Народу было немного и легко было выбрать укромный уголок, чтобы без помехи помолиться. Тихое монашеское пение особого, дивеевского, распева, проникновенное служение священника и аромат святыни уносили душу куда-то далеко-далеко от жуткой современной действительности.

Уже вечерело, когда мы, выйдя из храма, направились к канавке, которая освящена была, по словам преподобного, стопочками Самой Богоматери и которой он придавал такое

особое значение. Медленно двигались по ней безмолвные фигуры инокинь, перебирая четки и тихо шепча молитвы. Канавка представляла собой довольно большую насыпь с рвом наружу, поверх нее пролежала хорошо утрамбованная дорожка, обсаженная большими деревьями.

Склоны канавки поросли травой и полевыми цветами, которые верующие собирают и хранят как святыню. Пошли по канавке с молитвой и мы.

Непередаваемо было ощущение умиленности, когда и мы прикоснулись к этой благодатной тайне и как бы влились в поток душ человеческих, вот уже более столетия непрерывно струящихся, по завету преподобного, за Царицей Небесной, по Ее следам.

Много чудесного заключено в Дивееве.

Само Дивеево представляет собой чудо, но, пожалуй, наибольшее из них – это канавка.

С последним вздохом преподобного была закончена и Канавка, которой суждено в будущем быть защитой от самого антихриста. Весь смысл, вся полнота этой сокровенной тайны, конечно, была открыта одному только преподобному, нам же, грешным, дано только прикоснуться к ней как бы краем ризы и свято верить словам преподобного, что ни один камешек в Дивееве не был положен без указания Царицы Небесной.

В истории Дивеева немало записано случаев, когда сам преподобный видимо являлся некоторым из верующих, то как бы странником, то иноком, иногда даже вступавшим в беседу и вдруг исчезающим из глаз.

Несколько раз обошли мы канавку с молитвой и все не хотели уходить, так легко и радостно было на душе.

Совсем в темноте вернулись мы домой. Нас встретила, как всегда, мать Киприана. На столе уже шумел самоварчик и стояло около десятка блюдец с самым разнообразным по характеру угощением: тут было и брусничное варенье, и грибки в маринаде, и огурчики, и всякие другие яства.

– Откуда все это, матушка? Кого нам благодарить за это внимание?

– Сестры-то наши узнали, что в обители дорогие гости, и каждой хочется утешить хоть чем-нибудь.

С благодарностью отведали мы этот дар любви сирот Серафимовых, и с тех пор, когда бы мы ни возвращались домой, к обеду ли, к ужину, нас всегда ожидало на столе какое-нибудь новое «утешение». Однако на все попытки с нашей стороны добиться от матери Киприаны возможности лично поблагодарить хоть одну из виновниц этого «утешения» всегда следовал неизбежный ответ:

– А вы не тревожьтесь, ведь сестры это делают от чистого сердца, а вы хотите отнять у них радость, которую посылает им батюшка – приветить его гостей.

Однажды, когда мы были в Сарове и вернулись домой, все белье наше было выстирано, выглажено и лежало горкой на постели.

Сама мать Киприана при нашем отъезде категорически отказалась взять некоторую сумму денег, которую мы настойчиво умоляли ее принять, и только видя наше неподдельное огорчение, наконец, приняла ее.

– Ну что с вами поделаешь, не нужно бы этого совсем, ой как не нужно, ну да так и быть, возьму уж грех на свою душу. Езжайте с миром.

Пишу об этом со слезами на глазах, вспоминая всю нелицемерную и трогательную любовь, приветливость, желание всячески обласкать и заботу сирот Серафимовых о каждом, кто посещает земную обитель убогого Серафима.

Рано утром на другой день в нашу келию кто-то тихо постучал, и вошла неизвестная еще нам монахиня средних лет с удивительно приятным и добрым лицом.

– Я слышала, что вы из Киева, – начала она, – и, вероятно, знаете М. И. друга нашей обители, и мне захотелось поэтому повидаться с вами, и, возможно, услужить чем.

– От души рады, матушка, вашему приходу и знакомству. Самую большую услугу вы могли бы нам оказать тем, чтобы показать нам святую вашу обитель. Мы ведь впервые здесь и еще многого не знаем.

– Вот и прекрасно, после храма пойдем по обители!

– Как же величать-то вас, матушка? – спросил я.

– В монашестве ношу я имя Александра, а в обители меня все зовут просто Саней, – отвечала наша новая знакомая.

– Значит, вы и есть та мать Александра, о которой столько доброго рассказывал наш общий друг М. И.

– Если доброго, – усмехнулась матушка, – то, значит, не обо мне шла речь, попросите кого другого, ведь насмешник-то наш М. И. любит пошутить.

После утреннего богослужения и краткого отдыха отправились мы с матерью Александрой по обители.

Начали мы с осмотра Казанской церкви. Верхний храм в честь Рождества Христова, небольшой, но светлый и уютный, нижний, в честь Рождества Богородицы, построенный по особому указанию преподобного, совсем маленький, подземный, с четырьмя поддерживающими его столпами.

«Во, радость моя, – говорил преподобный, – четверо столпов – четверо мощей!»

С правой стороны храма расположена могилка-склеп первоначальницы Дивеева монахини Александры, в миру Агафьи Мельгуковой, рядом покоится дивная раба Божия схимонахиня Марфа, далее Елена Мантурова⁶¹.

Впереди них, окруженная чугунной решеткой, – могила Н. А. Мотовилова, великого защитника заветов преподобного, «служки Божией Матери и Серафимова».

– Посмотрите, – вдруг заметила матушка Александра, – как плита Н. А. раскололась крестом, и совсем ведь недавно случилось это. Видно, тяжелое испытание суждено пережить нашей обители.

В самом деле, огромная каменная плита от совершенно непонятной причины дала большую трещину вдоль и поперек, образуя правильную форму креста.

– Да, это удивительно, – согласились и мы.

С левой стороны храма совсем скромная, одинокая, с маленьким крестом могилка ближайшего друга, сотаинника и любимого ученика преподобного Серафима «Мишеньки» Мантурова⁶², несшего величайший подвиг при жизни своей

самоотверженного служения своего старцу и новосозидаемой им обители.

Какие все это дорогие и близкие сердцу имена, неразрывно связанные с именем преподобного Серафима.

Горячо молились мы о упокоении этих великих подвижников благочестия, прося их небесного заступничества на трудном жизненном пути.

– Ну, а сейчас пойдем в келию, в которой жила первоначальница матушка Александра, – сказала наша спутница. Теперь келия эта находится для сохранности как бы под футляром воздвигнутого над ней строения.

Сама она, полуподземная, с маленькими окошечками почти на уровне земли, и спускаться в нее нужно по лестнице.

При входе в келию находится большой, во весь рост, портрет преподобного в белом балахончике, с шапочкой на голове, благословляющего правой рукой.

Работа изумительная.

Сама келия перегородкой разделена на две части, в большей половине, как бы приемной, стоит стол, скамья, в углу много образов, теплятся лампы. На окошечке прислонен небольшой образ святого архидиакона Стефана, таинственно явившийся по стуку в это окошко матушке Александре⁶³.

Другая половина келии совсем маленькая: в глубине ее ложе с маленьким изголовьем, служившее местом отдыха великой подвижнице, тут же она почилла сном праведницы на другой день после посещения ее преподобным Серафимом, тогда еще иеродиаконом⁶⁴. Из этого помещения ведет дверца в совсем уже крохотную и темную каморку, где с трудом только может поместиться один человек. В углу висит Распятие, озаренное светом лампы. Это место, где больше всего любила проводить время матушка Александра, место ее тайных подвигов и молитвы.

Благодаря нашей спутнице мы получили в благословение по маленькому кусочку от каменного изголовья.

После посещения келии матушки Александры мы направились к домику, где жила блаженная Пелагея – этот второй Серафим.

По дороге навстречу нам быстро шел кто-то высокий, без шапки, в лаптях, по виду странник.

Длинная белая рубаха почти до колен подпоясана кушаком, седая бородка развевалась по ветру. Он размахивал руками, словно что-то сам с собой рассуждая, иногда на мгновение останавливался, а затем опять поспешно начинал махать.

– Наш Гриша, – шепнула матушка, – блаженный⁶⁵, – и, когда он поравнялся с нами, она, поклонившись ему, сказала: – Ну, как, Гриша, спасаешься? – но странник совсем не обращал на нас никакого внимания, только, задержавшись снова на минутку, ткнул куда-то рукой в пространство и произнес: «Слышь, дымом-то как несет? То-то же», – добавил он как бы с некоторой угрозой в голосе и снова зашагал дальше.

Мы переглянулись удивленно, так как нигде никакого дыма не было ни видно, ни слышно.

– К чему бы это он? – заметила тревожно матушка, – неспроста, видно, чует что-то душа его. Не попустит Царица Небесная до беды какой.

– А кто такой Гриша, матушка? – спросили мы.

– А этот раб Божий давно уже приметался к нашей обители и как родной всем нам стал. Кроткий и незлобивый, он точно птица небесная живет, ни о чем не заботясь. Сестры наши его очень почитают и верят, что молитвы его доходят до Господа. Иной раз, правда, говорит он прикровенно, так что и невдомек порой, ан, смотришь, дело-то затем показывает, что не попусту Гриша-то наш сказывал.

Беседуя так, мы незаметно для себя подошли к домику блаженной Пелагеи, где 45 лет прожила она. Невыразимы при жизни были страдания, и физические и нравственные, этой отверженной вначале всеми великой духовной рабы Божией, поставленной самим Серафимом на служение Дивеевской обители.

– Иди, матушка, иди немедля в мою обитель, – сказал старец Серафим, – побереги моих сирот, и будешь свет миру, и многие тобой спасутся.

Свято выполняя волю старца, невзирая на нечеловеческие истязания своих родных, клевету и насмешки окружающих,

блаженная Пелагея удалилась в Дивеево, где в течение 45 лет просияла необычайными подвигами, так что разум отказывается постичь все величие и силу их. И только 30 января 1884 года, когда скончалась она, поняли все тогда, какую невознаградимую потерю понесла как сама обитель, так и бесчисленные ее духовные дети с ее утратой. Девять дней стояло без малейшего изменения тело блаженной в храме. Днем и ночью, не умолкая, шли панихиды, тесной толпой окружал народ ту, которая, отвергнув ради Христа все искушения мира, победила козни врага нашего спасения.

С трепетным чувством переступили мы порог этой келии. Полутемный коридор, из которого тут же дверь налево ведет в небольшую прихожую. Здесь возле печки, сидя на коврике, проводила почти все ночи напролет, борясь со сном, в полудреме блаженная. Из прихожей вело трое дверей в отдельные келии, в одной из которых она и скончалась. Здесь стоит деревянная кровать, покрытая одеялом, где и лежала последние три недели своей жизни в смертельном недуге почившая. В углу висят образа, а под ними на столике лежит толстая железная цепь, которой некогда была прикована страдальца своим мужем к стене. Монахиня, читавшая Псалтирь, оторвавшись на минуту, сняла цепь со стола и дала нам приложиться к ней, а затем, к великой нашей радости, опять по просьбе нашего ангела хранителя, матери Александры, отрезала два небольших кусочка от одеяла на молитвенную память о дивной угоднице Божией.

– Ну вот, на сегодня, пожалуй, и достаточно, а то, поди, устали совсем, – сказала мать Александра, когда мы вышли на улицу. Ведь вы еще у нас погостите. А завтра, даст Бог, и закончим наше путешествие.

Закончили день, присутствуя на вечернем богослужении, которое мы старались никогда не пропускать.

Ночью где-то недалеко проходила гроза, и небо зловеще полыхало зарницами, но утро было чудесное, безоблачное, свежее, когда мы снова с матерью Александрой пошли по монастырю.

– Ныне побываем у блаженной Наталии, – заметила матушка. Ее-то, правда, меньше знают в народе, но тоже великая раба Божия была и трудный, многоскорбный путь юродства проходила. Некоторые даже в обители поначалу соблазнялись ею, но она все вытерпела и уже при конце своей жизни многим была известна своими благодатными дарами.

Ах, как легко готовы мы осудить каждого и как всегда мы забываем слова Господа: «Кто без греха, брось в нее первый камень».

Корпус, где некогда спасалась блаженная Наталия, был за канавкой по левой стороне от собора. Небольшое крылечко, несколько ступеней вверх, и мы в келии у блаженной. Все сохраняется в образцовом порядке. Понимаешь, что это не только дорогая память об ушедших, но что эти места, где происходила великая брань избранниц Божиих с духами злобы поднебесной, окончившаяся победой над ними, и ныне укрепляют и освящают незримо каждого, кто с верой призывает имена их насельниц.

Недолго мы побыли здесь и поспешили поклониться могилке блаженной Пелагеи, находящейся сейчас же за алтарем Троицкого собора. На ней чугунная плита, окруженная оградой, и большой крест.

Отсюда совсем недалеко до деревянной часовенки, где хранятся два небольших ручных жернова для помола зерна. Ими когда-то пользовался сам преподобный, а затем отдал их своему любимому Дивееву.

Сердце как-то учащенно забилося, когда мы подходили к великой святыне – Ближней пустыньке преподобного Серафима, перевезенной после кончины батюшки его духовным сыном и другом Н. А. Мотовиловым для утешения сирот в Дивеево.

В настоящее время сама эта пустынька, более чем столетней давности, для сохранности от действия времени и непогоды защищена особым домом-футляром. Нас встретила мать Илария – хранительница этой святыни – и ввела внутрь ее.

Совсем темные маленькие сени с крошечным квадратным оконцем почти на высоте человеческого роста, и тут же дверь направо в самую келию.

Вот она, вся благоуханная молитвами батюшки, вся осиянная дивными видениями горнего мира, освященная явлением небожителей пустынька убогого Серафима!

Здесь как-то особенно реально чувствуется благодатное присутствие преподобного и звучит его голос: «Радость моя!»

С глубоким волнением вошли мы в нее и преклонили колена. Прямо на стене находится известный портрет – образ преподобного, столь поразительно описанный С. А. Нилусом при посещении им в 1903 году Елены Ивановны, жены Н. А. Мотовилова.

Вот что тогда Елена Ивановна поведала ему о нем: «Долго мой муж упрашивал о. Серафима позволить снять с него портрет, и только после неоднократных и долговременных настояний батюшка согласился». Вот этот-то портрет его я и хочу показать вам – он необыкновенный: иногда он сурово смотрит, а иногда улыбается, да так приветно... Вот, сами судите!

В моленной Елены Ивановны, над небольшим столиком, на стене, я увидел этот портрет.

– Смотрите, смотрите: улыбается! Да еще как улыбается!

Лицо, прямо обращенное к входящему, улыбалось такой улыбкой, что сердце светлело, глядя на эту улыбку, – столько в ней благодати, приветия, теплоты неземной, доброты чисто ангельской. И улыбка эта не была застывшей улыбкой портрета: я видел, что лицо это все более и более оживлялось, точно расцветало».

Ныне этот портрет, после кончины Елены Ивановны перенесенный в Ближнюю пустыньку, был перед нами. С великим благоговением приложились мы к нему.

Кроме батюшкиного образа были еще в келии и другие образа, висевшие при жизни преподобного в ней. Много лампад.

Кроме нас, никого из посторонних в келии не было. Было так тихо, покойно на душе, такая светлая радость охватила все существо, что, кажется, вовек бы не ушел отсюда.

– Матушка, родненькая, – взмолился я, – не сердись, пожалуйста, но так здесь дивно хорошо, что хочется остаться

подольше.

– Вот и прекрасно! Помолитесь, помолитесь, это не вы только, а и все чувствуют, кого Бог приведет сюда, и мир душевный и святую радость по молитвам батюшки.

Немало времени прошло, пока наконец мы решились покинуть этот благодатный уголок. Услышав шаги наши, вышла из своей келии и мать Илария.

– Как вы счастливы, матушка, что живете под одной как бы кровлей с преподобным, – сказал я.

– Да, это великая милость Божия ко мне, грешной, что Господь сподобил меня быть на этом послушании. Нигде так не близок преподобный духом, как в своей пустыньке. Я-то, грешная, не сподобилась, – продолжала матушка, – а вот несколько лет тому назад наши сестры видели здесь батюшку как живого. Пришли как-то расстроенные помолиться, поплакать, когда гонение-то на Святую Церковь началось и убили Царя-батюшку, Вспомнили, как угодник-то Божий предсказывал наступление страшного времени: «До антихриста не доживете, а времена антихристовы переживете», – сказывал некогда сестрам, прорекая будущее. Поплакали, поскорбели сестры и только вышли из его келии, как вон там, у большой березы, что на углу пустыньки-то растет, стоит наш дорогой, наш любимый батюшка, с шапочкой на голове и в беленькой одежде и так ласково, ласково и в то же время скорбно посмотрел на них. Онемели сестры, потом закричали, а батюшка повернул за угол и исчез из глаз. Долго потом вспоминали в нашей обители и об этом чудесном явлении, – закончила матушка.

– А теперь, – добавила она, – как батюшка преподобный при жизни своей имел обыкновение раздавать сухарики приходившим к нему, так и в наше время обитель сохранила этот обычай и дает как бы из рук самого батюшки в благословение. Вот пойдемте к этому окошечку, откуда некогда сам батюшка давал сухарики, и возьмите их сами. Мы подошли и увидели на нем горку черных, специально нарезанных квадратиками сухариков. С радостью взяли мы их, и доселе сохранил я их как святыню.

– А это от меня примите на молитвенную память, – сказала матушка, подавая завернутые в бумажку несколько кусочков дерева. Это от пустыньки.

Горячо поблагодарили мы матушку за дорогой подарок.

Приближалось 28 июля – день празднования величайшей святыни Дивеева – иконы «Умиление». Этот праздник всегда проходит в Дивееве не менее торжественно, чем и день 19 июля, день открытия мощей святого Серафима.

Начали прибывать к этому дню и паломники. Их было не так много по сравнению с прошлыми годами, но все же обитель значительно оживилась.

Торжественно прошла всенощная в сослужении трех епископов. Мог ли я думать, что это было последнее всенародное прославление Царицы Небесной перед разгромом монастыря и что Господь удостоил меня еще присутствовать на нем. Утром за Литургией мы причастились Святых Таин.

Окончился праздник, разошлись богомольцы, и жизнь обители вошла в свою обычную колею.

Нет слов, хороши праздники в монастырях сих торжественными и благолепными богослужениями, но для меня лично всегда были еще более дороги скромные, будничные службы, когда ничто внешнее не отвлекает и не нарушает твоего молитвенного настроения.

Жизнь наша в обители уже приняла известные формы. Утром и вечером посещение богослужений, в промежутках между ними обязательно обход келий блаженных, канавки и пустыньки.

Постепенно круг знакомств наших среди насельниц Дивеева все расширялся, и свободные вечера после храма мы иногда проводили то у одной, то у другой из монастырских стариц, упиваясь вдохновенными рассказами их о прошлом Дивеева, о бесчисленных чудесах, совершавшихся в нем по молитвам преподобного Серафима.

У матушки Людмилы мы должны были бывать по крайней мере через день, иначе являлась послушница от матушки с наказом не забывать ее и навестить.

Мы, конечно, с радостью принимали это приглашение, и я однажды по просьбе сестер сфотографировал целую группу их вместе с матушкой Людмилой...

Как-то в один из вечеров пришла к нам мать Александра и пригласила в гости к одной из монахинь, которая сейчас больна ногами, не может сама передвигаться, но очень хотела бы познакомиться с нами. Мы не замедлили воспользоваться этим приглашением и пошли.

Мать Александра сотворила обычную молитву, слегка постучавши в дверь, и оттуда послышалось ответное «аминь!», а затем нарочито суровый голос произнес:

– Ну-ка, покажи своих гостей, дай-ка поглядеть на них.

– Глядеть-то, пожалуй, и не на что, – шутливо ответил я вместо матери Александры, – все равно ничего хорошего не увидите.

– Ишь какой шутливый на ответ, – улыбнулась хозяйка. Спасибо, что навестили старуху, вот Господь за грехи и приковал к креслу, грешница я великая, – вздохнула матушка.

Вскоре за чайком завязалась беседа.

– Матушка, давно вы спасаетесь в монастыре? – начал я.

– А вот 23-й годок, милые, доживаю в обители. Как приехала на открытие мощей угодника-то нашего, так и осталась здесь, полонил меня батюшка, забрал к себе и не пустил больше в мир, где чуть не загубила душу свою, если бы не святитель Николай.

– Матушка, не ради праздного любопытства, а для назидания поделитесь с нами, если можно, историей этого события в вашей жизни.

– Что ж, я из этого не делаю тайны, тем паче, что на мне, грешнице, Господь проявил Свое милосердие.

Родилась я в маленьком городке. Отец умер рано, и я росла у матери, которая души во мне не чаяла – своим единственным дитяти. С трудом она, бедная, зарабатывала средства на жизнь и для себя, и для меня, но я это как-то мало тогда понимала. Избалована уж очень была матерью. Все-то только подавай, и то, и другое, и новое платье, и обувь, а сколько это стоило бессонных ночей для бедной моей матери,

об этом я совсем не задумывалась. Я даже воспитывалась на ее последние гроши в гимназии, хотелось ей дать мне образование. Была мать моя очень верующая, и мне старалась внушить свою веру и любовь ко Господу и всегда брала меня с собой в храм по праздничным дням. Правда, мне нравилось бывать в церкви, а особенно на Пасхальной заутрени. Любила я и колокольный звон, но особой религиозности все же не проявляла. Танцы, вечера, балы – это была моя стихия, и как возмущалась я, что судьба, как на зло, послала мне в удел такую бедность! Самолюбие страдало ужасно! Но вот и ученье кончилось, и я твердо решила пробить себе дорогу к самостоятельной жизни. В Петербург, на курсы, там спасенье! Напрасно бедная мать умоляла меня не покидать ее, указывая на все опасности жизни одинокой в большом городе, – я была неумолима. Молодость ведь жестока!

Горько плакала мать, расставаясь со мною, да и у меня было тяжело на душе, но искушение свободной жизни все превозмогло. Дала же мне на дорогу моя бедная мать последние крохи своих сбережений, сняла со стены небольшой образ св. Николая в серебряной ризе – наше единственное богатство и, благословляя меня им, сказала:

– Да будет воля Божия, моя дочурка, этим образом благословляла меня моя покойная мать, а теперь я тебя вручаю св. Николаю, всю жизнь молилась я ему о твоём благополучии и теперь верю, что сжалится он над моими слезами и защитит тебя в нужную минуту.

Петербург сразу встретил меня неприветливо, и жутко стало мне, что оторвалась от родного крова. Поселилась я в крошечной меблированной комнатке у одной хозяйки, разложила свои скудные пожитки, повесила образ в углу и бросилась искать подходящих занятий. Но работы все не находилось. Напрасно я бегала, ища уроков, так как ничего другого делать не умела. Уже задолжала за квартиру, и хозяйка грубо требовала платы, а надежда на заработок все уменьшалась. Наконец, я дошла до такой крайности, что остались только последние 50 копеек – да образ св. Николая в серебряной ризе, который не хватало духу продать.

Решила я на эти деньги дать еще раз объявление в газете о работе, а там будь что будет. Впереди или голодная смерть, или позор улицы.

Два дня прождала, не выходя из комнаты, ожидала, что вот-вот кто-нибудь явится, и тут хозяйка закатила такую сцену, что я пришла в полное отчаяние.

Можно было написать матери, правда, но самолюбие не позволяло, да и знала я, что у самой последнее взяла. И вот, на третий день после объявления в газете, дошла я до такого ужаса от своей беспомощности, что решила покончить с собой. На окне стоял флакон с уксусной кислотой. Дрожащей рукой вылила я содержимое его в стакан, сама не помню как схватила его и поднесла ко рту. Взор невольно как-то упал на образ святителя Николая. Вдруг вспомнилась мама.

Сердце сжалось до боли.

– Простишь ли ты меня, бедная моя мамочка? – тихо прошептала я.

Машинально подошла я к углу, где висел образ, протянув руку со стаканом.

– Святителю Николае, прости меня, грешную! – закрыла глаза и открыла рот, чтобы глотнуть.

Вдруг что-то сильно ударило меня по руке: стакан со звоном упал на пол и разбился на мелкие осколки, и когда я, в страшном испуге, открыла глаза, то увидела, что на полу, рядом с разбитым стаканом, лежит образ св. Николая. Сорвавшись со стены, он ударил меня так крепко по руке, что я невольно выронила стакан.

Нервы больше не выдержали. Я упала на кровать и рыдала, чувствуя, что меня спасло несомненное чудо. Образ лежал со мной на подушке, и я буквально обливала его слезами. Едва успокоившись, я легла на кровать, как вдруг неожиданный стук в дверь.

«Хозяйка, опять неприятный разговор», – мелькнуло в голове.

Открываю. На пороге прилично одетый господин с удивлением смотрит на мое опухшее от слез лицо и растрепанные волосы.

– Я по объявлению, – говорит он, – мне нужна на лето к девочке учительница...

Как в сказке, через 2 дня я уже была как родная у прекрасных людей в качестве гувернантки.

Я никому тогда не рассказала о том, что произошло со мной, даже матери, чтобы не расстраивать ее больное сердце, но жизнь моя круто изменилась. Заработав деньги, я вернулась домой, и мы счастливо прожили пять лет. После смерти же ее я твердо решила уйти в монастырь, но какой – не знала, а тут как раз подошло открытие мощей преподобного Серафима. Собралась я в Саров, горячо молилась у гроба угодника Божия, прося его помощи, а на обратном пути заехала в Дивеево, да и зашла к блаженной Паше, а она, как увидела меня, как закричит: «Где была до сих пор, где шатаешься, ее тут ждут, ждут, а она все шатается невесть где!» – да палкой все мне грозит.

Поняла я, грешная, что здесь мой удел, и осталась в Дивееве.

Во все время рассказа лицо матушки меняло свое выражение, слезы текли из глаз, она переживала свое прошлое столь же живо, как настоящее. С не меньшим вниманием слушали и мы эту повесть о душе человеческой, столь дивно ведомой и охраняемой Промыслом Божиим.

Дни мелькали один за другим, и вот уже незаметно прошла неделя, как мы в Дивееве. Жили мы, окруженные любовью, радушием, неподдельным гостеприимством, упиваясь благоуханием святыни благодатного Дивеева.

Когда же в Саров?

Было решено, что завтра уж непременно направим свой путь туда, однако случилось одно обстоятельство, задержавшее на один день нашу поездку.

Совершенно неожиданно для меня приехал мой друг детства, наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Гермоген со своим келейником В. Встреча была очень радостной. К сожалению, он располагал только сутками свободного времени.

После прощальных визитов к матушке-игумении и казначее мы вместе с ним и данной ему для сопровождения монахиней отправились для поклонения святыням. На этот раз, кроме осмотренного нами ранее, удалось видеть в алтаре и ризнице собора замечательную художественную утварь, пожертвованную многими почитателями преподобного Серафима.

Отсюда мы последовали в храм в честь Тихвинской иконы Богоматери. В нем собрано очень много известных и почитаемых икон Богоматери. Храм этот во время нашего пребывания был закрыт, и только изредка в нем совершал богослужения епископ Серафим, бывший пока здесь в почетной ссылке, глубоко духовный и светлый облик которого нельзя никогда забыть. Для обычных же паломников храм не открывали. Таково было предписание власти. Затем мы направились в кладбищенскую Преображенскую церковь. Несмотря на свой более чем скромный вид, она таила в себе много дорогих святынь, и, прежде всего, алтарем этого храма служила Дальняя пустынька преподобного.

Внутри храма были витрины, где сохранялись личные вещи преподобного. Вот его мантия, лапти, топорик, большой крест, который преподобный всегда носил на груди, Евангелие, слегка обгоревшее в момент его кончины.

Нам открыли витрину, и мы могли непосредственно приложиться к этим вещественным памятникам жизни угодника Божия.

Затем матушка ввела нас в алтарь. В одном углу его лежал обрубок того дерева, которое преклонилось некогда по молитве преподобного, в другом углу – остаток камня, на котором преподобный молился в течение 1000 дней и ночей.

Он был уже значительно уменьшенных размеров по сравнению с первоначальным его видом, так как верующие разбирали его по кусочкам.

Затем матушка подвела нас к маленькому, незаметному на вид столику, стоявшему за алтарем, и сказала:

– Это тоже наша великая святыня. На этом столике в течение всей жизни преподобного стоял образ «Умиление», и на него же склонилась глава преподобного в момент его кончины.

Затем она выдвинула из столика небольшой ящик и добавила:

– А это шапочка преподобного, которую он почти не снимал с головы в последние годы своей жизни, а это вот его поручи.

Шапочка была темная, на желтого цвета подкладке, а поручи зеленого бархата с потемневшими от времени золотыми позументами. С великим благоговением приложились мы к этим святыням. Очевидно, было что-то такое в наших глазах, что матушка совершенно неожиданно вынула ножницы и отрезала по маленькому кусочку от подкладки и, выдернув по ниточке из поручей, раздала их нам.

О, как я благодарил тогда Господа и преподобного Серафима за этот дар мне, грешному, и благословлял промыслительный приезд моего друга, без которого вряд ли мог получить столь драгоценную святыню.

И доселе в кресте с мощами преподобного Серафима, полученными уже значительно позже, хранятся эти святыни у меня как самое дорогое, что может быть на свете.

Когда мы возвращались домой, навстречу нам опять попался Гриша. На этот раз он улыбался и, указывая пальцем на юного келейника о. Гермогена, тогда совсем еще не инок и в светской одежде, громко сказал: «Ага, диакон, ага, диакон», – и побежал дальше.

Отец архимандрит спешил и поехал в Саров лошадьми. Я же решил со своим другом обязательно идти в Саров и обратно пешком, и только искали мы попутчика. Мать Киприана, узнав о нашем желании идти в Саров пешком, вполне одобрила этот план.

Уж потрудитесь ради преподобного, и он вас не оставит, а в дорогу, пожалуй, пошлю с вами племянницу, давно уже просится в Саров помолиться, да заодно и навестить дядю своего родного, моего брата, значит, иеромонахом он там. У него и остановитесь, если только дома застанете, больше в лесу он живет, чем под крышей.

Все по молитвам преподобного устроилось как нельзя лучше. На другой день после Литургии, с большим металлическим бидоном для воды из источника и в

сопровождении нашей спутницы, напутствуемые
благословением матери Киприаны, двинулись в путь.

Профессор И. М. Андреевский

Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 году

Еще с раннего детства я много слышал о Саровской обители и дивном Дивееве, где подвизался святой преподобный Серафим, Саровский и всея России чудотворец.

Часто мечтал я побывать там, но мне это долгое время не удавалось.

Однажды летом 1926 года, в июле месяце, мне пришлось быть в Киеве. Как-то раз я сидел на берегу Днепра и любовался Киево-Печерской лаврой. Ко мне подошел какой-то странник и заговорил. Он сообщил о себе, что, путешествуя по святым местам, теперь из Киева собирается идти в Саров, к мощам преподобного Серафима.

«Какой вы счастливый, – сказал я ему, – будете в таком святом месте. А я вот давно мечтал там побывать, да все не удается!»

Тогда странник встал, пристально посмотрел на меня и сказал; «Раб Божий Иоанн! Ты там раньше меня будешь». После этого он благословил меня и ушел.

Я приехал в Ленинград и узнал, что новая моя служба начнется только в сентябре. Один мой друг посоветовал мне использовать свободное время и съездить в Саров.

У меня оказались в руках небольшие деньги, и кроме того, я получил на своей новой службе бесплатный билет по любому маршруту.

5 августа по новому стилю я пошел на городскую станцию узнать, когда нужно компостировать билет: в день отъезда или раньше.

Очень жалел я, что Серафимов день, 19 июля (1 августа н. ст.) уже прошел. Мой друг утешал меня и говорил, что во второй половине августа в Дивееве празднуется день иконы Божией Матери Умиление, перед которой всю жизнь молился и умер преподобный Серафим.

Мне очень захотелось побывать в Дивееве и в Сарове именно в этот праздник, и я молился Пресвятой Богородице и

преподобному Серафиму, чтобы они привели меня в этот день туда.

Наметил я выехать 7 августа. На мою просьбу прокомпостировать билет на 7 августа кассир почему-то вдруг сказал мне: «Зачем вам ехать послезавтра, поезжайте завтра!» – и прокомпостировал мой билет на 6 августа.

Мой духовный отец, протоиерей Сергий Тихомиров, расстрелянный большевиками в 1930 году, говорил мне, что при путешествии к преподобному Серафиму все складывается само собой и не надо этому сопротивляться. Вспомнив этот совет, я подчинился необходимости выехать на сутки раньше, чем предполагал, хотя и был несколько огорчен.

6 августа поздно вечером я приехал на вокзал, но там узнал, что поезд на Москву идет поздно ночью, и у меня оставалось часа два свободного времени.

Я подошел к церкви Знамения Божией Матери, разрушенной впоследствии большевиками после смерти академика И. П. Павлова, который был прихожанином этой церкви. Почему-то я постучался в закрытую церковь. Несмотря на поздний час, старик сторож открыл мне дверь и, узнав, что перед паломничеством в Саров я хотел бы помолиться, приветливо впустил меня, сказав: «Помолитесь, помолитесь, ведь у нас в церкви придел преподобного Серафима». Я очень этому удивился и обрадовался.

Когда я молился перед большим, во весь рост, образом преподобного Серафима, то почувствовал сердцем, что он меня сам благословил на путешествие.

После церкви я зашел к одной своей дальней родственнице вблизи вокзала. Она меня угостила чаем. Жила моя родственница в так называемой «коммунальной квартире», где было много комнат и где жило множество разных людей. Во время беседы за стаканом чая в комнату постучали, и какая-то незнакомая женщина спросила: «Тут находится странник, который идет в Саров?»

Я удивился и сказал: «Да, я собираюсь ехать в Саров».

«Так вот одна старая больная женщина, живущая в последней комнате, просит за нее помолиться у мощей

преподобного Серафима, которого она очень чтит. А вот и 50 копеек на просфору. Зовут эту женщину София. Она просит вас помолиться, а также узнать ваше имя, чтобы и она могла за вас молиться. Может быть, в пути какая-нибудь София вас и приютит!»

Я взял 50 копеек, сказал свое имя и обещался помолиться за рабу Божию Софию.

Поздно ночью я выехал из Ленинграда в Москву. Я знал, что в Москве имеется два поезда на Арзамас: один уходит утром и приезжает в Арзамас ночью, а другой выезжает ночью и прибывает утром. Конечно, я решил ехать на втором, ночном, поезде, чтобы не заботиться о ночлеге и не тратить на него лишних денег, которых я взял с собой, по совету духовных моих руководителей, всего лишь пять рублей. Кроме того, я взял с собой небольшое количество лекарств. Я врач, и в пути, может быть, понадобится кому-нибудь врачебная помощь. Я предполагал целый день, до отхода ночного поезда, пробывать в Москве, где я давно не был, у своих родных, друзей и знакомых.

Но когда я пошел в Москве в кассу, чтобы прокомпостировать свой билет на ночной поезд, то и здесь, как и в Ленинграде, кассир вдруг почему-то сказал мне: «Вы еще поспеете на утренний поезд, ведь надо только перейти площадь и там находится Казанский вокзал, с которого через полчаса отходит поезд на Арзамас». И он выдал мне билет на утренний поезд. Я был весьма огорчен этим, но, вспомнив, что надо безропотно подчиняться тому, что случится, – решил, что, может быть, благодаря более раннему отъезду я встречу кого-нибудь мне нужного или избежну какой-либо неприятности.

Поезд был переполнен народом. Кругом слышались брань, крики, плохая музыка на гармошке. Поезд двигался медленно, подолгу останавливаясь на станциях. Ехали целый день. Наступил вечер, спустилась тьма, пошел дождик. Народ стал убывать из вагона, и когда ночью поезд подошел к Арзамасу, из пассажиров почти никого не оставалось.

Обеспокоенный мыслью, что ночью, в темноте, в дождь, без денег приеду в незнакомый город, я прикрыл глаза рукой и

мысленно помолился преподобному Серафиму, чтобы он помог мне с ночлегом.

Вдруг ко мне подошла какая-то пожилая, чисто и опрятно одетая женщина и заговорила со мной. Узнав, что я из Ленинграда, еду в Саров, к преподобному Серафиму, она умилилась и обрадовалась.

– Ну а где же ночевать-то будете? Есть тут какие-нибудь у вас родные или знакомые?

Я ответил, что у меня нет никакого знакомства в Арзамасе и что я только что помолился, чтобы преподобный Серафим помог мне найти ночлег.

– Ну, тогда ночуйте у меня, батюшка, – воскликнула женщина. Сама София тебя приютит, – добавила она.

Я вздрогнул, вспомнив вчера сказанные мне слова о том, что «может быть, какая-нибудь София его и приютит», и очень удивился, почему эта женщина говорит о себе «сама София».

– Вас Софией зовут? – спросил я ее.

– Нет, я Ксения Дмитриевна Кузнецова, но я работаю сторожихой Софийского собора и живу под самой колокольной. Вот я и сказала, что София, Премудрость Божия, тебя приютит!

Ксения Дмитриевна повела меня в темноте по городу Арзамасу и привела к себе в комнату под колокольной Софийского собора.

– Вот напою тебя чайком, накормлю, да и спать положу на кровати, а сама лягу в уголку, на полу! – сказала она.

Я запротестовал, заявив, что лягу с удовольствием на полу, и прибавил, что у меня, к сожалению, очень мало денег.

– Что ты, что ты, батюшка! Тебе самому нужны деньги, так я дам, а с тебя не возьму ничего. Где это видано, чтобы со странника по святым местам деньги за ночлег брать? И на полу не положу тебя, а ляжешь на кровати... Я не хочу из-за тебя в ад попасть! – неожиданно заключила она.

Видя мое удивление, она сказала: «Страннику должен быть почет и уважение и лучшая постель в доме, а то Господь рассердится!»

Утром она снова напоила и накормила меня, положила в мешок лепешек, дала мне большой деревянный посох с

крестом, который просила вернуть на обратном пути, и, указав путь до Дивеева, находящегося в семидесяти километрах, посоветовала пройти это расстояние за два дня.

– Но перед тем как идти к преподобному Серафиму, – сказала Ксения Дмитриевна, – не поленись и сходи в противоположную сторону за два километра и поклонись чудотворному образу святителя Николая Чудотворца в Никольском женском монастыре.

Я сначала было подумал про себя – зачем я буду менять намеченный маршрут в Дивеево, а потом понял, что этой мыслью я обидел дивного святителя Николая, которого, как и преподобного Серафима, особенно чтил с детства.

И я пошел сначала в Никольский монастырь. Там я увидел чудотворный образ св. Николая, выдолбленный из дерева. Мне показалось, что св. Николай сурово на меня посмотрел. Я упал на колени и просил прощения за свои помыслы. С посохом в руках тронулся я в путь по направлению к Дивееву. Полил сильный дождь. Я промок до костей, и мне казалось, что св. Николай послал на меня легкое испытание-епитимью за мое нерадение.

С большим трудом, усталый и измученный, добрал я до первого села Ямище. Село действительно стояло в большой яме, в овраге, и мне вспомнилось описание одного селения в повести Чехова «В овраге». Село было грязное, шумное, неприветливое. Был какой-то советский праздник, играли на гармошках, раздавалась сочная ругань. Я прошел все село и нигде не решился зайти отдохнуть. Вышло солнышко, стало подсушивать, и я, отдохнув за селом на камешке, пошел дальше. Погода совсем разгулялась.

В десятом часу вечера, уже в полной темноте, я дошел до села Ореховец, на полпути до Дивеева. Надо было ночевать, и я стал стучаться в избы. Но нигде меня не впускали, узнавая, что я «прохожий», «странник». Иногда грубо говорили: «Проваливай дальше, много вас тут шляется». Наконец, один селянин сказал мне: «Вот там живет поп, может быть, он тебя пустит». Я направился к дому священника и постучал. Через несколько минут раздались шлепающие шаги, и старенький

священник приоткрыл дверь. На мою просьбу о ночлеге он ответил, что, к сожалению, не может меня принять, так как это ему запрещено властью под страхом сурового наказания, но посоветовал обратиться в избу на углу, в комсомол, где можно, быть может, и переночевать.

– Ах, батюшка, – ответил я, – только не в комсомол. Я ведь иду к преподобному Серафиму помолиться... Вы не бойтесь меня, у меня есть с собой исправные документы, я верующий человек...

– Да к тому же у меня дети больны, – перебил меня священник.

– Батюшка, – горячо воскликнул я, – да ведь я врач, и между прочим специалист и по детским болезням, я осмотрю ваших детей, да и лекарства у меня с собой есть.

Священник, убежденный моими доводами, впустил меня и познакомил с матушкой. Осмотрев больных детей, я успокоил родителей, что это только грипп, и дал лекарства.

Матушка поставила самовар, мы втроем сели за чай, разговорились, и через какой-нибудь час стали друзьями.

– Простите меня, – сказал вдруг священник, – что я хотел вам отказать в ночлеге. Бог мне такого интересного гостя послал, а я его хотел прогнать.

Я в свою очередь извинился, что был столь назойлив в моей просьбе о ночлеге.

Переночевав, рано утром, напившись чаю с баранками, я пошел дальше. Матушка высушила, вычистила и выгладила мое платье и положила в мой мешок лепешек. Батюшка взял с меня слово ночевать у него на обратном пути.

День был ясный, теплый, пели птицы, и на душе было легко. Я шел и молился преподобному Серафиму, обгоняя прохожих. Все приветливо улыбались и кланялись. С некоторыми я заговаривал.

– Вот, видите, сколько народу идет и едет, – сказал мне один прохожий, – ведь это все к преподобному идут, с разных концов земли Русской!

Действительно, кого я ни спрашивал, все отвечали, что идут и едут к преподобному Серафиму. Кого и откуда тут только не

было. И простые люди, и интеллигенты, и мужчины, и женщины, и молодежь, и дети.

Одни были из Москвы, другие из Одессы, иные из Архангельска, иные из Сибири... Меня это чрезвычайно удивило и особенно обрадовало.

– Вот, видите, впереди подымается на горку молодой человек, монах, это отец Платон, сын известного профессора И-ва из Москвы. В такое время, когда все в комсомол норовят, он в монахи пошел, – объяснила мне одна пожилая дама из Тулы.

Мне почему-то вдруг захотелось познакомиться поближе с этим молодым монахом. Я нагнал его, поклонился, разговорился, и мы стали друзьями. Все последующее путешествие мы провели вместе.

У о. Платона был только билет из Москвы до Арзамаса и обратно. Ни денег, ни вещей он не имел.

– Преподобный Серафим всегда пропитает и ночлег пошлет, – говорил он убежденно.

– В Дивееве у вас есть кто-нибудь из знакомых? – спросил я его.

– Нет, но преподобный Серафим пошлет знакомых!

– Может быть, через меня, грешного, он пошлет вам этих знакомых, – сказал я. Я надеюсь встретить в Дивееве мою хорошую знакомую, врача-профессора, которая после смерти своего мужа, тоже профессора, уехала в Дивеево и работает там в монастырской больнице, – разъяснил я о. Платону.

– Ну вот и слава Богу, – ответил молодой монах. Мы пошли дальше.

Однажды, когда я предложил о. Платону посидеть и отдохнуть, он мне ответил: «Нет, нельзя отдыхать, надо спешить, а то ведь мы ко всенощной опоздаем. Ведь такой великий праздник!»

– Какой праздник? – удивился я.

– Как же, завтра праздник Дивеевской иконы Божией Матери Умиление, одновременно и праздник Смоленской Божией Матери Одигитрии.

Пелена точно спала с моих глаз, и я сразу понял, почему и в Ленинграде и в Москве мне кассиры прокомпостировали

билеты почти на двое суток раньше, чем я хотел. Явная помощь Божией Матери, Которая ответила мне на мои молитвы о том, чтобы дивеевский праздник Умиления – провести там. Вот Одигитрия, то есть Путеводительница, и взяла меня за руку и повела ко дню Умиления, умилив душу мою тихой радостью...

Подошли мы к Дивееву при колокольном звоне, прямо к началу всенощной. Усталости как не бывало, хотя мы ведь прошли более тридцати километров. В церкви было много народу.

Служили три епископа – преосвященные Серафим, Филипп и Зиновий.

В этот вечер и на следующий день в Дивеево пришло около 3000 богомольцев.

Когда я спросил одну монашенку, находится ли в монастыре профессор доктор В. В. Щ., она мне ответила, что «матушка Вера здесь», и провела меня к В. В., которая была уже монахиней и заведовала монастырской больницей.

– Ночевать будете в больнице, – сказала она мне и о. Платону. У меня одна палата на две койки совершенно свободна. А теперь идите в церковь. После службы приходите ко мне пить чай...

Богослужение было дивное. Прекрасный хор, совершенно особенные «дивеевские» мотивы и манера петь...

После всенощной мы с о. Платоном были у В. В. и долго беседовали о дивном Дивееве, о преподобном Серафиме и его заветах.

– Завтра после обедни мы сразу пойдем в Саров, к мощам преподобного Серафима, – сказал о. Платон, и я с ним согласился: «Скорее в Саров!»

– Нет, – сказала В. В., – вам нужно не менее суток пробыть в Дивееве. Разве вы не знаете, что сказал преподобный Серафим? Счастлив тот, кто сутки пробудет в Дивееве, ибо около него пройдет Пресвятая Богородица. Владычица один раз в сутки сходит на землю и обходит обитель.

Затем В. В. рассказала нам, что имеется «правило» преподобного Серафима, которое надо выполнить, а именно: обойти с четками в руках трижды канавку, то есть по дорожке

вокруг обители, и прочитать 150 раз «Богородицу» и 150 раз «Отче наш», затем помолиться обо всех родных и знакомых, как живых, так и мертвых. После этого можно сказать свое самое сердечное, самое необходимое желание и оно непременно исполнится.

Одна из послушниц Дивеева как-то раз сказала матери-игумении Александре: «Вот бы знать эту минуточку, когда Владычица обходит обитель по канавке!» На это мать-игумения ответила: «А вот живи весь день так, как будто в это время Пресвятая Богородица проходит мимо тебя!» Замечательный ответ.

Мы, конечно, решили с о. Платоном остаться еще один день в Дивееве.

Вечером, после осмотра всех достопримечательностей монастырских, особенно кладбища, где похоронены и Мантуровы, и 19-летняя Мария-Марфа, и другие насельницы, известные по «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» митрополита Серафима Чичагова, – мы с о. Платоном, с четками в руках, начали выполнять «правило» преподобного Серафима и трижды обошли тихо по канавке вокруг монастыря.

Я предполагал испросить себе после обхода многое как из области духовной, так и материальной.

Но когда, выполнив, в конце третьего обхода канавки, все правило, я захотел высказать свои сердечные желания, со мной, очевидно, по великой милости преподобного Серафима, произошло чудесное явление. Меня вдруг охватила совершенно особенная духовная тихая, теплая и благоуханная радость – несомненное убеждение всем существом в существовании Божиим и в совершенно реальном с Ним молитвенном общении. И вот мне стало совершенно очевидным и ясным, что всякая просьба о чем-нибудь земном будет равносильна молитве: Господи, отойди от меня и лиши меня Твоего чудного дара...

И я внутренне горячо обратился к Господу: «Господи, не давай мне ничего, отними от меня все земное благополучие, только не лишай меня радости общения с Тобой, или если это невозможно сохранить навсегда в нашей жизни, то дай мне

память сердечную, дай мне возможность сохранить до смерти воспоминание об этой настоящей блаженной минуте ощущения Твоего Святого Духа!»

На другой день мы пошли с о. Платоном в Саров... Приложились к мощам преподобного Серафима с большим волнением, с духовным страхом и благоговением. Я чувствовал, что духовно родился вчера в Дивееве. Все стало внутри по-новому. Прежде я не понимал такой простой истины, что духовное от душевного отличается больше, чем душевное от телесного. А теперь я это все хорошо понял.

Внутри, в глубине души моей, было тихо, спокойно, радостно. Внешние чудеса у раки преподобного Серафима, происходившие у меня на глазах, – не поражали. Все это казалось простым и естественным.

Исцелился у мощей сухоногий мальчик, исцелилась душевнобольная; все это так и должно было быть.

У мощей преподобного Серафима постоянно стоял старый монах. Он уже много лет занимал эту должность – стоять при мощах и освящать образки и крестики.

Один мой друг, много лет тому назад бывший в Сарове, рассказал мне следующий случай. Подходя в очереди к мощам преподобного и держа в руках маленький образок для освящения, он заметил, что старый монах по имени Исаакий брал образки, клал их попеременно на лоб и на грудь преподобного и затем возвращал назад; иногда, если образа были большие, на них ставилась печать: «Освящена на мощах преподобного Серафима Саровского».

Мой друг, инженер по профессии, подумал про себя: «Как же это так? Ведь освящать образа надо бы святой водой!.. Но он ничего не сказал и, подойдя к старцу, молча подал свой образок. Тогда монах вдруг остановился на одну секунду в своем движении, как бы в нерешительности, и не положил образок ни на лоб, ни на грудь преподобного Серафима, но попросил одного из послушников принести святой воды и окропил ею образок. Очевидно, старец был прозорливец и читал мысли.

Глядя на этого старца, я вспомнил рассказ моего друга, который впоследствии принял иерейский сан...

В Сарове мы побывали в Ближней и Дальней пустыньке, осмотрели колодцы, вырытые преподобным Серафимом, выкупались в святом источнике целебной воды, повидали под стеклом камень, на котором Саровский подвижник молился 1000 ночей и дней, и многое другое.

Повидали мы и одну старую монахиню, которая рассказала нам, что в 1903 году при открытии мощей преподобного Серафима она присутствовала при передаче Государю Императору Николаю II письма преподобного Серафима (адресованного «четвертому Государю, который сюда приедет»). Письмо хранилось в Саровском монастыре в течение четырех царствований. Государь был глубоко взволнован, когда прочитал это письмо. О содержании послания никому ничего не известно. Рассказ монахини меня весьма поразил, ибо никогда и нигде я об этом факте не слыхал.

Нам с о. Платоном очень захотелось получить хоть крошечную песчинку от камня, на котором преподобный Серафим молился, но нам сказали, что если бы каждому посетителю Сарова давалось бы по песчинке, то камня давно бы уже не было.

Отец Платон предложил мне пойти с ним в глубину леса и помолиться преподобному Серафиму, чтобы он послал нам песчинку от его камня.

Как дети, с твердой верой, что наша молитва будет услышана, мы встали на колени и помолились. Наша молитва вскоре же была услышана. Не прошло и получаса, как, блуждая по лесу, мы остановились около большого деревянного креста, каких в Тамбовской губернии было очень много в лесах, в полях, на дорогах. Крест этот был разрисован красками одной монахиней, изобразившей Спасителя. Монахиня доканчивала работу, когда мы подошли к ней и поздоровались.

– Как ваше имя, матушка?

– Варвара, – отвечала она.

– Как хорошо вы пишете! – сказал я.

– Нет, не очень, – скромно произнесла мать Варвара, – это не моя специальность; я – миниатюристка. Вот, иногда некоторые архиереи получали кусочки камня преподобного Серафима, с ноготок величиной, так вот я на таком камушке писала лики угодника...

– Матушка! – воскликнул о. Платон, – а вот мы так хотели бы получить хоть песчинки от этого камня!

Монахиня пристально на нас посмотрела и сказала:

– Как величайшую святыню я берегу несколько песчинок от святого камня... Эти песчинки остались у меня после шлифовки камушков, на которых я писала образки. Но эти песчинки хранятся у моих родных, далеко, семьдесят километров отсюда... Может быть, вы дадите мне свои адреса, и я пришлю вам эти песчинки почтой...

У меня оказалось два конверта с марками. Я написал свой, ленинградский, и о. Платон – московский адрес, приписал «заказное» и подал матушке Варваре. (Через две недели по возвращении домой я получил по почте несколько этих песчинок, как и обещала мать Варвара, с которой мне пришлось встретиться в Саровском лесу при таких странных обстоятельствах.)

В течение последующих двух дней мы побывали в замечательной иконописной художественной мастерской, побеседовали со многими старыми иноками и инокинями; погуляли по густому лесу с огромными, в два обхвата, соснами; подышали «ладаном саровских сосен», как выразился о благоухании Сарова один русский поэт – Клюев.

Я решил приобрести маленький серебряный образок с изображением на одной стороне лика Божией Матери Умиление, а на другой – преподобного Серафима, чтобы носить на шее всю жизнь. Но, к сожалению, такой иконки, обычно в большом количестве имеющейся в монастыре, в данное время не было. Этим обстоятельством я был весьма огорчен, но о. Платон сказал мне: «Помолитесь, чтобы преподобный Серафим послал вам эту иконку».

Снова с детской верой мы с о. Платоном просили преподобного послать мне этот образок (мой спутник таковой

уже имел).

– Ну, теперь, по приезде домой, вы обязательно получите эту иконку, – сказал мне убежденно о. Платон. Вам или подарит ее кто-нибудь или вы купите ее!»

Духовно напивавшись в Сарове и Дивееве, мы отправились обратно в Арзамас.

В Саров принято приходить из Арзамаса пешком за 70 верст. «Надо тому лапоточки сносить, кто ко мне в гости идет», – говаривал преподобный Серафим. Поэтому почти все богомольцы приходили в Саров пешком. Впрочем, обратно обычно уезжали на телегах, в которых помещалось по десять человек, по рублю с головы... Но условие поездки было такое, чтобы сразу всем десятерым не сидеть, а сменяться по очереди, идя часть пути пешком.

Мы с о. Платоном так и поехали. Последнюю ночь в Сарове я почти не спал, а слушал, как били башенные часы. Они били ежеминутно один раз тонким колокольчиком, затем четверти – несколько бóльшим и, наконец, часы отбивались уже большим колоколом...

По пути в Арзамас мы заметили впереди нас другую телегу, нанятую тоже десятком пассажиров. Среди этих последних наше внимание привлекли две женские фигуры: молодой схимонахини и ее спутницы, сестры милосердия в белой косынке.

Сестра милосердия часто присаживалась на телегу, хотя была крепкой краснощекой женщиной. Схимонахиня же, бледная, хрупкая, крайне болезненная на вид, шла бодро и ни разу не присела на телегу.

Мы заинтересовались этими богомолками, нагнали сестру милосердия и разговорились с нею.

Узнав, что я врач, сестра милосердия спросила меня: «Объясните мне, доктор, как понять следующий случай». И она рассказала мне, что ее родственница, молодая монашка Смоленского монастыря Вероника, была больна туберкулезом легких в последней стадии. Врачи приговорили ее к смерти через две-три недели. Тогда она умолила дать ей схиму, а затем

отвезти к мощам преподобного Серафима. Едва живую ее привезли в отдельном купе поезда и затем на телеге в Саров.

Приложившись к мощам преподобного Серафима, матушка Вероника почувствовала себя исцеленной и сказала: «Прости меня, преподобный Серафим, что я не могла к тебе прийти пешком и сносить лапоточки, но зато теперь обратно в Арзамас я не поеду, а пойду пешком семьдесят километров». И вот она идет.

Я ответил, что я не только врач, но еще и верующий православный христианин, а потому понимаю этот факт, как несомненное чудо, сотворенное преподобным Серафимом... Через три года после этого события, находясь за свои религиозные убеждения в соловецком концлагере, я встретился там с епископом Иларионом из Смоленска, который мне поведал, что матушка Вероника до 1929 года, когда он был оттуда увезен, оставалась жива, и об ее чудесном исцелении знают многие верующие в Смоленском крае...

По дороге в Арзамас о. Платон и я заехали к о. Алексею, священнику в селе Ореховцы, и провели с ним в духовной беседе незабываемый час, пока отдыхали лошади.

В Арзамасе я распрощался с о. Платоном: он поехал в Москву, а я зашел к своей новой знакомой – сторожихе Софийского собора Ксении Дмитриевне.

Я возвратил ей ее посох, поблагодарил за все, по душам побеседовал с нею.

'Уж не знаю, что вам на память-то подарить, – сказала Ксения Дмитриевна и на минутку задумалась. Да, вот что!.. Я-то найду в Сарове такой образок, а вот вы-то уж вряд ли в Ленинграде достанете. И она сняла со своей шеи маленький серебряный образочек и показала мне. Вы не имеете такой иконки?

Я посмотрел и обомлел: это был образок с изображением Божией Матери Умиление и преподобного Серафима. Это была такая иконка, о получении которой я вместе с о. Платоном молился накануне в лесу.

– Эта иконка, – объяснила мне Ксения Дмитриевна, надевая ее на меня, – лежала на лбу и на груди преподобного

Серафима в день открытия его мощей в 1903 году...

Я уехал домой, и с тех пор вот уже 25 с лишним лет эта иконка постоянно со мной. Дай Бог, чтобы и в могилу мне пойти с нею. Надеюсь на это крепко.

Вся моя жизнь после моего паломничества в Саровскую пустынь изменилась. Господь отнял от меня, по моей молитве на канавке, все блага земные, но сохранил навсегда память о той минуте, когда, по безграничному милосердию Своему, по милости Пресвятой Богородицы и по молитвам преподобного Серафима, я, грешный, совершенно незаслуженно сподобился пережить в себе тихое, радостное, благое и благоуханное веяние Святого Духа Господня...

Сергей Бехтеев

Видение дивеевской старицы

Зима лихолетья 1917 года

Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
В сизом тумане над белой поляной одна
Робко, как призрак, скользит золотая луна,
Блещет огнями на рыхлых алмазных снегах,
Ярко играя на скитских червонных крестах.
Мирно обитель в сугробах навеянных спит,
Только вдали огонек одинокий блестит.
В келье сосновой, окутанной трепетной мглой,
Жарко лампада горит пред иконой святой.
Пламя, мерцая, то гаснет, то, вспыхнув, дрожит,
Старица Ксенья на образ с любовью глядит.
Катятся слезы из стареньких, слепеньких глаз,
Шепчут уста: «О Господь, заступись Ты за нас!
Гибнет Россия, крамола по царству растет,
Мутит нечистый простой православный народ.
Кровь обагрила родные леса и поля,
Плачет и стонет кормилица наша земля.
Сжался, Спаситель, над темной, безумной страной:
Души смири, распаленные долгой войной.
Русь православная гибнет, на радость врагам,
Сжался, Господь, не карай нас по нашим грехам.
Боже Великий, создавший и твердь и моря,
К нам снизойди и верни нам родного Царя!..»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада горит пред иконой святой.
Старица смотрит – и видит Христа пред собой:
Скорбные очи с любовью глядят на нее,

Словно хотят успокоить, утешить ее,
Нежно сказать: «Не печалься, убогая дочь,
Духом не падай, надейся, молися и верь».
Робко лампада, мерцая во мраке, горит,
Старица скорбно во мглу, в безнадежность глядит.
Смотрит – и видит, молитву честную творя,
Рядом с Христом – самого страстотерпца Царя.
Лик его скорбен, печаль на державном лице,
Вместо короны стоит он в терновом венце,
Капли кровавые тихо спадают с чела,
Дума глубокая в складках бровей залегла.
Смотрит отшельница, смотрит, и чудится ей –
В облик единый сливаются в бездне теней
Образ Господень и образ страдальца-Царя...
Молится Ксения, смиренною верой горя:
«Боже Великий, Единый, Безгрешный, Святой,
Сущность виденья рабе бесталанной открой,
Ум просветли, чтоб могла я душою понять
Воли Твоей недоступную мне благодать!..»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада пред образом Спаса горит,
Старица Ксения во мглу, в беспредельность глядит.
Видит она – лучезарный, нездешний чертог,
В храмине стол установлен, стоит поперек:
Яства и чаши для званных рядами стоят,
Вместе с Иисусом Двенадцать за брашной сидят,
И за столом, ближе всех одесную Его,
Видит она Николая, Царя своего.
Кроток и светел его торжествующий лик,
Будто он счастье желанное сердцем постиг,
Будто открылись его светозарным очам
Тайны, незримые нашим греховным глазам.
Блещет в алмазах его драгоценный венец,
С плеч ниспадает порфиры червлёный багрец,

Светел, как солнце, державный, ликующий взор,
Ясен, безбрежен, как неба лазурный простор.
Падают слезы из стареньких, слепеньких глаз:
«Батюшка-Царь, помолись ты, кормилец, за нас!» –
Шепчет старушка, и тихо разверзлись уста,
Слышится слово, заветное слово Христа:
«Дщерь, не печалься. Царя твоего возлюбя,
Первым поставлю Я в Царстве святых у Себя!»
Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, безлюдно, ни звука не слышно кругом,
Бор вековой позабылся таинственным сном.
25 ноября 1922

Из хроники Серафимо-Дивеевского монастыря

1767–75 гг. – в Дивееве на месте старой деревянной церкви мать Александра Мельгунова, монахиня Киево-Флоровского монастыря, воздвигла каменный храм в честь Казанской Божией Матери и построила келии для себя и четырех послушниц. Эта общинка была устроена на земле, указанной Самой Пресвятой Богородицей.

1825 г. – деятельное участие в жизни Дивеевской общины принимал старец Серафим.

1828 г. – заложена церковь Рождества Христова (с западной стороны от Казанской церкви), которая через год была построена и освящена стараниями М. В. Мантурова.

1829 г. – по молитве о. Серафима Мельничной общинке было пожертвовано три десятины земли. Эту землю обрыли канавкой в три аршина глубиной, складывая вырытый грунт внутрь отведенной площади, чтобы образовался вал. Так появилась канавка Пресвятой Богородицы.

1861 г. – Серафимо-Дивеевская обитель преобразована в монастырь.

1862 г. – игуменией монастыря поставлена матушка Мария (Ушакова); возглавляла монастырь более 40 лет.

1864 г. – возобновлено строительство Свято-Троицкого собора, закладка освящена еще в 1848 г. преосвященным Иаковом на месте, указанном преподобным Серафимом.

1875 г. – собор был освящен в честь Пресвятой Троицы. Внутренняя отделка собора продолжалась силами сестер обители.

19 августа 1904 г. – кончина игумении Марии. В обители насчитывалось около 1000 сестер, в хозяйственном устройении было «изобилие во всем». Наместницей стала матушка Александра (Траковская).

1905 г. – заложен против канавки огромный теплый собор. Построен по проекту архитектора А. А. Румянцева и расписан сестрами обители под руководством художника Парилова

(1915–1916 гг.). Собор предполагалось освятить в феврале 1917 г., но он так и не был освящен.

Ноябрь 1917 г. – конфискованы монастырские хутора.

1927 г. – закрыта организованная при монастыре артель, богослужения запрещены.

1937 г. – по суду «тройки» оставшиеся монахини были сосланы в лагеря Средней Азии.

1989 г. – верующим передан Троицкий собор. В Париже под руководством Н. Д. Хвостовой основан фонд помощи русских, сущих в рассеянии, на восстановление Троицкого собора.

31 марта 1990 г. на праздник Похвалы Богородицы архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай вновь освятил Троицкий собор.

Только одна сестра дореволюционного Серафимо-Дивеевского монастыря дожила до этого времени – схимонахиня Маргарита (Лахтионова).

30 июля 1991 г. мощи преподобного Серафима Саровского торжественно внесены в Троицкий собор монастыря. В прославлении великого угодника Божия Серафима принимал участие Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II.

Примечания

- ¹ - Место смерти и погребения блаженной.
- ² - В просторечии село называли Пузо.
- ³ - Так называла Поля келейниц.
- ⁴ - Голик – изношенный веник.
- ⁵ - Саровский подвижник, в схиме Василий.
- ⁶ - Имеется в виду прочтение 150 раз молитвы «Богородице Дево, радуйся...»
- ⁷ - Дочь женщины, сделавшей это, впоследствии заболела, не могла надеть никакой одежды; ее покрывали куском толя и так она лежала.
- ⁸ - Народное название болезни, возникшей вследствие наговора, колдовства.
- ⁹ - Часов шесть, как говорит Анна Герасимовна. [Во всех сносках примечания автора. Ред.]
- ¹⁰ - Впоследствии Тамбовцев был иеромонахом Нижегородского Печерского монастыря, потом игуменом Павла Обнорского монастыря (Вологодской епархии), скончался в Высокогорском Арзамасском монастыре схимником Серафимом.
- ¹¹ - Полученные за Пелагею Ивановну деньги (500 руб.), как взнос в обитель, Ульяна Григорьевна тотчас по приезде своем передала распорядившемуся тогда всем послушнику Ивану Тамбовцеву.
- ¹² - Матушка Александра (в мире Агафья Семеновна Мельгунова) была первой настоятельницей Дивеевской общины, поставленная самим старцем Серафимом. Мельничиха – Гликерия, поставленная в настоятельницы Понетаевской общины по интригам Ивана Тамбовцева, нелюбимая в Дивееве.
- ¹³ - О самовольстве Ивана Тихоновича и о других его дурных качествах см. письмо митрополита Московского Филарета к высокопреосвященному Исидору, митр. Санкт-Петербургскому. «Письма митр. Филарета к Высочайшим особам», с. 25.

¹⁴ - Ладыженская Екатерина Васильевна несколько времени управляла общиной после Ирины Прокофьевны.

¹⁵ - О. Василий Садовский был сначала священником, а потом протоиереем в Дивеевской обители.

¹⁶ - Поля – Пелагея Гавриловна – была послушницей при Анне Герасимовне.

¹⁷ - Афанасия Назарова (в миру Аграфена Николаевна).

¹⁸ - Матрена Федотьевна – дивеевская старица; о ней будет речь впоследствии.

¹⁹ - Бывшему Ивану Тамбовцеву.

²⁰ - См. «Письма высокопреосвященного митрополита Филарета к Высочайшим особам и к другим важным лицам», где достаточно объяснены некоторые подробности дела.

²¹ - То есть посредством писем.

²² - Клочков, тряпок.

²³ - Понетаевская обитель находится недалеко и от Сарова, и от Дивеева. Понетаевские сестры выделились из Дивеева и долго между собою соперничали, без сомнения, по злобе врага спасения нашего.

²⁴ - Возможно, здесь имеется в виду, что преп. Серафим разрешил Пелагее Ивановне грехи от ее рождения до смерти. Прим. ред.

²⁵ - В Петровский пост. Прим. ред.

²⁶ - Когда я впоследствии увиделся с Пелагеей Ивановной, – говорил нам М. П. Петров, – и спросил ее, отчего она не позволила мне ехать, она сказала: «Много таких святых-то».

²⁷ - В другом письме своем Березина говорит: «Врачи нашли, что болезнь совершенно неизлечима; советовали сделать прокол в виске и говорили, что хотя болезнь и не прекратится, но не будет ощущаться такой боли».

²⁸ - Любимое ее слово.

²⁹ - Уменьшительное слово от Агриппины, часто употребляемое в просторечии.

³⁰ - Эта речь будет приведена ниже.

³¹ - Так любил называть дивеевских подвижниц сам старец Серафим.

³² - Московский Листок. 1903 г., № 195, кор. Г.

³³ - Очерк этот составлен мною на основании рукописных воспоминаний Н. А. Мотовилова, дополненных беседами со вдовой его, Еленой Ивановной, и сестрами св. Дивеевской обители.

³⁴ - Этот образ принадлежал отцу Н. А. Мотовилова, Александру Ивановичу, как старшему в роде, но в малолетнее после отца сиротство Николая Александровича он достался Г. Н. Мотовилу. Николай Александрович всю жизнь скорбел об этом образе, но не мог добиться его возвращения.

³⁵ - Вообще, надо заметить, в бумагах мотовиловских, доставшихся мне для разбора, беспорядок был страшный – точно чья-то рука кому-то назло истрепала, раскидала и разорвала эти рукописи, таившие часто в себе драгоценнейшие сообщения.

³⁶ - «Беседа о цели жизни христианской».

³⁷ - Продолжение рукописи Мотовилова.

³⁸ - Насколько справедливы были опасения Мотовилова, читатель может убедиться из последних статей, вошедших в книгу «Великое в Малом».

³⁹ - Известный иеросхимонах Киево-Печерской Лавры, у которого был Император Александр I.

⁴⁰ - Теперь епископ Кишиневский (1911 г.).

⁴¹ - Послушник Саровский. Интересующиеся могут иметь о нем подробные сведения в Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря.

⁴² - Значение Мотовилова для Дивеева достаточно выяснено в летописи. Приложенный к этой летописи его портрет с надписью: «Благодетель Дивеевского монастыря» с достаточною силой указывает, что завет о. Серафима был им исполнен до конца.

⁴³ - Мотовиловский конный завод был в свое время весьма известен в Симбирской губернии. Шестерик был им поднесен

Государю Николаю I в подарок, за что Мотовилов был отдарен чудным бриллиантовым перстнем из Государева кабинета.

⁴⁴ - Князь Меншиков.

⁴⁵ - Нечто подобное совершилось и в минувшую несчастную Японскую войну с иконой Царицы Небесной «На двух мечех», предназначенной видением и верою жертвователей для защиты Порт-Артура. Порт-Артур так и не видал в стенах своих этой иконы.

⁴⁶ - Зосима – наместник и игумен Задонского монастыря в семидесятых годах прошлого столетия.

⁴⁷ - На письме резолюция Николая I. Собственною Его Величества рукою написано карандашом: «15 марта 1854 года. Ежели он как верноподданный не забыл своей присяги, то должен исполнить мое приказание и донести на бумаге, что мне сказать имеет: тогда решу, стоит ли мне его призвать или нет» Н[иколай].

⁴⁸ - Доверенное лицо императора Николая I, впоследствии шеф жандармов и начальник III отделения (1844–1856).

⁴⁹ - Благословение Ея общее для всех сих четырех мест состоит в том, что Она по три часа каждодневно обещалась быть Сама лично в каждом из сих мест – и ни одного из жителей их не допустит до гибели.

⁵⁰ - и как я ныне по разрешению сокеллария Собора сего видел ея надтреснутою, но превосходно и затем всеблагодатно сохранившеюся под № 537. (Прим. Мотовилова).

⁵¹ - Покушение террориста Каракозова на Императора Александра II. – (Сост.).

⁵² - Отец Михаил Зеленецкий погиб в лагерях.

⁵³ - Дивеево – «диво, чудесное, Божественное», к понятию «Дева» смысл этого топонима не восходит. Подробности о селе составителем найдены в старинном источнике (Сост.).

⁵⁴ - Предсказание за неверие сбылось: я всю жизнь кашляю и ничто мне не помогает.

⁵⁵ - Точное название книги «Царский путь Креста Господня, вводящий в жизнь вечную». В русском переложении святителя Иоанна Тобольского. М., 1904 (Сост.).

⁵⁶ - Лиза просила благословения ежедневно причащаться, а монах сказал: «Нельзя тебе!» – и прогнал ее.

⁵⁷ - Я помню его телеграмму: «Никому нельзя, а больным душою (Н. Д.) можно».

⁵⁸ - Речь идет о митрополите Ленинградском Никодиме (Ротове), тогда епископе (хиротонисан во епископа в 1960 г.). Узнав о кончине Натальи Дмитриевны Крыловой, он приехал на ее отпевание, привез с собой для покойной полное схимническое облачение (Сост.).

⁵⁹ - Отец Сергий Мечев.

⁶⁰ - Лет через 25 я как-то услышала от Н. Д.: «Лиза как дочь мне, я ее родила, я ее люблю». И разговор навсегда был окончен. Ни слова осуждения.

⁶¹ - Монахиня Елена (Елена Васильевна Мантурова, 1805–28.5.1832) – первая начальница Мельничной общины (Сост.).

⁶² - Михаил Васильевич Мантуров (1896–7.7.1858) погребен с левой стороны церкви Рождества Богородицы, под самым окном (Сост.).

⁶³ - Вот как об этом повествуется в «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» архимандрита (позже – митрополита) Серафима (Чичагова): «Мать Александра недоумевала, какому святому посвятить третий придел [церкви Казанской иконы Божией Матери], и поэтому однажды всю ночь молила в своей келии Господа указать Свою волю. Вдруг послышался в маленьком окне ее стук и за ним голос: «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана!» С трепетом и радостью бросилась мать Александра к окну, чтобы видеть, кто ей говорит, но никого не было, а на подоконнике она обрела чудно и невидимо откуда явившийся образ св. первомученика архидиакона Стефана, написанный на простом, почти неотесанном обрубке бревна. Этот образ был всегда в церкви и теперь перенесен в келию первоначальницы Дивеевского монастыря» (СПб., 1903. С. 29) (Сост.).

⁶⁴ - Преподобный Серафим, будучи иеродиакonom, побывал у матушки Александры в первой половине июня 1789 г. вместе с саровским строителем о. Пахомием и казначеем о. Исаией.

Матушка первоначальница просила о. Серафима «не оставлять ее обители, как Царица Небесная Сама тогда наставить его на то изволит».

⁶⁵ - В других воспоминаниях о Серафимо-Дивеевском монастыре такого имени не встречается. Возможно, речь идет о блаженном Онисиме родом из деревни Осиновки.